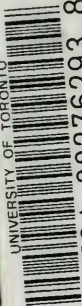


UNIVERSITY OF TORONTO



3 1761 00276293 8

Mikhailovskii, Nikolai Konstantinovich

Н. К. Михайловскій.

Otkliki

ОТКЛИКИ

т. I

Томъ I.

ИЗДАНИЕ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА

„РУССКОЕ БОГАТСТВО“.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Н. Н. Клобукова, Лиговская ул., д. № 34.

1904.

PG
3011
M472
t 1



789894

О г л а в л е н і е.

	СТРАН.
I. Дюми-термо и философія Федора Шперка. — Жюль Леметръ о національномъ французскомъ геніи. — Г. Л. С. объ инородцахъ. — „Къ вопросу о развитіи монистическаго взгляда на исторію“ Н. Бельтова . . .	1 — 33
II. Изъ исторіи провинціальной печати.—Разказы г. Марка Криницкаго.	34 — 53
III. „Хозяинъ и работникъ“ гр. Л. Толстого. — Г. Цюнь и г. министръ финансовъ. — Кн. Цертелевъ о печати .	54 — 73
IV. Четвертый томъ „Критико-біографическаго словаря“ г. Венгерова. — О г. Боборыкинѣ. — Ж. Пелисье о французской литературѣ XIX вѣка	74 — 98
V. Пьеса Гауптмана „Ганнеле“ и газетные толки о ней.—Первый съѣздъ дѣятелей по печатному дѣлу. — Невѣжество нашего народа. — „Этюды о русской читающей публикѣ“ г. Рубакина	99 — 123
VI. „Молодая поэзія“ гг. Перцовыхъ и „Письма о поэзіи“ г. Перцова	124 — 138
VII. „Письма къ учащейся молодежи о самообразованіи“ и „Бесѣды о выработкѣ міросозерцанія“ г. Карѣева. — Гг. Чижъ и Тимирязевъ о высшихъ и низшихъ формахъ въ біологін. — Приспособленные и неприспособленные	139 — 166
VIII. Обращеніе г. Розанова къ Л. Толстому — „Русскіе символисты“. — Наше общественное мнѣніе. — Гг. Сементковскій и Меньшиковъ по поводу жизни и смерти кн. В. В. Вяземскаго. — „Нужна-ли совѣсть?“	167 — 191
IX. „Любовь въ концѣ вѣка. Современники о современной любви“. — Мнѣнія г-жъ Назарьевой, Лухмановой, гг. Варламова, Скабичевскаго, Мордовцева, Льдова, Карабчевскаго и др.—„Душевные свойства женщинъ“ г. Каптерева. — М. М. Ковалевскій и К. Каутскій о семьѣ	192 — 230

X.	„Старый домъ“ г. Владимира Немировича-Данченко. — Письма Бѣлинскаго къ невѣстѣ. — Русское женское взаимно-благотворительное общество. — Къ психологiи труда	231 — 256
XI.	А. В. Эвальдъ и Г. З. Елисеевъ. — О г. Туганъ-Барановскомъ и экономическомъ факторѣ въ исторiи . . .	257 — 281
XII.	Еще о г. Туганъ-Барановскомъ и экономическомъ факторѣ. — „Чумазый“ и „Культурный прогрессъ Россiи“ .	282 — 315
XIII.	Г-жа Гиппиусъ и „ступени къ новой красотѣ“	316 — 332
XIV.	Три случая нападенiя на редакторовъ періодическихъ изданiй. — Опять г. Туганъ-Барановскiй. — Книга г. Антоновича о Дарвинѣ. — Веселенькiй пейзажикъ .	333 — 358
XV.	Въ послѣднiй разъ о г. Туганъ-Барановскомъ. — О г. К. М-скомъ, г. К. Медвѣдскомъ и политическомъ доносѣ. — О книгѣ Кидда	359 — 391
XVI.	Продолженiе о Киддѣ. — Г. Антоновичъ и объективность. — О Невскомъ Обществѣ устройства народныхъ развлеченiй	392 — 412
XVII.	Во исполненiе требованiя г. Медвѣдскаго я отвѣчаю на всѣ его вопросы по пунктамъ	413 — 431
XVIII.	Объ Ибсенѣ, статья первая	432 — 461
XIX.	Объ Ибсенѣ, статья вторая	462 — 492

Дюми-термо и философія Оедора Шперка. — Жюль Лемстръ о національномъ французскомъ гениі. — Г. Л. С. объ инородцахъ. — „Къ вопросу о развитіи монистическаго взгляда на исторію“ Н. Бельтова.

Въ комедіи Островскаго «Не сошлись характерами» есть одно загадочное дѣйствующее лицо; собственно не дѣйствующее, потому что оно даже не появляется, а только говоритъ объ немъ одно изъ дѣйствующихъ лицъ: «у меня знакомый человѣкъ дюми-термо дѣлаетъ... Не угодно ли купить, онъ мнѣ дешево отдастъ; широкій такой, добротный». И только...

Я—большой почитатель Островскаго и рѣшительно не могу согласиться съ мнѣніемъ г. Михневича и другихъ просвѣщенныхъ критиковъ, что творецъ «Грозы», «Бѣдной невѣсты», «Своихъ людей» и проч. такъ-таки совершенно устарѣлъ и упраздненъ современными драматургами. Не отрицая многообразныхъ достоинствъ этихъ современниковъ, я все-таки по старой памяти перечитываю больше Островскаго. Перечитываю, а не смотрю въ театрѣ, потому что изъ нынѣшняго театра онъ, кажется, совсѣмъ изгнанъ, и новыя птицы тамъ новыя пѣсни поютъ. Прекрасныя птицы, прекрасныя пѣсни; я вѣрю... Тѣмъ не менѣе и въ простомъ чтеніи Островскій, какъ магъ и волшебникъ, всегда вызываетъ передо мной цѣлый рядъ живыхъ образовъ, чего я, къ сожалѣнію, не могу сказать обо всѣхъ современныхъ драматургахъ. Я ужъ не говорю о фигурахъ, нарисованныхъ Островскимъ во весь ростъ. Но вотъ даже этотъ не показывающійся на сценѣ «знакомый человѣкъ», который «дюми-термо дѣлаетъ»,—широкій, добротный дюми-термо,—даже этотъ закулисный человѣкъ встаетъ передо мной живымъ. Ни этого человѣка, ни этой матеріи никто изъ насъ не видалъ, они только въ творческой фантазіи Островскаго мелькали. Но сила ли первокласснаго художника тутъ дѣйствуетъ, или сила моего пристрастія къ

*) Январь 1895.

любимому писателю, пристрастія, разжигающаго и собственное воображеніе, а мнѣ кажется, что я знаю человѣка, который дюмперью дѣлаетъ: типъ этотъ знаю.

И кажется мнѣ, что къ этому типу принадлежать очень многіе современники, въ томъ числѣ г. Оедоръ Шнеркъ...

Знаете ли вы г. Оедора Шнерка? Нѣтъ, вы не знаете г. Оедора Шнерка. Хотя имя его, навѣрное, очень скоро прогремитъ по всему міру, по затѣмъ, по его собственной трогательной просьбѣ, очень тоже скоро покроется «цѣломудріемъ тѣни и истинной тайны», но просто говоря—забудется. Торопитесь-же знакомиться...

Г. Оедоръ Шнеркъ написалъ и издалъ слѣдующія произведенія: «Система Спинозы», «Метафизика міровыхъ процессовъ» и—«Мысль и рефлексія. Афоризмы». Первому изъ этихъ произведеній онъ назначилъ цѣну въ 20 копѣекъ, второму въ 40, третьему въ 30. По размѣру этихъ произведеній, то есть по затраченной на нихъ бумагѣ, типографской краскѣ и проч., это немножко дорого, потому что, наиримѣрь, въ «Афоризмахъ» всего 36 страничекъ разгонистой печати и формата, слишкомъ въ половину меньше обыкновеннаго нашего журнальнаго. Но, о матеріалистъ! «на вѣсь кумиръ ты цѣнишь Бельведерскій!» Согласитесь, что получить на нѣсколькихъ страничкахъ ни больше, ни меньше, какъ «Систему Спинозы» за 20 к.,—это почти такъ же дешево, какъ широкій, добротный дюмперь. купленный у знакомаго человѣка. И г. Оедоръ Шнеркъ самъ понимаетъ, что онъ дешево отдаетъ, дешевле, пожалуй, чѣмъ себѣ стоитъ. Вотъ, наиримѣрь, какъ онъ въ «Афоризмахъ» опредѣляетъ дѣйствительную цѣнность другого своего произведенія—«Метафизика міровыхъ процессовъ»:

«Реформа философій, произведенная «Метафизикой міровыхъ процессовъ», сосредоточивается въ ея идеѣ сознанія (и воли), *какъ небытія* *). То, что до меня опредѣлялось только общимъ, абстрактнымъ образомъ—*какъ чистая форма*—приведено мною къ *конкретному* опредѣленію—*какъ небытія*. До меня не было именно очевиднымъ, что разъ сознаніе (или воля) опредѣляется *чистой формой*, оно и необходимо должно быть признано *небытіемъ*». (Стр. 22, афоризмъ XLVII).

Понятно, что если исторія философій отнынѣ раздѣляется на два періода: до Оедора Шнерка и послѣ Оедора Шнерка,—то самое скромное, что можетъ сдѣлать Оедоръ Шнеркъ, это сопоставить себя, но крайней мѣрѣ, съ послѣднимъ моднымъ европейскимъ мыслителемъ. Онъ такъ и поступаетъ. Не входя въ подробности, кратко, ланидарно, онъ объявляетъ: «Актуальное въ Ницше—потенціально

*) Куревнѣ въ цитатахъ вездѣ г. Шнерка.

во мнѣ: актуальное во мнѣ—потенціально въ Ницше» (Стр. 36, афоризмъ LXXV).

Кромѣ, однако, этой разницы между двумя претендентами на послѣднее слово въ философін. разницы, на которую самъ г. Шперкъ указываетъ, есть еще и другая, объ которой онъ не говоритъ, но для установленія которой дастъ весьма цѣнный матеріалъ. Ницше жаждалъ славы, и не только для себя, ибо и въ принципѣ полагаетъ, что люди должны стремиться «на тысячелѣтіяхъ отпечатать свою руку». Г. Шперкъ не хочетъ тысячелѣтій, уклоняется отъ безсмертія. Онъ говоритъ: «То, что наиболѣе драгоцѣнно человѣку, онъ хранитъ не въ памяти своей, а въ своемъ сердцѣ. Очевидно, и то, что наиболѣе дорого человѣчеству—оно хранитъ не въ памяти, а въ душѣ своей. Сокровенныхъ друзей своихъ оно покрываетъ не блескомъ *холоднаго безсмертія*, а сердечнымъ забвеніемъ, цѣломудрымъ безмолвіемъ и тѣмъ, что не можетъ быть суетно—тайной. И если мнѣ только дано спросить—о, материнское сердце человѣчества,—и меня, и мою истину покрой забвеніемъ, цѣломудріемъ тѣни и истиной тайны. Не въ памяти, а въ чувствѣ, въ *несознаваемомъ чутьѣ* своемъ удѣли мнѣ *тихое*, удѣли мнѣ *скромное* мѣсто — тамъ близъ несравненнаго для меня Гильшера, близъ глубокомысленнаго и чистаго друга Suarez».

Это заключительныя строки «Афоризмовъ».

Читатель, можетъ быть, догадывается теперь, почему г. Ѳеодоръ Шперкъ напоминаетъ мнѣ того человѣка, который у Островскаго дюми-терью дѣлаетъ. Какъ и тотъ, онъ дѣлаетъ что-то «широкое такое, добротное» — «реформу въ философін», «истину»: но, какъ и тотъ, онъ окруженъ таинственностью, и если и появляется на сценѣ, то тотчасъ же умоляетъ «материнское сердце человѣчества» освободить его отъ «холоднаго безсмертія», забыть и его, и его реформу философін, и его истину, удѣлить ему въ безпредѣльной области неизвѣстнаго мѣсто рядомъ съ несравненнымъ Гильшеромъ и глубокомысленнымъ Suarez, которые, надо думать, тоже дюми-терью дѣлали.

Не насъ съ вами, читатель, умоляетъ г. Ѳеодоръ Шперкъ о забвеніи; не насъ, а «материнское сердце человѣчества». Съ другой стороны, однако, отчего же и намъ ему въ этомъ дѣлѣ не помочь. Какъ съ міру по ниткѣ—голому рубаха, такъ можетъ быть удастся и это устроить: я забуду, вы забудете, онъ, они, онѣ забудутъ, и такимъ способомъ, можетъ быть, наконецъ, и человѣчество согласится выпустить г. Ѳеодора Шперка изъ темницы безсмертія на волю забвенія. Это даже чрезвычайно вѣроятный исходъ при нѣкоторомъ усилии. Забудемъ же дѣленіе исторіи философін на два періода: до Ѳеодора Шперка и послѣ Ѳеодора Шперка: покроемъ «цѣломуд-

ріємъ тѣни и истинной тайны» и его реформу философін, и его истину. Но воспользуемся всетаки случаемъ хоть немножко при-смотреться къ самому тѣну и къ характеру изготовляемой имъ матерін.

Шутка сказать: сдѣлалъ кусокъ дюми-термо и такъ дешево его отдастъ, что даже безсмертія не хочеть! Нынѣ много такихъ скромныхъ людей развелось и много варьянтовъ ихъ есть (ныне и отъ безсмертія не отказываются). Я бы хотѣлъ въ настоящей бесѣдѣ обратить ваше вниманіе на тотъ именно варьянтъ, который, требуя себѣ благодарности отечества или челоуѣчества (или что то же, великодушно отказываясь отъ нея, какъ г. Шперкъ), вмѣстѣ съ тѣмъ въ мутной водѣ рыбу ловятъ. Это и г. Шперкъ дѣлаетъ.

Все въ тѣхъ же «Афоризмахъ» находимъ слѣдующія глубокія соображенія:

«Мы не думаемъ отрицать, напротивъ, мы будемъ утверждать, что христіанская любовь (категорія Духа), во всестороннемъ осуществленіи своемъ, составляетъ предметъ индивидуальныхъ стремленій и потребностей русскаго народа и смыслъ и цѣль его исторической жизни. *Но неужели не на самоуваженіи личности будетъ построено милосердіе*, неужели мы отвергнемъ западно-европейскій фундаментъ для своего построенія?» И далѣе: «Семитическое сознаніе осуществило въ исторіи категорію Плоти. Римъ, въ своемъ правѣ, выработалъ сознаніе основныхъ элементовъ категорін Личности; вполнѣ реализована эта категорія западно-европейской цивилизаціей. Осуществленіе закона третьей сферы души челоуѣческой—категорін Духа или любви предстоить, по всей видимости, *нашему народу*. Естественное слѣдованіе душевныхъ сферъ (первая—категорія Плоти или сфера цѣломудрія, вторая—категорія Личности или сфера самоуваженія, третья—категорія Духа или сфера любви) вполнѣ совпадаетъ съ историческимъ слѣдованіемъ носителей ихъ. Первоначально выступаетъ въ исторіи семитическое племя; вторымъ выдвигается романскій духъ, затѣмъ его дополняющій—германскій; третьимъ, послѣднимъ, выступаетъ славянство».

Это въ «Афоризмахъ» изложено. А затѣмъ въ «Гражданинѣ» г. Федоръ Шперкъ далъ и образчикъ практическаго примѣненія своей философско-исторической схемы. А именно: «Кто знаетъ, — тѣ безобразія, которыя происходятъ на Западѣ и столь краснорѣчиво говорятъ намъ о несомнѣнномъ паденіи личности, о затмѣеніи въ ней чувства уваженія къ себѣ, не суть ли они послѣдствія того, что цивилизація отвергла розгу и съ ней единственное средство возстановленія разрушенной совѣсти челоуѣка».

Вотъ. Вы видите, что всѣ эти категорін и сферы европейскаго самоуваженія и русской или вообще славянской любви, — все это

только взбаломученная словесная вода, изъ которой г. Ѳеодоръ Шперкъ неожиданно выудилъ рыбу — розгу, повидимому, ничего общаго не имѣющую ни съ самоуваженіемъ, ни съ любовью. Но ловля рыбы въ мутной водѣ—это только метафора, а въ дѣйствительности мы получили образчикъ той матеріи, которую изучить хотимъ. Мнѣ, по крайней мѣрѣ, въ такомъ именно видѣ представляется тотъ дюми-термо, выдѣлкой котораго у Островскаго «знакомый человѣкъ» занимается: совершенно фантастическій переплетъ якобы специально русскихъ и якобы специально иностранныхъ нитей съ вытканными на немъ вполне произвольными узорами, отвѣчающими, однако, извѣстнымъ современнымъ вкусамъ. Но вкусы бываютъ разные, а потому производители означенной матеріи ткуютъ и узоры разные, совсѣмъ даже противоположнаго характера, но одинаково требуютъ себѣ, если не безсмертія, то титула патріотовъ, спасителей отечества, или же—съ другой стороны — защитниковъ тѣхъ или другихъ общечеловѣческихъ началъ...

Въ одной изъ бесѣдъ 1893 г. съ читателями «Русскаго Богатства» мнѣ пришлось говорить о книгѣ нѣкоего Виктора Гена (*De moribus Ruthenorum. Zur Charakteristik der russischen Volksseele*). Этотъ долго жившій въ Россіи нѣмецъ, обливъ «русскую расу» всевозможными помоями, выразилъ надежду, что она будетъ совсѣмъ истреблена, а въ ожиданіи этого счастливаго для цивилизаціи момента онъ предлагаетъ всѣхъ русскихъ людей сѣчь розгами и иными способами «физически поступать» съ ними. Генъ самымъ искреннимъ образомъ безъ всякихъ прикрасъ ненавидитъ и презираетъ все русское. Но вотъ люди, объявляющіе себя нарочитыми сынами отечества, держащіе, какъ они искренно думаютъ или лицемерно говорятъ, знамя Россіи особенно высоко, направо и налево разсыпашіе укоры въ недостаткѣ патріотизма,—они сходятся на этомъ пунктѣ съ злобнымъ ненавистникомъ «русской расы»: физически поступать съ русскимъ человѣкомъ надо. Правда, нѣкоторые (какъ и г. Ѳеодоръ Шперкъ) простираютъ розгу далеко за предѣлы Россіи, предлагая и Западной Европѣ вспомнить это «единственное средство возстановленія разрушенной совѣсти человѣка»: дескать, внесли вы во всемірную сокровищницу плоды «категоріи личности и сферы самоуваженія» и теперь пора вамъ приобщиться къ «категоріи духа и сферы любви», пора вамъ сѣчься. Однако, это только безнадежныя *pia desideria*, и въ огромномъ большинствѣ случаевъ наши «патріоты своего отечества» (тоже Островскаго словечко!) именно для русскаго народа требуютъ розги, для того самаго избраннаго народа, который призванъ «вверху стоять, что городъ на горѣ, дабы всѣмъ виденъ былъ», который окраситъ будущее человѣчество принципомъ любви...

Надо замѣтить, что современные патріоты своего отечества совершенно напрасно усиливается установить свое происхожденіе отъ славянофиловъ. Какъ бы ни были эти послѣдніе односторонни и неправо-притязательны, но они съ презрѣніемъ отвернулись бы отъ своихъ самозванныхъ преемниковъ. Напримѣръ, Константинъ Аксаковъ писалъ: «Тѣлесное наказаніе есть возведеніе побоевъ въ законъ, есть узаконеніе грубой силы. Побой, равно какъ и драка, и всякое (прямое) проявленіе грубой силы, могутъ быть признаны въ мірѣ, какъ случайность: такой взглядъ отнимаетъ у нихъ общее значеніе безирравственное, въ томъ смыслѣ, что осуждаетъ ихъ. Но побой, возведенные въ законъ, становятся явленіемъ положительно безирравственнымъ, ибо этотъ взглядъ ихъ оправдываетъ и утверждаетъ... Прибавимъ сюда весьма важное обстоятельство. Именно: древняя Русь не знала тѣлеснаго наказанія. Въ ней грубая сила являлась, какъ случайность, но никогда, какъ законъ. Тѣлесное наказаніе — это подарокъ татарскій» («Русь» 1883, № 5).

Вѣрно ли послѣднее замѣчаніе Аксакова. — я не знаю, да въ данную минуту не это для насъ и интересно. Интересно желаніе одного изъ первоучителей славянофильства смыть съ русскаго имени позорное пятно даже въ глубокой исторической дали. Спрашивается, какъ бы взглянуть этотъ человѣкъ на нынѣшнихъ сыновъ отечества, столь единомысленныхъ съ злобными ненавистниками Россіи, вроде Виктора Гена? Съ точки зрѣнія такого ненавистника понятно желаніе видѣть насъ, русскихъ, даже съ урѣзанными языками или лишенными дара членораздѣльной рѣчи, битыми и всячески униженными. Но какъ связать это желаніе съ разсужденіями на тему о «любви къ отечеству и народной гордости»? Каковы бы ни были грѣхи славянофиловъ, но то своеобразное, мистически величавое освѣщеніе, въ которомъ имъ рисовались далекое прошлое и будущее русскаго народа, обязывало ихъ ко многимъ дѣйствительно возвышеннымъ требованіямъ въ практической программѣ настоящаго. И нынѣшнимъ патріотамъ своего отечества слѣдовало бы прежде всего самымъ рѣзкимъ образомъ отгородить себя отъ славянофиловъ. Это я теперь не о г. Федорѣ Шеркѣ говорю; онъ то себя, пожалуй, и отгораживаетъ. Онъ говоритъ: «Славянофилы наши проглядѣли *общее*, къ чему стремился и что созидать Западъ; они уразумѣли только обстановку, только средство и потому-то возненавидѣли его». Затѣмъ онъ прибавляетъ, какъ мы уже видѣли: «*Неужели не на самоуваженіи личности будетъ построено милосердіе*, неужели мы отвергнемъ западно-европейскій фундаментъ для своего построения?» А еще далѣе онъ, подобно фокуснику, неожиданно выливающему яичницу изъ пустой шляпы, достаетъ изъ

категоріи духа и сферы любви розгу и предлагаетъ ее самоуважающейся личности. У г. Федора Шперка разныя сферы и категоріи въ чехарду играютъ, а потому и его отгораживаніе отъ славянофильства не въ счетъ. Въ большинствѣ случаевъ патріотическіе рыцари розги и кулака позорятъ тѣни славянофиловъ своими претензіями на родство съ ними и своими чадными фиміамами по ихъ адресу. Они опираются при этомъ на славянофильское отношеніе къ Западу и къ иностраннымъ влияніямъ въ Россіи. Многогрѣшны въ этомъ направленіи славянофилы, но, не смотря на глухіе переулки, въ которые они попадали, они, по крайней мѣрѣ, въ принципѣ разумѣли свой народъ именно тѣмъ народомъ, который долженъ «жить и жить давать другимъ». Весьма далеки отъ такого отношенія къ иноплеменикамъ современные патріоты своего отечества.

Надо, впрочемъ, замѣтить, что вся Европа переживаетъ въ своихъ международныхъ дѣлахъ какой-то странный кризисъ. По случаю кончины императора Александра III. европейская печать съ благодарностью поминала тринадцать лѣтъ его царствованія, какъ безъ перерыва мирное время, при чемъ указывалось на рѣшающую роль русской внѣшней политики. Роль эта была тѣмъ труднѣе, что какъ разъ за это время въ семьѣ европейскихъ народовъ накопился давно небывалый запасъ взаимной національной ненависти. Это, конечно, наслѣдіе прошлаго, той жестокой схватки, которая нанесла Франціи незалѣчимую рану, но вмѣстѣ съ тѣмъ это факторъ настоящаго и, можно опасаться, будущаго. Национальный принципъ можетъ, смотря по обстоятельствамъ, получить и очень благородную, и очень низменную окраску. Стоитъ только сопоставить моментъ объединенія Италіи, которое было дѣломъ освобожденія, съ моментомъ созданія Германской имперіи, которое было дѣломъ поглощенія и насилія. Этотъ послѣдній, истинно несчастный моментъ исторіи надолго наложилъ свою печать на жизнь европейскихъ народовъ, не только въ видѣ чудовищныхъ военныхъ бюджетовъ, подъ тяжестью которыхъ задыхается цивилизація, но и въ видѣ нѣкотораго внутренняго переворота въ національной психикѣ Европы. До того могло казаться, при томъ людямъ отнюдь не утопическаго склада мысли, что національному вопросу въ острой, кровавой формѣ предстоитъ имѣть лишь освободительный характеръ, какой и имѣли въпослѣдствіи герцеговинское возстаніе и русско-турецкая война. Въ старой же Европѣ, казалось, международныя перегородки если не совсѣмъ рухнули, то вотъ-вотъ рухнуть и останутся лишь междусословныя, которыми и опредѣлится дальнѣйшее теченіе европейской исторіи. Международное единеніе торжествовало, казалось, въ наукѣ, въ промышленности, въ средѣ рабо-

чихъ классовъ и проч. Интересы и идеалы англичанина, француза, итальянца, нѣмца стояли, повидимому, на пути къ тому, чтобы раствориться въ общеевропейскихъ интересахъ и идеалахъ землевладельца, капиталиста, рабочаго и т. д. Ужасы франко-прусской войны рѣзко повернули Европу съ этого пути, разбудили готовое задремать сознание племенныхъ особенностей въ неприглядной формѣ самолюбія, взаимнаго недовѣрія, ревности, ненависти и объединили этими отрицательными чувствами группы населенія, но существу имѣющія мало общаго между собою. Все это, понятно, должно было ярче, чѣмъ гдѣ-нибудь, сказаться во Франціи, и не только по отношенію къ Германіи. Здѣсь дѣло стоитъ просто и ясно, слишкомъ просто и ясно — и въ официальной, и въ, такъ сказать, интимной Франціи. Но зараза распространяется во все стороны. Вспомнимъ ту слѣдную ярость, съ которою, послѣ убійства Карно, французы набрасывались на все итальянское, какъ будто итальянская нація отвѣстна за убійство и какъ будто въ самой Франціи не было людей, готовыхъ на это кровавое дѣло. Вспомнимъ злорадство, съ которымъ отмѣчалось еврейское происхожденіе Дрейфуса, да и вообще антисемитическое движеніе. Въ этихъ частностяхъ общее называется. Само собою складывается то положеніе, котораго искусственными мѣрами всегда добивался Наполеонъ III: общественное вниманіе отвлекается отъ внутреннихъ дѣлъ къ внѣшнимъ и даже внутреннимъ, домашнимъ дѣламъ получаютъ оттѣнокъ какъ бы иностранной политики. Это даже на художественной литературѣ отражается. Послѣ германскаго погрома Франція широко растворила было двери для иностранныхъ вліяній въ литературѣ, — русскихъ, скандинавскихъ, нѣмецкихъ, признавъ, что и въ чуждыхъ ей доселѣ литературахъ, на которыя она привыкла смотрѣть сверху внизъ, даже не зная ихъ, ей есть чему поучиться. Но теперь уже раздаются протестующіе голоса, и между ними есть довольно громкіе. Такъ, напримѣръ, извѣстный критикъ Жюль Леметръ нанечаталъ въ послѣдней книжкѣ «Revue des Deux Mondes» за прошлый годъ статью, въ которой выражается опасеніе за будущность національнаго французскаго гения, но и надежду, что онъ скоро воспріянетъ въ своей оригинальности; вмѣстѣ съ тѣмъ Леметръ старается доказать, что вклады шоплеменниковъ во французскую литературу давно ею самую предвосхищены, что Гюссенъ самъ есть какъ бы порожденіе Жоржъ Зандъ и Дюма-сына, Толстой и Достоевскій — Флобера и т. д. Дѣло не въ вѣрности или невѣрности этихъ послѣднихъ разсужденій, — въ частностяхъ тутъ много вздора и прямого незнанія, но въ общемъ, несомнѣнно, Франція дала человѣчеству столько, что кое-что изъ получаемаго ею теперь извнѣ — въ ней же имѣетъ свои корни. Но для насъ теперь любопытна звучащая въ статьѣ Леметра

нота ревности и враждебности по отношенію къ иноплеменикамъ со включеніемъ столь, повидимому, громогласно дружественныхъ. какъ мы, русскіе. Съ этою нотою собственно у Леметра русскіе читатели могли познакомиться изъ изданныхъ зачѣмъ-то въ Одессѣ его статей о «Преступленіи и наказаніи» Достоевскаго и «Грозѣ» Островскаго (№ 4 «Международной бібліотеки»), въ каковыхъ статьяхъ онъ, между прочимъ, обнаружилъ совершенное непониманіе перловъ русской литературы. Это не мѣшаетъ ему въ статьѣ «Revue des Deux Mondes» утверждать, что французы — «единственный народъ, склонный предпочитать другихъ себѣ». Казалось бы, о французахъ то ужъ никакъ нельзя сказать это, но такъ всегда говорятъ подобные патріоты своего отечества въ благоприятные для нихъ историческіе моменты. Безмѣрно предаваясь національному самохвалству, они видятъ, однако, въ своемъ родѣ «единственный», непремѣнно единственный народъ, «склонный предпочитать другихъ себѣ», и берутъ на себя обязанность восполнить этотъ недостатокъ увеличеніемъ иноплемениковъ, вѣншихъ и внутреннихъ, въ разныхъ козняхъ.

Не будемъ слѣдить за этимъ болѣзненнымъ обостреніемъ національнаго чувства въ другихъ европейскихъ странахъ, хотя на нѣкоторыхъ особенныхъ его формахъ было бы очень любопытно остановиться. Вернемся въ Россію.

Ахъ! намъ такъ знакомо изреченіе Леметра о единственномъ народѣ, и эти ревнивыя и злобныя рѣчи, и это распространеніе пріемовъ вѣншей политики на внутреннѣ дѣла. «Все французъ гадить», — говорилъ Гоголевскій почтмейстеръ, а самъ почтмейстеръ и Сквозникъ-Дмухановскій, и Тяпкинъ-Ляпкинъ, и Держиморда, и Добчинскій съ Бобчинскимъ превосходны. Выходятъ иногда вещи поистинѣ изумительныя. Напримѣръ, извѣстная часть нашей печати, мнящая себя патріотическою по преимуществу, уже много лѣтъ съ пѣною у рта говоритъ о Финляндіи. 2¹/₂ милліона населенія этой суровой страны никогда не причиняло Россіи ни малѣйшаго безпокойства, и тѣмъ не менѣе мы придираемся къ каждому, даже совершенно неподходящему случаю, чтобы въ чемъ-то уличить это маленькое, трудолюбивое, хорошо у себя устроившееся населеніе. Если въ Финляндіи кто-нибудь чихнетъ по своему, то въ Москвѣ уже бьютъ въ набатъ, серьезно, повидимому, полагая, что это патріотическій подвигъ, за который надо требовать титула спасителя отечества. Я бы еще понималъ, если бы руководящимъ чувствомъ была при этомъ зависть, потому что намъ, дѣйствительно, есть чему позавидовать въ Финляндіи, хотя бы, напримѣръ, тому, что тамъ меньше нищеты и больше грамотности, чѣмъ у насъ. И это, конечно, не хорошее чувство, но оно всетаки можетъ быть свя-

зано съ любовью къ родинѣ и, при этомъ условіи, требовало бы, по крайней мѣрѣ, заботъ объ умаленіи нищеты и усиленіи грамотности и чувства собственного достоинства у себя дома. Но означенная часть нашей печати въ большинствѣ случаевъ считаетъ грамотность дѣломъ вреднымъ и раздѣляетъ мнѣніе г. Федора Шерка о розгѣ, какъ о «единственномъ ередствѣ возстановленія разрушенной совѣсти человѣка». Она поэтому вовсе не расположена завидовать Финляндіи. Но точно такъ же не думаетъ она объ томъ, чтобы пріобрѣсти или укрѣпить добрыя отношенія Финляндіи къ Россіи и ко всему русскому. Она, съ своей стороны, дѣлаетъ все, чтобы возбудить въ Финляндіи ненависть къ русскому имени. И, такимъ образомъ, ея претензія не только на монополію патріотизма, но даже на самую простую, естественную любовь къ родинѣ не оправдывается ни съ какой точки зрѣнія.

Я не буду распространяться на эту тему и укажу только, да и то вкратцѣ, на одно изъ послѣдствій такого отношенія къ иноземникамъ. Оно порождаетъ противоположную крайность—какую-то странную конфузливость по отношенію къ какимъ бы то ни было русскимъ достоинствамъ, къ самой возможности признанія ихъ («что ужъ! гдѣ ужъ намъ!»), и столь же прямолинейную заигу иноземнаго, сколь прямолинейны въ противоположномъ лагерѣ нападки на него. Если тамъ, въ томъ лагерѣ, стремятся зажать всѣмъ ротъ монополіей патріотизма, то здѣсь тоже зажимаютъ всѣмъ ротъ, но монополіей гуманныхъ идей.

Читатель, можетъ быть, помнитъ нѣсколько словъ, сказанныхъ мною въ замѣткахъ о книжкѣ г. Струве совсѣмъ мимоходомъ объ инородцахъ, дурно пишущихъ по-русски, которые, однако, берутся учить русскому языку русскихъ писателей. Эти нѣсколько словъ вызвали слѣдующую отповѣдь г. А. С. въ декабрьской книжкѣ «Вѣстника Европы». Считаю нужнымъ прибавить, что лишь съ большой неохотой поднимаю перчатку, брошенную мнѣ г-мъ А. С., такъ какъ бросилъ онъ ее въ «Вѣстникъ Европы», съ которымъ «Русское Богатство» меньше всего желало бы имѣть въ настоящее время какое бы то ни было столкновеніе. Г. А. С. пишетъ:

Г. Струве будто бы «инородецъ», и ему не подобаетъ учить русскихъ писателей русскому языку. А между тѣмъ,—говоритъ далѣе г. Н. Михайловскій,—у насъ къ инкрустации вопросительныхъ и восклицательныхъ знаковъ въ цитатахъ изъ русскихъ писателей чаще всего прибѣгаютъ «шестуюше по всѣмъ языкамъ инородцы». Эти мнимыя притязанія «инородцевъ», за дѣвшающихся г. Михайловскаго своей критикой, кажутся ему неумѣстными, надобными и скучными. До сихъ поръ мы думали, что разыскивать «инородцевъ» въ литературѣ и примѣшивать національно-племенные вопросы къ литературнымъ спорамъ свойственно лишь извѣстной части «патріотической» печати; оказывается, однако, что въ этомъ отношеніи даже такой про-

греснисть, какъ г. Михайловскій, не брезгуеть полемическими приѣмами, составляющими еpecialьность худшихъ элементовъ нашей журналистики. Насколько намъ извѣстно, г. Струве такой же инородецъ», какъ и многіе другіе русскіе люди съ нѣмецкими фамиліями. Мы уже не говоримъ о нелѣпости самой мысли о томъ, что писатели съ не-русскими фамиліями, какъ Даль или Я. Гротъ, не могутъ быть лучшими знатоками русскаго языка, чѣмъ люди чисто русскіе по имени, но «беззаботные» насчетъ руссiйской грамотности; да и самъ академикъ Востоковъ, несомнѣнный знатокъ русскаго, родился съ инородческимъ именемъ—Остенъ, въ переводѣ съ нѣмецкаго—Востоковъ. Какъ бы ни были мало основательны вопросительные и восклицательные знаки г. Струве, но дѣлаемый по этому поводу г. Михайловскимъ розыскъ объ «инородцахъ» еще менѣе основателенъ и раскрываетъ лишь печальную и не симпатичную черту нашихъ литературныхъ нравовъ или лучше сказать, отсутствіе всякихъ нравовъ.

Г. Струве въ своей книжкѣ замѣтилъ, «что г. Михайловскому всякій руснализмъ былъ всегда совершенно чуждъ». Приведя эти его слова, я прибавилъ, что «всегда готовъ у всякаго инородца поучиться тому, что онъ знаетъ, и почитать въ немъ тѣ достоинства, которыми онъ обладаетъ». Для знакомыхъ съ моею литературною дѣятельностью, полагаю, несомнѣнно, что это не фраза. Но г. Л. С. принадлежитъ къ числу тѣхъ людей, которые съ страстнымъ нетерпѣніемъ ждутъ, чтобы кто-нибудь сказалъ слово «инородецъ», дабы немедленно зазвонить въ колокола гуманныхъ идей. Я цѣликомъ выписалъ все замѣчаніе г. Л. С. Въ немъ нѣтъ ничего, кромѣ этой взбаламученной словесной воды, изъ которой авторъ благополучно выуживаетъ нужную ему рыбу—«розыскъ объ инородцахъ». А нужна она ему для того, чтобы рядомъ съ тѣми, кто высоко держитъ «патріотическое» знамя, явиться знаменосцемъ гуманизма...

Г. Л. С. даже «не говоритъ о нелѣпости самой мысли о томъ», что Даль, Гротъ, Востоковъ могутъ знать русскую грамоту лучше, чѣмъ люди съ русскими фамиліями. Онъ «не говоритъ» и, однако, говоритъ. Но и то, и другое совершенно напрасно, ибо упомянутой «нелѣпой мысли» я не высказывалъ и даже вообще ни *единого слова* не сказалъ о не-русскихъ или русскихъ фамиліяхъ. Г. Л. С. заговорилъ объ этомъ сюжетѣ исключительно для того, чтобы взмутить воду. Г. Л. С. проливаетъ слезы объ упадкѣ или даже объ «*отсутствіи*» всякихъ нравовъ» (это утъ что-то очень сильно) въ нашей литературѣ, ибо, дескать, вотъ и я «разыскиваю инородцевъ въ литературѣ и примѣшиваю національно-племенные вопросы къ литературнымъ спорамъ». Г. Л. С. очень трогательно плачетъ; почти также трогательно, какъ тотъ актеръ, котораго расхваливаетъ Гамлетъ:

Не дивно ли: актеръ, при тѣни страсти,
При вымыселѣ пустомъ, быть въ состоянн
Своимъ мечтамъ всю душу покорить:

Его лицо отъ силы ихъ блѣднѣеть,
 Въ глазахъ слеза дрожить и млѣть голосъ,
 Въ чертахъ лица отчаяніе и ужасъ,
 И весь составъ его покорень мысли,
 И все изъ ничего—изъ-за Гекубы!
 Что онъ Гекубѣ, что она ему?

Да, что ему Гекуба? что г. Л. С. литература и ея права, когда онъ тутъ же являетъ образчикъ самыхъ низменныхъ литературныхъ нравовъ? «Литературный споръ» у насъ съ г. Струве шель объ томъ, должна ли Россія «идти на выучку къ капитализму», и въ этомъ спорѣ, во всей его обширности и со всѣми его развѣтвленіями, я опять-таки *ни единымъ* словомъ не упомянулъ объ инородчествѣ г. Струве. Но когда г. Струве поучаетъ меня при помощи вопросительныхъ знаковъ русскому языку, то я именно отказываюсь съ нимъ спорить, ибо «до сихъ поръ онъ былъ больше нѣмецкій писатель, чѣмъ русскій, и въ настоящей своей работѣ употребляетъ иногда нѣмецкія слова, когда ихъ очень легко сказать по-русски (слѣдуютъ примѣры), а по-русски онъ можетъ говорить о «побѣдоносномъ шествіи по всѣмъ языкамъ». Это послѣднее, невозможное по-русски словосочетаніе принадлежитъ не мнѣ, какъ можно думать по ковычкамъ г. Л. С., а г. Струве. И спрашивается, неужели же въ самомъ дѣлѣ можетъ меня учить русскому языку человѣкъ, «шествующій по всѣмъ языкамъ», хотя бы онъ и обладалъ въ другихъ отношеніяхъ всевозможными достоинствами и знаніями? И неужели сказать ему это—значить производить розыскъ объ инородцахъ и примѣшивать національно-племенные вопросы къ литературному спору? Но когда труба трубитъ, боевой конь бьетъ копытомъ и ржетъ, и то же самое дѣлаютъ господа вродѣ Л. С., когда услышатъ слово «инородецъ». Имъ кажется, что въ самомъ этомъ словѣ заключается уже обида, тогда какъ оно есть простое обозначеніе факта, ничего дурного въ себѣ не заключающаго. У насъ было одно время въ модѣ выписывать изъ Чехіи и Галиціи учителей древнихъ языковъ. Извѣстно, что одинъ изъ нихъ перевелъ знаменитое изреченіе Сенеки — *ars longa vita brevis*—такъ: штука длинна, животъ коротокъ. Этотъ учитель могъ быть прекраснымъ во всѣхъ отношеніяхъ человѣкомъ и прекрасно знать латинскій языкъ, но въ учителя русской гимназіи онъ, очевидно, не годился именно въ качествѣ инородца, на что литература уже прямо обязана была обратить вниманіе. Но господа, вродѣ Л. С., могли, конечно, и по этому поводу мутить воду и звонить въ колокола гуманизма, и лить слезы о Гекубѣ...

Но я пойду дальше, оставляя совершенно въ сторонѣ г. Струве и его русскій языкъ. Помните ли вы удивительные стихи Лермонтова:

Угасъ, какъ свѣточъ, дивный геній,
 Увяль торжественный вѣнокъ!
 Его убійца хладнокровно
 Навель ударъ—спасенія нѣтъ:
 Пустое сердце бьется ровно,
 Въ рукѣ не дрогнетъ пистолеть.
 И что за диво?.. Издалека,
 Подобно сотнямъ бѣглецовъ,
 На ловлю счастья и чиновъ
 Зброшенъ къ намъ по волѣ рока,
 Смѣясь, онъ дерзко презиралъ
 Земли чужой языкъ и нравы:
 Не могъ щадить онъ нашей славы,
 Не могъ понять въ сей мигъ кровавый
 На что онъ руку поднималъ!

Воображаю, какія слезы долженъ проливать по поводу этихъ стиховъ г. Л. С. Это вѣдь явный розыскъ инородцевъ. И такъ удобно по этому случаю говорить или «не говорить» о «нелѣпой мысли», будто только у людей съ не-русскими фамиліями или даже только у завѣдомыхъ инородцевъ «пустое сердце бьется ровно», когда они «не щадятъ нашей славы». Доказательство на лицо: самъ разыскивавшій инородцевъ г. Лермонтовъ былъ убитъ чисто русскимъ человѣкомъ, Мартыновымъ... О, г. Лермонтовъ, какъ низокъ вашъ нравственный уровень въ сравненіи съ тѣмъ, на которомъ высится величавый образъ г. Л. С.! Я думаю, однако, что въ извѣстной степени г. Лермонтовъ всетаки защитимъ. Ибо вѣдь «нелѣпой мысли» и т. д. онъ и не высказывалъ. Онъ, какъ и изъ всей его поэзіи видно, очень хорошо понималъ, что среди его соотечественниковъ и соплеменниковъ даже слишкомъ много людей съ пустымъ сердцемъ, а среди иноплемениковъ есть люди и великаго сердца, и великаго ума. Но достовѣрно, что Пушкина убилъ иноплеменикъ другого сорта, что онъ дѣйствительно былъ «издалека, подобно сотнямъ бѣглецовъ, на ловлю счастья и чиновъ зброшенъ къ намъ по волѣ рока», что дѣйствительно, «смѣясь, онъ дерзко презиралъ земли чужой языкъ и нравы». И хотя въ числѣ «свободы, генія и славы палачей», которымъ Лермонтовъ грозилъ, что они не смогутъ всей своей черной кровью «поэта праведную кровь», были коренные русскіе, но иноплемениность убійцы сыграла всетаки свою роль въ этой грустной и гнусной исторіи. Я поэтому не рѣшился бы привлечь Лермонтова къ суду г-на Л. С. по дѣлу о розыскѣ инородцевъ. Не рѣшился бы притануть и, напри- мѣръ, историка Соловьева хотя бы за слѣдующія его слова: «Биронъ и Левенвольды, по личнымъ своимъ средствамъ вовсе недостойные занимать высокія мѣста, вмѣстѣ съ толпою иностранцевъ, ими поднятыхъ и имъ подобныхъ, были тѣми паразитами, которые

производили болѣзненное состояніе Россіи въ царствованіе Анны. Бироу не былъ развращеннымъ чудовищемъ, любившимъ зло для зла; но достаточно было того, что онъ былъ чужой для Россіи, былъ чуждымъ, не умѣявшимъ своихъ корыстныхъ стремленій другими высшими: онъ хотѣлъ воспользоваться своимъ случаемъ, своимъ временемъ, фаворомъ, чтобы пожить хорошо на счетъ Россіи».

Читатель понимаетъ, что такихъ страницъ, подлежащихъ суду г. Л. С. за розыскъ объ инородцахъ, я могъ бы привести очень много, при томъ изъ писателей, отнюдь не принадлежащихъ къ числу «патріотовъ своего отечества». Увы! русская исторія представляетъ достаточно матеріаловъ для подобныхъ страницъ. Начиная монголами, инородцы не разъ распоряжались на Руси, при чемъ, «смѣясь, дерзко презирали земли чужой языкъ и права», и уже фактъ этого властнаго презрѣнія не могъ не отражаться печальнѣйшими послѣдствіями. Однимъ изъ этихъ послѣдствій является почти презрительное и во всякомъ случаѣ недоумѣнное отношеніе къ самимъ себѣ, къ своимъ силамъ: «что ужъ! гдѣ ужъ намъ!» Многіе у насъ лишь съ большимъ трудомъ, и то только послѣ аттестаціи, выданной европейцами, признали огромную всемірную цѣнность нѣкоторыхъ нашихъ художниковъ слова. Это отзывается и въ практической области. Мы иной разъ боимся навлечь о насъ ударить хотя бы ради той же литературы, наденемъ правовъ которой готовы оплакивать: «гдѣ ужъ намъ!» Я не хочу этимъ сказать, разумѣется, чтобы мы въ дѣйствительности были вообще превосходны и въ частности никогда не презирали земли чужой языкъ и права, — нѣтъ, это очень часто бывало и посейчасъ продолжается, — или что намъ слѣдуетъ замкнуться китайской стѣной отъ иностранныхъ вліяній, — это была бы смерть. Но неужели же такъ трудно разобраться во всемъ этомъ и установить точку зрѣнія, съ которой свое и чужое добро и зло находятъ себѣ надлежащее мѣсто? Дѣло, повидимому, чрезвычайно просто: Востоковъ или Остенъ превосходно изучилъ русскій языкъ, и мы учились по его грамматикѣ: г. Струве очень плохо выражается по-русски, а потому не его дѣло учить насъ русскому языку. Но у насъ этого нельзя даже мимоходомъ сказать безъ риска вызвать странное замѣчаніе о неприличіи розыска инородцевъ. И это будетъ сдѣлано во имя гуманныхъ идей, которыя, однако, тутъ совершенно не при чемъ. Съ другой стороны, нельзя сказать доброе слово о финнахъ, евреяхъ и проч., не рискуя вызвать громы «патріотовъ», тогда какъ опять-таки любовь къ отечеству тутъ рѣшительно не при чемъ. Въ результатѣ идея патріотизма, столько разъ призывавшая людей къ великимъ подвигамъ, это, по выраженію Щедрина, «звено, которое пріобщаетъ насъ къ извѣстной средѣ и заставляетъ насъ радоваться такими радостями

и страдать такими страданіями, которыя во многихъ случаяхъ могутъ затрогивать насъ лишь самымъ отдаленнымъ образомъ: эта школа, въ которой человѣкъ развивается къ воспринятію идео о чело-вѣчествѣ».—у насъ совершенно ошолпилась. Еще немного—и такъ же ошолплятся общечеловѣческія, гуманная идеи... Когда же это кончится? Когда получимъ мы возможность свободно говорить о своемъ и чужомъ свѣтѣ и мракѣ?

Недавно въ «Новомъ Времени» сдѣлано было замѣчаніе, что я слишкомъ избалованъ снисходительностью своихъ читателей. въ раз-счетъ на которую, дескать, позволяю себѣ отрывочную и скачко-образную рѣчь. Я думаю, что этотъ мой недостатокъ слѣдуетъ объ-яснять другими, менѣе для меня пріятными обстоятельствами, но все-таки не жалею: «читатель-другъ» у меня есть, и я шлю ему мой искреннѣйшій привѣтъ и благодарность. Съ другой стороны, однако, я подвергаюсь время отъ времени цѣлому потоку энергическихъ протестовъ—не печатныхъ и содержащихъ въ себѣ чуть-чуть что не непечатныя выраженія. Въ такомъ именно положеніи нахожусь я теперь. Среди произведеній пера, обращенныхъ ко мнѣ разными марксистами, есть и краткія извѣщенія, что вотъ, дескать, въ такомъ-то городѣ проживаетъ несогласный Петръ Ива-новичъ Бобчинскій и требуетъ, чтобы объ этомъ было заявлено въ печати, и непременно «объективно» заявлено.—иначе онъ не со-гласенъ; есть и цѣлая диссертация, весьма различной цѣнности, авторы которыхъ тоже иногда выражаютъ желаніе, чтобы ихъ взгляды были опубликованы. Выдавая здѣсь общую росписку въ полученіи всего этого, я долженъ сказать, что рѣшительно не могу удовлетворить всѣхъ,—какъ комическихъ Петровъ Ивановичей Боб-чинскихъ, такъ и серьезныхъ людей, какъ прибѣгающихъ къ почти непечатному жаргону, такъ и умѣющихъ выражаться прилично. Во-первыхъ, всего этого слишкомъ много: во-вторыхъ, многое здѣсь для печати неудобно; въ-третьихъ, наконецъ, я уже имѣю въ этомъ отношеніи нѣкоторый не очень поощряющій опытъ. Въ прошломъ году я привелъ нѣсколько писемъ въ подлинникъ (кажется, чего ужъ «объективнѣе»?), но затѣмъ открылось, что мои корреспон-денты или писали мнѣ о «не настоящихъ» марксистахъ, или сами были «не настоящіе». А нѣкоторые стали даже выражать недо-вольство и подозрѣніе, что я намѣренно компрометирую русскихъ марксистовъ, публикуя письма никому неизвѣстныхъ людей: были даже подозрѣнія въ фальсификаціи съ моей стороны. Это ужъ, знаете, черезчуръ, и я рѣшилъ ждать нечистаго исповѣданія въѣры. Таковое скоро явилось въ видѣ книжки г. Струве, на которую

я и неспѣшилъ отозваться. Но теперь оказывается, что и г. Струве не настоящій. Оказывается это изъ только что вышедшей интересной книги г. Н. Бельтова «Къ вопросу о развитіи монистическаго взгляда на исторію. Отвѣтъ гг. Михайловскому, Карѣву и Коми.».

«Коми.» состоитъ изъ гг. Николая—она, Кривенко и В. В. Позволю себѣ выдѣлиться изъ «Коми.» и говорить только о себѣ, ибо не имѣю смѣлости г. Бельтова, пишущаго «мы» отъ лица русскихъ марксистовъ. При томъ же если количественно мнѣ достается, можетъ быть, и не больше другихъ отъ грознаго нера г. Бельтова. то обвиняеть онъ меня въ преступленіяхъ совершенно исключительныхъ.

Изъ книги г. Бельтова оказывается, что г. Струве «не настоящій», хотя первый выступаетъ съ защитой второго, беретъ его подъ свое покровительство. Все, повидимому, хорошо въ книжкѣ г. Струве, одно не ладно.—зачѣмъ онъ сказалъ: «пойдемъ на выучку къ капитализму». Это онъ «очень неосторожно выразился», говоритъ г. Бельтовъ (стр. 286). Не будь этой неосторожности, все въ книжкѣ г. Струве обстояло бы вполне благополучно. Вотъ г. Бельтовъ гораздо осторожнѣе, до такой степени осторожнѣе, что даже не упоминаетъ о другой неосторожности г. Струве. Вы помните, что г. Струве призналъ философскую необоснованность и фактическую непровѣренность теоріи экономического матеріализма. Г. Бельтовъ умалчиваетъ объ этой неосторожности, но, обрушиваясь своимъ страшнымъ гнѣвомъ и ядовитой проніей на тѣхъ, кто уже раньше говорилъ о «необоснованности и непровѣренности», онъ тѣмъ самымъ свидѣтельствуетъ, что г. Струве, по крайней мѣрѣ на этомъ пунктѣ,—«не настоящій». А вѣдь это пунктъ основной. Найдутся, какъ увидимъ, и другіе.

Книга г. Бельтова имѣетъ полемическій характеръ по преимуществу, а потому надлежитъ прежде всего взглянуть на его полемическіе приемы.

Г. Бельтовъ человѣкъ талантливый и не лишенный остроумія, но оно, къ сожалѣнію, часто переходитъ у него въ непріятное шутовство. Приведу образчикъ. Выбираю для этого то мѣсто, въ которомъ онъ меня изображаетъ въ особенно комическомъ видѣ, а другихъ въ особенно величественномъ. Приведя мое чисто фактическое указаніе на то, что Марксомъ изслѣдованъ только одинъ историческій періодъ, г. Бельтовъ продолжаетъ:

«Это-то и сердить г. Михайловскаго. Подбоченаясь, онъ начинаетъ читать нотацию знаменитому мыслителю: «какъ же это ты такъ, братецъ?... только одинъ періодъ... И при томъ не вполне... Не могу, не могу одобрить... Враль бы ты примѣръ съ Дарвина!» На всю эту субъективную рацию бѣдный

авторъ «Капитала» отвѣчаетъ лишь глубокимъ вздохомъ, да печальнымъ признаніемъ: *Die Kunst ist lang, und kurz ist unser Leben!* Г. Михайловскій быстро и грозно поворачивается къ «толпѣ» послѣдователей: въ такомъ случаѣ вы чего же смотрѣли, почему не поддержали старика, отчего не очернили всѣхъ періодовъ?—Некогда намъ было, г. субъективный герой, въ поясъ кланяясь и держа шанки на отлетѣ, отвѣчаютъ послѣдователи; другимъ мы были заняты, мы боролись противъ тѣхъ отношеній производства, которыя лежатъ тяжелымъ гнѣтомъ на современномъ человѣчествѣ. Не взыщи! А между прочимъ, мы кое что всетаки и сдѣлали, и вотъ дайте срокъ,—сдѣлаемъ и еще больше» (216).

Если принять во вниманіе, что ничего подобнаго «субъективной рацеѣ» я не говорилъ, что и сравненіе съ Дарвиномъ принадлежитъ не мнѣ, а я его только комментировалъ, то очевидное и само по себѣ шутовство г. Бельтова получаетъ сугубо дурной отбѣнокъ. А «субъективный герой»,—это, конечно, чрезвычайно ядовито, даже, пожалуй, излишне ядовито по отношенію къ скромному журналисту со стороны одного изъ «мы», которые и т. д. Желаю имъ всякаго успѣха, но не думаю, чтобы шутовской колпакъ ему снособствовалъ.

Г. Бельтовъ не только остроуменъ, но и грозенъ, «грозенъ и немилостивъ». Впрочемъ, онъ въ этомъ отношеніи далеко уступаетъ нѣкоторымъ моимъ корреспондентамъ, и мнѣ хочется сказать по этому поводу нѣсколько словъ. Рѣзкость въ полемикѣ—дѣло неизбежное, но и тутъ *est modus in rebus*, или, по-русски сказать, надо же и честь знать. Если полемическая рѣзкость истекаетъ изъ темперамента и сопровождается талантомъ, то и тогда можетъ хватать черезъ край. Примѣръ тѣ же учителя г. Бельтова или ихъ антагонистъ Дюрингъ. Читатель помнитъ, можетъ быть, какъ «обработалъ» Маркса мимоходомъ въ «Капиталѣ» Герцена. Вышло, что «полу-русскій и вполнѣ «москвичъ» Герценъ ревностно пророчествуетъ обновленіе Европы посредствомъ кнута и насильственного смѣненія европейской крови съ калмыцкой». Здѣсь «кнутъ» и «калмыцкая кровь», не имѣющіе ничего общаго съ идеями Герцена, пущены въ ходъ единственно ради полемической рѣзкости. Къ чести автора надо сказать, что въ послѣдующихъ изданіяхъ «Капитала» эта неприличная выходка выкинута. Но и у него, и у Энгельса, и у Дюринга можно найти вещи въ такомъ же родѣ, или совершенно безплодныя, или даже извращающія предметъ и отталкивающія своею грубостью. Тѣмъ паче негодна рѣзкость полемики, когда она становится дѣломъ подражанія, моды, своего рода приличія. Такъ было у насъ одно, къ счастью, недолгое время въ шестидесятыхъ годахъ, когда полемизирующіе безъ всякаго смысла швыряли другъ въ друга разными «лукошками», «бутербродами», а то и площадной руганью. Нѣмцы

всегда были грубы въ полемикѣ, что еще Берне замѣтилъ. И я боюсь, что, вмѣстѣ съ другими нѣмецкими вліяніями, къ намъ проникнетъ и эта традиціонная нѣмецкая грубость, осоловинѣвъ еще собственною нашею дикостью, и полемика превратится въ реплику, влагаемую гр А. Толстымъ въ уста царевнѣ по адресу Потока-богатыря:

Шаромыжникъ, болванъ, неученый холопъ!
 Чтобъ тебя пѣ турій рогъ искривило!
 Поросянокъ, теленокъ, свинья, зоюнъ,
 Чортовъ сынъ, неумытое рыло!
 Кабы только не этотъ мой дѣвичій стыдъ,
 Что много словца мнѣ сказать не велить,
 Я тебя, прощальгу, нахала.
 И не такъ бы еще обругала!

Это я только къ слову. Отнюдь не требую бѣлыхъ перчатокъ отъ полемиста и считаю ихъ даже невозможными. Не утверждаю также, чтобы г. Бельтовъ былъ лишень «дѣвичьяго стыда». Тѣмъ не менѣе иногда и ему слѣдовало бы нѣсколько больше взвѣшивать свои слова,—въ своихъ же собственныхъ интересахъ и въ интересахъ защищаемаго имъ дѣла.

Г. Бельтовъ утверждаетъ, что въ моихъ «новыхъ словахъ» (объ нихъ потомъ) «русскій умъ и русскій духъ» подлинно «зады твердить и жетъ за двухъ» (225). Сильно сказано! Очень сильно, съ сохраненіемъ, однако, «дѣвичьяго стыда», потому что вѣдь что же дѣлать—подвернулся подъ неро стихи, ну, а изъ истины слова не выкинешь. Можно бы, конечно, сказать, что если г. Бельтовъ не отвѣтственъ за содержаніе цитаты, то отвѣтственъ за ея выборъ, но это ужъ будетъ, пожалуй, тонкость по нашимъ полемическимъ правамъ. Собственно въ этомъ мѣстѣ ни въ какой лжи г. Бельтовъ меня не уличаетъ, онъ просто такъ, сболтнулъ, чтобы горячѣе вышло, и цитатой, какъ фиговымъ листкомъ, стыдливо прикрылся. А когда онъ дѣйствительно во лжи меня обличаетъ, то дѣлаетъ это въ перчаткахъ.

Въ одной изъ своихъ статей въ «Русской Мысли», я вспомнилъ о своемъ знакомствѣ съ покойнымъ Н. Н. Зиберомъ и сообщилъ между прочимъ, что этотъ почтенный ученый въ разговорахъ о судьбахъ капитализма въ Россіи «употреблялъ всевозможные аргументы, но при малѣйшей опасности укрывался подъ сѣнь непреложнаго и непрерываемаго трехчленнаго діалектическаго развитія». Приведя эти мои слова, г. Бельтовъ пишетъ: «Намъ приходилось не разъ бесѣдовать съ покойнымъ и ни разу не слышали мы отъ него ссылокъ на «діалектическое развитіе». Онъ не разъ самъ говорилъ, что ему совершенно неизвѣстно значеніе Ге-

геля въ развитіи новѣйшей экономіи. Конечно, на мертвыхъ все валить можно, и потому показаніе г. Михайловскаго неопровержимо!» (77—78, примѣчаніе).

Вотъ что значить надѣть перчатки для обличенія во лжи,— даже изящно выходитъ! Не такъ, однако, изящно, какъ кажется съ перваго взгляда, потому что перчатки у г. Бельтова грязныя...

«Конечно, на мертвыхъ все валить можно, и потому показаніе г. Михайловскаго неопровержимо»... Я скажу иначе: на мертвыхъ не всегда все валить можно, и показаніе г. Бельтова вполне опровержимо.

Можно ли допустить, чтобы я рѣшился приписать человѣку, столь многимъ, кромѣ насъ съ г. Бельтовымъ, извѣстному, столь сравнительно недавно умершему, мысли, которыхъ онъ не только не имѣлъ, но даже о существованіи которыхъ не зналъ?—Можно, отвѣчаетъ г. Бельтовъ, потому что русскій духъ лжеть за двухъ. Но г. Бельтовъ любезно сообщаетъ, что и у него «русская душа» (286). И неужели же въ самомъ дѣлѣ таковъ ужасный рокъ, что русскій духъ долженъ лгать за двухъ, потому что кто-нибудь изъ насъ—я или г. Бельтовъ—навѣрное лжеть за себя и за Зиберя. Но пойдемъ далѣе: можно ли допустить, чтобы столь трудолюбивый и вдумчивый ученый, какъ Зиберъ, такъ таки до конца дней своихъ и не догадался о связи «новѣйшей экономіи» съ Гегелемъ? чтобы, даже наталкиваемый на этотъ сюжетъ разговоромъ, онъ имъ не заинтересовался и отдѣлывался отвѣтомъ: «мнѣ совершенно неизвѣстно значеніе Гегеля въ новѣйшей экономіи»? На мертвыхъ все валить можно, поучаетъ насъ г. Бельтовъ. Можно, это мы ясно видимъ, но если ужъ кто хочетъ заниматься этимъ непохвальнымъ дѣломъ, то надо его дѣлать осторожиѣе, чѣмъ г. Бельтовъ.

Въ 1879 г. въ журналѣ «Слово» была напечатана статья Зиберя, озаглавленная «Діалектика въ ея примѣненіи къ наукѣ». Статья эта (не оконченная) представляетъ собою пересказъ, даже почти сплошной переводъ книги Энгельса «Herrn Dühring Umwälzung der Wissenschaft». Ну, а переведя эту книгу, остаться въ «совершенной неизвѣстности о значеніи Гегеля въ развитіи новѣйшей экономіи»,—довольно таки мудро не только для Зиберя, а даже и для Потока-богатыря въ вышеприведенной полемической характеристикѣ царевны. Это, я думаю, для самого г. Бельтова понятно. Но на всякій случай приведу всетаки нѣсколько строкъ изъ маленькаго предисловія Зиберя: «Книга Энгельса заслуживаетъ особеннаго вниманія, какъ въ виду послѣдовательности и цѣльности проводимыхъ въ ней философскихъ и общественно-экономическихъ понятій, такъ и потому, что для объясненія практическаго прило-

женія метода діалектическихъ противорѣчій она даетъ рядъ новыхъ иллюстрацій и фактическихъ примѣровъ, которые не мало способствуютъ ближайшему ознакомленію съ этимъ столь сильно прославляемымъ и въ то же время столь сильно унижаемымъ способомъ изслѣдованія истины. Можно сказать, повидимому, что въ первый еще разъ съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ такъ называемая діалектика, она является глазамъ читателя въ такомъ реальномъ освѣщеніи».

Итакъ: Зиберу было извѣстно значеніе Гегеля въ развитіи повѣйшей экономіи; Зиберъ былъ очень заинтересованъ «методомъ діалектическихъ противорѣчій». Такова истина, документально засвидѣтельствованная и вполне разрѣшающая пикантный вопросъ о томъ, кто лежитъ за двухъ.

Австраійскіе дикари употребляютъ метательное оружіе, называемое бумерангомъ и устроенное такъ, что, въ случаѣ промаха, оно само возвращается къ бросившему. Бумерангъ г. Бельтова отличается отъ австраійскаго тѣмъ, что не просто возвращается къ бросившему, а поражаетъ его самого. Желая вышутить, г. Бельтовъ самъ наряжается въ шутовской колпакъ; желая обличить во лжи, самъ въ ней обличается. А въдобавокъ, желая защитить покойнаго ученаго, онъ обвиняетъ его въ незнаніи того, что онъ зналъ, и въ отсутствіи интереса къ тому, чѣмъ онъ очень интересовался. Это ужъ совсѣмъ не хорошо.

Я привелъ характерныя образчики полемики г. Бельтова и долженъ буду привести ихъ еще нѣсколько. Да не подумаетъ читатель, что я это дѣлаю съ злорадствомъ. Напротивъ, я достаточно обстрѣлялъ, чтобы съ презрительнымъ хладнокровіемъ относиться къ направленной противъ меня брани. Въѣсть съ тѣмъ я такъ люблю русскую литературу, что, ничего не имѣя противъ кувырканий разныхъ злонамѣренныхъ бездарностей, скорбно, когда кувыркаются люди болѣе или менѣе талантливыя; наконецъ, какъ видно будетъ ниже, я имѣю спеціальныя причины скорбѣть объ томъ, что г. Бельтовъ систематически подрываетъ довѣріе къ себѣ и къ своимъ показаніямъ. Я боюсь именно, что съ нимъ случится нѣчто вроде исторіи того настуха, который такъ часто шутилъ или лгалъ, крича: «волкъ», что когда волкъ и наизвѣстную явился.—настуху уже никто не повѣрилъ. Тѣмъ не менѣе я вынужденъ продолжать на эту же тему о полемическихъ или, пожалуй, критическихъ приѣмахъ г. Бельтова.

Есть у меня работа о герояхъ и толпѣ, къ сожалѣнію моему, очень разбросанная, такъ какъ я возвращался къ ней неоднократно и съ большими перерывами. Въ воспоминаніяхъ мнѣ случалось говорить о причинахъ, какъ нѣкоторыхъ изъ этихъ пере-

рывовъ, такъ и нѣкоторыхъ изъ возобновленій. Дѣло было такъ. Очень уже давно натолкнутый на означенную тему чисто теоретическимъ ходомъ мысли (слѣды чего имѣются въ самыхъ раннихъ моихъ статьяхъ), я вплотную принялся за ея разработку лишь въ началѣ 80-хъ годовъ, подъ впечатлѣніемъ безобразій и ужасовъ еврейскихъ погромовъ. Самый этотъ поводъ исключалъ возможность постановки вопроса на исключительно «геронческую» почву въ общепринятомъ смыслѣ слова, въ смыслѣ чего-то великаго и благотѣльнаго. Я и оговорилъ, что мой «герой» есть просто вождь, увлекающій толпу, можетъ быть, и на великое, а можетъ быть, и на гнусное и глупое дѣло. Это было самымъ точнымъ образомъ установлено въ статьѣ «Герон и толпа», гдѣ я пытался опредѣлить объективныя условія, необходимыя для возникновенія той группы явленій, которая суммируется въ словахъ «Герон и толпа». «Научныя письма» продолжали ту же тему. Въ «Патологической магин» мнѣ пришлось говорить, между прочимъ, о разныхъ шарлатанахъ, злоупотребляющихъ склонностью «толпы» къ гипнозу. Наконецъ, уже на страницахъ «Русскаго Богатства» мнѣ пришлось указывать на многостороннее различіе понятій «толпы» и «народа». Что же изъ всего этого сдѣлалъ г. Бельтовъ? Моими героями и толпой онъ занялъ на всемъ протяженіи своей книги, при чемъ, однако, воздерживается и отъ изложенія, и отъ критики теорій, а только, такъ сказать, цитируетъ ее походя, съ помощью все того же шутовства и той же лжи. Онъ до такой степени не понималъ теорій или перевралъ ее, что рѣшается написать, напримѣръ, слѣдующія строки:

«Пока существуютъ «герон», воображающіе, что имъ достаточно проесть свои собственныя головы, чтобы повесть толпу всюду, куда имъ угодно, чтобы лѣпить изъ нея, какъ изъ глины, все, что имъ вздумается, царство разума остается краснivoй фразой, благородной мечтой... Субъективная философія кажется намъ вредной потому, что она мѣшаетъ интеллигенціи содѣйствовать развитію самосознанія производителя, противопоставляя толпу героямъ, воображая, что толпа есть не болѣе, какъ совокупность нулей, значеніе которыхъ зависитъ лишь отъ идеаловъ становящихся во главѣ ея героя. Было бы болото, черти будутъ, говорить народная пословица. Выли бы герон, толпа для нихъ найдется, говорить субъективисты, и эти герон, это—мы, это субъективная интеллигенція. На это мы отвѣчаемъ: ваше противопоставленіе героевъ толпѣ есть простое самоопианіе и потому самообманъ» (234—235).

Но, мой бѣдный г. Бельтовъ, вы вѣдь понимаете вещи совершенно, такъ сказать, наоборотъ. Какъ разъ наоборотъ: была бы толпа, а герон найдутся и поведутъ ее, напримѣръ, «бить жидовъ» или докторовъ. Можетъ быть, конечно, и на чтонибудь совсѣмъ другое поведутъ, но это дѣло настолько ненадежное, что, конечно, благомыслящимъ людямъ надлежитъ «содѣйствовать развитію само-

сознанія» въ людяхъ вообще, въ «производителяхъ» въ частности. Вотъ только это слово «производители» не хорошо, — конюшной отдастъ отъ него. Мы привыкли употреблять въ такихъ случаяхъ слово «народъ», въ смыслѣ трудящейся массы. Но если мы съ вами и сходимся на выводѣ о необходимости «содѣйствовать» и проч., то замѣтите, что это выводъ вполне субъективный, тогда какъ теорія героевъ и толпы содержитъ въ себѣ и чисто объективное изслѣдованіе законовъ коллективной психологіи. И напрасно вы думаете, что этими пустяками только «россійская соціологія» занимается: европейская литература ими въ настоящую минуту очень интересуется. Я понимаю, что вамъ «некогда», но удосужьтесь всетаки какъ нибудь заглянуть хоть въ три первыхъ странички статьи «Герои и толпа», это и двухъ минутъ времени не займетъ. Тамъ вы найдете такія строки: «Не въ похвалу или въ поруганіе выбраны нами терминны «герой» и «толпа». Если пьянаго звѣря Василія Андреева (зачинщикъ убійства архіерея Амвросія въ 1771 г.) мы называемъ героемъ, на-ряду съ благороднымъ образомъ Бланки Кастильской, то, конечно, читатель не найдетъ у насъ такъ называемаго культа героевъ».

Ну вотъ, а г. Бельтовъ нашелъ... Написано: «пьяный звѣрь», а онъ читаетъ: «субъективная интеллигенція». При такомъ способѣ чтенія можно, конечно, гдѣ угодно и что угодно найти, но всетаки это будетъ только ложь, осложненная вдобавокъ шутовствомъ. Шутовскія комбинаціи словъ вродѣ «субъективный герой», «субъективная интеллигенція» — кажутся г. Бельтову чрезвычайно пронзительными, и онъ назойливо усапсаетъ ими свою рѣчь, хотя такимъ шутовствомъ можно бы было и правду скомпрометировать, и ужъ, конечно, нельзя украсить ложь.

Г. Бельтовъ не разъ возвращается къ той темѣ, что «субъективная интеллигенція» и «субъективные герои» не желаютъ «содѣйствовать самосознанію производителей» и даже пренебрегаютъ этому благому дѣлу. Но такъ какъ это его фантазія (вѣроятно, субъективная), то никакихъ доказательствъ онъ, конечно, не приводитъ. Да и откуда же ихъ ему взять? Однако онъ до такой степени эту свою фантазію ненавидитъ (она бы этого и заслуживала, если бы не была фантазіей), что догоняетъ ее и лирикой, и громами своего гнѣва, и мытьемъ и катаньемъ. Особенно хочется ему компрометировать «новое слово» «субъективной интеллигенціи» предпологаемымъ родствомъ ея съ Бруно Бауеромъ. Онъ то утверждаетъ, что я свое «новое слово» заимствовалъ у Бруно Бауера, то рекомендуетъ мнѣ еще только познакомиться съ Бруно Бауеромъ. На «новое слово», какъ хорошо извѣстно многимъ читателямъ, я никогда не претендовалъ и всегда другимъ рекомендовалъ отказаться

отъ этихъ претензій и стараться говорить лишь вѣрное слово, а тамъ ужъ другіе разберутъ; поэтому ироническія кавычки г. Бельтова не имѣютъ по отношенію ко мнѣ никакого смысла. Что касается героевъ и толпы, то я старался собрать все, что только есть въ литературѣ сколько-нибудь цѣннаго по этому предмету. Но Бруно Бауера дѣйствительно не принять во вниманіе и ни мало объ этомъ не жалѣю. Насколько можно судить по цитатамъ г. Бельтова и насколько ему можно вѣрить. Бруно Бауеръ и его послѣдователи противопоставляли «героевъ» въ Карлейлевомъ смыслѣ этого слова—великихъ людей, благодѣтелей человѣчества, полубоговъ—«массѣ» или «большинству» въ смыслѣ историческаго матеріала, чего нибудь стоящаго лишь при условіи полной покорности «героямъ». *Такия* противопоставленія дѣлались весьма часто въ болѣе или менѣе рѣзкой формѣ, и не зачѣмъ обращаться къ разнымъ Опицамъ и Шелигамъ, развивавшимъ этотъ взглядъ въ нѣмецкой литературѣ 40-хъ годовъ, когда существуетъ такая блестящая разработка его въ «культѣ героевъ» Карлейля. Но какъ уже изъ вышеприведенныхъ словъ о «пьяномъ звѣрѣ» Василіи Андреевѣ видно, я совершенно устранилъ точку зрѣнія Карлейля изъ своей работы. Съ другой стороны, я тщательно и неоднократно старался отгородить понятіе «толпы» отъ сопредѣльныхъ понятій. Еще не очень давно, въ «Русскомъ Богатствѣ» (1893, № 4), я писалъ: «Какъ много путаницы въ нашихъ разговорахъ о народничествѣ и о многомъ другомъ происходитъ отъ того, что подъ словомъ «народъ» мы сплошь и рядомъ безразлично разумѣемъ то этнографическую группу, то государственно-національную, то исключительно «мужика», то «чернь», «простонародье», то представителей труда («производителей» г. Бельтова), то *толпу*, которая такъ эффектно «безмолвствуетъ» въ послѣдней строкѣ Пушкинскаго «Бориса Годунова» и съ такою слѣпою яростью рветъ и мечетъ въ холерныхъ, еврейскихъ и т. п. безпорядкахъ... Толпа—не народъ, а самостоятельное общественно-психологическое явленіе, подлежащее спеціальному изученію».

Зачѣмъ же спрашивается, пристаешь ко мнѣ г. Бельтовъ съ Бруно Бауеромъ, Шелигомъ, Опицемъ? Да вотъ именно зачѣмъ, чтобы смѣшать все въ кучу, сдѣлать изъ «героевъ», «интеллигенціи», «толпы», «производителей», «большинства» и проч. — окрошку, облить ее ядомъ эпитета «субъективный» и приправить пряностями лжи и шутовства. Но зачѣмъ ему самая эта окрошка нужна,—этого я уже рѣшительно не понимаю. Должно быть, для собственнаго употребленія,—такая ужъ ему пища по вкусу.

Есть у меня, кромѣ «Героевъ и толпы», еще другая большая и опять-таки, къ сожалѣнію моему, разбросанная работа. Это—

теорія прогресса. Она тоже не удовлетворяетъ г. Бельтова. Да я и самъ считаю ее неудовлетворительною, отнюдь, однако, не съ той стороны, съ которой къ ней подходитъ мой грозный обличитель. На стр. 61 онъ сѣтуетъ на «злоупотребленіе біологическими аналогіями, которое и до сихъ поръ даетъ себя сильно чувствовать въ западной соціологической, а особенно въ русской quasi-соціологической литературѣ». Слѣдуютъ доказательства и критика, оканчивающаяся ниспроверженіемъ предложенной мною формулы прогресса (66). При этомъ, однако, г. Бельтовъ, кромѣ самой этой формулы, не приводитъ *ни одного слова* ни изъ статьи «Что такое прогрессъ?», ни изъ послѣдующихъ на ту же тему. А обращается онъ къ моимъ воспоминаніямъ и къ полубеллетристическимъ наброскамъ «Въ перемежку» и тамъ находитъ сообщеніе, что нѣкій Бухарцовъ (онъ же Ножинъ) «мечталъ о реформѣ общественныхъ наукъ при помощи естествознанія и выработалъ уже обширный планъ ея». Этотъ же Бухарцовъ-Ножинъ писалъ въ примѣчаніи къ одной своей литературной работѣ: «Обращаю вниманіе читателя на то, что вся моя анатомическая и эмбріологическая теорія имѣетъ главною своею цѣлью отысканіе законовъ физиологін общества». А такъ какъ я съ лучшими чувствами вспоминаю даровитаго, хотя и увлекающагося юношу Бухарцова-Ножина и говорю, что много обязанъ ему въ своемъ умственномъ развитіи, то ясно, что я принадлежу къ представителямъ той «русской quasi-соціологической литературы», которая «особенно злоупотребляетъ біологическими аналогіями».

Апеллирую къ читателю, даже вопли ко мнѣ неблагосклонному, но сколько-нибудь знакомому съ моими сочиненіями, хотя бы не со всѣми, а только, наиримѣръ, съ одной статьей «Аналогическій методъ въ общественной наукѣ» или «Что такое прогрессъ?» Неправда, что русская литература *особенно* злоупотребляетъ біологическими аналогіями: въ Европѣ, съ легкой руки Спенсера, этого добра несравненно больше, не говоря уже о временахъ комическихъ аналогій Блончли съ братіей. И если у насъ дѣло не пошло дальше аналогическихъ упражненій покойнаго Стронина («Исторія и методъ», «Политика, какъ наука»), г. Линденфельда («Соціальная наука будущаго»), да нѣсколькихъ журнальных статей, то павѣрно и «моего тутъ капля меду есть». Ибо никто не потратилъ столько усилій на борьбу съ біологическими аналогіями, какъ я. И въ свое время я не мало претерпѣлъ за это отъ «Спенсеровыхъ дѣтей». Буду надѣяться, что и нынѣшняя гроза въ свое время минуетъ...

Читатель, не вы—«читатель другъ», а вы—неблагосклонный читатель, съ перваго раза, можетъ быть, обрадованный книгой

г. Бельтова, какъ вы только что радовались книгѣ г. Струве,—будьте «объективны» и пересмотрите еще разъ съ чисто фактической, только съ фактической стороны приведенные эпизоды съ Зиберомъ, героями и толпой, біологическими аналогіями. Должны же вы будете согласиться, что г. Бельтовъ дѣйствительно понимаетъ вещи какъ разъ «наоборотъ». Но хотя у него и «русская душа», не вѣрьте ему всетаки, что «русскій духъ» такъ такъ ужъ всегда и непремѣнно «лжетъ за двухъ»...

До сихъ поръ мы имѣли дѣло только съ полемическими и критическими приѣмами г. Бельтова. Разоблаченіе этихъ приѣмовъ не доставляетъ никакого удовольствія, но намъ поневолѣ придется и еще встрѣтиться съ ними, а теперь обратимся къ собственнымъ взглядамъ г. Бельтова, къ положительной части его труда.

Г. Бельтовъ желаетъ изложить «монистическій взглядъ на исторію», а монизмъ, говоритъ онъ, возможенъ двоякій: идеализмъ и матеріализмъ. Оба эти ученія, въ качествѣ монистическихъ, противоположаются дуализму, признающему «духъ» и «матерію» отдѣльными, самостоятельными субстанціями. Идеализмъ и матеріализмъ признаютъ лишь одну субстанцію, первый—духъ, второй—матерію. «Наиболѣе послѣдовательные и глубокіе мыслители всегда склонялись къ монизму... Въ первой половинѣ нашего столѣтія господствовалъ *идеалистическій* монизмъ: во второй половинѣ его—въ *науку*, которая тѣмъ временемъ совершенно слилась съ *философіей*, восторжествовалъ *материалистическій* монизмъ, далеко, впрочемъ, не всегда послѣдовательный и откровенный (2). Г. Бельтовъ предпринялъ показать, что окончательное торжество матеріалистическаго матеріализма установлено такъ называемой теоріей экономическаго матеріализма въ исторіи, каковая теорія находится, дескать, въ тѣснѣйшей связи съ «обще-философскимъ» матеріализмомъ. Съ этою цѣлью г. Бельтовъ дѣлаетъ экскурсію въ исторію философіи. О степени безпорядочности и неполноты этой экскурсіи можно судить уже по названіямъ главъ, ей посвященныхъ: «Французскій матеріализмъ XVIII вѣка», «Французскіе историки времени реставраціи», «Утописты», «Идеалистическая нѣмецкая философія», «Современный матеріализмъ». Но экскурсія еще слабѣе, чѣмъ можно бы было думать, судя по этимъ заглавіямъ.

Одинъ изъ центральныхъ пунктовъ ея гласитъ: «Гегель называлъ *метафизической* точку зрѣнія тѣхъ мыслителей,—безразлично идеалистовъ или матеріалистовъ,—которые, не умѣя понять процессъ развитія явленій, поневолѣ представляютъ ихъ себѣ и другимъ, какъ застывшія, безсвязныя, неспособныя перейти одно въ

другое. Этой точкѣ зрѣнія онъ противопоставилъ *діалектику*, которая изучаетъ явленія именно въ ихъ развитіи и, слѣдовательно, въ ихъ взаимной связи» (71).

Г. Бельтовъ считаетъ себя знатокомъ философіи Гегеля *). Я радъ поучиться у него, какъ у всякаго свѣдущаго чловѣка, и на первый разъ попросилъ бы указать то мѣсто въ сочиненіяхъ Гегеля, откуда онъ взялъ это будто бы Гегелево опредѣленіе «метафизической точки зрѣнія». Осмѣливаюсь утверждать, что онъ мнѣ его указать не можетъ. Для Гегеля метафизика была ученіемъ о безусловной сущности вещей, лежащей за предѣлами опыта и наблюденія, о сокровенномъ субстратѣ явленій. Правда, онъ слилъ ее съ діалектикой, обработалъ ее діалектическимъ методомъ, т. е. путемъ послѣдовательнаго вскрытія заключающихся въ жизни и мысли, въ бытіи и мышленіи противорѣчій. Это сліяніе метафизики съ діалектикой составляетъ существенную особенность философіи Гегеля, но метафизика и при этомъ остается метафизикой, и Гегель относь не питалъ къ ней того презрѣнія, которое сквозитъ въ приведенномъ г. Бельтовымъ будто бы Гегелевомъ опредѣленіи. Онъ не противопоставлялъ діалектику метафизикѣ, а напротивъ, сливалъ ихъ въ одно цѣлое. Свое якобы Гегелево опредѣленіе г. Бельтовъ взялъ не у Гегеля, а у Энгельса (все въ той же полемической противъ Дюринга книгѣ), который совершенно произвольно отдѣлилъ метафизику отъ діалектики признакомъ неподвижности или текучести. Всякая философская система, утверждающая, вмѣстѣ съ г. Бельтовымъ, что «права разума необъятны и неограничены, какъ и его силы» (233), что по этому она открыла безусловную сущность вещей,—будь это матерія или духъ—есть система метафизическая. Додумалась ли она при этомъ до идеи развитія предполагаемой ею сущности вещей или нѣтъ, и если додумалась, то діалектическій ли путь она усвоиваетъ этому развитію или какой иной,—это, конечно, очень важно для опредѣленія ея мѣста въ исторіи философіи, но не измѣняетъ ея метафизическаго характера. Метафизическая печать лежитъ и на выросшей изъ гегельян-

*) Я, конечно, подобной претензіи не имѣю. Но не могу всетаки воздержаться отъ слѣдующаго замѣчанія. Г. Бельтовъ почему-то увѣренъ, что я знакомъ съ Гегелемъ по учебнику уголовного права Спасовича и «по Льюену». Приведи мои слова объ «уничтожающемъ презрѣніи и холодной жестокости», съ которыми система Гегеля относится къ личности, онъ замѣчаетъ, что «это вѣрно развѣ только по Льюену» (283). Г. Бельтовъ, повидимому, очень презираетъ этого бѣднаго Льюенса, но если бы онъ оскѣжилъ въ своей памяти его «Исторію философіи», то убѣдился бы, что тамъ объ отношеніи философской системы Гегеля къ личности *нѣтъ ни одного слова*. Убѣдиться въ этомъ можетъ каждый, такъ какъ книга Льюенса имѣется въ нѣсколькихъ русскихъ переводахъ.

ства доктринъ такъ называемаго экономическаго матеріализма, и діалектика отнюдь не стираетъ этой печати. Г. Бельтовъ думаетъ, что утверждать это могутъ лишь «россійскіе соціологи», «субъективисты» и проч. Мнѣ пріятно сослаться на нѣмецкаго писателя, котораго г. Струве въ своей книжкѣ горячо рекомендовалъ. «Труды Зиммеля—писалъ онъ—показываютъ, какъ плодотворно внесеніе въ соціологію *философскаго критицизма и научнаго психологическаго анализа*» (Курсивъ г. Струве. «Критическія замѣтки» и проч., стр. 35). Я не имѣю теперь времени извлечь изъ трудовъ Зиммеля все, заключающееся въ нихъ плодотворное, но нѣсколько строкъ изъ одной его работы приведу:

«Даже то историческое воззрѣніе, которое энергичнѣе всего должно было отбиваться отъ обвиненія въ метафизическихъ предположеніяхъ,—матеріалистическое,—достигаетъ этого лишь посредствомъ самообмана. Истолкованіе историческаго движенія противорѣчіемъ экономическихъ интересовъ есть гипотеза, спускающаяся далеко глубже доступныхъ наблюденію явленій... Предположеніе, что всѣ исторически дѣйствующие интересы суть только преобразованія или замаскированія матеріальныхъ—никогда не можетъ быть доказано... Но если бы и можно было доказать, что экономическіе интересы суть тайныя или явныя пружины всѣхъ историческихъ дѣйствій, то было бы всетаки чисто метафизическимъ произволомъ останавливаться на этомъ пунктѣ и объявлять его послѣдне достижимымъ и самопонятнымъ... Это догматизмъ, подобный теоретическому матеріализму. Ибо и послѣдній есть метафизика, такъ какъ эмпирически отличныя отъ матеріи явленія онъ чисто гипотетически сводитъ къ ней и затѣмъ объявляетъ матерію послѣднимъ самопонятнымъ принципомъ, тогда какъ она ничуть не менѣе загадочна, чѣмъ другіе абсолюты, которые пробовали класть въ основаніе игры явленій» (*Die Probleme der Geschichtsphilosophie*, 85—86).

Именно къ этому мѣсту относится замѣчаніе г. Струве, что Зиммель, при всей плодотворности его трудовъ, «иначе, чѣмъ мы (т. е. чѣмъ г. Струве), понимаетъ метафизичность». Я цитирую Зиммеля собственно въ виду горячей рекомендаціи г. Струве, ради которой, можетъ быть, и г. Бельтовъ воздержится отъ громовъ по адресу Зиммеля. Но я могъ бы привести многихъ первоклассныхъ ученыхъ, тоже „понимающихъ метафизичность иначе, чѣмъ мы“, тоже признающихъ матеріализмъ такою же метафизикою, какъ и идеализмъ, независимо отъ того, осложненъ ли онъ идеей развитія или нѣтъ. Я боюсь, что г. Бельтовъ стоитъ на уже давно пройденной ступени. Боюсь, что онъ ошибается, говоря: «во второй половинѣ нашего вѣка *въ наукѣ*, которая тѣмъ временемъ совершенно

сплелась съ *философіей*, восторжествовать *матеріалистическій* монизмъ».

Мнѣ какъ то случилось употребить выраженіе: «объ этомъ можно спорить». Эти, казалось бы, столь обыкновенныя слова приводятъ г. Бельтова въ чрезвычайное негодованіе: онъ добрый десятокъ разъ повторяетъ ихъ съ непонятною для меня ядовитостію. Ну, и не буду спорить. Я приведу только мнѣніе такого умнаго, тонкаго, свѣдущаго и добросовѣстнаго критика, какъ Ф. А. Ланге. Собственно вся его книга направлена къ тому, чтобы, признавъ относительныя достоинства матеріализма, какъ философіи, и его услуги наукѣ, показать, что нынѣ наука уже переросла и отвергла его. Но для образца приведу одну, достаточно выразительную фразу: *So sehen wir wie allerdings die gründliche Naturforschung durch ihre eignen Consequenzen über den Materialismus hinausführt.* (*Geschichte des Materialismus* 2 Aufl. II, 167).

Разумѣя монизмъ исключительно въ метафизической формѣ идеализма и матеріализма и ошибочно отождествляя послѣдній съ наукою, г. Бельтовъ, однако, и къ идеализму очень благосклоненъ, главнымъ образомъ, конечно, къ Гегелю. Это понятно, такъ какъ доктрина экономическаго матеріализма изъ Гегеля происходитъ. Но изъ этого не слѣдуетъ встать, чтобы г. Бельтовъ имѣлъ право написать слѣдующія строки: «До сихъ поръ еще трудно сказать, насколько взгляды нѣмецкихъ идеалистовъ непосредственно повліяли въ указанномъ (эволюціонномъ) направленіи на нѣмецкое естествознаніе, хотя несомнѣнно, что въ первой половинѣ нынѣшняго вѣка даже натуралисты въ Германіи занимались въ теченіе университетскаго курса философіей» (88). Что вліяніе нѣмецкой идеалистической философіи на всѣ отрасли человѣческаго вѣдѣнія было громадно,—это вѣрно, но было ли оно такъ ужъ вполне благотворно,—объ этомъ, не въ обиду г. Бельтову будь сказано,—можно спорить. Впрочемъ, напримѣръ, Гельмгольцъ, человѣкъ, достаточно, кажется, компетентный, считаетъ это дѣло даже виѣ спора. Онъ говоритъ: «Съ тѣхъ поръ, какъ Шеллингъ сталъ господствовать надъ наукой на югѣ Германіи, а Гегель на сѣверѣ, началась распри между философіей и естествознаніемъ. Недовольная положеніемъ, указаннымъ ей Кантомъ, философія полагала открыть новыя пути, съ цѣлью найти, заранѣе и безъ помощи опыта, путемъ чистаго мышленія, тѣ результаты, къ которымъ, въ концѣ концовъ, должны были бы придти опытные науки. Философія ни мало не отчаявалась въ возможности включить въ свою область всѣ величайшіе вопросы о небѣ и землѣ, о настоящемъ и будущемъ. Противорѣчіе между этими философскими школами и естествознаніемъ особенно рѣзко выразилось въ крайне не философской страстной полемикѣ

Гегеля и нѣкоторыхъ изъ его учениковъ противъ Ньютона» (Приведено въ «Научномъ Обзорѣнн» 1895. № 1).

Въ виду всего вышесказаннаго читатель понимаетъ, что экскурсія г. Бельтова въ область исторіи философіи не дорого стоитъ. Входить во всѣ подробности ея я. разумѣется, не стану. Но кое что всетаки отмѣчу.

Г. Бельтовъ говоритъ и о французскихъ историкахъ, и о французскихъ «утопистахъ», оцѣнивая тѣхъ и другихъ въ мѣру ихъ пониманія или непониманія экономики, какъ фундамента общественнаго зданія. Страннымъ, однако, образомъ онъ совсѣмъ не упоминаетъ при этомъ о Луи Бланѣ, хотя одного предисловія къ *Histoire de dix ans* достаточно, чтобы предоставить ему почетное мѣсто въ ряду первоучителей такъ называемаго экономического матеріализма. Конечно, тутъ много такого, съ чѣмъ г. Бельтовъ согласиться не можетъ, но и тутъ есть и борьба классовъ, и характеристика ихъ экономическими признаками, и экономика, какъ скрытая пружина политики, вообще многое, что *позже* вошло въ составъ доктрины, такъ горячо защищаемой г. Бельтовымъ. Я потому отмѣчаю этотъ пробѣлъ, что онъ, во-первыхъ, и самъ по себѣ удивителенъ, и намекаетъ на какія-то побочныя цѣли, не имѣющія ничего общаго съ безпристрастіемъ. А во-вторыхъ, идея Луи Блана имѣли у насъ, въ Россіи, вліяніе еще въ сороковыхъ годахъ («Это цѣлое откровеніе», писалъ Бѣлинскій объ «*Histoire de dix ans*»). Слѣды этого, равно какъ и другихъ подобныхъ вліяній можно найти и въ позднѣйшей нашей литературѣ, когда объ экономической основѣ общественныхъ явленій писалось очень много и очень опредѣленно. Почему же люди, исходя изъ этого общаго, столь опредѣленнаго положенія, приходятъ къ очень различнымъ, какъ теоретическимъ, такъ и практическимъ, выводамъ? Любопытный вопросъ, для отвѣта на который г. Бельтовъ не даетъ, однако, никакихъ матеріаловъ, да и не задается имъ.

Г. Бельтовъ вообще говоритъ обо многомъ ненужномъ и умалчиваетъ обо многомъ нужномъ. Вотъ, напр., онъ приводитъ слова Георга Бюхнера, свидѣтельствующія о томъ тяжеломъ настроеніи, въ которое впасть этотъ несчастный юноша, изучая исторію великой французской революціи. При этомъ онъ дѣлаетъ «*Примѣчаніе для г. Михайловскаго*» (курсивъ г. Бельтова): это не тотъ Бюхнеръ, который проповѣдывалъ матеріализмъ въ «общеполитическомъ смыслѣ». Это его рано умершій братъ, авторъ знаменитой трагедіи «Смерть Дантона» (162). Надо замѣтить, что приводимыя г. Бельтовымъ слова Бюхнера, хотя и очень трогательны, но заключаютъ въ себѣ мысль, весьма часто и весьма многими выражавшуюся. И если г. Бельтовъ остановился именно на мало извѣстномъ у насъ Бюхнерѣ, то, мнѣ

кажется, главнымъ образомъ для того, чтобы сдѣлать «примѣчаніе для г. Михайловскаго». Я, конечно, очень польщенъ попечительною заботливостью г. Бельтова, изъ всѣхъ своихъ соотечественниковъ избравшаго единственно меня для сообщенія тайны о разницѣ между Георгіемъ Бюхнеромъ и Людвигомъ Бюхнеромъ. Но, откровенно то говоря, это вѣдь всетаки только совершенно ненужное шутовство. А между тѣмъ, если ужъ г. Бельтову подвернулся подъ перо Георгъ Бюхнеръ, то остановиться на этой мало извѣстной у насъ фигурѣ стоило бы. И біографія этого юноши, и его скудное по количеству, но достойное вниманія литературное наслѣдство—были бы для насъ очень поучительны въ связи съ тѣмъ кругомъ идей, который занимаетъ г. Бельтова. Впрочемъ, это тема достойна пера болѣе добросовѣстнаго...

Я изъавлю себя отъ разбора всего содержанія книги г. Бельтова. Кое-что мы уже видѣли, къ кое-чему можно и въ другой разъ вернуться, кое-что относится спеціально къ «компаніи», которая сама за себя отвѣчаетъ. Наконецъ, мнѣ хочется и доброе слово сказать о книгѣ. Къ сожалѣнію, и для этого надо сдѣлать небольшое недоброе предисловіе.

Нѣкоторыя мои чисто фактическія указанія на разницу между судьбою экономическихъ и историческихъ воззрѣній Маркса г. Бельтовъ передаетъ въ такомъ видѣ: «Что вы дѣлаете ко мнѣ съ Дарвиномъ!—кричитъ онъ.—Дарвиномъ увлекались хорошіе господа, его многіе профессора одобряли, а за Марксомъ кто идетъ? Одни рабочіе, да нѣкѣмъ не патентованные приватъ-звонари науки» (217). Ни шутовство, ни лживость этой передачи моихъ словъ не удивляютъ уже, конечно, читатели послѣ всего вышеприведеннаго. Надоѣдаетъ это только немножко. Но дальше идетъ нѣчто интересное. Я говорилъ, между прочимъ: «теоретическая часть «Капитала» очень быстро заняла уже бесспорно высокое мѣсто въ общепризнанной наукѣ». Иными словами, кому такіа шутовскія слова нравятся: «увлекаются хорошіе господа, многіе профессора одобряютъ», все равно, какъ Дарвина. Но г. Бельтовъ съ этимъ не согласенъ. Онъ утверждаетъ, что среди нѣмецкихъ профессоровъ нѣтъ настоящаго почтенія къ автору «Капитала», «да и не можетъ быть его въ профессорѣ, потому что не сдѣлаютъ въ Германіи профессоромъ чловека, проникнутаго имъ» (219).

Я такъ напуганъ г. Бельтовымъ, что не смѣю съ нимъ спорить. Можетъ быть, оно такъ и есть въ Германіи. У насъ въ Россіи, кажется, не совѣмъ такъ. Есть, напр., у насъ профессоръ Янжулъ, извѣстный своею солидностью, бывшій одно время фабричнымъ инспекторомъ, командированный въ 1893 г. министерствомъ финансовъ въ Америку, словомъ—человѣкъ на виду. Подъ редак-

ціей этого самого профессора Янжула въ 1892 г. вышла «Книга о книгахъ», представляющая собою указатель чтенія по разнымъ отраслямъ. Въ отдѣлѣ политической экономіи тамъ рекомендуются и «Капиталъ», и «Zur Kritik der politischen Oekonomie», и «Misère de la Philosophie», и сочиненія популяризаторовъ и комментаторовъ Маркса: Кауцкаго, Гросса, Эвелинга, Зибера. Въ сочиненіи «Промысловые синдикаты», изданномъ департаментомъ торговли и мануфактуръ, тотъ же профессоръ Янжулъ называетъ книжку г. Струве «талантливымъ и остроумнымъ очеркомъ, съ главнѣйшими выводами котораго нельзя выוליѣ не согласиться» (стр. 402). (Мимоходомъ сказать, весьма одобрена книжка г. Струве въ 12-й книжкѣ «Русскаго Вѣстника» за истекшій годъ, въ статьѣ г. Орловскаго). Ну, а въ какой мѣрѣ г. Струве проникнуть Марксомъ, объ этомъ говорить нечего. Все это, однако, нисколько не мѣшаетъ профессору Янжулу быть профессоромъ. Что изъ этого слѣдуетъ? Отнюдь, я думаю, не то, что свобода университетскаго преподаванія такъ стѣснена въ Германіи, какъ утверждаетъ г. Бельтовъ, а лишь то, что изъ Маркса разные люди могутъ и разное извлекать. Это въ особенности относится къ его исторической теоріи, которой самъ онъ не разработалъ и съ которою у насъ часто знакомятся даже не изъ вторыхъ рукъ. Этимъ именно и объясняется, что «мы, марксисты» оказываемся сплотивъ и рядомъ «не настоящими». Приведенныя мною въ прошломъ году письма свидѣлствуютъ, что эти «не настоящіе» разныхъ степеней дѣйствительно существуютъ. Вотъ для нихъ-то мнѣ и хочется извлечь иѣчто поучительное изъ книги г. Бельтова.

Прежде всего оказывается, что и г. Струве не настоящій, и не только потому, что неосторожно проговорился насчетъ «выучки» и насчетъ необоснованности и непровѣренности историческаго матеріализма. Вы помните назойливость, съ которою г. Струве твердить, что «экономическій матеріализмъ просто игнорируетъ личность, какъ соціологически ничтожную величину» и что «соціологія можетъ игнорировать личность». Во избѣжаніе недоразумѣній, онъ это «повторять», онъ «настаивать» на этомъ. Г. Бельтовъ, возражая, правда, не г. Струве, проницательно спрашиваетъ: «Что такое общественныя отношенія производства? Это отношенія людей. Какъ же будутъ они развиваться безъ людей? Вѣдь тамъ, гдѣ не было бы людей, не было бы и отношеній производства» (222). И далѣе, уже не въ бровь, а прямо въ глазъ: «Матеріалисты-діалектики далеки отъ того, чтобы сводить роль личности въ исторіи къ нулю: они ставятъ передъ личностью задачу, которую, употребляя обычный, хотя и неправильный терминъ, надо признать совершенно исключительно идеалистической» (234).

Неосторожность г. Струве: «пойдемъ на выучку къ капитализму».—г. Бельтовъ исправляетъ такъ: «существуетъ капиталистическая проза (въ противоположность поэзии идеаловъ), а мы спрашиваемъ себя: какъ бороться съ этой прозой, какъ поставить народъ въ положеніе, хоть немного приближающееся къ идеальному?» (262). Съ этой точки зрѣнія, какъ поясняетъ г. Бельтовъ, вовсе не желательны ни «выкуриваніе лишняго мужика изъ деревни на фабрики», ни канализація промысловъ, ни обезземеленіе крестьянъ. Г. Бельтовъ даже допускаетъ, что «должно стараться мѣшать ихъ обезземеленію» (правда, въ уклончивой формѣ: «*положимъ*, должно стараться» 161). Все это,—и канализація, и обезземеленіе и проч.—неизбѣжно будетъ развиваться, въ этомъ г. Бельтовъ убѣжденъ, но «настоящимъ» вовсе не полагается принимать въ этомъ процессѣ активное участіе какою бы то ни было помощью ему, какъ и не полагается быть его безучастными созерцателями. Задача ихъ вотъ какаѣ: «Развитіе знанія, развитіе человѣческаго сознанія является величайшей, благороднѣйшей задачей мыслящей личности. *!Licht, mehr Licht!* вотъ что нужно прежде всего» (234). «Развивайте человѣческое сознаніе, сказали мы. Развивайте самосознаніе производителей, прибавляемъ мы теперь» (тамъ же). «Всѣ эти базары для продажи кустарныхъ издѣлій и попытки созданія производительныхъ ассоціацій едва ли облегчили положеніе хотя бы сотни нѣмецкихъ производителей. Но они содѣйствовали пробужденію самосознанія этихъ *!производителей* и тѣмъ принесли имъ большую пользу. Такую же пользу, и уже *!прямымъ*, а не обходнымъ путемъ, принесла просвѣтительная дѣятельность нѣмецкой интеллигенціи: школы, народныя читальни и т. п... Хлопоты г. Кривенки неуклюжи, неловки, безплодны, но если онѣ, не смотря на всѣ эти отрицательныя качества, разбудятъ самосознаніе хоть одного производителя, онѣ окажутся полезными, и тогда выйдетъ, что г. Кривенко жилъ на свѣтѣ не зря, чтобы дѣлать логическія ошибки» (278).

Послѣднее, мнѣ кажется, уже слишкомъ любезно. Но ничего, разумеется, не имѣю противъ этой любезности, и тѣмъ паче противъ просвѣтленія производителей. Думается мнѣ только, что для программы, столь простой и ясной, не зря было «подниматься за облака» Гегелевой философіи и «опускаться на дно» окрошки изъ субъективнаго и объективнаго... Страшная мысль: вдругъ да и г. Бельтовъ окажется не настоящимъ!

Однако, и въ этомъ случаѣ, для другихъ не настоящихъ окажется полезнымъ, напримѣръ, напоминаніе объ «антифизикѣ» Даламбера. Этотъ мыслитель «говаривалъ, что онъ, на основаніи самыхъ безспорныхъ физическихъ законовъ, докажетъ необходимость

явлений, совершенно невозможных въ дѣйствительности. Надо только, слѣдя за дѣйствіями каждаго даннаго закона, забыть на время, что существуютъ другіе законы, видоизмѣняющіе его дѣйствіе» (274). Или еще такіа слова: «Трудное это дѣло—объяснить весь историческій процессъ, послѣдовательно держась одного принципа. Но что прикажете? Наука вообще дѣло не легкое... Можетъ быть, въ вопросахъ, касающихся идеологій, самые лучшіе знатоки «экономической струны» окажутся подчасъ безсильными, если не будутъ обладать пѣкоторымъ особымъ дарованіемъ, именно художественнымъ чутьемъ... Много, очень много еще темнаго для насъ въ этой области!» (223). Г. Бельтовъ надѣется, конечно, разсвѣять эту темноту, но для многихъ не настоящихъ поучительно уже то, что темнота пока еще существуетъ, что разсвѣять ее—дѣло не легкое, для выполненія котораго нужно поработать въ разныхъ сферахъ духовной жизни: и художественное чутье не помѣнаетъ, и антифизику Даламбера помнить слѣдуетъ, и даже вырвать у исторіи тайну разницы между двумя Бюхнерами полезно.

Къ сожалѣнію, все это утончено въ окрошкѣ и компрометировано тѣмъ «русскимъ духомъ», который, однако, повторяю, не непременно «лжетъ за двухъ».

Изъ исторіи провинціальной печати.—Разказы г. Марка Криницакаго.

«Кіевское Слово» напечатало слѣдующій циркуляръ одного изъ жездѣподоржскихъ управленій:

Въ виду того, что въ послѣднее время въ печати стали появляться извѣстія, касающіеся домашней жизни управленія дорогъ, довожу до свѣдѣнія агентовъ вѣренннхъ дорогъ, что извѣстія для газетъ могутъ сообщаться только лицами, епецціально уполномоченными для этого; агенты-же, сообщающіе свѣдѣнія для газетъ, не имѣя на это права, будутъ немедленно увольняемы отъ службы.

Почти тотчасъ же послѣ изданія циркуляра репортеръ «Кіевского Слова» получилъ не менѣе краткое и винушительное письмо:

Согласно подпискѣ, данной мною объ исполненіи циркуляра г. управляющаго дорогъ, честь имѣю покорнѣйше просить васъ, милостивый государи, хотя я никогда не сообщалъ вамъ никакихъ свѣдѣній, впредь отношю не бывать у меня и не кланяться со мною на улицѣ, хотя мы и лично знакомы, такъ какъ это можетъ повредить моей карьерѣ по службѣ.—Подписать служащій управленія дорогъ такой-то.

Въ «Уфимскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ» (12 октябрія) была напечатана, за подписью «Прохожаго», замѣтка о неурядицахъ на переправѣ черезъ р. Вѣдую. Уфимскій городской голова, г. Малѣвичъ, обидѣлся и напечаталъ въ тѣхъ же «Губернскихъ Вѣдомостяхъ» «письмо къ редактору неофициальной части», въ которомъ, между прочимъ, читаемъ:

«Считаю долгомъ напомнить Вамъ, Господниъ Редакторъ, что печатаніе анонимныхъ корреспонденцій, явно заключающихъ въ себѣ писиузацію, не допускается даже въ частной, уважающей печатное слово, прессѣ, а не только что въ официальной, и такъ какъ «Уфимскія Губернскія Вѣдомости», перемѣнивъ еженедѣльный

*) Февраль 1895.

выходъ въ ежедневный, вовсе не утратили своего официальнаго характера, то можно только удивляться, какъ допускается въ такомъ органѣ печатаніе подобныхъ сообщеній. Въдѣ, послѣ этого возможно допустить что угодно писать о всякомъ губернскомъ и даже столичномъ присутственномъ мѣстѣ? Я думаю, Вы, Господинъ Редакторъ, не забыли, что Городская Управа, образованная по закону 11 іюня 1892 года, приравнена къ Губернскому Правленію, Казенной палатѣ и другимъ Присутственнымъ мѣстамъ? Съ появленіемъ этой корреспонденціи въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ, въ публикѣ начали циркулировать слухи о томъ, что ужъ если въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ такъ пишутъ о Городской Управѣ, такъ, значитъ, дѣйствительно что нибудь выдающееся было. Зачѣмъ же допускать бросать незадуманно грязью въ Правительственное, хотя бы и выборное учрежденіе? Не желая возбуждать преслѣдованій противъ анонимаго корреспондента, я имѣю честь покорнѣйше просить Васъ огласить его имя и на будущее время такого рода корреспонденцій не допускать».

Такъ относится къ гласности руссійскій обыватель, получившій хоть какую нибудь власть, хоть надъ чѣмъ нибудь, хотя бы по «совершенно постороннему вѣдомству»: онъ немедленно начинаетъ воображать себя правительствомъ, и ужъ, конечно, неприкосновеннымъ для печати. Поэтому онъ считаетъ себя вправе отдавать разнообразныя распоряженія по дѣламъ печати: дѣлать выговоры, воспрещать и проч. А когда у обывателя нѣтъ и тѣни какой бы то ни было власти, онъ прибѣгаетъ къ другому рода пріемамъ.

По словамъ «Русской Жизни», интересное заявленіе на смоленскомъ губернскомъ земскомъ собраніи сдѣлалъ гл. Н. А. Ковалевъ. Онъ обратился къ собранію съ слѣдующими словами: «Въ виду возбужденія вопроса о популяризаціи дѣятельности благотворительныхъ учреждений и неполученія многими жителями нашей губерніи мѣстнаго органа печати, благодаря тому, что тамъ иногда помѣщаются непріятныя для нихъ извѣстія, я позволяю себѣ предложить губернскому собранію поручить управѣ выработать такую программу газеты, которая была бы пріятна мѣстному населенію и читалась бы имъ съ удовольствіемъ; только при этихъ условіяхъ и возможна желательная популяризація». Собраніе приняло проектъ г. Ковалева «къ свѣдѣнію».

Провинціальный обозрѣватель «Биржевыхъ Вѣдомостей» приводитъ слѣдующее характерное извѣстіе:

«Въ засѣданіи астраханскаго петровскаго Общества недавно почтили память газеты «Волга», погибшей въ Астрахани въ 60 годахъ въ борьбѣ съ рыбопромышленниками... Совѣтъ Общества постановилъ внести въ общее собраніе предложеніе объ избраніи въ

члены-корреспонденты Общества бывшего редактора этой газеты, В. А. Бенземена».

По поводу этого извѣстія авторъ провинціального обозрѣнія замѣчаетъ:

«Итакъ, «погибла» въ 60-хъ годахъ, а «почтили» въ половинѣ 90-хъ годовъ. Какъ видить читатель, для того, чтобы оцѣнить погибшую, потребовалось не мало времени. Но... всетаки оцѣнили, всетаки почтили и на всю Русь добрымъ словомъ вспомнили».

Далѣе газета напоминаетъ вкратцѣ поучительную исторію названнаго провинціального изданія. Редакторъ его Бенземенъ основалъ газету въ Астрахани для борьбы съ возмутительными злоупотребленіями, которыя допускались астраханскими рыбопромышленниками какъ относительно казны, такъ особенно относительно рабочихъ. Газета съ самаго начала привлекла къ себѣ сочувствіе многихъ: у ней оказалось достаточно подписчиковъ во всемъ Нижнемъ Поволжѣ, около нея сгруппировался кружокъ сотрудниковъ. Но обличенія, которыя позволяла себѣ «Волга», выводили изъ себя рыбопромышленниковъ, которые и рѣшили во что бы то ни стало погубить «смѣльчака» съ его газетою. Они нанесли «Волгѣ» три удара, одинъ за другимъ.

«Первый ударъ былъ вотъ какого сорта. Раннимъ утромъ «смѣльчакъ» получаетъ адресъ отъ городскихъ подписчиковъ «Волги», подписанный болѣе чѣмъ «ста нятюдесятью» лицами. Въ адресѣ—покорившаяся просьба не присылать имъ «Волги», какъ газеты, сдѣлавшейся-де навязливою. Они, «подписчики», не только читать ее болѣе не желаютъ, но и въ руки брать не хотятъ».

Но редакторъ «Волги» продолжалъ борьбу, и на него обрушился второй ударъ, болѣе рѣшительный.

«У единственнаго тогда въ Астрахани нисчебумажнаго торговца Козлова была вдругъ скуплена вся типографская бумага. Мало этого, ему строго-на-строго было запрещено продавать «смѣльчаку» и нисчую бумагу. А до желѣзной дороги слишкомъ далеко... транспорты всякіе зимой идутъ долго... Выписать изъ Москвы или Пензы—значить ждать полгода, да и денегъ нѣтъ: Козловъ отпускалъ въ кредитъ, а московскіе и пензенскіе фабриканты, конечно, требуютъ наличныя».

И газета перестала выходить. Однако сочувствіе къ «Волгѣ» было уже настолько сильно, что редакторъ ея получилъ неожиданную поддержку: кружокъ саратовцевъ, сочувствовавшихъ «Волгѣ», собралъ по подпискѣ денегъ, которыя переслалъ издателю «Волги», чтобы тотъ могъ продолжать изданіе газеты.

«А тутъ ему какъ разъ и посчастливилось. У одного изъ астраханскихъ кабатчиковъ оказался небольшой запасъ бумаги для за-

вертыванія бутылокъ... Этотъ запасъ кабатчикъ согласился уступить, и «органъ» астраханскаго Поволжья сталъ опять выходить... На этотъ разъ въ видѣ небольшихъ сфренскихъ листковъ, составляющихъ теперь историко-библіографическую рѣдкость».

Но враги опять не дремали: они устроили такъ, что издатель «Волги» не могъ достать даже оберточной бумаги. А затѣмъ... поискали и нашли какого-то «доку», который съѣздитъ куда нужно и окончательно «доканаль» «смѣльчака».

Таковы факты, характеризующіе положеніе нашей провинціальной печати. Ихъ можно было бы привести, конечно, гораздо больше. Въ провинціальныхъ газетахъ сплошь и рядомъ печатаются письма такого-то, имя рекъ, который желаетъ заявить, что не онъ авторъ такой-то статьи, смутившей чье-то спокойствіе въ Царевококшайскъ или Алатырь: или другого имя река, слезно просящаго редакцію печатно удостовѣрить, что онъ никогда не состоялъ ея сотрудникомъ. Бываетъ, что обыватели доходятъ и до кулачковой расправы съ представителями мѣстной печати. Не дальше, какъ 27 января нынѣшняго года, въ «Волжскомъ Вѣстникѣ» было напечатано слѣдующее:

«За послѣднее время, въ мѣстныхъ газетахъ появилось нѣсколько замѣтокъ, касающихся нѣкоторыхъ порядковъ и нравовъ торговцевъ москательнаго ряда. Замѣтки эти встревожили весь москательный рядъ и торговцы собрались даже на особаго рода совѣщаніе. Предметомъ этого совѣщанія послужилъ вопросъ, какъ изловить неизвѣстнаго автора появившихся въ газетахъ сообщеній, которые пришлись не по вкусу москательщикамъ.

— Подкараулить надо!!—кричалъ на совѣщаніи одинъ.

— Показать слѣдуетъ ему кулаки наши!!—вторилъ другой.

— Поймать! поймать!!—поддакивалъ третій.

— Обязательно!!!—кричали хоромъ остальные. Послѣ долгихъ дебатовъ, споровъ и криковъ, въ которыхъ главное участіе принималъ торговецъ Алексѣевъ, москательщики рѣшили: поймать репортера, доказать (?) и проучить его какъ слѣдуетъ».

Въ сравненія съ этими остатками доисторическаго быта вышеприведенные кievскіе, смоленскіе и астраханскіе приемы представляютъ собою, конечно, верхъ утонченной деликатности. Но пора бы русскому обывателю уже и отстать отъ мѣры первобытнаго аршина. Уже слишкомъ 320 лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ первый русскій типографикъ Иванъ Федоровъ бѣжалъ изъ Москвы «презвѣльнаго ради озлобленія, часто случающагося намъ». Безъ малого 200 лѣтъ существуетъ на Руси періодическая печать. Времени этого, казалось бы, слишкомъ достаточно для того, чтобы пріучиться не только не отвѣчать кулакомъ на статью, но и

не требовать непременно «приятностей» отъ литературы. Г. Ковалевъ желаетъ имѣть въ Смоленскѣ такую газету, самая программа которой исключала бы непріятныя для обывателей извѣстія. Онъ свидѣтельствуешь, что «многіе жители» Смоленской губерніи не получаютъ мѣстнаго органа печати именно изъ-за этихъ «непріятныхъ извѣстій». Смоленская литература должна, значитъ, состоять исключительно изъ «звуконъ сладкихъ», а «бѣдность и несовершенства нашей жизни — пусть изображаются въ другихъ губерніяхъ... Однако, напримѣръ, не въ Астраханской и не въ Кіевской, потому что и тамъ многіе обыватели желаютъ, «чтобъ всю ночь, весь день ихъ слухъ дѣлѣя, про любовь имъ сладкій голосъ пѣлъ»; и не только желаютъ этого, но принимаютъ гораздо болѣе энергичныя, чѣмъ въ Смоленскѣ, мѣры противъ непріятныхъ извѣстій. Смоленскіе обыватели приобѣгаютъ, по крайней мѣрѣ, къ принципу конкуренціи и, не мечтая о насильственномъ искорененіи непріятныхъ извѣстій, или оставляя таковыя мечты въ глубинѣ своего сердца, хотѣвъ завести свою исключительно пріятную газету. Но развивая свой планъ устами г. Ковалева, они впадаютъ, мнѣ кажется, въ нѣкоторое логическое противорѣчіе. Проектъ пріятной газеты мотивируется «вопросомъ о популяризациі дѣятельности благотворительныхъ учреждений». Спрашивается, однако, возможно ли при подобной «популяризациі» обойтись безъ непріятныхъ извѣстій? Если, напримѣръ, смоленскія благотворительныя дамы сложились по ниткѣ, чтобы сшить голому рубашку, то обывателямъ пріятно, конечно, будетъ прочитатъ въ газетѣ, что среди нихъ есть такія то и такія то великодушныя дамы. Но, съ другой стороны, самое существованіе въ Смоленской губерніи голаго человѣка, ради котораго благотворительницы отняли у себя по ниткѣ, не можетъ же радовать чувствительныя смоленскія сердца. Благотворительность есть вѣдь непременно только оборотная сторона бѣдности и несовершенствъ жизни, и какъ же тутъ избѣжать непріятныхъ извѣстій? А кромѣ того, газета просто пріятная — кому нибудь въ губерніи будетъ всетаки непріятна, а газета пріятная во всѣхъ отношеніяхъ — и совѣтъ невозможенъ. Вышеупомянутое кіевское желѣзно-дорожное управленіе считаетъ непріятными для себя такія извѣстія, которыя навѣрное были бы пріятны другимъ обывателямъ уже въ силу того, что истину, хотя бы и горькую, всегда пріятно знать. Кіевское желѣзно-дорожное управленіе насильственно закуриваетъ источникъ истины, вѣрныхъ извѣстій, потому что кому же и давать ихъ, какъ не служащимъ въ управленіи? А если бы тотъ или другой служащій сообщилъ невѣрное извѣстіе, то вѣдь въ распоряженіи управленія есть очень простое средство возстановленія истины, — опроверженіе. Но русскій обыватель не любитъ этого простаго средства. Въ обходъ его

онъ употребляетъ не то что смоленскіе приемы, — эти приемы совершенно законны, и любопытна здѣсь только наивная откровенность проекта пріятной газеты. — а и гораздо болѣе дѣйствительные кievскіе и астраханскіе. Въ особенности замѣчательны послѣдніе. Нѣтъ сомнѣній, что дѣятельность астраханскихъ рыбопромышленниковъ, поскольку она шла въ ущербъ, казѣ съ одной стороны, и рабочимъ — съ другой, никому, кромѣ самихъ рыбопромышленниковъ, пріятности не доставляла; разоблаченіе же этихъ специальныхъ пріятностей, столь же несомнѣнно, было господамъ рыбопромышленникамъ непріятно. И вотъ поднимается сложная, упорная и долгая кампанія противъ непріятныхъ извѣстій, которыя, наконецъ, и рублемъ, и дублемъ благополучно искореняются. В. А. Бензemannъ, можетъ быть, и очень польщенъ почетомъ, оказаннымъ ему Совѣтомъ астраханскаго Петровскаго общества, но дорого яичко въ Христовъ день, и обыватели, воюющіе съ непріятными извѣстіями, это очень хорошо знаютъ. Вѣроятно, многіе изъ рыбопромышленниковъ, доканавшихъ «Волгу», еще живы и, похлопывая себя по карману, только смѣются себѣ въ бороду, слыша о почетѣ, оказанномъ г. Бензemannу. Да и для другихъ дѣятелей провинціальной печати этотъ запоздалый почетъ, эта уже, можно сказать, историческая оцѣнка даже вѣдь не столько заслугъ, сколько даромъ потраченной энергіи — плохое утѣшеніе.

В. Г. Короленко напечаталъ недавно въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» очеркъ жизни и дѣятельности одного изъ видныхъ работниковъ провинціальной печати, — покойнаго Гацискаго. По этому поводу ему естественно пришлось припомнить нѣкоторыя черты изъ времени медоваго мѣсяца провинціальной печати.

«Чѣмъ еще недавно занято было наше общество? — спрашивалъ А. С. Гацискій въ одной изъ своихъ статей («Нижегородскія Губ. Вѣд.» 1862 г., № 28). Только и разговоровъ было, что кто сколько визитовъ сдѣлалъ, да кто сколько полекъ безъ передышки отхваталъ, да о томъ, что въ піесѣ «Полковникъ старыхъ временъ» очень выгодно выказываются формы г-жи Н. Нынче же прислушайтесь къ разговорамъ: кто говоритъ о новыхъ судахъ, кто о волостныхъ судахъ, кто о судѣ присяжныхъ».

Или вотъ начало корреспонденціи изъ Балахны въ тѣхъ же «Нижегородскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ»:

«Впередъ, впередъ нашъ длинный, но узкій городокъ! Пусть въ жизни твоей только одна мѣстность стѣсняетъ ширину твоего населенія, и то потому, что ты прибрежное дѣтище Волги!.. Твое древнее достояніе — солеварни, чуть не допотопнаго устройства, — обряжаются нынѣ въ новыя удобнѣйшія формы... Ихъ пробудила наука, передавшая тебѣ свое знаніе черезъ морскаго инженера

В. П. Васильева... Ты завелъ у себя библиотечку и только ждешь преобразованія по управленію городскими суммами, чтобы исправить необходимые пути сообщенія... О, много, много талантовъ въ тебѣ, дорогой нашъ городъ!..»

И т. д. «Интересно, между прочимъ, прибавляетъ В. Г. Короленко, что вся эта пылая тирада—только вступленіе къ рецензій о любительскомъ спектаклѣ, къ которому авторъ и переходитъ, замѣчая, что послѣ такихъ подвиговъ на пути прогресса городъ имѣетъ право отдохнуть и повеселиться»...

То были времена наивныхъ, подчасъ безтолковыхъ, но почти всегда искреннихъ и безкорыстныхъ «литераторовъ-обывателей», къ которымъ Щедринъ отнесся, можетъ быть, съ чрезмѣрною, если не суровостію, то ворчливостію. Они и непріятныя извѣстія топили въ общемъ пріятно-розовомъ колоритѣ, утѣшавшемъ и прочихъ обывателей или, по крайней мѣрѣ, заставлявшемъ ихъ скрѣпя сердце, глотать и непріятныя извѣстія. Да, дѣйствительно, на такой то улицѣ города X произошелъ безобразнѣйшій скандалъ, въ такомъ то уѣздѣ открыты чрезвычайныя злоупотребленія и т. д., все это вѣрно, но вѣдь завтра же все это кончится: «впередь! впередь! моя Елабуга, мой Миргородъ, мой Галичъ и Солигаличъ!» Съ тѣхъ поръ много воды утекло. Провинціальная печать выросла, наивный розовый колоритъ вывѣтрился, и нынѣ елабужскій корреспондентъ, можетъ быть, ужъ не такъ увѣренъ, что въ его родномъ городѣ «много, много талантовъ», а нижегородскій лѣтописецъ уже не только объ однихъ новыхъ судахъ разговоры слышитъ, а опять и о визитахъ, и о полькахъ, и о формахъ г-жи Н. Какъ бы ни были подчасъ смѣшны первыя попытки провинціальной печати, но она была отраженіемъ обще-обывательскаго настроенія, которое давало ей матеріалы для пріятныхъ извѣстій. Въ общемъ обыватель былъ доволенъ своей литературой. Теперь онъ не доволенъ. Почему? и чего бы онъ отъ нея хотѣлъ?

Замѣтите, что единомысленные съ г. Ковалевымъ смоляне протестуютъ не противъ невѣрности сообщаемыхъ мѣстною газетою извѣстій, а только противъ ихъ непріятности. Кіевское желѣзнодорожное общество тоже не говоритъ, чтобы «появляющіяся въ послѣднее время въ печати извѣстія, касающіяся домашней жизни управленія», были невѣрны. И астраханскіе рыбопромышленники тоже. Обывателю, значить, нужна, по просту говоря, литература лживая, льстивая, угодливая, да, пожалуй, еще веселая, «смѣшная». А между тѣмъ, чего добраго, этотъ самый обыватель много разъ слышалъ или даже, можетъ быть, самъ говорилъ благосклонныя, если не благоговѣйшія слова о значеніи и назначеніи литературы. Кто же ихъ не знаетъ, этихъ благосклонныхъ и благоговѣй-

ныхъ словъ? Ихъ стыдно повторять, — до такой степени они износились отъ частаго употребленія: стыдно, да и не зачѣмъ, если они все равно какъ горохъ отъ стѣны отскакиваютъ, если кievскій, смоленскій, астраханскій обыватели, столько разъ ихъ слышавшіе, всетаки не уступаютъ въ своемъ требованіи исключительно пріятныхъ извѣстій. Тутъ ужъ ничего не подѣлаешь, и можно говорить только о тѣхъ послѣдствіяхъ, какія будутъ имѣть кievско-смоленско-уфимско-астраханскіе приемы воздѣйствія для провинціальной печати.

Послѣдствія эти не трудно предвидѣть. Прошли времена наивно-пламенныхъ балахнинскихъ корреспондентовъ. Есть, конечно, и теперь люди искренніе, даже пламенные, но они уже утратили первобытную наивность, ознакомились со вкусомъ плодовъ древа познанія добра и зла и радуются не такъ много и не такъ часто. Они окажутся, значитъ, болѣе или менѣе не у дѣлъ въ той провинціальной литературѣ, къ которой кievско-смоленско-астраханскіе приемы будутъ приложены съ усилѣхомъ. Безъ ихъ участія, содѣйствія, воздѣйствія и противодѣйствія будутъ вершиться благотворительныя дѣла въ Смоленскѣ, рыбо-промышленныя въ Астрахани и т. д. Мѣстную жизнь это, конечно, не украситъ, и не только мѣстную, какъ видно хотя бы изъ того, что потерявшій пораженіе г. Бенземавъ являлся защитникомъ интересовъ казны. Не украситъ это, разумѣется, и жизнь самихъ оставшихся не у дѣлъ, вынужденныхъ быть молчаливыми свидѣтелями смоленскаго, астраханскаго, кievскаго зла и неправды. Но собственно отъ ихъ невольнаго молчанія нива провинціальной литературы количественно, а въ извѣстномъ смыслѣ и качественно, не оскудѣетъ. Нынѣ повсемѣстно развелось много «бойкихъ перьевъ», есть изъ чего выбрать людей покладистыхъ, готовыхъ славословить и веселить, и есть между ними дѣйствительно бойкія перья, способныя «оживлять столбцы». Настрочить чувствительную или же, напротивъ того, суходѣловитую передовицу во славу мѣстныхъ благотворителей ли, кулаковъ ли; пустить ядовитую насмѣшку по адресу оставшихся не у дѣлъ или обвинить ихъ въ неблагонамѣренности: написать веселенькій рассказъ или стишки съ благовременными прозрачными намеками на величіе однихъ и ничтожество другихъ, извѣстныхъ всему городу лицъ,—все это они могутъ. И всему этому будутъ рады обыватели, требующіе пріятныхъ извѣстій. Мѣстная печать найдетъ въ нихъ своихъ меценатовъ, оплачивающихъ славословіе и веселье двусмысленнымъ почетомъ и недвусмысленными подачками, провинціальная литература процвѣтетъ. Все это я говорю, разумѣется, примѣрно, схематически, и отнюдь не думаю, чтобы эволюція въ этомъ направленіи могла совершаться очень быстро. У насъ еще

очень сильно идеальное представлѣніе объ обязанностяхъ литературы, для очень еще многихъ она есть храмъ правды, не подлежащій оскверненію, и до сихъ поръ, по крайней мѣрѣ, астраханско-смоленскіе приемы могли способствовать обезцвѣченію провинціальной печати, но, говоря вообще, имъ не удалось окрасить ее въ нужный имъ цвѣтъ. Есть, конечно, исключенія. Кажется, года три тому назадъ г. Меньшиковъ разсказалъ въ «Недѣлѣ» любопытные факты относительно нижегородской ярмарочной печати, да и о петербургской вскользь сообщили нѣчто, что меня тогда же поразило и что невольно вспоминается теперь.

Вслѣдъ за недавнимъ биржевымъ переполохомъ, вызвавшимъ предостерегающее вниманіе министерства финансовъ, обнаружилось, что наши столичные газетчики весьма наострились въ дѣлѣ сниманія нѣнокъ со всего, что допускаетъ эту манипуляцію. Не входя въ подробности относящихся сюда разоблаченій, приведу одинъ только эпизодъ. Г. Житель выступилъ въ «Новомъ Времени» съ обвиненіями «Петербургской Газеты» въ нечистыхъ биржевыхъ дѣлахъ. Два сотрудника «Петербургской Газеты» риностировали г. Жителю, при чемъ одинъ изъ нихъ писалъ, между прочимъ: «Что мы такое, извѣстно вполнѣ общирному кругу нашихъ читателей». «Да,—отвѣчалъ въ свою очередь г. Житель,—извѣстно по книгѣ «Герои литературнаго шантажа», по двумъ слѣдствіямъ о вымогательствахъ взятокъ съ антрепренеровъ, актрисъ и ихъ поклонниковъ и еще кое о чемъ» («Новое Время», 31 января). Я не справился, какъ приняла эти слова «Петербургская Газета», и не знаю книги «Герои литературнаго шантажа», но припоминаю, что въ упомянутыхъ статьяхъ г. Меньшикова въ «Недѣлѣ» весьма опредѣленно говорилось о скандальномъ дѣлѣ какихъ то шестнадцати представителей такъ называемой малой прессы, обличавшихся содержателями загородныхъ увеселительныхъ заведеній въ шантажѣ. Г. Меньшиковъ цитировалъ при этомъ весьма бойкія разсужденія «Петербургской Газеты» о томъ, что честность совершенно не нужна журналисту, а нуженъ только талантъ. Теперь г. Житель упоминаетъ о вымогательствахъ взятокъ съ антрепренеровъ, актрисъ и проч. «и еще кое о чемъ» и связываетъ это съ биржевыми эпизодами, тяжело отозвавшимися на карманахъ людей, которые соединяютъ въ себѣ жажду быстрой и легкой наживы съ легковѣріемъ, экзекватурируемымъ небезкорыстными биржевыми хроникерами. Самая возможность публичнаго, громогласнаго обвиненія такого сорта есть уже черта литературныхъ правовъ, способная привести въ ужасъ не однихъ завязатыхъ идеалистовъ вроде, напримѣръ, К. Аксакова, который обращался къ печатному слову съ такимъ поуклюжимъ, но искреннимъ и горячимъ гимномъ:

Ты чудо изъ божьихъ чудесъ,
 Ты мысли свѣтильникъ и пламя.
 Ты лучъ намъ на землю съ небесъ.
 Ты намъ челоѡчества знамя,
 Ты гонимъ невѣжества ложь,
 Ты къ свѣту, ты къ правдѣ ведешь.

И т. д. «Бойкимъ перьямъ», увѣреннымъ, что журналисту честность не нужна, а нуженъ только талантъ, эти слова должны казаться очень смѣшными, а идеалистъ въ свою очередь съ ужасомъ долженъ думать о томъ, во что можетъ превращаться «чудо изъ божьихъ чудесъ» и «мысли свѣтильникъ и пламя». Но, повторяю, нѣтъ надобности въ такомъ благоговѣйномъ отношеніи къ печатному слову, чтобы придти въ ужасъ отъ увеселительно-шантажно-ажіотажныхъ подвиговъ бойкихъ перьевъ. Даже тотъ самый обыватель, который въ Кіевѣ, Уфѣ, Смоленскѣ, Астрахани властно требуетъ исключительно пріятныхъ извѣстій, можетъ содрогнуться хотя бы только за свой карманъ. Пусть же онъ не ошибается относительно будущаго, къ которому онъ приближается своими настояніями: рано ли, поздно ли извращенная этими настояніями печать и его предастъ и продастъ. И, откровенно говоря, туда ему и дорога, если ужъ на то пошло,—онъ самъ себя вырылъ яму. Бѣда, однако, въ томъ, что въ эту же яму провалятся и обыватели ни въ чемъ неповинные. Ихъ много, не считая даже той массы, которая непосредственно терпитъ отъ того, что уфимскій городской голова, астраханскіе рыбопромышленники и проч. очень любятъ пріятныя извѣстія и употребляютъ всѣ возможныя и даже не возможныя для нихъ средства, дабы извѣстія непріятныя въ печать не проникали.

Да, даже невозможныя для нихъ средства, ибо, что бы ни говорилъ г. уфимскій городской голова о равенствѣ городской управы съ губернскимъ правленіемъ и казенной палатой, а ни одному изъ этихъ присутственныхъ мѣстъ не предоставлено право воспрепятствовать печатанію не нравящихся имъ статей.—для этого есть спеціальныя учрежденія. Г. уфимскій городской голова сыгралъ поэтому комическую роль и получилъ въ тѣхъ же «Уфимскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ» вполне заслуженный урокъ, какъ отъ автора возмущившей его замѣтки о переправѣ черезъ р. Бѣлую, такъ и отъ редактора «Вѣдомостей». Первый основательно замѣтилъ г. Маллѣеву, что «дѣятели печатнаго слова призваны не хвалу воздавать только кому бы то ни было» («Уф. Губ. Вѣд.» 29 окт.), но болѣе, надо думать, убѣдительно для г. Маллѣева указаніе г. редактора «Вѣдомостей», что онъ, городской голова, «уже вышелъ изъ границъ», публикуя свои распоряженія по дѣламъ совершенно неподвѣдом-

ственной ему печати. «Все это было бы смѣшно, когда бы не было такъ грустно», прибавляетъ редакторъ. Конечно, но всетаки тутъ есть комическій элементъ сердитаго безенія, который совершенно отсутствуетъ въ другихъ вышеприведенныхъ эпизодахъ изъ жизни провинціальной печати. Въ Уфѣ смѣшно вышло, но въ другихъ мѣстахъ такъ или иначе удастся устроить между жизнью и литературой завѣсу пріятныхъ извѣстій.

Балахнинскій корреспондентъ добраго стараго времени весь сверкалъ радостью по случаю улучшеннаго устройства солеварень, предстоящаго замощенія улицъ («необходимые пути сообщенія»), устройства библіотеки, любительскаго спектакля. Все это, вѣроятно, и теперь есть въ Балахиѣ, и, можетъ быть, даже въ превосходной степени. Но натура человѣческая такъ устроена, что явленія, ставшія привычными, обыденными, перестаютъ радовать, и, не смотря на мостовыя и любительскіе спектакли, въ Балахиѣ теперь можетъ быть не очень весело. Не знаю, гдѣ живетъ герой «Монологовъ» г. Баранова,—въ самой ли Балахиѣ, или въ Балахнинскомъ, или въ какомъ другомъ уѣздѣ, но ему во всякомъ случаѣ навѣрное не весело. Онъ не правъ, конечно, утверждая, что «тамъ въ Питерѣ, у чертей на куличкахъ, все въ розовомъ свѣтѣ представляется: «ростъ провинціи», «широкое поле для дѣятельности», «благія начинанія», «чортъ въ ступѣ, однимъ словомъ». Не въ одномъ Питерѣ, но крайней мѣрѣ, дѣло, когда и въ Кіевѣ, и въ Уфѣ, и въ Смоленскѣ, и въ Астрахани объявляются самозванные командиры печати, воюющіе съ непріятными извѣстіями. Но такому несчастному человѣку, какъ герой «Монологовъ», можно простить и маленькую несправедливость. Мы застаемъ его въ страшную минуту сознанія, что его почти уже безповоротно засосало болото пошлости. Человѣкъ онъ, повидному, слабый, но не дурной, даже, можетъ быть, очень хороший, съ чуткимъ, отзывчивымъ сердцемъ, съ запросами недюжиннаго ума. Понятны тѣ вопли отчаянія, которые вырываются изъ его замирающей души,—онъ вѣдь чувствуетъ, какъ она замираетъ; онъ только, простонародно выражаясь, бахвалится, отождествляя свой идеалъ съ рюмкой водки, и самъ себя этимъ отождествленіемъ бодрѣнно бередитъ. Отчаяніе есть, конечно, только острый моментъ, и если не разрѣшится пудей или морфіемъ, то обратится въ ровную, длянущуюся, неотступную тоску, корень которой заключается въ томъ, что человѣкъ не вѣрнитъ въ свое дѣло среди «широкаго поля для дѣятельности», «благихъ начинаній» и прочаго, надъ чѣмъ такъ зло смѣется герой «Монологовъ». Миѣ кажется, такихъ тоскующихъ людей,—не особенно энергичныхъ, но хорошихъ и способныхъ,—было много и въ Астраханской, и въ Смоленской, и въ Уфимской, и въ Кіевской губерніяхъ.

Другого рода тоску пожелалъ изобразить г. Маркъ Криницкій, авторъ только что появившагося крошечнаго сборника разсказовъ, озаглавленнаго «Въ туманѣ». Въ сборникѣ всего три разсказа и всѣ три достаточно плохи, чтобы быть обойденными молчаніемъ. Но претензіи автора велики, и ради одной изъ нихъ мы остановимся на разсказѣ «На пути къ выздоровленію (изъ исторіи больной души)».

Юный и бѣдный провинціалъ, Поповъ по фамиліи, пріѣзжаетъ въ столицу (Москву, повидимому) и поступаетъ въ университетъ. Онъ полонъ надеждъ, бодрости, жажды знанія. Онъ избралъ математическій факультетъ и усердно занимается. Сидитъ онъ однажды надъ лекціями дифференціального исчисленія и думаетъ: «Какое счастье заниматься всѣмъ этимъ! Какая разница съ той первобытною и отсталостію, которая царитъ дома на родинѣ!» Но какъ разъ въ эту минуту ему въ нѣсколько новомъ освѣщеніи вспоминаются «матушка, лежащая въ параличѣ съ искривленнымъ ртомъ, трое дикарей братишекъ, четыре сестры, у которыхъ почему-то глаза вѣчно красны отъ слезъ, и забитый, часто пьяненькій отецъ». «И въ первый разъ со времени моего пребыванія въ столицѣ, — разсказываетъ Поповъ, — что-то безнокойное и жалостливое заняло во мнѣ». Съ этихъ поръ въ душѣ Попова образуется, — если можно такъ выразиться, — трещина, все расширяющаяся и причиняющая ему все большую и большую тоску. Не совсѣмъ ясно почему (онъ и самъ говоритъ, что его «выводы слишкомъ туманны»), но воспоминанія о бѣдности и несовершенствахъ жизни въ родномъ захолустьѣ связываются въ немъ съ скептицизмомъ по отношенію къ наукѣ. Подобно Фаусту, онъ стремится познать все, переходитъ съ одного факультета на другой, но нигдѣ не находитъ удовлетворенія. Наконецъ, подобно Фаусту же, онъ приходитъ къ заключенію, что «необходимо озаботиться просвѣщеніемъ народныхъ массъ и поднятіемъ ихъ матеріальнаго благосостоянія: искорененіе нищеты и невѣжества, — вотъ культурная миссія просвѣщенной столицы!» Разочаровавшись въ наукѣ, которая не открыла ему «смысла жизни», онъ рѣшилъ по просту послужить родному захолустью, «дать ему возможность вздохнуть счастливо и безмятежно». Казалось бы, тутъ и сказкѣ конецъ. Она, дѣйствительно, такъ и кончается, но лишь послѣ новыхъ мытарствъ героя, опредѣляемыхъ встрѣчею съ другою тоскующею душою — Игнатьевымъ, тоже студентомъ.

Съ Игнатьевымъ Поповъ встрѣтился на студенческой вечеринкѣ, гдѣ говорили «о голодовкахъ, объ улучшеніи земли при помощи клевера (?)», о земскихъ школахъ, о пьянствѣ» и, кромѣ того, много пили. Пьянъ и даже пьянѣ другихъ былъ и Игнатьевъ.

Но онъ держалъ необычныя рѣчи. Онъ уличалъ своихъ собесѣдниковъ и собутыльниковъ въ томъ, что они лгутъ, собираясь бороться или трудиться на пользу отечества, что они сами не вѣрятъ своимъ словамъ и вовсе не любятъ своего отечества. Онъ, повидимому, правъ относительно той компаніи, въ которой ораторствуетъ. Но и въ его рѣчахъ обнаруживается нѣкоторая любопытная двойственность, которою авторъ, очевидно, очень дорожитъ, какъ тонкою психологическою чертою. Игнатъевъ говоритъ, между прочимъ: «Собрались мы тутъ люди все самые образованные и въ высшей степени мыслящіе; всѣ мы гордимся здравымъ смысломъ и пр., между нами нѣтъ ни одного вѣрующаго въ Бога или вообще метафизика, мы всѣ люди трезвые, отъявленные позитивисты, а не безтолочь какая нибудь! Въ Бога не вѣримъ, загробной жизни не признаемъ, дѣвочекъ (тутъ онъ подмигнулъ своими слезящимися глазами) и водку любимъ и собираемся дѣлать такъ, чтобы наука засіяла на всѣхъ перекресткахъ матушки Россіи и была бы въ ней не жизнь, а разлитое море». Естественно можетъ показаться, что это рѣчь сатирическая, что, ставя за одну скобку атеизмъ, любовь къ «дѣвочкамъ и водкѣ» и уваженіе къ наукѣ, Игнатъевъ относится ко всему этому отрицательно. Но это не такъ. Игнатъевъ дѣйствительно атеистъ, любитъ «дѣвочекъ и водку» и преклоняется передъ наукой. Но, опять же, какъ у Фауста, «двѣ души въ груди его живутъ». Онъ теоретически убѣжденъ въ правильности и дѣльности своего образа мыслей и поведенія, но въ глубинѣ души его живетъ тайный протестъ, подавленное тяготѣніе къ совѣмъ инымъ взглядамъ и совѣмъ иной жизни, которое тяготѣніе онъ считаетъ, однако, своею личною слабостью и объясняетъ своею неподготовленностью къ воспринятію истины. Будущія же поколѣнія окончательно въ ней утвердятся, то есть увѣруютъ во всемогущество науки (она, между прочимъ, найдетъ возможность «приготовить «духъ» въ химической ретортѣ»), которая, дескать, уиразднитъ, съ одной стороны, всякую вѣру въ Бога, а съ другой—оправдаетъ «любовь къ дѣвочкамъ и водкѣ». Отсюда слѣдуетъ два вывода. Во-первыхъ, Игнатъевъ не можетъ вѣрить искренности тѣхъ своихъ собесѣдниковъ, собутыльниковъ и единомышленниковъ, которые разглазываютъ о любви къ отечеству, къ народу и проч., о готовности безкорыстной работы для ихъ пользы и величія.—все это они врутъ, притворяются, ибо любви и безкорыстной работѣ нѣтъ мѣста въ ихъ міроуразумѣніи. Можетъ показаться страннымъ, что, напримѣръ, толки «объ улучшеніи земли при помощи клевера» — лживы, а надежда «приготовить духъ въ химической лабораторіи» — искренна. Очень вѣроятно, что это и дѣйствительно просто два вздора, помноженные на одинъ общій вздоръ. Но, можетъ быть, тутъ

есть и нѣкоторый смыслъ съ точки зрѣнія автора. Въ мечтѣ объ «улучшеніи земли при помощи клевера» есть извѣстный этический элементъ,—забота о чѣмъ-то благополучіи,—котораго именно и не допускаетъ Игнатьевъ, тогда какъ «приготовленіе духа въ химической лабораторіи» ожидается, повидимому, исключительно во славу науки. Какъ бы то ни было, а второй выводъ изъ положенія Игнатьева состоитъ въ необходимости извѣстной тоскливой душевной муки. Онъ, подобно поэту г. Минскаго, и слишкомъ поздно, и слишкомъ рано родился. Сердце его лежитъ къ вещамъ, по его мнѣнію, прошедшимъ, отрицаемымъ его собственнымъ разумомъ, а къ вѣщнымъ разума, указующимъ будущія вещи,—онъ не приспособился. Отсюда тоска, доводящая Игнатьева до мысли о самоубійствѣ, котораго онъ, впрочемъ, счастливымъ образомъ не приводитъ въ исполненіе. Онъ заражаетъ своей тоской и Попова: тотъ тоже подумываетъ о самоубійствѣ, но ограничивается упоминательствомъ, которое опять-таки счастливымъ образомъ оканчивается выздоровленіемъ. Оба уѣзжаютъ въ свои родныя захолустья и примиряются съ жизнью,—Поповъ въ качествѣ надзирателя мѣстной гимназіи, Игнатьевъ—менѣе опредѣленно, но во всякомъ случаѣ желая «внести съ собою свѣтъ и благополучіе». Такимъ образомъ, оба друга пришли въ концѣ-концовъ къ тому самому рѣшенію, къ которому Поповъ пришелъ еще до встрѣчи съ Игнатьевымъ. Зачѣмъ же, спрашивается, авторъ проволочилъ его черезъ новыя увлеченія наукой и новыя разочарованія въ ней и черезъ рядъ пьяныхъ и грязныхъ похожденій?

Зависитъ это, кажется, отъ того, что г. Криницкій погнался за двумя зайцами, въ результатъ чего, какъ извѣстно, обыкновенно ни одного не оказывается. Г. Криницкій хочетъ дать, такъ сказать, подножку, во-первыхъ, столичному житію, во-вторыхъ—наукѣ. Онъ рассказываетъ: «Прежде всего мы увлеклись наукой такъ, какъ только можетъ увлекаться своей идеей человѣкъ въ состояніи гинноза или моноидеизма; мы учились почти до полного изнеможенія. Какъ пчелы, старались мы схватить самую разностороннюю свѣдѣнія, въ то же время избравши себѣ одну опредѣленную специальность, которая становилась для насъ чѣмъ-то въ родѣ *idée fixe*... Затѣмъ у насъ было болѣзненное стремленіе и къ другому рода палліативнымъ средствамъ. Это были—театръ и пьянство. Посѣщеніе театра у насъ тоже было какое-то болѣзненное и ненормальное. Особенно увлекала насъ опера; это было тоже своего рода пьянство... Пьянство въ буквальномъ значеніи этого слова.. было для многихъ и многихъ изъ насъ одна почти непрерывная вакхическая оргія. Всѣ приведенные факты однородны между собою по источнику своего происхожденія; всѣ они пронтекаютъ отъ незнанія, куда кинуться, что

предпринять, какъ пачать жить. Масса собитаго съ толку различными нелѣпыми или недозрѣлыми теоріями люда мятется, не зная, какъ измыкать по свѣту свою жизненную силу».

Позволительно усомниться въ нарисованной Поновымъ или г. Кривницкимъ картинѣ. Казалось бы, заниматься *почти до изнеможенія* наукой и въ то же время участвовать въ *почти непрерывной* вакхической оргіи—немножко мудрено: какъ ни вертись, а въ суткахъ всего только 24 часа. И пусть не ошибается читатель: не разныя группы товарищей Попова занимались одиѣ наукой, другія пьянствомъ, третьи театромъ. Онъ о самомъ себѣ говоритъ: «Въ наукѣ, театрѣ и пьянствѣ проявились мое безсиліе и безволіе». Для Попова или г. Кривницкаго дѣло не въ точномъ воспроизведеніи его и его товарищей время проведенія, а въ томъ, чтобы лишній разъ связать какою-то якобы логическою нитью науку съ пьянствомъ. Повидимому, исторію его слѣдуетъ понимать много проще, чѣмъ онъ рассказываетъ. Хотя онъ и утверждаетъ, что занимался наукой почти до изнеможенія, углубляясь при томъ въ самыя разнообразныя ея отрасли, но въ своемъ изложеніи онъ вовсе не обнаруживаетъ эрудиціи. Да и тотъ фактъ, что онъ, въ концѣ-концовъ, пристроился къ педагогической дѣятельности—хотя бы и въ качествѣ гимназическаго надзирателя—не свидѣтельствуетъ о разочарованіи въ наукѣ. Онъ, повидимому, просто принадлежитъ къ числу тѣхъ, объ которыхъ въ старину говорилось, что они убоялись премудрости и возвратились вснѣть. Но онъ считаетъ себя выправѣ мстить наукѣ, при помощи «различныхъ нелѣпыхъ или недозрѣлыхъ теорій», которыми его снабжаетъ Игнатьевъ и суть которыхъ состоитъ въ томъ, что наука будто бы отрицаетъ нравственный элементъ. Достоверно, что нѣчто подобное этимъ теоріямъ существуетъ, но не менѣе достоверно, что это нѣчто «нелѣпо или недозрѣло», а потому ставить его на счетъ самой наукѣ—отнюдь не полагается.

Кромѣ науки, Поповъ своимъ рассказомъ мститъ еще столицѣ, столичной жизни съ ея сутолокой и будто бы обязательнымъ для всѣхъ и каждаго развратомъ. Онъ противопоставляетъ ей провинціальную идиллію. Когда онъ, оправившись отъ психическаго разстройства, подѣзжалъ къ родному городу, отецъ говорилъ ему: «Ванюшка, глянь-ка-сь, какъ и въ самомъ дѣлѣ хорошо вокругъ! Говорилъ я тебѣ, зачѣмъ уѣзжать... Погляди: вотъ и церковь бѣлѣется! Николы Кладбищенскаго... Экая красота! Сколько ни ѣзжу, никакъ не люблю!» Хороши тоже ночи въ томъ городѣ, и Поповъ «чувствовалъ, что здѣсь, среди ночного уединенія, передъ лицомъ вѣчности сердце его бьется нѣжною любовью ко всему живущему». «Передъ лицомъ вѣчности» (которая, надъ думать, отвратила свое лицо отъ столицы) Поповъ и другія вещи видѣлъ въ родномъ го-

родѣ. Тамъ все по старому: «Тѣ же бороды и картузы, тѣ же вывороченныя скулы и разбитыя фізіономіи, попрежнему биткомъ набита шумная «клопарня» (кутузка для пьяныхъ). Куда ни глянешь, все тѣ же заспанные глаза и приторныя улыбки; вездѣ старинная грязь и ветошь. Улицы съ допотопными плетнями и плехенькими строеніями; лишь кое гдѣ стоитъ приличный домишко, да торчитъ новый деревянный заборъ, да и то весь уже изрѣзанный ножами и исписанный всевозможными неприличными словами и ругательствами».

Видите, какъ хорошо, особенно послѣ разочарованія въ наукѣ. Немудрено, что Поповъ «ходить радостный и счастливый по знакомымъ переулкамъ, улицамъ и закоулкамъ; всѣ ему рады, и онъ всѣмъ радъ». Но есть вещи и еще пріятнѣе на родинѣ Попова. Вотъ хоть бы его семья. Отецъ у него пьяница и развратникъ; измученная имъ жена, мать Попова, устраиваетъ ему сцены, за которыя онъ ее, наконецъ, возненавидѣлъ и придумалъ слѣдующую чудовищную мсть: «Гдѣ то, въ какомъ то вертепѣ онъ успѣлъ заразиться одною очень модною, постыдною болѣзнію: вскорѣ ею заболѣла и матушка. Это была страшная мсть! Не было предѣловъ злорадству моего отца.—разсказываетъ Поповъ.—Онъ кричалъ: Ага, шлюха бульварная! умѣешь другихъ пилить! А сама, безстыдница, что дѣлаешь? Меня страшишь?!»

Это продолжалъ тотъ самый отецъ Попова, который съ умиле-ніемъ говорилъ о красотѣ церкви Николы Кладбищенскаго. И вы понимаете, какъ пріятно встрѣтить такую фигуру и такія дѣянія послѣ столичнаго разврата и пьянства, осоловѣвшихъ съ наукой. Тамъ, «предъ лицомъ вѣчности», въ свободной отъ науки атмосферѣ, не любятъ «дѣвочекъ и водки». Тамъ и нашелъ свое успокоеніе, «смыслъ жизни» и примиреніе съ жизнью Поповъ...

Поповъ разсказываетъ много мерзостей про себя и своихъ товарищей, но мерзости эти совершенно блѣднѣютъ въ сравненіи съ тѣмъ, что онъ разсказываетъ про своего отца. Почему же столичные мерзости такъ угнетаютъ его, а провинціальныя, несравненно худшія, не мѣшаютъ ему, «радостному и счастливому, ходить по знакомымъ переулкамъ, улицамъ и закоулкамъ»? Прежде всего потому, что первыя какими то невѣдомыми нитями связаны съ наукой. А затѣмъ есть и еще причина. Поповъ разсказываетъ: «Я видѣлъ, что Игнатьевъ правъ и что также былъ правъ и я, когда не видѣлъ задушевной цѣли ни въ современной наукѣ, ни въ общественной жизни. Я съ особенною ясностью вдругъ уразумѣлъ всю эту безцѣльную и глупую сумятицу, называемую общественною жизнью, гдѣ люди живутъ, не зная, зачѣмъ это дѣлаютъ,

гдѣ они или сознательно отказываются отъ всякихъ прекрасныхъ возвышенныхъ цѣлей, или, если и признаютъ всемогущаго Бога и загробную жизнь, то черезъ пять минутъ всѣми своими поступками доказываютъ обратное».

Поповъ, очевидно, все призываетъ имя Божіе, такъ какъ и его отецъ, и тѣ, что пишутъ неприличные надписи и ругательства на заборѣ, и тѣ, что «выворачиваютъ скулы и избиваютъ физиономіи», не уличаются же имъ въ атеизмъ. Едва ли можно также сказать, что эти господа «живутъ, зная, зачѣмъ они это дѣлаютъ». Поэтому, устранивъ черты, произвольно введенныя Поповымъ, мы убѣждаемся, что Поповъ, кромѣ науки, бѣжалъ еще отъ «безцѣльной и глупой сумятицы, называемой общественною жизнью». Основательно ли онъ усваиваетъ общественную жизнь исключительно столицамъ. — это вопросъ особый; но достоверно, что въ томъ углу, гдѣ онъ нашелъ свое успокоеніе, господствуетъ и глупая, и безцѣльная, и во всѣхъ смыслахъ скверная сумятица, отнюдь не заслуживающая названія общественной жизни.

Поповъ утверждаетъ, что онъ и Игнатъевъ учились почти до изнеможенія, углубляясь при томъ въ разнообразійшія отрасли знанія. Наука, однако, едва ли принесла имъ много пользы. Иначе Игнатъевъ не рассчитывалъ бы приготовить «духъ» въ химической лабораторіи, а Поповъ не огорчился бы тѣмъ, что «геометрія не спрашиваетъ, зачѣмъ въ прямоугольномъ треугольникѣ сумма двухъ острыхъ угловъ равна одному прямому». Во всякомъ случаѣ творецъ Игнатъева и Попова, г. Маркъ Криницкій, до такой степени не умѣетъ свести свои концы съ концами и до такой степени слабъ во всѣхъ смыслахъ, — правоописательномъ, художественномъ, идейномъ, — что понестись удивляться надо смѣлости, съ которою онъ берется ставить и трактовать вопросъ о «нелѣпыхъ или недозрѣлыхъ теоріяхъ» со всѣми ихъ практическими послѣдствіями. Чтобы быть ихъ судьей, надо стоять выше ихъ; а г. Маркъ Криницкій (или его персонажи) самъ является жертвой той своеобразной судьбы нелѣпыхъ или недозрѣлыхъ теорій, которую онѣ испытываютъ у насъ.

Нелѣпныя или недозрѣлыя теоріи, разумѣется, вездѣ существуютъ и вездѣ даютъ себя знать болѣе или менѣе прискорбными послѣдствіями. Но въ ихъ судьбѣ у насъ есть нѣсколько особенныхъ чертъ. Во-первыхъ, ни сами онѣ, ни добросовѣстная ихъ критика не договариваются обыкновенно до конца, вслѣдствіе чего концы ихъ оказываются предоставленными на произволъ разнообразійшихъ единичныхъ толкованій безъ надлежащаго авторитетнаго руководства. Во-вторыхъ, онѣ охватываютъ у насъ сравнительно

съ Западной Европой (то есть принимая въ соображеніе количественную разницу читателей вообще) очень большую, часто даже прямо большую часть такъ называемой интеллигенціи. Въ-третьихъ, наконецъ, въ нашихъ массовыхъ увлеченіяхъ, какъ этими нелѣпыми и недозрѣлыми теоріями, такъ и здравыми идеями, нѣтъ никакой преемственности: наше такъ называемое образованное общество перескакиваетъ отъ одного увлеченія къ другому съ удивительною легкостью. Та мучительная тоска, которую будто бы испытываетъ герой г. Марка Криницкаго, Поповъ, при надломѣ міроразумія, равно какъ и та, подъ тяжестью которой будто бы пзнываетъ другой герой вышеизложеннаго разсказа, Игнатъевъ, вслѣдствіе раздвоенности между разумомъ и чувствомъ,—тоска эта есть у насъ совсѣмъ не заурядное явленіе. Вообще говоря, въ пѣломъ, мы скорѣе подобны легкокрылымъ птичкамъ, беззаботно перепархивающимъ съ вѣтки на вѣтку, съ дерева на дерево, изъ одной рощи въ другую, равно благодарно оглашая ихъ своими веселыми пѣснями.

Только что вышло новое изданіе «Исторіи цивилизаціи въ Англіи» Бокля (въ старомъ и очень хорошемъ переводѣ Буйницкаго). Этому замѣчательному произведенію въ русскомъ переводѣ тридцать лѣтъ (въ оригиналѣ немногимъ больше, оно появилось въ 1857—1860 г.). Вытерпѣло оно у насъ, кромѣ того, о которомъ у насъ теперь идетъ рѣчь, еще шесть изданій — три въ переводѣ Буйницкаго и три въ переводѣ Бестужева-Рюмина. Оно принадлежитъ къ числу произведеній классическихкихъ, достоинства и недостатки которыхъ давно взвѣшены и которые поэтому не нуждаются въ новыхъ толкованіяхъ и критическомъ пересмотрѣ. Я убѣжденъ, однако, въ противномъ, то есть въ томъ, что для многихъ, если не для большинства, нынѣшнихъ читателей пересмотръ знаменитаго труда Бокля окажется весьма полезнымъ и даже прямо необходимымъ. Я не предполагаю заниматься этимъ дѣломъ сегодня и остановлюсь только на двухъ фразахъ изъ новаго изданія, при томъ фразахъ, принадлежащихъ не самому Боклю.

Авторъ вступительной статьи къ настоящему изданію, г. Е. Соловьевъ, приводитъ слова Уоллеса въ его книгѣ о Россіи: «Мнѣ рѣдко приходится раскрывать номеръ журнала и даже газеты безъ того, чтобы не встрѣтить имени Бокля. Интеллигентная молодежь зачитывается «Исторіей цивилизаціи» и на многія мысли, высказанныя въ ней, смотритъ, какъ на откровеніе». Такъ было въ шестидесятыхъ годахъ, а теперь можно, кажется, предложить премію тому, кто во всѣхъ журналахъ и газетахъ вмѣстѣ най-

дѣтъ имя Бокля хотя бы только десять разъ за цѣлый годъ. Другая фраза, на которую я хотѣлъ бы обратить вниманіе читателя, принадлежитъ мнѣ. Издатель сдѣлалъ мнѣ честь, выбравъ эпитафію для книги Бокля слѣдующія мои слова: «Сопоставленіе Бокля и графа Толстого напрашивается само собой, такъ какъ это прямая противоположности». Да, это дѣйствительно прямая противоположности. А между тѣмъ, если хорошенько посчитать, то разстояніе между моментомъ, когда мы перестали находить «откровеніе» у Бокля, и тѣмъ, когда мы начали искать его у гр. Толстого, едва-ли многимъ превосходить то время, о которомъ Гамлетъ говорить:

И башмаковъ еще не износила,
Въ которыхъ шла въ слезахъ, какъ Іюбенъ,
За бѣднымъ прахомъ моего отца...
О, Небо! Звѣрь безъ разума, безъ слова,
Груститъ бы долѣе...

А давно-ли мы износили и тѣ саногі, въ которыхъ паломники ходили въ Ясеную Поляну и въ Москву, на Дѣвичье Поле? Достоверно, во всякомъ случаѣ, что мы ихъ износили и ходимъ опять въ новыхъ: имя гр. Толстого не пестритъ уже до такой степени страницъ нашихъ журналовъ и газетъ, какъ это было еще недавно. Отъ гр. Толстого мы сдѣлали скачекъ въ нѣкоторомъ родѣ назадъ, къ міровоззрѣнію, весьма родственному тому, которое съ такою полнотою и односторонностію выразилось въ знаменитой книгѣ Бокля, хотя уже не въ ней ищемъ и находимъ «откровеніе» и даже, можетъ быть, только по наслышкѣ знаемъ ее. Новое міровоззрѣніе претендуетъ на титулъ «научнаго», «объективнаго», но оно такъ заигрываетъ съ гегельянствомъ, что можно ожидать и новыхъ скачковъ въ самомъ непродолжительномъ времени. А съ другой стороны, герои г. Марка Криницкаго разочаровываются въ «наукѣ» хотя и не во имя гр. Толстого и даже не упоминая этого имени, но въ родственномъ ему направленіи...

Жизнь не стоитъ на мѣстѣ. Она развивается и, развиваясь, задаетъ мысли новые вопросы или требуетъ новаго освѣщенія старыхъ первичныхъ или ошибочно рѣшенныхъ вопросовъ. Послѣдовательная смѣна міровоззрѣній есть поэтому необходимое явленіе, но въ каждый данный историческій моментъ міровоззрѣніе должно отвѣчать однимъ и тѣмъ же кореннымъ условіямъ: оно должно удовлетворять разумъ и совѣсть, которые вѣдь тоже не неподвижны. Невидимому, однако, одновременное удовлетвореніе этихъ двухъ элементовъ челоѣческаго существа представляетъ очень большія трудности. Въ настоящее время надѣлала во французской литера-

турѣ большого шума полемика Брюнетьера, Рише, Бертело и другихъ по вопросу о «разочарованіи въ наукѣ». Я не буду теперь о ней говорить и замѣчу только слѣдующее. Правы или неправы, и въ какой мѣрѣ правы или неправы дѣятели европейской мысли, возлагая на науку свои надежды и разочаровываясь въ нихъ, но въ своихъ разочарованіяхъ они не указъ героямъ г. Марка Криницкаго. Я вѣрю, что они много пьянствовали, но не вѣрю, чтобы они много учились.

III *).

„Хозяинъ и работникъ“ гр. Л. Толстого.—Г. Цюнь и г. министръ финансовъ.—Кн. Цертелевъ о печати.

«Хозяинъ и работникъ». —такъ называется новый рассказъ гр. Л. Н. Толстого. «Хозяинъ», Василий Андреевъ Брехуновъ, купецъ-кулакъ, ѣдетъ покупать за безцѣнокъ рошу у сосѣдняго помѣщика и, по настоянію жены, беретъ съ собой въ проводники «работника» Пикиту. Дѣло происходитъ зимой, путники сбиваются съ дороги, ихъ заноситъ снѣгомъ, и, въ концѣ-концовъ, хозяинъ и лошадь замерзаютъ, а работникъ выживаетъ. Онъ умираетъ двадцать лѣтъ спустя, спокойною, тихою смертію у себя дома. Вотъ и вся фабула рассказа. Но этотъ голый фактическій остовъ обряженъ чрезвычайно тонкими подробностями своего рода филигранной работы. даже слишкомъ изобильными, но напоминающими лучшую пору литературной дѣятельности гр. Толстого, когда онъ еще не становился на стезю пророка.

Въ одномъ изъ своихъ севастиопольскихъ рассказовъ, гр. Толстой, нарисовавъ нѣсколько сценъ въ моментъ перемирія, задается вопросомъ: «И эти люди—христіане, исповѣдующіе одинъ великій законъ любви и самоотверженія, глядя на то, что они сдѣлали, съ раскаяніемъ не упадутъ вдругъ передъ Тѣмъ, Кто, давъ имъ жизнь, *вложилъ въ душу каждого, вѣщаетъ со страхомъ смерти*. любовь къ добру и прекрасному, и со слезами радости и счастья не обнимутся, какъ братья?» Нѣтъ, отвѣчаетъ самъ себѣ гр. Толстой: «бѣлые флаги спрятаны, и снова свистятъ орудія смерти и страданій, снова льется невинная кровь и слышатся стоны и проклятія». Отвѣтъ этотъ пугаетъ автора, какъ «злая истина», какъ «осадокъ вина, которое не надо взбалтывать, чтобы не испортить его». Непосредственно за этимъ раздумьемъ не сомѣляя ясный оборотъ мысли приводитъ автора къ другому раздумью: «Гдѣ выраженіе зла, ко-

*) Мартъ 1895.

торого должно избѣгать? Гдѣ выраженіе добра, которому должно подражать въ этой повѣсти? Кто злодѣй, кто герой ея? Всѣ хороши и всѣ дурны». «Герой же моей повѣсти,—нигетъ гр. Толстой въ заключеніе,—котораго я люблю всѣми силами души, котораго старался воспроизвести во всей красотѣ его и который всегда былъ, есть и будетъ прекрасенъ,—правда».

Это тоже не совсѣмъ ясно или же не совсѣмъ точно. «Правда», какъ герой повѣсти и при томъ «герой», въ противоположность «злодѣю», требуетъ еще какихъ-то опредѣленій, которыхъ авторъ не далъ. Можно, повидимому, истолковать дѣло такъ, что гр. Толстой выше всего цѣнитъ правдивость, искренность мысли и чувства, что именно поэтому «правда» есть «герой» его произведеній, то «выраженіе добра, которому слѣдуетъ подражать», и тогда «злодѣемъ», «выраженіемъ зла, котораго должно избѣгать», будетъ ложь въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова. И дѣйствительно, произведенія лучшей поры гр. Толстого, тѣ, отъ которыхъ онъ нынѣ отрещивается, блещутъ правдой и любовью къ правдѣ. Безстрашная и неподкупная искренность самого автора такъ плотно, такъ органически связывается въ нихъ съ явною любовью къ искреннимъ, правдивымъ дѣйствующимъ лицамъ и съ столь же явною нелюбовью или презрѣніемъ ко всякой лжи, театральной приподнятости, лицемерію. Все это такъ. Но слишкомъ тонко художественное чутье гр. Толстого, чтобы такъ-таки и раздѣлить человечество на правдивыхъ и лживыхъ. Онъ охотно подмѣчаетъ черты фальши у своихъ любимцевъ и минуты искренности у нелюбимыхъ дѣйствующихъ лицъ. Перечитывая нашу цитату изъ «Севастопольскихъ разсказовъ», мы видимъ, что съ какой-то высшей точки зрѣнія герои ихъ «всѣ хороши и всѣ дурны». Въ той же цитатѣ находимъ чрезвычайно характерное для гр. Толстого указаніе на «страхъ смерти», вложенный въ каждого человѣка вмѣстѣ съ жизнью. И, не отвергая собственнаго показанія гр. Толстого, что «герой» его произведеній есть правда (а слѣдовательно, «злодѣй» — ложь), я думаю, что большій кругъ интересующихъ его и художественно воспроизведенныхъ имъ явленій получить объясненіе, если мы признаемъ «героемъ» ихъ жизнь и слѣдовательно «злодѣемъ» смерть. Это можетъ быть весьма недалеко отъ его собственнаго показанія. Въ «Войнѣ и мирѣ» Пьеръ Безуховъ, ранивъ Долохова и полагая, что убилъ его, «вслухъ приговариваетъ непонятныя слова: Глупо... глупо! Смерть... ложь»...

Въ качествѣ художника, гр. Толстой любитъ (или любилъ) жизнь уже просто какъ совокупность и игру красокъ, звуковъ, формъ. Вся эта многошумная, разноголосая и всѣми цвѣтами сверкающая пестрота привлекаетъ его къ себѣ, какъ матеріалъ для удовлетво-

ренія прирожденной потребности творчества. Но, насколько извѣстна біографія гр. Толстого,—а она, благодаря его склонности къ публичной пснѣдѣ, довольно хорошо извѣстна,—онъ и какъ человѣкъ, до кризиса, объ которомъ онъ самъ разсказалъ, страстно любилъ жизнь и жить, такъ сказать, во вся, какъ въ большіе, особенно радостные праздники, звонять «во вся». Можно даже думать, что самый кризисъ, какъ это вообще часто бываетъ, былъ у гр. Толстого результатомъ пресыщенія жадно и страстно глотавшейся жизнью. Въ литературной его дѣятельности эта любовь къ жизни выразилась многими и различными чертами. Она именно составляетъ источникъ того уваженія и довѣрія къ «естественности», къ «природѣ», которыя такъ сближаютъ гр. Толстого съ Руссо и его знаменитымъ изреченіемъ: «все прекрасно, выходя изъ рукъ природы, и все портится въ рукахъ человека». Отсюда же то враждебное чувство, которое гр. Толстой питаетъ къ людямъ, думающимъ управлять «естественнымъ ходомъ вещей»,—ихъ вмѣнательство въ ходъ вещей представляется ему частью комически безмысленнымъ, частью вреднымъ насиліемъ надъ жизнью. Съ особенною охотою подчеркиваетъ (или подчеркивалъ) онъ при всякомъ удобномъ случаѣ безсиліе разума передъ жизнью,—безсиліе не только измѣнить, направить ее, но даже и понять. Правда, другими сторонами своего существа гр. Толстой былъ самъ влекомъ къ воздѣйствію на жизнь, и отсюда берутъ начало многія его любопытныя самопротиворѣчія, но мы ихъ здѣсь касаться не будемъ. Намъ нужно отмѣтить еще одно проявленіе его любви къ жизни, а именно—его отношеніе къ смерти.

Едва-ли найдется не только въ одной нашей, а и во всемірной литературѣ писатель, который удѣлялъ бы столько вниманія смерти, какъ гр. Толстой. Припомните смерть барыни, мужика и дерева въ разсказѣ «Три смерти», «Смерть Пвана Ильича», рядъ смертей въ военныхъ разсказахъ, смерть старика Волконскаго, Андрея, его жены, Пети Ростова и проч. въ «Войнѣ и мирѣ», смерть лошади въ «Холстомерѣ», смерть Анны, Николая Левина въ «Аннѣ Карениной». И дѣло здѣсь не въ количествѣ только. «Гамлетъ» оканчивается смертью короля, королевы, Лаэрта и самого Гамлета, но это только финалъ трагедіи, и мы ничего не узнаемъ объ ихъ предсмертныхъ физическихъ мукахъ и мысляхъ, о смерти, какъ процессѣ. Это просто точка: «они умерли», и струны ихъ упосятся со сцены подъ звуки похороннаго марша. Не такъ легко и просто разстается со своими умирающими гр. Толстой. Съ необыкновенною тщательностью записываетъ онъ и ходъ ихъ мыслей, постепенно переходящій въ бредъ, и ощущенія физической боли, и мысли, чувства, слова, поступки окружающихъ. Но не съ холодною точ-

ностью протоколиста вырисовываетъ онъ всѣ эти подробности: онѣ точно сами собою складываются въ атмосферѣ грусти и страха, обдающей самого автора. Смерть, какъ жестокий, неумолимый, страшный врагъ жизни, столько же занимаетъ гр. Толстого, какъ и сама жизнь, и именно въ качествѣ врага послѣдней, а вмѣстѣ съ тѣмъ и самого гр. Толстого.

Жизнь есть «герой» произведеній Льва Николаевича, и какъ же не «злой» эта смерть, когда она подкашиваетъ такіе едва распустившіеся цвѣтки, какъ жизнерадостный прапорщикъ Аланинъ въ «Набѣгѣ» или Петя Ростовъ, который еще наканунѣ подѣтски лакочился изюмомъ и передъ которымъ лежала такая длинная дорога всяческаго счастья? Какъ же она не злой, когда— «я васъ всѣхъ люблю и никому худого не дѣлала и что вы со мной сдѣлали?» говорило прелестное, жалкое, мертвое лицо глупенькой и добренькой жены князя Андрея Болконскаго? Правда, есть у гр. Толстого изображенія и другого рода смертей, такъ сказать, болѣе законныхъ съ точки зрѣнія автора или, по крайней мѣрѣ, менѣе незаконныхъ. Но, какъ мы уже видѣли въ цитатѣ изъ севастопольскихъ рассказовъ, «въ душу каждого вложенъ страхъ смерти». И даже когда рѣчь идетъ о другихъ сторонахъ дѣла, этотъ страхъ всетаки остается на первомъ мѣстѣ. По поводу смерти князя Андрея Болконскаго гр. Толстой говоритъ: «Когда человѣкъ видитъ умирающее животное, *ужасъ* охватываетъ его: то, что есть онъ самъ, сущность его, въ его глазахъ очевидно уничтожается—перестаетъ быть. Но когда умирающее есть человѣкъ, и человѣкъ любимый, *кромя ужаса передъ уничтоженіемъ жизни*, чувствуется разрывъ и духовная рана». Конечно, каждому изъ читателей приходилось на своемъ вѣку видѣть смерть, если не человѣка, тѣмъ паче любимаго человѣка, то, по крайней мѣрѣ, животнаго, но едва ли многіе согласятся съ гр. Толстымъ относительно порядка своихъ чувствъ по этому поводу: прежде всего ужасъ и иногда только ужасъ, и уже «кромя того» разрывъ и душевная рана. Я увѣренъ, что для огромнаго большинства чувства располагаются при видѣ смерти въ обратномъ порядкѣ: душевная рана и уже «кромя того», и то далеко не всегда, и ужасъ передъ уничтоженіемъ жизни: сначала скорбь, болѣе или менѣе глубокая, о любимомъ человѣкѣ или простая жалость при видѣ смертельныхъ страданій животнаго, и уже потомъ, можетъ быть, ужасъ мысли о смерти вообще, о неминуемости собственной смерти въ частности. Среди многочисленныхъ картинъ смерти, написанныхъ гр. Толстымъ, найдется не мало подтверждающихъ нашъ взглядъ, но относительно самого творца всѣхъ этихъ мастерскихъ картинъ совершенно правъ авторъ только что вышедшей его біографіи (въ «Біографической бібліотекѣ»

Павленкова), г. Е. Соловьевъ, говоря: «Всю долгую жизнь смотрѣла на Толстого смерть своими странными глазами... Страхъ смерти, страхъ передъ той страной, откуда никто не возвращался—такова красная нить жизни гр. Толстого». Г. Соловьевъ очень кстати приводитъ при этомъ слова гр. Толстого объ Амьелѣ: «Впродолженіи всѣхъ 30 лѣтъ своего дневника онъ чувствуетъ то, что мы всѣ такъ старательно забываемъ.—то, что мы всѣ приговорены къ смерти и *казнь* наша только отсрочена. И отъ этого то такъ искренна, серьезна и полезна эта книга». Я не знаю книги Амьеля, можетъ быть, она и есть силовное *memento mori*, но сочиненія самого гр. Толстого отнюдь не исключительно посвящены «страннымъ глазамъ смерти». Въ нихъ шумнымъ и сверкающимъ ключомъ бьетъ жизнь, жажда жизни, страстная привязанность къ ней и уже только въ силу этой привязанности—страхъ смерти. Въ этомъ состоитъ необходимая поправка или дополненіе къ вѣрному замѣчанію г. Соловьева. Можетъ показаться, что это дополненіе совершенно не нужно, такъ какъ, дескать, страхъ смерти и привязанность къ жизни—одно и то же: поскольку человѣкъ привязанъ къ жизни, постольку онъ боится смерти. Да, именно постольку—постольку. И преслѣдующій гр. Толстого ужасъ смерти вполне соответствуетъ той исключительно жадной и страстной привязанности къ жизни, которая ему свойственна и которая придаетъ многимъ его произведеніямъ такую яркую и жизнерадостную окраску, когда «странные глаза смерти» временно отворачиваются отъ него. Самая мысль о самоубійствѣ, посѣщавшая графа, по его собственному разсказу, была результатомъ, какъ это ни странно можетъ показаться, жажды жизни и страха смерти. Онъ разсказываетъ: «Я испытывалъ ужасъ передъ тѣмъ, что ожидаетъ меня, зная, что этотъ ужасъ ужаснѣе самого положенія, но не могъ терпѣливо ждать конца. Какъ ни убѣдительно было разсужденіе о томъ, что все равно разорвется сосудъ въ сердцѣ или лопнетъ что нибудь и все кончится,—я не могъ терпѣливо ожидать конца. Ужасъ тьмы былъ слишкомъ великъ, и я хотѣлъ поскорѣе, поскорѣе избавиться отъ него нетлей или нулей. И вотъ это чувство сильнѣе всего влекло меня къ самоубійству». Въ «Войнѣ и мирѣ» Пьера Безухова одно время неотступно преслѣдуетъ «странный она»—жизнь, отъ которой онъ не знаетъ какъ отдѣлаться. Въ «Смерти Ивана Ильича» героя разсказа подъ конецъ столь же неотступно преслѣдуетъ совѣсть, повидимому, другая «странный она»—смерть. Но объ эти странныя фигуры дополняютъ другъ друга или, вѣрнѣе, относятся другъ къ другу, какъ лицо и изнанка одной и той же ткани: жизнь странна, но только потому, что неизбежно должна кончиться смертью, а сама по себѣ она такъ дорога, что и цѣны

ей нѣтъ. Въ XIII томѣ сочиненій гр. Толстого есть обширное разсужденіе «о жизни», а въ немъ отдѣльная глава посвящена «страху смерти», но собственно все разсужденіе пропитанно страхомъ смерти, хотя гр. Толстой и хочетъ доказать, что смерти бояться нечего, что ея даже просто нѣтъ, что она только призракъ для людей, ведущихъ правильную жизнь. Доказываетъ онъ это длиннымъ рядомъ силлогизмовъ, которые, однако, независимо отъ ихъ дѣйствительной цѣнности, имѣютъ, мнѣ кажется, для самого графа не больше цѣны, чѣмъ силлогизмъ: «Кай—человѣкъ, всѣ люди смертны, потому Кай смертенъ»—для Ивана Ильича. Бѣдный Иванъ Ильичъ хорошо зналъ этотъ силлогизмъ и все-таки, вопреки очевидности, не допускалъ приложенія его къ нему, Ивану Ильичу. Такъ—я боюсь—и гр. Толстой не убѣждается несомнѣнными, повидимому, для него истинами, и «страшные глаза смерти» не перестаютъ его пугать...

Какъ сохранить жизнь безъ отравляющей ее мысли о смерти? Какъ выжить, уничтожить тотъ страхъ смерти, который—мы видѣли—«вложенъ въ каждаго»? Такова главная задача гр. Толстого за послѣднее время. Если она и прежде занимала его, то теперь онъ на ней, можно сказать, исключительно сосредоточился, и всѣ его писанія суть только радіусы, соединяющіе разныя точки его кругозора съ этимъ центромъ.

Сюда относится прежде всего его разсужденія о физическомъ трудѣ, объ «упряжкахъ», о чистомъ воздухѣ полей и лѣсовъ и прочія гигиеническія черты его нравственнаго ученія. Но ими обезпечиваются только здоровье и долголѣтіе, смерть только отдалается, оставаясь по-прежнему страшнымъ неизбѣжнымъ концомъ. Нельзя ли сдѣлать его, по крайней мѣрѣ, не страшнымъ? Для этого есть рецептъ, въ совершенно законченномъ видѣ данный еще буддистами: надо, не отказываясь отъ жизни, сократить до послѣдней возможности ея бюджетъ, дабы, подойдя къ неизбѣжному концу, безъ страха и сожалѣній перейти въ ту область нирваны, которая не есть, собственно говоря, ни жизнь, ни смерть. Но, если такъ, то конецъ, можетъ быть, не только не страшенъ, а и не неизбѣженъ. Я отказываюсь слѣдить за фантастическимъ скачкомъ мысли или столь же фантастическимъ ползкомъ извилистыхъ силлогизмовъ, которымъ гр. Толстой приходитъ къ заключенію, что правильная жизнь гарантируетъ насъ отъ смерти. Я только напому конецъ «Смерти Ивана Ильича». Этотъ конецъ есть въ художественномъ отношеніи непріятное пятно на разсказѣ,—до такой степени онъ произволенъ, не мотивированъ, лишенъ того яркаго и безошибочно-правдиваго реализма, которымъ справедливо славится гр. Толстой. Иванъ Ильичъ не дѣлалъ чего нибудь особенно худого, но всю жизнь прожилъ вялымъ, плоскимъ эгоистомъ и, заболѣвъ, сталъ му-

читься страхомъ смерти. Но передъ самымъ концомъ, почувствовавъ, что его дѣйствительно жалуютъ жена и сынъ, самъ проникается къ нимъ жалостью и любовью.

И вдругъ ему стало ясно, что то, что томилъ его и не выходило, вдругъ все выходить съ разу, и съ двухъ сторонъ, и съ десяти сторонъ, со всѣхъ сторонъ. Жалко ихъ надо сдѣлать, чтобы имъ не больно было. Избавить ихъ и самому избавиться отъ этихъ страданій. «Какъ хорошо и какъ просто», подумалъ онъ. «А боль?» спросилъ онъ себя. «Ее куда?» «Ну-ка, гдѣ ты боль?»

Онъ сталъ приедупиваться.

«Да вотъ она. Ну, что-же? Ищай боль».

«А смерть? Гдѣ она?»

Онъ некалъ своего прежняго привычнаго страха смерти и не находилъ его. Гдѣ она? какая смерть? Страхъ никакого не было, потому что и смерти не было.

Вѣсто смерти былъ свѣтъ.

— Такъ вотъ что!—вдругъ велухъ проговорилъ онъ.—Какая радость!

Я думаю, что это восклицаніе «Какая радость!»—на каждаго мало-мальски художественно чуткаго человека должно дѣйствовать, какъ непріятный, рѣжущій ухо диссонансъ. И если такой великій художникъ, какъ гр. Толстой, ввелъ этотъ фальшивый аккордъ въ свое произведеніе, то лишь потому, что очень ему ужъ хотѣлось показать, что смерть можетъ быть не страшна, что ея можетъ даже и не быть. Это онъ насъ и себя утѣшаетъ. Спасибо ему, конечно. Спасибо въ особенности зато, что онъ условіемъ отсутствія страха смерти ставитъ не только буддйски-аскетическую практику, а и любовь, и именно дѣйственную любовь, любовь въ формѣ добрыхъ дѣлъ, хотя любовь эта могла бы имѣть и другую, болѣе твердую и менѣе гадательную основу.

Иванъ Ильичъ особенно худо ничего не дѣлалъ, жилъ, что называется, какъ все: ходилъ на службу, игралъ въ карты, ходилъ въ гости и у себя принималъ гостей, имѣлъ жену и сына, съ которыми не худо жилъ. Но только подъ самый конецъ загорѣлась въ немъ искра настоящей любви, почти не успѣвшая выразиться добрымъ дѣломъ. Однако и этого достаточно было, чтобы Иванъ Ильичъ освободился отъ страха смерти и удостоился смерти даже радостной, даже отсутствія смерти. Въ новомъ разсказѣ—«Хозяинъ и работникъ»—гр. Толстой предъявляетъ, повидимому, одному изъ своихъ дѣйствующихъ лицъ гораздо большія требованія въ смыслѣ дѣйственной любви.

Я сказалъ выше, что новый разсказъ напоминаетъ лучшую пору литературной дѣятельности гр. Толстого. Въ одной газетѣ сказано было даже, что «разсказъ этотъ даже среди произведеній знаменитаго писателя представляетъ шедевръ». Это немножко через-

чуръ. Тамъ же было сказано, что въ разсказѣ «почти 4 листа». Это невѣрно: въ разсказѣ меньше $2\frac{1}{2}$ листовъ, и если онъ кому нибудь при чтеніи показался чуть не вдвое больше, то это указываетъ на одинъ изъ недостатковъ новаго произведенія гр. Толстого,— онъ слишкомъ растянуть многочисленными и ненужными подробностями. Онъ напоминаетъ лучшую пору автора, но только напоминаетъ. Внутренній интересъ разсказа сосредоточивается въ двухъ послѣднихъ главахъ, которыя я здѣсь и приведу цѣлкомъ, тѣмъ болѣе, что и въ художественномъ отношеніи онѣ лучшія. Какъ уже упомянуто, хозяинъ и работникъ отправились зимой по хозяйскимъ, довольно обыкновеннымъ житейскимъ, но все-таки не вполне чистымъ, кулацкимъ дѣламъ. На эти дѣла хозяинъ, сытый, богатый, самодовольный мужикъ—кулакъ, состоящій, между прочимъ, и церковнымъ старостой, захватилъ и церковныхъ денегъ 2300 рублей. Дорогой они запутались и послѣ разныхъ приключеній работникъ сталъ было уже замерзать, безропотно покоряясь высшей волѣ, а себялюбецъ хозяинъ рѣшилъ покинуть его на очевидную погибель, самъ же ускакалъ верхомъ на лошади, куда глаза глядятъ. Но лошадь, покруживъ, привезла его на то мѣсто, гдѣ замерзалъ въ санихъ работникъ. Чтобы согрѣться, онъ ложится на тѣло работника и такимъ образомъ отогрѣваетъ его. Въ предсмертномъ бреду ему кажется, что

онъ лежитъ на постели и все не можетъ встать, и все ждать, и ожиданіе это и жутко, и радостно. И вдругъ радость совершается, приходитъ тотъ, кого онъ ждалъ, и это ужъ не Иванъ Матвѣичъ становой, а кто то другой, но тотъ самый, кого онъ ждетъ. Онъ пришелъ и зоветъ его, и этотъ тотъ, кто зоветъ его.—тотъ самый, который кликнулъ его и велѣлъ ему лечь на Никиту. И Василій Андреечъ радъ, что этотъ кто то пришелъ за нимъ.— Иду! кричитъ онъ радостно. И крикъ этотъ будить его...

И онъ просыпается, но просыпается совсѣмъ уже не тѣмъ, какимъ онъ заснулъ. Онъ хочетъ встать и не можетъ: хочетъ двинуть рукой, не можетъ; ногой — тоже не можетъ. Хочетъ повернуть головой — и того не можетъ. И онъ удивляется, но нисколько не огорчается этимъ. Онъ понимаетъ, что это смерть, и нисколько не огорчается и этимъ. Онъ понимаетъ, что Никита лежитъ подъ нимъ, и что онъ утѣбленъ и живъ, и ему кажется, что онъ—Никита, а Никита—онъ, и что жизнь его не въ немъ самомъ, а въ Никитѣ. Онъ напрягаетъ слухъ и слышитъ дыханіе, даже слабый хрипъ Никиты. — «Живъ Никита, значить живъ и я», съ торжествомъ, говоритъ онъ себѣ. И что то совсѣмъ новое, такое, чего онъ не знаетъ во всю жизнь свою, сходитъ на него.

И онъ вспоминаетъ про деньги, про лавку, домъ, покупки, продажи и про миллионы Мроновыхъ, и ему трудно понять, зачѣмъ этотъ человекъ, котораго звали Василіемъ Брехуновымъ, занимался всѣмъ тѣмъ, чѣмъ онъ занимался.—«Что-жъ, вѣдь онъ не зналъ, въ чемъ дѣло»,—думалъ онъ про Василія Брехунова. «Не зналъ, такъ теперь знаю. Теперь ужъ безъ ошибки, *теперь знаю*. И опять онъ слышитъ зовъ того, кто ужъ окликалъ.—Иду, иду!—ра-

достно, умиленно говорить все существо его. И онъ чувствуетъ, что онъ свободенъ и ничто уже больше не держитъ его.

И больше ужъ ничего не видѣлъ и не чувствовалъ въ этомъ мірѣ Василій Андреичъ.

А Никита померъ только въ нынѣшнемъ году дома, какъ желалъ, подлѣ свиты и съ зажженной восковой свѣчкой въ рукахъ. Передъ смертію онъ просилъ прощенья у своей старухи и простилъ ее за бондаря, простился и съ малымъ, и съ внучатами, и умеръ, истинно радуясь тому, что избавляетъ своей смертію сына и сноху отъ обузы лишняго хлѣба, и самъ уже по настоящему переходитъ изъ этой наскучившей ему жизни въ ту иную жизнь, которая съ каждымъ годомъ и часомъ становилась ему все понятнѣе и заманчивѣе. Лучше или хуже ему тамъ, гдѣ онъ послѣ этой настоящей смерти проснулся? Разочаровался ли онъ, или нашелъ тамъ то самое, что ожидалъ? — мы все скоро узнаемъ.

И такъ, вотъ еще двѣ смерти (не считая лошади) въ богатой коллекціи гр. Толстого. Смерть Василія Андреевича сильно напоминаетъ смерть Юліана Милостиваго въ извѣстной легендѣ Флорабера, переведенной Тургеневымъ. Юліанъ тоже ложится на умирающаго, чтобы согрѣть его, и, умирая самъ, тоже чувствуетъ «восторгъ неизъяснимый, нечеловѣческую радость». Въ предсмертномъ бреду его, личность отождѣвляемаго имъ странника тоже сливается съ высшимъ существомъ, которое, правда, не зоветъ его съ собой, а прямо уноситъ съ собою въ небесную даль. Василій Андреевичъ не совершалъ такихъ странныхъ грѣховъ и злодѣяній, какіе тяготятъ душу Юліана, но за то же Юліанъ искушаетъ грѣхи годами подвига и его конечное самопожертвованіе есть лишь послѣднее звено цѣпи, что придаетъ ему характеръ естественности, по скольку таковой возможенъ въ легендѣ. Василій Андреевичъ крови не проливалъ, какъ Юліанъ, отца съ матерью не убивалъ, но все же онъ былъ грабитель, навѣрное десятки людей пустившій съ сумой по міру для устройства своего благополучія. Пусть все это искушается его послѣдними минутами, но мнѣ кажется, одно изъ двухъ: если Василій Андреевичъ спасъ Никиту безсознательно, нечаянно, надыся самъ спастись и отогрѣться около его тѣла, — такъ это не самопожертвованіе, и не велика нравственная цѣнность послѣднихъ минутъ Василія Андреевича; если же онъ дѣйствительно забылъ о себѣ и только о спасеніи Никиты думать, то это для него слишкомъ неожиданный, слишкомъ немотивированный поступокъ, — вѣдь онъ только что было предательски бросилъ Никиту на произволъ судьбы, чтобы спастись самому. «Радостную» смерть, которую Юліанъ Милостивый *заслужилъ*, Василій Андреевичъ получилъ гораздо дешевле: почти безсознательнымъ и во всякомъ случаѣ полу-сознательнымъ дѣйствіемъ, въ результатъ котораго оказалось спасеніе ближняго, тотчасъ послѣ безсердечнаго поступка съ этимъ самымъ ближнимъ. Однако, это, все таки, больше, чѣмъ

предсмертная вспышка любви въ Иванѣ Ильичѣ. Что касается Никиты, то это человѣкъ не мудреный и небезгрѣшный, пьяненькій, но добрый, услужливый, работающій, злу не сопротивляющійся и совершенно довольный своею участью, въ противоположность Василю Андреевичу, которому все больше и больше денегъ надо, а зачѣмъ — неизвѣстно. Никита знаетъ, что, кромѣ «хозяина» разсказа, у него есть еще «Хозяинъ» на небѣ, воля котораго да будетъ. Таковы, значитъ, два пути, ведущіе къ радостной смерти...

Какъ изъ всякаго произведенія гр. Толстого, изъ его новаго разсказа можно сдѣлать нѣсколько выводовъ, кромѣ главнаго, касающагося смерти: между прочимъ, можетъ быть и такой, что работникомъ, батракомъ лучше быть, чѣмъ хозяиномъ. Этотъ выводъ не былъ бы новостью для гр. Толстого. Въ одной изъ его сказокъ («Пльясъ») работникъ и его жена, прежде сами бывшіе хозяевами, расхваливаютъ свое теперешнее житье. Они говорятъ: «50 лѣтъ счастья искали и не нашли, а только вотъ теперь второй годъ, какъ у насъ ничего не осталось и мы въ работникахъ живемъ, мы настоящее счастье нашли и другого намъ никакого не надо... Жили мы изъ заботы въ заботу, изъ грѣха въ грѣхъ и не видали счастливой жизни... Теперь встанемъ мы, поговоримъ всегда по любви въ согласіи, спорить намъ не о чемъ, заботиться не о чемъ. — только намъ и заботы, что хозяину служить».

Я боюсь, что ни хозяева, ни работники не повѣрятъ гр. Толстому.

Блаженъ, кто съ молоду былъ молодъ.

Блаженъ, кто во время созрѣлъ,

и, созрѣвши, безболѣзненно, безстрашно и непостыдно сорвался своею естественною тяжестью съ древа жизни, храня въ себѣ зародышъ новой жизни...

Но, пока что, живой о живомъ и думаетъ. Я думаю въ настоящую минуту о г. Цюль.

Выше я цитировалъ только что вышедшую біографію гр. Толстого, написанную г. Е. Соловьевымъ. Я едва успѣлъ заглянуть въ нее и, кромѣ приведеннаго вѣрнаго замѣчанія автора, наткнулся еще на одно заинтересовавшее меня мѣсто, а именно: «Гдѣ же источникъ пессимистической окраски этой системы и этого міровоззрѣнія (гр. Толстого)? Если фізіологъ можетъ объяснить источникъ пессимистическаго настроенія нѣкоторыхъ философовъ условіями ихъ личной жизни (напр., слѣпота Дюринга, параличъ Гартмана и т. д.), то въ отношеніи Толстого сдѣлать это не легко» (стр. 114). Г. Соловьевъ, повидимому, не вездѣ точно указываетъ свои источ-

ники и не всегда отмѣчаетъ свои цитаты общепринятыми знаками. Приведенное мѣсто можетъ, судя по всей страницѣ, принадлежать, какъ самому г. Соловьеву, такъ и г. Цюну, котораго онъ тутъ же, рядомъ цитируетъ. Я не помню, а можетъ быть и совсѣмъ не читалъ статьи г. Цюна, на которую ссылается г. Соловьевъ, а онъ ее не называетъ. Но кто бы изъ нихъ ни говорилъ о параличѣ Гартмана и слѣпотѣ Дюринга, какъ источникъ ихъ пессимистическаго настроенія, а это двѣ ошибки: одна — грубая, другая — грубѣйшая. Изъ автобіографическаго сообщенія Гартмана (*Mein Entwicklungsgang* въ *Gesammelte Studien und Aufsätze*) видно, что *настроenie* Гартмана отнодь не пессимистическое въ смыслѣ мрачности и недовольства жизнью. Слѣнота же Дюринга любопытна именно въ томъ отношеніи, что не мѣшаетъ ему быть заклятымъ врагомъ всякаго пессимизма. Очень жаль, если г. Соловьевъ самъ виалъ въ эти странныя ошибки или заимствовалъ ихъ у г. Цюна, не оговоривъ ихъ, но не удивлюсь, если ихъ сдѣлалъ г. Цюнъ, ибо много, слишкомъ много и слишкомъ разнообразныхъ «ошибокъ» значится въ житейскомъ и литературно-научномъ счетѣ этого человѣка.

Редакція «Русскаго Богатства» получила книгу «*M. Witte les finances russes d'après des documents officiels et inédits par E. de Suon*», изданную въ Парижѣ. Книга была доставлена при бумагахъ, изъ которой видно, что это сдѣлано «съ разрѣшенія г. министра финансовъ». Читатель, даже не особенно пристально слѣдящій за новостями дня по газетамъ, пошмаетъ, конечно, почему мы отмѣчаемъ это послѣднее обстоятельство. Мы только что видѣли въ прошлый разъ цѣлый рядъ случаевъ прямого или косвеннаго насилія обывателей надъ печатью съ цѣлью упраздненія «непріятныхъ» извѣстій. Такъ уже у насъ повелось, что всякій обыватель, имѣющій хоть малѣйшую возможность такъ или иначе повліять на извѣстіе непріятныхъ для него фактовъ изъ сферы печатнаго обсужденія, пускаетъ эту возможность въ ходъ. Удивительнымъ образомъ это воплѣ дикое отношеніе къ печати находитъ иногда себѣ пристанище въ самой печати. Находятся литературные органы, почти истерически вопіющіе о разнузданности нашей литературы, хотя смиреніе ея нѣтъ въ цѣломъ мірѣ, гдѣ только существуетъ литература, и хотя надъ нею есть бдительное начальство, неукоснительно исполняющее свои обязанности. Это отношеніе къ печатному слову само себя питаетъ и паростаетъ, какъ снѣжная лавина. Чѣмъ дальше, тѣмъ прочіе входимъ мы во вкусъ отсутствія свободной критики нашихъ мыслей, словъ, дѣйствій. И если, напримѣръ, какой нибудь Гладстонъ, находясь на вершинѣ власти, пальцемъ не шевельнетъ, чтобы воспрепятствовать распростране-

нію «непріятныхъ» для него извѣстій, то у насъ какойнибудь уфимскій городской голова считаетъ нужнымъ и возможнымъ требовать, чтобы въ мѣстной газетѣ не появлялись извѣстія о непорядкахъ при переправѣ черезъ р. Бѣлую: иначе будутъ потрясены основы. Основы въ городѣ Уфѣ, такимъ способомъ охраняемыя, дѣйствительно не колеблются, но вѣдь и Англія стоитъ, кажется, довольно прочно...

Г. министръ финансовъ не раздѣляетъ взглядовъ уфимскаго городского головы, астраханскихъ рыбопромышленниковъ и проч. на печать. Книга г. Ціона переполнена всякаго рода «непріятностями» какъ по личному адресу министра финансовъ, такъ и относительно труднаго финансоваго положенія нашего отечества. Но г. Витте не только не нашелъ нужнымъ употребить свое вліяніе для воспрепятствованія свободному обращенію книги, но, какъ выражается самъ г. Ціонъ, «принудилъ его пустить книгу въ продажу». Дѣло въ томъ, что, напечатавъ свою книгу, но не выпуская ее изъ типографіи, г. Ціонъ отиравилъ нѣсколько экземпляровъ въ Петербургъ, имѣя въ виду какой то темный расчетъ. Но издающійся въ Петербургѣ «Bulletin russe de statistique financière et de législation» объявилъ, что если книга не выйдетъ къ 1-му марта, то онъ перенечатаетъ ее въ Петербургѣ цѣликомъ, а если выйдетъ, то приобрететъ 500 экземпляровъ для разсылки своимъ подписчикамъ. Г. Ціонъ выпустилъ книгу... Иного названія, какъ неудавшійся шантажъ, нельзя дать этому эпизоду, совершенно независимо отъ того, какими мотивами руководствовался г. министръ финансовъ, этимъ именно способомъ разоблачая шантажъ, и есть ли какаянибудь доля правды въ «непріятныхъ» сообщеніяхъ г. Ціона (онъ утверждаетъ, что у него есть въ запасѣ сообщенія еще болѣе непріятныя, но онъ почему то откладываетъ ихъ опубликованіе). Не чувствуя себя достаточно компетентнымъ для сужденія о подробностяхъ финансовыхъ соображеній г. Ціона, я остановлю вниманіе читателей только на другихъ двухъ сторонахъ дѣла: на поучительности для обывателей поступка г. министра финансовъ и на личности г. Ціона.

Это старый знакомый, памятный по многимъ скандаламъ, связанымъ съ его именемъ. Онъ сталъ въ этомъ отношеніи знаменитъ еще двадцать лѣтъ тому назадъ, когда, по настоянію въ особенности Грубера, долженъ былъ выбыть изъ состава профессоровъ медицинской академіи, гдѣ читалъ лекціи физиологін. Онъ составилъ курсъ физиологін и, пустивъ его по очень дорогой цѣнѣ (помнится, 5 рублей), сдѣлалъ изъ него налогъ на медицинское образованіе, такъ какъ требовалъ, чтобы студенты его покупали. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ раздражалъ молодежь до нельзя грубымъ и на-

хальнымъ обращеніемъ и довелъ ее до безпорядковъ, а коллегію профессоровъ до того, что, наконецъ, Груберъ объявилъ, что онъ подастъ въ отставку, если не удалится этотъ наглый торговецъ паукой. Выборъ былъ не труденъ, и академія осталась при Груберѣ, но безъ г. Ціона. Въ это же время онъ распускалъ слухъ, что его приглашаютъ на кафедру фізіологіи въ эдинбургскомъ университетѣ. А. Н. Бекетовъ навелъ справки въ эдинбургъ и напечаталъ въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» отвѣтъ декана медицинскаго факультета тамошняго университета, Бальфура. Тотъ писалъ, между прочимъ, что эдинбургскій университетъ вообще никогда никого не приглашаетъ на вакантныя кафедры, а кандидаты должны сами о себѣ заявлять. Что же касается данного случая, то Бальфуръ прибавлялъ: «До сихъ поръ я никогда не слыхивалъ имени г. Ціона и полагаю, что оно неизвѣстно никому изъ членовъ совѣта эдинбургскаго университета». Въ своемъ возраженіи, напечатанномъ въ тѣхъ же «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» (все это происходило въ 1873—1874 г.), г. Ціонъ вполне обнаружилъ свои блестящіе полемическіе таланты. Онъ не отрицалъ собственно того факта, что говорилъ о предложеніи эдинбургскаго университета, но главное то дѣло не въ этомъ, а въ томъ, во-первыхъ, что его преслѣдуютъ интриги профессоровъ, отказывающихся признавать его научныя заслуги какъ разъ въ то время, когда изъ за него происходятъ студенческіе безпорядки; во-вторыхъ, г. Ціонъ выразилъ «сильное сомнѣніе» въ подлинности письма Бальфура или же въ вѣрности его передачи,—не можетъ, дескать, быть, чтобы въ Эдинбургѣ не знали Ціона! Но, увы! какъ для медицинской академіи не могло быть затрудненія въ выборѣ между Груберомъ и г. Ціономъ, такъ и для публики вообще не могло быть колебаній—кому вѣрить: г. Ціону или А. Н. Бекетову. И г. Ціонъ покинулъ неблагодарную почту науки, съ цѣлью приложить свои способности въ другихъ сферахъ.

Человѣкъ онъ дѣйствительно способный и дѣйствительно усиливалъ въ разныхъ сферахъ дѣятельности, мѣняя ихъ, какъ перчатки, и неизмѣнно отмѣчая скандаломъ свой жизненный путь. Виповаты въ этомъ были, конечно, враги, никогда не умѣвшіе отъшить его высокія умственные и въ особенности нравственныя качества—безкорыстіе, патріотизмъ, опять безкорыстіе и опять патріотизмъ. Вообще онъ можетъ сказать о себѣ подобно Чичикову: «Дальнѣйшее теченіе службы моей совершалъ по разнымъ мѣстамъ... Жизнь мою можно уиодобить какъ бы судну среди волнъ... А что было отъ враговъ, покушавшихся на самую жизнь, такъ это ни слова, ни краски, ни самая, такъ сказать, кисть не сумѣетъ передать». Чисто чичиковское безкорыстіе и таковой же патріотизмъ.

побудили г. Ціона промѣнять іудейство на православіе, науку на публицистику, публицистику на финансовую практику, Россію на Францію. Но г. Ціонъ не есть всетаки настоящій Чичиковъ, собственно потому, что онъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ и Хлестаковъ. Оно точно: «чего не потерялъ г. Ціонъ? Какъ барка какая нибудь среди свирѣпыхъ волнъ. Какихъ гоненій, какихъ преслѣдованій не испыталъ, какого горя не вкусилъ, а за что? — за то, что соблюдалъ правду, что былъ чистъ на своей совѣсти». Но вмѣстѣ съ тѣмъ «тридцать пять тысячъ курьеровъ» постоянно и по всей Европѣ гоняются за г. Ціономъ съ предложеніемъ, если не «управлять министерствомъ», то устроить франко-русскій союзъ, поборотъ Бисмарка, назначить или устранить министра въ Россіи, отторгнуть Австрію отъ тройственного союза, укрѣпить во Франціи религію и проч., и проч. И все это г. Ціонъ благосклонно исполняетъ: благосклонно и безкорыстно, довольствуясь сознаніемъ, что онъ есть единственная благотворная пружина всего историческаго хода вещей во всей Европѣ и могущественнѣйшая поддержка «основъ». Ахъ, во что бы обратилась Европа безъ г. Ціона! Подумать страшно...

На обложкѣ новой книги г. Ціона напечатанъ списокъ другихъ его произведеній. Тутъ есть «*La France et la Russie*», и «*La Russie barbare!*», и «*Nihilisme et anarchie*» и проч. Но тутъ нѣтъ его знаменитаго курса фیزیологій, который онъ столь безкорыстно навязывалъ своимъ слушателямъ, и актовой рѣчи «Сердце и мозгъ», вызвавшей шумный скандалъ въ стѣнахъ и за стѣнами медицинской академіи. Это не удивительно, равно какъ и отсутствіе статей г. Ціона въ «Русскомъ Вѣстникѣ» о разныхъ зловредныхъ русскихъ «измахъ». Это онъ исключительно Россію снасалъ, тогда какъ теперь занять спасеніемъ либо одной Франціи, либо Россіи и Франціи вмѣстѣ. Но въ списокѣ нѣтъ и изданной въ 1881 г. брошюры «*La guerre à Dieu et la morale laïque. Réponse à M. Paul Bert*», тогда какъ она вполне достойна занять въ немъ мѣсто. Въ 1881 г., когда г. Ціонъ редактировалъ газету «*Gaulois*», Поль Беръ сказалъ публичную рѣчь о религіозномъ образованіи. Г. Ціонъ поспѣшилъ «отвѣтить» Полю Беру, хотя тотъ его ни о чемъ не спрашивалъ и совсѣмъ къ нему не обращался. Но мимо дома г. Ціона проходила толпа народу, и онъ думалъ, что это именно тѣ тридцать пять тысячъ курьеровъ, которые посланы приглашать его спасти Францію, его второе отечество, какъ онъ уже спасалъ свое первое отечество, Россію. Онъ, конечно, откликнулся на зовъ всѣмъ своимъ патріотическимъ сердцемъ, напечаталъ въ своей газетѣ громоздкій «отвѣтъ» Полю Беру. Но тридцать пять тысячъ курьеровъ не были этимъ удовлетворены. Они потребовали отдѣльнаго изданія

«отвѣта», при чемъ къ г. Ціону «со всѣхъ концовъ политическаго горизонта были обращены пламенные поздравленія» (подлинныя слова г. Ціона). Одинъ только Поль Беръ остался непоколебимъ въ своихъ заблужденіяхъ и хотъ бы плюнуть въ сторону г. Ціона, точно тотъ и не «отвѣчалъ» ему: одинъ Поль Беръ, да еще Франція, неблагодарная Франція, тотчасъ вслѣдъ затѣмъ предоставившая этому самому Полю Беру постъ министра народнаго просвѣщенія... Такъ то всегда оканчиваются триумфы г. Ціона...

Печальные концы, разумѣется, но въ ожиданіи ихъ г. Ціонъ умѣетъ всетаки обнаружитъ свое безкорыстіе,—въ маленькомъ дѣлѣ маленькое, въ видѣ распродажи нѣсколькихъ сотенъ экземпляровъ дорогаго стоящаго учебника, въ большомъ—большое, въ видѣ полученія сотенъ тысячъ куртажа за патріотическія финансовыя операціи. Г. Суворинъ пишетъ въ «Новомъ Времени»: «Г. Ціонъ образовалъ въ Парижѣ синдикатъ и совершилъ конверсію съ закладными листами общества взаимнаго кредита Эта операція дала ему 600 тыс. фр. и мѣсто чиповника министерства финансовъ, который простираетъ свои виды чрезвычайно далеко. Начались переговоры о первой конверсіи, въ которыхъ г. Ціонъ принималъ дѣятельное участіе и успѣлъ получить съ банкировъ 400.000 фр., какъ говорятъ «Московскія Вѣдомости». Тутъ г. Ціонъ долженъ былъ подать въ отставку».

Милліонъ франковъ, не считая жалованья и другихъ доходовъ, деньги не малыя, но за безкорыстіе это не дорого. По крайней мѣрѣ, г. Ціонъ, повидимому, увѣренъ, что его безкорыстіе даже дороже стоитъ. Ибо великіе труды и великіе подвиги совершилъ онъ на благо своего перваго отечества, Россіи, и втораго—Франціи. Одно время онъ думалъ облагодѣтельствовать также и Австрію отторженіемъ ея отъ тройственнаго союза и вовлеченіемъ въ союзъ русско-французскій, что, говоритъ онъ, вызвало противъ него цѣлую бурю въ германской журналистикѣ. Онъ писалъ въ 1890 г. въ брошюрѣ «La Russie barbazel»: «Идея франко-русскаго союза, какъ бы она ни была непріятна для нѣмецкой политики, такъ часто обсуждалась въ послѣднее время, что если ее, наконецъ, не признали, то, по крайней мѣрѣ, нѣсколько привыкли къ ней. Въ одномъ изъ своихъ недавнихъ интервью Бисмаркъ возобновилъ заявленіе, сдѣланное имъ тридцать пять лѣтъ тому назадъ, что «союзъ этотъ слишкомъ естественъ, чтобы нуждаться въ спеціальныхъ мотивахъ». Нѣтъ, гитъ Германіи вызванъ былъ главнымъ образомъ проектомъ притянуть къ этому союзу Вѣнскій кабинетъ. При одной мысли о томъ, что Австро-Венгрія можетъ отдѣлиться отъ тройственнаго союза, столь пагубнаго для ея интересовъ и столь чреватаго грядущими бурями, нѣкоторые защитники Бисмарковской политики приходятъ

въ ярость... Я былъ въ особенности счастливъ, узнавъ, что въ высокихъ сферахъ Гофбурга отдають справедливость моимъ усиліямъ разсѣять туманъ, нарушившій съ 1879 г. добрыя отношенія между Россіей и Австро-Венгріей къ великому ущербу для обѣихъ странъ. Тамъ (въ высокихъ сферахъ Гофбурга) признали, что, въ сущности, дѣло сводится къ недоразумѣніямъ, а не къ непримиримой противоположности интересовъ. Нашимъ дипломатамъ предстояло воспользоваться этимъ расположеніемъ»... Многоточіе, которымъ оканчивается эта Хлестаковіада, должно свидѣтельствовать, что наши дипломаты не сумѣли воспользоваться патріотическими усиліями г. Цюна, и нынѣ онъ уже не упоминаетъ объ австро-франко-русскомъ союзѣ.

Но за то тѣмъ ярче выступаетъ великая роль г. Цюна въ образованіи франко-русскаго союза. Подготовилъ онъ его вмѣстѣ съ Катковымъ, но ему случилось и одному на собственныхъ плечахъ выносить всю тяжесть предпріятія. «Лѣтъ шесть, семь тому назадъ,—пишетъ онъ,—когда князь Бисмаркъ старался всѣми мѣрами подорвать кредитъ Россіи, я одинъ, за свой собственный счетъ, предпринялъ борьбу съ нимъ. И, благодаря отчасти поддержкѣ французской печати, французская публика предотвратила грозившую Россіи финансовую катастрофу» (M. Witte et les finances russes, XLVІІ).

Г. Цюнъ былъ агентомъ нашего министерства финансовъ во Франціи, за что и получалъ извѣстное (или неизвѣстное) опредѣленное (или неопредѣленное) вознагражденіе. Былъ агентомъ и получалъ вознагражденіе; пересталъ имъ быть и лишился вознагражденія.—въ этомъ состоитъ ключъ къ уразумѣнію всего столь шумнаго и въ то же время столь простаго эпизода. Но г. Цюнъ не хочетъ, конечно, чтобы дѣло казалось столь простымъ: онъ работалъ «изъ чести», въ интересахъ своихъ двухъ отечествъ—Россіи и Франціи. Онъ—двойной, удвоенный патріотъ и, въ качествѣ такового, трепещетъ сердцемъ за-разъ за оба отечества. Когда онъ былъ агентомъ, онъ хлопоталъ объ упроченіи французскаго денежнаго рынка за русскими бумагами; когда онъ пересталъ быть агентомъ, онъ старается внушить французскимъ капиталистамъ недовѣріе къ русскимъ бумагамъ. И дѣлаетъ онъ это вполнѣ безкорыстно, какъ и все, что онъ дѣлаетъ. Продолжай онъ оставаться агентомъ, все обстояло бы благополучно, потому что онъ уже сумѣлъ бы устроить, но тридцати пяти тысячъ курьеровъ за нимъ на этотъ разъ не шлютъ, и понятно, что Россіи, а затѣмъ и Франціи грозитъ крахъ. Онъ съ болью въ сердцѣ видитъ это, но не считаетъ себя вправе молчать, потому что глубоко презираетъ «патріотическую ложь»—«два слова, пишетъ онъ, соединеніе которыхъ оскорбляетъ и нрав-

ственное чувство и здравый смысл, потому что любовь къ отечеству, одно изъ благороднѣйшихъ вдохновеній человѣческой души, не можетъ имѣть ничего общаго съ ложью, которая есть низость» (M. Witte etc. XLV).

Въ упомянутой уже брошюрѣ «La Russie barbare!» восклицательный знакъ стоитъ въ подлинномъ заглавіи. Онъ долженъ знаменовать негодованіе или изумленіе автора передъ распространеннымъ въ Европѣ мнѣніемъ, что Россія есть варварская страна. Да и какъ же она могла быть въ то время варварскою, когда г. Цюнь — самъ г. Цюнь! — готовился быть или уже былъ ея финансовымъ агентомъ во Франціи! «Г. Цюнь агентъ варварской страны» — это сочетаніе словъ въ такой же мѣрѣ противорѣчитъ нравственному чувству и здравому смыслу, какъ «патріотическая ложь». И вотъ что мы, между прочимъ, читаемъ въ «La Russie barbare!» о положеніи русской печати: «Порядокъ, которому подчинена русская печать, есть порядокъ второй Имперіи, значительно смягченный. Я знаю очень хорошихъ республиканцевъ, которые желали бы для Франціи возвращенія къ этому порядку, не опасаясь навлечь на нее названіе варварской страны. Русскіе законы предоставляютъ настоящимъ писателямъ (aux véritables écrivains) полную возможность выражать свои мнѣнія объ общественныхъ дѣлахъ; они свободны критиковать правительственныя мѣропріятія, порицать дѣйствія министровъ, обсуждать проекты законовъ, указывать необходимыя улучшенія, обличать злоупотребленія; однимъ словомъ, исполнять всѣ обязанности журналиста, достойнаго этого имени. Меньшей свободой пользуются тѣ, для кого печать есть просто дѣло коммерціи и эксплуатаціи или орудіе диффамаци и шантажа, потому что суды обыкновенно очень къ нимъ строгі». Такъ стояли дѣла у насъ, когда г. Цюнь былъ русскимъ финансовымъ агентомъ въ Парижѣ. Теперь онъ утверждаетъ, что русская печать не смѣетъ шикнуть о мѣропріятіяхъ министра финансовъ и о правительственныхъ дѣйствіяхъ вообще. Мы имѣемъ, такимъ образомъ, два противоположныя утвержденія, сопоставляя которыя, должны признать, что или прикосновенность и неприкосновенность г. Цюня къ официальнымъ сферамъ въ качествѣ финансового агента самымъ рѣзкимъ образомъ влияетъ на наши внутреннія дѣла; или же одно изъ его утверждений есть несомнѣнная ложь, хотя, можетъ быть, и «патріотическая». ибо «благороднѣйшее вдохновеніе человѣческой души» никогда не покидаетъ г. Цюня.

Когда г. Цюнь принужденъ былъ оставить карьеру профессора въ Россіи, а тридцать пять тысячъ курьеровъ изъ Эдинбурга развѣхались по разнымъ другимъ мѣстамъ, а къ нему не понази, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ и отъ науки вообще отставилъ себя: или, — въ

виду его неизмѣннаго великолѣбія, — отъ себя науку отставилъ и отдался публицистикѣ. Его принялъ подъ свое покровительство Катковъ, бывшій его крестнымъ отцомъ при принятіи имъ православія, печатавшій у себя его статьи и, наконецъ, пристроившій его къ министерству финансовъ. Г. Ціонъ называетъ себя теперь ближайшимъ совѣтникомъ Каткова, какъ бы его правою рукою. Это, повидимому, преувеличеніе, столь свойственное г. Ціону вообще. Однако, несомнѣнно всетаки, что г. Ціонъ сумѣлъ угодить знаменитому московскому публицисту, а именно своимъ изъ ряда вонъ выходящимъ талантомъ гиперболы. Катковъ охотно печаталъ статьи г. Ціона, даже не особенно искусно, но за то очень задорно превращавшія мухъ въ слоновъ и специально посвященные розыску враговъ отечества. При этомъ чрезвычайно доставалось нашей литературѣ, будто бы не знающей предѣловъ своей «разнузданности» и занятой исключительно тѣмъ, чтобы, подобно врагу сѣятеля въ извѣстной притчѣ, въ ночной тиши портить плеведами поле пшеницы: гг. Ціонъ и ему подобные сѣютъ пшеницу, а вся прочая литература — плевелы, и надо вырвать уже посѣянные и не допустить новыхъ. До какихъ предѣловъ можетъ доходить въ этомъ направленіи гипербола, видно изъ новаго произведенія г. Ціона. Болѣе недѣльных фантазій, выдаваемыхъ, однако, за вполне реальную истину, нельзя себѣ и представить. Г. Ціонъ такое пишетъ, что невольно протираешь себѣ глаза и перечитываешь, — не ошибся ли. Напримѣръ: «Въ теченіе двадцати пяти лѣтъ я горячо и часто цѣню жестокихъ личныхъ жертвъ (*au prix des plus cruels sacrifices personnels*) боролся съ революціонными стремленіями въ Россіи, гдѣ бы они ни проявлялись, въ высшихъ ли правительственныхъ сферахъ, или въ нигилистической средѣ; но, признаюсь, я не встрѣчалъ въ этой борьбѣ челоуѣка, столь опаснаго обществу порядку въ Россіи, какъ г. Витте» (стр. 12—13). И пособниками г. министра финансовъ въ революціонномъ дѣлѣ оказываются редакторъ «Московскихъ Вѣдомостей», г. Петровскій, и редакторъ «Гражданина», кн. Мещерскій. Могли-ли когда-нибудь эти господа ожидать, чтобы оружіе, столь часто и назойливо пускаемое ими въ ходъ, обратилось противъ нихъ самихъ? А вотъ нашелся же челоуѣкъ, и ихъ превзошедшій проникательностью и бдительностью своего патріотизма. Въ особенности поучительно это для редакціи московской газеты, въ которой г. Ціонъ получилъ свое публицистическое воспитаніе. Да не подумаетъ читатель, что г. Ціонъ обличаетъ г. министра финансовъ только въ ошибкахъ, могущихъ повлечь за собой роковыя послѣдствія для существующаго строя. Нѣтъ, г. министръ сознательно преслѣдуетъ революціонныя цѣли. Чтобы яснѣе представить дѣло французской публикѣ, для которой

онъ нишетъ. г. Ціонъ сравниваетъ дѣятельность министра финансовъ съ ученіями французскихъ социалистовъ Жюль Гедда и Лафарга (стр. 153). Но и этого мало. Жюль Геддъ и Лафаргъ полагаютъ, конечно, что осуществленіе ихъ ученій должно повести къ благополучію, а русскій министръ финансовъ «повергаетъ Россію въ строй государственнаго социализма и крайняго коммунизма (*du socialisme d'état et du communisme à outrance!*), чтобы бросить ее на путь революціонныхъ приключеній (XVIII). «Государственный социализмъ есть для г. Витте только рычагъ для дезорганизациіи страны и распространенія всеобщаго недовольства» (154). Есть въ книгѣ г. Ціона вещи и еще почище, которыя даже просто недовко приводить...

Если и есть доля истины въ книгѣ г. Ціона, то она совершенно компрометируется тѣмъ безумно гиперболическимъ враньемъ, образцы котораго мы видѣли. А между тѣмъ, г. Ціонъ есть только зарвавшийся и, такъ сказать, взбунтовавшійся представитель цѣлой литературной кланки. Она уже много лѣтъ съѣтъ у насъ самую разнообразную ложь и смуту, руководясь будто бы исключительно пламенной любовью къ отечеству,—этимъ «благороднѣйшимъ вдохновеніемъ человѣческой души». Последнее произведеніе г. Ціона такъ естественно примыкающее ко всей его прежней литературной дѣятельности, достаточно, кажется, ясно показываетъ, чего стоятъ эти «благороднѣйшія вдохновенія».

Эпизодъ съ г. Ціономъ, взятый во всей его обширности, до такой степени занимателенъ, что и до сихъ поръ привлекаетъ къ себѣ, въ разныхъ смыслахъ, вниманіе какъ въ русскихъ, такъ и въ иностранныхъ газетахъ. Быть можетъ, въ связи съ нимъ находятся даже нѣкоторыя изъ такихъ статей, въ которыхъ самое имя г. Ціона не упоминается. Мыѣ кажется, по крайней мѣрѣ, что въ связь съ нимъ можетъ быть поставлена статья кн. Д. Цертелева въ № 69 (отъ 11 марта) «Московскихъ Вѣдомостей», озаглавленная: «Печать, какъ орудіе прогресса». Статья очень любопытная, хотя и не совсемъ ясная. Кн. Цертелевъ начинается такъ:

«Терпимость къ чужимъ убѣжденіямъ справедливо считается признакомъ цивилизациі. Было время, когда каждое разногласіе съ господствующею доктриной являлось государственнымъ преступленіемъ; но мало-по-малу во всемъ цивилизованномъ мірѣ утвердилось сознаніе, что преслѣдовать челоѣка за убѣжденія не только жестоко и несправедливо, но неѣбно и бесполезно. Чужая душа—потемки и насильственными мѣрами не только нельзя вынудить перемѣны убѣжденій, но даже искренняго ихъ выраженія».

Но затѣмъ, кн. Цертелевъ устанавливаетъ разницу между «свободою внутренняго убѣжденія, научнаго изслѣдованія и обмѣна

мыслей» и «эксплуатаціей пороковъ и слабостей общества». Въ заключеніи читаемъ: «Печать несомнѣнно становится силой, и по мѣрѣ развитія народнаго образованія сила эта должна возрастать. Не пора ли подумать о томъ, чтобы заставить ее дѣйствительно служить на пользу страны, а не для наживы ловкихъ и полуграмотныхъ торговцевъ и не для потѣхи мнимыхъ государственныхъ и общественныхъ дѣятелей? Наши законы о печати устарѣли и, ставя иногда совершенно ненужныя стѣсненія и формальности, они въ то же время не гарантируютъ ни общества, ни частныхъ лицъ отъ самыхъ наглыхъ злоупотребленій печатнымъ словомъ... Почему фальсифицировать муку или вино постыдно, а печатать завѣдомую ложь можно? Почему содержатель питейнаго заведенія, уличенный въ злоупотребленіяхъ, лишается права на продолженіе торговли, а редакторъ или издатель, уличенный въ самыхъ возмутительныхъ злоупотребленіяхъ печатнымъ словомъ, можетъ спокойно продолжать свое ремесло и эксплуатировать легковѣрныхъ читателей? Почему то, что въ частномъ кругу называется неприличіемъ, клеветой и сплетней,—въ печати получаетъ громкое названіе обличенія? Только коренная реформа въ области печати можетъ помѣшать ей превратиться окончательно изъ орудія прогресса въ орудіе ослѣпленія и развращенія массъ, существующее эксплуатаціей низменныхъ инстинктовъ толпы».

Къ сожалѣнію, кн. Цертелевъ не опредѣляетъ ближайшимъ образомъ, въ чемъ именно должна состоять желательная съ его точки зрѣнія реформа законовъ о печати. Не совсѣмъ даже ясно, что считаетъ онъ «эксплуатаціей пороковъ и слабостей общества». Правда, онъ говоритъ о лжи, клеветѣ, сплетнѣ, шантажѣ и торгашескомъ духѣ, проникающемъ въ печать, и будь его статья напечатана не въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ», мы бы понимали, въ чемъ дѣло. Но московская газета такъ долго служила ареной дѣятельности разныхъ Ціоновъ, а эти Ціоны такъ упорно твердили, что они суть единственные безкорыстные служители правды, а вся остальная литература есть скопище «мошенниковъ пера и разбойниковъ печати»,—что теперь мы недоумѣваемъ.

Четвертый томъ „Критико-біографическаго словаря“ г. Венгерова.—О г. Богорыкинѣ.—Ж. Пелисье о французской литературѣ XIX вѣка.

Довольно туго подвигается впередъ «Критико-біографическій словарь» г. Венгерова, но всетаки подвигается: на-дняхъ вынешъ четвертый томъ, содержащій, по обыкновенію, и голые фактическіе «матеріалы» справочнаго характера, и, для нѣкоторыхъ, болѣе значительныхъ писателей, болѣе или менѣе обработанныя критико-біографическія статьи. Алфавитная судьба, опредѣляющая составъ каждаго отдѣльнаго тома каждаго словаря, не была на этотъ разъ очень благосклонна къ труду г. Венгерова, но нѣсколько интересныхъ и наводящихъ на размысленіе фигуръ всетаки есть въ четвертомъ томѣ.

Вотъ, наиримѣръ, Иванъ Богдановичъ (братъ Ипполита Богдановича, автора «Душеньки», отецъ извѣстнаго военнаго историка), писатель начала нынѣшняго вѣка. Мысли и чувства свои онъ излагалъ въ стихахъ и прозѣ. Главное его произведеніе — книжка «О воспитаніи юношества». По словамъ г. Венгерова, «авторъ самъ проникнутъ истинною гуманностью и такихъ же людей желаетъ выработать изъ «россійскаго благороднаго юношества», онъ ему желаетъ привить самыя высокія представленія о чувствѣ долга, о любви къ ближнему и о человѣческомъ достоинствѣ». И вотъ, этотъ гуманный, мягкій человѣкъ пишетъ «Слово похвальное царю Іоанну Васильевичу IV», въ которомъ «не только нѣтъ *ни единого слова* (курсивъ г. Венгерова) объ опричинѣ и казняхъ, но нѣтъ даже прозвища «Грозный». Это удивительное явленіе г. Венгеровъ объясняетъ невѣжествомъ. Онъ говоритъ: «Имѣй мы дѣло съ учебникомъ, въ которомъ авторъ волей-неволей долженъ коснуться Грознаго, напегирическій тонъ можно было бы объяснить цензурными условіями. Но «похвальное слово» было добровольнымъ литератур-

*) Апрель 1895.

нымъ произведеніемъ, никто же Богдановича не заставлялъ прославлять Іоанна, значить, просто, оно вылилось отъ полноты его историческаго невѣжества, если можно такъ выразиться. Это невѣжество отнюдь, конечно, нельзя поставить на личный счетъ Богдановича, который, судя по книжкѣ о воспитаніи, былъ человѣкъ достаточно образованный. 10 лѣтъ спустя, т. е. послѣ того, какъ появилась исторія Карамзина, открывшая русскимъ Россію, гуманному Богдановичу уже едва ли пришло бы желаніе писать похвальное слово Іоанну».

Мудрено, мнѣ кажется, согласиться съ мнѣніемъ г. Венгерова, ибо мудрено знать о существованіи Іоанна IV и не знать о его «грозности». Какова бы ни была роль Карамзина въ русской исторіографіи, но хотя бы только «Россійская исторія» кн. Щербатова могла сообщить Богдановичу свѣдѣнія объ опричинѣ, казняхъ и прочихъ чертахъ царствованія «Грознаго». Съ другой стороны, мы знаемъ, что и долго спустя послѣ того, какъ исторія Карамзина «открыла русскимъ Россію», панегирический тонъ по отношенію къ Ивану IV былъ вовсе не рѣдкостью, да еще у такихъ людей, какъ, напримѣръ, Бѣлинскій, Кавелинъ. У Бѣлинскаго это было дѣломъ вообще свойственнаго ему односторонне страстнаго увлеченія личностью, идеей, историческимъ моментомъ, теоріей,—увлеченія, въ которомъ онъ потомъ такъ горько и такъ часто каялся: у Кавелина, какъ и у многихъ другихъ, — плодомъ предвзятой исторической схемы: у Богдановича — чѣмъ? Слишкомъ мы мало объ немъ знаемъ, и слишкомъ онъ незначительная величина, чтобы стоило доискиваться отвѣта на этотъ вопросъ. Но полагаю, что панегирикъ Грозному Іоанну со стороны гуманнаго Богдановича слѣдуетъ объяснять отнюдь не недостаткомъ знаній, а просто нравственно-политическою невоспитанностью, столь свойственною намъ, русскимъ, вообще. Ею объясняются многія и разныя неожиданности въ нашей жизни.

И, однако, ея всетаки мало для объясненія напечатанной въ четвертомъ томѣ словаря г. Венгерова автобіографической записки нашего знаменитаго сиолога, В. П. Васильева. Здѣсь неожиданны не только воззрѣнія, которыя г. Венгеровъ любезно называетъ «оригинальными», но и ходъ мысли, и обороты рѣчи, и этика, и политика, и логика, и грамматика. Каюсь, знаменитая шинка на носу алжирскаго бея не разъ припоминалась мнѣ при чтеніи этой записки. И достопочтенный ученый этому не удивится, потому что и самъ говоритъ по поводу одной своей внезапности: «Васъ это поражаетъ, вы смѣтаетесь, желаете ощупать мою голову, не безпокойтесь, она крѣпка и цѣла,—но въ ней еще не забыта фантазія оригинальности». Я приведу только одинъ образецъ неожидан-

ностей г. Васильева. Отецъ у него былъ строгій, учителя жестокіе, начальство притѣснительное. Но теперь маститый ученый вспоминаетъ обо всемъ этомъ съ благодарностью: «А отецъ, о, какъ бы я благоговѣлъ передъ нимъ. И знаете ли, въ чемъ я долженъ еще сознаться? Какъ патріотъ, я отъ души ненавижу поляковъ: удивляюсь, зачѣмъ ихъ падать, какъ заклятыхъ враговъ Россіи». Переходъ отъ благоговѣйной памяти объ отцѣ къ безпощадности по отношенію къ полякамъ является вполнѣ неожиданнымъ. Но только что вы успокоились на необходимости истребить поляковъ, какъ г. Васильевъ огорошиваетъ васъ новою неожиданностью: «Но въ то же время я долженъ сознаться, что въ полякахъ встрѣтилъ больше пріивѣта, чѣмъ въ русскихъ монахахъ». Приведа затѣмъ очень хорошія, но довольно избитыя слова «поляка-профессора» О. М. Ковалевскаго, г. Васильевъ прибавляетъ: «Не послужатъ ли эти слова къ примиренію двухъ націй, отъ согласія которыхъ зависить вся судьба славянства?» Вы недоумѣваете: какое же «согласіе», когда «удивляюсь, зачѣмъ падать поляковъ»? Но и на это ваше недоумѣніе г. Васильевъ можетъ отвѣтить: вы хотите пощупать мою голову, не беспокойтесь, она крѣпка и цѣла, но въ ней сохранилась «фантазія, оригинальность». Г. Васильевъ пользуется извѣстностью, какъ знатокъ китайскаго языка и Китая вообще, но онъ, по его собственному показанію, «имѣетъ маленькую претензію быть не больше, не меньше какъ только реорганизаторомъ Россіи». «Каюсь, мои мысли, мои взгляды родились въ Китаѣ», говоритъ онъ. И вотъ эти свои китайскіе мысли и взгляды онъ хотѣлъ примѣнить къ русской жизни, «реорганизовать» ее въ этомъ направленіи. Его прекраснѣйшіе совѣты были гласомъ вопіющаго въ пустынь. Но не по той причинѣ, что и самому ему приходится предлагать свою голову для ощупыванія. Нѣтъ, «вся бѣда въ томъ, что я былъ оріенталистъ»,—говоритъ онъ:—могъ ли я что нибудь придумать для руководства западниковъ: у нихъ такія свѣтлыя головы, что и лбы мѣдныя!..»

Переходимъ къ П. Д. Боборыкину, которому въ четвертомъ томѣ критико-біографическаго словаря посвящена самая большая статья. Прежде всего надо отдать справедливость автору статьи, г. Венгерову. Онъ желаетъ быть вполнѣ безпристрастнымъ въ самомъ лучшемъ смыслѣ этого слова, не смѣнивая, какъ это часто дѣлается, безпристрастія съ безстрастіемъ. Одно дѣло — говорить о какомъ нибудь писателѣ или вообще о житейскомъ фактѣ, чуждаясь хвалы и порицанія, и другое дѣло — не закрывать глаза ни на хорошія, ни на дурныя стороны явленія. Первое или есть совершенно недостижимая задача, нѣчто вѣродѣ квадратуры круга, или свидѣтельствуешь только объ индифферентизмѣ критика, ни мало не спо-

собствуя уясненію явленія: второе есть необходимое условіе всякой добросовѣстной критической работы. Статья г. Венгерова есть несомнѣнно добросовѣстная критическая работа. Она имѣетъ отчасти полемическій характеръ, такъ какъ и начинается, и продолжается, и кончается горячею защитою плодовитѣйшаго изъ нашихъ романистовъ, а можетъ быть, и изъ писателей вообще, противъ разнообразныхъ нападокъ, которымъ онъ такъ часто подвергается. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, г. Венгеровъ съ величайшею тщательностью различаетъ пшеницу и плевелы на нивѣ литературной дѣятельности г. Боборыкина. Такимъ образомъ, въ статьѣ его можно найти всѣ данныя для окончательнаго и правильнаго сужденія о г. Боборыкинѣ, но, къ сожалѣнію, характеристика, сдѣланная самимъ г. Венгеровымъ, лишена цѣльности,—онъ не свелъ своихъ концовъ съ концами. Попробуемъ сдѣлать это за него.

Г. Венгеровъ начинаетъ съ упрековъ нашей критикѣ за ея недостаточное вниманіе и несправедливость къ П. Д. Боборыкину. Имя этого необыкновенно плодovitаго писателя постоянно мелькаетъ въ рецензіяхъ, критическихъ газетныхъ фельетонахъ и журнальныхъ статьяхъ, но все это больше бѣглыя замѣтки, не исчерпывающія предмета и часто ограничивающіяся простымъ глумленіемъ. Въ «Исторіи новѣйшей литературы» г. Скабичевского г. Боборыкину посвящено меньше мѣста, чѣмъ Новодворскому (Осиповичу), и поставленъ онъ въ одну линію съ Евг. Марковымъ, Немировичемъ-Данченкомъ, Терпигоровымъ, Саловымъ, Ахшарумовымъ и Лейкинымъ. Въ нѣмецкой «Geschichte der russischen Literatur» Рейнгольда Боборыкину посвящено нѣсколько строкъ. А между тѣмъ, г. Боборыкинъ написалъ на своемъ вѣку не менѣе 70—80 томовъ, и уже одно это количество должно бы было привлечь къ нему вниманіе критики, не говоря объ томъ, что вѣдь никто же не сомнѣвается въ его талантности.

Фактически г. Венгеровъ совершенно правъ, и я полагаю даже, что его недоумѣніе передъ несправедливостью критики,—если таковая несправедливость существуетъ—должно получить еще болѣе широкое примѣненіе. Говоря о «Geschichte der russischen Literatur» Рейнгольда, онъ замѣчаетъ, что она «вѣрно отразила настроеніе руководящихъ литературныхъ кружковъ». Г. Венгеровъ хочетъ сказать, что и здѣсь, въ нѣмецкой книгѣ, отразилось вліяніе кружковой несправедливости. Пусть такъ. Но вотъ что любопытно. Изъ библиографическихъ указаній г. Венгерова видно, что на иностранные языки были переведены изъ сочиненій г. Боборыкина только два, а именно: 1) «Полжизни» въ «Journal de St.-Pétérbourg» 1870 годахъ, переводъ жены г. Боборыкина и 2) «Жертва вечерняя» на нѣмецкій языкъ въ 1893 г. Это поразительно мало, особенно если принять во ви-

маніе, что, не говоря уже о Толстомъ, Тургеневѣ, Достоевскомъ, гораздо болѣе молодые писатели, какъ, напримѣръ, г. Короленко переводились на иностранные языки гораздо больше. А между тѣмъ, во многихъ европейскихъ центрахъ г. Боборыкинъ, можно сказать, свой человѣкъ, лично знакомъ съ корифеями литературы и неоднократно печаталъ свои статьи о разныхъ явленіяхъ русской жизни во французскихъ, англійскихъ, итальянскихъ журналахъ. Но и эти статьи, не смотря на интересъ къ русской литературѣ, возбужденный въ послѣднее время въ Европѣ, не упоминаются въ иностранной литературѣ, точно ихъ и не было, какъ и вообще точно и не было 70—80 годовъ, написанныхъ г. Боборыкинымъ. Такимъ образомъ, нѣтъ надобности кивать на «руководящіе русскіе литературные кружки», чтобы увидѣть, что и Европа несправедлива къ г. Боборыкину.

Но Европа, по крайней мѣрѣ, молчитъ о г. Боборыкинѣ. Несправедливость нашей критики идетъ гораздо дальше: она систематически умаляетъ достоинства этого писателя и часто даже глумится надъ ними. Говорятъ, напримѣръ, о «легковѣсномъ всезнайствѣ» г. Боборыкина; напримѣръ, «рецензенты не упускали случая потрунить надъ тѣмъ, какъ это Петръ Дмитріевичъ даже объ анатоміи и физиологіи не прочь потолковать». Въ дѣйствительности же, въ полную противоположность установившемуся мнѣнію, Боборыкинъ никогда не говоритъ о томъ, чего не знаетъ основательно. «Этотъ химикъ по долгодѣтнимъ специальнымъ занятіямъ, медикъ по пройденному полному курсу врачебныхъ наукъ, юристъ по диплому и подготовленію къ магистерскому экзамену, выдающийся знатокъ сценическаго искусства по своимъ занятіямъ теоріей драматургіи, столь же выдающийся знатокъ европейскаго литературнаго и философскаго творчества, наконецъ, этотъ человѣкъ, превосходно знающій семь языковъ, по справедливости долженъ быть причисленъ къ самымъ замѣчательнымъ представителямъ образованія въ Россіи». Во всѣхъ упомянутыхъ отрасляхъ науки г. Боборыкинъ является «во всеоружіи specialнаго знанія». «Вотъ почему, при всей смертной охотѣ многочисленныхъ журнальныхъ недруговъ П. Д. уязвить его за то, что въ своемъ «дилетантскомъ всезнайствѣ» онъ не останавливается и передъ философій, эти уязвленія дальше голословнаго фырканія не шли. А въ средѣ дѣйствительно компетентныхъ судей—въ московскомъ психологическомъ обществѣ П. Д. неоднократно читалъ рефераты», и его тамъ не уличали въ незнакомствѣ съ предметомъ.

Смѣются надъ многописаніемъ г. Боборыкина, но вѣдь это только трудолюбіе, достойное изумленія и хвалы. Смѣются надъ «торопливостью» его творчества, но оно не торопливо, а «тревожно» и свидѣтельствуешь объ отзывчивости и впечатлительности, качествахъ

гарантирующих писателю высокое место въ литературѣ. Чуть только мелькнетъ какое нибудь новое явленіе въ русской жизни, г. Боборыкинъ уже отзывается на него и запечатлѣвается въ образахъ и картинахъ. Это послѣднее обстоятельство внушаетъ г. Венгерову нѣсколько прекрасныхъ словъ о значеніи «вѣчныхъ» темъ въ искусствѣ. Когда намъ говорить, что «вѣчныя» темы значительно преобладающей злобы дня, то это есть лишь словесное недоразумѣніе, ибо мы по необходимости имѣемъ дѣло съ «временнымъ». Жизни вѣкъ времени и пространства нѣтъ, и писателю она «можетъ быть известна лишь постольку, поскольку онъ истинный сынъ окружающей его дѣйствительности. Писатель, который садится за свой письменный столъ съ цѣлью изобразить одно «вѣчное», ничего, кромѣ сухихъ и безжизненныхъ абстракцій или мертворожденныхъ символовъ, не произведетъ. Вѣчное получается само собой, если временное изображено художественно, т. е. ярко, правдиво и полно... Величайшіе представители всемірной литературы никогда не боялись ни яркомѣтнаго, ни временнаго. Что можетъ быть временнѣе и, такъ сказать, испанистѣе *Донъ-Кихота*? Кто изъ поэтовъ былъ болѣе сыномъ своего вѣка и даже своихъ *десятилѣтій*, чѣмъ Данте, котораго и понять невозможно безъ подробнѣйшихъ комментарій?.. Гете, котораго мудрено будетъ причислить къ зловерной кликѣ, созданной Вѣлинскимъ, Чернышевскимъ и Добролюбовымъ, тѣмъ не менѣе, *horribile dictu*, сказалъ:

Wer für die Besten *seiner* Zeit gelebt,
Der hat gelebt für alle Zeiten.

И вотъ почему мы отзывчивость, стремленіе къ «ловленію момента» не можемъ не поставить въ число самыхъ положительныхъ качествъ творческой натуры П. Д. Боборыкина.

Много еще и горячо говорить г. Венгеровъ въ защиту г. Боборыкина и много очень вѣрныхъ мыслей при этомъ высказываетъ. Но... но самъ же онъ предъявляетъ въ своей статьѣ столько *но*, что дѣло уясняется само собой, и обвиняемая въ несправедливости къ г. Боборыкину часть критики и публики получаетъ, мнѣ кажется, полное оправданіе.

Начать съ того *но*, что г. Боборыкинъ написалъ «Доктора Цыбульку», а не «Донъ-Кихота». Г. Венгеровъ, конечно, хорошо понимаетъ эту разницу и прибавляетъ только, что это уже «вопросъ о размѣрахъ таланта, а не о направленіи его». Я не думаю оскорблять г. Боборыкина сравненіемъ размѣровъ его таланта съ размѣрами талантовъ Сервантеса или Данте, но полагаю, что, если творенія послѣднихъ живутъ вѣка, а произведенія г. Боборыкина забываются въ тотъ же годъ, то этого нельзя объяснять только раз-

ницею въ размѣрахъ талантовъ. Сейчасъ г. Венгеровъ самъ сообщить намъ нѣкоторыя другія причины различія литературныхъ судебъ г. Боборыкина и Сервантеса или Данте. Сначала проверимъ кое какія фактическія показанія г. Венгерова.

Вѣрно ли, что достоинства г. Боборыкина такъ-таки советѣмъ у насъ не признаются? Самъ г. Венгеровъ упоминаетъ о какомъ то торжественномъ обѣдѣ, данномъ г. Боборыкину въ декабрѣ прошлаго года «избраннымъ литературнымъ кружкомъ». Я не имѣлъ чести участвовать въ этомъ обѣдѣ и не знаю, изъ кого состояли избранные и къмъ собственно они были избраны. Но есть-же, значитъ, люди, и не отдѣльные экземпляры, а цѣлый кружокъ, да еще избранный, который выражаетъ свое уваженіе къ маститому беллетристу даже спеціальнымъ торжествомъ. Правда, этотъ кружокъ, повидимому, не пользуется большимъ вліяніемъ, потому что не сумѣлъ внушить читаема имъ чувства всей литературѣ и обществу. Но изъ этого слѣдуетъ только то, что г. Венгеровъ не правъ, намекая на какую то отрицательную роль литературныхъ «кружковъ» въ не советѣмъ удачной судьбѣ г. Боборыкина, какъ писателя. Почтенный беллетристъ находится, повидимому, въ добрыхъ отношеніяхъ съ самыми разнообразными литературными кружками, такъ какъ произведенія его печатаются и въ «Вѣстникѣ Европы», и въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ», и въ «Недѣлѣ», и въ «Русской Мысли», и въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ», и въ «Вопросахъ философіи и психологій». Но и за веѣмъ-тѣмъ въ общемъ литература дѣйствительно относится къ нему не особенно уважительно: часто раздаются по его адресу разнообразныя насмѣшки и рѣдко слышится въ его защиту сколько нибудь громкіе голоса. Въ этомъ отношеніи г. Венгеровъ совершенно правъ, но приводимый имъ «смѣшливый» глаголъ—«боборыкать» онъ относитъ не туда, куда слѣдуетъ. Изъ изложенія г. Венгерова можно вывести, напримѣръ, заключеніе, что подвергается осмѣянію или же просто отрицается разносторонняя образованность г. Боборыкина. Это не вѣрно. Никто, конечно, не согласится съ г. Венгеровымъ, что нашъ талантливый беллетристъ и въ химіи, и во «врачебныхъ наукахъ», и въ юриспруденціи, и въ философіи, и въ исторіи литературы предстонтъ «во всеоружіи спеціальнаго знанія». Что такое значитъ, напримѣръ, «юрнестъ по динному и приготовленію къ магистерскому экзамену»? Оставимъ динномъ въ покоѣ, потому что кто же не знаетъ, какая ему можетъ быть цѣна; а затѣмъ находимъ въ автобіографической запискѣ г. Боборыкина слѣдующія данныя: «*бывалъ* на лекціяхъ государственнаго права А. Д. Градовскаго; долго имѣлъ памѣреніе держать экзаменъ на магистра государственнаго права». До всеоружія спеціальнаго знанія отсюда еще очень далеко. Да и гдѣ же при ны-

нѣнномъ состояніи науки возможность всеоружія спеціальнаго знанія во всѣмъ перечисленнымъ г. Венгеровымъ отраслямъ?! Можно, однако, и нынѣ обладать достаточно разносторонними знаніями въ размѣрѣ, достаточномъ для той или другой дѣятельности, и, какъ беллетристъ, г. Боборыкинъ таковымъ обладаетъ. Онъ принадлежитъ къ числу образованнѣйшихъ нашихъ беллетристовъ, и никто никогда этого не отрицать и не смѣлся надъ этимъ. Другое дѣло, — какой толкъ вышеть изъ занятій г. Боборыкина химіей и государственнымъ правомъ, «врачебными науками» и философіей. На этотъ счетъ г. Венгеровъ выражаетъ вполне опредѣленное *но*: «Мы всего менѣе намѣрены утверждать, что многочисленныя и крайне разнообразныя знанія, пріобрѣтенныя нашимъ романистомъ путемъ настойчиваго самообразованія и долгаго странствованія по аудиторіямъ всѣхъ европейскихъ странъ, привели къ серьезнымъ научнымъ результатамъ. Мы не думаемъ также, чтобы обширное образованіе оказало особенно цѣнную помощь главной жизненной задачѣ нашего автора — беллетристическому творчеству, скорѣе мы склонны думать, хотя это и отдаетъ нѣсколько варварствомъ, что множество знаній притупили въ П. Д. непосредственность впечатлѣнія».

Мы видѣли, что г. Венгеровъ протестуетъ противъ примѣненія эпитета «торопливый» къ творчеству г. Боборыкина. *Но*, говоря, напримѣръ, о романѣ «Василій Теркинъ», нашъ критикъ замѣчаетъ: «Авторъ очень уже слѣшно обобщилъ одинъ, два факта, которые попали въ кругъ его наблюденій».

Мы видѣли, что г. Венгеровъ обличаетъ нашу критику, а частью и читающую публику въ недостаточномъ вниманіи къ г. Боборыкину и въ несправедливомъ къ нему отношеніи. *Но* самъ же г. Венгеровъ такими яркими штрихами рисуетъ нѣкоторыя особенности литературной дѣятельности г. Боборыкина, что всякій, познакомившійся съ этимъ рисункомъ, на вопросъ о виновности критики непременно отвѣтитъ: нѣтъ, не виновна!

«Блѣдень, очень блѣдень писательскій темпераментъ г. Боборыкина. Нѣтъ въ немъ и слѣда колоритности, нѣтъ въ немъ поэзіи, нѣтъ глубины и постоянства настроенія. И *вотъ отчего* почтенный романистъ при всѣхъ своихъ добрыхъ намѣреніяхъ, при несомнѣнномъ талантѣ и другихъ положительныхъ сторонахъ своего творческаго дарованія, всегда принадлежалъ къ писателямъ, которыхъ охотно читаютъ, когда ихъ произведенія составляютъ послѣднюю литературную новость, но не перечитываютъ въ отдѣльныхъ изданіяхъ... У Боборыкина совершенно нѣтъ того внутренняго творческаго восторга, того скрытаго пафоса, присутствіе котораго должно ощущаться въ самыхъ объективныхъ произведеніяхъ. Въ большинствѣ романовъ и повѣстей Боборыкина совершенно не чувствуется, что самъ авторъ увлеченъ своимъ сюжетомъ, что онъ пишетъ подъ вліяніемъ органической потребности высказаться, подѣлиться тѣми образами и чувствами, которые переполняютъ его творчество и ищутъ выхода... Удивительно *ли*, что и читателя не захватываетъ, что и читатель

равнодушно дочитывает нестройные романы Боборыкина, часто состоящие из десятка разрозненных эпизодов, несвязанных единством авторского настроения. Чтобы воспламенить читателя, нужно, чтобы и писатель горел. А гореть то именно никогда и не мог у Боборыкина. *Вот почему* он совершенно лишен пластичности, *вот почему* ему не удастся распропагандировать чтонибудь, сделать популярною какуюнибудь из своих симпатий или хотя бы прочно остановить внимание читателя на какомнибудь из схватываемых его чутким талантом явлений». И т. д.

Все эти «вот почему» и «удивительно-ли» хорошо говорят сами за себя. Но они еще не объясняют того веселого настроения, в которое люди так часто приходят при одном имени г. Боборыкина, обогатившаго русский язык «смѣшливымъ», какъ съ негодованіемъ говоритъ г. Венгеровъ, глаголомъ — «боборыкать». За исключеніемъ этого пункта, г. Венгеровъ, собственно говоря, то же слово, что и обвиняемая имъ критика, только иначе молвить. Онъ не хочетъ, чтобы творчество г. Боборыкина называлось «торопливымъ», но при случаѣ самъ говоритъ, что маститый романистъ «очень ужъ смѣшно обобщаетъ одинъ, два факта, которые попали въ кругъ его наблюдений». Онъ горячо возстаетъ противъ эпитета «поверхностный» въ примѣненіи къ г. Боборыкину, но вмѣстѣ съ тѣмъ утверждаетъ, что у него «нѣтъ глубины и постоянства настроенія». Торопливый или смѣшный, поверхностный или неглубокий,—это едва ли не blanc bonnet—bonnet blanc. Но это еще не резонъ для насмѣшекъ, но крайней мѣрѣ, для насмѣшекъ въ такомъ количествѣ, какое выпадаетъ на долю г. Боборыкина вплоть до спеціальнаго термина «боборыкать». Но и на этотъ счетъ у самого же г. Венгерова можно найти нѣкоторыя смягчающія вину насмѣшниковъ обстоятельства. Въ 1890 году появилась въ «Русской Мысли» повѣсть г. Боборыкина «Поумнѣлъ». Повѣсть была очень хороша, имѣла большой успѣхъ и «быстро подняла въ обществѣ популярность Боборыкина», насмѣшки затихли, критика стала говорить о г. Боборыкинѣ тепло и серьезно. Такъ рассказываетъ г. Венгеровъ и рассказываетъ совершенно вѣрно; но, продолжаетъ онъ, послѣ этого скоро опять все пошло по старому. «Почтенный романистъ, приближаясь къ 60-й годовщинѣ, опять очутился у разбитаго колыта: опять его волочатъ по фельетонамъ, опять надъ нимъ издѣваются и други, и недруги, опять онъ одинокъ и покинутъ людьми. имѣющими влияние и всѣхъ въ литературѣ». Я не знаю, какъ связать это показаніе г. Венгерова съ его же вышеприведеннымъ сообщеніемъ объ «избранномъ литературномъ кружкѣ». Но дѣло не въ этомъ, а въ томъ, что негдѣ же, стало быть, чегонибудь преднамѣреннаго въ отношеніяхъ критики къ г. Боборыкину: написать онъ повѣсть дѣйствительно хорошую, и тотчасъ же онъ, по нѣсколько, мнѣ кажется, преувеличенному мнѣнію г. Венгерова, «за-

нялъ мѣсто первенствующаго русскаго беллетриста». Итъ, не первенствующаго, этого съ г. Боборыкинымъ никогда не было и никогда не будетъ, но вѣрно, что повѣсть «Поумнѣлъ» вызвала живой интересъ и серьезное отношеніе критики. Почему? Потому что повѣсть хороша, потому что авторъ самъ вложилъ въ свою работу живой интересъ и серьезное отношеніе къ избранной имъ темѣ. Почему же отношеніе критики потомъ такъ быстро измѣнилось и почтенный романистъ опять остался у разбитаго корыта? Г. Венгеровъ самъ очень хорошо объясняетъ дѣло. Съ тѣхъ поръ г. Боборыкинъ написалъ два большіе романа — «Василій Теркинъ» и «Переваль». Я долженъ откровенно признаться, что не могу судить объ этихъ произведеніяхъ, такъ какъ изъ того и изъ другого прочиталъ лишь нѣсколько главъ. Г. Венгеровъ удостовѣряетъ, что они имѣютъ большія достоинства, но и большіе недостатки; и если мы не будемъ очень держаться за *bonnet blanc* противъ *blanc bonnet*, или наоборотъ, то окажется, что оба романа страдаютъ торпливостью и поверхностностью творчества, холодною настроеніемъ, неясностью задачъ, словомъ, обычными недостатками г. Боборыкина, о которыхъ г. Венгеровъ говоритъ: «Петръ Дмитріевичъ, обнявшій, такъ сказать, все, не обнялъ какъ слѣдуетъ ничего». Въ повѣсти «Поумнѣлъ» этихъ недостатковъ не было, а когда г. Боборыкинъ къ нимъ вернулся, то натурально вернулся вмѣстѣ съ тѣмъ и къ разбитому корыту. Но опять-таки это еще не резонъ для насмѣшекъ. Правда, г. Венгеровъ упоминаетъ мелькомъ о «деталяхъ неудачныхъ и смѣшиноватыхъ», но не въ нихъ, конечно, все дѣло, потому что неудачныя и смѣшиноватыя детали могутъ случайно попадаться и у очень большихъ писателей, серьезныхъ и отнюдь не «боборыкающихъ». Г. Венгеровъ прибавляетъ нѣчто болѣе рѣшающее: «За эти годы Петру Дмитріевичу,—писателю, постоянно отражавшему не эпоху, а прямо сегодняшній день,—пришла поистинѣ несчастная и просто смѣшная въ его устахъ проповѣдь «чистаго искусства».

Да, истинно смѣшна проповѣдь г. Боборыкина, и мы находимся въ самомъ сердцѣ интересующаго г. Венгерова вопроса о причинахъ комическаго ореола, окружающаго имя нашего плодовитѣйшаго романиста. Смѣшины не самыя мысли г. Боборыкина о «чистомъ искусствѣ». Въ этихъ мысляхъ нѣтъ ничего новаго, онѣ высказывались сотни разъ, вызывая сочувствіе однихъ и возраженія другихъ. Споръ о задачахъ искусства ведется у насъ такъ давно, такъ многократно и многообразно, что право же, наконецъ, до послѣдней степени надоелъ читателямъ, да и ведется онъ далеко не съ прежнею страстностью и одушевленіемъ. Нельзя было бы и ожидать, чтобы люди съ одинаковымъ одушевленіемъ столь

продолжительное время топтался на одномъ мѣстѣ, а вѣдь это настоящее топтаніе на мѣстѣ. «Вотъ какъ нужно творить и вотъ какъ критиковать творчество», говорятъ одни. «Нѣтъ, не такъ, а вотъ какъ», — возражаютъ другіе. Казалось бы, поговорили и довольно, и если не пришли къ соглашенію, такъ пусть каждый творить и критикуетъ по своей программѣ, не ограничиваясь ея предъявленіемъ, а осуществляя ее. Отнюдь не желая вводить читателя еще разъ въ эти дебаты, я долженъ, однако, замѣтить, и полагаю, всякій безпристрастный человѣкъ со мной согласится, — что сторонники такъ называемаго тенденціознаго искусства послѣдовательнѣе своихъ противниковъ, потому что дѣлаютъ именно то, что говорятъ, даютъ именно то, что обѣщаютъ. Нельзя того же сказать объ адептахъ «чистаго искусства». Будучи горячими его защитниками на словахъ, они на дѣлѣ ищутъ тенденціознѣйшія произведенія. Иногда у нихъ это выходитъ, по крайней мѣрѣ, красиво, какъ у г. Алексѣя Толстого, иногда грубо лицемѣрно, какъ у Болеслава Маркевича, а у г. Боборыкина — смѣшно. Отъ всего его огромнаго литературнаго багажа не осталось бы камня на камнѣ, если бы къ нему были приложены его собственныя критическія требованія (предполагая, конечно, что они исполнимы вообще). Онъ живетъ исключительно злобой дня и, какъ справедливо говоритъ его горячій, но безпристрастный защитникъ г. Венгеровъ, — «безъ этой замѣчательной, при всемъ отсутствіи глубины, отзывчивости. Боборыкинъ никогда бы не занялъ своего, какъ никакъ, всетаки очень виднаго положенія въ современной русской беллетристикѣ: предоставленный однимъ непосредственнымъ художественнымъ слухомъ своимъ, онъ бы затерялся среди второстепенныхъ поставщиковъ беллетристическаго чтенія». Почему же г. Боборыкинъ проповѣдуетъ такую, повидимому, убійственную для него самого теорію? Что его толкаетъ въ эту сторону? Не злостное лицемѣріе, не смѣющее открыто сказать: *ote-toi de là que je m'y mette* и прикрывающееся чистымъ искусствомъ ради всегдѣ не чистыхъ цѣлей. Для такого лицемѣрія г. Боборыкинъ слишкомъ честный человѣкъ. Но вѣстѣ съ тѣмъ, онъ на рѣдкость легкомысленный и поверхностный писатель. Эти дѣтскія свойства, въ изумительной неприкосновенности сохраненныя г. Боборыкинымъ до конца шестого десятка лѣтъ своей жизни, вполнѣ объясняютъ тотъ нѣсколько комическій ореолъ, который окружаетъ его имя. И дѣло не въ томъ, что дѣтскія свойства составляютъ уже сами по себѣ комическій контрастъ съ шестидесятилѣтнимъ возрастомъ: смѣшливое настроеніе критики и публики не со вчерашняго дня сопровождаетъ литературную дѣятельность г. Боборыкина. Дѣло въ томъ quasi серьезномъ видѣ, съ которымъ легкомыслить почтенный ро-

манить и который рѣшительно не позволяетъ принимать его au serieux.

Г. Венгеровъ находитъ проповѣдь такъ называемаго чистаго искусства «смѣшною» въ устахъ Боборыкина. И, конечно, она смѣшна въ его устахъ. Но это не какая-нибудь чисто механическая пристройка ко всему громадному зданію беллетристики г. Боборыкина, рѣзко противорѣчивая ему и своимъ архитектурнымъ стилемъ, и своимъ назначеніемъ. Противорѣчіе между теоріей и практикой въ данномъ случаѣ несомѣнно, но есть нѣчто и объединяющее ихъ. «Въ большинствѣ романовъ и повѣстей г. Боборыкина,—говоритъ г. Венгеровъ,—не чувствуется, что самъ авторъ увлеченъ своимъ сюжетомъ». Вотъ. Относясь къ своимъ сюжетамъ чисто формально, маститый беллетристъ можетъ искренно считать себя служителемъ «чистаго искусства», т. е. исключительно художественной формы, которая, говоря спеціально эстетическому чувству, сама по себѣ ничего не предрѣшаетъ относительно содержанія. Такимъ образомъ, собственное свое легкомысленное, поверхностное, не серьезное отношеніе къ дѣлу г. Боборыкинъ возводитъ въ принципъ и дѣлаетъ при этомъ такую серьезную мину, что поневолѣ смѣшно становится. И чѣмъ больше Гельмгольцевъ, Брюкке, Фехнеровъ и т. п. пристегиваетъ онъ къ оправданію своего легкомыслія, тѣмъ яснѣе становится, что и къ этимъ почтеннымъ ученымъ онъ относится необыкновенно легкомысленно и поверхностно. И такъ бываетъ всегда, когда г. Боборыкинъ начинаетъ говорить не только о задачахъ искусства, а и вообще о предметахъ. «наводящихъ на размышленіе». А онъ любитъ такъ побесѣдовать и о положительной философіи, и о нигилизмѣ, и о culte du peuple dans la litterature russe и проч. При этомъ смѣшно не то, что «Петръ Дмитріевичъ даже объ анатоміи и физиологіи не прочь потолковать». Что тутъ за *даже*, если человѣкъ дѣйствительно учился анатоміи и физиологіи. Смѣшонъ тотъ дѣланный серьезный тонъ, съ которымъ г. Боборыкинъ говоритъ о вещахъ, дѣйствительно серьезныхъ, безъ всякаго серьезнаго къ нимъ интереса. А онъ и въ романы свои постоянно вводитъ предметы, наводящіе на размышленіе, торопливо хватая ихъ на лету и столь же торопливо облакая ихъ въ художественную форму. Форма эта опять-таки поражаетъ своею несерьезностью и поверхностностью: на толкаетъ человѣкъ образовъ и картинъ, нагромоздитъ ихъ, какъ товаръ въ мебельной лавкѣ Гостиного двора, и съ протокольною точностью опишетъ шоколаднаго цвѣта пледъ, «извилистый носъ» (я не знаю, какой это извилистый носъ, но онъ часто фигурируетъ у г. Боборыкина), зеленую триповую мебель, «солиднаго рисунка» штаны и проч., и проч.—и выходитъ «чистое искусство»!

Г. Венгеровъ удивляется и негодуешь, что у г. Боборыкина, при всѣхъ его положительныхъ качествахъ — талантѣ, образованности, отзывчивости, трудолюбіи, — такъ много враговъ и такъ мало друзей въ литературѣ. Это, мнѣ кажется, требуетъ иѣкоторой, чистого фактической оговорки. Литературныхъ друзей у г. Боборыкина дѣйствительно не много, хотя это не мѣшаетъ ему печататься въ доброй половинѣ всѣхъ существующихъ журналовъ. Но и враговъ у него вовсе ужъ не такъ много, ибо возбуждаемое ими смѣшливое настроеніе, вообще говоря, не имѣетъ злобнаго, прямо враждебнаго характера: просто смѣшно. А почему все это такъ выходить, очень хорошо объясняетъ самъ г. Венгеровъ: «Не подай онъ повода сомнѣваться въ серьезности своихъ убѣжденій, у него было бы больше литературныхъ друзей, которые и парализовали бы значеніе самыхъ ожесточенныхъ ненадокъ». Строго говоря, у г. Боборыкина даже совѣтъ иѣтъ ни литературныхъ друзей, ни литературныхъ враговъ, ибо никому такой легкомысленный врагъ не страшенъ и никому такой легкомысленный другъ не дорогъ. Въ этомъ состоитъ глубоко поучительная трагическая сторона исторіи литературной дѣятельности г. Боборыкина, та сторона, которая его — талантливаго, образованнаго, отзывчиваго, трудолюбиваго писателя — фатально приводитъ къ «разбитому корыту».

Недавно вышла переводная, съ французскаго, книжка Ж. Пелисье, озаглавленная: «Французская литература XIX вѣка». Заглавіе это не соответствуетъ содержанію книжки. Съ одной стороны, въ статьѣ «Шекспировская драма во Франціи», авторъ выходитъ за предѣлы XIX вѣка, а съ другой — въ ней недостаетъ многого, характернаго для французской литературы истекающаго столѣтія. Это просто сборникъ довольно случайныхъ статей, какъ это уже изъ самихъ ихъ заглавій видно: «Шекспировская драма во Франціи», «Октавъ Фёлье», «Эмиль Зола (по поводу романа «Деньги»)», «Поль Бурже (по поводу книги «Новыя постели)», «Марсель Превю», «Пессимизмъ въ современной французской литературѣ». Только эта послѣдняя статья и представляетъ для насъ довольно значительный интересъ, такъ какъ касается цѣлаго теченія, а не случайно выхваченныхъ отдѣльныхъ литературныхъ явленій.

По мнѣнію Пелисье, пессимизмъ составляетъ характернѣйшую черту современной французской жизни и литературы, чего, однако нельзя приписать влиянію извѣстныхъ иѣмецкихъ философскихъ системъ. Во Франціи, по словамъ нашего автора, «очень немногіе читали Шопенгауера въ его сочиненіяхъ, но очень многіе читали его въ своемъ собственномъ мозгу. Пессимизмъ во Франціи не имѣлъ ни основанія, ни школы; онъ былъ самопроизвольнымъ об-

нимъ настроеніемъ ума. Онъ не преподавался, какъ доктрина, но распространялся, какъ дурной воздухъ». Это объясняется отчасти тѣмъ разгромомъ Франціи, подъ впечатлѣніемъ котораго воспиталось дѣйствующее нынѣ поколѣніе. Но этого объясненія недостаточно, потому что Франція успокоилась, зажила нормальною жизнью, а распространеніе пессимизма не прекратилось, для чего должны, значить, существовать еще какія-то другія причины. Пелисье ищетъ ихъ въ области идей же, а именно въ торжествѣ науки. «Съ тѣхъ поръ, — говоритъ онъ, — какъ нашъ вѣкъ, отстраняя обманчивыя иллюзіи воображенія и чувствительности, отдался наукѣ съ единственною цѣлью познать тайны природы, приобрести о ней понятія болѣе точныя и полныя, — опыты привели его къ механической теоріи вселенной, сообразно съ которой не только вокругъ насъ, но и въ насъ самихъ не происходитъ никакого явленія, которое бы не было необходимо вызвано предшествующими явленіями... XVII вѣкъ вѣрилъ въ добродѣтель; но для детерминиста добродѣтель является только продуктомъ фактора, надъ которымъ мы не имѣемъ никакой власти. XVIII вѣрилъ въ разумъ: но для детерминиста все одинаково разумно, потому что, такъ какъ все одинаково необходимо, нѣтъ другой причины всего сущаго, какъ сама необходимость. Романтическій XIX вѣкъ вѣрилъ въ любовь; но и онъ заблуждался, — или отдѣляя любовь отъ животнаго чувства и идеализируя ее, или приписывая ей жизненность независимой силы. Что касается послѣдующихъ поколѣній, они вѣрили только въ ощущенія, въ желаніе, въ то, что натуралистическая школа уже называла животнымъ-человѣкомъ. И дѣйствительно, если детерминизмъ уничтожаетъ то, что составляетъ наше превосходство надъ другими животными — познаніе добра и зла, — то что же лучшее могло остаться отъ насъ?» И далѣе: «Если общая послѣдовательность явленій роковымъ образомъ развиваетъ будущее изъ прошедшаго, мы такъ же безсильны измѣнить роковыя формы нашего существа, какъ камень, брошенный въ извѣстномъ направленіи, не способенъ измѣнить данное ему направленіе. И это представленіе о мірѣ, надъ которымъ преобладаютъ слѣпныя силы, о человѣчествѣ, которое дѣйствуетъ въ пустомъ пространствѣ, усилія котораго, труды и сопротивленія не только безсильны измѣнить всемірный ходъ вещей, но еще являются сами по себѣ результатомъ роковой неизбѣжности, тяготящей надъ нашими тщетными волненіями, — представленіе это естественно располагаетъ къ пессимизму человѣка, въ которомъ оно уничтожило всякую надежду, всякое достоинство, всякую вѣру, кромѣ угрюмой, подавленной покорности суетѣ змного существованія».

Есть, правда, еще выходъ — эпикурейски отдаться волнѣ насла-

жденій. поскольку каждый ихъ захватить можетъ, но, говоритъ Пелисье, и эпикуреизмъ приводитъ къ пессимизму въ силу пре-
существенія. Мы не будемъ, впрочемъ, останавливаться на этой мысли Пелисье, да и изъ его дальнѣйшаго изложенія, вообще говоря, мало оригинальнаго и, кромѣ того, мало определеннаго, какого то расплывающагося, возьмемъ лишь немногое.

Характеризуя современное положеніе, очевидно, уже не одной Франціи, онъ говоритъ: «Нѣтъ дисциплины ума или совѣсти; нѣтъ принципа, который бы не подточила критика; нѣтъ философіи, которая могла бы намъ доставить вѣрное и прочное приобѣщаніе. Чтобы принять участіе въ интеллигентномъ движеніи вѣка и попытаться найти синтезъ, способный согласовать самыя непримиримыя разпорѣчія въ законахъ (?) и одновременно удовлетворить требованіямъ сердца и разума, каждый изъ насъ самъ долженъ создать себѣ свою мораль, свою философію жизни и міра. Работа эта, тѣмъ болѣе тяжелая, что она на каждомъ шагѣ обнаруживаетъ наше безсиліе, окончательно расшатываетъ равновѣсіе нашихъ способностей... Когда мозгъ поглощаетъ для своей дѣятельности всѣ жизненные соки, является общая атрофія другихъ органовъ и въслѣдствіи—ослабленіе воли. Но воля не можетъ утратиться, не надломивши самыя пружины жизни. Тотъ, кто теряетъ силу воли, теряетъ въ то же время силу жизни и съ этой минуты дѣлается жертвой пессимизма». «Если бы,—говоритъ далѣе Пелисье,—пессимизмъ состоялъ только въ признаніи зла, послѣдствіемъ его явилась бы вполне здоровая мораль... Быть пессимистомъ—значило бы имѣть идеалъ міра лучшаго, чѣмъ міръ дѣйствительный, лучшаго и болѣе счастливаго человѣчества, и почерпнуть изъ этого сознанія силу трудиться, сообразно съ его (своими) средствами, надъ воплощеніемъ на землѣ этого идеала. Въ этомъ смыслѣ пессимизмъ, какъ самъ по себѣ, такъ и своимъ нравственнымъ вліяніемъ, стоялъ бы гораздо выше извѣстнаго оптимизма. Изъ всѣхъ заблужденій—самое опасное думать, что прогрессъ идетъ самъ собою, помимо насъ, когда мы остаемся пассивными, или не смотря на насъ, когда наше невѣжество или трусость препятствуютъ ему». Такой оптимизмъ «не только уничтожаетъ существующую нашей природѣ потребность дѣйствовать, но онъ также глубоко безнравственъ тѣмъ, что находя хорошимъ все, что совершается, онъ кончаетъ смирненіемъ добра и зла. Какъ не предпочесть такому оптимистическому ханжеству, лишаящему насъ воли, ученіе, которое, признавая существованіе зла, внушаетъ намъ вѣру въ возможность побѣды и мужества, необходимое для борьбы? Но у пессимизма нѣтъ ничего общаго съ такимъ ученіемъ».

На этомъ мы и покончимъ свое знакомство со статьей, равно

какъ и со всей книжкой Пелисье. Она представляетъ для насъ интересъ только какъ одно изъ выраженій того недовольства наукой, того разочарованія въ ней, которое на разные лады все чаще даетъ себя знать во Франціи. Еще недавно прошумѣлъ, да и до сихъ поръ еще не совсѣмъ улегся споръ о наукѣ, поднятый Брюнетьеромъ статьей въ «Revue des Deux Mondes». Ему возражалъ Рише въ «Revue scientifique», потомъ Бертело въ «La Revue de Paris», не говоря о множествѣ мелкихъ отзывовъ. Потомъ состоялся въ Парижѣ спеціальный банкетъ, на которомъ разные звѣзды политическаго, научнаго и литературнаго міра говорили рѣчи въ честь и защиту науки. Тутъ были президентъ палаты депутатовъ Бриссонъ, министръ народнаго просвѣщенія Пуанкаре, Гобле, Буржуа, Лакруа, Пельтанъ, Зола, Бертело, Рише, Перрье, Жане, Бурневиль... Брюнетьеръ, обратившійся въ газетѣ «Figaro» наканунѣ банкета къ его участникамъ съ нѣсколькими ехидными вопросами, можетъ торжествовать: какая понадобилась усиленная защита науки! Неужели же, однако, статья Брюнетьера представляетъ дѣйствительно столь серьезную опасность для репутаціи науки и ея будущности, что противъ нея нужно такое значительное—и въ качественномъ, и въ количественномъ отношеніи—ополченіе? Не значить ли это, по русской поговоркѣ, идти на муху съ обухомъ?

Одинъ изъ ораторовъ банкета, Бриссонъ, выразилъ мысль, что слова «банкротство науки» составляютъ политическій лозунгъ, и именно попытку клерикальной реакціи. Но, прибавилъ онъ, мы еще и не такія нападки терпѣли и побѣдоносно справлялись съ ними. Справедливо ли такое презрительное отношеніе къ факту, заставившему взяться за перо высоко стоящихъ людей науки, какъ Бертело или Рише, и произносить пылкія рѣчи вліятельныхъ политическихъ дѣятелей, какъ самъ Бриссонъ, Пуанкаре, Гобле и проч.?

Брюнетьеръ писалъ свою статью какъ бы съ благословенія папы Льва XIII, у котораго онъ только что передъ тѣмъ имѣлъ аудіенцію. Статья такъ и озаглавлена: «Après une visite au Vatican». Въ статьѣ этой онъ восторженно говоритъ о трехъ великихъ дѣлахъ Льва XIII. Во-первыхъ, папа призналъ согласимость католицизма со всякой фактически существующей формой правленія и рекомендовалъ французскому духовенству примириться съ республикой. Во-вторыхъ, папа призналъ существованіе такъ называемаго соціальнаго вопроса и право и обязанность католической церкви принять участіе въ его рѣшеніи. Въ-третьихъ, папа взялъ на себя инициативу воссоединенія восточныхъ и протестантскихъ церквей съ римскою. Послѣдній пунктъ едва ли многихъ волнуетъ во

Франціи какъ въ смыслѣ надеждъ, такъ и въ смыслѣ опасеній, да и нѣтъ у него въ ближайшемъ будущемъ благоприятныхъ для нап-ской политики перспективъ. Нельзя того же сказать о первыхъ двухъ пунктахъ. Открытое признаніе республики было безъ сомнѣнія очень благоразумнымъ, чтобы не сказать ловкимъ, шагомъ Льва XIII и должно было значительно успокоить правительство Франціи, устранивъ лишняго, если не врага, то, по крайней мѣрѣ, недоброжелателя въ лицѣ французскаго духовенства. Но это же самое французское правительство и правящіе классы Франціи вообще не могутъ быть очень довольны вмѣшательствомъ папы въ вопросы объ экономическихъ отношеніяхъ. Въ энцикликѣ 15 марта 1891 г. «О положеніи рабочихъ», Левъ XIII, по мнѣнію Брюнетьера, «вспомнилъ, что христіанство было первоначально религіей бѣдныхъ». Насколько позволительно современному католицизму мечтать объ уиодобленіи первоначальному христіанству, мы разсуждать не будемъ. Но третья республика слишкомъ не оправдала надеждъ «бѣдныхъ», чтобы не опасаться хотя бы только временнаго отклоненія этихъ надеждъ въ какую либо другую сторону, между прочимъ, и въ сторону католицизма. Если католицизмъ и не выполнитъ своихъ обѣщаній, и недовольные третьей республикой разочаруются въ немъ, то сейчасъ эти обѣщанія могутъ всетаки создать затрудненія. Съ этой точки зрѣнія и статья Брюнетьера получаетъ практическій интересъ дня. Но Брюнетьеръ противопоставляетъ католицизмъ не столько свѣтской власти, сколько наукѣ, и потому люди науки сочли своею обязанностию возражать ему статьями и рѣчами. Нельзя, однако, сказать, чтобы они дѣлали это вполне удовлетворительно.

Въ статьѣ «Revue des Deux Mondes» Брюнетьеръ удѣляетъ много мѣста восхваленію личности и дѣятельности Льва XIII, доказательствомъ превосходства католицизма въ сравненіи съ протестантизмомъ, и только примѣрно третья часть статьи занята тѣмъ, что теперь такъ часто поминается подъ именемъ «банкротства науки». Банкротство это сводится къ двумъ пунктамъ: наука обманула возлагавшіяся на нее надежды, во-первыхъ, въ смыслѣ устраненія всякой «тайны» изъ нашихъ понятій, и во-вторыхъ, въ смыслѣ улучшенія взаимныхъ человѣческихъ отношеній. А затѣмъ Брюнетьеръ предлагаетъ нѣкоторое, очень, впрочемъ, неясное, мирное размежеваніе областей науки и католицизма, во всякомъ случаѣ предоставляя послѣднему всю область морали, въ обоснованіи которой наука оказалась, дескать, совершенно безсильной. Въ вышеупомянутыхъ вопросахъ, обращенныхъ въ газетѣ „Figaro“ къ участникамъ банкета, Брюнетьеръ идетъ дальше и обвиняетъ науку уже не въ безсиліи только, а во вредоносности.

«Я предложу, — говоритъ онъ, — устроителямъ банкета только три вопроса. Первый вопросъ я обращаю къ г. Бертело и робко прошу его разъяснить мнѣ, насколько прогрессъ науки увеличилъ за 40—50 послѣднихъ лѣтъ военный бюджетъ во всѣхъ государствахъ. Я не говорю ни о динамитѣ, ни о меленитѣ, ни о другихъ взрывчатыхъ веществахъ; я обращаю пока ваше вниманіе только на милліарды, которыхъ стоитъ намъ прогрессъ науки. Благодаря этому прогрессу, мы не успѣваемъ построить броненосца, какъ при-нуждены уже сдавать его въ архивъ, потому что новыя изобрѣтенія выставили новый идеалъ боевого судна. То же происходитъ съ ружьями, крѣпостями и другими военными приспособленіями. Кто платитъ милліарды, идущіе на эти научные опыты? Отъ какого плодотворнаго употребленія они отвращаютъ наши деньги? Какимъ еще банкротствомъ угрожаетъ намъ эта страсть къ издержкамъ?» — Второй вопросъ Брюнетьеръ обращаетъ къ Клемансо, имя котораго фигурируетъ между членами комитета, устраивавшаго банкетъ. «Въ то время, — говоритъ Брюнетьеръ, — когда докторъ Клемансо занимался политикой, ему случалось для ознакомленія съ бытомъ избирателей спускаться въ рудники. Свое посѣщеніе угольныхъ копей онъ описывалъ въ такихъ краскахъ, которыя производили глубокое впечатлѣніе на читателей. Я спрашиваю доктора Клемансо, не представляетъ ли такъ сильно взволновавшее его зрѣлище результата «научнаго прогресса», плодовъ пара и электричества? Не находитъ ли онъ, что платить цѣною сверхъестественнаго труда нашихъ ближнихъ за электрическое освѣщеніе національной академіи — слишкомъ дорого? Я спрашиваю, что сказали бы рудокопы Кармо, если бы ихъ заставить осязать этотъ «прогрессъ науки»? Третій вопросъ я адресую Жюресу. Онъ испытываетъ къ несчастнымъ не жалость, а дѣлающее ему честь состраданіе. Не отвѣтитъ ли онъ намъ, насколько участвовала наука и ея успѣхи въ образованіи того «капитализма», противъ котораго онъ мечетъ свои стрѣлы? Кто создалъ въ предметяхъ нашихъ городовъ ту бѣдность и нищету рабочаго класса, которыя наполняютъ всѣ сердца ненавистью къ цивилизаціи? Ихъ создалъ «прогрессъ науки». Тотъ же «прогрессъ науки» заставилъ населеніе бѣжать изъ деревень въ города, вырылъ глубокую пропасть между трудомъ и капиталомъ, посѣялъ классовую ненависть».

Повидимому, ни Бертело, ни Клемансо, ни Жюресу не предстояло никакихъ трудностей отвѣтить на эти вопросы: наука не при чемъ въ тѣхъ примѣненіяхъ, которыя дѣлаютъ изъ нея люди и извѣстнымъ образомъ сложившаяся общественная жизнь. Сколько мнѣ извѣстно, однако, если кто нибудь изъ возражавшихъ Брюнетьеру и высказывать, можетъ быть, мимоходомъ эту мысль, то

никто изъ нихъ не остановился на ней съ достаточною силою. Они или обходятъ факты, на которые указываетъ Брюнетьеръ въ укоръ наукъ, или говорятъ: «подождите, наука еще не кончила своего дѣла», или же, наконецъ, просто отмѣчаютъ рядъ благодѣяній науки. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи нѣкоторые изъ нихъ заходятъ гораздо дальше, чѣмъ это дозволяется, казалось бы, слишкомъ очевидными и несомнѣнными фактами. Такъ Бертело (въ «*La Revue de Paris*») говоритъ о «глубокомъ измѣненіи взаимныхъ отношеній между націями, которыхъ социологическія науки (*les sciences sociologiques*) убѣдили, что война столь же вредитъ побѣдителямъ, какъ и побѣжденнымъ, потому что матеріально ослабляетъ тѣхъ и другихъ и поддерживаетъ чувства наслѣдственной ненависти, все болѣе осуждаемая всеобщею нравственностью (*par la moralité générale*)». Пять надобности распространяться о томъ, насколько эта идиллія фантастична и насколько «социологическимъ наукамъ», да и наукъ вообще, даже прямо невыгодно объявлять себя исключительно руководящею силою и, слѣдовательно, брать на себя отвѣтственность за положеніе вещей. Совѣтъ это не лестно для науки, да и съ истиной не сообразно. Мы еще вернемся къ этому, а теперь замѣтимъ только, что гораздо лучше справляются возражающіе Брюнетьеру съ другимъ пунктомъ его обвинительнаго акта. Въ своихъ статьяхъ и рѣчахъ Рише, Бертело и другіе утверждаютъ, что наука никогда не обѣщала изгнать изъ нашего духовнаго обихода «тайну»: напротивъ, наука, изслѣдующая только явленія въ ихъ связи соуществованія и послѣдовательности, твердо установила невозможность познать сокровенную сущность вещей, которая поэтому навсегда останется «тайной». И дѣйствительно, если именно не обузданные наукою или недостаточно ею обузданные умы разсчитывали, что она объяснитъ все, то сама она такихъ претензій не выражала и ни мало за нихъ не отвѣтственна.

Въ числѣ прочихъ на банкетѣ говорилъ и Эмиль Зола. Начало его рѣчи отличается совѣтъ не свойственною ему, хотя и вполне ему приличествующею скромностію. На этотъ разъ талантливый романистъ забылъ, что онъ—«анатомъ», представитель «положительнаго научнаго метода», имѣющій право стоять въ этомъ отношеніи рядомъ съ Клодомъ Бернаромъ, призванный, въ качествѣ служителя высшей науки, «экспериментальнаго романа», «управлять жизнью» и проч. Весь этотъ вздоръ Эмиль Зола оставилъ въ покоѣ и выступилъ въ качествѣ «простого писателя», не имѣющаго права говорить «отъ имени науки»: но онъ считаетъ себя обязаннымъ благодарить науку, которая его, какъ и всякаго писателя, надѣлила свободой мыслить и писать, разрушивъ притязанія «вѣры» (*la foi*). Это характерно для Зола. Изъ всѣхъ ораторовъ банкета онъ одинъ

рѣшился употребить этотъ широкій терминъ, желая, вѣроятно, тѣмъ самымъ выразить свое особенное уваженіе къ наукѣ: столь велико это его уваженіе, что онъ, если не фактически,—онъ «простой писатель»,—то логически борется во имя науки не съ какою нибудь миологіей, а съ «второй» вообще... Послѣдовательно ли это со стороны человѣка, такъ пламенно вѣрующаго или вѣровавшаго въ «положительный, научный методъ».—я не берусь судить. Да оно было бы тѣмъ труднѣе, что не очень еще давно Зола почти прямо отрекался отъ «положительнаго, научнаго метода» или, по крайней мѣрѣ, общалъ отречься. Жюлю Гюре, автору известной *Enquête sur l'évolution littéraire*, онъ говорилъ о «законности итерифіація» недовольныхъ наукою, о «логичности реакціи» противъ увлеченія ею и о томъ, что реакція эта «можетъ восторжествовать черезъ десять-пятнадцать лѣтъ, если найдется человѣкъ, который сосредоточить въ себѣ эту *жалобу въѣжа*, эту оттолчку отъ науки». Мало того, Зола прибавлялъ: «если у меня хватитъ времени, я сдѣлаю то, чего они (разочарованные, недовольные) хотятъ». Какую именно задачу бралъ на себя при этомъ Зола, рѣшить довольно трудно. Изъ подробностей его разговора какъ съ Гюре, такъ и съ нѣкоторыми другими «интервьюерами», видно, что «анатомія», «положительный научный методъ», наука вообще, по его мнѣнію, предъ-являя горькую истину, не даютъ людямъ «утѣшенія», не удовлетворяютъ свойственнаго человѣку «стремленія къ счастью». Въ соотвѣтственномъ, значить, дополненіи или поправкѣ къ «положительному научному методу», Зола и видѣлъ, а можетъ быть, и до сихъ поръ видитъ свою новую задачу. Все это, конечно, такая же «бляга», какъ и предшествовавшая «анатомія» Зола; она свидѣтельствуетъ лишь о томъ, что этотъ талантливый романистъ, совершенно, однако, не подготовленный къ рѣшенію тѣхъ теоретическихъ вопросовъ, о которыхъ онъ столь развязно разговариваетъ, боится утратить свою популярность и ради сохраненія ея готовъ или, по крайней мѣрѣ, былъ готовъ до возбужденнаго Брюнетьеромъ спора, — перемѣнить фронтъ, благосклонно отвернуться отъ науки въ сторону толпы недовольныхъ и разочарованныхъ. Наука отъ этого, конечно, столь же мало потеряла бы, сколь мало выигрывала отъ смѣшныхъ гимновъ, которые ей пѣлъ Зола. Но эти жадные до популярности люди, эти quasi-вожди, якобы руководящіе, а въ сущности руководимые, интересны, какъ показатели какого нибудь не вполне опредѣленнаго и даже въ большинствѣ случаевъ очень смутнаго, но болѣе или менѣе широко распространеннаго теченія.

Это возвращаетъ насъ къ Пелисье, свидѣтельствующему, какъ мы видѣли, о распространеніи во Франціи нессизма, въ связи съ разочарованіемъ въ наукѣ. Но почему же раскрываемая наукою

истина непрѣнно печальна и нуждается въ поправкѣ «утѣшенія»? Это понятно въ устахъ Зола, сосредоточившаго свое вниманіе почти исключительно на низменныхъ сторонахъ человѣческой природы и художественно воспроизводящаго преимущественно неутѣшительные факты. Но вѣдь не наука же въ самомъ дѣлѣ романы Зола, со всѣми ихъ достоинствами правды, со всею односторонностью этой правды и со всѣми его разглазительствами о роковомъ характерѣ, о «детерминизмѣ» изображаемыхъ имъ мерзостей. И собственно ему ничего не стоитъ представить «утѣшеніе»: стоитъ только нарисовать рядъ картинъ и образовъ противоположнаго характера, что возможно сдѣлать вполне правдиво, ибо существуютъ же на свѣтѣ честь и совѣсть, самоотверженіе и любовь, имѣющія, какъ и все на свѣтѣ, тоже свои достаточныя причины существованія, то есть свой детерминизмъ. Едва ли, однако, былъ бы этимъ вполне удовлетворенъ Пелисье (а съ нимъ и многіе другіе), ибо его оскорбляетъ не существованіе зла или, по крайней мѣрѣ, не только оно, а и самый этотъ «детерминизмъ», роковая неизбѣжность какъ зла, такъ и добра. Онъ ничего не имѣетъ противъ самаго рѣзкаго разоблаченія существующаго зла, но подъ условіемъ идеала, ради осуществленія котораго стоитъ и жить, и работать. Такъ необычно понятый нессимизмъ онъ предпочитаетъ оптимизму, увѣренному, что «прогрессъ идетъ самъ собой», помимо нашего участія и воли. Но, спрашивается, можно ли преслѣдовать осуществленіе какого нибудь идеала, «если общая послѣдовательность явленій роковымъ образомъ развиваетъ будущее изъ прошедшаго»? И тутъ уже, повидимому, ничего не подѣлаешь: наука не можетъ отказаться отъ своего основанія, отъ положенія о необходимой причинной связи явленій, на которомъ она вся зиждется, а мы въ свою очередь не можемъ отказаться отъ науки, ибо это значило бы добровольно ослабнуть. Таковъ трагическій кругъ, въ которомъ принуждено вращаться современное человѣчество и изъ котораго, по мнѣнію Пелисье, есть только одинъ выходъ—въ сторону нессимизма, если это можно называть выходомъ. И по мѣрѣ поступательнаго шествія науки, кругъ этотъ долженъ сжиматься все плотнѣе и плотнѣе; все яснѣе и опредѣленнѣе будетъ становиться тѣста нашихъ идеаловъ и надеждъ и необходимость покорности естественному ходу вещей, измѣнить который мы безсильны. Можетъ быть, этотъ естественный ходъ вещей влечетъ насъ къ счастью и свѣту, какого мы теперь даже и представить себѣ не можемъ, — такъ думаютъ оптимисты; можетъ быть, наоборотъ, онъ тянетъ насъ въ какую нибудь бездонную мрачную пропасть, — такъ думаютъ нессимисты. Но уже само по себѣ обидное сознаніе безсилія, сознательное положеніе щепки, влекомой могучимъ и неудержимымъ потокомъ, составляетъ источникъ

пессимизма: опускаются руки, не изъ чего и не зачѣмъ напрягать волю...

Надо замѣтить, что Пелисье, одинаково оскорбляясь и оптимизмомъ, и пессимизмомъ, поскольку они обрекаютъ человѣка на безсиліе и бездѣйствіе, только послѣдній, то есть пессимизмъ, связываетъ съ торжествомъ науки. Это понятно, такъ какъ съ его точки зрѣнія обидною, оскорбительною, печальною является наиболѣе общая, такъ сказать, верховная научная истина, и «утѣшенія» онъ не знаетъ. Его, однако, очевидно знаютъ Бертело, Рише, Эдмонъ Перрье и прочіе представители науки на вышеупомянутомъ банкетѣ. Говорю именно о представителяхъ науки, потому что ихъ мнѣнія въ данномъ случаѣ, конечно, интереснѣе мнѣній людей житейской практики, какъ Бриссонъ или Пуанкаре. При томъ же нѣкоторые изъ нихъ — Бертело, Рише — изложили свои взгляды не только въ банкетныхъ рѣчахъ, а и въ болѣе или менѣе обстоятельныхъ статьяхъ. Въ лицѣ этихъ представителей науки, которые, новидимому, съ точки зрѣнія Пелисье должны бы быть особенно проникнуты мрачнымъ духомъ пессимизма, мы имѣемъ людей, хотя и признающихъ несовершенство жизни въ настоящемъ, но бодро смотрящихъ на будущее, ожидая отъ него всякихъ благъ. И они вовсе не намѣрены сидѣть сложа руки въ ожиданіи этихъ благъ, которыя, дескать, сами собою придутъ. Напротивъ, они работаютъ, борются, призываютъ другихъ къ борьбѣ и работѣ. Значить-ли это, однако, что Пелисье такъ-таки совѣтъмъ неправъ? Я думаю,—нѣтъ, не значить.

Должно признаться, что печатная и устная защита науки противъ Брюнетьера въ общемъ далеко не можетъ быть названа побѣдоносною. Неудовлетворительность ея объясняется частью самою постановкою вопроса на сравнительно узкую почву борьбы науки съ католицизмомъ. На эту тему представители науки высказали много вѣрнаго и цѣннаго. Но въ статьѣ Брюнетьера затронуты нѣкоторые болѣе общіе пункты, въ сущности тѣ самыя, которыхъ касается Пелисье, и противникамъ Брюнетьера надлежало или совсѣмъ уклониться отъ ихъ обсужденія, сосредоточившись на своей ближайшей задачѣ, или же отнестись къ нимъ съ гораздо большею обдуманностью, чѣмъ они это сдѣлали.

Наиболѣе общіе тезисы Брюнетьера состоятъ въ томъ, что, во-первыхъ, наука не раскрыла тайны бытія и не можетъ ее раскрыть,—съ этимъ, какъ мы видѣли, представители науки справляются очень просто,—и что, во-вторыхъ, прогрессъ морали въ самомъ широкомъ смыслѣ взаимныхъ между людьми отношеній не идетъ рука объ руку съ прогрессомъ науки, иначе говоря: наука не была и не можетъ быть руководительницей взаимныхъ отношеній между людьми.

Что же возражаютъ на это оппоненты? Они перечисляютъ услуги, оказанныя наукою нашему матеріальному быту, тому усиленію власти человѣка надъ природой, которое составляетъ матеріальную основу культуры. Но вѣдь это вовсе къ дѣлу не идетъ, тѣмъ болѣе, что Брюнетьеръ можетъ задать ехидный вопросъ — не слишкомъ ли большимъ количествомъ труда и жизни оплачивается электрическое освѣщеніе академій и не утилизируются ли научныя открытія съ цѣлями истребленія и разоренія людей на войнѣ. Далѣе, напримѣръ, Эдмонъ Перрье, обращаясь на банкетѣ къ Бертелю, говорилъ: «Справляйтесь, сколько хотите, въ мрачныхъ архивахъ Золотого Тѣльца, вы не найдете тамъ именъ людей науки. Я, впрочемъ, ошибаюсь: вы узнаете тамъ, что однажды нашему великому Пастеру, почти бѣдняку и уже больному, былъ предложенъ миллионъ, если онъ согласится предоставить одному финансовому обществу выгоды одного изъ своихъ благотѣльныхъ открытій. Онъ отвѣтилъ, какъ нѣкогда вашъ другъ Ренанъ: *Pecunia tua tecum sit*. Не надо мнѣ вашихъ денегъ! Вотъ каковы моральныя личности, создаваемые наукой! Да будетъ же она благословенна и почтена, эта обанкрутившаяся!» — Конечно, можно бы было возразить Эдмону Перрье, конечно, да будетъ наука благословенна и, конечно, она не обанкрутилась. Но утверждать, что въ архивахъ Золотого Тѣльца имена ученыхъ значатся только ради ихъ безкорыстія — значитъ говорить фактическую неправду. Но и принципиально не вѣрно обобщеніе или, точнѣе, намекъ на обобщеніе, заключающійся въ словахъ Перрье. Никто никогда не сомнѣвался въ полной возможности сочетанія высокихъ нравственныхъ качествъ съ блестящими заслугами на научномъ поприщѣ, но они могутъ сочетаться и съ весьма слабыми научными знаніями и даже съ крупнымъ невѣжествомъ. Да и почему бы занятія химіей или біологіей могли сами по себѣ и обязательно гарантировать, напримѣръ, безкорыстіе или какое нибудь другое высокое нравственное качество? Ихъ не гарантируютъ и труды, сами по себѣ даже очень цѣнные, въ области общественныхъ наукъ...

Бертелю утверждаетъ въ своей банкетной рѣчи: «Наука устанавливаетъ единственныя непоколебимыя основанія морали, указывая, какъ эта послѣдняя коренится въ инстинктивныхъ чувствахъ човѣческой природы, опредѣляемыхъ и увеличиваемыхъ непрестаннымъ развитіемъ нашихъ знаній и послѣдственнымъ развитіемъ нашихъ способностей». Въ виду поразительной сбивчивости и неточности выраженій знаменитаго химика, я считаю нужнымъ привести это мѣсто его рѣчи и въ подлинникъ: «C'est la science qui établit les seules bases inébranlables de la morale, en constatant comment celle-ci est fondée sur les sentiments instinctifs de la na-

ture humaine, précisés par l'évolution incessante de nos connaissances et le développement héréditaire de nos aptitudes». Въ этихъ словахъ заключается, кажется, замѣчательный изгибъ, чтобы не сказать—изворотъ мысли, котораго не знали наши предки и которому несомнѣнно будутъ удивляться наши потомки, но который очень распространенъ въ наше время. Говорю: *кажется*, потому что неясность выражений Бертело допускаетъ разныя толкованія. Но остановиться на этомъ пунктѣ во всякомъ случаѣ стоитъ. Въ новѣйшее время, благодаря вліянію эволюціонной теоріи, съ одной стороны, и интересу къ доисторическому быту и быту современныхъ дикарей, съ другой,—получила особенное развитіе та отрасль науки, которую можно назвать исторіей морали. Это еще не вполне установившаяся, но уже несомнѣнная наука, изслѣдующая причинную связь нравственныхъ идеаловъ и практической морали съ другими общественными и естественными факторами жизни. Это — этика, какъ историко-психологическая наука. Даетъ ли она какое нибудь основаніе этикѣ, какъ руководящій въ морѣ существующаго добра и зла, какъ ученію о должномъ и не должномъ, нравственно одобрительномъ и неодобрительномъ?— Никакого. Этика, какъ ученіе о должномъ, можетъ пользоваться фактами и выводами этики, какъ историко-психологической науки, но не можетъ на ней основываться. Последняя только и можетъ сказать, что всѣ наши современные идеалы и цѣли дѣятельности, всѣ наши понятія о должномъ, весьма разнорѣчивыя, являются неизбѣжнымъ слѣдствіемъ извѣстнаго ряда или извѣстной группы причинъ, и въ *этомъ* смыслѣ всѣ одинаково законны. Верховный принципъ положительной науки — фактическая необходимость, законосообразность всего существующаго, какъ неизбѣжнаго слѣдствія извѣстныхъ причинъ—вполнѣ удовлетворяетъ нашу потребность познанія, но не можетъ насытить потребность нравственнаго суда. Что же означаютъ слова Бертело: «наука устанавливаетъ единственныя непоколебимыя основанія морали?» Если то, что наука утверждаетъ фактъ всеобщаго и всегдашняго существованія морали, то есть, различія людьми добра и зла, и изслѣдуетъ причины, слѣдствія и ходъ развитія морали, послѣдовательность измѣненій въ этой области,—то Бертело, конечно, правъ. Но если онъ думаетъ (какъ думаютъ нынѣ многіе), что этимъ дано «непоколебимое основаніе» для нашего руководства въ дѣлѣ различія добра и зла, — то онъ жестоко ошибается. Конечно, и здѣсь наука можетъ оказывать огромныя и неоцѣнимыя услуги разъясненіемъ причинной связи явленій и вѣроятныхъ слѣдствій нашего поведенія, но не ею опредѣляется нравственная оцѣнка этихъ слѣдствій. Самъ по себѣ верховный принципъ положительной науки въ этомъ отношеніи совер-

шенно безсилень и даже обрекаетъ людей. при послѣдовательномъ его проведеніи, на полный нравственно-политическій индифферентизмъ и бездѣтельность: ибо всякая глупость и всякая подлость имѣють свои столь же естественныя причины и, слѣдовательно, съ этой точки зрѣнія, столь же законны. какъ и любое торжество истины и благородства. Поэтому-то, хоть и маленький, повидимому, человекъ Пелисье, а въ его вышеприведенныхъ разсужденіяхъ и жалобахъ есть большая доля правды.

Однако, Бертело, Рише, Перрье исповѣдуютъ полную зависимость морали отъ науки, но это не мѣшаетъ имъ очень ясно различать добро и зло и работать для торжества добра и побѣды надъ зломъ, какъ они то и другое понимаютъ. Они не индифферентисты и не сложа руки сидятъ. Это вѣрно. Но, признаюсь, то необыкновенное довольство существующимъ нынѣ во Франціи порядкомъ, которое сквозитъ въ ихъ рѣчахъ и статьяхъ, и замалчиваніе темныхъ сторонъ, указываемыхъ Брюнетьеромъ,—не свидѣтельствуютъ, мнѣ кажется, объ особенной горячности социальнополитическихъ убѣжденій, за исключеніемъ одного пункта. Это не мѣшаетъ имъ, разумѣется, быть не только крупными вкладчиками въ сокровищницу науки, но и лично прекрасными, гуманными, высоконравственными людьми. Это свидѣтельствуетъ только о томъ, что они, какъ люди науки, какъ специалисты, довольны существующимъ и, конечно, имѣють для этого достаточное основаніе: французскіе порядки гарантируютъ имъ полную свободу научнаго изслѣдованія. Естественно поэтому, что признакъ возможнаго торжества католицизма, мелькнувшій передъ ними въ статьѣ Брюнетьера, вызвалъ въ нихъ горячій и, можетъ быть, даже слишкомъ горячій протестъ. Въ остальномъ они, по апокалипсическому выраженію, «ни теплы, ни холодны». Но за то же въ этомъ остальномъ они или слабы, или непослѣдовательны. Последнее, какъ извѣстно, не всегда худо, и въ рѣчахъ и статьяхъ Бертело, Рише и другихъ есть поэтому прекрасныя и высоко поучительныя мѣста.

V *).

Пьеса Гауптмана „Ганнеле“ и газетные толки о ней.—Первый съѣздъ дѣятелей по печатному дѣлу.—Невѣжество нашего народа.—„Этюды о русской читающей публикѣ“ г. Рубакина.

Въ Петербургѣ существуетъ общество подъ названіемъ «Столичный литературно-артистическій кружокъ». Давно ли оно существуетъ и чѣмъ вообще занимается, я не знаю. Но недавно оно заставило много говорить о себѣ постановкою на сценѣ Панаевского театра пьесы Гауптмана «Ганнеле». Пьеса эта вызвала въ петербургской печати рѣзко различные отзывы: одни ее хвалили столь же пылко, какъ другіе бранили. Это уже говорить въ пользу пьесы. Какой то умный человѣкъ, если не ошибаюсь, Дидро, говорилъ, что если ваше произведеніе никому не нравится, такъ оно, можетъ быть, и не дурно; если нравится всѣмъ, то оно, навѣрное, плохо, а если очень одобряется одними и очень хулится другими, то, навѣрное, хорошо. Это звучитъ немножко парадоксально, но въ житейской практикѣ часто бываетъ именно такъ, по крайней мѣрѣ. на первыхъ порахъ, пока успокоившіеся современники, а иногда только потомки, не сойдутся для очень хорошихъ и для очень дурныхъ вещей на окончательномъ, примѣрно, одинаковомъ мнѣніи. Во всякомъ случаѣ, хорошо уже то, что современники безпокоятся, волнуются, ибо даже въ стаканѣ воды буря, какъ ни бываетъ она подчасъ комична, лучше стоячаго болота.

По поводу «Ганнеле» страсти петербургскихъ современниковъ до того разгорѣлись, что, напримѣръ, «Новое Время», запальчиво возражая на запальчивыя рѣчи «Сына Отечества», писало: «Невольно вспомнились стихи Пушкина: «Какой онъ сынъ отечества?» и т. д...» Это, можетъ быть, и справедливо, какъ возданіе по дѣломъ, но свидѣтельствуесть всетаки о крайней пылкости спора. При нѣ-

*) Май 1895.

которомъ хладнокровіи «Новое Время», вмѣсто «и т. д.», могло бы сказать: «онъ просто г. Добродѣевъ»,— и было бы совершенно право.

«Новое Время» взяло подъ особенное свое покровительство пьесу Гауптмана. Къ нему примкнули «Гражданинъ», «Виржевыя Вѣдомости» и др. Они находятъ пьесу прекрасною и какъ художественное произведеніе, и какъ религіозно-нравственное поученіе. Противники рѣзко отрицаютъ ея художественныя достоинства и уличаютъ ее въ консуэтизмъ. Чтобы надлежащимъ образомъ оцѣнить эти столь рѣзко противоположныя сужденія, надо знать содержаніе пьесы. Тотъ кругъ людей, который называется «Петербургомъ», когда рѣчь идетъ о предметахъ эстетическихъ,—читающій журналы, посѣщающій театры, выставки, концерты,—едва ли не весь пересмотрѣлъ «Ганнеле»: въ дни ея представленій театръ былъ всякій разъ биткомъ набитъ. Но кое кто изъ провинціальныхъ читателей, можетъ быть, и поблагодарить меня за краткое изложеніе «Ганнеле», которая и сама по себѣ очень не велика, — въ двухъ дѣйствіяхъ. Надо только замѣтить, что «Ганнеле» произведеніе исключительно сценическое и не только бѣглое изложеніе ея содержанія, но и печатный текстъ не можетъ дать понятія о впечатлѣніи, производимомъ ею на сценѣ.

Дѣйствіе первое. Въ деревенскій пріютъ для бѣдныхъ, въ ненастную зимнюю ночь, собираются мало-по-малу его жалкіе, физически и нравственно грязные обитатели. Они болтаютъ о своихъ дѣлншкахъ, ссорятся... Вдругъ въ комнату входятъ сельскій учитель Готтвальдъ съ Ганнеле — четырнадцатилѣтней дѣвочкой—на рукахъ и лѣсникъ Зейдель.

«Появленіе дѣвочки сразу прекращаетъ ссору между несчастными нищими, и въ душу зрителя проникаетъ сознаніе, что въ этомъ вертепѣ, за стѣнами котораго воесть непогода, стало тепло, что Господь, другъ всѣхъ обездоленныхъ, уже невидимо присутствуетъ между ними». Этими словами одного изъ сотрудниковъ «Новаго Времени» (г. А. Б. въ № отъ 13 апрѣля) я перебиваю на минуту свое изложеніе, чтобы отмѣтить одну черту благосклонной къ пьесѣ Гауптмана критики, которая (черта) понадобится намъ ниже. Дѣло въ томъ, что появленіе дѣвочки не только не «сразу прекращаетъ», а совсѣмъ не прекращаетъ ссоры между нищими. Ссоры, дѣйствительно, нѣтъ на сценѣ въ этотъ моментъ, но она не прекращается, а продолжается за кулисами, куда еще до появленія Ганнеле ссорящіеся Ганке и Гета убѣгаютъ, и гдѣ они, повидимому, дерутся, а на сценѣ остаются вполюбѣ ладящіе между собою старикъ Пленше и старуха Тульпе. Когда же Гета и Ганке возвращаются, то присутствіе дѣвочки не мѣшаетъ имъ ругаться, безобразничать и довести, наконецъ, лѣсника Зейделя до угрозы «парою оплеухъ».

Да и потомъ ихъ то и дѣло приходится уговаривать не шумѣть изъ уваженія къ страданіямъ дѣвочки. Со всѣмъ этимъ вполнѣ гармонируетъ ремарка автора: при появленіи Ганнеле «сильные порывы вѣтра потрясаютъ домъ, мерзлый снѣгъ стучитъ объ стекла». Такимъ образомъ, тотъ свѣтлый фонъ, на которомъ г-ну А. Б. рисуется первое появленіе дѣвочки, *фактически* расходится съ ясно выраженными намѣреніями Гауптмана. Забѣгая впередъ, замѣчу, что и вообще пьеса Гауптмана гораздо реалистичнѣе, чѣмъ думаетъ благосклонная къ ней критика...

Нищихъ выпроваживаютъ, у постели Ганнеле одинъ за другимъ являются, кромѣ учителя Готтвальда и лѣсника Зейделя, бургомистръ Бергеръ, докторъ Вахтеръ, сестра милосердія Марта. Изъ бреда или полубреда Ганнеле и разговоры окружающихъ выясняется слѣдующее. Ганнеле — сирота; ея мать умерла нѣсколько недѣль тому назадъ; ея настоящій отецъ есть, повидимому, бургомистръ Бергеръ, хотя она объ этомъ не знаетъ; живетъ она у отчима, пьянаго, грубаго каменщика Маттерна, который билъ и вообще тиранилъ ея мать и такъ же бьетъ и тиранитъ ее. Не выдержавъ этихъ мукъ своей матери и своихъ собственныхъ, Ганнеле бросилась въ прудъ, откуда ее вытащилъ лѣсникъ Зейдель, а учитель Готтвальдъ, при помощи своей жены, переодѣлъ ее, обсушилъ и затѣмъ принесъ въ пріютъ для бѣдныхъ. Въ бреду Ганнеле рассказываетъ, что ее звалъ въ воду самъ Господь. Было ли ей такое видѣніе дѣйствительно въ ту минуту, когда она топилась, или оно пришло ей въ голову потомъ, — трудно судить, но изъ дальнѣйшаго видно, что она вообще склонна къ экстазу и галлюцинаціямъ. Въ ея бредѣ интересно отмѣтить еще двѣ маленькія подробности. Во-первыхъ, она вспоминаетъ какого-то «портного», котораго «снесетъ въ горы бурей, если у него не окажется камня въ карманѣ и утюга въ рукахъ». Во-вторыхъ, въ ея помраченномъ сознаніи «милый, добрый господинъ Готтвальдъ» отождествляется съ кѣмъ то недосыгаемо священнымъ, и въ то же время она говоритъ, что онъ на ней женится (Готтвальдъ, надъ замѣтить, женатъ).

Какъ только Ганнеле остается одна, ей является призракъ отчима, каменщика Маттерна: грубый, пьяный, онъ ругается, грозитъ бить и доводитъ Ганнеле до обморока. Затѣмъ является призракъ ея матери; мать рассказываетъ, какъ хорошо ей жить на томъ свѣтѣ и какъ хорошо будетъ скоро и Ганнеле. Между прочимъ, мать «утоляетъ голодъ плодами и мясомъ, а когда пить хочеть, то пьетъ золотистое вино». Дѣвочкѣ же она общаетъ сверхъ небесныхъ радостей еще отмщеніе на землѣ: «Какъ вѣтеръ мететъ съ горъ снѣжную пыль, такъ и Господь будетъ преслѣдовать твоихъ мучителей». Затѣмъ являются ангелы, въ видѣ «трехъ пре-

красныхъ крылатыхъ юноней съ вѣнками изъ розъ на головѣ». Они въ стихахъ выражаютъ Ганнеле свое сочувствіе къ ея земнымъ страданіямъ и къ предстоящимъ ей небеснымъ радостямъ. Занавѣсъ опускается.

Второе дѣйствіе. «Все осталось попрежнему, какъ было до появленія ангеловъ. Сестра милосердія сидитъ у постели больной Ганнеле. Она снова зажгла свѣчу. Ганнеле открываетъ глаза. Видѣніе, очевидно, еще не измѣнилось у нея изъ головы. На лицѣ ея выраженіе неземного блаженства. Узнавъ сестру, она начинаетъ торопливо говорить ей въ радостномъ возбужденіи». Говоритъ она объ томъ, что сейчасъ видѣла. Но разговоръ перебивается появленіемъ «ангела въ черныхъ одеждахъ, съ черными крыльями», съ мечомъ въ рукѣ. Это—ангелъ смерти. вмѣстѣ съ тѣмъ сестра милосердія преобразается, частью оставаясь сама собой, частью превращаясь въ мать Ганнеле (одежда сестры, но лицо не ея). Дѣвочка не разъ призывала смерть, но теперь на нее находитъ страхъ. Она готова встаки умереть и только смущается тѣмъ, что она «будетъ лежать въ гробу такая оборванная, вся въ лохмотьяхъ». «Господь одѣнетъ тебя»,—говоритъ призракъ, объединяющій для Ганнеле сестру милосердія и мать. И тотчасъ, по знаку призрака (или полупризрака) «беззвучными шагами, какъ и всѣ послѣдующія видѣнія, появляется маленькая, горбатая фигурка деревенскаго портного; онъ несетъ перекинутое на рукѣ вѣнчальное платье, вуаль, а въ другой рукѣ пару стеклянныхъ туфелекъ; у него ковыляющая, комическая походка». Портной и мать-сестра одѣваютъ Ганнеле въ подвѣсочный нарядъ. При этомъ портной говоритъ ей разныя наивно льстивыя слова: называетъ ее дочерью какого то «его сіятельства господина графа», по заказу котораго шито платье; говоритъ: «во всей деревнѣ только и рѣчи, что о вашей смерти... Это такое счастливое событіе ваша смерть»; объясняетъ, что принесъ ей «самые крошечныя башмаки во всемъ царствѣ», потому что «у принцессы Ганнеле самыя маленькія ножки», а у Гедвиги и у Агнесы, и у Лизы, у Минны, у Марты, у Анны, у Кати, у Греты,—«у нихъ у всѣхъ такія большія ноги». Убранная къ вѣнцу и смерти, Ганнеле ложится въ постель. Издали слышатся звуки похороннаго марша. Ганнеле опять овладѣваетъ страхъ. Она спрашиваетъ: «стало быть, безъ этого нельзя?»—и при видѣ приближающагося ангела смерти молить мать-сестру о помощи. Та *не допускаетъ* удара мечомъ, и черный ангелъ исчезаетъ. Входитъ учитель Готтвальдъ съ празднично одѣтыми нѣкольниками — товарищами Ганнеле. Готтвальдъ торжественъ, грустенъ и говоритъ разныя пріятныя Ганнеле вещи: «она прекрасна... только со смертью расцвѣла ея красота». Сестра-мать прибавляетъ: «Она была кротка, поэтому Богъ и далъ ей та-

кую красоту». Готтвальдъ находитъ у себя въ молитвенникѣ двѣ засохшія фіалки: «это мертвые глазки моей милой Ганнеле», говоритъ онъ. Школьникамъ онъ указываетъ, какая она стала красивая, подчеркиваетъ, что вмѣсто лохмотьевъ на ней теперь шелковая одежда: она ходила босикомъ, а теперь на ней хрустальные башмачки; она питалась холоднымъ картофелемъ, да и то впроголодь, а теперь она «скоро будетъ жить въ золотыхъ чертогахъ и каждый день ѣсть вкусное жареное мясо». Въ заключеніе онъ рекомендуетъ просить прощенія у Ганнеле, если кто изъ нихъ ее чѣмъ нибудь обидѣлъ. Обида съ ихъ стороны оказывается одна: они дразнили ее «принцессой въ лохмотьяхъ», въ чемъ и каются. Входятъ знакомыя Ганнеле женщины въ траурныхъ одеждахъ и говорятъ много лестнаго о ней. Этотъ лестный тонъ поднимается еще выше, когда четыре ангела вносятъ въ комнату стеклянный (или серебряный) гробъ и бережно кладутъ въ него Ганнеле. Общее восторженное удивленіе передъ этимъ выраженіемъ высшаго благоволенія къ бѣдной дѣвочкѣ разрѣшается негодованіемъ противъ отчима, котораго всѣ называютъ мучителемъ и убійцей. Какъ разъ въ эту минуту входитъ пьяный каменщикъ Маттернъ, бессмысленно ругающій и Ганнеле (онъ еще не видитъ ея), и присутствующихъ. «Входитъ человѣкъ лѣтъ 30 въ темной поношенной, длинной одеждѣ. У него длинные черные волосы и блѣдное лицо съ чертами учителя Готтвальда». Это «Странникъ». Онъ уговариваетъ Маттерна образумиться, но достигаетъ этой цѣли только послѣ чудесныхъ явленій (раздается громъ тотчасъ послѣ словъ Маттерна: «разрази меня громъ» и т. д.). Маттернъ, наконецъ, убѣгаетъ съ крикомъ: «только мнѣ и осталось — повѣситься!» Таинственный странникъ пробуждаетъ Ганнеле, потому что она не умерла, а только спитъ. Въ восторгѣ называетъ она его «святымъ» и «возлюбленнымъ», съ восторгомъ слушаетъ его обѣщанія ожидающаго ее счастья. Но тутъ опускается занавѣсъ или темнѣетъ на сценѣ, потомъ опять свѣтъ и все оказывается въ прежнемъ видѣ: та же убогая комната, та же жалкая постель и на ней та же бѣдная Ганнеле. Около нея докторъ и сестра милосердія. Докторъ объявляетъ, что Ганнеле умерла...

Теперь читателю понятны если не резоны,—какія ужъ тутъ резоны!—то, по крайней мѣрѣ, точки приложенія критическихъ мечей гг. Добродѣевыхъ и прочихъ отечества дѣтей. Во имя «православія» и «гражданскаго долга», они считаютъ долгомъ протестовать противъ кощунства пьесы Гауптмана, противъ присутствія на театральной сценѣ ангеловъ и странника, противъ «жаренаго мяса» и другихъ матеріальныхъ благъ, обѣщанныхъ Ганнеле. Вся глубина глупости этихъ писинуацій сама собою выступаетъ сейчасъ передъ

нами, и я не вижу никакой надобности заниматься специально ея разоблаченіемъ. Изъ возраженій «Новаго Времени» мнѣ кажется наиболѣе удачнымъ замѣчаніе г. Суворина. Онъ спрашиваетъ: почему появленіе на театральнѣ сценѣ чертей возможно, а появленіе свѣтлыхъ элементовъ системы христіанскихъ вѣрованій—концунственно? и были ли концунствомъ старыя христіанскія мистеріи?

«Новое Время», какъ уже сказано, взяло пьесу Гауптмана подъ особое свое покровительство. Къ нему, послѣ нѣкотораго колебанія, примкнулъ «Гражданинъ», гдѣ кн. Мещерскій, со словъ людей «авторитетныхъ и вѣрующихъ», объявилъ пьесу исполнѣ правственною и заслуживающею поощренія. «Биржевыя Вѣдомости» писали: «Пьеса Гауптмана — настоящій гимнъ вѣрѣ. Въ наше тревожное, мало вѣрующее время такія произведенія врядъ ли могутъ быть и поняты въ ихъ чистомъ значеніи проновѣди добра и любви къ ближнему».

Я, ни минуту не колеблясь, скажу, что пьеса Гауптмана есть прекрасное, высоко-художественное произведеніе, дающее и въ другихъ отношеніяхъ хорошую пищу уму и сердцу зрителя; зрителя, а не читателя. Ее надо видѣть на сценѣ, и желательно видѣть въ лучшей обстановкѣ, чѣмъ та, при которой она дается въ Панаевскомъ театрѣ. Второе дѣйствіе производитъ далеко не столь сильное впечатлѣніе, какое, очевидно, могло бы производить. Можетъ быть, это зависить отчасти отъ нѣкоторой односторонности таланта (во всякомъ случаѣ недюжиннаго) артистки, исполнявшей заглавную роль, но ужъ навѣрное расхолаживающее, анти-поэтическое впечатлѣніе даютъ эти тяжелыя, грубыя картонныя крылья ангеловъ и другіе аксессуары фантастической части пьесы. Слишкомъ это все скучно, тяжело, грубо и блѣдно въ сравненіи съ замысломъ автора. Признавая, однако, высокія достоинства «Ганнеле», я не могу согласиться съ выраженными до сихъ поръ объ ней мнѣніями благосклонной критики. Мнѣ кажется, что она совсѣмъ невѣрно толкуетъ художественный пріемъ Гауптмана, опредѣляющій значеніе всей пьесы.

Одинъ изъ сотрудниковъ «Новаго Времени» (въ № отъ 16 апр.), г. Житель, говоритъ, что «первое представленіе этой пьесы произвело на публику совсѣмъ необыкновенное и смутное впечатлѣніе. Не легко было разобраться въ немъ и понять, что это такое. Одни находили пьесу не эстетичной, другіе — страшной, однихъ она раздражала, другихъ—успокаивала. Едва ли когда нибудь высказывалось столько различныхъ мнѣній, при несомнѣнномъ общемъ возбужденіи и усидѣхъ, шумномъ и тревожномъ, также необыкновенномъ. И довольные, и недовольные не могли устоять противъ власти обаятельнаго впечатлѣнія мистической драмы». «Символическую

и мистическую драму» видитъ въ «Ганнеле» и г. Сигма (въ томъ же №). Онъ нашелъ и объясненіе этому символизму и мистицизму. «Въ біографіи Гауптмана,—говоритъ онъ,—есть одна подробность, которая бросаетъ свѣтъ на происхожденіе драмы: онъ человѣкъ деревни, готовившій себя къ занятію сельскимъ хозяйствомъ. Онъ жилъ съ мужиками и кустарями своей страны. И онъ понималъ жизнь, какъ понимаетъ ее народная масса, ежеминутно соприкасающаяся съ вѣчнымъ и живымъ, ежеминутно видящая ангеловъ, демоновъ и призраковъ».

Не касаясь заключающейся въ этихъ словахъ характеристики жизни народной массы, я думаю, что самъ Гауптманъ былъ бы очень удивленъ такимъ отождествленіемъ его взглядовъ съ тѣмъ, что говорится и дѣлается въ «Ганнеле». Я не знаю біографіи Гауптмана, но можно съ увѣренностью сказать, что авторъ «Ткачей» ни въ какомъ случаѣ не раздѣляетъ такого, напримѣръ, взгляда, что души умершихъ кушаютъ «жареное мясо», пьютъ «золотистое вино» и проч. Но это и не символы. Беру на себя смѣлость утверждать, что въ пьесѣ Гауптмана рѣшительно нѣтъ ни символизма, ни мистицизма, что она можетъ служить образцомъ чистѣйшаго и тончайшаго реализма въ своеобразной формѣ.

Фантастическій и реальный элементы распредѣлены въ «Ганнеле» вполне ясно, отнюдь не вторгаясь одинъ въ область другого и не образуя ни тѣхъ химерическихъ сочетаній правды и вымысла, возможнаго и невозможнаго, которые составляютъ необходимую принадлежность мистицизма, ни тѣхъ внутренне блѣдныхъ, хотя иногда и яркихъ по внѣшности непонятностей, которыми живетъ символизмъ. Въ пьесѣ Гауптмана все жизненно просто, жизненно цѣльно и нѣтъ ничего загадочнаго. Ошибка какъ благосклонной критики, такъ и нестовыхъ хулителей пьесы состоитъ, мнѣ кажется, въ томъ, что они не разграничиваютъ того, что зритель самъ непосредственно видитъ, отъ того, что, по мысли автора, въ дѣйствительности видимо только героинѣ. Относительно перваго дѣйствія на этотъ счетъ нѣтъ никакихъ сомнѣній: призраки отца и матери суть безспорно призраки, тѣсно связанные исключительно съ личной жизнью несчастной Ганнеле, и авторское міровоззрѣніе тутъ ни при чемъ. Но все второе дѣйствіе, возбуждающее недоразумѣнія и пререканія, во всѣхъ своихъ мельчайшихъ подробностяхъ есть лишь художественное развитіе, такъ сказать, развертываніе данныхъ перваго дѣйствія. Въ этомъ постепенномъ и детальномъ развертываніи и сказывается блестящій талантъ автора и его художественное проникновеніе въ характеръ Ганнеле. Слѣдя за развитіемъ пьесы, приходишь въ изумленіе уже не только передъ неразуміемъ тѣхъ хулителей, которые навязываютъ самому автору наивно-грубые подроб-

ности, вроде жареннаго мяса и золотистаго вина, которыми утоляютъ голодъ и жажду обитатели рая, и т. п.,—а передъ отсутствіемъ въ нихъ всякаго присутствія. Но и символическое значеніе придавать этимъ подробностямъ нельзя, по той простой причинѣ, что все это второе дѣйствіе вплоть до маленькой приставки, круто возвращающей насъ къ началу пьесы,—есть рядъ виднѣй Ганнеле, вполне объясняемыхъ всѣмъ ея прошлымъ и, затѣмъ, смертельно болѣзненнымъ состояніемъ.

Отъ людей, очень приближающихся къ правильному, какъ мнѣ кажется, пониманію пьесы, я слышалъ два возраженія. Во-первыхъ, невѣроятно, чтобы бредъ четырнадцатилѣтней, мало видѣвшей, мало знающей жизнь дѣвочки сложился въ такую послѣдовательно законченную и сложную картину. Во-вторыхъ, въ частности невѣроятно, чтобы такая кроткая, добрая дѣвочка бредила самоубійствомъ хотя бы и очень жестокаго мучителя—отчима.—Если бы все это было дѣйствительно невѣроятно, то есть, не вытекало бы изъ основныхъ данныхъ пьесы, то, для людей, признающихъ художественныя достоинства ея вообще, это значило бы, что авторъ сдѣлалъ тотъ или другой частный промахъ, отнюдь не ложащійся пятномъ на самый замыселъ пьесы. Но здѣсь нѣтъ ничего невѣроятнаго, неожиданнаго, произвольнаго. Фантазія автора тѣснѣйшимъ образомъ сливается съ фантазіей измученной и экзальтированной дѣвочки, не подсказывая ей отъ себя ни одной лишней черты.

Припомните въ «Дѣтствѣ и отрочествѣ» гр. Толстого прелестнѣйшія страницы о мстительныхъ мечтахъ рассказчика по адресу гувернера Сень-Жерома: онъ мечтаетъ убить ненавистнаго обидчика. Увеличьте затѣмъ напряженность этой мстительной мечты во столько разъ, во сколько обиды и несчастія Ганнеле превосходятъ обиды и несчастія маленькаго героя «Дѣтства и отрочества», прибавьте сюда еще элементъ горячечнаго бреда, и вы изумитесь художественной умѣренности Гауптмана. Забудьте, что попытки самоубійства каменщика Маттерна совсѣмъ нѣтъ ни на сценѣ, ни за кулисами. Въ горячечномъ бредѣ Ганнеле, каменщикъ Маттернъ убѣгаетъ съ крикомъ: «мнѣ остается только повѣситься!» Самоубійства дѣвочка *не видитъ*, а вѣдь Маттернъ во всей пьесѣ только ею и видимъ, *зритель видитъ не его, а видѣніе дѣвочки*. Она же находитъ удовлетвореніе не въ самоубійствѣ жестокаго отчима, а въ томъ, что онъ самимъ Богомъ, за нее вступившимся, доведенъ до сознанія своей вины передъ ней, маленькой, жалкой, несчастной дѣвочкой, страданіями заслужившей особенное благоволеніе небесъ. И эта черта вполне подготовлена общаніемъ призрака матери въ первомъ дѣйствіи: «какъ вѣтеръ мететъ съ горъ снѣжную пыль, такъ и Господь будетъ преслѣдовать твоихъ мучителей». Та-

кою же художественною объединенностью отличаются и всѣ другія, даже мельчайшія подробности пьесы, вслѣдствіе чего и общая картина бреда Ганнеле вовсе не страдаетъ чрезмѣрною сложностью, будто бы не позволяющей приписать ее исключительно личному бреду четырнадцатилѣтней дѣвочки. Нѣкоторыхъ смущаетъ въ особенностяхъ, повидимому, то обстоятельство, что Ганнеле уже умерла, лежитъ въ гробу, а ея видѣнія продолжаютъ ходить, говорить и проч.; значить, это не видѣнія, а или подлинныя живыя существа, какъ ихъ себѣ самъ авторъ представляетъ, или, по крайней мѣрѣ, символы чего то, опять таки самому автору близкаго, дорогого. Но Ганнеле не умерла еще, когда ее кладутъ въ гробъ. Какъ мы видѣли, призракъ матери и вмѣстѣ сестры милосердія не допустилъ ангела смерти нанести дѣвочкѣ ударъ, да и Странникъ говоритъ, что она не умерла, а спитъ, и она дѣйствительно приподнимается по его слову. Но и это все есть лишь продолженіе бреда, и дѣйствительно мертвою мы видимъ ее не въ серебряномъ гробу и не въ объятіяхъ Странника, а на той же убогой постели, на которую ее положилъ учитель Готтвальдъ.

Припомнимъ опять мстительныя мечтанія маленькаго героя «Дѣтства и отрочества». Ихъ художественная прелесть и никѣмъ не оспариваемая психологическая вѣрность помогутъ намъ надлежачимъ образомъ оцѣнить пьесу Гауптмана, которой нечего бояться даже такого сравненія. Вотъ одна изъ картинъ, рисующихся возбужденной фантазіи обиженнаго мальчика:

«Я воображалъ, что я непременно умру, и живо представлялъ себѣ удивленіе St. Jérôme'a, находящаго въ чуланѣ вмѣсто меня мое безжизненное тѣло. Вспоминая рассказы Натальи Савишны о томъ, что душа усопшаго до сорока дней не оставляетъ дома, я мысленно послѣ смерти ношуся невидимкой по всѣмъ комнатамъ бабушкина дома и подслушиваю искреннія слезы Любочки, сожалѣнія бабушки и разговоръ папа съ Августомъ Антоновичемъ. «Онъ славный былъ мальчикъ», скажетъ папа со слезами на глазахъ.—«Да, скажетъ St. Jérôme,—но большой повѣса».—«Вы бы должны уважать мертвыхъ, скажетъ папа, вы были причиной его смерти, вы запугали его; онъ не могъ перенести униженія, которое вы готовили ему... Вонъ отсюда, злодѣй!» И St. Jérôme упадетъ на колѣни, будетъ плакать и просить прощенія. Послѣ сорока дней, душа моя улетаетъ на небо; я вижу тамъ что-то удивительно прекрасное, бѣлое, прозрачное, длинное, и чувствую, что это моя мать, но я чувствую безпокойство и какъ будто не узнаю ее. Ежели это точно ты, говорю я, то покажись мнѣ лучше, чтобъ я могъ обнять тебя. И мнѣ отвѣчаетъ ея голосъ: «здѣсь мы всѣ такіе, я не могу лучше обнять тебя. Развѣ тебѣ не хорошо такъ?»—«Нѣтъ,

миѣ очень хорошо, но ты не можешь щекотать меня, и я не могу цѣловать твоихъ рукъ».—«Не надо этого, здѣсь и такъ прекрасно», говоритъ она, и я чувствую, что точно прекрасно, и мы вмѣстѣ съ ней летимъ все выше и выше».

Эта картина любопытна для насъ потому, что мальчикъ, какъ и Ганнеле, видитъ себя «безжизненнымъ тѣломъ», однако видящимъ и слышащимъ, что дѣлается кругомъ. А передъ тѣмъ онъ видѣлъ себя гусаромъ, на войнѣ, храбростью своею способствующимъ побѣдѣ. Израненный, онъ падаетъ съ крикомъ «побѣда». Генераль спрашиваетъ: «гдѣ онъ, нашъ спаситель?» и съ радостными слезами бросается къ нему на шею. Потомъ онъ выздоравливается и съ подвязанной чернымъ платкомъ рукой выходитъ гулять на Тверской бульваръ. Онъ уже генераль. Его встрѣчаетъ государь и освѣдомляется, кто этотъ израненный молодой генераль. Къ кому объясняютъ, что это — «извѣстный герой Николай». Государь подходитъ къ нему, благодаритъ и общаетъ исполнить все, чего онъ попроситъ. Израненный молодой генераль «почтительно кланяется и, опираясь на саблю, говоритъ: я счастливъ, великій государь, что могъ пролить кровь за свое отечество, и желалъ бы умереть за него; но ежели ты такъ милостивъ, что позволяешь миѣ просить тебя, прошу тебя объ одномъ—позволь миѣ уничтожить врага моего, иностранца St-Jérôme'a». И т. д. Но вдругъ мальчику приходитъ въ голову, что сію минуту въ чуланъ, въ которомъ онъ запертъ, можетъ явиться гувернеръ съ розгами, и онъ «снова видитъ себя не генераломъ, спасающимъ отечество, а самымъ жалкимъ, плачевнымъ созданіемъ».

Теперь представимъ себѣ, что самъ ли гр. Толстой, или кто нибудь другой за него, пожелалъ обработать часть эпизода съ Сень-Жеромомъ для сцены тѣмъ самымъ пріемомъ, который Гаутманъ употребилъ въ «Ганнеле». Мы имѣли бы въ первомъ дѣйствіи или въ первой картинѣ чуланъ, въ чуланѣ сундукъ, на сундукѣ тоскующаго, раздраженнаго мальчика, мы узнали бы о причинахъ его раздраженія и горя. Затѣмъ, во второмъ дѣйствіи, мы увидѣли бы уже не его самого, а то, что онъ видитъ своимъ умственнымъ взоромъ и что видимо нами только по условному художественному пріему. Передъ нами воочию лежало бы «безжизненное тѣло» мальчика, плакала бы сестра, терпѣлъ бы заслуженное униженіе Сень-Жеромъ и т. д. Или же «извѣстный герой Николай» рубилъ бы враговъ на полѣ сраженія, бесѣдовалъ бы съ генераломъ, государемъ и проч. Но вотъ заповѣсь опускается, и мальчикъ опять только бѣдный, обиженный мальчикъ, а въ дверяхъ стоитъ гувернеръ съ розгой... Совершенно такъ же построена «Ганнеле», съ тою разницею, что у Гаутмана мечта осложнена горячечнымъ бредомъ,

настоящими галлюцинаціями, почему яркость образовъ и картинъ въ его пьесѣ законнѣе, чѣмъ въ предполагаемой передѣлкѣ эпизода изъ «Дѣтства и отрочества». Было бы дико вмѣнять гр. Толстому—въ похвалу ли, или въ порицаніе—все, что видитъ его маленькій герой: сорокадневное порханіе души по комнатамъ, встрѣчу ея съ душою матери, разговоры ихъ о томъ, можно ли на небесахъ щекотать другъ друга и т. д. Точно также дико вмѣнять Гауптману чтобы то ни было изъ видѣній Ганнеле, которыя при томъ же отнюдь не сложнѣе, чѣмъ грезы маленькаго героя графа Толстого. Взятый нами отрывокъ «Дѣтства и отрочества» и «Ганнеле» точно на заказъ написаны на одинъ и тотъ же мотивъ. И мальчикъ гр. Толстого, и дѣвочка Гауптмана чувствуютъ себя глубоко обиженными. До сравнительной цѣнности претерпѣнныхъ ими обидъ намъ дѣла нѣтъ. Съ насъ довольно того, что они переживаютъ рядъ оскорбленій и въ грезахъ своихъ видятъ себя отомщенными и взысканными милостями справедливой судьбы. Изъ жалкаго, униженнаго положенія они подняты на пьедесталъ общаго уваженія. И поразительна у обоихъ авторовъ тонкость изображенія той волны наивной фантазіи, которая и обдаетъ собою грезы ихъ героевъ, и уноситъ ихъ все дальше и дальше отъ печальной дѣйствительности. Оставимъ гр. Толстого, задача котораго была въ приведенномъ эпизодѣ гораздо проще, и сосредоточимся на «Ганнеле».

Ганнеле четырнадцать лѣтъ. Она живетъ впроголодь, ходитъ въ лохмотьяхъ (въ Панаевскомъ театрѣ, къ сожалѣнію, далеко не въ лохмотьяхъ), ее бьютъ, на ея глазахъ били и, кажется, забили ея мать. Вмѣстѣ съ тѣмъ ходятъ слухи о какой-то тайнѣ ея происхожденія. Вѣроятно, въ связи съ этимъ находится данное ей школьниками насмѣшливое прозвище «принцессы въ лохмотьяхъ». Есть, правда, люди, относящіеся къ ней любовно: мать,—но она нѣсколько недѣль тому назадъ умерла; учитель Готтвальдъ, сестра милосердія или диаконисса Марта, съ которою онѣ гдѣ-то поютъ гимны,—но они безсильны оградить ее отъ голода, холода, насмѣшекъ, надругательствъ, побоевъ, хотя вѣроятно не разъ заступались за нее. И вотъ, въ горячечной грезѣ ея положеніе рѣзко измѣняется, изъ послѣднихъ она становится первой. Ея жестокій отчимъ посрамленъ, насмѣшники просятъ у нея прощенья, всѣ любятъ ея нарядомъ и красотою, ангелы приносятъ ей великолѣпный гробъ, ей обѣщаютъ вкусную и сытную пищу, всѣ напереывъ говорятъ ей любезности. Очень любопытенъ въ этомъ отношеніи портной. Уже въ первомъ дѣйствіи въ ея бреду мелькаетъ мѣстный деревенскій портной, очевидно,—физически убогій человекъ, потому что завываніе бури наводитъ ее на мысль, что порт-

ного «снесетъ съ горы, если у него не будетъ камня въ карманѣ и утѣга въ рукахъ». Во второмъ дѣйствіи случайно скользящій въ отуманенномъ сознаніи портной, вмѣстѣ съ усиленіемъ бреда, является ей уже воочію во весь свой маленькій ростъ, съ горбомъ и слабой, ковыляющей походкой. Каковы были ихъ взаимныя съ этимъ портнымъ отношенія въ дѣйствительности—неизвѣстно. Можетъ быть, онъ вмѣстѣ съ другими дразнилъ ее «принцессой въ лохмотьяхъ», тѣмъ болѣе, что лохмотья—это вѣдь не его специальности, а она въ свою очередь подсмѣивалась надъ его убожествомъ, благодаря которому онъ долженъ имѣть въ карманахъ или въ рукахъ балластъ—иначе его вѣтромъ снесетъ. Можетъ быть, наоборотъ, они, оба обиженные судьбой, ладили другъ съ другомъ, и она сердилась на тѣхъ, кто смѣялся надъ нимъ, а онъ время отъ времени чинилъ ее лохмотья. Такъ или иначе, образъ убогаго портного врѣзался ей въ память и, въ минуту ея торжества въ бреду, принесъ ей великолѣпный вѣнчально-погребальный нарядъ и наговорилъ ей кучу приятныхъ для маленькой, глупенькой дѣвочки вещей: и отецъ то у нея сіятельный графъ, и ножки то у нея меньше, чѣмъ у Греты, Минны и какъ ихъ тамъ всѣхъ зовутъ, этихъ ея сверстницъ, насмѣхавшихся надъ «принцессой въ лохмотьяхъ». Характерно и то, что нарядъ портной принесъ вѣнчально-погребальный и въ разговорѣ путаетъ свадьбу со смертью. Въ соотвѣтствіи съ этимъ и Марта называетъ дѣвочку «Христовой невѣстой», и сама она то говоритъ о предстоящемъ бракѣ съ учителемъ Готтвальдомъ, то видитъ этого самаго Готтвальда въ образѣ Странника. Припомнимъ кстати, что и образы матери и Марты то соединяются въ отуманенномъ сознаніи Ганнеле, то раздвояются; замѣтимъ мимоходомъ, что всѣ видѣнія должны бы быть легче, воздушнѣе, чѣмъ это выходитъ на сценѣ Панаевского театра. Въ особенности это относится къ ангеламъ съ ихъ топорными крыльями. Но сліяніе вѣнчанія съ похоронами имѣетъ, можетъ быть, и другое значеніе, кромѣ указанія на смѣтливость сознанія вообще. Ганнеле еще дѣвочка, но, можетъ быть, въ ней уже, хотя и очень слабо и бессознательно, просыпается женщина, и учитель Готтвальдъ для нея не просто добрый учитель и добрый человѣкъ, хоть она этого и сама не понимаетъ. Съ другой стороны, смерть не разъ представлялась ей избавительницей. И вотъ для нея отождествляются смерть и соединеніе съ кѣмъ то похожимъ на Готтвальда. Я думаю, что эта характерная черта очень знакома психіатрамъ въ экзальтированныхъ женскихъ натурахъ.

Не будемъ продолжать этотъ разборъ мелкихъ подробностей бреда Ганнеле. Сказаннаго достаточно, чтобы видѣть, какъ странно въ какой бы то ни было мѣрѣ отождествлять міровоззрѣніе автора

съ міровозрѣніемъ его несчастной наивной героини. Его отношеніе къ ней исчерпывается тою точкою зрѣнія, что вотъ, дескать, бѣдная дѣвочка «на минуту позабылась въ чарованьи красныхъ вымысловъ», но въ дѣйствительности умерла, какъ жила,—голодная, холодная, одинокая, въ лохмотьяхъ... Ни одна изъ ранъ, нанесенныхъ ей жизнью, не затянулась и не затянется: ни глубокія язвы оскорбленій и насилій, претерпѣнныхъ отъ пьянаго, жестокаго отчима, ни царапины насмѣшекъ Мины. Греты, и не видать ей ни жаренаго мяса, ни золотистаго вина, не слышать ласковыхъ, добрыхъ словъ. Маленькая приставка ко второму дѣйствію, гдѣ Ганнеле оказывается въ тѣхъ же лохмотьяхъ, на той же жесткой постели, и нѣтъ около нея никого, кромѣ сестры милосердія и доктора, констатирующаго смерть,—разбиваетъ всѣ эти «красные вымыслы». Такъ въ предполагаемой передѣлкѣ «Дѣтства и отрочества» появленіе гувернера съ розгой разогнало бы фантастическіе образы «извѣстнаго героя Николая» и проч. Художественная красота пьесы Гауптмана зависитъ отъ его проникновенія до самыхъ глубинъ наивной души дѣвочки,—не забыто даже соперничество съ Гретой и Миной по части маленькихъ ножекъ, не говоря уже объ обидахъ тяжкихъ. А чувство растроганности, овладѣвающее многими зрителями, должно пріурочиваться не къ области «красныхъ вымысловъ», которые такъ вымыслами и остаются, а къ области «бѣдствій существенныхъ» (по неуклюжему Карамзинскому выраженію), которыя тоже такъ бѣдствіями и остаются. Такова, очевидно, мысль самого Гауптмана. Не радость хотѣлъ онъ намъ возвѣстить, а указать на горе дѣвочки Ганнеле, а вмѣстѣ съ нею и многихъ другихъ дѣвочекъ и мальчиковъ, и юношей, и старцевъ.

Кромѣ «Ганнеле», Петербургъ еще многимъ другимъ въ области искусства и просвѣщенія интересовался въ послѣднее время. Между прочимъ, и «1-ой всероссійской выставкой печатнаго дѣла», и «1-мъ съѣздомъ дѣятелей по печатному дѣлу». Многіе изъ посѣтителей выставки, быть можетъ, впервые знакомящіеся съ производствомъ матеріальной стороны книги, журнала, газеты,—такъ сказать, ихъ тѣла, были. вѣроятно, поражены грандіозностью нашего прогресса въ книгопечатаніи, а слѣдовательно, и въ просвѣщеніи. И въ самомъ дѣлѣ, на выставкѣ есть манекенъ перваго русскаго печатника, Ивана Ѳедорова, въ старинномъ русскомъ платьѣ, и тутъ же огромный, неуклюжій, деревянный печатный станокъ. Представьте же себѣ выставленную типографіей «Нивы» ротаціонную машину, изготовляющую 10.000 экземпляровъ газеты въ часъ, и рядомъ г. Маркса или хоть г. Добродѣева въ изящнѣйшихъ мод-

ныхъ фракахъ, ну, и наборщиковъ,—тѣ, конечно, не во фракахъ. Уже одно это сопоставленіе наводитъ на радостныя и горделивыя мысли. Иванъ Ѳедоровъ, энтузіастъ своего дѣла, не долго практиковалъ въ Россіи. Черезъ какихъ нибудь три-четыре года послѣ открытія въ Москвѣ типографіи (въ 1563 г.), онъ долженъ былъ бѣжать въ Литву, затѣмъ переѣхать въ Львовъ, гдѣ и умеръ въ крайней бѣдности. Причины своего бѣгства онъ объяснялъ такъ: «презѣльнаго ради озлобленія, часто случающагося намъ, не отъ самого государя, но отъ многихъ начальникъ, и священноначальникъ и учитель, которые на насъ, зависти ради, многія ереси умышляли, хотячи благое во зло превратити и Божіе дѣло въ конецъ погубити... Сія убо насъ отъ земли и отечества и отъ рода нашего изгна и въ ины страны незнаемы пресели». Какая разница съ нашимъ временемъ, когда г. Марксъ или хоть г. Добродѣевъ не только не обвиняются во «многихъ ересяхъ» и никакого «озлобленія» не терпятъ, но, надо надѣяться, и умрутъ не въ бѣдности. Правда, на могильной плитѣ, придавливающей давно истлѣвшій прахъ Ивана Ѳедорова, имѣется гордая и, вѣроятно, имъ самимъ подсказанная надпись: «друкаръ книгъ предъ тымъ невиданныхъ». Ну, а мы видали всякіе виды.

Я, однако, не поведу читателя на выставку печатнаго дѣла, а о нашемъ прогрессѣ въ дѣлѣ книгопечатанія и просвѣщенія буду имѣть случай сказать нѣсколько словъ ниже, по другому поводу. Не буду распространяться и о сѣздѣ дѣятелей по дѣламъ печати. Остановлюсь лишь на той сторонѣ сѣзда, которая имѣетъ отношеніе къ намъ, писателямъ, работникамъ по духовной части книжнаго производства. Собственно литература была очень скудно представлена на сѣздѣ, и это понятно, такъ какъ въ программѣ сѣзда подавляющее мѣсто занимали вопросы матеріальнаго производства. Но одна изъ комиссій, избранныхъ сѣздомъ, занималась выработкою редакціи измѣненій нѣкоторыхъ статей цензурнаго устава съ цѣлью возбужденія надлежащаго ходатайства. Комиссія имѣла въ виду не нужды собственно литературы, какъ духовнаго органа, а потому и обсуждала не положеніе печати вообще, а лишь тѣ статьи цензурнаго устава, съ которыми тѣсно связано «усовершенствованіе печатнаго дѣла», а также статьи, касающіяся «цензурныхъ обрядностей». Тѣмъ не менѣ докладъ комиссіи, заслушанный сѣздомъ въ засѣданіи 13 апрѣля, представляетъ большой интересъ, какъ для литературы, такъ и для той части публики, которая желала бы имѣть вѣрное понятіе о положеніи литературы. Вотъ измѣненія въ цензурномъ уставѣ, которыя комиссія признала необходимыми:

- 1) Начало 6 ст. изложить такъ: «Отъ предварительной цензуры

изъяты повсемѣстно (а не только въ столицахъ, какъ говорится въ статьѣ) всѣ оригинальныя и переводныя сочиненія, объемомъ не менѣ десяти печатныхъ листовъ (въ статьѣ говорится: «не менѣ двадцати»), а также всѣ рисунки, политинажи и пр. въ такихъ сочиненіяхъ». Основаніемъ такого измѣненія служить широкое распространеніе заведеній печатнаго дѣла во всей Россіи. Объемистыя сочиненія издаются въ настоящее время не только въ Петербургѣ и Москвѣ, но и во многихъ другихъ городахъ.

2) Въ ст. 6-й, къ пункт. 5, который освобождаетъ чертежи, планы и карты отъ предварительной цензуры повсемѣстно, прибавить: «рисунки, воспроизведенные фотомеханическимъ способомъ, и ноты».

3) Ходатайствовать о включеніи въ 10 ст., гдѣ говорится, что отдѣльные цензоры назначены въ городахъ: Ригѣ, Ревелѣ, Юрьевѣ, Митавѣ, Кіевѣ, Вильнѣ, Одессѣ и Казани,—всѣхъ губернскихъ городовъ.

4) Къ статьѣ 41-й, которая возлагаетъ разсматриваніе всякаго рода афишъ и мелкихъ объявленій на мѣстныя полицейскія начальства, сдѣлать добавленіе и изложить ее такъ: «Однажды разрѣшенное объявленіе можетъ быть печатаемо безъ новаго разрѣшенія и отдѣльно, и въ различныхъ изданіяхъ».

5) Ходатайствовать объ отмѣнѣ циркуляровъ главнаго управленія по дѣламъ печати отъ 30 октября 1866 г. за № 1994 (о запрещеніи студентамъ печатать объявленія съ предложеніемъ услугъ по обученію дѣтей) и отъ 23 октября 1889 г. за № 4758 (объ этикетахъ съ польскими надписями),

6) Въ ст. 48 и 49 ст. (въ послѣдней говорится, что желающій предъявлять на разсмотрѣніе корректуру, вмѣсто рукописи, обязанъ непремѣнно довести о томъ заблаговременно до свѣдѣнія цензуры и получаетъ на то позволительный билетъ) создать одну въ такомъ видѣ: «Рукописи, представляемыя въ цензуру, должны быть чисто и четко переписаны. Вмѣсто рукописи можетъ быть представляема отдѣльными листами корректура».

7) Въ статьѣ 52-й установить для всѣхъ сочиненій одинаково одинъ срокъ—трехлѣтній. Въ настоящее же время позволеніе цензора на напечатаніе рукописи дѣйствительно въ теченіе трехъ лѣтъ только для сочиненій, заключающихъ болѣе трехъ томовъ.

8) Въ статьѣ 54-й сдѣлать добавленіе: «Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ цензурныхъ учреждений, сличеніе напечатаннаго сочиненія съ цензурованнымъ экземпляромъ и выдачу дозволительныхъ билетовъ на выпускъ книги въ продажу возложить на обязанность лицъ, имѣющихъ надзоръ за типографіями, на тѣхъ же основаніяхъ, какъ дѣйствуютъ цензоры». Въ настоящее время выдача

дозволительнаго билета и сличеніе напечатаннаго сочиненія съ рукописью предоставлено цензурнымъ учрежденіямъ, которыя имѣются только въ немногихъ городахъ. Въ результатъ такого положенія потеря времени и денегъ на долги и часто дальнія хлопоты.

9) Въ ст. 55, дозволяющей отпускать изъ типографій періодическія сочиненія, одобренныя цензурою въ рукописи или корректурѣ, до полученія позволительнаго билета съ строжайшей отвѣтственностью начальства или содержателя типографій, исключить слова: «составляющія не болѣе одного печатнаго листа и требующія послѣдней выдачи» и «начальства или».

10) Начало 58 ст. изложить: «Сочиненія, неодобренныя цензурою къ печати, возвращаются представившему ихъ съ надписью, что они не дозволены на основаніи такой-то статьи устава о цензурѣ и печати». Въ настоящее время неодобренныя статьи не возвращаются.

11) Ст. 62 изложить такъ: «Стереотипныя изданія и вновь печатаемые безъ измѣненій никакой цензурѣ не подлежатъ» (какъ это постановлено въ 270 ст. относительно духовной цензуры). Въ настоящее время печатныя книги, вновь издаваемые, представляются въ цензуру, какъ и рукописи, для одобренія, хотя бы никакихъ измѣненій при перепечатываніи и не дѣлалось.

12) Ходатайствовать о томъ, чтобы разрѣшенія на выпускъ отдѣльными оттисками статей, печатаемыхъ въ повременныхъ подцензурныхъ изданіяхъ, давались одновременно съ разрѣшеніемъ на печатаніе ихъ въ этихъ изданіяхъ, такъ чтобы печатать отдѣльные выпуски можно было по частямъ, вслѣдъ за выходомъ каждаго отдѣльнаго выпуска повременнаго изданія.

13) Часть текста 644 ст. изложить такъ: «Вообще не дозволяется цензору задерживать рукописи или книги долѣе одного мѣсяца, сочиненія же, представляемыя въ корректурѣ, долѣе трехъ дней каждый листъ, а статьи, назначаемыя» и т. д. Въ настоящее время цензорамъ дозволено задерживать рукописи и книги до трехъ мѣсяцевъ. Срокъ весьма продолжительный и часто совершенно уничтожающій интересъ книги, если она написана на злобу дня.

14) Статью 113, обязывающую цензоровъ руководствоваться особыми наставленіями при цензурованіи статей, касающихся частей: военной, судебной, финансовой и предметовъ вѣдомства министерства внутреннихъ дѣлъ, отмѣнить, такъ какъ интересы каждаго изъ поименованныхъ въ статьѣ вѣдомствъ достаточно ограждены общими законами и въ частности уставомъ о цензурѣ и печати.

15) Ст. 117 изложить такъ: «Каждый желающій издавать новое повременное изданіе въ видѣ газеты, журнала или сборника

подаеть прошеніе главному управленію по дѣламъ печати, причеъъ отъ издателя зависить. издавать ли газету и пр. безъ цензуры или подъ условіемъ цензуры». Последнее условіе, касающееся цензуры, коммиссія вставила, руководствуясь ст. 6, дозволяющей печатать сочиненія болѣе 20 печатныхъ листовъ безъ предварительной цензуры. Годовой экземпляръ почти любой газеты или журнала болѣе 20 листовъ.

16) Въ ст. 125 исключить послѣднія строки отъ словъ: «если же». Послѣ словъ «если же» говорится о предъявленіи типографіи до набора повременнаго изданія квитанціи въ приѣмъ залога, обезпечивающаго изданіе.

17) Статьи 126—133 отмѣнить. Въ нихъ говорится о внесеніи въ главное управленіе по дѣламъ печати залога издателями повременныхъ изданій, выходящихъ безъ предварительной цензуры. о размѣрѣ залога, о печатаніи именъ издателей и отвѣтственнаго редактора на каждомъ нумерѣ газеты, объ обязанности редакцій повременныхъ изданій сообщать по требованію министра внутреннихъ дѣлъ званія, имена и фамиліи авторовъ статей и т. п.

18) Къ ст. 158 сдѣлать добавленіе: «Редакторамъ и издателямъ повременныхъ изданій предоставляется открывать свою типографію на общемъ основаніи, но безъ особаго на то разрѣшенія».

19) Къ ст. 168, требующей на каждомъ экземплярѣ, выпускаемомъ въ свѣтъ изъ типографій, литографій и металлографій, обозначенія имени и мѣстожительства производителя,—добавить: «Если же къ этому встрѣчаются затрудненія по условіямъ техники дѣла, то обозначена должна быть только фирма заведенія».

20) Къ ст. 175 сдѣлать добавленіе: «Редакторамъ и издателямъ повременныхъ изданій предоставляется открывать кабинеты для чтенія на общихъ основаніяхъ, но безъ особаго на то разрѣшенія».

21) Къ ст. 193, въ которой говорится о препровожденіи посылокъ «съ иностранными книгами изъ таможенъ въ цензурныя учрежденія», послѣ словъ «съ иностранными книгами» добавить «и клише».

22) Къ ст. 210, которая говоритъ о разсылкѣ спб. комитетомъ каталоговъ разрѣшенныхъ книгъ и списковъ запрещенныхъ, добавить: «каталоги и списки посылаются цензурнымъ комитетамъ и отдѣльнымъ цензорамъ послѣ каждаго засѣданія спб. комитета цензуры иностранной».

23) Къ статьѣ 144, предоставляющей министру внутреннихъ дѣлъ право дѣлать повременнымъ изданіямъ, выходящимъ безъ предварительной цензуры, предостереженія, послѣ словъ «третье предостереженіе» сдѣлать добавленіе: «полученное въ теченіе одного

года». Въ настоящее время на полученныя повременными издѣніями предостереженія пѣтъ давности, между тѣмъ эти предостереженія находятся въ тѣсной связи съ матеріальными условіями повременныхъ изданій.

24) Ходатайствовать о томъ, чтобы всѣ цензурныя учрежденія дѣйствовали исключительно на основаніи устава о цензурѣ и печати.

Кромѣ перечисленныхъ измѣненій, коммисія нашла необходимымъ сдѣлать измѣненія пункт. 3 ст. 8 и ст. 18, находящіяся въ зависимости отъ соотвѣствующихъ измѣненій пункт. 5 ст. 6 и статьи о представленіи въ цензуру корректуры наравнѣ съ рукописью.

Сѣздъ, разсмотрѣвъ редакціи измѣненій статей цензурнаго устава, одобрилъ всѣ измѣненія, кромѣ редакцій ст. 113 и ст. 117 (см. 14 и 15). Ст. 113 постановлено оставить безъ измѣненія, такъ какъ она касается правилъ, даваемыхъ цензорамъ въ руководство, но признано желательнымъ сдѣлать къ ней добавленіе, чтобы всѣ упомянутыя въ статьѣ «особо изданныя постановленія» были опубликованы во всеобщее свѣдѣніе. Что же касается ст. 117, то, оставивъ ее безъ измѣненія, признано желательнымъ добавить къ ней лишь одно: прошеніе должно быть подаваемо не министру внутреннихъ дѣлъ, а главному управленію по дѣламъ печати.

Чтобы оцѣнить всю скромность пожеланій сѣзда, достаточно остановиться на пунктѣ 24-мъ: сѣздъ рѣшаетъ *ходатайствовать* о томъ, чтобы цензурныя учрежденія дѣйствовали исключительно на основаніи цензурнаго устава.

При закрытіи сѣзда председатель, генералъ-лейтенантъ А. А. Савурскій, сообщилъ, что все, сдѣланное сѣздомъ, будетъ приведено въ порядокъ распорядительнымъ комитетомъ. Онъ же предложилъ признать необходимымъ собрать, по прошествіи нѣкотораго времени, второй сѣздъ дѣятелей по печатному дѣлу, который долженъ принести болышую пользу, чѣмъ первый...

Есть и еще одно обстоятельство, позволяющее надѣяться, что скромныя ходатайства сѣзда будутъ приняты во вниманіе. Читатель замѣтилъ, можетъ быть, что за послѣднее время позатихли дикіе голоса, варьировавшіе старую пѣсню Фамусова: «ученье—вотъ чума». И даже кн. Менцерскій заговорилъ о пользѣ образованія и необходимости распространенія просвѣщенія. Эти господа думали заявить свою благонамѣренность. Они ошиблись на этомъ пунктѣ, какъ показали отмѣтки Государя на докладахъ астраханскаго и херсонскаго губернаторовъ о недостаткѣ школы во вѣрен-

ныхъ имъ губерніяхъ: «Слѣдуетъ придти на помощь населенію въ этомъ насущномъ вопросѣ»; «Обращаю самое серьезное вниманіе министерства народнаго просвѣщенія». Этихъ нѣсколькихъ словъ было, конечно, слишкомъ достаточно, чтобы наши Фамусовы или перемѣнили фронтъ или, по крайней мѣрѣ, замолчали. Нельзя, конечно, поручиться, чтобы они не стали какъ-нибудь втихомолку или окольными путями преслѣдовать свои темныя, истинно темныя цѣли. Нельзя также предвидѣть тѣ пути, которыми пойдетъ у насъ народное и наше собственное просвѣщеніе. Но одно достоверно: о съѣдающемъ Россію невѣжествѣ, о необходимости облегчить доступъ знанія и, слѣдовательно, книги въ народную школу и т. п.—можно говорить, не стѣсняясь, что какой-нибудь кн. Мещерскій или другой сынъ отечества начнетъ обличать тебя въ злонамѣренности.

И пора. Давно пора. Жутко становится, когда заглянешь въ глубину народной темноты, не въ какое-нибудь экстренное, тревожное время, въ родѣ холерныхъ беспорядковъ, а въ самое обыкновенное «сегодня, какъ вчера». Такой, напримѣръ, случай.

Осенью минувшаго года, нѣкая Екатерина Клипикова, крестьянка села Александрова Гая, Новоузенскаго уѣзда, возвратившись изъ поѣздки въ Кронштадтъ, стала распространять среди своихъ односельчанъ недѣльные толки о протоіерей Іоаннѣ Сергіевѣ: настоящій о. Іоаннъ, рассказывала эта женщина, скрылся давно и теперешній о. Іоаннъ — уже не о. Іоаннъ, а самъ Христосъ, сошедшій на землю во плоти для наставленія развращеннаго человѣчества. При этомъ Клипикова подтверждала свои слова увѣреніемъ, что «лицо о. Іоанна измѣняется и бываетъ видимо въ трехъ видахъ»; что о. Іоаннъ былъ уже вызываемъ на судъ св. синода и, на запрещеніе именовать себя Спасителемъ, отвѣтилъ: «Онъ (т. е. приходящіе къ нему), какъ малыя дѣти, именуютъ меня тѣмъ, что я есть; но если они умолкнутъ, то камни возопіютъ» и т. п. О бредняхъ невѣжественной крестьянки было доведено до свѣдѣнія мѣстнаго преосвященнаго, и еп. Гурій счелъ себя вынужденнымъ описать обо всемъ этомъ отцу Іоанну. Тотъ отвѣтилъ епископу письмомъ, которое, во избѣжаніе дальнѣшаго соблазна, и просилъ передать гласности. Письмо это и было напечатано въ «Самарскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ». Заявляя, что онъ «ни малѣйшаго повода не подалъ крестьянкѣ Клипиковой къ тому, чтобы она признавала его за Христа», кронштадтскій протоіерей выражаетъ удивленіе «нелѣпости, безсмыслію и грубости означенной женщины. И вотъ я нынѣ же,—пишетъ онъ,—обличаю ее и слушающихъ ее настоящимъ письмомъ въ безумствѣ, нелѣпости и пагубѣ ученія Клипиковой, какъ невѣжественной бродяги, безграмотной и безсмыслен-

ной». Въѣстъ съ тѣмъ, губернская администрація и епархіальное начальство приняли слѣдующую мѣру: обществу слободы Александрова Гая предложено избрать изъ среды слобожанъ 10 наиболѣе достойныхъ довѣрія лицъ; ихъ на казенный счетъ командируютъ къ о. Іоанну Сергіеву, чтобы они непосредственно увѣрили въ ложности распространяемыхъ Клиниковою свѣдѣній.

Послѣдняя, совершенно экстренная мѣра, свидѣтельствующая о добромъ желаніи мѣстныхъ властей въ корень подѣть нелѣные слухи, не можетъ, разумѣется, часто практиковаться. Если бы изъ каждого населеннаго мѣста Россіи по поводу безсмысленныхъ слуховъ нарядать подобныя экспедиціи, то проще бы было на эти деньги покрыть всю Россію свѣтло школъ и путемъ образованія подѣть корень нелѣпыхъ слуховъ. Скажутъ, можетъ быть, что данный случай совершенно исключительный, но за это отнюдь нельзя поручиться. Народное образованіе безспорно дѣлаетъ успѣхи, далеко, однако, не въ такой мѣрѣ, въ какой это не только желательно, а и прямо необходимо. Теперь отрицать это ни у кого не повернется языкъ. Казалось бы, изъ обязательныхъ предметовъ народнаго образованія, та совокупность догматовъ, фактовъ и правилъ въ духѣ православія, которая называется Закономъ Божиимъ, наиболѣе обезпечена самою жизнью крестьянина, всею его обстановкою: родины, крестины, свадьбы, похороны, исповѣдь, проповѣди священниковъ, молебны, обыкновенное праздничное посѣщеніе церкви, посты, предписываемые церковью и т. д., все это, казалось бы, должно освоить народъ съ «Закономъ Божиимъ». А между тѣмъ, у всѣхъ еще въ памяти факты поразительнаго невѣжества, опубликованные архіепископомъ херсонскимъ и одесскимъ Никаноромъ незадолго до его смерти. Совершенно такіе же факты находимъ въ статьѣ г. Вахтерова «Воскресныя школы и повторительные классы» (въ сборникѣ «Частный починъ въ дѣлѣ народнаго образованія». М. 1895). Г. Вахтеровъ задавалъ разные вопросы *«взрослымъ»*, но только что поступившимъ ученикамъ московскихъ воскресныхъ школъ изъ крестьянокъ, прибывшихъ большею частью изъ деревни въ Москву на заработки, и записывалъ отвѣты. Онъ рассказываетъ: «Заповѣдей не знали никто и не слышали, что онѣ существуютъ. Символа вѣры не знали никто, кромѣ одной ученицы, выучившей его уже въ Москвѣ, по пріѣздѣ сюда изъ деревни, но читавшей съ большими ошибками и безъ всякаго пониманія. Изъ молитвъ знали только одну: «Богородицѣ дѣво», но и то обыкновенно на 3-мъ или 4-мъ словѣ останавливались и ничего изъ прочитаннаго не понимали. На вопросъ: кого называютъ Богородицей, отвѣчали либо: «не знаю», «не слышали», «почему мы можемъ знать», либо: «Богородица—это Достойно», «Богородица—это пресвятая Троица». И

наоборотъ, на вопросъ о пресвятой Троицѣ самая свѣдующія изъ ученицъ обыкновенно отвѣчали, что это Божья Матерь, о Богѣ ничего не знали, либо называли Богомъ Николая Чудотворца, Григорія Богослова, Василия Великаго и Животворящій крестъ рядомъ съ Иисусомъ Христомъ; говорили, что боговъ много: по мнѣнію однихъ—больше сотни, по мнѣнію другихъ даже тысячи, а кто выше изъ нихъ—того онѣ не знаютъ». И т. д. На отдѣльные вопросы, касающіеся отношеній къ ближнему, даны были слѣдующіе отвѣты: «когда кто обидитъ тебя, надо его побранить (по мнѣнію однихъ), пожаловаться начальству, въ судъ (по мнѣнію другихъ). Еврею нельзя помогать, его нельзя любить». Повторяю, это сообщеніе совершенно совпадаетъ съ показаніями такого компетентнаго лица, какъ архіепископъ Никаноръ.

Ужасно здѣсь не столько незнаніе, какъ бессмысленное, вполне безсознательное отношеніе къ тому, что пользуется благоговѣніемъ. Что же сказать о предметахъ, не столь благопріятно обставленныхъ? Когда подумаешь о томъ, что мы, люди нѣкотораго достатка и просвѣщенія, разсуждаемъ о Гегелѣ и о другихъ «матеріяхъ важныхъ», поднимаемся въ послѣднюю высь философскихъ обобщеній и отвлеченій, смакуемъ тончайшія художественныя красоты... А впрочемъ, только что вышедшая книга г. Рубакина можетъ насъ на этотъ счетъ успокоить, если это дѣйствительно требуетъ успокоенія и если объ этомъ кто-нибудь въ самомъ дѣлѣ беспокоится: не очень то и мы рвемся въ высь и глубь просвѣщенія, и не очень то способствуютъ такому паренію великолѣпныя ротаціонныя машины.

Упомянутая книга г. Рубакина, «Этюды о русской читающей публикѣ», состоитъ изъ отдѣльныхъ очерковъ, печатавшихся предварительно въ періодическихъ изданіяхъ, частію и въ «Русскомъ Богатствѣ». Быть можетъ поэтому, нѣкоторые изъ фактовъ, приводимыхъ ниже, уже обращали на себя вниманіе читателя, но это не бѣда: они во всякомъ случаѣ стоятъ того, чтобы остановиться на нихъ еще и еще разъ.

Оставимъ въ покоѣ народную литературу и народное просвѣщеніе. Но вотъ издаются у насъ, напримѣръ, такія книги: «Настольная книга холостымъ, съ общепонятными рисунками», «Бездна удовольствій для молодыхъ людей, любящихъ повеселиться», «Весельчакъ съ новымъ шикомъ». Цѣна каждой изъ этихъ книгъ 3 р., значить, кто же ихъ покупаетъ? Иной читатель можетъ подумать, что такихъ книгъ нѣтъ, что г. Рубакинъ такъ, примѣрно и нѣсколько каррикатурно сочинилъ эти заглавія. Можетъ быть и такъ, но что подобныя и даже еще превосходнѣйшія книги составляютъ отчасти нашу духовную пищу, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія.

Когда то, давно уже, я съ совершенно специальною цѣлью заинтересовался этою отраслью литературы и записалъ себѣ для памяти нѣсколько заглавій и объявленій. беру изъ этого запаса кое-что на удачу.

Есть книга: «Телескопъ о жизни и смерти», содержащая въ себѣ разныя заманчивыя вещи и, между прочимъ, могущая служить (выписываю съ величайшею точностью): «для вызыванія духовъ, привлеченія къ себѣ любимыхъ особъ, возстановленіе молодости и красоты, усмиреніе дикихъ животныхъ и заговоры на всѣ случаи жизни, посредствомъ котораго вполнѣ доступно разыскивать всѣ пропажи и кражи и узнавать похитителей ихъ. Составлено по подлиннымъ запискамъ и рѣдкой рукописи Брюса археологомъ П. С. Ордынскимъ. Москва, 1885. Ц. 3 р., въ переплетѣ 4 р.» — Есть книга подъ названіемъ: «Убійцы, гризетки, каторжники и бунтовщики или типы трущобъ темнаго и бѣлаго царства. Соч. Топоркова. Въ 2-хъ томахъ, съ 7-ю роскошными политипажамъ. Москва. 1881. Ц. 3 р., съ перес., въ переплетѣ 4 р.» — Или: «Ночные гуляки и веселія женщины. Сцены, рассказы, тайны и комедіи изъ міра: актрисъ, пѣвицъ, гувернантокъ, модистокъ, швей, прикащикъ, фигурантокъ, содержанокъ, кокотокъ и проч. Соч. Страуса. Ц. 2 р.»

Этихъ примѣровъ, я полагаю, достаточно. Если подобныя книги печатають даже превосхождѣйшія ротационныя машины и если онѣ расходятся по сравнительно дорогой цѣнѣ, то это еще не поводъ радоваться успѣхамъ нашего просвѣщенія. Конечно, не все же такую пошлую и возмутительную дребедень мы читаемъ. Есть у насъ книги и лучше, и гораздо лучше, есть и дѣйствительно превосходныя. Но вопросъ въ томъ, много ли мы ихъ покупаемъ и читаемъ. Книга г. Рубакина содержитъ въ себѣ много любопытныхъ въ этомъ отношеніи данныхъ. Нѣкоторыя изъ нихъ я приведу, не гоняясь за какимъ-нибудь систематическимъ порядкомъ.

По разсчету г. Рубакина, «на cadaго челоѣка изъ достаточныхъ классовъ выходитъ ежегодно отъ 3¹/₂ до 5 экземпляровъ, или меньше чѣмъ 2 названія на 1000 челоѣкъ». За 6 лѣтъ (1887 — 1892 гг.) не было случая, чтобы втеченіи года вышло больше 46 книгъ по философін, больше 467 по историческимъ наукамъ, больше 250 «по наукамъ политико-экономическимъ». Число книгъ по отдѣлу географіи и путешествій падаетъ изъ года въ годъ (144 въ 1888 г. и 95 въ 1893). По политическимъ и общественнымъ вопросамъ въ 1890 г. вышло 15 (*пятнадцать*) названій. Даже беллетристики (кромѣ драматическихъ произведеній) выходитъ ежегодно всего около 500 — 600 названій. Но и эти цифры подлежатъ досадной оговоркѣ. Въ 1893 г. изъ 7782 названій было около 22% книгъ не новыхъ, а вышедшихъ вторымъ и третьимъ

изданіемъ, да кромѣ того изъ періодическихъ изданій было перепечатано 480 названій. По одной беллетристикѣ въ 1892 г. повторныхъ изданій было около 15⁰/₀. Беллетристика читается, конечно, но преимуществу, и въ этомъ нѣтъ ничего ни удивительнаго, ни прискорбнаго. Но удивительна и прискорбна та пропорція, въ которой распредѣляется интересъ къ беллетристикѣ съ одной стороны и къ научнымъ сочиненіямъ съ другой. Изъ отчетовъ парижскихъ муниципальных библиотекъ видно, что въ 1888 — 1891 гг. «беллетристическихъ произведеній изъ этихъ библиотекъ было взято почти такой же ⁰/₀, какъ и научныхъ; это отношеніе держится изъ года въ годъ, поражая русскаго изслѣдователя». Еще бы не поражаться, когда, напримѣръ, въ Воронежской библиотекѣ въ 1891 г. было взято беллетристики 35,6⁰/₀, а научныхъ книгъ 2,3⁰/₀ (остальное падаетъ на журналы и газеты). Въ томъ же году въ Екатеринославской библиотекѣ соотвѣтственныя цифры были 59,1 и 1,6. Въ 1892 г. въ Астраханской библиотекѣ — 28,2 и 8,1; въ Херсонской — 47,0 и 6,1, и т. д. Въ 1892 г. при 972 чловѣкахъ, пользовавшихся Воронежской библиотекой, книги Васильчикова, Гиббона, Гейсера, Геттнера, Гегеля, Забѣлина, Іеринга, Клауса, Кюве, Минье, Ринне, Секки, Тэта, Файфа, Фаррара — были взяты по *одному* разу. Это я беру только одинъ изъ примѣровъ, но и онъ можетъ быть еще болѣе выразителенъ, чѣмъ кажется съ перваго взгляда: можетъ быть вѣдь всего какихъ-нибудь 2 — 3 чловѣка заглянули по одному разу во всѣ означенныя книги. Но и въ области беллетристики встрѣчаемъ поразительныя вещи. Въ 1883 г. въ Нижегородской библиотекѣ Эмаръ читался почти въ полтора раза больше Щедрина, Террайль въ 1,34 раза больше Печерскаго, Монтенень больше Островскаго, Гоголя, Некрасова, Григоровича, Пушкина, Гончарова, Добролюбова. Рѣшетникова, почти въ 3 раза больше Лермонтова. Въ 1884 г. тамъ же Габоріо читали больше, чѣмъ Аксакова, Поль де-Кока больше, чѣмъ А. Толстого, М. Вовчка, Грибоѣдова, Кольцова, и только одинъ Достоевскій превозмогъ Террайля. Тамъ же въ 1889 г. Гоголя брали 167 разъ, Островскаго 141, а Эмара 295, Монтенена 199 и т. д.

Но оставимъ въ сторонѣ вопросъ о томъ, что у насъ печатается и читается, и хорошо ли, что печатается и читается именно это. Возьмемъ количественную сторону нашего просвѣщенія въ связи съ книгопечатаніемъ. На миллионъ жителей приходится періодическихъ изданій въ Швейцаріи 230, Бельгіи 153, Германіи 129, Франціи 114, Норвегіи 89, Великобританіи 88, Испаніи 68, Италіи 51, Австріи 43, Греціи 36, Сербіи 26, Россіи 9. — По свѣдѣніямъ главнаго управленія по дѣламъ печати, во всей европейской Россіи въ 1883 г. книжныхъ лавокъ, магазиновъ и складовъ было 1377: въ 1884 г. —

1453; въ 1885 г.—1543. Затѣмъ число ихъ начинается падать: въ 1886 г.—1332; въ 1887—1271: дальнѣйшихъ свѣдѣній нѣтъ. Если изъ послѣдней цифры мы вычтемъ число книжныхъ лавокъ и магазиновъ, находящихся въ Петербургской и Московской губерніяхъ, то на всю остальную европейскую Россію ихъ придется 811. Въ томъ числѣ, напримѣръ, на всю Олонецкую губ., «если вѣрить официальнымъ свѣдѣніямъ» (а почему бы имъ не вѣрить?), приходится всего *одна* книжная лавка, на Уфимскую и Оренбургскую по *два*, на всю Сибирскую—4, Калужскую—6, Псковскую—7 и т. д.—Въ издательской дѣятельности въ 1890 г. принимали участіе лишь 141 городъ (въсѣхъ городовъ больше 600), въ 1892 г.—163, въ 1893 г.—152 («втеченіе этого года въ одиннадцати городахъ типографіи закрылись или бездѣйствовали»). При этомъ есть и губернскіе города, въ которыхъ не выходитъ втеченіе года ни одного сочиненія, и даже такой губернскій и университетскій городъ, какъ Харьковъ, выпустилъ, напримѣръ, въ 1890 г. меньше ста сочиненій.

Довольно. Я вовсе не думаю исчерпывать весь подходящій матеріалъ, заключающійся въ книжкѣ г. Рубакина. Замѣчу только, что г. Рубакинъ отнюдь не склоненъ смотрѣть на дѣйствительность непремѣнно сквозь темныя очки. Напротивъ. Онъ готовъ подчеркнуть всякій просвѣтъ, хотя бы это былъ всего только «одинъ учитель въ З., имѣющій сочиненія Пушкина, Гоголя, Л. Толстого, Лермонтова, Тургенева, Кольцова, Гаршина, Надсона, Златовратскаго, Успенскаго, Гете, Шекспира, нѣкоторые сочиненія Шерра и еще кое-какія серьезныя книги» («Этюды», 33). Но какъ ни старается г. Рубакинъ отмѣтить даже самомалѣйшіе лучи свѣта въ мірѣ «русской читающей публики», въ общемъ картина выходитъ не веселая. Приведу эпизодъ, въ которомъ лучъ свѣта хорошо контрастируетъ съ темнымъ фономъ, а именно прекрасныя слова одного изъ корреспондентовъ г. Рубакина, «пожилого рабочаго»: «Какъ жалки эти образованные, которые срываютъ свой вѣнецъ совершенства (sic). промѣнявъ его не на ревностное служеніе, а на низкое и безчестное собирательство,—собирательство грошей для утоленія ненавистной своей алчности. Человѣкъ, достигшій такого совершенства (т. е. образованія), долженъ считать себя какъ бы не принадлежащимъ себѣ, а всей Россіи, потому что когда она дошла до теперешняго процвѣтанія, многихъ жертвъ ей это стоило, много пролилось трудового пота и крови, и не одинъ человѣкъ, а быть можетъ сотни тысячъ людей пали мучениками науки. И тѣ, которые по готовому пути выведенные въ свѣтъ, не трудятся сами для общаго блага отечества, а мирно предаются роскоши и нѣгѣ,—не достойны называться сынами отечества. Ахъ, сколько такихъ Россія содержитъ

въ сердцѣ своемъ и кормить грудью, какъ любимыхъ сыновей, не замѣчая, что дѣти эти разрушаютъ ея здоровье. Бѣдная Россія...» и т. д. («Этюды», 213).

Я назвалъ эти слова прекрасными, и, конечно, они прекрасны. И изъ вполне просвѣщенныхъ людей, не говоря уже о «мирно предающихся роскоши и нѣгѣ», а быть можетъ и изъ тѣхъ, которые живутъ, «погружаясь въ искусства, науки», — немногіе достигаютъ такой ясности сознанія своего долга и такой точной его мотивировки.

„Молодая поэзія“ гг. Перцовыхъ и „Письма о поэзіи“ г. Перцова.

Гг. П. и В. Перцовы составили и издали «Сборникъ избранныхъ стихотвореній молодыхъ русскихъ поэтовъ» подъ заглавіемъ «Молодая поэзія». Въ предисловіи они называютъ этотъ сборникъ «первымъ въ своемъ родѣ». Онъ долженъ представить критикѣ и публикѣ матеріалъ «для общаго сужденія о характерѣ, достоинствахъ и недостаткахъ нашей молодой поэзіи, столь мало популярной и въ сущности столь мало извѣстной». Составители хотятъ способствовать «серьезному и безпристрастному» отношенію къ «новой полосѣ русской поэзіи, въ которой, какъ бы то ни было, заключается ея будущее». «Съ этою цѣлю, помимо общей характеристики молодой поэзіи, составители пытались—насколько это дозволяли рамки сборника—охарактеризовать и отдѣльныхъ, болѣе или менѣе выдающихся авторовъ... Въ видахъ болѣе объективнаго освѣщенія, въ сборникъ не включены авторы, лишь условно причисляемые къ разряду «молодыхъ», вслѣдствіе ихъ направленія, поздняго начала литературной дѣятельности и т. н.»

Читатель очень ошибется, если предположитъ, что составители сборника сами дали «общую характеристику молодой поэзіи» и «пытались охарактеризовать отдѣльныхъ авторовъ». Это они просто неловко выразились. Понимать же ихъ надо такъ, что они выбрали произведенія наиболѣе, по ихъ мнѣнію, характерныя, какъ для всей «новой полосы», такъ и для каждаго отдѣльнаго молодого поэта. Это легко понять всякому, кто, заглянувъ въ книжку, увидитъ, что никакихъ характеристикъ, ни общей, ни частныхъ, тамъ нѣтъ. Гораздо труднѣе понять, что разумѣютъ они подъ «молодой поэзіей» и «новой полосой русской поэзіи». Они называютъ свой сборникъ «первымъ въ своемъ родѣ». Чѣмъ же онъ отличается, напримѣръ, отъ сборника «Послѣ Пушкина», изданнаго въ 1890 г. редакціей «Русской Мысли», или отъ сборника г. Бончъ-Бруевича

*) Июнь 1895.

«Избранныя произведенія русской поэзіи», издавнаго въ 1894 г.? Гг. Медвѣдскій, Мережковскій, Минскій, Надсонъ, К. Р., Фофановъ, Фругъ — представлены и въ сборникѣ «Русской Мысли», и въ сборникѣ гг. Перцовыхъ. Сборникъ г. Бончъ-Бруевича вышелъ значительно позже сборника «Русской Мысли», и потому въ немъ естественно еще больше именъ, фигурирующихъ и въ новѣйшемъ сборникѣ гг. Перцовыхъ, а именно: гг. Бальмонтъ, Будищевъ, Величко, Коринфскій, Ладженскій, Лебедевъ, Ленцевичъ, Льдовъ, Медвѣдевъ, Мережковскій, Минскій, Надсонъ, К. Р., Оедоровъ, Фофановъ, Фругъ. Изъ программы «собранія произведеній русскихъ поэтовъ», издаваемого подъ редакціей г. Венгерова, видно, что IV томъ его будетъ занятъ «новѣйшими поэтами», въ числѣ которыхъ встрѣчаемъ, между прочимъ, и гг. Бальмонта, Величко, К. Р., Льдова, Мережковского, Минскаго, Фофанова, Фруга, затѣмъ еще цѣлый рядъ именъ, въ сборникѣ гг. Перцовыхъ отсутствующихъ, «и мн. др.», и подъ этимъ «мн. др.» слѣдуетъ можетъ быть разумѣть всѣхъ облюбованныхъ гг. Перцовыми. Правда, IV томъ сборника г. Венгерова еще не вышелъ, и я упоминаю объ немъ только затѣмъ, чтобы отмѣтить опредѣленность программы сборника г. Венгерова, Правда, заглавіе IV тома — «Новѣйшіе поэты» — само по себѣ еще ничего не говоритъ, но содержаніе этого тома опредѣляется хронологически, по крайней мѣрѣ, въ одну сторону, заглавіемъ предъидущаго, третьяго тома: «Сороковые и шестидесятыя годы». Сборникъ г. Бончъ-Бруевича начинается Пушкинымъ, содержаніе сборника «Русской Мысли» характеризуется самымъ заглавіемъ: «Послѣ Пушкина». Сборникъ гг. Перцовыхъ называется просто «Молодая поэзія», безъ дальнѣйшихъ опредѣленій. Но какая то руководящая мысль была у составителей, и притомъ чрезвычайно, повидимому, строгая. «Въ видахъ болѣе объективнаго освѣщенія» гг. Перцовы устранили поэтовъ, «лишь условно причисляемыхъ къ разряду «молодыхъ», вслѣдствіе ихъ направленія, поздняго начала литературной дѣятельности и т. п.». Оговорка эта можетъ, правда, возбудить нѣкоторыя недоумѣнія. Въ самомъ дѣлѣ: къъ причисляются къ разряду молодыхъ устранимые гг. Перцовыми поэты? въ чемъ именно состоитъ то направленіе, «вслѣдствіе» котораго они причисляются къ молодымъ? какія еще «т. п.» условности препятствуютъ нѣкоторымъ поэтамъ занять мѣсто въ сборникѣ «Молодая поэзія»? Но, во всякомъ случаѣ, гг. Перцовы хотя и руководствоваться «объективнымъ» и «безусловнымъ» мѣриломъ молодости. Они его не указываютъ, но, принимая въ соображеніе оговорку насчетъ направленія и проч., естественно думать, что такимъ объективнымъ и безусловнымъ мѣриломъ является для нихъ возрастъ: коли молодой и стихи пишетъ, такъ стало быть молодой поэтъ, и — пожа-

дуйте въ сборникъ, а ни направленіемъ, ни позднимъ началомъ литературной дѣятельности гг. Перцовыхъ не проведешь! Вотъ эта то чрезвычайная строгость и обдуманность выбора и побудила гг. Перцовыхъ исключить всѣхъ поэтовъ старшаго возраста и ввести нѣкоторыхъ, пропущенныхъ всѣми другими сборниками, руководствующимися разными «условностями» или даже вовсе не гонящимися за молодостью. Эти, другими пренебреженные, а гг. Перцовыми облюбованные поэты, конечно, особенно характерны для «Молодой поэзіи», и я приведу, для образчика, стихотвореніе одного изъ нихъ, г. Лялечкина.

Незабудки, васильки,
Васильки и незабудки...
Жду я въ полѣ, у рѣки...
Нѣтъ и нѣтъ моей малютки!

Жду... О, Боже, какъ хорошъ
Этотъ кроткій вечеръ лѣта!
Золотится въ полѣ рожь,
Соловей рыдаетъ гдѣ-то.

Жду и хочется рыдать
Самому мнѣ нѣжной пѣней—
Той, чей взоръ цвѣтка прелестью
Не видать, не видать!

Время мчится... Жду опять...
Солнце медлитъ въ ожиданьи —
Солнце хочетъ на прощанье
Русый локонъ цѣловать.

Ужъ давно погасъ востокъ...
Я томлюсь, я изнываю
И, сорвавши ваянцекъ,
Ленестки перебираю.

«Любить?»... «Нѣтъ?»—и ленестки
Шепчутъ: «да!»—а нѣтъ малютки!..
Незабудки, васильки,
Васильки и незабудки...

Читатель не нуждается, конечно, въ помощи критики для оцѣнки оригинальности и художественныхъ красотъ этого стихотворенія. Да вѣдь и не въ красотѣ или оригинальности тутъ дѣло, а въ молодости. Коли молодъ и пишешь стихи, значитъ — молодой поэтъ... Казалось бы, это такъ «безусловно» истинно, что уже никакихъ недоразумѣній не можетъ вызвать. На дѣлѣ, однако, выходитъ не совсѣмъ такъ. Возрастъ не только г. Лялечкина, а и большинства поэтовъ, представленныхъ въ сборникѣ гг. Перцовыхъ, мнѣ совершенно неизвѣстенъ. Но нѣкоторые изъ нихъ настолько уже успѣли обратить на себя вниманіе, что біографическія о нихъ

свѣдѣнія можно найти въ различныхъ справочныхъ изданіяхъ. И вотъ я вижу, напримѣръ, что допущенный въ составъ «Молодой поэзіи» г. Минскій родился въ 1855 г. Сорокъ лѣтъ ему, значитъ. Такъ ли ужъ это «безусловно» молодой возрастъ? Сорокалѣтній министръ, даже сорокалѣтній генералъ, конечно, молодой министръ, молодой генералъ, но это потому, что министры и генералы *fiunt*, поднимаются по нѣкоторой іерархической лѣстницѣ, для большинства очень длинной, а *въдъ poetae nascuntur*. Сорокалѣтній поэтъ можетъ быть знаменитъ, великъ, гениаленъ: онъ можетъ быть молодъ душой и оставаться такимъ не то что до сорока, а и до восьмидесяти лѣтъ, но назвать его молодымъ поэтомъ «въ объективномъ освѣщеніи» возраста, — не знаю... Если же г. Минскій удовлетворяетъ гг. Перцовыхъ своимъ возрастомъ, то почему нѣтъ въ сборникѣ, напримѣръ, г. Мартова (родился тоже въ 1855 г.), который представленъ и въ сборникѣ «Русской Мысли», и у г. Бончъ-Бруевича, и въ программѣ сборника г. Венгерова?

Составъ «Молодой поэзіи» вызываетъ много такихъ частныхъ недоумѣній и не даетъ никакихъ матеріаловъ для ихъ разрѣшенія. Къ счастью, одинъ изъ гг. Перцовыхъ, а именно г. П. Перцовъ, издалъ еще «Письма о поэзіи», которыя естественно должны разсѣять недоразумѣнія, вызванныя сборникомъ.

Занятная книжечка эти «Письма о поэзіи»: и маленькая (съ небольшимъ три печатныхъ листа малаго формата), и коготокъ у нея тупой. А есть всетаки коготокъ, при томъ, не смотря на тупость, очень зазорный, такъ что при чтеніи мнѣ часто припоминались самоувѣренныя слова однофамильца г. Перцова въ «Тяжелыхъ дняхъ» Островскаго: «я выучу! Василискъ Перцовъ выучить!» Спѣшу, впрочемъ, прибавить, что никакого сродства между Василискомъ Перцовымъ и г. П. Перцовымъ — нѣтъ, кромѣ одинаковой фамиліи, да вотъ этой твердой рѣшимости «выучить».

Открывается книжечка г. Перцова разсужденіемъ объ «идеализмѣ и реализмѣ» въ примѣненіи къ изящнымъ искусствамъ. Авторъ понимаетъ это дѣло такъ: «Долженъ-ли писатель видѣть цѣль своей работы въ простомъ изображеніи дѣйствительной жизни такъ, какъ она *есть* (въ реализмѣ), или же она, эта жизнь, должна служить для него только матеріаломъ, только пособіемъ (и то не необходимымъ) для достиженія другихъ, болѣе высокихъ цѣлей, — для изображенія того, что *должно быть* (т. е. идеала)?» Это г. Перцовъ называетъ «двумя точными логическими формулами, взаимно исключаящими другъ друга».

Строгій человекъ г. П. Перцовъ. Въ этомъ отношеніи онъ пожалуй оять напоминаетъ своего однофамильца Василиска, который тоже былъ «человѣкъ души непреклонной». Непреклонная душа

г. Перцова требуетъ безусловныхъ рѣшеній: или — или. Или молодой поэтъ, или не молодой, а побочныя соображенія, въ силу которыхъ тотъ или другой «лишь условно» причисляется къ молодымъ, претятъ непреклонной душѣ. Такъ и тутъ: или жизнь, какъ она есть, и это будетъ реализмъ, или жизнь, какою она должна быть, и это идеализмъ. И ни грона уступки ни съ той, ни съ другой стороны, ибо въдь это взаимно другъ друга исключаютія формулы...

Если, однако, непреклонность души г. Перцова не устранила нашихъ недоумѣній насчетъ молодости сорокалѣтнихъ, а можетъ быть и еще болѣе зрѣлыхъ поэтовъ, то и въ настоящемъ случаѣ мы всетаки немножко смущены. Будто ужъ въ самомъ дѣлѣ такъ рѣшительно исключаютъ другъ друга «точные логическія формулы» г. Перцова? Будто ужъ такъ рѣшительно нельзя, хотя бы даже однимъ и тѣмъ же перомъ, въ одномъ и томъ же произведеніи, изображать и жизнь, какъ она есть, и жизнь, какою она должна быть? Я полагаю, что исторія литературы представляетъ многочисленные примѣры такого сочетанія якобы непримиримыхъ формулъ. Да ихъ, должно быть, и самъ г. Перцовъ знаетъ, хотя, повидимому, онъ обладаетъ очень скромными свѣдѣніями по предмету, о которомъ излагаетъ свои мысли. Скромными свѣдѣніями обладаетъ и можетъ быть по этому самому, а можетъ быть ужъ такъ, по природнымъ своимъ свойствамъ, не совѣмъ ясно понимаетъ то, чему другихъ учить. Вотъ, напримѣръ, его разсужденіе о Достоевскомъ. Но мнѣнію г. Перцова, мы совершенно напрасно «восторгаемся *реализмомъ* Достоевскимъ». Ибо: «Кто и гдѣ видѣлъ такого «идіота», какъ князь Мышкинъ, такого гениальнаго убійцу, какъ Раскольниковъ, такое воплощеніе сладострастія, какъ старикъ Карамазовъ? Психіатры говорятъ, что Достоевскій сумѣлъ изобразить медицински-вѣрно многіе припадки сумасшествия. Можетъ быть, но тѣмъ не менѣе *такихъ* сумасшедшихъ, сумасшедшихъ-геніевъ, какъ Раскольниковъ и князь Мышкинъ, психіатры не знаютъ, — ихъ знала, только одна болѣзненная фантазія писателя, въ умѣ котораго непостижимымъ образомъ соединились эти двѣ крайности. И когда и гдѣ возможенъ такой ходъ реальной жизни, такое сплетеніе странностей и совпаденій, какъ въ романахъ Достоевскаго, у котораго обыкновенно въ одиѣ сутки совершается масса событій? Или мыслимы-ли въ дѣйствительности такіе разговоры, какіе ведутъ между собою братья Иванъ и Алексѣй Карамазовы, отдѣльныя реплики которыхъ занимаютъ десятки страницъ?.. А рѣчи на судѣ въ «Карамазовыхъ»? А «тигъ» Ставрогина въ «Вѣсахъ»? — Все это возможно лишь на бумагѣ, въ книгахъ, и все это нужно художнику совѣмъ не для изображенія «правды жизни», а для другихъ, выс-

шихъ цѣлей. А мы читаемъ все это неправдоподобіе и восторгъ блестящимъ развитіемъ «реализма» въ русской литературѣ».

Очевидно, «мы» чрезвычайно глупы, но — «Василискъ Перцовъ выучить!»

Однако, серьезно-то говоря, надо не скорбѣть о нашей глупости и не рассчитывать на выучку г. П. Перцова, а удивляться тому количеству сумбура, которое ему удалось сосредоточить въ столь немногихъ строкахъ. Не знаешь, съ котораго конца и приступить къ нему. Начать хоть съ того, что г. Перцовъ противопоставилъ одну другой двѣ «формулы»: жизнь, какъ она есть, и жизнь, какою она должна быть, и ничего третьяго искусству не предоставилъ: или — или. Что же такое, напримѣръ, старикъ Карамазовъ? Г. Перцовъ утверждаетъ, что эта ходячая гнусность въ жизни, какъ она есть, не встрѣчается, и значитъ, Достоевскій видѣлъ въ Ѳедорѣ Карамазовѣ свой идеаль, частицу жизни, какою она должна быть. Такъ-ли, г. Перцовъ? Или ужъ уступочку какую-нибудь сдѣлаете? Но я позволю себѣ, кромѣ того, замѣтить, что г. Перцовъ грубо ошибается, полагая, что такого воплощенія сладострастія, какъ Ѳедоръ Карамазовъ, никто никогда въ дѣйствительной жизни не видалъ. Еслибы г. П. Перцовъ какъ-нибудь выбралъ время, свободное отъ собиранія чужихъ стиховъ и писанія собственныхъ писемъ, да заглянулъ въ какой-нибудь курсъ психіатріи или судебной медицины, то убѣдился бы, что Ѳедоръ Карамазовъ взятъ несомнѣнно изъ жизни, какъ она *есть*, но какою она *не должна быть*. А что касается «сумасшедшихъ-геніевъ», которыхъ будто бы не знаютъ психіатры, то, со времени знаменитаго изреченія—«геній есть неврозъ» и до книги Ломброзо «Геній и помѣшательство», это сближеніе успѣло даже оскомину набить. Казалось бы, одного заглавія книги Ломброзо, имѣющей и въ русскомъ переводѣ, достаточно, чтобы воздержаться отъ утверждения, будто «сумасшедшихъ-геніевъ знала только одна болѣзненная фантазія писателя, въ умѣ котораго непостижимымъ образомъ соединились эти двѣ крайности». Но—«Василискъ Перцовъ выучить!»

Минуя многія другія подробности въ приведенномъ сумбурѣ о Достоевскомъ, остановлюсь еще только на одной. Надо замѣтить, что г. Перцовъ, какъ мы увидимъ ниже, есть большой поклонникъ и защитникъ «красоты». И вотъ этотъ-то защитникъ красоты полагаетъ, что нѣкоторыя отрицательныя черты произведеній Достоевскаго,—ихъ растянutosть, непропорціональность, все эти «реплики въ десятки страницъ» и т. п., хотя и не соотвѣтствуютъ жизни, какъ она есть, но «нужны художнику для высшихъ цѣлей». Это соображеніе поразительно уже потому, что «красота» несомнѣнно оскорбляется этими недостатками, какъ оскорбляется она, напри-

мѣръ, немѣрно длиннымъ носомъ на красивомъ въ другихъ отношеніяхъ лицѣ, или непропорціональностью частей статуи, или отсутствіемъ перспективы въ картинѣ и т. п. Громадная творческая сила Достоевскаго и обиліе независимаго отъ эстетики интереса въ его произведеніяхъ заслоняютъ отъ насъ эти его недостатки, но они остаются все-таки недостатками, что и самъ г. Перцовъ призналъ бы, еслибы обладалъ хоть искрой художественнаго чутія. Затѣмъ, трудно даже представить себѣ, какимъ образомъ «реплики въ десятки страницъ» и тому подобныя «неправдоподобія» могутъ быть связаны съ «высшими цѣлями», что бы мы подъ этими словами ни разумѣли. Если бы еще г. Перцовъ сказалъ, что неправдоподобія Достоевскаго *не мѣшаютъ* высшимъ цѣлямъ искусства, то это было бы понятно, и мы бы только спросили разъяснить намъ, въ чемъ, по мнѣнію г. Перцова, состоятъ эти высшія цѣли. Но «человѣкъ души непреклонной», утверждаетъ, что неправдоподобія *нужны...*

Въ концѣ своей блистательной диссертациі объ идеализмъ и реализмъ г. П. Перцовъ задаетъ себѣ вопросъ: «развѣ признаніе идеала и служеніе ему заключается въ себѣ что-нибудь противорѣчащее идеямъ реализма, если только понять ихъ въ полномъ, широкоемъ смыслѣ?» Ну вотъ, и славу Богу! Значитъ, вся штука въ томъ, чтобы *понять*, и еслибы г. Перцовъ *понялъ* не въ концѣ диссертациі, а въ началѣ ея, то вся диссертациа приняла бы совершенно иной видъ; ибо «двѣ точныя логическія формулы, взаимно исключаютія другъ друга», несколько бы другъ друга не исключали. Но лучше поздно, чѣмъ никогда, и если г. Перцовъ хоть въ концѣ-то диссертациі *понялъ*, то —

Чего жъ Перцовъ хочетъ, просить?

Чего Перцовъ плачетъ?

«Хочетъ онъ, хочетъ, просить онъ, просить», чтобы мы отождествили «неправдоподобіе» съ «идеаломъ», то, чего не только нѣтъ, а и не можетъ быть, съ тѣмъ, что должно быть. Онъ полагаетъ, что такой сквернавецъ, какъ Федоръ Карамазовъ, невозможенъ въ жизни, «какъ она есть», и долженъ быть зачисленъ въ жизнь, «какою она должна быть», что реплики въ десятки страницъ, не практикующіяся въ дѣйствительности, знаменуютъ собою нѣчто идеальное, долженствующее быть... Съ другой стороны, однако, я увѣренъ, что г. Перцовъ есть человѣкъ высокой нравственности, и что его идеалъ далекъ отъ такого разслабленнаго и распущеннаго безобразія, какъ Федоръ Карамазовъ. Въдѣ это такая мерзость и такъ реально (реально, г. Перцовъ!) она изображена, что, за исключеніемъ нѣкоторыхъ, вызывающихъ улыбку, забавныхъ выходовъ въ

монастырь, объ ней и вспомнить противно. Не вѣрится мнѣ также, чтобы г. Перцовъ считалъ идеальнымъ отношеніемъ къ собесѣдникамъ — мучить ихъ репликами въ десятки страницъ. А изъ всего этого слѣдуетъ, что, при всей непреклонности своей души, г. Перцовъ не знаетъ, «чего Перцовъ хочетъ, просить, чего Перцовъ плачетъ».

Придя къ такому прискорбному заключенію, я уже думалъ совсѣмъ воздержаться отъ дальнѣйшаго чтенія «Писемъ о поэзіи»: хорошенькаго повемножку; но вспомнилъ, что «Письма» должны помочь разясненію вопроса «о новой полосѣ русской поэзіи», представленной въ сборникѣ «Молодая поэзія». Вспомнилъ и, какъ Шиллеровскій отважный «Водолазъ» въ морскую пучину за золотымъ кубкомъ, такъ и я вновь погрузился въ пучину глубокомыслія г. Перцова. Водолазъ видѣлъ на днѣ морскомъ разные ужасы и ему было что поразсказать занимательнаго. Я же въ своемъ путешествіи не встрѣчалъ ничего, кромѣ глупостей, и потому подѣлюсь съ читателемъ лишь тѣми, которыя имѣютъ непосредственное отношеніе къ нашему вопросу.

Прежде всего мы открываемъ еще одинъ «объективный» признакъ принадлежности къ «новой полосѣ русской поэзіи»: въ составъ ея входитъ, повидимому, не вообще молодежь, а именно учащаяся молодежь — гимназисты и студенты. Въ этой средѣ, по наблюденіямъ г. Перцова, идетъ нынѣ «повальное (!) стихописаніе и непрерывная (!) игра на віолончеляхъ». Почему изъ всѣхъ музыкальныхъ инструментовъ только одна віолончель удостоилась такого вниманія учащейся молодежи, — г. Перцовъ не объясняетъ; изъ дальнѣйшаго изложенія видно, впрочемъ, что онъ это обмолвился или для красоты слога такъ слишкомъ уже опредѣленно выразился. Услышавъ гдѣ то, что такая «повальность и непрерывность» объясняется тѣмъ, что «молодежи дѣлать нечего», г. Перцовъ горячо возстаетъ противъ этого объясненія. Онъ доказываетъ, ссылаясь даже на свой собственный опытъ, что на долю нынѣшнихъ гимназистовъ и студентовъ приходится не меньше, а больше обязательныхъ учебныхъ занятій, чѣмъ въ прежнія времена. И, однако, — говоритъ онъ, — они «тратятъ значительную часть своего сравнительно краткаго досуга на писаніе стиховъ (такъ же, какъ на занятія музыкой, живописью и другими изящными искусствами, которыя нынѣ всѣ воскресли отъ временной летаргіи), а не на естественныя науки, какъ въ 60 гг., не на соціологію и политическую экономію, какъ въ 70-ые, и даже не на прямое продолженіе своихъ обязательныхъ занятій, какъ всего естественнѣе было бы ожидать». Г. Перцовъ очень доволенъ такимъ оборотомъ дѣлъ. Онъ его называетъ «воскресеніемъ художника», торжествомъ красоты, кон-

цомъ «великаго поста искусства» и радуется, что «цѣлая огромная область человѣческаго духа, область свѣтлая и радостная, область вѣрнаго и истиннаго счастья раскрывается передъ современною молодежью».

Не будемъ спорить съ г. Перцовымъ. Допустимъ, что онъ безусловно правъ и на почвѣ «реализма», и на почвѣ «идеализма». Допустимъ, что нынѣшніе гимназисты и студенты въ самомъ дѣлѣ повально стихи пишутъ и непрерывно на віолончеляхъ играютъ, и что это очень хорошо. Съ плодами этой «новой полосы русской поэзіи» этого «воскресенія художника» во всякомъ случаѣ очень интересно познакомиться, и такова, надо думать, задача сборника «Молодая поэзія». Но... неужели же такой способный человѣкъ, какъ г. Минскій, доживъ до сорока лѣтъ, все еще въ гимназическомъ или студенческомъ мундирѣ ходитъ? Этого вѣдь, кажется, и по закону нельзя. Обращаюсь опять къ справкамъ и нахожу, что г. Минскій кончилъ гимназію въ 1875 г., а университетъ въ 1879. Г. Мережковский пересталъ быть «учащимся» нѣсколько позже, но всетаки уже десять лѣтъ, какъ разстался съ университетомъ. Надсонъ... ну, этотъ всѣ земные курсы кончилъ. Не поручусь за всѣхъ поэтовъ, произведенія которыхъ вошли въ составъ сборника гг. Перцовыхъ,—можетъ быть между ними есть и гимназисты. Но кое съ кѣмъ изъ нихъ мнѣ случилось встрѣчаться, и если судить даже по одной только наружности, они значительно раньше нынѣшняго, провозглашаемаго г. П. Перцовымъ «воскресенія художника» разстались съ учебными заведеніями. Не удивительно поэтому, что нѣкоторые изъ допущенныхъ въ сборникъ поэтовъ огорчаютъ г. П. Перцова. Огорчаетъ его, напримѣръ, «новый поэтъ» Надсонъ, огорчаетъ «современный поэтъ» г. Минскій, и, очевидно, именно потому, что они не совсѣмъ новы и современны: они, будучи людьми талантливыми, имѣли несчастье попасть въ ту «полосу», когда «началось сочиненіе и кропаніе «гражданскихъ» стиховъ, стиховъ съ «тенденціей», съ «душкомъ», съ направленіемъ». Теперь все это, по свидѣтельству г. Перцова, кончилось или, по крайней мѣрѣ, начинается кончаться: «за послѣднее время мутная волна тенденцій начиняется снадать», — удовлетворяетъ г. Перцовъ, и молодое поколѣніе уже безъ всякой тенденціи повально стихи пишетъ и непрерывно на віолончеляхъ играетъ. Мимоходомъ сказать, віолончель прекрасный инструментъ, однако, играть на немъ непрерывно — должно быть всетаки очень скучно. Но это ужъ не наше дѣло: кто любитъ тыкву, а кто—офицера; г. же Перцовъ, по непреклонности души своей, меньше, какъ на повальность и непрерывность, не согласенъ. Но зачѣмъ же онъ въ такомъ случаѣ потревожилъ для своего сборника прахъ Надсона, не имѣющаго ничего общаго съ

«новой полосой русской поэзии»? Какіе такіе «объективные» признаки «безусловной» принадлежности г. Минскаго къ этой полосѣ?— Не знаю, читатель. Утѣшаю себя тѣмъ, что и г. Перцовъ не знаетъ.

Въ сборникѣ гг. П. и В. Перцовыхъ, какъ мы видѣли, нѣтъ никакой системы, никакой руководящей мысли. Это не значитъ, однако, что тамъ нѣтъ хорошихъ стихотвореній, которыхъ, пожалуй, и не было бы, еслибы гг. Перцовы руководились какой-нибудь своей системой, поскольку о достоинствахъ ея можно судить на основаніи «Писемъ о поэзіи». Нѣкоторыхъ изъ поэтовъ, допущенныхъ въ сборникѣ, гг. Перцовы совершенно напрасно берутся рекомендовать или пропагандировать, потому что, дескать, «наша молодая поэзія мало популярна и въ сущности мало извѣстна». Стихотворенія Надсона разошлись и продолжаютъ расходиться въ десяткахъ тысячъ экземпляровъ. Правда, это исключеніе. Но и гг. Минскій, Мережковский, Фофановъ, Фругъ, которымъ не посчастливилось затронуть своей поэзіей столько сердецъ, всетаки достаточно извѣстны. Они и въ другихъ сборникахъ фигурируютъ, и собранія своихъ стихотвореній издавали, и въ «Исторіи новѣйшей русской литературы» г. Скабичевскаго значатся. Было бы, поэтому, если не лучше, то оригинальнѣе и цѣлесообразнѣе, еслибы гг. Перцовы ограничились именно неизвѣстными или мало извѣстными поэтами. Не все же одни гг. Лятечкины живутъ въ этой пустынѣ неизвѣстности. Мнѣ хочется привести изъ сборника гг. Перцовыхъ одно хорошенькое стихотвореніе г. В. Гессена, поэта, мнѣ, по крайней мѣрѣ, совершенно неизвѣстнаго. Называется оно «Жизнь»:

Юноша, челнъ снаряжая, пускался въ открытое море...
Тщетно твердятъ старики, возвращаясь изъ странствій далекихъ,
Какъ беспощадно на морѣ свирѣствуютъ злобныя бури:
Какъ угрожаютъ пловцамъ и подводныя камни, и мели,—
Вѣрой, надеждой и силой блестятъ его смѣлыя очи.
Старцемъ къ желанному берегу онъ, наконецъ, подплывасть.
Видитъ—и здѣсь собираются юноши смѣлой толпою
Вѣрить отважно могучему морю безсильные челны.
Тщетно про тайныя мели и скалы, и бури твердитъ онъ—
Вѣрой, надеждой и силой восторженно блещутъ ихъ очи...

Въ книжечкѣ г. П. Перцова содержится, какъ мы видѣли, много глупостей. Но мы многихъ еще не видѣли. То есть я то видѣлъ, но не счелъ нужнымъ все видѣнное рекомендовать читателю, — это было бы долго и, въ концѣ концовъ, скучно. Однако, и въ этой полной чашѣ вздора есть одна мысль, заслуживающая вниманія, независимо, конечно, отъ того употребленія, которое изъ нея

дѣлаетъ г. Перцовъ. Это уже приведенная выше, вскользь брошенная мысль о зависимости характера поэзии отъ «полосы», въ которую тотъ или другой поэтъ «попадаетъ». Не то, чтобы эта мысль блистала оригинальностью, свѣжестью или поражала глубиной, но это все-таки не глупая мысль и на ней стоитъ остановиться. Равнымъ образомъ приведенное стихотвореніе г. Гессена не есть какое-нибудь изъ ряда вонъ выходящее произведеніе, но оно все-таки не дурно. Попробуемъ сонаставить эти двѣ маленькія свѣтленькія точки «Молодой поэзіи» и «Писемъ о поэзіи».

Стихотвореніе г. Гессена излагаетъ въ поэтической формѣ очень простую и общезвѣстную истину: въ юношахъ «кровь кипитъ и силъ избытокъ», и старцы тщетно стараются залить или хотя бы только ослабить это пламя холодными душами житейского опыта: придетъ, однако, пора, когда пламенные юноши сами станутъ убѣжденными сѣдинами и отягченными опытомъ старцами и въ свою очередь будутъ тщетно предостерегать вновь народившихся юношей. Все это, конечно, очень просто и общезвѣстно, но неужели же человѣчество вѣчно обречено вертѣться, какъ бѣлка въ колесѣ, въ этомъ почти чисто физиологическомъ коловращеніи поколѣній? Вѣдь знаетъ же каждый юноша, что онъ состарится, и помнитъ каждый старецъ, что онъ былъ когда то молодъ, и однако сколько житейскихъ драмъ разыгрывается на почвѣ взаимнаго непониманія старцевъ и юношей! Положимъ, что съ юности нельзя и требовать, чтобы онъ проникся еще неизвѣданнымъ имъ душевнымъ состояніемъ человѣка, прошедшаго черезъ горнило житейского опыта. Онъ можетъ лишь теоретически соображать, что и ему предстоитъ состариться и переимѣниться, можетъ довѣрять тому или другому старцу ради его какихъ-нибудь личныхъ качествъ, но съ ясностью представить себѣ, сколько и какихъ перьевъ выщиплетъ изъ его крыльевъ дальнѣйшее теченіе жизни — ему, конечно, трудно. Но старецъ находится въ иномъ положеніи. *Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait*, — гласитъ избитая французская поговорка. Въ ней есть правда, какъ въ всякой избитой поговоркѣ, но Лаврецкій въ «Дворянскомъ гнѣздѣ» внесъ въ нее хорошую поправку, говоря о старикѣ Леммѣ: «быть молодымъ и не умиѣть, это сносно, но состариться и не быть въ силахъ, — это тяжело». Тѣмъ хороша эта поправка, что указываетъ на необязательность для старца разочарованія въ юношескихъ мечтахъ, — не онѣ сами по себѣ терпятъ ущербъ, а его, старца, силы ослабли; пусть же молодая сила исполняютъ то, что уже не доступно ему, пусть «играетъ младая жизнь». Вѣдь въ составъ его житейского опыта входитъ и то обстоятельство, что и онъ былъ молодъ и что тщетно пугали его старцы, «какъ безнадежно на морѣ свирѣствуютъ злобныя бури, какъ

угрожаютъ пловцамъ и подводныя камни, и мели». Онъ можетъ, конечно,—мало того,—долженъ предъявить юношамъ результаты своего опыта, но затѣмъ сказать словами Экклезіаста: «да вкушаетъ сердце твое радости во дни юности твоей и ходи по путямъ сердца твоего и по видѣнію очей твоихъ»...

По путямъ сердца твоего и по видѣнію очей твоихъ... Это не значитъ—по указаніямъ модной доктрины, «новаго слова», «послѣдняго слова», «новыхъ вѣяній». Всѣ эти громкія вещи иногда совпадаютъ съ «путями юношескаго сердца» и «видѣніемъ юношескихъ очей», но иногда находятся съ ними въ противорѣчіи. Это зависитъ отъ того, въ какую «полосу попадетъ» юноша. Намъ теперь не время заниматься вопросомъ о томъ, отчего жизнь вообще «полосата» бываетъ и въ какомъ порядкѣ историческія полосы другъ за другомъ слѣдуютъ. Посидимъ ужъ съ г. П. Перцовымъ, хоть оно и не очень весело. Этотъ глубокомысленный человѣкъ знаетъ о существованіи историческихъ полосъ, захватывающихъ и окрашивающихъ собою людей. Онъ полагаетъ, что, напримѣръ, Надсонъ попалъ въ «полосу преобладанія гражданина надъ человѣкомъ», чѣмъ и объясняются для г. Перцова непріятныя для него стороны этого «молодого», однако, поэта, а попади онъ въ другую полосу, скажемъ въ нынѣшнюю, онъ далъ бы свободный полетъ своему таланту и не боялся бы «играть стихомъ отъ скуки» или вообще былъ бы похожъ, напримѣръ, на г. Ляличкина. Не будемъ спорить о томъ, вѣрно ли характеризуетъ г. П. Перцовъ ту полосу, въ которую попалъ Надсонъ, и о томъ, какія вѣроятности и возможности предстояли бы Надсону, еслибы онъ не умеръ такъ рано. Замѣтимъ только, что люди крупные, оригинальные, сильные не всегда и не всякой полосой могутъ быть окрашены, а слабосильное, блѣдное большинство дѣйствительно безъ остатка растворяется въ данной полосѣ. Но вотъ что любопытно и характерно. Не нравящееся г. П. Перцову теченіе есть «полоса»,—нѣчто временное, переходящее, а гг. Ляличкина и всѣ эти повально пишущіе стихи и непрерывно играющіе на віолончеляхъ, это уже не полоса, а конечный пунктъ, достигнутый безсмертный идеаль, новое и послѣднее слово. Далѣе, въ чемъ же состоитъ это окончательное и притомъ юношамъ приличествующее слово? Весьма характерно, что г. П. Перцовъ находитъ его не у какого-нибудь новаго, молодого поэта, новѣе и моложе Надсона, напримѣръ, хоть бы у г. Ляличкина, а у старца Фета. «Когда,—говоритъ г. Перцовъ,—поэту (Фету) указывали на людскія страданія, требуя его помощи, онъ съ удивительною смѣлостью и ясностью духа умѣлъ не смущаться плоскими упреками (?), понимая, въ чемъ можетъ заключаться истинная, возможная отъ него помощь:

Когда безчиствами обиженный опять,
 Въ груди заслынишь зовъ къ рыданью—
 Я ради мукъ твоихъ не стану измѣнять
Свободы вѣчному призванью *).

Страдать! Страдаютъ все, страдаетъ темный зѣфир.
 Безъ упованья, безъ сознанья;
 Но передъ нимъ, туда, на вѣкъ закрыта дверь,
 Гдѣ *радость теплится страданья.*

Ожесточенному и черствому душой
 Пусть эта радость не знакома,
Зачѣмъ же миру бьешь ребяческой рукой.
Что не труба она погрома?
Къ чему противиться природѣ и судьбѣ?—
На земаю сносятъ эти звуки
Не бурю страстную, не вызовы къ борьбѣ,
А исцѣленіе отъ муки.

При всемъ вниманіи въ это стихотвореніе и въ частности въ подчеркнутыя г. П. Перцовымъ строки, мнѣ не вполнѣ ясенъ его смыслъ, равно какъ и смыслъ вступленія самого г. Перцова. Поэту «указываютъ на людскія страданія, требуя его помощи» а онъ «не смущается плоскими упреками». Не смущаться плоскими упреками очень похвально, но я не вижу, гдѣ же они въ данномъ случаѣ, эти плоскіе упреки? Повидимому, просьба о помощи въ страданіяхъ—такой квалификаціи вовсе не заслуживаетъ, да вѣдь поэтъ, наконецъ, и обѣщаетъ помощь въ самомъ драгоцѣнномъ видѣ «исцѣленія отъ муки». Правда, хотъ «муки» и хорошо рѣмуютъ со «звуками», но рѣдко какую настоящую муку можно дѣйствительно исцѣлить звуками, однако, самъ-то поэтъ все-таки вѣрится въ исцѣленіе и слѣдовательно въ то, что онъ оказываетъ помощь. Чего же онъ, или за него г. Перцовъ, брыкается? Далѣе, къ кому собственно относятся слова: «къ чему противиться природѣ и судьбѣ?» Къ страдающему-ли, которому рекомендуется вкусить «радость страданія» или страдать безъ радости, или же къ поэту, которому природа и судьба повелѣваютъ издавать звуки и только? Обращаться съ этими вопросами къ г. П. Перцову было бы совершенно напраснымъ трудомъ. Этотъ глубокомысленный человѣкъ, не понимающій, къ сожалѣнію, «чего Перцовъ хочетъ, проситъ», сочувственно цитируя приведенное стихотвореніе Фета, въ другомъ мѣстѣ столь же сочувственно цитируетъ извѣстное стихотвореніе Лермонтова:

Бывало, мѣрный звукъ твоихъ могучихъ словъ
 Воспламенялъ бойца для битвы;
 Онъ нужень былъ толпѣ, какъ чаша для пировъ,
 Какъ фиміамъ въ чаши молитвы.

*) Курецъ во всемъ стихотвореніи принадлежитъ г. Перцову

*Твой стихъ, какъ Божій громъ носился надъ толпою *),*
 И отзвукъ мыслей благородныхъ
 Звучалъ, какъ колоколъ на башнѣ вѣчевой
 Во дни торжествъ и бѣдъ народныхъ.

Фетъ не хочетъ быть «трубой погрома» (хотя никто его объ этомъ не проситъ), а Лермонтовъ унодобляетъ стихъ поэта «Божьему грому» и «вѣчевому колоколу». А г. П. Перцовъ поочередно рекомендуетъ и то, и другое: вотъ, дескать истинное назначеніе поэзіи. Тѣмъ не менѣе, по общему своему тону г. Перцовъ явно склоняется въ сторону Фета, и его идеаль «молодой» поэзіи состоитъ въ томъ, что на просьбу страдающаго о помощи поэтъ отвѣчаетъ: я тебѣ сейчасъ дамъ исцѣленіе отъ муки, слушай—

Незабудки, васильки,
 Васильки и незабудки..
 Иду я въ полѣ, у рѣки..
 Нѣтъ и нѣтъ моей малютки!

А если еще при этомъ віолончели будутъ непрерывно играть, то г. П. Перцовъ будетъ уже вполне удовлетворенъ.

Юношѣ, конечно, свойственно поджидать «въ полѣ, у рѣки», а также и въ прочихъ мѣстахъ, «малютку», и дай имъ Богъ счастья и радости, и здоровыхъ, красивыхъ дѣтей, которыя, прийдя въ возрастъ, тоже будутъ въ свою очередь поджидать въ полѣ, у рѣки, а также и въ прочихъ мѣстахъ. И пусть они идутъ по путямъ сердца своего и по видѣнію очей своихъ, не смущаясь разсказами старцевъ «про тайныя мели и скалы, и бури». Да вѣдь они навѣрное и не послушаются старческихъ предостереженій, какъ и тѣ юноши въ стихотвореніи г. Гессена. Но нуждаются ли въ какихъ нибудь старческихъ предостереженіяхъ юноши, слѣдующіе завѣтамъ Фета? Иначе сказать—юноши ли они, хотя бы имъ было 15—20 лѣтъ? По путямъ ли юношескаго сердца и видѣнію юношескихъ очей идутъ тѣ молодые люди, которые или равнодушно проходятъ мимо страданія, или полагаютъ дать страдающему «исцѣленіе отъ муки», сыгравъ ему нѣчто на віолончели или изобразивъ въ рномованныхъ строчкахъ свое свиданіе съ «малюткой»? Скажутъ, можетъ быть, какъ и г. П. Перцовъ говоритъ, что поэзія не исчерпывается воспроизведеніемъ маленькихъ личныхъ чувствъ поэта, хотя бы совершенно законныхъ, и что нельзя смотрѣть на поэзію, какъ на «стишки». Г. Перцовъ очень негодуетъ противъ «взгляда на стихи, какъ на стишки», и онъ былъ бы, конечно, вполне правъ, если бы направлялъ свое негодованіе и упреки по надлежащему адресу: не къ намъ, читателямъ, а къ самимъ стихотворцамъ, — зачѣмъ,

*) Курсивъ и тутъ г. Перцова.

моль, вы смотрите на поэзію, какъ на искусство писать «стишки», да еще очень часто хромоногіе? Но г. П. Перцовъ не можетъ отправить свое негодованіе по надлежащему адресу, ибо онъ радуется *новальному* стихописанію и *непрерывной* игрѣ на віолончеляхъ, то есть *всякому* ритмическому сочетанію звуковъ, совершенно независимо отъ какого бы то ни было содержанія, какой бы то ни было мысли, въ томъ числѣ и мысли объ «исцѣленіи отъ муки». Это послѣднее пришло сюда совсѣмъ нечаянно, собственно потому, что оно у Фета находится, а у Фета оно находится, повидимому, просто потому, что это подсказали условія ритма и рими. Главное же дѣло въ томъ, что «къ чему противиться природѣ и судьбѣ?» Пусть стихотворецъ пишетъ стихи, віолончелисть играетъ на віолончели, а страдающій — страдаетъ, и опять-таки, какъ ему положено природой и судьбой, — «безъ упованья, безъ сознанья», или же съ «радостью». Можетъ быть, все это прекрасно, и сама Правда — правда-истина и правда-справедливость — заgrimировалась въ данномъ случаѣ г. П. Перцовымъ; но я спрашиваю: соотвѣтствуетъ ли эта заgrimированная правда путямъ юношескаго сердца и видѣнію юношескихъ очей? Не настоящіе ли старцы эти столь мало отзывчивые и столь покорные «природѣ и судьбѣ» юноши? И дѣло очень мало измѣнится, если мы введемъ сюда капризомъ ритма и рими прилетенное «исцѣленіе отъ муки». Былъ такой случай, что Давидъ игроу на гусляхъ, время отъ времени, вносилъ миръ въ поврежденную душу Саула, и нынѣ это средство съ успѣхомъ примѣняется въ больницахъ для душевно-больныхъ, да и мы, здоровые, знаемъ вліяніе музыки, но видѣтъ въ музыкальности стиха «исцѣленіе отъ муки», — это, по малой мѣрѣ, не молодое.

Итакъ, хотя г. Гессенъ и правъ, рисуя въ своемъ стихотвореніи вѣковѣчную смѣну юношескихъ порываній и старческихъ предостереженій, но г. П. Перцовъ своимъ намекомъ на значеніе историческихъ «полосъ» вносить въ эту картину существенную поправку: бываютъ полосы, когда нормальныя отношенія между юношами и старцами совершенно извращаются, или когда, по крайней мѣрѣ, старцамъ нѣтъ никакой надобности пугать юношей «тайными мелями, скалами, бурями».

VII *)

„Письма къ учащейся молодежи о самообразованіи“ и „Бесѣды о выработкѣ міросозерцанія“ г. Карѣева.—Гг. Чижъ и Тимирязевъ о высшихъ и низшихъ формахъ въ біологіи.—Приспособленные и неприспособленные.

Я приводилъ недавно показаніе г. П. Перцова, что наша нынѣшняя молодежь повально стихи пишетъ и непрерывно на віолончеляхъ играетъ, чѣмъ и радуется сердце г. Перцова. Въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ», тоже съ сердечною радостью, была открыта въ молодежи «новая мозговая линія», направленная въ сторону метафизики и мистицизма. Можно услышать и разныя другія трудно совмѣстимыя характеристики настроенія современной молодежи. Говорилось, наиримѣръ, о томъ, что нынѣшняя молодежь отрелась отъ всяческаго идеализма и обнаруживаетъ исключительную склонность къ «трезвой» практической дѣятельности въ области «малыхъ дѣлъ»; и о томъ, что юныя сердца ищутъ пристани въ туманныхъ сферахъ символизма и декадентства; и о томъ, что молодежь занимается исключительно экономическіе вопросы, притомъ въ очертаніяхъ одной опредѣленной доктрины; и о томъ, что она предается повальному пьянству, картежной игрѣ, веселымъ, а то и просто грязнымъ похожденіямъ; и о томъ, что ею владѣютъ быстро смѣняющіяся идеи гр. Л. Н. Толстого, и т. д., и т. д. Все это заявлялось и заявляется чрезвычайно категорически, одними — съ радостью, другими — съ сокрушеніемъ, третьими — въ видѣ простого результата «ума холодныхъ наблюденій», а иными — съ непостижимо наглымъ задоромъ: дескать, что взяли? молодя-то силы, надежды Россіи, зерна будущаго, у насъ, съ нами! Я припоминаю необычайно наглое письмо какого то молодого человѣка, полученное старикомъ Шелгуновымъ незадолго до его смерти: «шире дорогу! восьмидесятникъ идетъ!»—писалъ молодой пахаль. Кто же, однако, этотъ требующій себѣ широкой дороги «восьмидесятникъ» или, какъ

*) Сентябрь 1895.

теперь уже, можетъ быть, слѣдуетъ говорить, «девяностычникъ»? Кто онъ? — віолончелистъ, марксистъ, мистикъ, кутила, толстоѣвецъ, практикъ, декадентъ? Задорный полемическій тонъ, не всегда, разумѣется, достигающій превосходной степени, свойственъ почти всѣмъ, предъявляющимъ свою характеристику съ радостью, но задоръ этотъ имѣетъ какой-то странный, односторонній характеръ. Всѣ эти господа, отираваясь отъ самыхъ разнородныхъ исходныхъ точекъ, шумно торжествуютъ побѣду надъ извѣстнымъ міросозерцаніемъ и настроеніемъ, потерявшими, но ихъ словамъ, всякій кредитъ, но не думаютъ сводить счеты между собою и даже какъ будто не замѣчаютъ другъ друга. Возьмемъ, напримѣръ, того же г. П. Перцова. Онъ свидѣтельствуетъ, что уномянутае міровоззрѣніе и связанное съ нимъ настроеніе препятствовали правильному развитію искусства, даже прямо глушили художественность, но нынѣ оно утратило свою власть надъ нашимъ обществомъ, надъ молодежью въ особенности, и молодежь эта «новальню» нищетъ стихи и «непрерывно» играетъ на віолончели. Но другіе наблюдатели, согласно съ г. П. Перцовымъ, утверждая, что «идеалы отцовъ и дѣдовъ потеряли надъ нами силу» (подлинное выраженіе не то г. Дистерло, не то г. Кинга), показываютъ, что мѣсто этихъ идеаловъ заняли не стихи и віолончель, не искусство вообще, а «трезво практическіе» взгляды, или разныя тамъ другія прекрасныя вещи — экономическій матеріализмъ, идеалистическая метафизика, мистицизмъ и проч., а иной разъ и совѣтъ уже не прекрасный, вродѣ пьянства, кутежей и т. и. Почему же всѣ эти господа только воюютъ съ идеалами отцовъ, но ихъ словамъ уже потерявшими кредитъ и, слѣдовательно, лежащими, которыхъ бытъ запрещаютъ и справедливость, и простой расчетъ. а не опровергаютъ своихъ торжествующихъ современниковъ? И какъ связать столь разнорѣчивыя показанія? Кому вѣрить?

Я не смѣю сомнѣваться въ добросовѣстности г. П. Перцова, но не имѣю основаній вѣрить ему больше, чѣмъ другимъ свидѣтелямъ, показывающимъ относительно современной молодежи совѣтъ иное и, въ свою очередь, разнорѣчающимъ между собою. Остается предположить, что, если не всѣ они, то значительное большинство ихъ заблуждается *bona fide*. Г. П. Перцовъ естественно ищетъ пріятнаго для него общества стихотворцевъ и віолончелистовъ и, найдя таковое, обобщаетъ свои наблюденія, придаетъ имъ непомярно распространенное толкованіе. Какой-нибудь десятокъ, другой усердныхъ віолончелистовъ и стихотворцевъ, съ которыми его столкнула благосклонная судьба, заслоняетъ для него всю перспективу. Такой оптический обманъ тѣмъ естественнѣе, что г. П. Перцову хотѣлось бы вѣрить, что вся перспектива, вплоть до ея предѣльныхъ точекъ, дѣйствительно наполнена стихотворцами и віолонче-

листами. Это, я думаю, и съ другими помянутыми наблюдателями происходитъ. Только въ нѣкоторыхъ изъ нихъ говорить, можетъ быть, не надежда, а страхъ, что извѣстными явленіями, случайно попавшими въ кругъ ихъ наблюденій, напримѣръ, кутежами или картежной игрой, окрашивается жизнь молодежи вообще или, по крайней мѣрѣ, опредѣляется главная струя этой жизни. Такимъ образомъ, все дѣло сводится къ слишкомъ торопливымъ и одностороннимъ обобщеніямъ, побуждающимъ однихъ столь же незаконно радоваться повышенію духовнаго уровня молодежи съ извѣстной, односторонней точки зрѣнія, какъ другихъ — столь же незаконно скорбѣть объ упадкѣ.

Если бы меня спросили о преобладающемъ характерѣ современной молодежи, я уклонился бы отъ отвѣта, ибо не знаю его въ столь общей формѣ. По соображеніямъ частію дедуктивнаго, частію чисто фактическаго характера, о которыхъ теперь говорить не буду, я думаю, что въ общемъ духовный уровень молодежи дѣйствительно понизился сравнительно съ не очень давнимъ временемъ (это, впрочемъ, пришлось бы сказать и обо всемъ обществѣ), но что нѣтъ такого круга идей или такого настроенія, которое можно бы было назвать преобладающимъ въ современной молодежи. За самое послѣднее время, однако, начало, повидимому, довольно рѣзко пробиваться теченіе, свидѣтельствующее, что молодежь сама сознаетъ, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыя свои слабыя стороны и вмѣстѣ съ тѣмъ, не довольствуясь «разсыпанной храминой», въ которой она очутилась, склонна выработать себѣ нѣкоторое болѣе или менѣе общее міросозерцаніе.

Въ прошломъ году въ Москвѣ, при учебномъ отдѣлѣ общества распространенія техническихъ знаній, образовалась «комmissія по организаціи домашняго чтенія». Ея первый отчетъ, содержавшій въ себѣ планы самообразовательнаго чтенія, имѣлъ огромный успѣхъ. Нѣсколько позже и въ Петербургѣ, при технологическомъ музеѣ, былъ учрежденъ «отдѣлъ для содѣйствія самообразованію», тоже издавшій свои программы. Участвовавшій въ работахъ отдѣла г. Карѣевъ, еще до оупубликованія результатовъ этихъ работъ, издалъ «Письма къ учащейся молодежи о самообразованіи», чрезвычайно быстро потребовавшія второго, а затѣмъ и третьяго, четвертаго, пятаго изданія, и, какъ продолженіе ихъ, «Бесѣды о выработкѣ міросозерцанія», также очень быстро расхвачанныя. Рѣдкій у насъ успѣхъ всѣхъ этихъ изданій кажется мнѣ очень знаменательнымъ. Главная масса ихъ потребителей есть, разумѣется, молодежь; ее, безъ сомнѣнія, имѣли главнымъ образомъ въ виду и составители московскихъ и петербургскихъ программъ, а г. Карѣевъ даже прямо и исключительно къ ней обращается.

«Въ жизни каждаго человѣка, поставленнаго въ благопріятныя условія развитія, — говоритъ, между прочимъ, г. Карѣвъ, — наступаетъ пора, когда передъ пробуждающимися высшими проявленіями сознанія открываются новыя стороны его собственнаго я и съ новыхъ же сторонъ открывается передъ нимъ окружающій міръ; когда уму его дѣлается доступно пониманіе тѣхъ идей, которыя были для него раньше простыми словами и, пожалуй, словами съ довольно опредѣленнымъ смысломъ, но со смысломъ чисто виѣшнимъ, — пониманіе того смысла, какой этимъ словомъ дается въ дѣйствительной жизни, и того внутренняго значенія, какое оно получаютъ въ высшихъ проявленіяхъ философіи и поэзіи; когда осмысленная и осложненная новыми чертами любознательность превращается въ жажду знанія и чувствуется потребность понять міръ и свое мѣсто въ мірѣ, сущность своего я, задачу своей жизни, законъ своего отношенія къ другимъ людямъ, когда начинается сознаться связь личности съ обществомъ, ея по отношенію къ нему права и обязанности, и когда впервые молодой умъ начинаетъ разбираться въ общественныхъ вопросахъ и теченіяхъ общественной жизни. И вотъ онъ работаетъ и мыслью, и чувствомъ, — и иногда мучительно работаетъ, — чтобы имѣть по возможности цѣльное, полное и стройное міросозерцаніе, мучась малѣйшими противорѣчіями, пробѣлами и несообразностями вездѣ, гдѣ только они для него открываются — и въ мірѣ жизни, и въ мірѣ мысли. Головою философъ, сердцемъ поэтъ — такова въ четырехъ словахъ характеристика каждаго юноши съ такимъ душевнымъ настроеніемъ, какъ нельзя болѣе подходящимъ для того, чтобы увлекаться всѣмъ, что говоритъ за-разъ и головѣ и сердцу, поэзіей возвышенныхъ думъ и философіей художественныхъ произведеній, критическихъ и публицистическихъ статей, научныхъ обобщеній, разъ въ нихъ заключено пониманіе міра и человѣка, и на этой же почвѣ впервые вырастаютъ и общественные интересы молодого человѣка. Какъ первая любовь дѣлаетъ его поэтомъ, такъ первое пробужденіе настоящаго самосознанія превращаетъ его въ философа, и такимъ философомъ бываетъ каждый изъ насъ, — кто больше, кто меньше, кто дольше, кто короче, — философомъ-идеалистомъ, способнымъ къ возвышенному настроенію, склоннымъ прикидывать ко всему идейную мѣрку, не постигающимъ объективнаго бытія, къ которому нельзя было бы предъявить требованіе идеала» («Письма», 36).

Этотъ то «благопріятный психологическій моментъ» г. Карѣвъ и желаетъ уловить въ своихъ читателяхъ, справедливо полагая, что, если по какимъ нибудь обстоятельствамъ моментъ этотъ проходитъ, такъ сказать, даромъ, то впоследствии уже трудно наверстывать упущенное: «молодая чуткость, воспримчивость, напряжен-

ность чувства, молодые порывы проходят съ годами безслѣдно, если въ свое время человѣкъ не пріобрѣлъ того, что, благодаря имъ, украшаетъ молодые годы и позволяетъ впослѣдствіи человѣку помянуть ихъ добромъ».

«Головою философъ, сердцемъ поэтъ»... «не постигающій объективнаго бытія, къ которому нельзя бы было предъявить требованіе идеала»... Не всегда, однако, такъ бываетъ и въ числѣ обстоятельствъ, отклоняющихъ молодыхъ людей отъ этой нормы, г. Карѣвъ упоминаетъ «вялость натуры, случайности воспитанія, особенности среды». По той-ли, по другой-ли изъ этихъ причинъ или еще по иной какой-нибудь, г. Карѣвымъ упущенной изъ виду, но наша молодежь послѣдняго времени значительно уклонилась въ разныя стороны отъ нормы. Если, однако, призывы г. Карѣва, равно какъ петербургскія и московскія программы самообразованія имѣютъ такой выдающійся успѣхъ, то надо думать, что молодежь начинаетъ сильно желать пробиться къ свѣту и, въ массѣ, не удовлетворяется тѣми міросозерцаніями и настроеніями, которыя ей навязываются или отъ ея имени предъявляются вышеупомянутыми наблюдателями. Мы имѣемъ здѣсь дѣло уже не съ голословными показаніями г. П. Перцова и т. п., а съ цифрами, выражающими количество заинтересованныхъ брошюрами г. Карѣва и московскими и петербургскими программами самообразованія. Въ добрый часъ! Къ чему бы ни пришла молодежь по предлагаемымъ ей путямъ, но всесторонній пересмотръ и пополненіе своего духовнаго багажа есть уже само по себѣ доброе дѣло, гарантирующее отъ торопливыхъ выводовъ, отъ увлеченій модой, отъ самодовольнаго успокоенія на какомъ-нибудь клочкѣ истины и проч.

Петербургскія и московскія программы самообразованія, какъ извѣстно, во многомъ отличаются другъ отъ друга. Я не намѣренъ ни сравнивать ихъ, ни вообще говорить о нихъ. Меня теперь занимаютъ «Письма» и «Бесѣды» г. Карѣва. Однако и въ нихъ я хотѣлъ-бы коснуться лишь нѣсколькихъ пунктовъ.

Должно пожалѣть, что въ двухъ небольшихъ книжкахъ г. Карѣва, содержащихъ, по задачѣ, цѣлую энциклопедію, различные пункты этой энциклопедіи развиты весьма неравномѣрно и не пропорціонально ихъ относительной важности. Такъ, въ первомъ изъ «Писемъ» авторъ «считаетъ нужнымъ выдвинуть на первый планъ существованіе въ учащейся молодежи стремленія къ самообразованію, стремленія вполне естественнаго, совершенно законнаго и въ высшей степени симпатичнаго, а потому и заслуживающаго сдѣлаться предметомъ самаго серьезнаго вниманія». Это прекрасно. Но едва ли есть какая-нибудь надобность пространно доказывать, что стремленіе къ самообразованію вполне естественно, совершенно

законно и въ высшей степени симпатично. Казалось бы, это само собою разумѣется. А между тѣмъ мы читаемъ у г. Карѣва на стр. 2: «И только что назвалъ стремленіе къ самообразованію въ учащейся молодежи явленіемъ вполне естественнымъ, совершенно законнымъ и въ высшей степени симпатичнымъ: оно, дѣйствительно, и естественно, и законно, и симпатично». А на стр. 6: «Вотъ въ немногихъ словахъ тѣ соображенія, которыя заставили меня назвать стремленіе извѣстной части молодежи къ самообразованію вполне естественнымъ и совершенно законнымъ. У этого стремленія есть, кромѣ того, двѣ въ высшей степени симпатичныя стороны». И далѣе, на стр. 7: «Симпатичныя стороны стремленія къ самообразованію заключаются въ совершенной безкорыстности этого стремленія и въ его несомнѣнной связи съ высшими потребностями нашей духовной природы. Эти два отличительныя свойства истиннаго стремленія къ самообразованію сообщаютъ признаннымъ нами выше естественности и законности этого стремленія верховную моральную санкцію: оно оказывается не только естественнымъ и законнымъ, но и нравственнымъ».

Такая трата энергіи на отстаиваніе никѣмъ не оспариваемаго положенія, сообщая изложенію нѣсколько водянистый характеръ, вмѣстѣ съ тѣмъ отнимаетъ у автора время и мѣсто, которыя съ большою пользою могли бы быть отданы выясненію болѣе важныхъ или сложныхъ вопросовъ. Г. Карѣвъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ такъ расточителенъ, что только на 118 страницъ «Писемъ» позволяетъ себѣ сказать: «Всякій, кто внимательно дочиталъ эту книжку до настоящей страницы, долженъ хорошо понимать, что я порицаю эгоизмъ и социальный индифферентизмъ». Я думаю, что читатель былъ бы въ большомъ выигрышѣ, если бы могъ догадаться объ этомъ задолго до «внимательнаго чтенія» ста семнадцати страницъ, да читатель, конечно, давно и догадался, такъ что почтенный профессоръ напрасно тратитъ время и бумагу, которыя, повторяю, могли бы быть употреблены на выясненіе менѣе элементарныхъ вещей.

Кромѣ «Писемъ» и «Бесѣдъ», г. Карѣвъ напечаталъ еще статью «Объ отношеніи исторіи къ другимъ наукамъ съ точки зрѣнія интересовъ общаго образованія». Статья эта была прочитана въ Историческомъ Обществѣ и затѣмъ напечатана въ VIII томѣ «Историческаго Обзорѣнія», гдѣ, въ видѣ *приложенія* къ ней, напечатаны труды «Отдѣла для содѣйствія самообразованію въ комитетѣ Педагогическаго музея», то есть петербургскія программы самообразованія. Должно пожалѣть, что ихъ нѣтъ въ отдѣльномъ изданіи и что онѣ пріютились въ мало распространенномъ «Историческомъ Обзорѣніи». Въ этомъ отношеніи московскія программы

поставлены гораздо лучше. Но, кромѣ происходящихъ отсюда невыгодъ для распространенности и общедоступности петербургскихъ программъ, здѣсь страдаетъ, мнѣ кажется, и принципиальная сторона. Естественно, что въ специальномъ изданіи, какъ «Историческое Обзорѣніе», составляющее органъ Историческаго Общества, программы самообразованія по всѣмъ отраслямъ знанія могли явиться только въ видѣ приложенія къ реферату г. Карѣева или иной какой-нибудь работѣ, имѣющей непосредственное отношеніе къ исторической наукѣ. Но именно поэтому и не слѣдовало бы, можетъ быть, печатать программы самообразованія въ «Историческомъ Обзорѣніи»: онѣ сами по себѣ представляютъ достаточно важное, значительное дѣло, чтобы явиться самостоятельно, а не въ видѣ пристройки къ другому, хотя бы и очень тоже полезному зданію. По объему своихъ задачъ программы самообразованія представляютъ нѣчто гораздо болѣе широкое, чѣмъ все, что можетъ дать какая бы то ни была специальная отрасль знанія, взятая въ отдѣльности, въ томъ числѣ и исторія. И дѣйствительно, въ составленіи петербургскихъ программъ принимали участіе специалисты по философін, физикѣ, химіи и проч. и проч. Почему же всѣ они оказались подъ крыломъ исторіи? Мнѣ кажется, что это дѣло простой случайности, которой можно было и слѣдовало бы избѣжать. Но не такъ, повидимому, смотритъ на дѣло г. Карѣевъ.

«За послѣднее время—говоритъ почтенный профессор—мнѣ уже не разъ приходилось высказывать свои мысли объ особомъ значеніи историческаго чтенія въ дѣлѣ общаго образованія, получаемого путемъ самостоятельнаго ознакомленія съ данными и выводами разныхъ наукъ». При этомъ г. Карѣевъ ссылается на «Письма», «Бесѣды» и еще на нѣкоторыя свои статьи, которыхъ у меня, къ сожалѣнію, нѣтъ подъ руками. Но «Писемъ», «Бесѣдъ» и реферата, прочитаннаго въ Историческомъ Обществѣ и представляющаго какъ бы предисловіе къ петербургскимъ программамъ самообразованія, достаточно, чтобы познакомиться со взглядами г. Карѣева на «особое значеніе» исторіи въ дѣлѣ общаго образованія.

Разумѣется, всякая отрасль знанія имѣетъ свое «особое значеніе», и очень естественно, что историкъ желаетъ выяснитъ особенности той струи, которую изученіе исторіи должно влить въ общее образованіе. Но г. Карѣевъ имѣетъ въ виду не просто «особое значеніе», а преобладающую, общую руководящую роль исторіи. Онъ говоритъ: «Были годы особеннаго увлеченія естествознаніемъ, наступила полоса политической экономіи и т. д. Я попробую поднять голосъ въ пользу исторіи». «Могу увѣрить, — прибавляетъ г. Карѣевъ,—что сдѣлаю это не въ качествѣ специалиста, желаю

цаго, чтобы его предметъ считался наиболѣе важнымъ, а исходя изъ той общей идеи, которую я составилъ себѣ о стремленіи къ самообразованію на основаніи массы наблюденій, производившихся очень долгое время» («Письма», 157). Последняя оговорка, пожалуй, и лишняя: намъ, собственно, все равно, по какимъ побужденіямъ почтенный историкъ хочетъ предоставить въ общемъ образованіи верховную роль исторіи; для насъ интересны самыя его мысли объ этой верховной роли, какими бы путями онъ ни пришелъ къ нимъ.

Не надо быть специалистомъ историкомъ, чтобы признать огромное значеніе исторіи, какъ для общаго образованія, такъ и для любой спеціальной отрасли знанія, хотя бы уже потому, что каждая изъ нихъ имѣетъ свою поучительную исторію, тѣсно связанную съ исторіей вообще. Есть области знанія, истины которыхъ не могутъ быть даже поняты надлежащимъ образомъ безъ знакомства съ соответственными историческими фактами или съ тѣмъ историческимъ путемъ, которымъ онѣ вырабатывались. Но кромѣ непосредственныхъ, чисто фактическихъ услугъ исторіи всѣмъ отраслямъ знанія и общему образованію, она имѣетъ еще огромное воспитательное значеніе. Изученіе исторіи въ широкомъ смыслѣ этого слова, хотя бы и въ примѣненіи къ какому-нибудь частному вопросу, можетъ застраховать насъ отъ столь обыкновенныхъ открытій давно открытой Америки и внушить намъ истинное понятіе о размѣрѣ нашихъ силъ, болышею частію, конечно, очень скромныхъ. Всякій современный карликъ склоненъ забывать, что если передъ нимъ и открываются болѣе или менѣе широкіе горизонты, то только потому, что онъ стоитъ на плечахъ многострадальнаго великана и всѣмъ обязанъ тому великому преемственному труду, который вынесъ длинный рядъ предковъ, снотыкаясь и вновь подымаясь, обливаясь слезами и кровью и радостно привѣтствуя проблески правды. Точнымъ образомъ оцѣнить весь этотъ необозримо длинный и невообразимо трудный путь—невозможно, но даже смутное представленіе о немъ должно способствовать правильной оцѣнкѣ нашихъ силъ и нашихъ дѣлъ. Я не буду, однако, распространяться далѣе о многостороннемъ значеніи исторіи: у г. Карѣева все это изложено съ тою, можетъ быть даже слишкомъ многословною обстоятельностью, которая вообще свойственна этому писателю. И тѣмъ не менѣе, я не могу согласиться съ мыслью почтеннаго профессора о верховной роли исторіи, въ родѣ той, которую столь же незаконно играло у насъ когда-то естествознаніе, а затѣмъ политическая экономія.

Надо правду сказать, что, много говоря о безспорно важномъ значеніи изученія исторіи и историческаго чтенія, г. Карѣевъ до-

вольно слабо защищает свой оригинальный тезисъ о верховной руководящей роли исторіи и самаго, какъ онъ выражается, «принципа историзма». Старательно подчеркивая то значеніе, которое въ наше время исторія получила въ гуманитарныхъ наукахъ, въ особенности въ наукѣ права и политической экономіи, г. Карѣвъ приходитъ наконецъ къ заключенію, что и въ естествознаніи, со включеніемъ психологін, принципъ «историзма» нынѣ торжествуетъ въ видѣ эволюціонной теоріи. Въ самомъ дѣлѣ, исторія возникновенія солнечной системы изъ первобытной туманности, исторія земного шара, исторія развитія органической жизни на землѣ, исторія развитія зародышевой кѣточки, исторія развитія явленій духовной жизни и т. д.,—развѣ все это не торжество «принципа историзма»? и развѣ не въ правѣ поэтому г. Карѣвъ надѣяться, что его излюбленная наука «исторія» въ непродолжительномъ времени окончательно займетъ центральное мѣсто въ системѣ наукъ, а слѣдовательно и въ общемъ образованіи? Но что такое «исторія» г. Карѣва? «Исторія—говоритъ онъ—есть наука, потому что она есть болѣе или менѣе достовѣрное знаніе явленій, составляющихъ прошлую жизнь человѣчества, добытое путемъ критической провѣрки извѣстій объ этомъ прошломъ, которыя замѣняютъ непосредственное наблюденіе этихъ явленій, и путемъ изслѣдованія самихъ явленій въ нихъ самихъ и въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ,—знаніе, удовлетворяющее нашъ интересъ къ прошлому родной страны и всего человѣческаго міра и могущее служить моральнымъ и практическимъ потребностямъ жизни» («Письма», 157). Ясно, казалось бы, что это «знаніе явленій, составляющихъ прошлую жизнь человѣчества», есть лишь частность, малая доля знанія, обнимающаго прошлую жизнь мірозданія, земли, организмовъ на землѣ и т. д. И съ этой точки зрѣнія, «исторія» въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова, въ какомъ его и г. Карѣвъ понимаетъ, никоимъ образомъ не можетъ стать центральной, руководящею наукой, и самый «принципъ историзма» долженъ утонуть въ общемъ, болѣе широкомъ принципѣ эволюціи. Не «исторія» и не какая-нибудь другая наука можетъ съ этой точки зрѣнія претендовать на верховную руководящую роль, а извѣстная теорія, во всѣхъ областяхъ знанія одинаково обязательная, одинаково властная,—теорія эволюціи.

Возможна, однако, и иная точка зрѣнія. Самая эволюціонная теорія можетъ быть разсматриваема, какъ одно изъ явленій, составляющихъ жизнь человѣчества, какъ одинъ изъ фактовъ исторіи мысли въ XIX столѣтіи. Точно такъ же могутъ быть введены въ составъ «исторіи» всѣ доселѣ добытыя, то есть всѣ извѣстныя намъ истины, равно какъ и всѣ заблужденія, всѣ нравственные и

политическіе идеалы, всѣ понятія о красотѣ и проч., и исторія станеть дѣйствительно всеобъемлющею, верховною наукою; тѣмъ болѣе, что «по отношенію къ исторіи и современность есть лишь моментъ, имѣющій завтра же сдѣлаться прошедшимъ, т. е. стать предметомъ той же исторіи» («Бесѣды», 117): «въ сущности сегоднѣшнее настоящее, т. е. то, что мы теперь называемъ современностью, завтра, т. е. въ болѣе или менѣе недалекомъ будущемъ, сдѣлается само прошлымъ, иначе говоря, предметомъ исторіи» (Рефератъ, 9). Въ виду всего этого, г. Карѣвъ позволяетъ себѣ выражаться, наиримѣръ, такъ: «къ народу слѣдуетъ относиться этически и научно, а *научно—значить исторически*» («Письма», 186), и не одинъ разъ, но разными поводами. покрываетъ онъ такимъ образомъ другъ другомъ этикетъ «научный» и «историческій», какъ вполне и исключительно равнозначущіе. Но у него же мы найдемъ и значительныя ограниченія такого расширенія владѣній исторіи. Такъ, на стр. 14 реферата онъ говоритъ: «Въ той исторической послѣдовательности, съ какою наукѣ дѣлались доступными отдѣльныя страны, отдѣльныя виды растений и животныхъ, памятники прошедшей жизни, историческіе факты, нѣтъ никакой логики. и если бы кто-либо сталъ знакомить съ зоологіей не въ порядкѣ естественной классификаціи, а въ томъ порядкѣ, въ какомъ дѣлались извѣстными, подвергались наблюденію, становились предметомъ описанія или изслѣдованія отдѣльные виды царства животныхъ, то въ результатъ получился бы чисто хаотическій безпорядокъ». Иначе,—прибавляетъ г. Карѣвъ,—обстоитъ дѣло съ науками, «въ конхѣ формулируются чистыя теоріи», а сторона описательная и повѣствовательная отступаетъ на второй планъ. Здѣсь, хотя и возможны вліянія разныхъ случайностей, но преобладаетъ все-таки извѣстная послѣдовательность въ постановкѣ и рѣшеніи вопросовъ, зависящая отъ логики внутренняго развитія самой науки. А потому историческое изученіе такого рода наукъ и теорій становится не только возможнымъ, а и необходимымъ. Но и въ этомъ разсужденіи самъ г. Карѣвъ дѣлаетъ значительную брешь. «Давно замѣчено,—говоритъ онъ,—что чѣмъ ближе та или другая наука къ идеалу совершенства, тѣмъ менѣе приходится въ ней говорить объ исторіи отдѣльныхъ вопросовъ. Разъ вопросъ рѣшенъ окончательно и безповоротно, т. е. разъ существуетъ вполне выработанная теорія, исторія вопроса несколько не уяснить дѣла» (рефератъ, 13, а также «Бесѣды», 70).

Я привожу эти слова г. Карѣва не для того, чтобы исчерпать всѣ ограниченія, имъ самимъ полагаемые для верховной руководящей роли исторіи, а только чтобы показать, что такіа ограниченія есть, по собственному признанію почтеннаго профессора. Но

нѣкогорыя его выраженія и самый фактъ появленія петербургскихъ программъ самообразованія въ «Историческомъ Обозрѣнн», въ видѣ приложенія къ реферату объ образовательномъ значенн исторн,—могутъ вводить въ заблужденіе.

Озабоченный мыслію выдвинуть на первый планъ значеніе исторн, г. Карѣевъ то непомѣрно расширяетъ ея компетенцію до того, что, какъ мы видѣли, она сама утопаетъ въ эволюціонной теорн. то суживается до предѣловъ даже какъ будто обидныхъ. Такъ, на-примѣръ, онъ говоритъ: «Народъ—одно для фольклориста, у котораго онъ лишь поетъ, рассказываетъ сказки, задаетъ загадки, исполняетъ разные обряды и т. п., и совсѣмъ другое онъ для экономиста, смотрящаго на то, какъ народъ работаетъ и насколько пользуется онъ матеріальнымъ достаткомъ. Лишь въ исторн, не очень-то интересующейся подробностями фольклора и заботящейся о разъясненн не однихъ условій матеріальнаго существованія низшихъ классовъ общества, но о томъ, чтобы узнать, какъ понималъ народъ и оцѣнивалъ свое положеніе, къ чему стремился въ эпохи особаго напряженія своихъ силъ, какъ вліяли на него культурныя и политическія перемѣны, какое отношеніе встрѣчалъ онъ къ себѣ со стороны интеллигенціи, правящихъ классовъ и привилегій и пр. и пр., лишь въ исторн, говорю я, разъясняющей все это, народъ является реальною величиною, а не нѣкоторымъ отвлеченіемъ отъ реального народа, разсматриваемымъ съ извѣстной точки зрѣнн» («Письма», 184). Не странно-ли, что писатель, стремящійся такъ или иначе захватить въ вѣдѣніе исторн все мірозданіе со включеніемъ всего, добытаго человекомъ на необозримомъ пути его умственнаго и нравственнаго развитія, выкидываетъ за бортъ своей науки фольклоръ? Развѣ въ томъ, что народъ поетъ, рассказываетъ, загадываетъ и проч., не сказывается, между прочимъ, и то, «какъ понималъ и оцѣнивалъ онъ свое положеніе, къ чему стремился, какъ вліяли на него культурныя и политическія перемѣны» и проч.?

«Историческій матеріаль», «историческій методъ», «историческая точка зрѣнн», «историческое отношеніе къ міру мысли», наконецъ, даже «историческое отношеніе къ жизни»,—все это довольно безразлично пускается въ ходъ г. Карѣевымъ *ad maiorem gloriam* его излюбленной науки. Последнее изъ приведенныхъ выраженій принадлежитъ, впрочемъ, не самому г. Карѣеву, а заимствуется имъ изъ московской программы самообразованія, гдѣ «развитіе въ учащихъ историческаго отношенія къ жизни» ставится цѣлью преподаванія исторн. Признаюсь, ни изъ опредѣленія московской программы, ни изъ комментариевъ г. Карѣева я не уяснилъ себѣ смысла словъ «историческое отношеніе къ жизни». Можно только догадываться, что это «историческое отношеніе къ жизни» въ извѣстномъ

смыслъ противопологается «моральному или политическому воспитанію», которое, дескать, отнюдь не должно быть цѣлью, «хотя бы и второстепенною», преподаванія исторіи. («Письма», 164 — 165). Есть и еще одинъ пунктъ въ московскихъ программахъ, который г. Карѣвъ подчеркиваетъ съ особенно настойчивымъ сочувствіемъ. А именно: «Что касается вопроса о томъ, какъ слѣдуетъ изучать философскія науки?», — то рѣшеніе его зависить отъ того, въ какомъ состояніи находится въ настоящее время каждая изъ философскихъ наукъ. Разматривая ихъ съ этой точки зрѣнія, мы видимъ 1), что логика и психологія организовались въ отдѣльныя самостоятельныя науки, а потому могутъ быть изучаемы въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ находятся въ настоящее время; 2), что такія науки, какъ этика, метафизика и теорія познанія, представляютъ собою только выраженіе мнѣній того или другого философа, а потому должны изучаться *не иначе*, какъ въ курсѣ исторіи философій». Приводя эти слова московской программы въ своихъ «Письмахъ», г. Карѣвъ замѣчаетъ, что съ ними «нельзя не согласиться» и что они приложимы «не только къ отвлеченной философій», а и къ политическимъ, экономическимъ и юридическимъ ученіямъ» («Письма, 171, 173). Буквально ту же цитату и съ тѣми же собственными замѣчаніями повторяетъ онъ и въ рефератѣ (13). Тѣ же, наконецъ, мысли излагаетъ онъ и въ «Бесѣдахъ» (70 и слѣд.), уже безъ цитатъ, отъ своего собственнаго лица, отчасти тѣми же словами, но и съ поправками. Во-первыхъ, здѣсь мы уже не встрѣчаемъ метафизики въ числѣ «философскихъ наукъ», а лишь психологію, логику, теорію познанія и этику. Затѣмъ, ограничивая по прежнему психологію и логику съ одной стороны, теорію познанія и этику — съ другой, въ виду большей разработанности двухъ первыхъ наукъ, г. Карѣвъ уже не такъ суровъ по отношенію къ двумъ послѣднимъ. Въмѣсто того, чтобы изучаться *не иначе*, какъ въ курсѣ исторіи философій, теорія познанія и этика получаютъ нѣкоторыя льготы въ пользу своей самостоятельности. Правда, очень небольшія. А именно, заявивъ, что для ознакомленія съ психологіей и логикой можно обойтись и безъ экскурсій въ ихъ историческое прошлое, г. Карѣвъ говоритъ, что съ вопросами этики и гносеологіи «гораздо *удобнѣе* знакомиться исторически». Это однако, — любезно прибавляетъ онъ, — «не исключаетъ и самостоятельнаго знакомства съ современными гносеологическими и этическими теоріями послѣ того, какъ будетъ подготовлена почва для критическаго отношенія къ этимъ фактамъ путемъ усвоенія данныхъ исторіи философій».

Послѣ сказаннаго выше о значеніи исторіи читатель не заподозритъ, конечно, меня въ желаніи умалить приличествующую историческому образованію роль. Но въ виду того же выше (правда

очень бѣгло) сказаннаго, я спрашиваю: почему изученіе психологій возможно исключительно на почвѣ современности, если этика должна быть изучаема — ну, хоть не «не иначе, какъ въ курсѣ исторіи философіи», но все-таки — «исторически»? Потому что психологія есть законченная наука, владѣющая значительнымъ количествомъ непререкаемыхъ, общепризнанныхъ исходныхъ точекъ, фактовъ и выводовъ? Но это невѣрно. Психологія не въ такомъ положеніи находится, какъ, напримѣръ, химія или астрономія или механика, и это самъ г. Карѣвъ знаетъ. Спиритуализмъ, идеализмъ, реализмъ, матеріализмъ, позитивизмъ, критицизмъ доселѣ ожесточенно спорятъ и о самомъ предметѣ психологій, и о методахъ его изученія, и о мѣстѣ психологій въ ряду наукъ: физиологическая психологія, можно сказать, только еще расцвѣтаетъ, а изъ глубины сѣдой древности въ то же самое время поднимаются давно забытые психологическіе факты и столь же давно забытыя ихъ толкованія: гипнотизмъ на нашихъ глазахъ внесъ и новую струю въ науку, и новую поддержку невѣжеству; коллективная, массовая психологія еще только начинаетъ разрабатываться, и сама исторія можетъ ждать отъ нея огромныхъ услугъ. Словомъ, все знаніе психологій еще до такой степени шатко и незакончено, что къ ней въ большей или меньшей степени приложимы всѣ разсужденія г. Карѣва объ этикѣ. Г. Карѣвъ опасается, что, если люди пустятся въ область этики въ ея современномъ видѣ, или, точнѣе, въ ея современныхъ видахъ, безъ историческаго оснащенія, то можетъ приключиться «чисто догматическое усвоеніе тѣхъ или другихъ взглядовъ, высказывающихся въ текущей литературѣ» («Бесѣды», 70). А съ психологіей въ ея современномъ видѣ, или опять-таки, точнѣе, въ ея современныхъ видахъ, это не можетъ приключиться? Очень даже просто: стоитъ только сдѣлать односторонній выборъ изъ огромной и богатой современной психологической литературы. Г. Карѣвъ скажетъ, можетъ быть, что незачѣмъ дѣлать односторонній подборъ чтенія. Допустимъ, хотя это требовало бы нѣкоторой оговорки. Но дѣло теперь не въ ней, не въ этой возможной оговоркѣ, а въ томъ, что, говоря о нравственныхъ и политическихъ идеяхъ, г. Карѣвъ иногда совершенно упускаетъ изъ виду наличность достаточнаго разнообразія и въ современной, текущей литературѣ. Онъ говоритъ: «Иначе человѣкъ относится къ своимъ идеямъ (рѣчь идетъ объ идеяхъ «моральныхъ и политическихъ»), когда не подозреваетъ существованія другихъ идей и думаетъ, что его идеи всегда существовали, т. е. имѣютъ характеръ абсолютный. На самомъ дѣлѣ этого вѣдь нѣтъ, и послѣднее обстоятельство нужно знать и помнить. Для уясненія своей мысли и расширенія своего взгляда на всѣ вопросы міросозерцанія нужно познакомиться съ наибольшимъ количествомъ раз-

ныхъ на нихъ отвѣтовъ, конечно, не для того, чтобы раздѣлять ихъ всѣ (что невозможно и даже немислимо), а чтобы сравнить ихъ между собою, сдѣлать имъ взаимную провѣрку. имѣть возможность разсматривать вопросъ съ разныхъ точекъ зрѣнія и т. д. А кромѣ того, вѣдь и интересъ къ чужому внутреннему міру долженъ влечь человѣка къ тому, чтобы знакомиться съ разрѣшеніемъ вопросовъ мысли и жизни въ разныхъ историческихъ міросозерцаніяхъ». («Письма», 170). Все это прекрасно; спрашивается, однако, развѣ, что касается этики и политики, наличная современная литература представляетъ столь малое «количество разныхъ отвѣтовъ», что за разнообразіемъ надо обращаться непременно къ исторіи? Съ этой точки зрѣнія, въ противность неоднократно повторяемому утвержденію г. Карѣва, именно наименѣе установившіяся отрасли науки наименѣе нуждаются въ помощи историческихъ экскурсій или «историческаго изученія». Чтобы получить *разные* отвѣты на вопросы о химическихъ свойствахъ тѣлъ или о свойствахъ и взаимныхъ отношеніяхъ небесныхъ свѣтилъ, необходимо обратиться къ исторіи химіи и астрономіи, ибо при нынѣшнемъ состояніи этихъ наукъ разныхъ отвѣтовъ въ нихъ нѣтъ или почти нѣтъ. Наоборотъ, въ области этики и политики мы сейчасъ имѣемъ такую огромную коллекцію самыхъ разнообразныхъ идей, что если дѣло идетъ только о «возможности разсматривать вопросъ съ разныхъ точекъ зрѣнія», то, пожалуй, и нѣтъ надобности заглядывать въ исторію.

Повторяю, я отнюдь не думаю отрицать великую образовательную роль исторической науки, но когда г. Карѣвъ желаетъ изъ нея сдѣлать верховную руководительницу всего образованія,—меня беретъ сомнѣніе, я начинаю бояться того, что Ницше называлъ «чрезмѣрностью исторіи», *Uebermass der Historie*; того размаха научно-исторической метлы который не знаетъ удержу въ замѣтаніи всего великаго и низкаго, подлаго и благороднаго въ одну безконечно растущую кучу историческаго сора, гдѣ «нѣсть печаль, ни воздыханіе», гдѣ поэтому все мертво, потому что все равно законно. Я не о прошломъ говорю, но крайней мѣрѣ не о такомъ отдаленномъ прошломъ, цѣпкіе когти котораго уже не царапаютъ насъ изъ своей дали. Но г. Карѣвъ, какъ мы видѣли, объясняетъ, что «по отношенію къ исторіи и современность есть лишь моментъ, имѣющій завтра же сдѣлаться прошедшимъ, т. е. стать предметомъ той же исторіи». Онъ требуетъ «историческаго отношенія къ жизни». Отклоняя «моральное и политическое воспитаніе», какъ цѣль преподаванія исторіи, онъ въ тоже время рекомендуетъ изучать этические и политическіе вопросы — «исторически»... Слишкомъ много исторіи!, какъ оно, впрочемъ, можетъ быть, и подобаетъ историку.

Съ другой стороны, однако, хотя г. Карѣвъ и историкъ, но всякій знакомый съ его литературной фізіономіей и не нуждающійся въ 117 страницахъ внимательнаго чтенія, чтобы на 118-й «хорошо понять», что авторъ, по его нѣсколько наивному выраженію, «порицаетъ эгоизмъ и соціальный индифферентизмъ».—всякій настолько освѣдомленный читатель скажетъ: тутъ что-нибудь да не такъ! И дѣйствительно, не такъ...

Г. Карѣвъ совсѣмъ ужъ не такъ безпощаденъ въ своемъ «историзмѣ», какъ можно бы было думать, судя по его предположенію сдѣлать изъ своей науки «царицу міра», съ титуломъ эволюціи. Кое-какія ограниченія мы уже видѣли, а кромѣ того г. Карѣвъ то къ своему коренному «принципу историзма» припряжетъ «философскій критицизмъ» («Письма», 175), то пояснитъ, что онъ «отною не желаетъ вытѣснить теоретизмъ историзмомъ» («Бесѣды», 129). А въ одномъ мѣстѣ онъ выражается такъ: «Точка зрѣнія эволюціи есть ученіе объ относительности всего существующаго и объ относительности нашихъ знаній. Среди этого измѣненія, этого движенія, этой относительности остаются неизбѣжными, неизмѣненными и безусловными лишь идеалы истины и справедливости, къ коимъ мы стремимся, но знаніемъ коихъ не обладаемъ, лишь вѣря въ то, что есть истина и есть справедливость, и что открытіе ихъ началось съ первыми шагами исторіи и совершалось въ исторической эволюціи міросозерцаній. И наше міросозерцаніе есть продуктъ исторической эволюціи и отличается относительностью знанія, но если оно соотвѣтствуетъ нашему пониманію истины и справедливости, оно получаетъ для насъ силу подлиннаго знанія, удовлетворяющаго нашъ умъ, и вѣры, удовлетворяющей нашу совѣсть. Мы обязаны вѣрить въ истинность и справедливость нашего міросозерцанія». («Письма», 174).

Вотъ, мнѣ кажется, пунктъ, заслуживающій гораздо бѣльшаго вниманія, чѣмъ то, которое ему удѣляетъ г. Карѣвъ. Многократно и многословно излагая, напримѣръ, ту безспорную истину, что стремленіе къ самообразованію «вполнѣ естественно, совершенно законно и въ высшей степени симпатично», г. Карѣвъ не находитъ, къ сожалѣнію, нужнымъ достаточно защитить положеніе гораздо болѣе трудное. Если нѣчто «соотвѣтствуетъ нашему пониманію истины и справедливости», то оно «удовлетворяетъ нашъ умъ и нашу совѣсть». Это безспорно, но за то это едва ли не простая тавтологія, ни мало не убѣдительная и нисколько не интересная. Интересна даже не сама мысль, заключенная въ эту тавтологическую форму, а лишь ся очная ставка съ верховенствомъ «принципа историзма». Г. Карѣвъ не устроилъ этой очной ставки и спокойно поставилъ рядомъ два положенія, на первый, по крайней

мѣръ, взгляды, трудно совмѣстимыя. Все течетъ, все неустанно движется, измѣняется, въ томъ числѣ и людскія понятія объ истинномъ и справедливомъ — что было истиной и справедливостью вчера, то отмечается сегодня, и сегодняшнее міросозерцаніе отживетъ завтра: такова историческая или, если угодно, эволюціонная точка зрѣнія. И вдругъ среди этого неустаннаго вѣковѣчнаго движенія оказывается неизмѣнное, неизбѣжное, безусловное, и мы *обязаны* этому вѣрить... Я не говорю, что мы *не обязаны* вѣрить; я нахожу самое это выраженіе, самое понятіе обязанности исполнѣ неумѣстнымъ въ данномъ случаѣ. Но разъ г. профессоръ говоритъ объ обязанности, я спрашиваю: если мой умъ воспитался исключительно на исторической или эволюціонной точкѣ зрѣнія, утверждающей неустанную смѣну всѣхъ вещей, начиная нашей солнечной системой и цѣлыми мірами и кончая ничтожной клѣткой нашего организма, и всѣхъ понятій объ истинномъ и справедливомъ, какъ бы цѣлко ли держалось за нихъ человѣчество, какими бы потоками слезъ и крови оно изъ за нихъ не обливалось, — кто или что обяжетъ меня признать одинъ моментъ, одну подробность этой необъятной картины движенія — чѣмъ-то неизбѣемымъ? Во всякомъ случаѣ этого не можетъ сдѣлать «принципъ историзма». И если г. Карѣвъ считаетъ нужнымъ выдѣлить настоящий моментъ съ его злобами дня и установить къ нему особое отношеніе, то оно не можетъ быть «историческимъ», и «принципъ историзма» долженъ лишиться воздвигаемаго ему г. Карѣвымъ всемірнаго трона.

Г. Карѣвъ желаетъ установить «особое отношеніе». Употребляю столь общій терминъ въ виду крайней неясности и неясности выраженій г. Карѣва. Перечтите приведенное мѣсто изъ «Писемъ», и вы рѣшительно не поймете, — во что же мы «обязаны вѣрить»? — въ истинность и справедливость нашего міросозерцанія?, или же мы «не обладаемъ знаніемъ» истины и справедливости, а только еще стремимся къ нимъ и должны вѣрить, что гдѣ-то *суть* таковыя, но открываются онѣ человѣчеству въ исторической постепенности?

Въ брошюрѣ г. Карѣва, какъ и въ другихъ его произведеніяхъ, такъ много хорошаго, хотя и мало оригинальнаго, что я отнюдь не хотѣлъ бы подрывать довѣріе къ ихъ общему просвѣтительному и гуманному духу. Но тѣмъ обиднѣе видѣть такую небрежность и краткость по вопросамъ, болѣе или менѣе сложнымъ, при словоохотливой тщательности по предметамъ, просто даже не стоящимъ разговора. Въ настоящемъ случаѣ дѣло, впрочемъ, не только въ небрежности и краткости, а и въ несчастной мысли предоставить исторіи верховное руководящее значеніе во всей системѣ образо-

ванія. Автора соблазнила, повидному, та выдающаяся роль, которую играетъ въ современномъ мышленіи эволюціонная теорія, а непосредственный толчокъ онъ получилъ, можетъ быть, отъ одной фразы Паульсена, очевидно вообще на него сильно вліявшаго. Въ предисловіи къ своему «Введенію въ философію», намѣчая «выступающія линіи направленія» въ современной философіи, Паульсенъ, между прочимъ, говоритъ: «Этотъ моментъ стоитъ, наконецъ, въ связи съ одной чертой, которая придаетъ особенный отпечатокъ всей философіи 19-го столѣтія, въ противоположность предшествовавшему періоду: это — *направленіе къ исторіи*. Болѣе ранняя философія поконится на математически-естественно-научномъ созерцаніи дѣйствительности; она — абстрактно-раціоналистическая. Спекулятивная философія исходитъ изъ конструкціи духовно-историческаго міра; она пытается потомъ также и природу конструировать какъ бы исторически, по крайней мѣрѣ въ логически-генетическомъ схематизмѣ. Естественныя науки слѣдуютъ за этимъ теченіемъ и въ космической и біологической теоріяхъ развитія трактуютъ природу дѣйствительно исторически».

Дѣло, однако, въ томъ, что у Паульсена это только одна изъ «выступающихъ линій направленія». Есть и другія, изъ которыхъ для насъ любопытна слѣдующая: современная философія, по мнѣнію Паульсена, «обращается отъ интеллектуалистическаго пониманія къ *волюнтаристическому*. Прежде всего въ психологін: здѣсь замѣтно, во-первыхъ, вліяніе Шпенгера и, во-вторыхъ, все увеличивающееся значеніе новаго біологическаго воззрѣнія. Но потомъ это пониманіе проникаетъ также въ метафизику и міросозерцаніе. И здѣсь ему идетъ на встрѣчу Кантовскій поворотъ, который стремится предоставить волѣ ея законное вліяніе на міросозерцаніе».

Г. Карѣвъ принимаетъ въ соображеніе и эту «линію» и охотно употребляетъ слово «волюнтаристическій», но ему не удалось съ достаточною опредѣленностью установить отношеніе этого «волюнтаризма» къ верховному принципу «историзма», и въ дальнѣйшемъ мы уже не будемъ беспокоить его брошюры, — развѣ къ слову придется.

Къ слову придется, впрочемъ, сейчасъ же. Возьмемъ слѣдующія два положенія г. Карѣва. 1) «Эволюція государственности заключалась въ концентраціи властвованія, въ объединеніи мелкихъ политическихъ единицъ въ болѣе крупныя, въ поглощеніи первыхъ вторыми». («Бесѣды», 154). 2) «Исторія, какъ наука, можетъ вскрывать передъ нами всѣ недостатки и печальныя стороны дѣйствительной жизни, но она же свидѣтельствуетъ намъ о томъ, что жизнь улучшается, и показываетъ, какимъ путемъ и въ какомъ направленіи это дѣлается. Юношескій идеализмъ ищетъ себѣ пищи;

и ему должна быть дана эта пища: такою пищею является идея прогресса, міросозерцаніе, построенное на этой идеѣ, подтвержденіе этой идеи исторіей, какъ подтверждаетъ ее съ другой стороны, и уже въ объективномъ пониманіи,—современное эволюціонное естествознаніе». («Письма», 194).

Я привелъ эти два положенія не для того, чтобы продолжать бесѣду о г. Карѣевѣ, а просто, какъ образчикъ той смутной неопредѣленности, которая характеризуетъ въ большинствѣ случаевъ разговоры объ эволюціи, развитіи, прогрессѣ. Въ первомъ случаѣ рѣчь идетъ о рядѣ измѣненій, постепенно развертывающихся типическихкія черты данного явленія. Это просто констатированіе факта извѣстныхъ измѣненій, безъ всякой ихъ оцѣнки: такъ было или такъ идетъ дѣло теперь,—и только. Во второмъ же случаѣ говорится о какихъ-то «улучшеніяхъ», предполагается или утверждается, что эволюція тяготеетъ къ нѣкоторому желательному, съ точки зрѣнія говорящаго, концу. Г. Карѣевъ думаетъ, что это предположеніе подтверждается «и въ объективномъ пониманіи — современнымъ эволюціоннымъ естествознаніемъ». Это—очень распространенное мнѣніе, хотя и далеко не всегда ясно формулируемое. Для большинства употребляющихъ слово «эволюція» съ нимъ, болѣе или менѣе отчетливо, болѣе или менѣе смутно, связывается представленіе о тяготѣніи къ чему-то высшему, лучшему, причѣмъ имѣются обыкновенно въ виду данныя и выводы «современнаго эволюціоннаго естествознанія». Насколько все это основательно?

Эволюціонная теорія была тѣмъ Римомъ, къ которому вели все пути знанія и мысли въ XIX вѣкѣ. Но въ особенности распространенію, популяризаци и выясненію ея послужили два теченія, очень между собою близкія и часто сливающіяся, но все-таки различимыя. Это—дарвинизмъ и философія Герберта Спенсера.

Ученіе Дарвина утвердило прежде всего положеніе чрезвычайно общаго характера, — измѣняемость органическихъ видовъ, трансформизмъ. Затѣмъ слѣдуетъ выясненіе причинъ и условій измѣняемости и, наконецъ, опредѣленіе направленія, въ которомъ она происходитъ. Въ результатъ: виды измѣняются подъ вліяніемъ, главнымъ образомъ, борьбы за существованіе, переживанія неприспособленныхъ и вымиранія неприспособленныхъ, и жизнь развивается, облекаясь все въ высшія и высшія, совершеннѣйшія формы. Наиболѣе общее положеніе дарвинизма не только остается не поколебленнымъ, но постоянно подтверждаясь новыми фактами и новыми частными истолкованіями старыхъ фактовъ, вмѣстѣ съ тѣмъ могутъ существенно повліяло на самыя разнообразныя отрасли знанія и способствовало вовлеченію ихъ въ общую струю ученія объ эволюціи. Быть можетъ, слѣдовало бы самое слово «эволюція» замѣ-

нить словомъ «трансформизмъ», ибо послѣднее лучше, прямѣе выражаетъ самую суть дѣла: единство и вѣчность матеріи и силы, при постоянной измѣняемости и преходящести ихъ формъ. Далеко не столь прочно стоятъ другія составныя части дарвинизма. Существуетъ не мало разногласій относительно причинъ и условій трансформизма, а также относительно направленія, въ которомъ измѣняются формы жизни, и разногласія эти, повидимому, все растутъ, и въ числѣ, и въ своемъ значеніи. Самъ Дарвинъ съ нѣскольکو двусмысленнымъ благодушіемъ утверждалъ, что «изъ вѣчной борьбы, изъ голода и смерти прямо слѣдуетъ самое высокое явленіе, какое мы можемъ себѣ представить, а именно — возникновеніе высшихъ формъ» («О происхожденіи видовъ»). Но уже у самого основателя теоріи можно было найти матеріалы для скептическихъ вопросовъ: изъ вѣчной ли борьбы и голода и смерти возникаютъ высшія формы жизни?, что такое высшія формы?, въ чемъ состоитъ мѣрило ихъ относительной высоты и совершенства? Двусмысленность мѣрила, или точнѣе мѣрилъ,—ибо ихъ было два,—выставленныхъ самимъ Дарвиномъ, выяснялась все больше. За доказательствами я могъ бы отослать читателя къ своимъ старымъ статьямъ («Теорія Дарвина и общественная наука»); но съ тѣхъ поръ, какъ онѣ были написаны, много воды утекло, и вотъ новый, свѣжіи матеріалъ.

«Мы должны — говорить г. Чижъ — отказаться отъ неосновательнаго дѣленія животныхъ и растений на высшія и низшія животныя, высшія и низшія растенія. И въ самомъ дѣлѣ, почему обезьяна выше бациллы, лягушка ниже тигра? Основаніе этого страннаго дѣленія лежало въ степени приближенія видовъ къ человѣку: чѣмъ ближе было животное къ человѣку, тѣмъ оно считалось выше. Но нѣтъ надобности доказывать, насколько это дѣленіе чуждо біологической наукѣ. Мы можемъ говорить о болѣе или менѣе сложныхъ организмахъ, и организація тигра, конечно, сложнѣе организаціи гриба, но это еще не основаніе ставить тигра выше гриба. Идея степени совершенства можетъ имѣть значеніе только по отношенію къ какой-нибудь цѣли: тотъ организмъ выше, который лучше достигаетъ извѣстной цѣли и вѣрнѣе осуществляетъ ее. Съ этой точки зрѣнія вполне понятно раздѣленіе общества на классы и превосходство высшихъ классовъ. Но почему животное выше растенія или млекопитающее выше рыбы?» (W. Tchisch. La loi fondamentale de la vie. Jourieff (Dorpat) 1895, p. 21, 22). Далѣе г. Чижъ беретъ для сравненія волка и проживающихъ въ его тѣлѣ паразитныхъ червей и приходитъ къ заключенію, что послѣдніе отнюдь не ниже волка, а даже выше, потому что онѣ, въ виду сложности своей организаціи, менѣе способны противостоять

неблагопріятнымъ условіямъ, хуже вооруженъ для борьбы за существованіе, чѣмъ живущіе въ немъ паразиты. Поэтому - то очень легко истребить волковъ и очень трудно справиться съ паразитами. Вообще, чѣмъ сложнее строеніе животнаго или растенія, тѣмъ, по видимому (*paraît-il*), меньше его жизнеспособность и тѣмъ труднѣе для него бороться и приспособляться; поэтому сложный организмъ, несомнѣнно (*indubitablement*), не выше, а ниже менѣе сложныхъ, которые способны жить въ условіяхъ, смертельныхъ для относительно сложныхъ организмовъ... Только съ этой точки зрѣнія и позволительно раздѣлять животныхъ на высшихъ и низшихъ. Въ сущности же всѣ неисчезающія формы жизни одинаково высоки или одинаково низки».

Въ человѣческомъ обществѣ, поскольку оно раздѣлено на классы, дѣло стоитъ, какъ мы видѣли, иначе: тамъ высшіе классы дѣйствительно выше, потому что они лучше и вѣрнѣе осуществляютъ цѣль... какую? Надо замѣтить, что, въ результатѣ своего трактата (рѣчь въ годовщину основанія Дерптскаго университета). г. Чижа объясняетъ, что цѣль жизни есть сама жизнь. Такъ вотъ, если мы возьмемъ какое-нибудь рѣзко раздѣленное на классы человѣческое общество, напримѣръ средневѣковое, то увидимъ, что феодальный баронъ, грабившій на большихъ дорогахъ, воевавшій направо и налево, дравшійся на турнирахъ и проч., лучше, вѣрнѣе осуществлять цѣль жизни, чѣмъ земледѣлецъ, пастухъ или ремесленникъ... Но это мимоходомъ. Вообще же, хотя разсужденіе г. Чижа и можетъ вызвать тѣ или другія возраженія со стороны дарвинистовъ, но оно бесспорно вращается въ кругу чисто дарвинистскихъ принциповъ. И что же, значить, остается отъ оптимистической мысли учителя о возникновеніи все высшихъ и высшихъ формъ? Или нѣтъ никакого подъема вверхъ на лѣстницѣ, или есть даже быстрый спускъ внизъ... Таковъ одинъ изъ выводовъ «современнаго эволюціоннаго естествознанія».

Менѣе рѣшителенъ г. Тимирязевъ («Историческій методъ въ біологіи». «Русская Мысль», № 7). Онъ указываетъ, что въ біологіи нѣтъ единого мѣрила совершенства или высоты организаціи, потому что самое слово «совершенство» имѣетъ рѣзко различное значеніе въ устахъ физиолога и морфолога. Для послѣдняго «совершенство» или болѣе высокая организація есть почти синонимъ большей сложности, большей степени дифференцированія. Съ возрастаніемъ числа функцій, съ увеличеніемъ числа органовъ, имъ соответствующихъ, съ усложненіемъ ихъ строенія, существа восходятъ по ступенямъ морфологической лѣстницы: мы называемъ ихъ высшими, болѣе совершенными въ абсолютномъ смыслѣ, т. е. безъ отношенія къ условіямъ ихъ существованія. Въ иномъ смыслѣ

представляется намъ это понятіе о совершенствѣ съ фیزیологической точки зрѣнія. Здѣсь мѣрою совершенства является только соотвѣтствіе между организацией и условіями существованія организма, — соотвѣтствіе, такъ сказать, между цѣлью и средствомъ, безъ отношенія къ абсолютной сложности организаци. Польза организма или, еще опредѣленнѣе, его *приспособленность* къ жизненной средѣ—вотъ критеріумъ его фیزیологическаго совершенства. Но само собою понятно, что совершенство *приспособленія* можетъ и не идти рука объ руку съ *усложненіемъ*... Фیزیологическое совершенство можетъ быть даже несомнѣнною деградацией, регрессомъ въ смыслѣ морфологическомъ».

Для образца г. Тимирязевъ упоминаетъ о паразитахъ. Это примѣръ очень удобный по своей наглядности и общезвѣстности. Не мѣшаетъ, однако, замѣтить, что паразитами далеко не исчерпывается область деградации, регресса, вырожденія. Случаи эти столь многочисленны, что было даже предложено различать—совершенно независимо отъ разницы между морфологической и фیزیологической точками зрѣнія—«упрощающую эволюцію» и «совершенствующую эволюцію» (Рей Ланкастеръ. «Вырожденіе. Глава изъ теоріи развитія»). Рей Ланкастеръ замѣчаетъ, что «вырожденіе играетъ важную роль.. всюду, гдѣ нашелъ себѣ признаніе великій принципъ эволюціи». И далѣе: «Возможность вырожденія заслуживаетъ быть принятою въ соображеніе и по отношенію къ намъ самимъ, къ бѣлымъ расамъ Европы. Предаваясь тому немнящему безразсудному оптимизму, который выражается допущеніемъ всеобщаго прогресса, какъ чего то само собою разумѣющагося и неоспоримаго, мы привыкли смотрѣть на себя, какъ на существа, которыя непремѣнно и необходимо всегда шли впередъ, которыя необходимымъ образомъ достигли высшаго и болѣе совершеннаго состоянія сравнительно съ достигнутымъ нашими предками и которыя несомнѣнно предназначены судьбою прогрессировать все далѣе и далѣе. Между тѣмъ, недурно было бы помнить, что и мы также подлежимъ *общимъ законамъ эволюціи*, стало быть, что и мы можемъ не только прогрессировать, но также и *вырождаться*».

И такъ, съ точки зрѣнія Дарвинова ученія, какъ оно постепенно выяснилось, эволюція есть прежде всего только трансформизмъ, измѣненіе формъ жизни. Что же касается направленія, въ которомъ это измѣненіе происходитъ, то это, во-первыхъ, *направленія* (множественное число), а не направленіе, а во-вторыхъ, чтобы расположить организмы по лѣстницѣ (или лѣстницамъ) совершенства, надо еще условиться на счетъ мѣрила совершенства; достовѣрно во всякомъ случаѣ, что самъ эволюціонный принципъ не можетъ указать это мѣрило,—его надо взять откуда-нибудь со

стороны; достоверно даже, что какое бы мѣрило мы ни выбрали, оно укажетъ намъ возможность движенія и вверхъ по лѣстницѣ совершенства, и внизъ.

Что касается философіи Спенсера, то хотя философія эта слыветъ подъ именемъ эволюціонной по преимуществу, но, строго говоря, принципъ эволюціи занимаетъ въ ней не первое мѣсто. Общая формула всѣхъ процессовъ природы, по Спенсеру, такова: непрерывное перераспредѣленіе матеріи и движенія. Это тотъ же, — только болѣе широко примѣняемый, — безразличный трансформизмъ, еще ничего не предвѣщающій относительно направленія измѣненій. Затѣмъ уже Спенсеръ различаетъ процессы эволюціи (интеграція вещества и разсѣяніе движенія) и антагонистичные имъ процессы диссолюціи, разложенія (поглощеніе движенія и дезинтеграція матеріи). Намъ незначѣтъ слѣдить здѣсь за дальнѣйшими разсужденіями Спенсера. Намъ нужно было только напомнить часто самымъ Спенсеромъ забываемыя ограниченія роли эволюціи, какъ онъ ее понимаетъ. Комментируя общія положенія Спенсера, Лестеръ Уордъ говоритъ: «Мы должны освободиться отъ обычнаго понятія, что эволюція необходимо предполагаетъ все высшую и высшую организацию». Что же касается критерія или мѣрила совершенства организациі, то, какъ извѣстно, Спенсеръ признаетъ таковымъ сложность строенія и связную разнородность частей, то есть то, что г. Тимирязевъ называетъ морфологическимъ совершенствомъ. О тѣхъ недоразумѣніяхъ, въ которыя при этомъ впадаетъ Спенсеръ, я въ свое время говорилъ слишкомъ достаточно.

Въ области человѣческихъ дѣлъ и отношеній роль трансформизма или эволюціи въ болѣе общемъ смыслѣ этого слова принимается на себя «принципъ историзма», которому поэтому и предстоитъ выработать или откуда-нибудь со стороны взять мѣрило совершенства. Найдутся люди, — не г. Карѣвъ, а изъ такъ называемыхъ «объективистовъ», — которые презрительно замѣтятъ, что ни въ какихъ мѣрилахъ нѣтъ надобности. Пусть историкъ просто расскажетъ, какъ совершалось историческое движеніе даннаго общества или эпохи и почему оно совершилась такъ, а не иначе; а та формула прогресса, которую историкъ выведетъ на основаніи своего мѣрила, никакого научнаго значенія имѣть не можетъ, ибо она будетъ говорить не о томъ, какъ шла исторія, а о томъ, какъ она должна бы была идти, чтобы заслужить одобреніе историка, или рекъ. Дайте намъ объективную теорію, изслѣдующую то, что было, есть и будетъ, какъ необходимый закономѣрный результатъ прошлаго и настоящаго; а какой-то тамъ расцѣпки историческихъ фак-

товъ съ точки зрѣнія вашихъ идеальныхъ представленій о совершенствѣ намъ и даромъ не нужно.

Эти и имъ подобныя величественныя презрительныя рѣчи раздаются очень часто, причемъ говорящіе ихъ иногда указываютъ на историческія теоріи, будто бы удовлетворяющія ихъ требованіямъ, то есть виолнѣ объективныя, изслѣдующія прошедшее, настоящее и будущее исключительно съ точки зрѣнія законосообразности и причинной связи явленій, безъ всякой примѣси «такъ называемыхъ идеаловъ» и своихъ собственныхъ, субъективныхъ мѣрилъ добра и зла. Спору нѣтъ, историкъ долженъ отвѣчать на вопросъ, — какъ дѣйствительно шла исторія и почему она шла такъ, а не иначе, но вѣдь это должны дѣлать и біологи, и, однако, они самымъ ходомъ своихъ изслѣдованій приводятъ, какъ мы видѣли, къ вопросу о мѣрилахъ совершенства. Почему же мы лишимъ историка этого права или снимемъ съ него эту обязанность? Спору нѣтъ, историкъ долженъ изслѣдовать то, что было, есть и будетъ, какъ необходимый закономѣрный результатъ прошлаго и настоящаго. Но... но вотъ поучительная страница изъ вышеупомянутаго «Введенія въ философію» Паульсена:

«Идеалъ будущаго всюду служить твердой точкой, изъ которой исходить толкованіе исторіи. Отсюда опредѣляются точки прошедшаго, имѣющія руководящее значеніе, и черезъ эти точки проводится потомъ та кривая, которая описываетъ историческій ходъ жизни. Поэтому всякое новообразование тотчасъ же начинается «переоцѣнку» историческихъ цѣнностей; оно нуждается въ ней для своей философіи исторіи. Припомните возрожденіе, реформацию, французскую революцію, національный союзъ и новую нѣмецкую исторію на прусской почвѣ: каждое новообразование, переоцѣнивая историческія цѣнности, увѣряетъ себя въ своей собственной внутренней необходимости... Что представлялось когда-то людямъ великимъ и важнымъ — тезисы Лютера, Лейпцигскій или Седанскій день — то, разсматриваемое съ новой точки зрѣнія, сокращается въ совершенно заурядное будничное событіе. Напротивъ, какое-нибудь событіе, едва замѣченное другими — пріобрѣтаетъ значеніе событія, дѣлающаго эпоху во всемірной исторіи. Старое стремленіе всякой новой партіи создать себѣ свое собственное лѣтосчисленіе, новый календарь снова выступаетъ передъ нами и здѣсь. Насколько нелѣпой кажется новая оцѣнка вѣрующимъ стараго строя, настолько же вѣроитной представляется она своимъ собственнымъ вѣрующимъ: только одному не хотять они вѣрить: именно тому, что то, на чемъ поконится ихъ воззрѣніе на вещи, есть *вѣра*, а не *знаніе*. Вѣдь мы же, говорятъ они, совершенно ясно видимъ, что исторія движется въ направленіи къ этой цѣли... — Конечно, вы становитесь у цѣли:

какъ же могло бы теперь не казаться, что и исторія движется по направленію къ вамъ? Но то, что поставило насъ на этотъ пунктъ, есть не наука, а любовь и ненависть, желаніе и отвращеніе, — не разудокъ, а воля. Кто не раздѣляетъ вашей любви и вашей ненависти, вашихъ надеждъ и идеаловъ, тому вы не сможете доказать истинность вашего воззрѣнія. Вы можете сослаться только на будущее, а въ томъ-то и дѣло, что будущее открыто только вѣрѣ, а не знанію... Построеніе и толкованіе духовно-исторической жизни исходить не изъ науки о прошедшемъ, а изъ идеи совершеннаго, которую каждый носитъ въ себѣ» (стр. 326 и слѣд.).

Не говоря о кое-какихъ подробностяхъ этой цитаты, я думаю, что въ общемъ она дѣйствительно очень поучительна. Я понимаю, однако, что голосъ Паульсена не обладаетъ особенною убѣдительностью для тѣхъ именно, для кого приведенныя слова были бы особенно поучительны. Поэтому приведу еще страницу изъ одного сочиненія другого писателя, въ трудахъ котораго столь свѣдущій, добросовѣстный и логически сильный мыслитель, какъ г. Н. Струве, видитъ «иллотворное внесеніе въ социологію философскаго критицизма и научнаго психологическаго анализа».

«Ясно, что понятіе прогресса предполагаетъ конечное состояніе, приближеніе къ которому или большая степень осуществленія котораго придаетъ позднѣйшимъ состояніямъ прогрессивный характеръ. Это конечное состояніе не должно быть, конечно, осуществлено въ доселѣшней исторіи, но оно должно существовать, по крайней мѣрѣ, въ идеалѣ, чтобы направленіе къ нему могло быть признано относительнымъ прогрессомъ. Представляетъ-ли поступательный ходъ причинно связанныхъ событій выѣстъ съ тѣмъ и прогрессъ, — это рѣшаетъ идеалъ, цѣнность котораго не вытекаетъ изъ этого ряда событій, а прилагается къ нимъ. Если поэтому мы замѣчаемъ въ исторіи смѣну эпохъ съ болѣе индивидуалистическимъ и болѣе коллективистскимъ характеромъ, то одинъ признаетъ собственно прогрессивными эпохами первыя, среди которыхъ вторыя составляютъ только случайные перерывы и неизбежную при всякомъ прогрессѣ реакцію, тогда какъ другой дастъ прямо противоположное толкованіе; ибо соотвѣтственный строй общества представляется ему единственно цѣннымъ, и онъ признаетъ естественный ходъ развитія прогрессомъ лишь въ той мѣрѣ, въ какой дѣло идетъ въ этомъ направленіи. Поэтому мы видимъ прогрессъ въ исторіи или не видимъ — въ зависимости отъ оцѣнки, субъективности которой не устранима. И если бы даже нашлась единая формула, которая включила бы всѣ различные идеальные масштабы или какъ-нибудь иначе было бы достигнуто объединеніе послѣднихъ, то это, по большей мѣрѣ, только и значило бы, что всѣ видятъ или не видятъ про-

гресса въ исторіи: но этимъ не былъ бы устраненъ тотъ фактъ, что понятіе прогресса извлечено не изъ исторіи и лежитъ въ нашей субъективности» (Georg Simmel. Die Probleme der Geschichtsphilosophie. S. 92).

Мнѣ уже случалось однажды привести сужденіе Зиммеля объ экономическомъ матеріализмѣ, какъ объ ученіи метафизическомъ. Приводя теперь его мысли о невозможности объективизма въ философіи исторіи, не могу достаточно восхвалить безпристрастіе г. Струве, съ особенною энергіею рекомендующаго «плодотворные труды» Зиммеля... Очевидно, эти господа столь-же внимательно читають то, на что они опираются, какъ и то, что они опровергаютъ...

Прошу читателя обратить вниманіе на то обстоятельство, что и Паульсенъ, и Зиммель говорятъ не о томъ, какъ должно, по ихъ мнѣнію, относиться къ историческимъ фактамъ, а о томъ, какъ всѣ люди въ дѣйствительности къ нимъ относятся: это—не повелительное наклоненіе, а изъяснительное, и именно результатъ «плодотворнаго психологическаго анализа», изъ котораго, однако, не трудно сдѣлать практическій выводъ, по крайней мѣрѣ въ отрицательной формѣ: не обманывайте себя и другихъ. Необходимость, психологическая неизбежность субъективнаго элемента въ философско-историческихъ изслѣдованіяхъ, разумѣется, не снимаетъ съ насъ обязанности излагать событія въ ихъ причинной связи и не лишаетъ насъ права подыскивать объективныя основанія для оправданія поддержки и даже выработки нашего идеала. Не могутъ-ли для этой послѣдней цѣли послужить, между прочимъ, и данныя и выводы «современнаго эволюціоннаго естествознанія», хотя бы, на примѣръ, устанавливаемые біологами мѣрила совершенства организмовъ; тѣмъ болѣе, что они вѣдь имѣють объективный характеръ.

Посмотримъ, къ чему приведутъ насъ эти мѣрила или критеріи, если мы ихъ приложимъ къ нашимъ человѣческимъ дѣламъ и отношеніямъ. Мы видѣли, что такихъ мѣрилъ или критеріевъ два. Правда, г. Чиждъ идетъ въ своемъ скептицизмѣ такъ далеко, что, вывернувъ привычныя понятія на изнанку и объявивъ высшіе организмы низшими, а низшіе—высшими, приходитъ вслѣдъ затѣмъ къ заключенію, что нѣтъ ни высшихъ, ни низшихъ, и всѣ одинаково совершенны или одинаково несовершенны. Но, присматриваясь къ его аргументаціи нѣсколько ближе, мы убѣдимся, что это только діалектическіе фокусы и что г. Чиждъ, рѣшительно, повидимому, отвергая тотъ критерій, который г. Тимирязевъ называетъ морфологическимъ, волюнѣ признаетъ мѣрило фізіологическое и примѣняетъ его. Г. Чиждъ уравниваетъ по степени совершенства, собственно говоря, не всѣ формы жизни, а только «всѣ неугасающія формы»

(qui ne s'éteignent pas). Но современная биология—и въ этомъ состоитъ одинъ изъ величайшихъ успѣховъ науки—обнимаетъ общими принципами не только живыя, существующія формы, а и совсѣмъ исчезнувшія, и тѣмъ наче исчезающія, представляющія для біолога въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ даже особый интересъ. Далѣе, угасаніе есть процессъ медленный, проходящій цѣлый рядъ стадій, начиная съ какихъ-нибудь незначительныхъ признаковъ вырожденія; поэтому указать поворотный пунктъ къ угасанію—совсѣмъ не легко. Введемъ же въ разсужденіе г. Чижа неправильно устраненныя имъ исчезающія формы жизни. Изъ всего разсужденія ясно, что, по мнѣнію г. Чижа, эти формы непременно ниже существующихъ и именно потому ниже, что онѣ не приспособились къ условіямъ существованія, а слѣдовательно, не смотря на всѣ свои извороты, г. Чижъ все-таки мѣряетъ степень совершенства организмовъ тою мѣркою, которую г. Тимирязевъ называетъ физиологическою.

Я позволяю себѣ думать, что термины г. Тимирязева не вполне соответствуютъ тѣмъ группамъ явленій, которыя они должны характеризовать. Г. Тимирязевъ указываетъ, что паразитирующее животное утрачиваетъ свои органы движенія и чувствъ, соответственно съ чѣмъ понижается организація и его нервной системы, но для новыхъ упрощенныхъ условій его существованія все это было бы лишнимъ бременемъ; слѣдовательно, его пониженная въ *морфологическомъ* смыслѣ организація является усовершенствованной въ смыслѣ приспособленія: его индивидуальная и видовая жизнь нисколько не страдаютъ. Да, питается и размножается паразитирующее животное даже лучше своихъ не паразитирующихъ родичей, такъ какъ есть паразиты, состоящіе просто изъ наполненнаго яйцами мѣшка, сосущаго корневыми отростками соки изъ хозяина. И все-таки жизнь этихъ паразитовъ настолько оскудѣла, что цѣлые обширные отдѣлы физиологій не имѣютъ къ нимъ никакого касательства. Едва-ли поэтому справедливо считать возрастаніе и уменьшеніе числа функцій организма исключительно морфологическимъ явленіемъ. Но имя вещи не мѣняетъ. Важно только знать, что есть такая точка зрѣнія, съ которой безголовый и безногий паразитъ прогрессируетъ, совершенствуется, по сравненію съ своимъ собственнымъ до-паразитнымъ состояніемъ и съ своими не паразитирующими родичами; и именно потому прогрессируетъ, что вполне приспособился къ даннымъ условіямъ существованія и не тратитъ своихъ силъ на такія ненужныя ему роскоши, какъ голова и ноги, а исключительно питается и производитъ такое же безголовое и безногое потомство. Пусть эта точка зрѣнія называется физиологи-

ческою. Что же будетъ, если мы попробуемъ примѣнить эту точку зрѣнія къ нашимъ, человѣческимъ дѣламъ и отношеніямъ?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ можетъ дать любая житейская или литературная драма. Тупые и жестокіе, фигурально выражаясь, — истинно безмозглые палачи, измучившіе въ тюрьмѣ и потомъ сжегшіе на кострѣ гениальнаго, смѣлаго, благороднаго Джіордано Бруно, — выше этой, съ «морфологической» точки зрѣнія, красоты и гордости вида homo sapiens: они вполне приспособились къ условіямъ своего существованія вообще, къ современнымъ имъ астрономическимъ, богословскимъ и философскимъ понятіямъ въ частности, и благополучно питались и размножались въ то время, какъ онъ, неприспособленный, изнывалъ въ тюрьмѣ и горѣлъ на кострѣ. Молчалинъ, настолько приспособившійся къ условіямъ своего существованія, что умѣетъ

Угодять всѣмъ людямъ безъ изъятія:
Хозяину, гдѣ доведется жить. /
Служъ его, который чистить платья,
Швейцару, дворнику для избѣжанья зла,
Собакѣ дворника, чтобы ласкова была, —

Молчалинъ выше неприспособленнаго Чацкаго, который, испытавъ «милліонъ терзаній», удаляется со сцены «искать по свѣту, гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ». Приспособленный Полоній и неприспособленный Гамлетъ... Пушкинъ «съ юныхъ лѣтъ постигнувшій людей» и въ то же время настолько неприспособленный къ условіямъ своего существованія, что «руку далъ клеветникамъ безбожнымъ» и «повѣрилъ словамъ и ласкамъ ложнымъ»: Пушкинъ и превосходно приспособившіеся къ своей атмосферѣ «свободы, гения и славы палачи»... Поразительный процессъ постепеннаго приспособленія къ условіямъ существованія героевъ «Современной идилліи» Щедрина... Нужны-ли еще примѣры? Дѣло, кажется, и безъ нихъ ясно. Несмотря на все разнообразіе положеній, индивидуальныхъ чертъ, обстановки, деталей, большинство житейскихъ и литературныхъ трагедій въ своемъ основаніи въ высшей степени просты и однообразны. Трагическая сторона жизни и ея отраженія въ литературномъ зеркалѣ главнымъ образомъ и состоятъ или въ прямой гибели «морфологически» высокаго, но «физиологически» низменнаго (плохо приспособленнаго къ условіямъ существованія) типа, или въ многоразличныхъ хроническихъ его терзаніяхъ подъ напоромъ приспособленныхъ ничтожествъ. Этихъ-то послѣднихъ мы и должны признать высшими съ «физиологической» точки зрѣнія.

Однако, у этой медали «за приспособленіе», странной медали, выворачивающей всѣ наши привычныя понятія на изнанку, есть

своя изнанка. А впрочемъ, еще вопросъ — привычны-ли намъ тѣ понятія, которымъ она наноситъ такой оскорбительный ущербъ. Въ театрѣ мы презираемъ Полонія, который такъ приспособилъ свое зрѣніе, что готовъ поклясться «святой обѣдней», что облако похоже на верблюда, а пожалуй и на хорька, и на кита; презираемъ Молчалина и сочувствуемъ Чацкому; съ искреннимъ негодованіемъ перечитываемъ сверкающіе мстью стихи Лермонтова на смерть Пушкина. Но это все въ моменты приподнятаго настроенія, а въ обыденной жизни мы готовы выслушивать «практическіе» совѣты Полонія или давать таковыя же и удивляться, иногда пожалуй даже негодовать, что такіе способные люди, какъ Чацкій или Пушкинъ, не могутъ приспособиться къ даннымъ условіямъ существованія. Словомъ, въ обыденной жизни медаль «за приспособленіе» въ большомъ ходу, и мы раздаемъ ее иногда массами, когда, вслѣдствіе измѣнившихся условій существованія, толпа выдвигаетъ цѣлые ряды быстро приспособляющихся ренегатовъ, ихъ же девизъ — какъ ни быть, лишь бы жить. Но, какъ уже сказано, у этой медали есть своя обратная сторона.

Г. Тимирязевъ справедливо замѣчаетъ, что «морфологическое» и «физиологическое» совершенство, теоретически рѣзко различимыя, въ дѣйствительности могутъ и совпадать. Это тогда именно, когда сложность и многосторонность организациі оказываются, по обстоятельствамъ, вмѣстѣ съ тѣмъ и практически полезными. Это бываетъ. Въ біологической области, съ дарвинистской точки зрѣнія, это должно быть даже общимъ правиломъ, допускающимъ, конечно, исключенія: иначе жизнь давно оскудѣла бы, и мы не знали бы «морфологически» высшихъ формъ ея. Бываетъ это и въ сферахъ нашихъ общественныхъ отношеній. Неприспособленные въ данное время и въ данномъ мѣстѣ могутъ оказаться до извѣстной степени хозяевами положенія при другихъ условіяхъ, не поступаясь ни головою, ни сердцемъ. «Миліонъ терзаній» ихъ духовныхъ предковъ постепенно пробиваетъ историческую кору, и наступаетъ наконецъ моментъ, когда сирота на Молчалиныхъ прекращается, а Чацкіе призываются къ дѣятельному участию въ жизни, когда палачи Джордано Бруно предаются проклятію, а ему самому благодарное потомство воздвигаетъ памятники. Положеніе тѣхъ, кто очень ужъ усовершенствовался «физиологически» въ предшествующемъ періодѣ, тоже можетъ оказаться трагическимъ, и ихъ можно пожалѣть по человечеству. Но исторія, какъ и природа, жалости не знаетъ...

Таковы два пути эволюціи. Оба они однаково возможны, одинаково законны съ точки зрѣнія причинной связи явленій, но признаніе ихъ обоихъ прогрессивнымъ едва-ли для кого-нибудь возможно. Надо выбирать.

VIII *)

Обращеніе г. Розанова къ Л. Толстому—„Русскіе символисты“.—Наше общественное мнѣніе. — Гг. Сементковскій и Меньшиковъ по поводу жизни и смерти кн. В. В. Вяземскаго.—„Нужна-ли совѣсть?“

Время какъ время,—не хуже всякаго другого времени. А это ужъ такъ изстарѣ ведется, что люди гдѣ-то позади себя чуть не золотой вѣкъ видятъ или гдѣ-то въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ таковой же провидятъ, а на настоящее время фыркаютъ. Отжившіе и нежившіе этимъ больше занимаются, а люди зрѣлые знаютъ, что всѣ времена въ сущности одинаковы.

Такія рѣчи можно слышать довольно часто. Не мѣшаетъ, однако, и зрѣлымъ людямъ хотя изрѣдка останавливаться на нѣкоторыхъ явленіяхъ современной жизни съ тою именно цѣлью, чтобы подумать, — въ какое время они возможны: «одинаковое»-ли со всѣми другими, прошедшими и будущими временами, или въ какое-нибудь особенное, и если вѣрно послѣднее, то каковы особенности нашего времени.

Вотъ, напримѣръ, г. Розановъ—небезызвѣстный писатель, печатающійся въ разныхъ петербургскихъ и московскихъ изданіяхъ, въ томъ числѣ и въ специально философскомъ журналѣ «Вопросы философіи и психологіи», опубликовалъ въ августовской книжкѣ «Русскаго Вѣстника» статью подъ заглавіемъ: «По поводу одной тревоги г. Л. Толстого». Долженъ признаться—я не читалъ этой статьи и знаю ее только по цитатамъ г. Буренина въ «Новомъ Времени». Цитатъ этихъ, однако, вполне достаточно, чтобы оцѣнить произведеніе г. Розанова по достоинству. Авторъ обращается къ г. Толстому, между прочимъ, съ такими увѣщаніями:

«Отчего же *ты* не попытаешься покориться Богу? Ты не хочешь «сопротивляться злу» и—сопротивляешься даже Богу? Ты все умничаешь, выдумываешь, лѣпишь снова человѣка изъ глины, когда его уже слѣпилъ Богъ. Не вспомнишь-ли, какъ «лѣбя» Платона Каратаева и въ немъ (впервые) — «непротивленіе злу», ты,

*) Октябрь 1895.

въ концѣ концовъ, заставляешь людей, къ нему привязавшихся, бросить его на дорогѣ, такъ какъ онъ, больной, не можетъ за ними слѣдовать. Я помню, какъ прочелъ это много лѣтъ назадъ, еще будучи мальчикомъ, и тогда же мнѣ показалось это болѣзненнымъ и уродливымъ вывертомъ. Тутъ еще замѣшалась собачка, которая ужасно тебя обличаетъ, лаетъ на тебя изъ всѣхъ силъ: она остается съ умирающимъ Платономъ Каратаевымъ; а люди—*уходятъ*. Какъ ненатурально, какъ гадко! Какъ гадокъ человѣкъ, тобою созданный, сравнительно съ тѣмъ, каковъ онъ есть».

«Все, что ты говоришь и дѣлаешь, не есть-ли «сопротивленіе» не только злу, но, кажется, цѣлому мірозданію, которое вышло бы, тебѣ думается, лучше, будь *ты* призванъ построить для него планъ и дать законы? Развѣ не часть этого мірозданія, не его продолжающееся твореніе—чудесная исторія человѣка на землѣ, и вотъ, ты находишь ее ненужнымъ и глупымъ маскарадомъ, который давно бы пора прервать. «Зачѣмъ люди росли», «жизнь усложнялась», умъ выдумывалъ новое, то и это, отъ Авраама и до тебя?.. Значить, были *залоги* (курсивъ г. Розанова) для этого хотя бы и въ грѣхѣхъ и во всякомъ случаѣ для человѣка непостижимые; были, значить, сѣмена въ матери-землѣ, кѣмъ-то для чего-то положенныя, и что же, «не сопротивляясь злу».—ты хотѣлъ бы разомъ ампутировать этотъ сѣмennaiкъ. Покорись... Но былъ-ли человѣкъ менѣе покорный, чѣмъ ты? Такъ мелочно придирчивый? Такъ все высѣживающій, такъ все ненавидящій—при устахъ полныхъ всегда любви?» (стр. 176).

Г. Розанова оскорбляютъ какія-то четыре строчки въ разсказѣ «Хозяинъ и работникъ» (какія—не знаю, г. Буренинъ ихъ не приводитъ).

«Выпусти эти строки!», восклицаетъ критикъ «Выпусти ихъ, воздержись, *ограничь* (курсивъ г. Розанова) себя—не въ вегетеріанствѣ желудка, но въ этомъ болѣе благородномъ вегетеріанствѣ сердца, въ образахъ тебя смущающихъ, въ сладостно дразнящихъ мысляхъ, въ тѣлѣ разжигающемъ. И та радость, которой столько лѣтъ не знаешь ты, сладко защемишь у тебя подъ сердцемъ».

«Ты нищешь веревки, продолжаетъ г. Розановъ, на которой бы удавиться...—Прими въ самой малой частицѣ совѣты мои, и тотъ бѣсъ, который мучитъ тебя и заставляетъ «метать конь» въ невиннаго передъ тобой играющаго, Давида, «чтобъ пригвоздить его къ стѣнѣ», я хочу сказать—въ эту играющую передъ тобой жизнь, говорю: этотъ духъ тебя оставить, этотъ бѣсъ не смѣетъ коснуться тебя, и ты узнаешь радость».

«Подумай о несонзѣримомъ и разсмѣйся малому, чѣмъ ты занятъ: вотъ въ климактерическомъ періодѣ, такъ склонномъ къ за-

болѣванію, едва не заболѣла жена твоя—и, однако, не заболѣла-же, осталась жива, служить тебѣ помощницей!..» (Стр. 179). «Но послушай, оставь сарафаны исторіи, которые ты рубишь, какъ твой Никита рубить сарафаны жены своей ненутящей» (стр. 179). *Не смѣй осуждать*, не замѣчай, не высматривай, и *даже видя грѣхъ, свои глаза закрой на него*, если не хочешь погибнуть ужасно и жалко». «*Я осудилъ тебя послѣднимъ (?)*, послѣ столькихъ лѣтъ грѣха твоего, *когда уже гробъ не далекъ*, чтобы ты созналъ себя и радостно, а не уныло сошелъ въ него».

Прочитавъ эти строки, изумительныя по наглости и дикой распущенности, какъ въ логическомъ, такъ и въ нравственномъ и въ грамматическомъ отношеніи, я естественно пожелалъ узнать, — кто же это такой г. В. В. Розановъ? и какія такія его права увѣщевать кого-бы то ни было въ столь исключительной формѣ? Правда, я читалъ кое-что изъ произведеній г. Розанова, но во-первыхъ, очень небольшое, а во-вторыхъ, и это небольшое было совсѣмъ не такого свойства, чтобы оправдать тонъ и содержаніе приведенныхъ увѣщаній. Правда, далѣе, я удостоился однажды чести ни съ того, ни съ сего получить письмо отъ г. Розанова (тоже увѣщательное; если г. Розановъ пожелаетъ, я его напечатаю); но письмо это свидѣтельствуешь только о томъ, что г. Розановъ вообще считаешь себя призваннымъ увѣщевать и дѣлаетъ это въ частной перепискѣ хотя и смѣшно, но не до такой всетаки степени дико, какъ въ печатныхъ статьяхъ. Что же такое г. Розановъ? Какое его положеніе въ литературѣ? Для отвѣта на этотъ вопросъ я обратился къ недавно вышедшему «Философскому Ежегоднику» за 1893 г., составленному г. Колубовскимъ. Оказалось, что г. Розановъ перевелъ вмѣстѣ съ г. Перовымъ Метафизику Аристотеля, причемъ «переводъ не всегда свидѣтельствуешь о вѣрномъ пониманіи текста Аристотеля», и написалъ статьи: «О монархіи» (въ «Русскомъ Обзорѣ»), «О трехъ принципахъ человѣческой дѣятельности» (тамъ же), «Памяти О. И. Каблицы» (тамъ же), «Сумерки просвѣщенія» (въ «Русскомъ Вѣстникѣ»), «Три главные принципа образованія» (въ «Русскомъ Обзорѣ»). Статьи эти обратили на себя вниманіе нѣкоторыхъ органовъ печати, и большею частію очень благосклонное вниманіе. Правда, по поводу одной изъ нихъ («Сумерки просвѣщенія») былъ «проницательскій отзывъ» въ «Русской Мысли», а г. Иловайскій рекомендовалъ автору обратиться къ учебникамъ, но затѣмъ: «Разсужденія г. Розанова прилились по вкусу М. Южному» (въ «Гражданинѣ»); «Ю. Николаевъ вторитъ разсужденіямъ г. Розанова» (въ «Московск. Вѣдомостяхъ»); по мнѣнію г. Заточника (въ «Гражданинѣ»), «въ языкѣ г. Розанова есть что-то физиологически-чарующее»: «много теоретическаго интереса въ трудѣ г. Розанова нахо-

дять В. Чуйко» (въ «Одесскомъ Листкѣ»); по мнѣнію «Странника», «статьи г. Розанова очень любопытны, оригинальны и перѣдко выражаютъ горькую правду»: наконецъ г. Шперкъ, знаменитый Феодоръ Шперкъ уступаетъ г. Розанову часть своей всемірной славы, признавая въ немъ «истиннаго представителя специфически русской философіи».

Конечно, все это только разные Чуйки да Шперки, самыя горячія одобренія которыхъ еще не могутъ предоставить одобряемому особія права и преимущества. Но изъ приведенныхъ отрывковъ видно все-таки, что г. Розановъ не какой-нибудь случайный первый встрѣчный, мнѣнія и поступки котораго могутъ быть насколько не характерны для своей среды или для своего времени. Нѣтъ, это человѣкъ, имѣющій свою аудиторію, своихъ читателей, свой кругъ солидарныхъ людей, что, можетъ быть, и дастъ ему смѣлость говорить съ гр. Толстымъ тономъ знаменитаго архимандрита Фотія. Архимандритъ Фотій, первая четверть нашего истекающаго столѣтія, — вотъ куда надо углубиться, чтобы найти параллель увѣщаніямъ г. Розанова! Но и то надо замѣтить: каковъ-бы ни былъ Фотій, какъ человѣкъ, но онъ былъ духовное лицо и въ этомъ своемъ духовномъ санѣ почерпалъ и сознаніе своей миссіи, и обычное право обращенія на «ты», а г. Розановъ человѣкъ свѣтскій и даже гг. Южыны и Николаевы, Чуйки и Шперки не понимаютъ, что благодати священства на немъ нѣтъ. Я думаю поэтому, что статья г. Розанова есть явленіе безиримѣрное въ прошломъ и надо надѣяться, невозможное въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ. Бывали у насъ въ литературѣ случаи безобразнѣйшей полемики — безобразнѣйшей и по формѣ, и по существу, но ничего подобнаго все-таки не было; ибо ко всему обычнымъ неприличіямъ всехъ сортовъ неприличной полемики здѣсь прибавленъ еще этотъ якобы свыше вдохновенный тонъ. Одно изъ двухъ: или г. Розановъ лицемеритъ, или онъ кощунствуетъ.

Гнусно прикоснуться ко всему подробностямъ нустосвятскаго увѣщанія г. Розанова, но остановимся на двухъ-трехъ пунктахъ не съ точки зрѣнія морали и приличія — какая ужъ тутъ мораль, какое приличіе! — а съ точки зрѣнія самаго простаго, азбучнаго здраваго смысла.

«Не смѣй осуждать!» кричитъ г. Розановъ и тутъ же прибавляетъ: «я тебя осудилъ». Правда, г. Розановъ «осудилъ» съ благою цѣлью: чтобы гр. Толстой радостно, а не уныло сошелъ во гробъ. Ну, конечно, какъ гр. Толстому, да и всему намъ, не обрадоваться, какъ не сказать: «нынѣ отпущаеши раба твоего съ миромъ», когда объявился этакій... этакій пророкъ, судія и учитель, какъ г. Розановъ!..

Но г. Розановъ не только пророкъ, судія и учитель. Онъ кромѣ того еще и проникательнѣйшій литературный критикъ. Еще въ дѣтствѣ усмотрѣлъ онъ фальшь въ сценѣ смерти Платона Каратаева въ «Войнѣ и мирѣ», и дальнѣйшія размышленія все болѣе и болѣе убѣждали его, что великій художникъ согрѣшилъ здѣсь противъ правды. Каратаева, въ числѣ прочихъ плѣнныхъ, ведутъ французы: дорогой онъ заболѣваетъ и не можетъ идти: французы его пристрѣливаютъ и идутъ дальше, подгоняя прочихъ, здоровыхъ плѣнныхъ: надъ трупомъ Каратаева воетъ приласканная имъ собачка. Изъ всего этого г. Розановъ заключаетъ, что гр. Толстой хотѣлъ сопоставить безчувственныхъ людей съ чувствительной собачкой и впалъ при этомъ въ художественную ложь, ибо люди въ дѣйствительности совѣмъ не такъ дрянны, какими ихъ «лѣпятъ» гр. Толстой. Г. Буренинъ справедливо пронизываетъ по этому поводу: «Дѣло въ томъ, что люди, слѣпленные даже по самымъ совершеннымъ образцамъ, не могли-бы остаться съ большимъ плѣнникомъ Каратаевымъ, не могли-бы оказать ему помощи, просто потому, что если-бы они сдѣлали попытку остаться, ихъ бы сейчасъ же пристрѣлили французы, какъ пристрѣлили они Каратаева. Собачка же осталась не потому, что Толстой слѣпилъ ее лучше и добѣе людей, а потому, что она не считалась плѣнницей, ее не конвоировали французскіе солдаты, она была свободна вполнѣ и могла поступить какъ ей угодно».

Такимъ образомъ, г. Розановъ не потрудился даже сколько-нибудь внимательно прочитать то мѣсто произведенія гр. Толстого, на которомъ строитъ свой обвинительный актъ. Я ужъ не говорю о чувствахъ плѣнныхъ товарищей Каратаева: они изображены чертами, очевидно слишкомъ тонкими для пониманія г. Розанова. Но припомнимъ душевное состояніе пристрѣлившихъ Каратаева французовъ: «Они оба были блѣдны, и въ выраженіи ихъ лицъ—одинъ изъ нихъ робко взглянулъ на Пьера (*тоже плѣннаго*)—было что-то похожее на то, что онъ видѣлъ въ молодомъ солдатѣ на казни». А что онъ видѣлъ въ молодомъ солдатѣ (французѣ) на казни?

«Молодой солдатъ съ мертво-блѣднымъ лицомъ, въ кивертѣ, свалившемся назадъ, спустивъ ружье, все еще стоялъ противъ ямы на томъ мѣстѣ, съ котораго онъ стрѣлялъ. Онъ, какъ пьяный, шатался, дѣлая то впередъ, то назадъ нѣсколько шаговъ, чтобы поддержать свое падающее тѣло. Старый солдатъ, утеръ-офицеръ, выбѣжалъ изъ рядовъ и, схвативъ за плечо молодого солдата, втащилъ его въ роту. Толпа русскихъ и французовъ стала расходиться. Всѣ шли молча съ опущенными головами.—Это научить ихъ поджигать, сказать кто-то изъ французовъ. Пьеръ оглянулся на говорившаго и увидалъ, что это былъ солдатъ, который хотѣлъ утѣшиться чѣмъ-

нибудь въ томъ, что было сдѣлано, но не могъ. Не договоривъ начатаго, онъ махнулъ рукою и пошелъ прочь».

Если это не правдиво, если это клевета, а не любовное, а вмѣстѣ съ тѣмъ художественно тонкое выстѣживание лучшихъ сторонъ человѣческой природы даже въ моменты бессмысленной и жестокой бойни.—то, конечно, г. Розановъ есть праведный судія, вдохновенный учитель и глубокомысленный критикъ...

Г. Буренинъ сопоставляетъ завыванія г. Розанова съ якобы поэтическими произведеніями нашихъ декадентовъ и символистовъ и ставитъ ихъ за общую скобку кликушества или юродства. Но кликушество кликушествомъ, и можетъ быть не оно въ данномъ случаѣ особенно характерно. Кликуши бываютъ настоящіе большіе, но бываютъ и симулянты, прекрасно себя чувствующіе, отлично устранивающіе свои дѣла и извлекающіе изъ своей симуляціи разныя выгоды. Выгоды очень разнообразны: иной получаетъ при этомъ свой, по выраженію, кажется, г. Мамина, недурненькій кусочекъ хлѣба съ масломъ, а иной довольствуется болѣе идеальной выгодой. и даже не выгодой въ настоящемъ смыслѣ слова, а удовлетвореніемъ того чувства, которое нѣкогда побудило Герострата сжечь храмъ Діаны. Конечно, оба эти мотива могутъ дѣйствовать и одновременно, въ разныхъ сочетаніяхъ. Я думаю, что если господа, о которыхъ теперь рѣчь идетъ,—кликуши и юродивые, то во всякомъ случаѣ не настоящіе, а симулянты. Думаю далѣе, что г. Розановъ руководится болѣе аппетитомъ, хотя не прочь и отъ славы, а наши декаденты и символисты преимущественно соревнуютъ Герострату. Предпріятіе ихъ классическаго прототипа для нихъ, конечно, слишкомъ рискованно и отвѣтственно: они даже не рискнуть нагиномъ на улицу выбѣжать, при всей заманчивой пикантности такого поступка. ибо знаютъ, что за этимъ послѣдуетъ совѣтъ не символическій полицейскій участокъ, но безнаказанно выкинуть какую-нибудь непристойность они страстно желаютъ, и собственно затѣмъ, чтобы обратить на себя побольше вниманія,— вотъ онъ я! Не то, чтобы они непременно сами по себѣ, по природѣ своей, непристойные люди: нѣтъ, они рады бы были читать стихи не хуже Пушкина и Лермонтова, но какъ-то у нихъ все хуже выходитъ; посредственными-же, хотя-бы и не дурными стихами на себя большого вниманія не обратить, и вотъ они шипятъ непристойную въ художественномъ смыслѣ чепуху, чепушность которой кричитъ, вошгъ, такъ что ее нельзя не услышать.

Вотъ четыре первыхъ стихотворенія изъ только-что вышедшаго сборника «Русскіе символисты»:

I.

Вотъ онъ стоить въ блестящемъ ореолѣ,
Въ заученной и неудобной позѣ,
Его рука протянута къ мимозѣ.
А ногъ его цитаты древнихъ эхолой.

Оставь, уйдемъ! Нанявъ міръ—фатаморгана,
Но правда есть и въ призрачномъ оазѣ:
То міръ земли на высотѣ фантазій.
То братъ Ормуздъ, обивавшій Аримана.

II.

Тѣнь несозданныхъ созданий
Колыхается во снѣ,
Словно лопасти латаний
На эмалевой стѣнѣ

Фиолетовыя руки
На эмалевой стѣнѣ.
Подусонно чертятъ звуки
Въ звонко-звучной тишинѣ.

И прозрачныя кіоски
Въ звонко-звучной глубинѣ
Вырастаютъ точно блескни
При лазоревой лунѣ.

Всходитъ мѣсяцъ обнаженный
При лазоревой лунѣ;
Звуки рѣютъ подусонно,
Звуки ластятся ко мнѣ.

Тайны созданныхъ созданий
Съ лаской ластятся ко мнѣ,
И трепещетъ тѣнь латаний
На эмалевой стѣнѣ.

III.

О закрой свои блѣдныя ноги.

IV.

Мертвецы, освѣщенные газомъ!
Алая лента на грѣбной невѣстѣ!
О! Мы пойдемъ цѣловаться къ окну!
Видишь, какъ блѣдны лица умершихъ?
Это—больница, гдѣ въ траурѣ дѣти...
Это—на льду олеандры...
Это—обложка романсовъ безъ словъ...
Милая, въ окна не лядно дуны
Наши души—цвѣтокъ у тебя въ бутоньеркѣ!

Увѣряю читателя, что я не позволилъ себѣ измѣнить хотя бы одно слово или прибавить или убавить хоть одну строчку, выпи-

сывая эти четыре якобы стихотворения. Одинъ изъ ихъ составителей (потому что они составлены), г. Валерій Брюсовъ, издалъ еще отдѣльную «книгу» стиховъ. Онъ такъ и называетъ ее «книгой», хотя въ ней всего четыре печатныхъ листочка малаго формата. Но малъ золотникъ да дорогъ. Авторъ говоритъ въ предисловіи: «Печатаю свою книгу въ наши дни, я не жду ей правильной оцѣнки ни отъ критики, ни отъ публики». Но дальѣ оказывается еще великолѣпнѣе. О «нашихъ дняхъ» нечего и говорить: «не современникамъ и даже не человѣчеству завѣщаю я эту книгу, а вѣчности и искусству». И все это вздоръ. Вздоръ самыя стихотворенія, притомъ несколько не оригинальный вздоръ, потому что всѣ эти «фіолетовыя руки», «звонко-звучныя тишины», «больницы, гдѣ въ траурѣ дѣти» и проч. украдены у французовъ; а нашихъ символистовъ только на то и хватаетъ, чтобы вымучить изъ себя тощую тетрадку подражаній и назвать ее «книгой». Вздоръ и «завѣщаніе этой книги вѣчности и искусству». Вздоръ не только самъ по себѣ, въ качествѣ бессмысленнаго сочетанія словъ, а и по отношенію къ г. Валерію Брюсову: никакого ему дѣла нѣтъ до вѣчности и искусства, и вовсе онъ «наши дни» не презираетъ. Напротивъ, онъ настоящий и любящій сынъ «нашихъ дней», когда можно безнаказанно городить вздоръ и «стоять въ блестящемъ ореолѣ въ заученной и неудобной позѣ», — вотъ онъ я!

Безнаказанно... А развѣ не наказаніе эти насмѣшливые и вообще неблагоприятныя отзывы критики и публики? Нѣтъ, не наказаніе. Для этихъ господъ геростратиковъ наказаніемъ было бы только полное молчаніе, и я очень хорошо понимаю, что доставляю г. Валерію Брюсову удовольствіе повтореніемъ его имени, какъ бы я объ немъ ни судилъ. Ему 21 годъ, какъ онъ самъ любезно сообщаетъ въ томъ же предисловіи къ своей «книгѣ». Передъ нимъ цѣлая перспектива жизни, и можетъ быть когда-нибудь онъ получитъ «просіаніе своего ума», и ему станетъ стыдно своихъ тенеренныхъ глупостей. Привѣтствую этотъ моментъ будущаго, но и сейчасъ ничего не имѣю противъ того, чтобы доставить г. Брюсову удовольствіе распространеніемъ, по мѣрѣ моихъ силъ, его славы. Есть явленія, которыя должны развернуть во всю ширь всѣ свои задатки, чтобы ихъ нелѣпность стала для всѣхъ очевидною. Когда г. Мережковскій призывалъ символизмъ на русскую почву, онъ, конечно, соблазнялся «фіолетовыми руками» и «звонко-звучной тишиной», но едва-ли онъ предвидѣлъ всѣ эти «посвященія мѣф и царицѣ Клеопатрѣ», «завѣщанія вѣчности и искусству» и проч. Не предвидѣлъ вѣроятно и гениальнаго однострочнаго стихотворенія:

О закрой свои блѣдныя ноги.

И надо радоваться, что все это, наконецъ, объявилось. Поэтому—слава г. Валерію Брюсову и всѣмъ, иже съ нимъ! Равнымъ образомъ и г. Розанову слава, потому что онъ воочію показалъ намъ, къ чему ведетъ пустосвятское ханжество и изуѣрство. Но теперь рѣчь о нашихъ декадентахъ и символистахъ. Сами по себѣ они со всѣми своими претензіями такія маленькія, хотя и пыжающія фигурки, что и говорить объ нихъ не стоило бы. Но во-первыхъ, отчего же не доставить имъ удовольствіе: тѣмъ болѣе, что «фіолетовыя руки» и «всходитъ мѣсяцъ обнаженный при лазоревой лунѣ»—могутъ всетаки позабавить читателей. Или хотъ напомнить имъ блаженные времена дѣтства, когда было такъ смѣшно, что «Оекла ѣхала верхомъ въ раскидной каретѣ!» А во-вторыхъ, и въ малой каплѣ воды отражается солнце. Для сужденія объ общемъ характерѣ «нашихъ дней» и декаденты могутъ доставить не безынтересный матеріалъ.

Что заставляетъ этихъ людей писать якобы стихи, лишенные не только смысла, а даже и музыкальнаго сочетанія звуковъ? Отвѣтъ явствуется изъ сопоставленія этихъ якобы стиховъ съ горделивыми «посвященіями» и «завѣщаніями»: жажда славы, желаніе быть на виду, при завѣдомомъ безсиліи достигнуть этого прямыми путями. Если бы г. Валерій Брюсовъ написалъ нѣсколько стихотвореній, подъ которыми не стыдно бы было подписаться кому-нибудь изъ нашихъ великихъ или даже только второстепенныхъ поэтовъ, а затѣмъ наполнять свои досуги писаніемъ декадентской чепухи, то мы сказали бы: да, это настоящій поэтъ, который можетъ, но по какому-то странному капризу, не хочетъ. Теперь же мы должны сказать: вотъ маленький человѣчекъ, который страстно хочетъ и никакъ не можетъ. Но прославиться можно вѣдь, такъ сказать, и на изнанку. А тутъ какъ разъ изъ Франціи протягиваются готовыя фіолетовыя руки. Отчего же не попробовать загрести жаръ этими чужими, хотя и фіолетовыми руками? Пусть люди смѣются, бранятся,—тѣмъ лучше: «шумимъ, братецъ, шумимъ!» А «наши дни» этому чрезвычайно способствуютъ. Не то, чтобы въ эти сѣрые, тусклые дни требованія логической, нравственной и художественной благопристойности были совсѣмъ забыты, но они какъ-то ослабѣли въ своемъ предупреждающемъ, устрашающемъ и карающемъ значеніи. Въ сущности, тѣ Чуйки и Шперки, которые можетъ быть аплодируютъ и безобразнымъ выходкамъ г. Розанова противъ гр. Толстого и сочувствіе которыхъ во всякомъ случаѣ сыграло свою роль въ этомъ возмутительномъ предпріятіи, весьма немногочисленны. Огромное же большинство читателей отлично понимаетъ цѣну этихъ выходокъ и осуждаетъ ихъ. Но осужденіе это, въ отдѣльных единицахъ достигающее, надо думать, послѣднихъ предѣловъ негодо-

ванія и презрѣнія.—въ массѣ настолько робко и лишено энергіи, что г. Розановъ ни мало его не боится; мало того, онъ бравируетъ своею безобразною распущенностью. Точно также и декаденты. Всѣ понимаютъ, что ихъ стихи безсмысленны, некрасивы и бездарны, а «посвященія» и «завѣщанія» просто глупы, но отдѣльныя мифы этихъ «всѣхъ» не слагаются въ общественное мифіе, достаточно сильное, чтобы этимъ господамъ стыдно стало. И имъ любо издѣваться надъ этимъ общественнымъ безсиліемъ,—вотъ онъ я! Въ этомъ-то безсиліи общественного мифіа и состоитъ, мифъ кажется, характернѣйшая общая черта нашихъ дней. Люди здороваго ума и чувства есть, и ихъ даже не мало по нашему обиходу, но общества нѣтъ.

Мифъ могутъ сдѣлать два замѣчанія. Скажутъ: сами же вы упоминаете объ иностранномъ происхожденіи всѣхъ этихъ «несозданныхъ созданий» и прочихъ вздоровъ, полученныхъ нами въ готовомъ видѣ изъ чужихъ «фіолетовыхъ рукъ» и у себя дома вызывающихъ тоже не мало насмѣшекъ и протестовъ. Значить, и тамъ, въ Европѣ, общественное мифіе столь же безсильно?, значить, и тамъ люди есть, общества нѣтъ? Нѣтъ, не значить. «Несозданныя созданія» тамъ возможны, возможны пожалуй и изувѣры въ родѣ г. Розанова, но тамъ они имѣютъ подъ собою извѣстную историческую почву, и въ той сложной нестройѣ, которую представляетъ собою европейская жизнь, можно различить не одно, а нѣсколько обществъ и нѣсколько общественныхъ мифіа, въ сферѣ своего вліянія очень сильныхъ. А затѣмъ, возможны, конечно, отдѣльныя уродства, но за то у всѣхъ французовъ, у всѣхъ нѣмцевъ, у всѣхъ англичанъ, или, по крайней мѣрѣ, у громаднаго, подавляющаго большинства ихъ (примѣрно у «миліона безъ одного») есть извѣстный фондъ идей, непрікосновенный для всѣхъ партій и всѣхъ отгѣнковъ общественного мифіа. Безспорно, однако, что и западно-европейскія страны могутъ переживать и не разъ переживали такіе историческіе моменты, когда люди есть, а общества нѣтъ.

Другое возможное замѣчаніе состоитъ въ слѣдующемъ. Общественное мифіе есть мечъ обоюдоострый. Правда, оно можетъ охранять умственную, нравственную и художественную благопристойность, но оно же часто представляетъ собою тотъ рокошъ, на который натываются провозвѣстники новыхъ истинъ и просто люди съ большимъ умомъ и благороднымъ сердцемъ. Общественное мифіе отравило Сократа и засадило въ сумасшедшій домъ Чаадаева (по его собственному убѣжденію, это было дѣломъ общественного мифіа); общественное мифіе загубило Пармелія и прикрываетъ покровомъ стыдливости гнуснѣйшій развратъ; опираясь на рутину, оно душитъ всякую оригинальность; на подкладкѣ лицемерія или

искренняго тупоумія, оно убиваетъ и калѣчить тысячи свободныхъ душъ.

Повѣрили глупцы, другимъ передають;
Старухи въ мигъ тревогу бьютъ—
И вотъ общественное мнѣніе!

Да, избави Богъ и насъ отъ этакихъ судей... Въ настоящее время въ европейской научной литературѣ довольно дѣятельно разрабатывается вопросъ о «герояхъ и толпѣ», о коллективной или массовой психологін. причемъ изслѣдователи нерѣдко приходятъ къ выводамъ, въ силу которыхъ надо бы было вывернуть наизнанку нашу поговорку: умъ хорошо, а два лучше,—умъ хорошо, а два хуже, а сотня умовъ еще хуже. Не трудно бы было доказать и чисто фактическую, и теоретическую, принципиальную несостоятельность такого обобщенія. Но что общественное мнѣніе есть обоюдоострый мечъ, это во всякомъ случаѣ достоверно, а потому и наше разсужденіе о безсиліи у насъ общественнаго мнѣнія требуетъ нѣкоторой поправки. Можетъ быть и хорошо, что оно безсильно? А можетъ быть, безсильное воздержать г. Розанова или г. Валерія Брюсова, оно сильно на что-нибудь другое?

Въ концѣ апрѣля нынѣшняго года саратовская судебная палата вынесла обвинительный приговоръ инсарскому исправнику Иванову (лишеніе нѣкоторыхъ правъ и тюремное заключеніе на 10 мѣсяцевъ и 20 дней), полицейскому уряднику Кретьнину и разсылному инсарскаго уѣзднаго полицейскаго управленія Панкову (лишеніе нѣкоторыхъ правъ и тюремное заключеніе на 6 мѣсяцевъ). Судились эти люди за варварскія истязанія крестьянъ при взысканіи податей. Много любопытныхъ, хотя и не новыхъ чертъ нашей общественной жизни раскрываетъ этотъ процессъ; я остановлюсь только на одной. Правосудіе сдѣлало свое дѣло, но, какъ пишетъ корреспондентъ «Русскихъ Вѣдомостей», изъ показаній одного свидѣтеля, инсарскаго земскаго врача г. Карпинцева, «выяснилось интересное отношеніе мѣстнаго общества къ преступленію Иванова и судьбѣ свидѣтеля (онъ теперь служитъ врачомъ въ хвалынскомъ земствѣ)... Вскорѣ послѣ его показанія у слѣдователя (не въ пользу Иванова), къ нему обращались многіе изъ мѣстныхъ жителей съ просьбою смягчить свое первоначальное показаніе, на что свидѣтель отвѣтилъ, что пусть смягчаютъ они его сами (т. е. показаніями противоположнаго характера), а онъ показывалъ по совѣсти и измѣнить показаніе не можетъ. Вскорѣ послѣ этого онъ, безъ всякаго повода съ его стороны, былъ удаленъ инсарскою земскою управою со службы. Между прочимъ, желая подорвать достоверность его показанія, про него пустили по городу слухъ, что онъ сошелъ съ ума».

«И вотъ общественное мнѣніе!»

Поразительно не то, что какой-то Ивановъ оказался звѣремъ, — это всегда и вездѣ возможно; не удивительно и то, что Кретиинъ и Панковъ безпрекословно исполняли верварскія приказанія, — они люди подначальные. Но истинно поразительно заступничество цѣлаго общества, заступничество, переходящее даже въ мсть честному человѣку, по совѣсти содѣйствовавшему цѣлѣ правосудія. И въ роли исполнителя этой мести выступилъ органъ самоуправленія, которому, казалось бы, больше, чѣмъ когда-нибудь, слѣдовало бы стоять на высотѣ своего призванія...

Читатель, сколько-нибудь вглядывавшійся въ нашу жизнь, знаетъ, что она очень богата разнообразными варьяциями на тему разсказаннаго эпизода, только не всегда онѣ обнаруживаются: для этого нужны экстренныя обстоятельства, преимущественно судебная гласность. Во всякомъ случаѣ, есть же, значить, у насъ общественное мнѣнiе. Писарское общественное мнѣнiе оцѣнило высокія качества Иванова и не одобрило поведенія доктора Каринина, и высказалось въ этомъ смыслѣ: не только высказалось, а и затѣяло цѣлое предпріятіе: если же это предпріятіе въ концѣ концовъ оказалось неудачнымъ, то это уже вина стороннихъ обстоятельствъ. Итакъ, поправка необходима: общественное мнѣнiе у насъ есть. Но, страннымъ образомъ, только одна изъ сторонъ этого обоюдоостраго меча рѣжетъ, рубитъ, колетъ, а другая — такъ тупа, заржавлена, бездѣятельна и безсильна, что и меча не напоминаетъ. Да и въ другихъ отношеніяхъ едва-ли приличествуетъ нашему общественному мнѣнiю названіе меча. Мечъ, это вѣдь символъ силы губительной и можетъ быть грубой, но открытой и въ этомъ смыслѣ благородной, предпочитающей борьбу грудью съ грудью, съ жаждой побѣды, но и съ рискомъ пораженія. А это — «и пращъ, и стрѣла, и лукавый кинжалъ», и все, что хотите — только не мечъ.

Немудрено, что это общественное мнѣнiе презираютъ, что надъ нимъ издѣваются даже въ тѣхъ случаяхъ, когда къ нему апеллируютъ.

Года три тому назадъ въ Серпуховѣ умеръ нѣкто князь Василій Васильевичъ Вяземскій. Умеръ онъ 80-ти сншкомъ лѣтъ, но при жизни о немъ не было слышно за предѣлами его мѣстожительства. Послѣ же смерти люди, знавшіе князя, гг. Мантейфель, Обнинскій, Корсаковъ разсказали о немъ много чрезвычайно любопытныхъ вещей. Оказалось, что это была личность, въ высокой степени замѣчательная по своимъ умственнымъ и нравственнымъ качествамъ, равно какъ и по своему оригинальному образу жизни. Онъ жилъ одиноко, въ маленькомъ домикѣ въ лѣсу; питался самою простою пищею, одѣвался больше, чѣмъ просто и бѣдно; всѣ деньги, какія

ему попадались въ руки, раздавалъ нуждающимся, всегда готовъ былъ подать добрый совѣтъ; высказывалъ при случаѣ высоко гуманныя идеи, которымъ и въ жизни слѣдовалъ; любилъ физическій трудъ, но занимался также наукою и высоко цѣнилъ искусство. Во всемъ этомъ было кое-что чудаческое, но вмѣстѣ съ тѣмъ люди, знавшіе его, сообщили объ немъ столько возвышенныхъ чертъ и эпизодовъ, что становились совершенно понятными любовь и уваженіе къ нему мѣстныхъ жителей. Понятно, однако, также, что не всѣ и не за все были благосклонны къ князю, но съ него нечего было взять, и его оставили, наконецъ, въ покоѣ, по выраженію, сообщаемому г. Корсаковымъ, «въ разсужденіи его неуязвимости по отношенію къ гражданскимъ законамъ». О князѣ заговорили въ газетахъ; поговорили и, конечно, скоро замолчали бы, потому что, при всей своей оригинальности и при всѣхъ своихъ достоинствахъ, онъ не оставилъ послѣ себя какого-нибудь такого осязательнаго духовнаго наслѣдства, которое напоминало бы объ немъ потомству. Благодарная или даже благоговѣйная память объ немъ могла бы, конечно, еще долго жить въ средѣ людей, его знавшихъ, но собственно такъ называемая «большая публика», читатели газетъ и журналовъ, съ интересомъ выслушавъ разсказы о князѣ, не имѣла дальнѣйшихъ, хронически дѣйствующихъ поводовъ имъ заниматься. Это не типъ, а единица, и въ общей картинѣ нашего умственнаго броженія занимаетъ совершенно одинокое мѣсто, ибо не было у него подражателей и учениковъ и не оставилъ онъ обществу въ цѣломъ какого-нибудь ученія или другихъ долговѣчныхъ слѣдовъ своей жизни. Однако, прахъ его былъ скоро потревоженъ съ все-російскими, такъ сказать, цѣлями.

Первымъ выступилъ г. Боборыкинъ. Этотъ плодовитый писатель, съ великою поспѣшностью хватающійся за всякій, хотя бы и чисто случайный и не типическій матеріалъ для беллетристической эксклюзативаціи, изобразилъ князя Вяземскаго въ романѣ «Перевалъ» подъ именемъ князя Жеребьева-Зарайскаго. Это, конечно, дѣло вполне невинное. Другой человѣкъ великой поспѣшности, г. Сементковскій, уже много лѣтъ выбивающійся изъ силъ, чтобы предъявить публикѣ что-нибудь свѣжее и оригинальное, поступилъ гораздо хуже. Онъ напечаталъ въ «Историческомъ Вѣстникѣ» статью, въ которой, восхваляя кн. Вяземскаго, сдѣлалъ изъ покойника нѣкоторое стѣнобитное орудіе для разрушенія славы гр. Толстого. Я отнюдь не поклонникъ гр. Толстого въ новѣйшей фазѣ его развитія и въ послѣдній періодъ его славы, но приемы г. Сементковскаго отнюдь не колеблютъ этой славы и могутъ только, — смотря по темпераменту или настроенію читателя, — или возмутить своею злобностью или насмѣнить своею нелѣпностью. Г. Сементковскій хочетъ доказать «полное совпаденіе

жизни и дѣятельности князя Василя Вяземскаго съ нравственно-философскимъ ученіемъ графа Льва Толстого». Кн. Вяземскій давно практически осуществилъ то, что теперь теоретически проповѣдуетъ гр. Толстой. Послѣдній есть «ученикъ» перваго, «копируетъ» его, «точка въ точку списываетъ». Г. Сементковскій, оскорбленный въ своихъ лучшихъ чувствахъ, негодуетъ, что о князѣ Вяземскомъ заговорили только послѣ его смерти, да и то не надолго, «въ то время, какъ провозвѣстники его идей шумѣли не только на всю Россію, но и на всю Европу». Нелѣпность этихъ ядовитостей очевидна. Во-первыхъ, ни одинъ изъ писавшихъ о кн. Вяземскомъ на основаніи какъ личнаго знакомства съ нимъ, такъ и слуховъ, не сообщаетъ о знакомствѣ его съ гр. Толстымъ. По всей вѣроятности, о самомъ существованіи кн. Вяземскаго гр. Толстой узналъ, какъ и мы съ г. Сементковскимъ, уже по прекращеніи этого существованія, изъ некрологовъ гг. Мантейфеля и Обнинскаго. Во всякомъ случаѣ, г. Сементковскій даже не подумалъ о томъ, чтобы представить хотя какія-нибудь доказательства знакомства графа съ княземъ или его идеями. Далѣе, нинѣ, кажется, достаточно выяснено критикою, что, при всей переменчивости мнѣній гр. Толстого, задатки его теперешней проповѣди находятся уже въ самыхъ раннихъ его произведеніяхъ, — въ «Утрѣ помѣщика», «Казакахъ», педагогическихъ статьяхъ и проч., а эти произведенія написаны раньше, чѣмъ кн. Вяземскій поселился въ лѣсной избушкѣ въ Серпуховскомъ уѣздѣ. Наконецъ, какъ бы ни были сходны нѣкоторыя черты жизни и дѣятельности графа и князя, между ними есть такія рѣзкія и существенныя различія, что о «списываніи точка въ точку» нельзя и подумать.

Если, однако, у графа Толстого есть ярые враги-изувѣры вроде г. Розанова, то есть у него и не менѣе пылкіе почитатели и заступники. Сопоставленіе князя Вяземскаго съ графомъ Толстымъ возмутило г. Меньшикова, но, къ сожалѣнію, онъ тоже обнаружилъ чрезмѣрную поспѣшность, и эта чрезмѣрность оказалась горше предыдущей, не говоря уже о невнятной торопливости г. Боборыкина.

Казалось бы, вышеприведенныхъ чисто фактическихъ соображеній совершенно достаточно для признанія выводовъ г. Сементковскаго безапелляціонно вздорными. Зантересованному почему-нибудь всей этой исторіей стоило только отмѣтить ихъ фактическую несообразность. Но именно эта-то сторона дѣла и не обратила на себя вниманія г. Меньшикова. Въ его распоряженіи оказался только одинъ аргументъ: «Кто угодно на свѣтѣ можетъ «списывать точка въ точку», только не Толстой! Съ его-то творческимъ талантомъ — списывать! Съ его оригинальностью въ каждомъ звукѣ — подра-

жать!» («Книжки Недѣли», № 8). Какъ бы, однако, мы ни были увѣрены въ творческой силѣ графа Толстого, мы не можемъ въ данномъ случаѣ на нее ссылаться, потому что поэтическаго таланта графа г. Сементковскій не затрагиваетъ, а что касается творчества въ области идей, то его-то и слѣдуетъ еще доказать или оградить отъ подозрѣній, если ужъ поднимать перчатку, брошенную г. Сементковскимъ. Понятно, что единственный аргументъ г. Меньшикова не могъ удовлетворить его самого. «Въ совпадении князя Вяземскаго и графа Толстого,—говоритъ онъ,—я чувствовалъ что-то темное, требующее разъясненія». И много средства г. Меньшиковъ для разъясненія не нашелъ, какъ настоящее «дознаніе» (такъ статья и озаглавлена: «Дознаніе»): онъ поѣхалъ въ Серпуховскій уѣздъ съ цѣлью на мѣстѣ собрать свѣдѣнія о жизни и дѣятельности князя Вяземскаго. Какъ совершалъ онъ свое «дознаніе» и къ какимъ результатамъ оно его привело, мы сейчасъ увидимъ. Но сначала посмотримъ, какъ онъ себя передъ этимъ дознаніемъ извинчивалъ,—я не могу придумать другое выраженіе. Г. Меньшиковъ всячески старается увѣрить себя и насъ, что совпаденіе жизни и идей графа Толстого и, насколько онъ были извѣстны до «дознанія», князя Вяземскаго—дѣйствительно «поразительно». Въ самомъ дѣлѣ, графъ Толстой аристократическаго происхожденія и князь Вяземскій аристократъ по рожденію; одинъ служилъ на Кавказѣ, и другой тоже; одинъ говоритъ, что евангеліе есть великая книга, и другой тоже; одинъ проповѣдуетъ любовь къ ближнему и трудовую жизнь, и другой тоже; одинъ, разочаровавшись въ цивилизаціи, отказался отъ ея призрачныхъ благъ и «опростился», и другой тоже. Все это, по мнѣнію г. Меньшикова, столь поразительно, что становится даже подозрительнымъ: ужъ нѣтъ-ли со стороны писавшихъ о князѣ Вяземскомъ намѣренія выставить конкурента славы графа Толстого, нѣтъ-ли комплота, который слагался исподволь и получилъ наконецъ, полное выраженіе въ статьѣ г. Сементковскаго? И г. Меньшиковъ возрешивалъ...

Присмотрѣвшись, однако, къ тѣмъ даннымъ, которыя показались г. Меньшикову столь поразительными, мы едва-ли найдемъ основанія для ревности. Что же дѣлать, если князь Вяземскій былъ дѣйствительно князь Вяземскій, рюриковичъ, аристократъ по рожденію, и если онъ служилъ на Кавказѣ? Притомъ же, этого рода совпаденія слишкомъ обыкновенны и не существенны, и ихъ смѣло можно бы было оставить въ сторонѣ, а не ставить на счетъ предполагаемому комплоту. Проповѣдь величія евангелія и любви къ ближнему,—но неужели это такая рѣдкость, что второй экземпляръ проповѣдника долженъ уже возбуждать сомнѣнія и какъ бы перебивать дорогу остальнымъ? Конечно, сходство между жизнью и

дѣятельностью князя Вяземскаго и графа Толстого не ограничивается такими общими чертами, но почитателю *идей* графа Толстого слѣдовало, казалось бы, только радоваться, что вотъ и еще одинъ человекъ пришелъ къ истинѣ. Самъ графъ Толстой, конечно, съ величайшимъ удовольствіемъ прочиталъ некрологи князя Вяземскаго. Наконецъ, сходство сходствомъ, а есть вѣдь и рѣзкія различія. Напримѣръ, г. Меньшиковъ уловляетъ такое сходство: и графъ, подобно Вяземскому, «занимался разными науками и музыкой». Это вѣрно, но надо же соображать: графъ въ теченіе своей жизни пережилъ такія разнообразныя отношенія къ «разнымъ наукамъ и музыкѣ», о которыхъ у князя и помину нѣтъ; а между тѣмъ, отношенія графа къ наукѣ и искусству представляютъ одинъ изъ характеристикншихъ для него пунктовъ. Г. Корсаковъ сообщаетъ, что князь «неохотно велъ разговоры на нравственно-соціальныя темы и тѣмъ болѣе избѣгалъ какихъ бы то ни было споровъ», а о какихъ-нибудь попыткахъ пропагандировать свои идеи путемъ печатнаго слова ни одинъ некрологъ даже не заикается. Опять, какая огромная, рѣзкая разница. Тотъ же г. Корсаковъ, проникнутый уваженіемъ къ памяти князя Вяземскаго, сообщаетъ, что если ему случалось разговаривать въ интимномъ кружкѣ, то «все высказываемое княземъ не представляло собою чего-либо новаго». Мы знаемъ, что графъ Толстой неустанно сообщаетъ намъ что-нибудь, и по его собственному убѣжденію, и по убѣжденію его почитателей — новое, а подчасъ и дѣйствительно нѣчто дотошъ неслыханное.

Словомъ, ни въ некрологахъ Вяземскаго, ни въ ядовитостяхъ г. Сементковскаго не было рѣшительно ничего такого, что оправдывало бы ревность г. Меньшикова и предпріятіе «дознанія». Но онъ предпринялъ. Въ Серпуховскомъ уѣздѣ онъ поселился у тамошняго помѣщика А. П. Мантейфеля, того самого, который написалъ въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» первый некрологъ Вяземскаго (некрологъ былъ подписанъ «А. М—фель», но теперь, въ новой, вызванной «дознаніемъ» статьѣ въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ», г. Мантейфель подписался полностью). Г. Меньшиковъ рассказываетъ: «Въ теченіе мѣсяца, пользуясь гостепріимствомъ А. П. Мантейфеля, я обошелъ мѣста скитальчества князя на берегахъ Пары и разросилъ нѣсколько десятковъ «свѣдущихъ людей» — дворянъ, духовныхъ лицъ, крестьянъ, видѣвшихъ воочію «великаго подвижника», ѣздивъ въ Серпуховъ и розыскавъ тамъ нѣсколько лицъ, указанныхъ въ біографіи, писанной г. Корсаковымъ». Результатъ получился уже дѣйствительно поразительный: ни одинъ изъ «свѣдущихъ людей» не сказалъ добраго слова о князѣ Вяземскомъ. Это былъ человекъ невѣжественный, жестокій, самодуръ, пьяница, развратникъ, циникъ, сплетникъ; словомъ, нѣтъ грѣха, которымъ бы не былъ грѣшенъ

князь Вяземскій, пѣтъ порока, который не пятнать бы его, а нѣкоторые «свѣдущіе люди» доводили свою аттестацію до градусовъ «подлеца», «мерзавца», «людоѣда»... Что же это такое? Еще куда бы ни шло, еслибы князь оказался обыкновеннымъ человѣкомъ, подобно вѣсѣмъ намъ, имѣющимъ свои свѣтлыя и темныя стороны, а здѣсь это сплошной мракъ, какое-то адское исчадіе...

Такой удивительный результатъ дознанія обязывать, конечно, г. Меньшикова подумать о мотивахъ людей, поднявшихъ людоѣда на незаслуженный пьедесталъ. Убѣжденіе въ существованіи комплота противъ графа Толстого, повидимому, ослабло въ г. Меньшиковѣ во время дознанія, но за то явились многія драгоценныя частныя соображенія. Напримѣръ: «*какъ говорятъ*, г. Мантейфель былъ предрасположенъ къ довѣрчивости относительно князя особою причиною: г. Мантейфель хорошій шлангистъ, и князь являлся въ деревнѣ не только единственнымъ его слушателемъ, но и страстнымъ поклонникомъ». Далѣе, «необходимо принять въ расчетъ также укоренившуюся въ нашихъ нравахъ привычку къ официальной лжи: человѣка, завѣдомо дурного, если онъ чиновный или титулованный, мы въ юбилейныхъ рѣчахъ, за тостами и въ некрологахъ превозносимъ, какъ «замѣчательнаго», «честнаго, энергическаго дѣателя», «высокоталантливаго», «заслуженнаго» и т. п. Въ этомъ сказывается византизмъ русской жизни, насквозь пропитанный ложью. Насколько ложь въ нашихъ нравахъ: *мнѣ рассказывали* про одного серпуховскаго помѣщика (восхищающагося безкорыстіемъ князя Вяземскаго): будучи человѣкомъ богатымъ, онъ, покупая что-нибудь въ магазинѣ, нанимая извозчика и т. п., всегда плачется, что раззорился, что у него полный неурожай, и сочиняетъ при этомъ цѣлыя трогательныя исторіи. Ѣдетъ по желѣзной дорогѣ—16-лѣтняго сына выдаетъ за 10-лѣтняго, старается провезти даромъ и т. п.». Наконецъ, и еще одно соображеніе. Злого умысла біографы князя Вяземскаго не имѣли, они исказили его дѣйствительный образъ «подъ гипнозомъ моды», подъ давлениемъ толстовскаго ученія...

Очевидно, г. Меньшиковъ не даромъ съѣздитъ въ Серпуховскій уѣздъ. Онъ собралъ тамъ множество драгоценныхъ свѣдѣній, которыми и поспѣшилъ подѣлиться съ читателями «Недѣли». Что «чиновныхъ и титулованныхъ» часто хвалятъ въ некрологахъ, что называется, зря,—это г. Меньшиковъ, конечно, и до путешествія въ Серпуховъ зналъ. Да если немножко подумать, такъ вѣдь это не имѣетъ никакого отношенія къ данному случаю: чиновнымъ человѣкомъ Вяземскій не былъ (отставной поручикъ или подпоручикъ), а княжескій титулъ, хотя и носилъ, но носилъ до такой степени безъ соотвѣтственнаго блеска, что смѣшно и говорить *

возможности чьего-нибудь ослѣпленія этимъ блескомъ. Что ученіе графа Толстого «въ модѣ» (вѣриѣ сказать: *было* въ модѣ), это тоже г. Меньшиковъ еще въ Петербургѣ зналъ, но это еще не резонъ превращать въ героя на толстовскій образецъ именно «людоѣда». Но за то г. Меньшиковъ узналъ на мѣстѣ, что г. Мантейфель прекрасный панистъ и способенъ за похвалу ему, какъ виртуозу, возвеличить завѣдомаго злодѣя. Узналъ еще г. Меньшиковъ и о томъ, какъ «одинъ серпуховскій помѣщикъ» разговариваетъ въ лавкахъ, съ извозчиками, съ кондукторами желѣзныхъ дорогъ... А это, конечно, все очень важно и должно быть доведено до свѣдѣнія читателей «Недѣли»...

Г. Мантейфель возражалъ г. Меньшикову въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» и «Сѣверномъ Вѣстникѣ». Мы извѣстны только первое изъ этихъ возраженій. Г. Меньшиковъ получилъ отъ «свѣдущихъ людей» прямыя опроверженія некрологовъ Вяземскаго: все это ложь, князь былъ злодѣй, пьяница, насилывалъ 12-лѣтнихъ дѣвочекъ и проч. Г. Мантейфель сообщаетъ теперь, что тѣ же самые «свѣдущіе люди» отрицаютъ показанія г. Меньшикова: онъ все выдумалъ, и никогда они ничего подобнаго ему не говорили. Скучно перебирать отзывы Гаврилы-повара, бабки Анны, помѣщицы N и т. д., но, по словамъ г. Мантейфеля, одни изъ нихъ въ болѣе или менѣе рѣзкихъ выраженіяхъ обвиняютъ г. Меньшикова въ неправдѣ, а другіе по такимъ-то и такимъ-то соображеніямъ не заслуживаютъ никакого довѣрія. Тогда г. Меньшиковъ опять напечаталъ въ «Недѣлѣ» статью подъ заглавіемъ «Литературное (?) слѣдствіе», въ которой, на основаніи подлинныхъ документовъ (онъ предлагаетъ желающимъ видѣть ихъ въ редакціи «Недѣли»), опровергаетъ опроверженія г. Мантейфеля и объявляетъ, что послѣднему «нельзя вѣрить ни въ одной буквѣ»... Онъ сообщаетъ, между прочимъ, одну любопытную подробность. О князѣ Вяземскомъ г. Корсаковъ писалъ еще въ 1877 г., и именно въ «Недѣлѣ» же, въ статьѣ «Князь-крестьянинъ», гдѣ Вяземскій назывался княземъ Пряшковымъ. Его образъ жизни описывался тамъ такими же чертами, какъ и въ теперешнихъ некрологахъ,—значить, повидимому, было же что-нибудь подобное въ дѣйствительности: но въ той же статьѣ сообщалось о смерти и похоронахъ князя,—за 15 лѣтъ до его дѣйствительной смерти... Мы попадаемъ такимъ образомъ въ какое-то безбрежное море лжи и силетень, въ которомъ не разберешь: кто же лжетъ? и зачѣмъ?

Г. Меньшиковъ называетъ свою вторую статью «Литературное слѣдствіе». Мы кажется, что литературнаго здѣсь очень мало. Г. Меньшиковъ взываетъ къ «общественному мнѣнію». И я готовъ

воззвать къ нему же... Но прежде одна маленькая оговорка. Когда попадаешь въ такую странную и непристойную кашу, какая заварилась на могилѣ князя Вяземскаго, надо принять всѣ предосторожности, чтобы ея брызги не попали какъ-нибудь и въ тебя. «Русскія Вѣдомости» выразили, между прочимъ, предположеніе, что г. Меньшиковъ «заранѣе задался мыслью доказать, что жизнь Вяземскаго не походила на ученіе Л. Н. Толстого» и что «эта предвзятость мысли отразилась на способахъ дознанія». Г. Меньшиковъ во второй своей статьѣ не безъ пропіи отзывается объ этой «неудачной попыткѣ прочесть въ его сердцѣ». Онъ объясняетъ, что если и былъ предубѣжденъ, то въ пользу князя. «*До своего пріѣзда* на мѣсто дознанія—говоритъ онъ—я былъ не оскорбленъ, а восхищенъ тишомъ князя-пустынника и именно близостью его къ высокому нравственному ученію Л. Н. Толстого». Свое восхищеніе онъ успѣлъ выразить и печатно, и—продолжаетъ г. Меньшиковъ—«редакція «Посредника» въ Москвѣ можетъ удостовѣрить, что я фхаль къ г. Мантейфелю, между прочимъ, съ порученіемъ отъ нея собрать все, что можно, о князѣ и написать житіе его, какъ великаго праведника-народолюбца для народныхъ изданій».—Прочитавъ эти строки, я испугался. Выше я утверждалъ, что г. Меньшиковъ пофхаль въ Серпуховъ для разъясненія недоумѣній, возбужденныхъ въ немъ подозрительнымъ сходствомъ князя Вяземскаго съ графомъ Толстымъ. Оказывается, что я сказалъ неправду или неудачно читалъ въ сердцѣ г. Меньшикова: никакихъ недоумѣній и подозрѣній у него не было, а фхаль онъ съ твердою увѣренностью въ истинности рассказовъ о Вяземскомъ и только на мѣстѣ (да и то, какъ видно, не съ разу) убѣдился въ ихъ лживости. Да, я очевидно написалъ неправду, и г. Меньшиковъ можетъ сослаться, для уличенія меня, на документы, свидѣтелей и прочіе элементы дознанія и слѣдствія... Однако, вѣдь и я собственно не въ сердцѣ г. Меньшикова читалъ, а въ его собственной статьѣ, гдѣ значится буквально слѣдующее: «Въ совпаденіи князя Вяземскаго и графа Толстого я чувствовалъ что-то темное, требующее разъясненія. Я рѣшилъ пофхать въ Серпуховскій уѣздъ на мѣсто, гдѣ жилъ и дѣйствовалъ князь Вяземскій, и собрать болѣе подробныя свѣдѣнія о немъ». Итакъ, съ какими же чувствами и съ какими цѣлями фхаль г. Меньшиковъ въ Серпуховъ: съ чувствами «восхищенія» передъ совпаденіемъ князя Вяземскаго съ графомъ Толстымъ и съ полною вѣрою въ истинность рассказовъ о князѣ, или же, напротивъ того, онъ чувствовалъ, что тутъ есть «что-то темное» и «требующее разъясненія»? съ цѣлью произвести «дознаніе», какъ и озаглавлена его первая статья, или же съ цѣлью написать «житіе праведника», какъ онъ объясняетъ во второй статьѣ? Въ сердцѣ г. Меньшикова

читать не берусь, а въ статьяхъ его. какъ читатель видитъ, написано разное...

Г. Меньшиковъ призываетъ общественное мнѣніе... Да существуетъ-ли оно, это общественное мнѣніе, если надъ нимъ можно до такой степени издѣваться?! А вѣдь издѣвается въ нелѣпной исторіи съ княземъ Вяземскимъ не одна которая-нибудь изъ сторонъ, унижающихъ другъ друга во лжи. Мнѣ думается, что покойный князь не былъ ни тѣмъ мрачнымъ злодѣемъ, какимъ его рисуетъ г. Меньшиковъ, ни тѣмъ святымъ, какимъ его изображаютъ некрологи, но былъ въ немъ нѣкоторые оригинальныя черты, давнія поводъ къ двухстороннему издѣвательству надъ общественнымъ мнѣніемъ. Рыгся во всѣхъ подробностяхъ этихъ возвеличеній и униженій покойника, равно какъ и взаимныхъ униженій во лжи возвеличивающихъ и унижающихъ, — и противно, и скучно. Но достаточно и того немногаго, что приведено выше. Съ какой, напримѣръ, стати г. Корсаковъ похоронилъ князя за 15 лѣтъ до его смерти? Или, съ какой стати г. Меньшиковъ занимаетъ насъ уѣздными сплетнями о томъ, какъ торгуется, съ лавочниками и извозчиками «одинъ серпуховскій помѣщикъ»? Съ какой стати онъ же съ равною горячностью рассказываетъ о томъ, что онъ ѣхалъ производить «дознаніе», и о томъ, что онъ ѣхалъ писать «жизніе»? За тѣмъ вообще вся эта куча лжи!—потому что лжи тутъ во всякомъ случаѣ не оберешься, это съ яростью доказываютъ обѣ стороны.

«Мало-ли что говорится подъ давленіемъ пустоты и удушливой скуки провинціального прозябанія?» Это слова г. Мантейфеля, цитируемыя г. Меньшиковымъ. Я не знаю, откуда именно они взяты и что хочетъ объяснить ими г. Мантейфель. Но въ словахъ этихъ заключается во всякомъ случаѣ доля объясненія всего эпизода. Я воображаю, какъ оживилъ Серпуховскій край г. Меньшиковъ своимъ появленіемъ и разспросами помѣщиковъ, священниковъ, Гаврилы-повара, бабки Анны... Какой роскошный прирѣкъ ума и сердца! Какъ захлебывался все эти скучающіе, мохомъ обросшіе люди, удовлетворяя любознательности слѣдователя-добровольца и сообщая ему все имъ извѣстное и неизвѣстное, о князѣ Вяземскомъ и совсѣмъ не о князѣ Вяземскомъ. Нельзя, однако, ставить все на счетъ именно «провинціальному прозябанію». Вѣдь вотъ и столичный человѣкъ, г. Меньшиковъ, писатель, привыкшій, повидимому, къ обширнымъ горизонтамъ, а посмотрите, съ какою жадною торопливостью записывалъ онъ въ своей памяти все слышанное имъ отъ серпуховскихъ обывателей. Приѣхалъ собирать свѣдѣнія о князѣ Вяземскомъ, но расхोдиншійся Гаврила-поваръ или бабка Анна рассказали еще объ «одномъ серпуховскомъ помѣщикѣ»: давай и его сюда!..

Пока я писалъ все это, въ печати появился еще одинъ доку-

ментъ по тому же дѣлу. Г. Меньшиковъ ссылаясь, между прочимъ, на отношеніе къ князю Вяземскому г. Шнейдера. Послѣдній напечаталъ теперь въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» письмо, въ которомъ, изложивъ факты, насколько они его касаются, пишетъ: «Изъ этого фактическаго изложенія видно, что князь Вяземскій никогда не былъ старшимъ сторожемъ въ серпуховской больницѣ и что фразы, приписанной мнѣ о покойномъ: «надо убрать эту тварь, чтобы по свѣту не бродила», я не говорилъ и сказать не могъ. Серпуховскимъ предводителемъ дворянства я никогда не былъ, а былъ предсѣдателемъ земской управы. Все это заставляетъ придти къ заключенію, что г. Меньшиковъ для своего «Дознанія» пользовался свидѣтелями, не заслуживающими довѣрія и сообщавшими ему совершенно невѣрные данныя».

Этимъ дѣло не кончится. По всей вѣроятности много еще будетъ возраженій, опроверженій и возраженій на возраженія; г. Меньшиковъ вызываетъ даже желающихъ ѣхать съ нимъ вмѣстѣ въ Серпуховъ для вторичнаго «дознанія». Но я уже слѣдить за всѣмъ этимъ не полагаю нужнымъ. Дѣло, кажется, достаточно выяснилось, если, конечно, разумѣть надо «дѣломъ» не личность князя Вяземскаго, — она нисколько не выяснилась, — а характеръ всей этой исторіи, давшій поводъ разгуляться лжи и сплетнѣ въ размѣрахъ, едва-ли возможныхъ въ другое время. И хотя всѣ участники исторіи апеллируютъ къ общественному мнѣнію, но большаго неуваженія къ этой апелляціонной инстанціи трудно себѣ и представить.

Если, однако, у насъ нѣтъ достаточно сложившагося и сильнаго, уважаемаго общественнаго мнѣнія, то за-то какой просторъ предоставляется оригинальности! Да оно и естественно: это вѣдь обратная сторона той же медали. — не стѣсняемая требованіями общественного мнѣнія личная оригинальность проявляется въ полномъ блескѣ. И развѣ въ самомъ дѣлѣ не оригинальна мысль публично обратиться къ гр. Толстому «на ты» съ поученіями и обличеніями à la г. Розановъ?, или идея посвятить свои сочиненія «мнѣ и царицѣ Клеопатрѣ», «вѣчности и искусству»? или мысль превратить завѣдомаго злодѣя въ святого или, наоборотъ, святого въ злодѣя?, или идея поднять до высоты всероссійскаго интереса разговоры «одного серпуховскаго помѣщика» съ лавочниками и извозчиками? О! оригинальными идеями у насъ теперь хоть прудъ пруди. Идея, по опредѣленію Гейне, есть всякая глупость, которая вамъ придетъ въ голову. Я думаю, что онъ разумѣлъ при этомъ что-нибудь въ родѣ нашихъ теперешнихъ оригинальныхъ идей. Оригинальность есть вѣдь тоже обоюдоострое оружіе. Кн. Вяземскій оригиналенъ въ обо-

ихъ варьянтахъ свсего портрета. Оригиналенъ геній, оригиналенъ и ідіотъ. Я не хочу этимъ сказать, чтобы нашимъ тенереніямъ оригиналамъ предстоялъ непремѣнно выборъ между геніальностью и ідіотизмомъ, но всетаки опи, я думаю, въ большинствѣ случаевъ немножко дальше отъ первой, чѣмъ отъ послѣдняго. И сколько оригинальныхъ идей только еще «пришло въ головы» и ждетъ случая для своего выраженія!

«Нужна-ли совѣсть? Вопросъ этотъ, къ сожалѣнію, не настолько безспоренъ, чтобы невозможны были въ немъ разнорѣчія». Такъ начинается статья г. Меньшикова «Совѣсть и знаніе», напечатанная въ іюльской книжкѣ «Русской Мысли». Вотъ какіе глубокіе, коренные вопросы ставить и разрѣшаетъ нынѣ печать: нужна-ли совѣсть?! Надо замѣтить, что статья г. Меньшикова полемизируетъ съ одной статьей г. О. Т. В. въ той же «Русской Мысли», а печатая статью г. Меньшикова въ іюлѣ, редація московскаго журнала сопровождала ее слѣдующимъ примѣчаніемъ: «Охотно помѣщая, въ виду важности и сложности вопроса, статью г. Меньшикова, мы предоставили отвѣтить на нее г. О. Т. В. въ слѣдующей книжкѣ нашего журнала». Почтенная редація исполнила свое обѣщаніе, предоставила отвѣтить г. О. Т. В. въ слѣдующей книжкѣ, и въ результатѣ дебатовъ получился единогласный успокоительный отвѣтъ: совѣсть пужна. Ну, слава Богу! Можно было, однако, заранѣе ожидать, что дебатирующіе придутъ къ согласію именно въ томъ смыслѣ, что совѣсть пужна, потому что хотя вопросъ и «важный и сложный», допускающій «разнорѣчія», и сразу, не подумавши, отвѣтить на него трудно, но всетаки едва-ли возможна оригинальность въ его разрѣшеніи. Оригинальна и характерна для нашего времени здѣсь только самая постановка вопроса: нужна-ли совѣсть?

Я, впрочемъ, не на эту оригинальность хотѣлъ обратить ваше вниманіе, а на приводимый г. Меньшиковымъ отрывокъ изъ письма къ нему г. Тверского, автора извѣстныхъ очерковъ американской жизни, печатавшихся въ «Педѣлѣ» и «Вѣстникѣ Европы». Я долженъ признаться, что недостаточно знакомъ съ произведеніями г. Тверского, и потому приведу ихъ общую характеристику словами г. Меньшикова: «Въ этихъ очеркахъ г. Тверской самъ описываетъ, какъ послѣ нѣсколькихъ лѣтъ горячей, но безуспѣшной дѣятельности въ одномъ изъ земствъ, онъ уѣхалъ въ Америку, какъ онъ началъ тамъ съ низшихъ рабочихъ должностей, сдѣлался инженеромъ, строилъ желѣзныя дороги и участвовалъ въ разныхъ предпріятіяхъ, пока не остановился на паровыхъ праченихъ въ Калифорніи. Въ результатѣ кипучей дѣятельности—изрядное состояніе, а главное, душевный покой, покой человека, постигшаго истинный смыслъ жизни. Смыслъ этотъ—американизмъ, т. е. возможно энергическая

работа съ цѣлью матеріальнаго обогащенія, къ которому будто бы все остальное приложится. Такъ вотъ, этотъ г. Тверской написалъ г. Меньшикову частное письмо, которое, однако, послѣдній считаетъ себя вправе опубликовать, во-первыхъ потому, что оно имѣетъ «исключительно общественный интересъ», и во-вторыхъ потому, что «тѣ же идеи проводятся и въ статьяхъ г. Тверского». Во всякомъ случаѣ, письмо напечатано и становится общимъ достояніемъ. Г. Тверской пишетъ: «Энгельгардтъ и его послѣдователи разныхъ типовъ... по моему глубокому убѣжденію, принесли Россіи несравненно болѣе вреда, чѣмъ пользы. Русская интеллигенція и русскій народъ—двѣ несомнѣстимыя вещи, и всякія попытки совмѣстить ихъ, какъ бы честны и искренни онѣ ни были, только мѣшаютъ народу идти по своему собственному пути, единственно возможному и способному вывести его изъ тѣхъ дебрей, въ которыя завели его тысячи лѣтъ рабства и нищеты. Какъ варяго-русы не съумѣли «устроить русскую землю», такъ и теперешняя интеллигенція не съумѣетъ этого сдѣлать и только задерживаетъ народъ своими неумѣлыми, неудачными поползновеніями. «Хожденіе въ народъ», «служеніе народу», «братство» и все имъ подобное только вредитъ дѣйствительному прогрессу,—пусть самъ народъ добивается этого прогресса, и если мы, интеллигенція, не будемъ у него на пути съ нашими непонятными, ненавистными ему пріемами, онъ скорѣе выбѣдетъ изъ тьмы на свѣтъ». Г. Тверской сообщаетъ далѣе, что онъ десять лѣтъ жилъ въ деревнѣ, гдѣ боролся со «всемирнымъ (?) зломъ», что борьба эта оказалась безплодною, несмотря на то, что борецъ былъ молодъ, энергиченъ, богатъ и «пользовался неограниченнымъ вліяніемъ во всемъ уѣздѣ и даже губерніи». «Исверкавъ и собственную жизнь, и жизнь своей семьи и свой уѣздъ», г. Тверской наконецъ «ушелъ съ родины», ибо ему стало невыносимо «душно». «Думаю,—говоритъ онъ,—что это былъ единственный шагъ, которымъ я дѣйствительно принесъ пользу русскому народу... Мы съ вами—варяго-русы и чѣмъ скорѣе мы уберемся во свояси, тѣмъ скорѣе славянскій народъ добьется того, что ему нужно. Мы не только не можемъ ему помочь, но и несомнѣнно ему вредимъ всякимъ нашимъ движеніемъ, всякимъ нашимъ словомъ, какъ бы искренно, честно и горячо оно ни было».

Вотъ по истинѣ Гейневская «идея». Я не стану, разумѣется, опровергать ту подробность, что, «уйдя съ родины», г. Тверской сдѣлалъ «единственный шагъ, которымъ дѣйствительно принесъ пользу»... ну, хоть не «русскому народу», это немножко слишкомъ великолѣпно, а—тому «уѣзду», который онъ «исверкалъ». Не стану говорить о томъ, правильно-ли понимаетъ г. Тверской дѣятельность Энгельгардта, соплетая его имя съ «хожденіемъ въ на-

родъ», «служеніемъ народу», «братствомъ» и т. п. (Энгельгардтъ быть просто «хозяинъ» съ нѣкоторыми оригинальными приѣмами хозяйничанья и нѣкоторыми оригинальными взглядами на русскую жизнь). Интересна общая мысль г. Тверского: интеллигенція, желающая добра народу, должна убираться «во свояси». Замѣтьте, даже не воздерживаться отъ внимательства въ народную жизнь, а просто убираться—куда? должно быть въ Америку: по крайней мѣрѣ лично г. Тверской тамъ нашелъ свои «сваяси», тамъ, въ паровыхъ прачешныхъ въ Калифорніи. Собственно, для заведенія паровыхъ прачешныхъ пожалуй что и не стоило бы ѣхать такъ далеко: онѣ и въ Россіи могли бы быть устроены и приносить доходъ, хотя, можетъ быть, и не такой, какъ въ Америкѣ. Но г. Тверскому стало невыносимо «душно» въ Россіи. Изъ приводимаго г. Меньшиковымъ отрывка не видно подробностей этой духоты, но суть ея очевидно состоитъ въ бесплодности или даже вредоносности сожителства «варяго-русской интеллигенціи», и именно лучшей ея части, со «славянскимъ народомъ». Г. Тверской, кажется, серьезно убѣжденъ въ племенномъ отличіи нашей интеллигенціи отъ нашего народа и должно быть очень обрадовался, когда нашелъ наконецъ своихъ единоплеменниковъ въ Америкѣ... Если бы г. Тверской сказалъ, что онъ, раззорившись въ Россіи, уѣхалъ въ Америку поправлять свои дѣла, чего и добился долгимъ и упорнымъ трудомъ,—это было бы просто и понятно. Если бы онъ сослался на духоту вообще, не сообщивъ мотивовъ, то мало-ли что вошло въ обыкновенное, житейское могло намъ придти въ голову: ну, напримѣръ, климатъ слишкомъ суровъ, не по здоровью. Еслибы онъ, наконецъ, покаялся, что, дескать, «нековеркалъ свой уѣздъ» и стыдно показаться на родину, то и такое покаяніе было бы намъ понятно, и мы даже, можетъ быть, постарались бы утѣшить г. Тверского: что-же, моль, дѣлать! быть молодцу не укоръ! Но г. Тверской предъявилъ общеобязательную для русской интеллигенціи принципиальную подкладку своего отъѣзда. Представимъ же себѣ, что его желаніе исполнено, и «варяго-руссы» ушли изъ Россіи; бросили насѣженные мѣста, разстались съ своими мечтами, привязанностями, понятіями о долгѣ, обязанностяхъ и ушли за море. Но вѣдь и варяго-руссы бываютъ разные, пныхъ и я съ удовольствіемъ отпустилъ бы въ Калифорнію, да они навѣрное не уйдутъ. Рѣчь очевидно идетъ о варяго-руссахъ, сколько-нибудь подобныхъ г. Тверскому. Волюй уподобиться ему—дѣло мудреное: онъ ухитрился въ «своемъ уѣздѣ» бороться со «всемирнымъ зломъ», а это не всякому дано, это ужъ величіе. Но я полагаю, что если мы возьмемъ какую-нибудь общедоступную черту не величія, а только порядочности, напримѣръ, чувство собственного достоинства и уваженіе къ чужому достоинству,—то г. Твер-

ской всетаки согласится признать обладателей этой черты не совсемъ чужими ея людямъ. Такъ вотъ и представимъ себѣ, что изъ Россіи ушли всѣ тѣ «варяго-русы», которые чувствуютъ собственное достоинство и уважаютъ чужое. Какъ процвѣтетъ тогда «славянскій народъ»!

Идея г. Тверского есть вполне современная идея, въ томъ смыслѣ, что никогда ничего подобнаго мы не слыхали и, надо надѣяться, въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ не услышимъ. Если мы припомнимъ Чаадаева, который сильнѣе чѣмъ кто-нибудь выразилъ отчаянное сомнѣніе въ самыхъ коренныхъ основахъ русской жизни, то увидимъ, что между нимъ и г. Тверскимъ существуетъ огромная разница, и не въ пользу послѣдняго. Чаадаевъ поголовнаго выселенія честныхъ людей не предлагалъ и на калифорнскихъ паровыхъ прачешныхъ не уснокоился бы...

Надо, однако, замѣтить, что идея г. Тверского есть въ нѣкоторомъ родѣ «тѣнь несозданныхъ созданій». Мы узнали объ ней благодаря нескромности г. Меньшикова, а самъ г. Тверской можетъ быть и не рѣшился бы ее публиковать, изъ боязни общественнаго мнѣнія. А впрочемъ, г. Меньшиковъ, какъ мы видѣли, утверждаетъ, что эти же идеи проводятся и въ печатныхъ статьяхъ г. Тверского. Дѣло возможное, если судить по всѣмъ вышеприведеннымъ пестрымъ матеріаламъ для характеристики нашего времени.

IX *)

„Любовь въ концѣ вѣка. Современники о современной любви“.—Мнѣнія г-жъ Назарьевой, Лухмановой, гг. Варламова, Скабичевского, Мордовцева, Льдова, Карабчевскаго и др.—„Душевные свойства женщинъ“ г. Каптерева.—
М. М. Ковалевскій и К. Каутскій о семьѣ.

Въ послѣднее время у насъ входятъ въ моду обращенія къ публикѣ—ко всѣмъ желающимъ или къ особливо свѣдущимъ людямъ—за разрѣшеніемъ того или другого вопроса, предложенія подавать мотивированные голоса на извѣстную тему. Нельзя сказать, чтобы эти опыты голосованія, давно практикующіеся въ западной Европѣ, были до сихъ поръ у насъ очень удачны. То вопросы ставятся настолько глупые, что сами вопрошающіе оказываются сконфуженными; то дождемъ сыплются глупые отвѣты, какъ это было по дѣлу Палемъ для обсужденія котораго газета «Новости» открыла свои столбцы всѣмъ желающимъ высказаться; то, какъ это было съ призывомъ г. Ледерле выразить свое мнѣніе о лучшихъ книгахъ, изъ 2000 вопрошаемыхъ откликнется всего 70 человекъ. Это отъ непривычки, конечно, отъ общественной невоспитанности. Это въ особенности относится къ постановкѣ глупыхъ вопросовъ и торопливости глупыхъ отвѣтовъ. Для воздержанія отъ отвѣта на предложенный вопросъ, хотя бы и очень серьезный и важный, могутъ найтись разныя вполнѣ резонныя объясненія, хотя иногда и оно есть простой результатъ непривычки къ участію въ обсужденіи общественныхъ дѣлъ. Но вызывать желающихъ публично высказаться по вопросу о томъ, какъ поступать замужней женщинѣ, у которой въ постели внезапно умеръ любовникъ (такой вопросъ былъ предложенъ); или съ торопливостью сыпать тотъ вздоръ, которымъ добровольцы наводняли «Новости»,—это значить совсѣмъ не понимать, что достойно общественнаго вниманія и публичнаго совокупнаго обсуж-

*) Ноябрь 1895.

денія и что совершенно не заслуживаетъ быть вынесеннымъ за предѣлы кабинета или будуара.

Сказанное относится, впрочемъ, лишь въ нѣкоторой степени къ тому результату опроса и голосованія, о которомъ я собираюсь говорить. Весной нынѣшняго года вышелъ небольшой сборникъ «Любовь въ концѣ вѣка. Современники о современной любви». Кажется, совсѣмъ не обратившій на себя вниманія печати, хотя онъ наводитъ на размысленія не безынтересныя. Тутъ собраны мнѣнія 42-хъ представителей (въ томъ числѣ 12 иностранцевъ) науки, литературы, житейской практики и самыхъ разнообразныхъ отраслей искусства. Внѣшностью своею книжка можетъ вызвать у однихъ презрительное отношеніе, у другихъ предвкушеніе веселой пикантности: хорошенькое изданіе необычнаго формата, съ какими-то странно изогнутыми, обнаженными женскими фигурами на оберткѣ. Да, наконецъ, и само заглавіе «Любовь конца вѣка»... Знаемъ, чѣмъ это пахнетъ! — подумаютъ и презирающіе, и предвкушающіе. И тѣ, и другіе ошибутся. Въ книжкѣ совсѣмъ нѣтъ той спеціальной пикантности, которой, пожалуй, и естественно было бы ожидать въ подобномъ изданіи.

Изъ отвѣта Д. А. Мордовцева видно, что ему были предложены слѣдующіе вопросы: «Вырождается-ли любовь?», «Любовь въ современномъ романѣ», «Замѣчается-ли различіе въ манерѣ изображенія любви новѣйшими беллетристами и писателями старой школы?», «Въ какихъ современныхъ беллетристическихъ произведеніяхъ любовь рисуется наиболѣе ярко и полно?», «Особенности любви русской женщины по современнымъ романамъ», «Вліяніе натуралистической школы на современный русскій романъ (скабрзность сюжета)». Н. П. Карабчевскій отвѣчаетъ на вопросы: «Вырождается-ли любовь?», «Какую роль играетъ любовь въ судебныхъ процессахъ уголовнаго характера?», «Преступная любовь? Мстительная любовь (процессъ Палемъ)?», «Характеристика отношеній мужчинъ къ женщинамъ въ современныхъ процессахъ?» и т. д.. Г. Цабелю предложено было объяснить: «Вырождается-ли любовь?», «Любовь въ операхъ старой школы?», «Любовь въ современныхъ операхъ?», «Вліяніе музыки на проявленіе любви?» и т. д. Н. С. Самокишъ приводитъ только два изъ предложенныхъ ему вопросовъ: «Какое мѣсто отведено современнымъ художниками картинамъ мирной семейной жизни?» и «О вліяніи натуралистической живописи на выборъ сюжета?» Проф. Эрлицкій располагаетъ свой отвѣтъ по пунктамъ, судя по которымъ, надо думать, что и ему былъ предложенъ рядъ вопросовъ въ связи съ его спеціальностью. Изъ всего этого видно, что составители сборника отнюдь не за пикантностью веселаго грѣха

гнались, а имѣли въ виду и серьезныя цѣли. Этому нисколько не противорѣчитъ появленіе въ сборникѣ, напримѣръ, и имени г-жи Отеро, вѣроятно смутившее многихъ. Отчего въ самомъ дѣлѣ не выслушать, между прочимъ, мнѣніе и этой дамы, прозванной, если не ошибаюсь, «королевой бриліантовъ» или «бриліантовой дамой»? Дѣло вѣдь идетъ не о лучшихъ книгахъ, какъ въ сборникѣ г. Ледерле, а о предметѣ, въ которомъ «бриліантовая дама» въ нѣкоторыхъ, по крайней мѣрѣ, отношеніяхъ навѣрное компетентнѣе многихъ участниковъ сборника. И признаюсь, простоудинно откровенный отвѣтъ г-жи Отеро понравился мнѣ больше многихъ глубокомысленныхъ и остроумныхъ страницъ сборника.

Насколько серьезныя цѣли составителей сборника достигнуты.— это другой вопросъ, отвѣчать на который надо, кажется, отрицательно. Оно и понятно: 42 мнѣнія, притомъ такъ распределенныя по специальностямъ, что, напримѣръ, на вопросы объ отношеніи любви къ преступленію отвѣчаетъ одинъ г. Карабчевскій, о роли любви въ современномъ романѣ только г. Мордовцевъ и г-жа Желиховская, о взаимныхъ отношеніяхъ любви и музыки и о роли любви въ музыкальныхъ произведеніяхъ одинъ г. Цабель и т. д.—изъ этого много не выжмешь. Притомъ же, повидимому, не вѣсть, участникамъ были предложены опредѣленные вопросы, многимъ предлагалось высказаться вообще о «современной любви», «любви конца вѣка». Поэтому нѣкоторые, не стѣсняемые опредѣленными рамками, болѣе или менѣе остроумно поболтали о томъ, о семь, а больше ни о чемъ, а другіе нѣкоторые, хотя и высказались вѣско, точно и рѣшительно, но собственно не о современной любви, а о любви вообще, о свойствахъ женщины и т. п. Я думаю даже, что составители не имѣли права давать своему сборнику заглавіе «Любовь конца вѣка. Современники о современной любви». Между прочимъ, они и ко мнѣ обратились, но я, по разнымъ соображеніямъ, уклонился, предоставивъ, однако, имъ перепечатать изъ моихъ сочиненій то, что они найдутъ для себя подходящимъ. Они выбрали отрывокъ изъ статьи «Борьба за индивидуальность», трактующій о любви, но написанный довольно давно и вовсе не имѣющій въ виду специфическихъ чертъ любви «конца вѣка». Нѣкоторые изъ участниковъ подъ предлогомъ любви конца вѣка, а иные и безъ всякаго предлога, изложили свое собственное мнѣніе о разныхъ тонкостяхъ любовныхъ отношеній, въ видѣ афоризмовъ. Есть афоризмы любопытные.

Г-жа Назарьева пишетъ: «Любить—прощать; и любящій человекъ прощаетъ все, даже измѣну». Г-жа Лухянова: «Любовь забываетъ все, кромѣ пазыны: ее можно простить, но забыть нельзя. Женщина никогда не проститъ мужчинѣ, который проститъ ей

измѣну». Опять г-жа Назарьева: «Можно-ли измѣнить любя? Можно и, пожалуй, должно, особенно въ наше время. Самая здоровая и вкусно приготовленная пища надоѣдаетъ. Маленькій завтракъ въ хорошемъ ресторанѣ, веселый ужинъ за городомъ, и мужъ конца вѣка вполне искренно скажетъ, сядя за домашній обѣдъ: а все-таки дома лучше! Послѣ легкаго флирта, съ послѣдствіями или безъ нихъ, женщина дѣлается нѣжнѣе къ своему мужу... Бѣтъ бѣлый хлѣбъ, захочется чернаго». Опять г-жа Духманова: «Замужняя женщина у своего домашнего очага — то же, что солдатъ на военномъ посту: ея измѣна есть преступленіе». — Чрезвычайно оригинально и можно сказать, поражаетъ своею неожиданностью мнѣніе г. Далматова. Заявивъ, что «взглядъ на женщину и на любовь конца вѣка нельзя обобщать», онъ считаетъ, однако, нужнымъ и возможнымъ выразиться о русской женщинѣ, если не вполне вразумительно, то очень энергично: «Въ Европѣ можно отыскать устои для женщинъ и создать совместное счастье на почвѣ матеріальныхъ соображеній; но русская женщина денегъ, съ европейской точки зрѣнія, не цѣнитъ и не понимаетъ. Когда на нее находятъ то, что въ народѣ называютъ «дурь», она все бросаетъ, ею перестаютъ руководить общечеловѣческія этическія начала: она становится звѣрообразною, и для нея нѣтъ ничего, чего бы она не перешагнула для удовлетворенія своихъ кроваво-жадныхъ инстинктовъ». Это вѣроятно что-нибудь значить, но что именно? Извѣстный итальянскій болтушъ Мантегацца предлагаетъ сопоставить любовь австралійца, овладѣвающаго первой встрѣчной женщиной, оглушивъ ее предварительно ударомъ дубины, съ любовью Гейне, который передъ смертью просилъ снести его въ Дувръ, чтобы онъ могъ еще разъ полюбоваться Венерой Милосской. Изъ этого видно, говоритъ Мантегацца, какъ разнообразна современная любовь. Но изъ этого видно также, какъ много въ сборникѣ «Любовь конца вѣка» пустяковъ, не имѣющихъ вкуса и никакого отношенія къ задачѣ сборника.

Помимо частныхъ вопросовъ, обращенныхъ къ специалистамъ, составители сборника ставили на голоса главнымъ образомъ одинъ: вырождается-ли или вообще измѣняется-ли любовь? Меланхолическій Поль Бурже и нашъ веселый комикъ г. Варламовъ афористически утверждаютъ неизмѣнность любви. Это чувство «стихійно и, какъ все стихійное, вѣчно и неизмѣнно», по мнѣнію Бурже «истинная любовь не измѣняется отъ начала міра и до конца его», говоритъ г. Варламовъ. Другіе выражаютъ ту же мысль пространнѣе и обстоятельнѣе. Такъ, г. Скабичевскій «отрицаетъ всякую эволюцію любви». «Я признаю, — продолжаетъ онъ, — любовь *сладкою*, равною теплу, свѣту, электричеству, а развѣ эти

силы прогрессируютъ... Любовь въ равной степени присуща всѣмъ сословіямъ, націямъ и вѣкамъ. и, Богъ вѣсть, можетъ быть сдѣланіе атомовъ изъ кристаллъ есть уже проявленіе любви. И только тогда, когда вы мнѣ скажете, что въ началѣ нынѣшняго столѣтія электричество было совсѣмъ другое, чѣмъ въ концѣ, я готовъ буду бесѣдовать съ вами и объ особенностяхъ любви конца вѣка». Также и г. Мордовцевъ: «Любовь—это міровой законъ, такой же неизмѣнный и неоситижимый, какъ законъ мірового тяготѣнія, какъ всѣ неувимыя, таинственныя силы творческой и постоянно творящей природы. Какимъ же образомъ можетъ выродиться законъ тяготѣнія, химическій законъ горѣнія, законы тепла, свѣта, мрака, звука!.. Любовь это основной законъ жизни, дыханія всего живущаго, всего животнаго на извѣстномъ намъ клочкѣ вселенной, на земномъ шарѣ», и т. д. Г. Эрлицкій находитъ, что любовь есть «сила природы, дѣйствующая въ объединяющемъ направленіи и составляющая одинъ изъ основныхъ законовъ существованія вселенной». Онъ видитъ проявленія этой силы и во взаимномъ тяготѣніи небесныхъ тѣлъ, и въ химическомъ сродствѣ. И любовь въ человѣческомъ обществѣ есть проявленіе «общаго и неизмѣннаго закона природы», а потому и о разницѣ между «современной» и какою-нибудь «древнею» любовью не можетъ быть рѣчи. Можно говорить объ измѣненіи формъ любви и силы ея напряженія, но и то рано, потому что человѣчество еще слишкомъ молодо, и современники совсѣмъ уже не такъ далеко ушли отъ своихъ праотцевъ...

Мнѣ кажется, что изъ всѣхъ до сихъ поръ цитированныхъ участниковъ сборника, г. Эрлицкій наиболѣе приблизился къ рѣшенію заданнаго вопроса. Я не то хочу сказать, что его рѣшеніе правильно: я не думаю, именно, что человѣчество настолько молодо, чтобы въ его исторіи нельзя было замѣтить крупныхъ измѣненій въ формахъ и силы напряженности любви. Но вѣрно то, что, какъ бы глубоко ни искали мы корней любви, — хотя бы во взаимномъ тяготѣніи небесныхъ тѣлъ и сродствѣ химическихъ элементовъ,—это не только не рѣшаетъ, а даже не затрагиваетъ вопроса о формахъ и силѣ напряженія современной любви между мужчиной и женщиной. Поэтому всѣ ссылки на неизмѣнность законовъ электричества, свѣта и «мрака», звука и пр. представляютъ собою не отвѣтъ на предложенный вопросъ, а уклоненіе отъ отвѣта. Да и въ другихъ отношеніяхъ ссылка неправильна. Законы, по которымъ дѣйствуютъ физическія силы, разумѣется, неизмѣнны, но и пониманіе ихъ человѣкомъ и ихъ примѣненіе, то есть форма и сила ихъ проявленія, имѣютъ свою длинную исторію, свою «эволюцію». Эта эволюція представится намъ очень наглядно, если

мы сопоставимъ картины ужаса и разрушенія, возникавшія въ умѣ древняго человѣка при видѣ грома и молніи и внушавшія ему мысль о гнѣвѣ Тора или Зевса, и современную телеграфную контору, гдѣ та же сила Тора проявляется совсѣмъ иначе. Такимъ образомъ, если мы даже приравняемъ такую сложную силу, какъ любовь, такой элементарной силѣ, какъ электричество, то придется всетаки признать, что и она способна измѣняться въ своихъ формахъ и напряженности, въ зависимости отъ условій, отъ комбинаціи другихъ силъ, среди которыхъ она дѣйствуетъ.

Нѣкоторые изъ участниковъ сборника хорошо понимаютъ это и потому, или только отмѣтивъ неизмѣнность любви, какъ таковой, или даже совсѣмъ не касаясь этой стороны дѣла, стараются «опредѣлить тѣ условія современной жизни, которыя кладутъ на формы и напряженность любви свой отпечатокъ».

Есть, однако, и еще способы, если не уклоненія отъ отвѣта на заданный вопросъ, то запутыванія его посторонними соображеніями. Когда мы говоримъ не о любви къ отечеству, къ человечеству, къ дѣтямъ и проч., а просто о любви, безъ дополненій, то всякій понимаетъ, что рѣчь идетъ о половой любви, о специальныхъ отношеніяхъ между мужчинами и женщинами. Но одинъ изъ сотрудниковъ сборника, г. Льдовъ, пожелалъ быть глубже этого. На предложеніе высказать свое мнѣніе о «любви въ концѣ вѣка», онъ отвѣчаетъ прежде всего вопросомъ: «о какой любви вы спрашиваете?» И затѣмъ распространяется: любовь есть чувство благожелательное, альтруистическое, противоположное злобнымъ и эгоистическимъ чувствамъ; поэтому на всѣхъ языкахъ глаголь «любить» относится ко всѣмъ проявленіямъ привязанности и доброжелательности: говорить о любви матери къ дѣтямъ, дѣтей къ родителямъ, мужа къ женѣ и проч. — Здѣсь я позволю себѣ прервать глубокомысліе г. Льдова, собственно для одной маленькой поправки на счетъ языка: говорятъ также—я люблю, напримѣръ, раковъ или осетрину, изъ чего, однако, не слѣдуетъ, чтобы говорящій былъ преисполненъ благожелательныхъ чувствъ къ ракамъ и осетрамъ; говорятъ также, что, напримѣръ, Иванъ Грозный любилъ видѣть кровь и страданія, или что дѣти любятъ мучить животныхъ и т. п.; говорятъ и о «ненавидящей любви» Некрасова. Но дѣло, конечно, не въ филологіи. Г. Льдовъ желаетъ противопоставить «любовь»—«чувственному влеченію, проявленію страсти, по существу своему эгоистической, т. е. діаметрально противоположной истинному чувству любви». Установивъ это различіе, г. Льдовъ приступаетъ къ отвѣту: «Любовь, какъ индивидуальное стремленіе души къ самопожертвованію, къ подвигамъ самоотрѣченія во имя блага ближнихъ, повидному, становится въ концѣ вѣка довольно

рѣдкимъ явленіемъ, хотя общій уровень массъ въ смыслѣ гуманности повысился. Любовь, неправильно называемая этимъ словомъ, т. е. чувственное влеченіе организма, остается, по существу своему, неизмѣнной, завися только отъ гигиеническихъ условий. Повидимому, и въ этой сферѣ замѣчается нѣкоторый декадансъ, вслѣдствіе обостренія борьбы за существованіе, затрудняющей браки и подготовляющей почву для уродливыхъ проявленій инстинкта». Это во всякомъ случаѣ отвѣтъ, но г. Льдовъ имъ не довольствуется. Онъ прибавляетъ еще нѣсколько соображеній, иллюстрируя ихъ, повидимому, все тѣмъ же дѣломъ г-жи Палемъ: «Убійца выстрѣлила, чтобы умертвить, лишить близкаго жизни, т. е. нанести ему величайшее зло. Очевидно, она его ненавидѣла. Причемъ же тутъ любовь? И можетъ-ли быть названо любовью чувство, побуждающее проявлять величайшую злобу?»

Это послѣднее мнѣніе раздѣляетъ и г-жа Назарьева: «Не любовь-нѣжность, не любовь-страсть, а чисто эгоистическое стремленіе «не мифъ, такъ никому» — диктуетъ подобныя самосуды. Пока любили душой, сердцемъ, тогда умѣли и примиряться, прощать. Теперь любятъ физически съ исключительною жаждою обладанія, а потому неудача, отказъ или измѣна, озлобляя, будятъ въ члвкѣ звѣря». Г. Карабчевскій проинизируетъ по поводу предложеннаго ему вопроса о «мстительной любви»: «Мстительная любовь! Недоставало бы еще сказать «злобная» любовь! Все это безалаберное смѣшеніе понятій и простая неточность выраженій. Попробуйте логически проанализировать любое изъ нихъ и вы увидите, что это только «холодный кипятокъ» и «горячій ледъ». Пронія г. Карабчевскаго, впрочемъ, не совсѣмъ ясна. Едва-ли онъ согласенъ съ г. Льдовымъ и г-жей Назарьевою, такъ какъ тутъ же пишетъ: «Любовь въ чистомъ видѣ чрезвычайно рѣдко является стимуломъ преступленія, а если является, это уже не преступленіе, это любовь». И далѣе: «Разъ «любовь», т. е. вся напряженная, неодолимая полнота того чувства, которое мы называемъ этимъ именемъ, причемъ же тутъ преступность?» Все это немилосходно загадочно, и я не знаю, какъ поступилъ бы г. Карабчевскій, если бы ему пришлось защищать на судѣ Отелло. Это очень благодарная тема для защитника, и, конечно, г. Карабчевскій сказалъ бы великолѣпную рѣчь о «напряженной и неодолимой полнотѣ чувства любви Отелло къ Дездемонѣ, чувства, исключаящаго преступность. Убійство Дездемоны, — «это не преступленіе, это любовь». Такъ закончилъ бы г. Карабчевскій свою рѣчь при взрывѣ аплодисментовъ публики, которые, конечно, тотчасъ же были бы остановлены предсѣдателемъ, и слово дано было бы прокурору. Я боюсь, что этотъ прокуроръ вздумалъ бы, пожалуй,

«логически проанализировать» фразу: «это не преступление, это любовь» — и нашел бы, что это просто именно фраза, лишенная всякого содержания и логически вполне несостоятельная. Прокуроръ могъ бы идти дальше и, ухватившись за другое положение самого г. Карабчевскаго, сказать: Отелло мстилъ за измѣну, а месть и любовь, это «холодный кипятокъ» и «горячій ледь». Но если бы г. Карабчевскій и побѣдилъ, наконецъ, въ этой чисто словесной прѣ, то самъ необузданный мавръ сказать бы въ послѣднемъ монологѣ: «Да, я любилъ, но я преступникъ», — и тутъ же заколотъ бы себя, какъ онъ это уже и дѣлаетъ въ послѣдней сценѣ трагедіи Шекспира.

Любопытно, какъ отнеслись бы къ той же исторіи Отелло и Деэдемоны г. Льдовъ и г-жа Назарьева. Послѣдняя, какъ мы видѣли, твердо знаетъ, что «пока любили душой, сердцемъ, тогда умѣли и примириться и прощать, теперь любятъ физически, съ исключительною жадною обладанія, а потому неудача, отказъ или измѣна, озлобляя, будятъ въ человѣкѣ звѣря». Какъ же, однако, быть съ венеціанскимъ мавромъ? Онъ любилъ Деэдемону не только физически, — помните его разсказъ сенаторамъ: «она меня за муки полюбила, а я ее за состраданье къ нимъ». П тѣмъ не менѣе мавръ совершилъ кровавый «самосудъ»: и случилось это не «теперь», а триста лѣтъ тому назадъ... Затрудняюсь за г-жу Назарьеву... Еще затруднительнѣе, мнѣ кажется, положеніе еще болѣе рѣшительнаго г. Льдова: любить, значить, желать добра, убить — «нанести величайшее зло»: «и можетъ-ли быть названо любовью чувство, побуждающее проявить величайшую злобу?» Въ Отелло говорила не любовь, а «чувственное влеченіе организма». Но опять-таки — «она его за муки полюбила, а онъ ее за состраданье къ нимъ». И еще: когда Отелло просилъ сенатъ разрѣшить Деэдемонѣ вѣхать съ нимъ въ Кипръ, онъ говорилъ: «Свидѣтель Богъ, молю не для того, чтобъ угодить желаньямъ сладострастнымъ, не для того, чтобъ юной страсти жаръ мнѣ одному дарилъ бы наслажденье, но для того, чтобы ея душа отъ всѣхъ заботъ и мукъ была свободна». Дикій человѣкъ былъ венеціанскій мавръ, дикій, необузданный, нелѣпый, но онъ никогда не плалъ...

Остается предположить, что тѣ чувства, которыя г-жа Назарьева и г. Льдовъ считаютъ столь различными и непримиримыми (г. Карабчевскій такъ и остается въ словесномъ туманѣ), могутъ сочетаться или переходить одно въ другое, одно другимъ въ большей или меньшей степени осложняться: что вообще любовь, какъ и многое другое въ душѣ человѣческой, есть нѣчто чрезвычайно сложное, не такъ-то легко поддающееся ни афористическому выраженію, ни упрощенному наивному анализу на манеръ г. Льдова.

Итальянскій болтунъ Мантегацца предлагаетъ убѣдиться въ разнообразіи формъ современной любви, сравнивъ австралійца съ Гейне... Австраліецъ, оглушающій дубинной свою избранницу, конечно, нашъ современникъ въ томъ смыслѣ, что тоже живетъ въ концѣ XIX вѣка. Но какой же онъ намъ, собственно говоря, современникъ? Онъ на тысячу лѣтъ старше насъ, если угодно, моложе насъ: онъ современникъ нашихъ далекихъ предковъ. И, когда рѣчь идетъ о современной любви, то разумѣютъ не дикарей, не первобытныхъ людей въ ихъ «нисулярномъ положеніи», а такъ или иначе вовлеченныхъ въ кругъ международнаго общенія и цивилизаціи. Иначе пришлось бы расширить задачу до непомѣрности и призвать на совѣтъ преимущественно этнографовъ, да еще Пьера Лоти, въ качествѣ знатока по части всякаго рода экзотической любви. Такъ и понимаютъ дѣло участники сборника, кромѣ, разумѣется, тѣхъ, которые «отрицаютъ всякую эволюцію любви» и для которыхъ напоминаніе объ австралійцѣ съ его дубинной очень полезно, но въ качествѣ историческаго, а не современнаго матеріала. Большинство же такъ или иначе старается опредѣлить вліяніе факторовъ современной цивилизаціи на формы и напряженность любви. Мы будемъ говорить объ этихъ вліяніяхъ ниже, а теперь отмѣтимъ еще два указанія въ занимающемъ насъ сборникѣ. Разумѣю вклады Эмиля Зола и В. В. Лесевича. Зола ничего не писалъ специально для сборника, но одинъ изъ составителей «имѣлъ случай бесѣдовать съ знаменитымъ романистомъ по вопросу о современной любви» и записалъ эту бесѣду. В. В. Лесевичъ тоже ничего не писалъ для сборника, но предоставилъ составителямъ перепечатать отрывокъ изъ его статьи объ одномъ испанскомъ романистѣ. Въ миѣніи Зола интересно указаніе на патологическія формы любви—садизмъ и пассивизмъ, между которыми, дескать, существуетъ нѣкоторое среднепропорціональное, оно то и есть настоящая, нормальная любовь. Г. Лесевичъ касается только одной стороны или одной формы любви—любви на почвѣ созерцательнаго мистицизма. Къ обоимъ этимъ указаніямъ мы тоже вернемся.

Какъ-бы мы ни углублялись въ нѣдра кристалла для уразумѣнія взаимныхъ отношеній его атомовъ; какъ бы ни вздымались крылатою мыслью въ междупланетныя пространства; какъ бы вообще ни уметвовали,—любовь, о которой идетъ рѣчь въ разбираемомъ сборникѣ, есть во всякомъ случаѣ взаимное или одностороннее тяготѣніе разнополыхъ существъ одного и того же вида. Извѣстное (видовое) сходство при извѣстномъ (половомъ) различіи составляетъ необходимое условіе любви, конечно, условіе элементарное, основное, первичное, рядомъ съ которымъ могутъ существовать, по мо-

гуть и не существовать вторичныя, гораздо болѣе сложныя и тонкія условія. Ничего подобнаго, насколько это намъ извѣстно, нѣтъ въ другихъ явленіяхъ тяготѣнія, сдѣленія и проч., Антропоморфически настроенные умы древности искали мужского начала въ солнцѣ, женскаго—въ лунѣ: средневѣковые алхимики награждали мужскими свойствами одинъ химическіе элементы и женскими—другіе; нѣкоторые «натурфилософы» повторяли эти порожденія антропоморфизма: но все это—«дѣла давно минувшихъ дней, преданья старины глубокой», пригодныя развѣ для поэтическихъ сравненій и метафоръ. Корней человѣческой любви мы можемъ искать только въ органическомъ мірѣ, но и то лишь съ момента появленія въ немъ полового диморфизма. Точно также не долженъ насъ смущать глаголь «любить» въ его общемъ значеніи доброжелательнаго чувства. Любювъ къ отечеству, человѣчеству, къ дѣтямъ, къ родителямъ и проч.,—не говоря уже о любви къ истинѣ, къ искусству и т. п.,—хотя и могутъ вступать въ разнообразныя сочетанія съ половой любовью, но по существу не имѣютъ съ нею ничего общаго, именно потому, что въ нихъ нѣтъ перваго и основнаго условія половой любви.

Поэтому-то, между прочимъ, не идетъ къ дѣлу и находящееся въ сборникѣ мѣсто г. Карелина, художника. Онъ говоритъ о любви къ «музѣ искусства», совсѣмъ упраздняя для художника любовь къ женщинѣ. Отказываясь отвѣчать на вопросы, относящіеся къ этой любви («пусть они останутся открытыми»), г. Карелинъ, послѣ дифирамба въ честь «музы искусства», пишетъ: «Скажу лишь одно, что если художникъ любитъ свою родную музу, то пусть любитъ только ее одну, любя въ ней безразлично весь міръ добра, человѣчности... Только эта любовь никогда не обманетъ». Обманетъ или не обманетъ, но, не касаясь исключительныхъ натуръ, которыя всегда и во всемъ возможны, какъ исключенія, даже для величайшихъ художниковъ безплотная муза не могла замѣнить женщину, которая и вдохновляла ихъ и оставила по себѣ слѣды въ ихъ завѣщанныхъ потомству образахъ. Напомню хоть только Рафаэля въ живописи и Данте въ поэзии. Спору нѣтъ, подъ влияніемъ острыхъ болѣй разочарованія, неудовлетворенности, тупой боли пресыщенія, страстнаго увлеченія музами и другими мнѣями и разныхъ житейскихъ обстоятельствъ, люди часто приходятъ къ рѣшенію кончить съ половой любовью и цѣлкомъ отдаться иной, «чистой» любви къ какому-нибудь высшему, безплотному началу. Цѣлые историческіе періоды бываютъ окрашены этимъ стремленіемъ. Но результаты этого стремленія бываютъ неожиданны для самихъ стремящихся. На нихъ указываетъ вышеупомянутый маленькій и не ad hoc написанный отрывокъ изъ статьи г. Лесевича. Рѣчь тамъ идетъ о мистикахъ (испанскихъ), стремящихся побо-

роть въ себѣ всякую чувственность и пребывать въ состояніи чистаго экстаза. Половую любовь они искренно и страстно хотятъ побороть, какъ источникъ грѣха, и замѣнить мистическою любовью, но это имъ не удается, и самыя формы ихъ обращенія къ предмету своей любви получаютъ эротическую окраску. По дѣлу не въ одиѣхъ формахъ. Говоря о сочиненіяхъ Терезы де Хезусъ, г. Лесевичъ замѣчаетъ: «Въ самомъ мистицизмѣ, особенно въ практикѣ его, скрыты уже зародыши мірскихъ чувствъ, и потому-то такъ немного иногда нужно, чтобы мистическое настроеніе перевернулось вверхъ дномъ, и чтобы одна крайность вытѣснила другую. Мистическое настроеніе у женщинъ, держа ихъ въ состояніи постоянного возбужденія, ставитъ ихъ безпрестанно въ опасность потери равновѣсія: сегодняшний экстазъ можетъ завтра оказаться обыкновеннѣйшимъ возбужденіемъ». Психіатрамъ и историкамъ разныхъ мистическихъ сектъ хорошо знакомы эти явленія. Для насъ здѣсь теперь интересенъ фактъ незамѣнимости половой любви: ей нѣтъ эквивалента. Не то, чтобы она была возвышеннѣе или низменнѣе всѣхъ другихъ чувствъ, владѣющихъ человѣческой душой: нѣтъ, она просто не поддается никакому съ ними сравненію, хотя постоянно вступаетъ съ ними либо въ союзъ, либо во враждебное столкновеніе. Ни одно изъ нихъ не возрастаетъ на той почвѣ, на которой разыгрываются трагедіи, драмы, комедіи и водевили любви,—на почвѣ полового различія при видовомъ сходствѣ.

Элементарныхъ, первичныхъ анатомическихъ и физиологическихъ сходствъ и различій между мужскимъ и женскимъ поломъ, конечно, недостаточно для объясненія всей сложности явленій любви. Для уразумѣнія ихъ надо принять во вниманіе всѣ такъ называемые вторичные половые признаки, не имѣющіе прямого отношенія къ акту окончательнаго сближенія двухъ разнополыхъ существъ, но тѣмъ не менѣе играющіе болѣе или менѣе значительную роль въ дѣлѣ любви. Область этихъ вторичныхъ половыхъ признаковъ очень обширна и даже въ организмахъ, стоящихъ гораздо ниже человѣка, не ограничивается физикой, а распространяется и на психику. Но мы будемъ говорить только о людяхъ.

Только что появилась книга г. Кантерева—«Душевные свойства женщинъ», посвященная именно вопросу о вторичныхъ половыхъ признакахъ во всей обширности этого термина, хотя г. Кантеревъ его и не употребляетъ. Это публичныя лекціи, читанныя авторомъ, если не ошибаюсь, въ прошломъ году, съ большимъ и вполне заслуженнымъ успѣхомъ: книга очень интересна и поучительна, что не часто случается съ книгами о женщинахъ. На эту тему въ теченіи цѣлыхъ вѣковъ писалось и пишется такъ много,

въ стихахъ и прозѣ, въ формѣ философскихъ трактатовъ и эниграммъ, кропотливыхъ ученыхъ трудовъ и вдохновенной лирики, что, принимаясь за новое произведение въ этомъ родѣ, по неволѣ опасаясь натолкнуться на банальность. Въ самомъ дѣлѣ, что можно прибавить къ имѣющейся уже огромной библиотекѣ поэтическихъ хвалебныхъ гимновъ женщинѣ или ругани средневѣковыхъ аскетически настроенныхъ начетчиковъ? Даже приторныя восхваленія такого выдающагося человѣка, какъ Мишле, и злобныя выходки такого крупнаго и оригинальнаго мыслителя, какъ Шпенглеръ,—развѣ только формою своею могутъ насъ заинтересовать.

Чтобы сказать что-нибудь путное о вторичныхъ половыхъ признакахъ, надо прежде всего оберегать себя (и читателя или слушателя) отъ этихъ банальностей на два фронта; это во-первыхъ, а затѣмъ—держаться по возможности фактической почвы, избѣгая голословныхъ разсужденій о достоинствахъ и недостаткахъ, вообще объ особенностяхъ женщинъ.

Книга г. Каптерева потому именно и вышла интересною и поучительною, что авторъ старался избѣгать этихъ двухъ подводныхъ камней, что ему и удалось исполнѣ относительно перваго изъ нихъ; нельзя, къ сожалѣнію, съ тою же рѣшительностью сказать это о второмъ.

Изложивъ разные взгляды, то поднимающіе женщину много выше мужчины, то опускающіе ее гораздо ниже его, то, наконецъ, устанавливающіе ихъ на одномъ уровнѣ, г. Каптеревъ приходитъ къ тому общему выводу, что разница между полами состоитъ не въ основныхъ психическихъ элементахъ, а въ ихъ сочетаніяхъ, въ силѣ и напряженности разныхъ сторонъ душевной дѣятельности. Въ концѣ концовъ г. Каптеревъ является горячимъ и убѣжденнымъ адвокатомъ женщинъ, въ томъ смыслѣ, что желаетъ расширенія круга ихъ дѣятельности и интересовъ и рассчитываетъ на благотворность ихъ участія въ рѣшеніи труднѣйшихъ вопросовъ, волнующихъ современное человѣчество. Но достигаетъ этой позиціи г. Каптеревъ не путемъ исключительнаго восхваленія женскихъ добродѣтелей и высокихъ умственныхъ качествъ. Первое его положеніе состоитъ въ томъ, что въ мужской душѣ нѣтъ ни одного процесса, ни одного факта, «ни высокаго, ни низкаго», которые были бы чужды женской душѣ. Такъ, напр., по его мнѣнію, женщины способны, между прочимъ, и на «жестокость, доходящую до свирѣпости», что, повидимому, противорѣчитъ общепринятому взгляду на преобладающія черты женскаго типа. Въ доказательство г. Каптеревъ ссылается на кровавые подвиги женской черни время первой французской революціи. Но и независимо отъ такихъ

экстренных случаев, наш автор не считает «кротость» женским свойством. Таким образом, книга г. Кантерева отнюдь не есть собрание комплиментов и любезностей по адресу женщин. И отъ противоположной банальности автор не менѣе гарантированъ. Это — серьезная попытка изучить вторичные половые признаки въ психической области, и изучить ихъ на фактической почвѣ. Но, какъ уже сказано, эта послѣдняя сторона дѣла, т. е. фактическая часть, оставляетъ желать многого.

Г. Кантеревъ ничего не говоритъ о разницѣ въ объемѣ и вѣсѣ мозга, какъ абсолютныхъ, такъ и по отношенію къ объему и вѣсу всего тѣла, о количествѣ и характерѣ мозговыхъ извилинъ у мужчины и женщины. За то онъ приводитъ нѣкоторыя данныя о разницѣ въ остротѣ ви́шнихъ чувствъ—зрѣнія, слуха, осязанія, обонянія. Но данныя эти настолько скудны и противорѣчивы, что изъ нихъ нельзя вывести что-нибудь определенное, и самъ г. Кантеревъ говоритъ, напримѣръ: «Опытамъ Никольса и Бэйли относительно тонкости обонянія у женщинъ и мужчинъ нельзя придавать рѣшающее значеніе, такъ какъ они не согласны съ опытами Ломброзо, и мы не можемъ быть увѣрены, что завтра же не будутъ произведены новые опыты, которые дадутъ совѣтъ другой результатъ». Въ такомъ недостаткѣ достовѣрныхъ фактическихъ данныхъ г. Кантеревъ, конечно, не виноватъ: на нѣтъ и суда нѣтъ. Но и вообще фактическая часть въ изслѣдованіи г. Кантерева слаба, и факты играютъ въ немъ большею частью лишь роль иллюстрацій къ положеніямъ, весьма произвольнымъ и чисто, такъ сказать, словеснымъ. Иногда, впрочемъ, словесность эта является и безъ всякихъ иллюстрацій. Напримѣръ, г. Кантеревъ утверждаетъ, что «скрыть отъ женщины свое состояніе, замаскировать его, довольно трудно, особенно же женщина становится всевидицей и всезнающей, когда дѣло касается сердечной стороны, тутъ она по малѣйшему измѣненію лица, голоса, движеній читаетъ, какъ по печатной книгѣ» (стр. 87). На чемъ собственно основано это столь рѣшительное, столь категорическое утвержденіе и какъ согласить съ нимъ безчисленныя женскія жертвы обмана разныхъ ловеласовъ во всѣхъ слояхъ общества? Или: «Женщина трезва и практична, она не будетъ стремительно гнаться за новыми открытіями и новыми изобрѣтеніями прежде, чѣмъ достаточно эксплуатированы сдѣланныя» (124). Почему? Рѣчь идетъ о будущемъ, и кто его знаетъ, какъ оно тамъ будетъ. Но въ настоящемъ мы видимъ, что по крайней мѣрѣ въ отношеніи костюма (заботамъ объ немъ г. Кантеревъ придаетъ большое значеніе въ душевной жизни женщины) наши дамы, а вслѣдъ за ними и ихъ горничныя и кухарки, не обнаруживаютъ ни трезво-

сти, ни практичности, ни упорства передъ новыми открытіями и изобрѣтеніями. Что же касается новыхъ идей, то г. Каптеревъ самъ говоритъ въ другомъ мѣстѣ: «Является великій проповѣдникъ, великій реформаторъ, человѣкъ, жаждущій обновленія чело-вѣчества, исцѣленія его отъ разнообразныхъ и застарѣлыхъ язвъ, и около него сейчасъ же соберется кучка женщинъ; однѣ изъ нихъ—Маріи—сядутъ у ногъ его и съ безконечною преданностью будутъ внимать ученію великаго учителя; другія—Марыи—по своему будутъ выражать участіе, стараясь окружить его земнымъ комфортомъ и удобствами. Если великаго учителя за его безавѣтную любовь ко всему челоуѣчеству, особенно же ко всѣмъ страждущимъ и обремененнымъ, жестоковѣрные современники распнута на крестѣ, побьютъ камнями, женщины первыя придутъ къ доро-гой могилѣ поплакать и поскорѣтъ о незабвенномъ почившемъ. Является свирѣпый разбойникъ, кровожадный убійца, наводящій ужасъ на цѣлую окрестность, вызывающій проклятія у всѣхъ, кто слышитъ о немъ; словомъ, возстаетъ бичъ людей, и у него не будетъ недостатка въ преданныхъ женщинѣхъ, которыя по-любить его со всѣмъ пыломъ страсти, которыя отдадутъ ему свою душу и тѣло, видя въ немъ какого-то необычайнаго героя» (31—32).

Оба вышеприведенныя положенія — о проникательности жен-щинъ, въ особенности въ сердечныхъ дѣлахъ, и о ихъ трезвости и практичности—висятъ совершенно на воздухѣ, не поддержанныя ни сверху, путемъ дедукціи, ни снизу—какой-нибудь фактической подкладкой. И вмѣстѣ съ тѣмъ они, по малой мѣрѣ, очень спорны. Но и въ тѣхъ случаяхъ, когда г. Каптеревъ выставляетъ поло-женія гораздо менѣе спорныя и подкрѣпляетъ ихъ фактическими иллюстраціями, послѣднія часто поражаютъ своею скудостью. Напримѣръ, онъ хочетъ иллюстрировать фактами свое мнѣніе, что потребность любви въ женщинѣхъ сильнѣе, чѣмъ въ мужчи-нахъ. Я бы не вполне согласился и съ этимъ мнѣніемъ или при-нялъ бы его съ значительными оговорками, но во всякомъ слу-чаѣ г. Каптеревъ высказываетъ здѣсь мысль общераспространен-ную, а потому, пожалуй, и не нуждающуюся въ фактическихъ подтвержденіяхъ. Но онъ счелъ нужнымъ ихъ дать и даетъ вотъ что: «Ковалевская, Башкирцева и многія другія женщины, по-святившія свою жизнь наукѣ, искусству и другимъ высшимъ от-раслямъ челоуѣческой дѣятельности, страдали отъ недостатка любви жестоко, въ любви видѣли высшую цѣль жизни и готовы были промѣнять всѣ свои научныя и иные успѣхи на любовь, доступную самой простой женщинѣ. Не то мы видимъ у мужчинъ, отдававшихся наукѣ и искусству. Ихъ жизнь была полна безъ

женской любви, они не мучились, не страдали, не жаловались на свою горькую долю, если въ женской любви имъ отказывала судьба, не высказывали желанія промѣнить науку на женскую любовь» (47). Въ доказательство г. Кантеревъ приводитъ Канта и Спинозу... Ковалевскую часто ставятъ рядомъ съ вѣчно ломающейся, вѣчно рвущейся Башкирцевой, и, признаюсь, мнѣ всегда кажется обидно за Ковалевскую. Но составить изъ нихъ двоихъ и изъ Канта со Спинозой кадрили, это уже, мнѣ кажется, чрезмерно. Да и что можетъ значить эта кадрили, эти двѣ пары, выхваченныя изъ цѣлаго ряда? Мы очень хорошо знаемъ, что и мужчины, посвятившіе свою жизнь «высшимъ отраслямъ человѣческой дѣятельности», часто ломаютъ всю эту свою дѣятельность и кончаютъ съ самою жизнью изъ за неудовлетворенной или неудачной любви. Канту со Спинозой, какъ ни велики они, можетъ быть противопоставленъ цѣлый Фаустъ. Говорю цѣлый Фаустъ, потому что это хотя и не живой человѣкъ, а литературный типъ, но изъ тѣхъ гениально схваченныхъ типовъ, въ которыхъ сосредоточены черты сотни тысячъ людей. И еслибы его творцу, этому удивительному человѣку, сохранившему способность и жажду любви до глубокой старости, пришлось выбирать между его дѣятельностью и женской любовью, то это была бы, конечно, ужасная для него дилемма, и онъ навѣрное не сохранилъ бы спокойствія Канта и Спинозы.

Я не хочу этимъ опровергать мнѣніе г. Кантерева о большей потребности любви у женщины, — это тема обширная, — а хочу только показать недостаточность его аргументаціи. Да и зачѣмъ мнѣ его опровергать, когда онъ тутъ же, непосредственно послѣ упомянутой кадрили, пишетъ: «въ той мѣрѣ, какъ женщины будутъ болѣе заниматься научными изысканіями и общественною дѣятельностью, въ той мѣрѣ, какъ онѣ болѣе и болѣе будутъ переносить центръ своей жизни и дѣятельности изъ своего собственнаго «я» внѣ себя, страстище будутъ отдаваться профессиональнымъ занятіямъ, политической борьбѣ и интригамъ, тѣмъ лучше будутъ сопротивляться инстинктивной потребности любви, тѣмъ легче будутъ обходиться безъ нея и приближаться въ этомъ отношеніи къ мужчинамъ» (48). Это значитъ, что большая потребность любви у женщинъ (если еще таковая существуетъ, что не доказано, хотя и общепризнано) есть не коренная черта женскаго типа, а преходящая, переменная, зависящая отъ воспитанія и историческихъ условій. Следовательно, фактическіе примѣры г. Кантерева надо освѣтить совѣтамъ иначе: те то что Ковалевская (о Башкирцевой не хочу говорить) болѣе жаждала любви, чѣмъ Кантъ или Спиноза, а она меньше ихъ отдавалась

научной дѣятельности. И опять-таки не опровергаю теперь основную мысль г. Каптерева, но приведенное соображеніе вызываетъ вопросъ объ относительномъ значеніи природныхъ и историческихъ факторовъ въ образованіи женскаго типа, каковъ онъ сейчасъ.

Но прежде еще нѣсколько словъ объ аргументаціи г. Каптерева.

Г. Каптеревъ полагаетъ, что женщины меньше мужчинъ склонны и способны къ отвлеченному мышленію; что въ женскомъ мышленіи преобладаютъ яркія образныя представленія. Вообще, говоритъ онъ, способность мысленно воспроизводить видѣнное и слышанное у разныхъ людей весьма различна. Одни съ чрезвычайною легкостью представляютъ себѣ образы и картины во всей ихъ яркости формъ и цвѣтовъ, а у другихъ эти представленія выходятъ тусклыми и туманными. «Исслѣдованія показываютъ, что способностью живого, вполне опредѣленнаго, цвѣтнаго, картиннаго представленія одарены гораздо больше женщины, чѣмъ мужчины. Эта способность не только больше распространена между женщинами, но встрѣчается у нихъ въ болѣе высокой формѣ развитія». Въ подтвержденіе приводится слѣдующее. Гальтонъ пожелалъ узнать, какое представленіе связывается у разныхъ лицъ со словомъ «лодка». Съ этою цѣлью онъ неожиданно спрашивалъ объ этомъ и «*между прочимъ*» получилъ такіе отвѣты. Одинъ мужчина, *привыкшій философствовать*, отвѣтилъ, что слово лодка не вызвало въ немъ никакого опредѣленнаго образа, такъ какъ онъ намѣренно воздерживалъ свой умъ отъ представленія какого-нибудь частнаго вида лодки, ялика, катера, баркаса и т. н.. На тотъ же вопросъ молодая дѣвушка отвѣтила, что при словѣ лодка она сейчасъ же представила себѣ большую лодку, отплывающую отъ берега и наполненную кавалерами и дамами: дамы были въ бѣлыхъ и голубыхъ платьяхъ. Приведа эти два, и только эти два примѣра, г. Каптеревъ пишетъ въ подерочномъ примѣчаніи: «Объ упомянутыхъ изслѣдованіяхъ см. Francis Galton, *Inquiries into human Faculty and its development*. London. 1883, p. 83 — 140. Fechner, *Elemente der Psychophysik*. II, 468—491».

Мнѣ неизвѣстна книга Гальтона, на которую ссылается г. Каптеревъ, но у Фехнера въ указанномъ мѣстѣ нѣтъ ни одного слова о разницѣ между мужчинами и женщинами по отношенію къ яркости или тусклости представленій. Тутъ собраны наблюденія надъ разными лицами, въ числѣ которыхъ упоминается только одна женщина (жена Фехнера), и нѣкоторые осторожные общіе выводы, къ которымъ приходитъ знаменитый психо-физикъ, не имѣютъ никакого отношенія къ вопросу, занимающему г. Капте-

рева. Что касается Гальтона, то у него дѣло поставлено, быть-можетъ, иначе; можетъ быть, онъ приводитъ соображенія и наблюденія, способныя убѣдить всякаго скептика (если бы таковой нашлся). Но въ такомъ случаѣ надо удивляться неудачѣ г. Кантерева, извлекающаго изъ книги Гальтона факты болѣе чѣмъ сомнительнаго значенія. Удивительно и количество, и качество этихъ фактовъ: по одному на всю мужскую и на всю женскую половину человѣческаго рода, причемъ изъ мужчинъ взяты нѣкоторымъ образомъ спеціалистъ по части отвлеченнаго мышленія («привыкшій философствовать»), а изъ женщинъ — «молодая дѣвушка», безъ всякихъ дальнѣйшихъ опредѣленій. Если бы Гальтонъ обратился съ такимъ же вопросомъ о людяхъ съ одной стороны къ художнику-живописцу, постоянно нѣбующему дѣло съ формами и красками, а съ другой стороны хоть къ той же Ковалевской, привычной къ оперированію надъ безплотными математическими данными, то результатъ навѣрное получился бы обратный и, конечно, столь же мало доказательный.

Я не буду, разумѣется, слѣдить за этимъ приемомъ аргументаціи по всей книгѣ г. Кантерева. Приведеннаго достаточно, чтобы заключить, что подобныя приемы отнюдь не способствуютъ рѣшенію задачи, взятой на себя нашимъ авторомъ. И дѣйствительно, многія страницы его труда прочтутся съ большимъ интересомъ: но если мы до сихъ поръ не знали женской души, то не узнаемъ ее и изъ книги г. Кантерева, а если кое-что знали, кое-что о чемъ догадывались, кое-что смутно представляли себѣ, то книга ничего не прибавила къ этимъ знаніямъ и догадкамъ и не пролила свѣта въ эту смутность. Я не хочу сказать, что книга безполезна. Напротивъ. Не говоря объ отдѣльныхъ поучительныхъ страницахъ, всегда полезно напомнить, что женщина есть такой же челоувѣкъ, какъ и мужчина, что душѣ ея не чуждо все челоувѣческое, хотя элементы душевной жизни комбинируются въ ней нѣсколько иначе, въ зависимости отъ естественныхъ и историческихъ условій. Это не ново; однако, многимъ и многимъ не мѣшаетъ это продумать. Да г. Кантеревъ и не обѣщалъ намъ никакого новаго слова. Однако, онъ обѣщалъ намъ выяснитъ ту особенную комбинацію психическихъ элементовъ, которая характеризуетъ женскій типъ въ отличіе отъ мужского, и вотъ этого-то мы не получили. Дѣло опять-таки не непременно въ какомъ-нибудь новомъ словѣ. Не бѣда, что мнѣнія о сравнительно малой способности женщинъ къ отвлеченному мышленію или о сравнительно большей у нихъ потребности любви — не только не новы, а принадлежатъ къ числу ходячихъ и, будучи усилены въ ту или другую сторону, могутъ превратиться въ банальности ругательныя и въ банальности хва-

лебныя. Г. Каптеревъ не вналъ ни въ тѣ, ни въ другія, но мы вправѣ были ожидать отъ него провѣрки этихъ мнѣній и достаточнаго ихъ основанія, а этого нѣтъ. Разсыпанную храмину ходячихъ мнѣній г. Каптеревъ хотѣлъ, повидимому, собрать около двухъ пунктовъ: преобладанія личной жизни въ женщинѣ и преобладанія въ ней же жизни родовой. Эти два пункта не такъ противорѣчатъ другъ другу, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда, но г. Каптереву не удалось ихъ связать, и получилось нѣчто очень неясное, чего мы не будемъ пытаться уяснить.

Г. Каптеревъ справедливо замѣчаетъ, что стремиться къ превращенію женскаго типа въ мужской нѣтъ никакого основанія, потому что женщина не есть лишь вмѣстилище всѣхъ недостатковъ, равно какъ и мужчина не есть совренищница всѣхъ совершенствъ. Но г. Каптеревъ желаетъ предоставить женщинамъ болѣе широкій кругъ знанія, интересовъ и дѣятельности, чѣмъ тотъ, который находится сейчасъ въ ихъ распоряженіи, и ожидаетъ великихъ результатовъ отъ ихъ активнаго участія въ разрѣшеніи труднѣйшихъ вопросовъ, волнующихъ наше многотрудное время. Онъ намѣчаетъ слѣдующія «основныя направленія культурной дѣятельности женщинъ: 1) борьба противъ односторонностей и неравномѣрности современной культуры, 2) борьба противъ пессимизма и 3) борьба противъ войны». Г. Каптеревъ полагаетъ, что эти три задачи «съ логическою правильностью вытекаютъ изъ природы женскаго психическаго типа», что они «предначертаны женщинамъ ихъ природой». Мотивируя это свое мнѣніе, г. Каптеревъ, въ очень, конечно, общихъ и бѣглыхъ чертахъ, развертываетъ, собственно говоря, всю изнанку современной цивилизаціи. Это очень поучительныя страницы, и пусть читатель познакомится съ ними въ подлинникѣ. Люди правды, люди чести и совѣсти присоединятся, конечно, и къ сдѣланной г. Каптеревымъ характеристикѣ отрицательныхъ сторонъ современной цивилизаціи, и къ его пожеланію, чтобы въ ихъ устраненіи, исправленіи, дальнѣйшемъ движеніи женщины приняли широкое участіе. Это желательно не только въ видахъ ихъ собственного достоинства и ихъ собственныхъ интересовъ, и не только во имя справедливости. Женщины, — а это вѣдь, шутка сказать, половина человеческого рода, — въ настоящее время, можно сказать, лишь присутствуютъ при томъ, какъ складываются нѣкоторыя стороны жизни: кто знаетъ, какую можетъ быть огромную поправку внесутъ онѣ въ весь нашъ умственный и житейскій обиходъ. И да будутъ онѣ благословенны, если выполнять задачи, указываемыя имъ г. Каптеревымъ. Но остается всетаки загадкой, почему специально женщины призываются къ борьбѣ противъ односторонностей и не-

равномѣрности современной культуры, противъ нессимизма и противъ войны. Г. Кантеревъ не говоритъ, разумеется, что эти задачи должны быть предоставлены исключительно женщинамъ, не снимаетъ съ насъ, мужчинъ, этой тяжести и чести, обязанности и права. Но онъ думаетъ, всетаки, что упомянутыя задачи «съ логическою правильною вытекаютъ изъ природы женскаго психическаго типа». «предначертаны женщиной ихъ природой». Это легко сказать, но трудно доказать, и г. Кантеревъ очень рѣшительно, очень увѣренно сказалъ, но совѣтъ не доказать.

«Крайняя специализация современной культуры, при недостаткѣ общихъ точекъ зрѣнія, есть результатъ склонности мужского ума къ отвлеченіямъ. Обособляя явленія, мужской умъ окончательно застреваетъ въ нихъ и теряетъ изъ вида цѣлое. Женщина предпочитаетъ широкіе синтезы отвлеченнымъ специалностямъ» и т. д. (126).

«Современная культура страдаетъ крайнею неравномѣрностью въ распредѣленіи своихъ благъ; положеніе большинства человечества плачевно во всѣхъ отношеніяхъ: умственномъ, нравственномъ и экономическомъ. Такое направленіе культуры несогласно съ женскою психикой. Женщина живо симпатизируетъ личности. легко входитъ въ ея положеніе, приспосабливается къ ней; она такъ много страдала, вынесла такую тяжелую долю, что всѣ обездоленные и угнетенные близки ея сердцу; ея собственная многовѣковая горькая участь научила ее сочувствовать горю и страданію» и т. д. (124).

Таковы всѣ доводы г. Кантерева. Они очень краснорѣчивы, но совершенно голословны. Безъ всякаго сомнѣнія, есть много, слишкомъ много умовъ, «застревающихъ» въ специалностяхъ, но нельзя же въ самомъ дѣлѣ серьезно приписывать эту черту мужскому уму, въ противоположность женскому, когда исторія философіи и любой науки перечисляетъ намъ длинный рядъ всеобъемлющихъ мужскихъ умовъ и такъ безъ сравненія мало всеобъемлющихъ женскихъ. Можетъ быть, когда женщины получаютъ болѣе сильный интересъ къ знанію и болѣе легкій къ нему доступъ, онѣ явятъ намъ образцы «широкаго синтеза», которые затмятъ все, доселѣ нами видѣнное, но вѣдь нельзя же это съ увѣренностью предсказывать на основаніи доселѣшняго опыта. Пусть не одинъ, а сотня мужчинъ, привыкшихъ философствовать, при словѣ «лодка» не представляютъ себѣ никакого опредѣленнаго образа, а такая же сотня молодыхъ дѣвушекъ моментально нарисуетъ цѣлую картину съ кавалерами и дамами въ голубыхъ и бѣлыхъ платьяхъ, — отъ этого довольно-таки далеко до противоположенія мужскихъ «отвлеченныхъ специалностей» женскимъ «широкимъ

синтезамъ»; такъ далеко, что самое это противоположеніе является чистою словесностью. Почему въ самомъ дѣлѣ «широкіе синтезы» противопоставляются «склонности къ отвлеченіямъ»? Все это слова, слова и перестановки словъ, которыя можно и совсѣмъ иначе переставить. Или эти разговоры о женскихъ страданіяхъ, воспитавшихъ въ женщинахъ доброжелательныя чувства. Во-первыхъ, слова можно иначе комбинировать и очень краснорѣчиво защищать то положеніе, что страданія озлобляютъ. Во-вторыхъ, если рѣчь идетъ о страданіяхъ, то надо дѣлать людей на страдающихъ и не страдающихъ, а не на мужчинъ и женщинъ: дѣленія эти отнюдь не непременно совпадутъ какъ въ исторіи, такъ и въ настоящій моментъ, если имѣть въ виду не просто женщину, отвлеченную, а женщину въ разныхъ классахъ общества.

Это послѣднее обстоятельство г. Каптеревъ совершенно не принимаетъ въ соображеніе. Вездѣ, на всемъ протяженіи своей книги, онъ говоритъ только о мужчинахъ и женщинахъ, стараясь уловить черты изъ сходства и различія, опредѣлить мужской и женскій типы. Между тѣмъ, если мы представимъ себѣ хоть ту же лодку, наполненную кавалерами и дамами въ голубыхъ и бѣлыхъ платьяхъ, то возможно, что эти кавалеры и дамы имѣютъ гораздо болѣе общихъ интересовъ, одинаковыхъ пріемовъ мысленія, однородныхъ чувствъ, чѣмъ тѣ же дамы съ какой-нибудь крестьянской или фабричной работницей. Во всякомъ случаѣ это вопросъ, который не мѣшало по крайней мѣрѣ поставить въ книгѣ о «душевныхъ свойствахъ женщинъ», но для г. Каптерева онъ не существуетъ. Больше вниманія удѣляетъ онъ измѣненіямъ женской психики въ исторіи. Онъ неоднократно упоминаетъ о двухъ совмѣстно дѣйствующихъ причинахъ особенностей женскаго типа: это съ одной стороны физическія, природныя черты, а съ другой—черты историческаго положенія женщинъ. Но, твердо стоя на этомъ общемъ положеніи, г. Каптеревъ лишь изрѣдка и случайно вспоминаетъ объ немъ, когда рѣчь идетъ о частностяхъ и подробностяхъ. Такъ, онъ отмѣчаетъ нѣкоторыя отличія американскихъ женщинъ въ связи съ исторически сложившимися условіями американской жизни. Такъ, онъ ожидаетъ въ будущемъ значительныхъ, неизвѣстныхъ пока измѣненій: «организмъ не гранитная скала,—говоритъ г. Каптеревъ,—онъ измѣняется подъ вліяніемъ окружающей среды и практики тысячелѣтій. Нѣтъ достаточныхъ основаній считать настоящій мужской или женскій типъ неизмѣннымъ вѣчно» (117). Что касается прошедшаго, то и объ немъ г. Каптеревъ говоритъ очень мало, но кое-что для насъ интересное.

Свою единственную нѣсколько систематическую экскурсію въ область историческаго прошлаго г. Каптеревъ начинаетъ очень

издалека. «У самых низших животных,—пишет онъ,—поль отсутствуетъ, и размноженіе происходитъ дѣленіемъ и другими способами. По мѣрѣ развитія животныхъ начинается двуполость, которая бываетъ тѣмъ рѣче и опредѣленнѣе, чѣмъ выше животное въ зоологической лѣстницѣ. У человѣка половыя особенности выражены наиболѣе, а въ родѣ человѣческомъ всего опредѣленнѣе у наиболѣе культурныхъ націй» (133). Здѣсь я позволю себѣ остановить почтеннаго автора замѣчаніемъ, что такой правильности въ отношеніяхъ между общимъ развитіемъ и усиленіемъ полового диморфизма на зоологической лѣстницѣ нѣтъ. У нѣкоторыхъ червей, очень низко стоящихъ на этой лѣстницѣ, половыя различія настолько велики, что самца и самку одного и того же вида зоологи относили по ошибкѣ къ разнымъ родамъ и даже семействамъ; у нѣкоторыхъ насѣкомыхъ половые признаки выражены гораздо ярче, чѣмъ у многихъ млекопитающихъ, у нѣкоторыхъ четырехрукихъ ясенѣе, чѣмъ у человѣка. Вообще, едва ли можно уловить въ этомъ отношеніи какую-нибудь правильность; половыя различія появлялись, ослабѣвали, развивались слабо, развивались сильно въ зависимости отъ многихъ, чрезвычайно сложныхъ, развѣтвляющихся и перенутиваемыхъ причинъ, разнѣ влиявшихъ на разныя группы и подгруппы организмовъ. Связывать появленіе и усиленіе вторичныхъ половыхъ признаковъ, то есть половыхъ различій, съ подъемомъ по зоологической лѣстницѣ—мы не имѣемъ никакого права.

Однако, что касается человѣка, г. Кантеревъ фактически несомнѣнно правъ: въ культурныхъ расахъ и націяхъ вторичные половые признаки выражены ярче, чѣмъ въ некультурныхъ. Къ этому слѣдовало бы прибавить: въ болѣе цивилизованныхъ классахъ или болѣе пользующихся плодами цивилизаціи сильнѣе, чѣмъ въ менѣе цивилизованныхъ. Это совершенно вѣрное указаніе г. Кантерева подтверждаетъ ссылками на «Физиологію женщины» Мантегацца, книгу Плосса: ««Das Weib in der Natur und Völkerkunde» и убогую брошюрку г. Мниховскаго «Женственность»... Книга Плосса есть безъ сомнѣнія почтенный источникъ, хотя и устарѣлый, у Мантегацца среди его болтовни можно всетаки встрѣтить кое-что путное, но черпать въ брошюркѣ г. Мниховскаго что бы то ни было, но части ли идей или фактовъ,—положительно зазорно. Г. Кантеревъ черпаетъ у г. Мниховскаго слѣдующее: *У женщины въ племенахъ съ низкимъ культурнымъ уровнемъ* замѣчаются «сравнительно большой ростъ и массивность тѣла, отсутствіе или недостатокъ мягкости и пѣжности, контуры менѣе округленные, бюстъ менѣе развитой, не представляющій полноты и стройности, большія руки и ноги, мускулатура (по крайней мѣрѣ у мо-

лодыхъ) сильная и крѣпкая, тѣло обыкновенно мѣшковатое, часто угловатое и неуклюжее, голосъ рѣзкій и грубый, очень непріятный для слуха (...), лицо рѣдко бываетъ красивое, большею же частію представляетъ неправильности и непропорціональность частей (...), манеры не отличаются ни мягкостью, ни изяществомъ». Зачѣмъ понадобилась г. Кантереву эта цитата? Г. Мниховскій не этнографъ, не путешественникъ, не историкъ культуры; онъ авторъ брошюры, которую можно бы было озаглавить «Взглядъ и нѣчто» и въ которой нѣтъ ни единого намека на его компетентность по вопросамъ о «племенахъ съ низкимъ уровнемъ»... Дѣло, однако, въ томъ, что г. Мниховскій вовсе и не говоритъ въ этой цитатѣ о какихъ-нибудь «племенахъ». Въ тѣхъ мѣстахъ цитаты, гдѣ у меня поставлено многоточіе въ скобкахъ, г. Кантеревъ дѣлаетъ пропуски. А именно, напримѣръ, послѣ словъ о грубомъ, непріятномъ голосѣ женщинъ будто бы низшихъ племенъ г. Мниховскій пишетъ: «съ чѣмъ согласится всякій, кому приходилось слышать ссоры торговыхъ на базарѣ». Эти слова г. Кантеревъ выкидываетъ. Точно также выкидываетъ онъ слѣдующее замѣчаніе г. Мниховскаго: «Красота у такихъ женщинъ если и бываетъ, то грубая, которую вѣрнѣе было бы назвать миловидностью и которая обуславливается больше здоровьемъ и свѣжестью организма, почему скоро исчезаетъ». Ясно, что г. Мниховскій не низшія «племена» имѣетъ въ виду, а низшіе классы нашего цивилизованнаго общества. Зачѣмъ понадобились г. Кантереву и эта вовсе не авторитетная цитата, и эта странная операція надъ ней,—понять трудно. О некультурныхъ племенахъ написана нынѣ цѣлая огромная бібліотека: въ числѣ писавшихъ и пишущихъ есть превосходные наблюдатели-очевидцы, есть трудолюбивые собиратели и группировщики чужихъ наблюденій, есть мыслители, обобщающіе весь этотъ огромный матеріалъ и указывающіе ему мѣсто въ разныхъ отрасляхъ знанія. При чемъ же тутъ г. Мниховскій, да еще фальсифицированный?!

У Плосса и Мантегацца г. Кантеревъ заимствуетъ нѣсколько указаній на сходство мужчинъ и женщинъ у американскихъ индійцевъ, монголовъ и сибирскихъ инородцевъ. Дѣло сводится главнымъ образомъ къ отсутствію бороды или по крайней мѣрѣ очень слабой растительности на лицѣ у мужчинъ этихъ племенъ, да къ нѣкоторому сходству въ одеждѣ. Это не безынтересно, конечно, но г. Кантеревъ могъ бы и не ограничиваться этими скудными и поверхностными чертами. Въ интересахъ своей темы онъ могъ бы даже у г. Мниховскаго найти такое, напримѣръ, указаніе: «Говоря о половыхъ различіяхъ, Дарвинъ ссылается на одно изъ замѣчаній Фогта, который говоритъ, что различіе между полами, по

отношенію къ черенной полости, увеличивается по мѣрѣ развитія расы: такъ, европейцы превосходятъ своихъ женщинъ гораздо болѣе, чѣмъ негры негритянокъ». Не только свѣта, что въ оконкѣ, а г. Минховскій въ данномъ случаѣ даже не окошко, а такъ—затянутая паутиной щелка, и г. Каптеревъ безъ большого труда нашелъ бы, если бы захотѣлъ искать, много другихъ иллюстрацій къ своей темѣ. Но дѣйствительно-ли это его тема? Правда, онъ утверждаетъ, что половыя различія увеличиваются у культурныхъ народовъ, но картина этого усиленія вторичныхъ половыхъ признаковъ рисуется ему въ розовомъ освѣщеніи, а тутъ вдругъ какъ будто и обидно выходитъ: если въ цивилизованныхъ племенахъ мужчины «превосходятъ женщинъ гораздо болѣе», чѣмъ въ нецивилизованныхъ, такъ вѣдь это значить, что цивилизованная женщина, по крайней мѣрѣ относительно, по сравненію съ мужчиной,—регрессируетъ: черта, отдѣляющая мужчинъ отъ женщинъ, становится дѣйствительно рѣзче, но не въ пользу женщинъ. И еще счастье, замѣчаетъ въ одномъ мѣстѣ Дарвинъ («Происхожденіе человека и половой подборъ»), что законъ одинаковой наслѣдственной передачи признаковъ обоимъ поламъ всетаки преобладаетъ: «иначе мужчина вѣроятно превосходилъ бы женщину по умственнымъ дарованіямъ настолько же, насколько павлинъ превосходитъ паву по красотѣ оперенія». Слѣдовательно, мужской и женскій типы не только не одинаковы, но по мѣрѣ цивилизаціи становятся и все менѣе равноцѣнными...

Г. Каптереву предстояло опредѣлить значеніе фактическихъ данныхъ, лежащихъ въ основаніи этого вывода (данныхъ этихъ слѣдуетъ искать, конечно, не у г. Минховскаго); затѣмъ оцѣнить самый выводъ и либо принять, либо отвергнуть его. Но г. Каптеревъ предпочелъ совсѣмъ обойти этотъ пунктъ и въ увеличеніи различій между мужчинами и женщинами увидѣлъ лишь нѣкоторый благотѣльный историческій процессъ, все полнѣе развертывающій «природные» задатки, лежащіе въ основѣ обоихъ типовъ. Удивительное, однако, дѣло: мы привыкли думать—и, конечно, съ полнымъ основаніемъ, — что некультурныя племена ближе къ природѣ, чѣмъ мы, что природныя инстинкты и вообще свойства въ нихъ выражены яснѣе, чѣмъ въ людяхъ цивилизованныхъ, окружившихъ себя цѣлою сѣтью хорошихъ и дурныхъ, благотѣльныхъ и зловредныхъ, но во всякомъ случаѣ искусственныхъ условій жизни: безъ послѣднихъ, конечно, и первобытный человекъ (*unhomme de la nature*) не обходится, но дѣло здѣсь въ степеняхъ. Оказывается, напротивъ, что цивилизація, по крайней мѣрѣ, наша пышнѣйшая цивилизація, съ своими многосложными учрежденіями, дѣленіемъ общества на классы, съ своими воспитательными влія-

ніями школы, государства, церкви, промышленности, науки, искусства и проч. и проч., — способствуетъ расцвѣту природныхъ, естественныхъ чертъ женскаго типа: что, напримѣръ, современная дама естественнѣе, чѣмъ та монголка, которая такъ похожа на своего монгола, что ихъ сразу и не отличишь... Если бы однако и такъ, то естественнѣе значить-ли непременно лучше?

Еще два замѣчанія, и мы кончимъ съ книгой г. Каптерева.

Г. Каптеревъ до такой степени убѣжденъ въ необходимости и дальнѣйшаго развитія половыхъ различій, что требуетъ для женщинъ совсѣмъ особой системы образованія: «женское образованіе, какъ и самый психическій женскій типъ, должно быть оригинально, а не копировать мужской» (136). Это столь же голословно, какъ и многое другое въ книгѣ г. Каптерева, но допустимъ, что его мысль вѣрна, и посмотримъ только, какъ онъ ее иллюстрируетъ. Онъ говоритъ: «Извѣстно, что мужское образованіе строится главнымъ образомъ на изученіи древнихъ языковъ и математики, т. е., что основа его крайне отвлеченнаго и односторонняго характера. Насколько такая система удобна для всесторонняго умственнаго развитія молодыхъ людей—не будемъ обсуждать. Одно несомнѣнно, что такая система отчуждаетъ отъ природы, подрываетъ любовь и вкусъ къ наблюденію естественныхъ явленій, дѣлаетъ школьниковъ безучастными и праздными зрителями самыхъ поразительныхъ фактовъ живой дѣйствительности. Женскій умъ другого склада, чѣмъ мужской, мышленіе женщины живо, образно, разносторонне» и т. д., а потому, дескать, женское образованіе должно быть оригинально, а не копировать мужское. Вы, конечно, изумляетесь этой логикѣ и справедливо полагаете, что если г. Каптеревъ что-нибудь и доказалъ, то не необходимость особой системы образованія для женщинъ, а положеніе несравненно болѣе общее: не слѣдуетъ подражать дурнымъ образцамъ. Правильно не новое, но очень хорошее, не имѣющее, однако, никакого спеціальнаго отношенія къ вопросу о системѣ женскаго образованія.

Г. Каптеревъ, какъ уже было сказано, очень мало касается историческаго прошлаго женщины. Онъ говоритъ лишь о томъ, что въ отдаленной древности (которую исторія болѣе или менѣе сохранила и донинѣ въ некультурныхъ народахъ) мужчины и женщины сравнительно мало разнились между собою и физическимъ обликомъ, и умственнымъ и нравственнымъ характеромъ. Говоритъ онъ затѣмъ, что женщина много страдала въ исторіи, благодаря своему подчиненному, рабскому положенію. Въ какомъ взаимномъ отношеніи находятся эти двѣ черты исторіи женщины? Г. Каптеревъ не задается этимъ вопросомъ, а вопросъ любопытный.

Недавно вышли двѣ небольшія книжки: М. М. Ковалевскаго «Очеркъ происхожденія и развитія семьи и собственности» и Карла Каутскаго «Возникновеніе брака и семьи». Книжки эти, независимо отъ интереса ихъ содержанія, вызываютъ нѣкоторыя побочныя соображенія. Книжка г. Ковалевскаго составила изъ лекцій, читанныхъ имъ въ Стокгольмскомъ университетѣ, и во французскомъ оригиналѣ давно извѣстна европейской публикѣ, интересующейся предметомъ, а мы, соотечественники г. Ковалевскаго, знакомимся съ ней только черезъ пять лѣтъ. Конечно, французскій языкъ не китайскій, но знаніе и французскаго языка, когда-то обязательное для всякаго образованнаго русскаго человѣка, нынѣ очень ослабло. Правда, мы имѣемъ рядъ специальныхъ трудовъ г. Ковалевскаго, относящихся къ тому же предмету, на русскомъ языкѣ, но именно стокгольмскія лекціи, по своей сжатости и популярности, могутъ быть особенно полезны для извѣстнаго, весьма значительнаго круга читателей. Притомъ же, ишиеть г. Ковалевскій довольно тяжело, тогда какъ лекторъ онъ блестящій, и по неволѣ приходитъ въ голову печальная мысль о томъ, что такія большія научныя силы, какъ г. Ковалевскій или г. Мечниковъ, могли бы вѣдь работать и для общевропейской науки, не покидая русскихъ коедръ...

Стокгольмскія лекціи г. Ковалевскаго и книжка Каутскаго могутъ имѣть какъ разъ теперь у насъ особенное значеніе, въ виду чрезвычайнаго успѣха извѣстной книжки Энгельса о происхожденіи семьи, частной собственности и государства, тоже недавно вышедшей по русски и имѣвшей уже три изданія. Категорическій тонъ покойнаго Энгельса, въ связи съ его громкой репутаціей и высокимъ мѣстомъ, которое онъ занималъ въ европейской литературѣ, можетъ внушить многимъ читателямъ совершенно неосновательную мысль, что въ его книгѣ содержится окончательная, безспорная истина. Произведенія Ковалевскаго и Каутскаго являются какъ разъ въ-время, чтобы показать, какъ еще много спорнаго въ этой области. Съ этой стороны особенно полезна маленькая книжка Каутскаго. Не потому, чтобы она была сама по себѣ въ какомъ-нибудь отношеніи значительное лекцій г. Ковалевскаго. Напротивъ, нашъ соотечественникъ есть самостоятельный изслѣдователь, тогда какъ какъ Каутскій—популяризаторъ, по умный, талантливый, отнюдь не лишенный оригинальности мысли, а главное принадлежащій къ одной съ Энгельсомъ партіи; поэтому его разногласія съ Энгельсомъ, хотя бы, напримѣръ, въ отношеніи изслѣдованій Моргана, особенно поучительны. Для нашихъ читателей интересно, между прочимъ, и слѣдующее замѣчаніе Каутскаго: «Къ сожалѣнію, люди очень часто смѣшиваютъ—и именно въ различныхъ

отрасляхъ соціальной науки — законъ съ шаблономъ; и такъ-какъ люди при этомъ исходятъ изъ того принципа, что соціальное развитіе въ такой же степени подчинено законамъ, какъ и физическое, то думаютъ, что оно вездѣ должно совершаться по одному и тому же шаблону. Поэтому нѣтъ ничего зауряднѣе того явленія, что, прослѣдивъ путь развитія какой-нибудь націи или одной эпохи, люди сейчасъ же возводятъ этотъ путь въ законъ природы, которому будто бы подчиняется также и прогрессъ всѣхъ остальныхъ націй и эпохъ» (стр. 97). Говоря такимъ образомъ, Каутскій слѣдуетъ лучшимъ завѣтамъ своихъ учителей, въ томъ числѣ и Энгельса. На только-что происходившемъ въ Бреславлѣ конгрессѣ Шенланкъ, возставая противъ партійнаго фанатизма и догматизма, говорилъ: «Этотъ догматизмъ отнюдь не послѣдовательный выводъ изъ матеріалистическаго взгляда на исторію, а только одинъ изъ варьянтовъ консерватизма, охраняющаго букву догмы. Энгельсъ въ одномъ изъ недавно опубликованныхъ писемъ выразился, что именно марксисты часто ложно понимали Маркса» («Русскія Вѣдомости», № 275, корреспонденція изъ Берлина).

Все это только мимоходомъ. Но я и на самихъ книжкахъ г. Ковалевскаго и Каутскаго не думаю останавливаться, такъ сказать, вплотную. Я извлеку изъ нихъ лишь то, что касается исторіи взаимныхъ отношеній мужчины и женщины. Свѣдущіе люди не встрѣтятъ здѣсь чего-нибудь очень для себя новаго, но въ интересахъ главной темы сегодняшней бесѣды не мѣшаетъ припомнить и кое-что старое.

Еще очень недавно исходною точкою супружескихъ и родительскихъ отношеній признавалась семья, и именно въ ея патриархальной формѣ. Нынѣ мало уже кто держится этого предразсудка, и каковы бы ни были разногласія изслѣдователей относительно древнѣйшихъ половыхъ отношеній, уходящихъ въ перспективу подлуживотной дали, общепризнано, что патриархальной семьѣ предшествовалъ матриархатъ. Во главѣ родственной группы стояла женщина, мать, а изъ мужчинъ первое мѣсто занималъ не отецъ, который часто не могъ быть и извѣстенъ, а братъ матери. Понятно, что «униженной и оскорбленной» женщина ни въ какомъ случаѣ при этомъ не была. Нѣкоторые изслѣдователи — главнымъ образомъ Бахофенъ — реставрируютъ, на основаніи очень соблазнительныхъ данныхъ, цѣлую картину гинекократіи, женовластія въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова; Каутскій и еще менѣе Ковалевскій — не идутъ такъ далека. Но разногласія и между собою относительно нѣкоторыхъ сторонъ исторіи материнскаго права, оба они сходятся на томъ, что положеніе женщины въ глубокой древности было очень высоко. Въ заключеніе сво-

ей третьей лекціи г. Ковалевскій говоритъ: «Семиты и арійцы слѣдовали въ своемъ общественномъ развитіи по тому-же пути, какъ и другія расы. Подобно океанійцамъ и краснокожимъ они начали съ матриархата, слѣды котораго сохранились въ ихъ древнѣйшемъ правѣ и народномъ эпосѣ». Но и въ патриархальномъ періодѣ не могло сразу установиться безапелляціонное господство мужа-отца. На рубежѣ матриархата и патриархата мы находимъ замѣчательный обычай кувады, повидимому, повсемѣстно распространенный въ древности и сохранившійся кое-гдѣ и нынѣ. Обычай этотъ состоитъ, какъ извѣстно, въ томъ, что мужъ-отецъ симулируетъ муки родовъ и такимъ образомъ, только притворившись матерью, символически ей уподобившись, вступаетъ въ свои права. «Хотячее убѣжденіе въ порабощеніи женщины патриархальнаго періода находится въ прямомъ противорѣчій съ данными исторіи древняго права вообще, и римскаго, германскаго и славянскаго—въ особенности» (Ковалевскій, 78). Съ своей стороны Каутскій пишетъ: «Женщина въ первобытномъ состояніи не рабыня, не гаремная узница, а свободный товарищъ мужа» (38). «Развитіе цивилизаціи не улучшало, какъ обыкновенно полагаютъ, а ухудшало положеніе женщины... Развитие цивилизаціи... конечно, улучшило обращеніе съ женщиной, но отнюдь не положеніе ея» (89). Я не привожу фактовъ, на которые опираются Ковалевскій и Каутскій, но ихъ можно бы было найти гораздо больше. чѣмъ сколько они приводятъ оба вмѣстѣ. Отмѣчу только одно любопытное соображеніе Каутскаго. Онъ доказываетъ, что полиандрическій бракъ, одна изъ древнѣйшихъ формъ семейныхъ отношеній, не въ томъ состоитъ, что нѣсколько мужей берутъ себѣ одну жену, а наоборотъ, одна жена беретъ себѣ нѣсколько мужей.

Такимъ образомъ въ исторіи взаимныхъ отношеній мужчинъ и женщинъ мы имѣемъ два одновременныя теченія: постепенное усиленіе половыхъ различій, расхожденіе половыхъ признаковъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ постепенное ухудшеніе положенія женщины, усиленіе ея зависимости и подчиненности. Когда-то женщина не была «№ 2 человѣческаго рода», какъ ее называетъ Шпенгauerъ; она была безъ номера, какъ и мужчина, а можетъ быть и № 1-мъ. Вторымъ номеромъ ее сдѣлалъ длинный историческій процессъ, вмѣстѣ съ тѣмъ все усиливая и подчеркивая ея такъ называемую женственность.

Мы замѣтимъ, можетъ быть, что если мы поднимемся въ глубь исторіи не такъ далеко, не до матриархата и первыхъ стадій патриархальнаго быта, то увидимъ, что положеніе женщины, напротивъ, постепенно улучшалось. Было время, когда ее покупали и

продавали, какъ вещь, держали, какъ домашній скотъ, всячески оскорбляли, били, даже ѣли, что и сейчасъ практикуется нѣкоторыми дикарями. Да и не на такомъ низкомъ уровнѣ мы видимъ безправное, униженное положеніе женщины. тогда какъ въ обществахъ вполнѣ цивилизованныхъ господствуетъ и все усиливается бережное, уважительное отношеніе къ ея достоинству, къ ея личнымъ и имущественнымъ правамъ, къ ея свободѣ. Все это совершенно вѣрно. Дѣло въ томъ, что прямолинейныхъ и одностороннихъ историческихъ процессовъ нѣтъ. Дѣйствующія въ исторіи силы переплетаются тысячами нитей, вступая въ разнообразнѣйшія комбинаціи, то подавляя другъ друга, то усиливая, то слагаясь въ новыя, въ которыхъ лишь съ трудомъ можно усмотрѣть ихъ первоначальные источники, и все это вдобавокъ не равномерно, не только по всему лицу обитаемой человѣкомъ земли, но и въ несравненно болѣе тѣсныхъ географическихъ предѣлахъ. По вѣрному, но не идущему къ дѣлу указанію Мантегацца, въ то самое время, какъ Гейне проситъ передъ смертью показать ему еще разъ Венеру Милосскую,—австраліецъ бьетъ первую встрѣчную австралійку по башкѣ, что составляетъ вступленіе къ супружескимъ отношеніямъ. Но этого мало: быть можетъ гдѣ-нибудь очень близко отъ этого австраліица живутъ другіе *hommes de la nature*. обращающіеся съ женщинами мягче, уважительнѣе, чѣмъ не только этотъ ихъ сосѣдъ, но и, напримѣръ, современный московскій Кить Китычъ. Въ послѣднее время антропология, этнографія, фольклоръ, изученіе древнѣйшихъ памятниковъ поэзіи и права внесли въ науку громадный и чрезвычайно пестрый матеріалъ. Многое намъ этимъ путемъ освѣтилось, но вмѣстѣ съ тѣмъ получила возможность черпать изъ означеннаго матеріала доказательства для самыхъ противоположныхъ тезисовъ. Сколько-нибудь точная хронологія здѣсь, конечно, невозможна, и если мы имѣемъ возможность утверждать, что матриархатъ и соответственное положеніе женщины представляютъ собою древнѣйшее историческое наслоеніе, то лишь благодаря необыкновеннымъ усиліямъ многихъ проникательныхъ и трудолюбивыхъ ученыхъ. Далѣе. Когда мы говоримъ о постепенномъ улучшеніи положенія женщины въ исторіи, надо прежде всего различать—о какихъ общественныхъ слояхъ идетъ рѣчь. Прочтите въ «Юридическомъ Вѣстникѣ» 1884 г. статью г. Лудмера «Бабыи стоны», и у васъ волосы на головѣ дыбомъ станутъ отъ тѣхъ ужасовъ, которые терпитъ современная русская баба отъ своихъ мужей, отцовъ и даже сыновей. Разумѣется, нельзя слишкомъ обобщать эти факты, но нельзя ихъ и игнорировать. А между тѣмъ предки этихъ звѣрей и ихъ жертвъ когда-то тоже знали лучшія времена ^в вободы и самостоятельно-

сти женщины. Что касается высшихъ цивилизованныхъ классовъ, то въ нихъ, разумеется, только въ видѣ исключенія, притомъ всѣми осуждаемаго, можно встрѣтить звѣрское обращеніе съ женщиной. Но это есть дѣло общаго смягченія правотъ и повышенія нервной воспримчивости: вѣдь мы, цивилизованные мужчины, и между собою только въ видѣ исключенія, и тоже всѣми осуждаемаго, деремся. Мы не бьемъ своихъ невѣсть дубиной по головѣ, но австралійка, опомнившись отъ этого удара въ убогомъ жилищѣ своего *seigneur et maître*, чувствовала себя затѣмъ вѣроятно гораздо лучше, чѣмъ современная цивилизованная женщина, тѣмъ или другими обстоятельствами вынужденная принимать ласки не ею избраннаго или опостылѣваго мужчины,—не тѣ нервы, не тѣ требованія отъ любви, какъ увидимъ ниже. Увидимъ мы также, что въ той, все усложняющейся и усиливающейся борьбѣ за существованіе, арену которой представляетъ собою современное цивилизованное общество, моменты, принуждающіе женщину такъ или иначе, но во что бы то ни стало «устроиться», все растутъ и въ своемъ родѣ стоятъ австралійской дубины. Спору нѣтъ. Однако, есть современныя женщины, вполне довольныя своимъ положеніемъ и съ наслажденіемъ вдыхающія ту атмосферу поклоненія, ухаживанія, которая ихъ окружаетъ. Однако, атмосфера эта нисколько не мѣшаетъ женщинамъ быть все-таки и нынѣ «№ 2 человеческого рода». Если мы оставимъ въ сторонѣ злобныя ругательства Шпенгера, то должны будемъ признать, что европейская «дама» дѣйствительно занимаетъ *une fausse position* (Шпенгеръ пишетъ почему-то эти слова по-французски), ибо, вообще говоря, въ окружающей ее атмосферѣ поклоненія явственно слышится струя обидно спыходительнаго презрѣнія, хотя бы и безсознательнаго. Она полу-раба, полу-царица, и въ кругъ тѣхъ интересовъ и идей, которыя мы сами считаемъ наиболее важными, мы ее не допускаемъ, любезно объясняя такое исключеніе «женственностью», женственною прелестью, которой, дескать, не слѣдуетъ соприкасаться съ житейскими дразгами. Женщинамъ, собственно «дамѣ»—«розы рвать, жасмины поливать», а намъ—рѣшать глубочайшіе вопросы науки, управлять ходомъ общественныхъ дѣлъ, потому что ихъ дамскій итничій мозгъ ничего въ этомъ понимать не можетъ. Стоитъ только чуть-чуть отрѣшиться отъ обаянія условныхъ изящно мягкихъ формъ, чтобы убѣдиться, что положеніе женщинъ, напримѣръ, у древнихъ германцевъ по описанію Тацита или у нѣкоторыхъ описанныхъ Ливингстономъ африканскихъ дикарей гораздо выше положенія современной цивилизованной дамы. Тамъ нѣтъ, конечно, этого изящества во внѣшнемъ обращеніи, но женщины тамъ совершенно свободны, участвуютъ съ

рѣшающимъ голосомъ въ общественныхъ собраніяхъ, и хотя скупенъ кругъ жизни этихъ *hommes de la nature*, но въ немъ нѣтъ ни одного уголка, недоступнаго женщинѣ. И вмѣстѣ съ тѣмъ эти первобытныя женщины по всей вѣроятности очень мало женственны; то есть очень похожи на своихъ мужчинъ и лишены такихъ вторичныхъ половыхъ признаковъ, какъ тонкая талія, маленькія руки и ноги, нѣжная кожа, которыми мы такъ любуемся въ своихъ дамахъ, равно какъ и милая наивность, всесторонняя неумѣлость и другія умственные и нравственные черты, которыя мы, по совѣсти говоря, пожалуй нѣсколько и презираемъ, хотя и пользуемся ими.

Нѣтъ ничего удивительнаго, что дамская «женственность» вызвала наконецъ реакцію, какъ въ средѣ мужчинъ, такъ и въ средѣ самихъ женщинъ. Реакція эта началась уже давно (г. Кантеревъ указываетъ на любопытное сочиненіе нѣкоего Пулэна Барра «О равенствѣ двухъ половъ», появившееся въ 1673 г.) и происходитъ изъ многихъ и разнородныхъ источниковъ. Тутъ дѣйствовали и продолжаютъ дѣйствовать и чисто психическіе факторы: чувство справедливости и настоящаго уваженія у мужчинъ, чувство собственного достоинства у женщинъ, и факторы матеріальные,—существованіе дамы дорого стоитъ, и добиться этого положенія тѣмъ труднѣе, чѣмъ больше конкурентокъ. И вотъ мы видимъ, что, по тѣмъ или другимъ мотивамъ, женщины уже не въ одиночку,—что и раньше много разъ бывало,—а цѣлымъ сомкнутымъ строемъ энергически добиваются права и обязанности участвовать въ общей работѣ человечества наравнѣ съ мужчинами. Что женщина должна при этомъ утратить нѣчто отъ своей «женственности», въ этомъ нельзя сомнѣваться. Надо только помнить, что женственность, разумѣя подъ нею *вторичные* половые признаки женскаго пола, не есть нѣчто развѣ навсегда данное или естественное, природное, какъ думаетъ г. Кантеревъ; они развивались исторически, какъ это извѣстно, впрочемъ, тому же г. Кантереву. До сихъ поръ женственность въ цивилизованныхъ обществахъ все нарастала, теперь ей очевидно предстоитъ убывать и притомъ съ гораздо большею быстротою. Какъ далеко пойдетъ этотъ процессъ,—неизвѣстно. Г. Брандтъ полагаетъ, что будущія женщины, подобно мужчинамъ, обростутъ бородами и утратятъ свой нынѣ такъ чарующій насъ нѣжный голосъ. Г. Мечниковъ считаетъ возможнымъ и желательнымъ образованіе класса бесполовыхъ женщинъ, преданныхъ научнымъ изысканіямъ. Грядущее подчиненіе мужчинъ женщинамъ, рисующееся воображенію г-жи Ройе, также потребовало бы очень рѣзкихъ отклоненій отъ теперешней женственности. Но это все дѣло, по малой мѣрѣ, темное. Достоверно то, что въ области психики женственность

должна пойти на убыль въ ближайшемъ будущемъ. Еще недавно женское образованіе считалось дѣломъ совершенно ненужнымъ и не соответствующимъ природѣ женщинъ. Теперь г. Кантеревъ находитъ только, что система и характеръ женскаго образованія должны отличаться отъ системы и характера мужскаго образованія, въ виду особыхъ свойствъ женскаго ума. Еще немного, и г. Кантеревъ неизбѣжно признастъ, что образованіе, напримѣръ, женщины-врача (профессія, къ которой онъ считаетъ женщинъ особенно призванными) никоимъ образомъ не должно отличаться отъ образованія врача-мужчины. А затѣмъ, кромѣ образованія, расширяющаго умственные горизонты, дѣятельное участіе въ жизни должно вызвать такія новыя чувства и волненія, среди которыхъ цвѣты женственности должны будутъ поблѣднѣть и осыпаться. Это не значить, что женское образованіе должно быть сколкомъ съ нынѣшняго мужскаго образованія или что сумма психическихъ свойствъ, называемыхъ женственностью, должна уступить мѣсто «мужественности». И во всякомъ случаѣ, современный мужчина и весь его обиходъ совѣтъ не такая прелесть, чтобы это было желательно.

Намъ пора вернуться къ своей исходной точкѣ, къ сборнику «Любовь конца вѣка» и спросить себя: какъ отражались на формахъ и напряженности любви послѣдовательные этапы на пути развитія вторичныхъ половыхъ признаковъ. По это тема обширная, а мѣста у насъ остается мало, и, при всемъ моемъ желаніи быть краткимъ, мы не кончимъ съ нею на этотъ разъ.

У нашихъ отдаленныхъ предковъ и у современныхъ дикарей, по справедливому замѣчанію г. Кантерева, «чувство любви является еще въ крайне элементарной формѣ, какъ простое органическое влеченіе, не имѣющее почти личнаго характера, не осложняемое той массой разнообразныхъ элементовъ, которые входятъ въ современную любовь мужчины и женщины, придавая ей множество своеобразныхъ формъ и оттѣнковъ». Любовь развивалась исторически. Когда-то она исчерпывалась фізіологическимъ актомъ, но, по мѣрѣ усложненія человѣческой души вообще, и на этой грубой почвѣ въ частности, выросли тонкія и сложныя психическія явленія. Этотъ результатъ мыслимъ и номимо усиленія вторичныхъ половыхъ признаковъ. Представимъ себѣ, что развитіе этихъ послѣднихъ остановилось на томъ уровнѣ, какой застать Тацитъ у германцевъ или Ливингстонъ у нѣкоторыхъ африканскихъ племенъ, но допустимъ, что общее развитіе въ области религіи, науки, искусства, техники при этомъ не останавливалось бы, а слѣдовательно психика мужчинъ и женщинъ продолжала бы усложняться. Это общее услож-

неніе подняло бы, конечно, и любовь съ чисто фізіологической ступени на высшую, психологическую. Такъ оно отчасти и было въ исторіи, но лишь отчасти, потому что та же исторія выдвинула усиленное развитіе вторичныхъ половыхъ признаковъ, которое и стало главнымъ опредѣляющимъ факторомъ формъ и напряженности любви.

Я говорю о любви въ тѣсномъ смыслѣ слова, о любви между мужчиной и женщиной, и считаю нужнымъ еще разъ подчеркнуть рѣзкую разницу между этой любовью и любовью, какъ благожелательнымъ чувствомъ къ дѣтямъ, къ родинѣ, къ человѣчеству и проч. Обыкновенно думаютъ, что половая любовь есть источникъ всяческаго альтруизма. Такъ, въ сборникѣ «Любовь конца вѣка» г-жа Шапиръ, полемизируя съ Позднышевымъ, говоритъ: «Онъ пытается воздвигнуть безстрастный идеалъ безличной братской любви на мѣсто животрепещущаго чувства, органически слитаго со всѣмъ существомъ человѣка и только потому дающагося ему легко. Онъ совершенно забываетъ, что все живое безкорыстно вырощено любовью. *На землѣ только одна любовь не считаетъ своихъ жертвъ*» (курсивъ г-жи Шапиръ). Съ той минуты, какъ человѣчество дожило до безсилія любви, оно лишается самаго могучаго и естественнаго противовѣса эгоизму. Семья всегда была для личности школой самоотверженія, той школой, которая одна прививаетъ привычку безкорыстной жизни для другихъ... Удержать женщину въ семьѣ можетъ одна любовь, какою вложила ее природа въ душу человѣка, та любовь, которая окружаетъ восторгомъ самый тяжкій подвигъ и превращаетъ въ наслажденіе всякую жертву. На ряду съ ней можетъ стать только экстазъ религіозный, т. е. *все та же* (курсивъ мой) любовь. любовь къ Богу».

Нѣтъ, не «все та же». Проекты Позднышева не только возмутительны, а и нелѣпы, между прочимъ, именно потому, что нѣтъ и не можетъ быть чувства, подобнаго половой любви. Если мы чувство вѣрующаго человѣка къ Богу, любящаго отца или матери къ дѣтямъ и любящаго мужчины или женщины называемъ однимъ и тѣмъ же словомъ, то это есть лишь бѣдность или случайная спутанность языка, къ которой не слѣдуетъ прибавлять бѣдность или спутанность мысли. Въ половую любовь отнюдь не непременно входятъ преданность и благожелательное чувство, она можетъ сочетаться и съ совершенно противоположными чувствами; въ этомъ отношеніи Позднышевъ не правъ только тѣмъ, что непомѣрно обобщаетъ свой личный опытъ. Считать поэтому половую любовь источникомъ всяческаго альтруизма и главнымъ оплотомъ противъ эгоизма—никоимъ образомъ нельзя. Съ гораздо большимъ правомъ это можно сказать о другомъ элементѣ семьи,—объ отношеніи къ дѣтямъ, но и

то условно. Я не хочу, однако, отклоняться въ эту сторону и ограничусь слѣдующимъ замѣчаніемъ.

На стр. 123 стокгольмскихъ лекцій г. Ковалевскаго читатель найдетъ идиллическую картину современной семьи. Отмѣтивъ, въ послѣднихъ стадіяхъ развитія семьи, ограниченіе отцовскаго и супружескаго произвола, расширеніе правъ жены и охрану дѣтскихъ интересовъ, г. Ковалевскій говоритъ: «Повсюду семья или уже сдѣлалась, или стремится сдѣлаться поприцемъ для проявленія нашихъ наиболѣе благородныхъ и возвышенныхъ чувствъ. Все болѣе и болѣе проникаясь духомъ свободы и равенства, она можетъ обезпечить въ настоящее время какъ той, такъ и другой сторонѣ полное развитіе ея способностей и даже дать имъ новый стимулъ для дѣятельности—чистую привязанность, основанную на обоюдномъ уваженіи, постоянномъ обменѣ услугъ и нравственной солидарности. *Потерявъ свой прежній принудительный характеръ*, семья стала лучшей школой... Всѣ мы, безъ различія пола и возраста, обязаны ей чувствомъ безкорыстнаго стремленія къ добру, тѣмъ альтруизмомъ, сѣмена котораго запали въ наши души. Какъ прелестна эта картина взаимнаго самопожертвованія, разумнаго, сознательнаго самопожертвованія, направленнаго къ достижимой цѣли—*къ счастью всѣхъ намъ подобныхъ*, къ счастью, которое можетъ быть куплено только этой цѣной!».

Читатель благовольтъ обратить вниманіе на подчеркнутыя мною въ двухъ мѣстахъ этой цитаты слова. Семья «потеряла свой прежній принудительный характеръ». Разумѣется, потеряла или, вѣрнѣе, постепенно теряетъ, то есть постепенно ослабѣваетъ прежній юридически оформленный личный произволъ, чему способствуетъ и общее смягченіе нравовъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, благодаря обостряющейся борьбѣ за существованіе, сильнѣе выступаетъ иное принужденіе, безличное и никакими юридическими нормами неуловимое. Вспомните «Бѣдную невѣсту» Островскаго. Это уже не «темное царство», гдѣ владычествуютъ тяжеловѣсные кулаки Кита Китыча, Гордѣя Торцова и проч. Это чиновничья среда, въ которой и бывший студентъ Хорьковъ фигурируетъ, и знающій всякія хорошія слова Меричъ и т. п. Принужденіе со стороны матери «бѣдной невѣсты» ограничивается вздохами, жалобами на трудность жить, воркотней, да и это она согласна взять назадъ, когда видитъ, что жертва, приносимая дочерью, достается ей тяжело. Тѣмъ не менѣе искренно любящая и любимая дочь, чтобы не сидѣть на шеѣ у любимой и любящей матери, выходитъ замужъ за нелюбимаго человѣка. Это безспорно «самопожертвованіе», хотя отнюдь не «взаимное», но о «свободѣ» и любви тутъ говорить не приходится. Марья Андреевна угнѣтаетъ себя мыслью,

что она преобразуетъ своего грубаго, пьянаго, взяточника мужа и найдетъ себѣ въ этомъ жизненную задачу, а тамъ пойдутъ дѣти, — она для нихъ жить будетъ. Опять самопожертвованіе, но опять — такъ совсѣмъ не взаимное, и самое существованіе дѣтей, какимъ бы утѣшеніемъ оно ни было, явится новымъ принудительнымъ звеномъ въ цѣпи жизни Марьи Андреевны: она вышла замужъ ради матери, она не разстанется съ мужемъ ради дѣтей. Эти двѣ драмы, то сливающіяся въ одну, то разыгрывающіяся порознь, достаточно всѣмъ извѣстны. Г. Ковалевскій разсуждаетъ, какъ юристъ, любующійся развитіемъ правовыхъ нормъ, но упускающій изъ виду на ряду съ ними стоящія съ одной стороны условія матеріальнаго существованія, а съ другой — нравственныя требованія.

Г. Ковалевскій утверждаетъ также, что современная семья практически учитъ насъ стремиться «къ счастію всѣхъ намъ подобныхъ». Это какое-то недоразумѣніе. Если подѣ «всѣми намъ подобными» разумѣть дѣтей, похожихъ на насъ лицомъ, фигурой, походкой, характеромъ, такъ объ этомъ и говорить не стоитъ, хотя бы уже потому, что у иного этихъ подобныхъ всего одинъ — два. Если же подѣ подобными надо разумѣть евангельскихъ ближнихъ, человѣчество или соотечественниковъ, то дѣйствительно у нѣкоторыхъ избранныхъ натуръ, или сторонними обстоятельствами къ тому подготовленныхъ, любовь къ своимъ дѣтямъ разрастается въ любовь къ потомству, юности вообще, а черезъ нее и къ человѣчеству, или ко всему слабому, безпомощному, нуждающемуся въ поддержкѣ. Но и эти «люди-маяки», какъ мнѣ случилось однажды ихъ назвать, могутъ быть поставлены въ мучительно трудныя положенія тѣми же условіями матеріальнаго существованія и перекрещивающимися нравственными требованіями. Въ большинствѣ же случаевъ, при существующихъ условіяхъ, любовь къ своимъ дѣтямъ отнюдь не способствуетъ развитію альтруизма, понимаемаго сколько-нибудь въ широкомъ, то есть достойномъ этого слова, смыслѣ. Г. Гаринъ фактически совершенно справедливо говоритъ въ сборникѣ «Любовь конца вѣка»: «Если мой сынъ Иванъ и ниже по качествамъ другого Ивана, то я все-таки посажу сына Ивана на плечи этого другого». Въ этомъ именно обстоятельствѣ г. Гаринъ видитъ единственное «слабое мѣсто» современной семьи. Я думаю, что оно не единственное.

Вернемся къ половой любви. Среди, мягко говоря, странныхъ афоризмовъ г-жи Назарьевой, помѣщенныхъ въ сборникѣ «Любовь конца вѣка», есть одинъ, достойный серьезнаго вниманія: «Любовь имѣетъ два вида: *любовь-удивленіе* и *любовь-сожалѣніе*. Равнаго себѣ можно уважать, цѣнить etc., но любить невозможно.

Начинаясь отъ удивленія, восторга, поклоненія и т. д., любовь часто переходитъ въ сожалѣніе и тогда крѣпнѣтъ. Сознаніе своей силы заставляетъ падать слабое существо. Любовь-сожалѣніе не можетъ переходить въ восторгъ или удивленіе: она снисходитъ до презрѣнія и выдыхается». Этотъ афоризмъ чрезвычайно интересенъ. Интересно именно то, что авторъ не можетъ даже представить себѣ любовь между равными людьми. Афористическая форма изложенія избавляетъ отъ обязанности доказывать свою мысль, но иногда эта форма можетъ быть потому и выбирается, что авторъ даже передъ самимъ собою не сумѣлъ бы оправдать свои положенія: они представляютъ собою простой арифметическій итогъ его наблюденій. Весьма вѣроятно, что г-жа Назарьева только потому признаетъ невозможною любовь между равными людьми, что ничего подобнаго не наблюдала и, напротивъ, видѣла много примѣровъ любви, такъ сказать, сверху внизъ и снизу вверхъ. Въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. Но мѣрѣ усиленія вторичныхъ половыхъ признаковъ, любовь между равными людьми должна, конечно, встрѣчаться все рѣже и рѣже и, наконецъ, вотъ представляется даже невозможностью. Въ иныхъ, конечно, формахъ, но источникъ афоризма г-жи Назарьевой тотъ же, который заставлялъ скорбѣть одного изъ героевъ Щедрина: «что станется со мной, если женщины будутъ пристроены къ занятію?, кого я буду баловать?, передъ кѣмъ стану сжигать огнемъ моего сердца?, кому буду дарить конфеты?, кого стану называть *belle dame*?» Р-жа Назарьева писательница, слѣдовательно сама до известной степени «пристроена къ занятію» и, конечно, не раздѣляетъ опасеній щедринаскаго героя. Но она привыкла мѣрить любовь тѣми условными мелочами, которыми многіе сопровождаются или выражаются взаимныя отношенія мужчинъ и женщинъ и которыя выработались подъ вліяніемъ непомѣрнаго развитія вторичныхъ половыхъ признаковъ. Что такое эти вѣрно подмѣченные г-жей Назарьевой любовь-уваженіе или восторгъ и любовь-сожалѣніе, такъ легко переходящая въ презрѣніе? Это — восторгъ бородастого, широкоплечаго мужчины съ сильно развитой мускулатурой, низкимъ голосомъ и проч. передъ тонкими очертаніями фигуры, нежнымъ цвѣтомъ лица, мягкимъ голосомъ и проч. женщины, — и обратно. Это — обаяніе умственной силы, энергіи, геройскихъ подвиговъ, славы мужчины на попріцахъ, недоступныхъ для женщины, чужихъ ей. Это, далѣе, — чувство покровительственной жалости къ женской слабости и безпомощности, какъ физической, такъ и духовной, или къ мужской усталости, неудачливости, всяческимъ рапанъ, полученнымъ опять-таки на попріцахъ, не существующихъ для женщины. Всѣ эти чувства могутъ, конечно,

существовать и самостоятельно, не осложняясь любовью, хотя бы уже потому, что они возможны въ средѣ одного и того же пола: и мы, мужчины, можемъ преклоняться передъ славой своего брата мужчины и даже любоваться физической мужской красотой; и женщина можетъ чувствовать покровительственную жалость къ слабому существу своего пола; наконецъ, эти чувства можно питать и къ лицамъ другого пола, безъ осложненія ихъ любовью. Но г-жа Назарьева очевидно имѣетъ въ виду только тѣ случаи, когда упомянутыя чувства сливаются съ потокомъ полового влеченія. И здѣсь они, разумѣется, комбинируются на тысячи ладовъ, сообразно чисто личнымъ или установившимся въ извѣстномъ общественномъ складѣ понятіямъ о физическихъ и духовныхъ достоинствахъ.

Въ виду этой необыкновенной сложности и, такъ сказать, роскоши разнообразія, мы никогда не въ состояніи объяснить, почему изъ сотни, наиримѣръ, мужчинъ и женщинъ для такого-то лица одного пола наиболѣе привлекательно такое-то лицо другого пола: да они и сами этого не объясняютъ себѣ съ достовѣрностью.

Но среди всѣхъ возможныхъ безчисленныхъ отклоненій и осложненій преобладающею окажется все-таки струя, опредѣляемая общимъ ходомъ развитія вторичныхъ половыхъ признаковъ въ цивилизованномъ обществѣ. Ею, этою струею, вырабатываются и формы, и степень напряженности любви.

Выше мы пришли къ тому заключенію, что вторичнымъ половымъ признакамъ, повидимому, предстоитъ идти въ будущемъ на убыль. Въѣсть съ тѣмъ должны будутъ ослабѣть или даже исчезнуть теперешнія формы любви, да ослабѣетъ, быть можетъ, и ея напряженность (послѣднее зависитъ отъ особыхъ вѣроятностей и возможностей, которыхъ я, во избѣжаніе запутанности изложенія, здѣсь касаться не буду). «Кого же я буду баловать? Передъ кѣмъ стану сжигать огнѣмъ моего сердца? Кому буду дарить конфеты? Кого стану называть *belle dame*?» Этотъ вопросъ, не въ сатирической, конечно, формѣ, вѣроятно многимъ приходитъ въ голову. Что станетъ съ тайной, поэтическимъ ореоломъ окружающей пынѣшней «часъ свиданья, часъ разлукъ» (потому что при извѣстной самостоятельности женщины, безъ чего невозможна убыль вторичныхъ половыхъ признаковъ, значеніе тайны потускнѣетъ)? Куда дѣнется вся поэзія, обращенная «къ ней», въ которой «она» сравнивается то съ блѣдной лилей, то съ пышной розой (потому что либо «она» утратитъ свою лилейность, либо сами поэты пріобрѣтутъ такую изящную красоту, что лилейность утратитъ для нихъ прелесть контраста)? Какъ оскудѣетъ и поблекнетъ вся наша жизнь, когда изъ нея будутъ вынуты тысячи тѣхъ *petits riens*, ко-

торья такъ красить современную любовь!.. Говоря совершенно серьезно, жизнь дѣйствительно сильно побѣдѣла бы, если бы измѣненія, о которыхъ идетъ рѣчь, могли произойти внезапно и сейчасъ. Но это невозможно, скорѣе можно опасаться, что процессъ пойдетъ слишкомъ медленно (если вообще пойдетъ). Что же касается болѣе или менѣе отдаленнаго будущаго, то люди часто относятся къ нему, какъ тотъ ребенокъ, который, стоя въ началѣ длинной аллеи и не зная законовъ перспективы, предполагаетъ, что въ концѣ аллеи такъ тѣсно, что и пройти нельзя: дойдя до конца аллеи, онъ въ этомъ разубѣдится. Одинъ писатель рѣзко выдающегося ума, пользовавшійся всероссійскою извѣстностью, говорилъ мнѣ въ интимномъ разговорѣ, по поводу, не имѣющему ничего общаго съ женскимъ вопросомъ, а какая должно быть будущее скупа, когда наступитъ это самое «совершенство». Я возражалъ ему, что наступитъ или нѣтъ «это самое совершенство» въ будущемъ, но сейчасъ рѣчь идетъ о возможномъ приближеніи къ нему, что оно, во всей своей лучезарной яркости, указываетъ путь, по которому должно идти; что, наконецъ, многоразличныя украшенія жизни, къ которымъ мы привыкли, не приросли къ человѣку: многихъ изъ нихъ совѣмъ не знало прошедшее, многія замѣнятся въ будущемъ другими, которыхъ мы теперь, въ началѣ аллеи, даже и представить себѣ не можемъ...

Любовь-удивленіе и любовь-сожалѣніе не исчерпываютъ собою формъ любви, остановившихъ на себѣ вниманіе г-жи Назарьевой. Онѣ разрастаются до рѣзко патологическихъ формъ, на которыя указывать въ томъ же сборникѣ Эмилъ Зола.

Зола говоритъ, что аномальная, патологическая любовь «психіатрами наблюдается въ двухъ формахъ: въ формѣ пассивизма и въ формѣ садизма. Любовь перваго рода—любовь подчиненія, рабства, поклоненія. Пассивистъ готовъ съ радостью переносить всѣ пытки и истязанія, которыми награждаетъ его любимая рука. Это—любовная кротость и покорность, доведенная до болѣзненнаго апогея. Садистъ самъ долженъ истязать и тиранить любимое существо. Онъ можетъ любить и обожать только то, что поддается его любовному самодурству. Это—любовный деспотизмъ и насиліе, достигшіе болѣзненнаго идеала». Далѣе идутъ собственные разсужденія знаменитаго романиста о настоящей любви, какъ «средней пропорціональной между добромъ и зломъ», и о томъ, что дѣтворженіе не должно встрѣчать искусственныхъ преградъ. Все это малоинтересно само по себѣ и мало интересно для насъ сейчасъ.

Зола ошибается, утверждая, что психіатры наблюдаютъ патологическую любовь въ двухъ формахъ: они знаютъ еще многія другія, которыя, впрочемъ, насъ здѣсь не касаются. Однако и пас-

сизизма съ садизмомъ въ ихъ крайнихъ, мерзостныхъ проявленіяхъ мы не тронемъ; желающіе пусть обратятся къ специальнымъ сочиненіямъ. Но границы здоровья и болѣзни, въ особенности въ психической области, указать далеко не всегда легко. Существуетъ множество переходныхъ ступеней отъ кроваво-грязныхъ вершинъ садизма и пассивизма къ тому, что живетъ и дѣйствуетъ среди насъ въ качествѣ не только обыкновенныхъ, никого не удивляющихъ, а иногда даже идеализируемыхъ явленій.

Вспомните одну изъ тургеневскихъ женскихъ фигуръ, княжну Зинаиду въ «Первой любви». Я напому нѣсколько эпизодовъ изъ этой повѣсти. Въ числѣ влюбленныхъ въ княжну былъ нѣкто Лушинъ, котораго она, замѣтите, уважала и который получилъ почему-то право бранить ее въ глаза. Но однажды произошло вотъ что: «Я кокетка, я безъ сердца, я актерская натура»,—сказала она ему однажды въ моемъ присутствіи,—«а, хорошо! такъ подайте же вашу руку, я воткну въ нее булавку, вамъ будетъ стыдно этого молодого человѣка, вамъ будетъ больно, а все-таки вы, г. правдивый человѣкъ, извольте смѣяться». Лушинъ покраснѣлъ, отворотился, закусилъ губы, но кончилъ тѣмъ, что подставилъ руку. Она его уколола, и онъ точно началъ смѣяться... и она смѣялась, запуская довольно глубоко булавку и заглядывая ему въ глаза, которыми онъ напрасно бѣгалъ по сторонамъ».—Въ такомъ родѣ Зинаида поступала не съ однимъ Лушинымъ. Влюбленнаго въ нее шестнадцатилѣтняго мальчика, отъ лица котораго ведется рассказъ и къ которому, замѣтите опять, она питала нѣжныя чувства, она однажды «съ жестокой усмѣшкой» схватила за волосы и начала ихъ крутить, такъ что даже выдернула маленькую прядь волосъ. Въ другой разъ этотъ самый мальчикъ, изъ за ея каприза и ласки, жестоко расшибся. Онъ рассказываетъ: «Кривва обожгла мнѣ руки, спина ныла и голова кружилась; но чувство блаженства, которое я испыталъ тогда, уже не повторялось въ моей жизни. Оно стояло сладкой болью во всѣхъ моихъ членахъ». Такимъ образомъ княжна прямо физически мучитъ своихъ поклонниковъ, притомъ именно тѣхъ, къ которымъ она наиболѣе благосклонна, а тѣ или съ покорностью принимаютъ мученія отъ нея или изъ за нея, или даже съ «блаженствомъ». Любитъ она пока никого не любитъ и на вопросъ рассказчика объ одномъ изъ претендентовъ на ея сердце. Малевскомъ, отвѣчаетъ: «нѣтъ, я такихъ любить не могу, на которыхъ мнѣ приходится глядѣть сверху внизъ. Мнѣ надобно такого, который самъ бы меня сломилъ. Да я на такого не наткнуусь, Богъ милостивъ! Не понадусь никому въ ланы, ни-ни!» Однако поналась, и именно отцу рассказчика. И вотъ что случайно подсмотрѣлъ этотъ мальчикъ: «Зинаида выпрямилась и протянула

руку... Вдругъ въ глазахъ моихъ совершилось невѣроятное дѣло: отецъ внезапно поднялъ хлысть, которымъ сбивать ниль съ полы своего сюртука—послышался рѣзкій ударъ по этой обнаженной до локтя рукѣ. Я едва удержался, чтобы не вскрикнуть, а Зинаида вздрогнула, молча посмотрѣла на моего отца и, медленно поднесла свою руку къ губамъ, поцѣловала заалѣвшійся на ней рубецъ».

Все это обито тѣмъ мягкимъ свѣтомъ идеализаціи, источать который былъ такой мастеръ Тургеневъ. Но выдѣленные изъ общей картины, приведенные эпизоды являютъ несомнѣнные и очень рѣзкія черты садизма и пассивизма. Имъ пропитана вся любовная атмосфера, поэтически окружающая княжну Зинаиду Засѣкину: или мучить, терзать любимое существо, или съ восторгомъ терпѣть отъ него мученія. О Достоевскомъ и говорить нечего. Его общіе принципы: «человѣкъ по природѣ мучитель» и «человѣкъ до страсти любить страданіе» — находятъ себѣ приложение во всѣхъ рассказанныхъ имъ любовныхъ исторіяхъ, но у него, болѣе въ этомъ отношеніи утонченнаго, мучительство и мученичество любви рѣдко переходятъ въ область физическаго насилія и жестокости, за то тѣмъ жесточе сказываются они въ психической сферѣ. Изъ европейскихъ писателей Захеръ-Мазохъ даже подаль поводъ къ установленію научнаго термина «мазохизмъ», введеннаго Крафтъ-Эбингомъ для обозначенія этихъ сочетаній любви съ жестокостью. Любопытна, между прочимъ, одна особенность: Захеръ-Мазохъ очень любилъ наряжать своихъ героинь въ мѣховыя одежды, которыя производятъ особенно сильное впечатлѣніе на дѣйствующихъ въ его рассказахъ мужчинъ. Самъ онъ объяснялъ это впечатлѣніе тѣмъ, что мѣхъ есть атрибутъ царственной власти и вмѣстѣ съ тѣмъ напоминаетъ что-то звѣрское. Лермонтовскій Печоринъ, какъ и самъ его творецъ, могутъ тоже многое сообщить по части садизма и пассивизма.

Таковы результаты развитія вторичныхъ половыхъ признаковъ и неравенства въ любви.

X *).

„Старый домъ“ г. Владиміра Немировича-Данченко. — Письма Бѣлинскаго къ невѣстѣ. — Русское женское взаимно-благотворительное общество. — Къ психологii труда.

Въ нашей литературѣ есть двое гг. Немировичей-Данченко: одинъ, Василій, — чрезвычайно плодовитый, блестящій, писанія котораго переполнены яркими красками, кричащими образами и сценами, гиперболическими выраженіями, невозможными происшествіями, и другой, Владиміръ, — далеко не столь цвѣтпой, но зато гораздо болѣе серьезный, вдумчивый и правдивый. Рѣчь у насъ пойдетъ объ одномъ изъ произведеній этого послѣдняго, — о вышедшемъ въ нынѣшнемъ году романъ «Старый домъ», имѣющемъ еще и второе заглавіе, «Мертвая ткань».

Это не блестящее произведеніе, мѣстами какъ будто не додѣланное, но въ него вложена серьезная мысль, и могу прибавить для любителей легкаго чтенія, — есть въ немъ и вышнія занимательность фабулы. Дѣйствіе происходитъ въ провинціальномъ городѣ .І., періодически оживляемомъ наѣздомъ больныхъ или полубольныхъ, полупраздныхъ (въ .І. есть минеральныя воды). Въ центрѣ романа стоятъ двѣ фигуры: мѣстная жительница, красивая, умная, смѣлая «барышня», Надежда Яковлевна Ставроковская, и пріѣзжій изъ Петербурга писатель-беллетристъ, Максимъ* Николаевичъ Горкинъ-Степнякъ. Какъ во всѣхъ романахъ водится, онъ полюбилъ ее, она полюбила его, но тутъ замѣшалась общая имъ обоимъ «мертвая ткань», и романъ обрывается двойнымъ самоубійствомъ. Въ романѣ есть нѣсколько второстепенныхъ дѣйствующихъ лицъ. Ихъ немного и, къ чести автора надо сказать, они выдвинуты ровно настолько, насколько это требуется художественнымъ чувствомъ мѣры и требованіями, такъ сказать, беллетристической перспективы: не заслоняютъ ядра романа, что такъ часто случается даже съ очень талантливыми беллетристами, а только отбѣня-

*) Декабрь 1895

ють его, сохраняя, однако, каждое свою вполне определенную индивидуальную физиономию. Насъ будутъ занимать только центральныя фигуры.

Надежда Яковлевна Ставроковская—настоящая барышня, то есть по барски воспитанная, избалованная и ни къ чему не приготовленная, кромѣ того, чтобы стать въ свое время барыней, то есть выйти замужъ и блистать своими достоинствами—они у нея несомѣнно есть—въ болѣе широкомъ кругу. Но она пропустила свое время: въ моментъ разказа она уже сильно приближается къ положенію безнадежной старой дѣвы. Она всегда была не прочь «попалить» съ мужчинами, пробуя надъ ними свою спеціально женскую власть, и ради этого становилась иногда въ очень рискованныя положенія. Но зная цѣну себѣ и будучи богатой дѣвушкой, она не торонила съ замужествомъ, а потомъ раззорился и кончилъ самоубійствомъ ея отецъ; женихи стали рѣдкостью, хотя «попалить» по прежнему находились охотники: но уже барышнѣ-то стало не до инаlostей. Какъ разъ въ этотъ трудный моментъ судьба столкнула ее съ Горкинымъ.

Въ первое время, хотя эти люди и заинтересовали другъ друга, но въ отношеніяхъ ихъ не было и намековъ на любовь. Дѣло началось съ того, что Надеждѣ Яковлевнѣ вздумалось разсказывать Горкину свои «романы». Ихъ у нея было не мало. Одного человека она любила и готова была выйти за него замужъ, но онъ, нацѣловавшись съ ней сколько хотѣлъ, предложенія не сдѣлать и уѣхалъ. Съ двумя другими она кокетничала собственно затѣмъ, чтобы отбить жениховъ у своей кузины, которой терять не могла, и достигла своей цѣли. Разказы Надежды Яковлевны были вполне откровенны, до цинизма. Такъ, напримѣръ, она говорила: «Мнѣ правилась въ немъ эта страстность. Онъ былъ простой офицеръ, пріѣхавшій съ больной сестрой. Какъ женихъ, ничего не стоилъ. Но кавалеръ былъ прекрасный. П сильный! Кромѣ того у него были очень красивыя губы». Разказы эти физически раздражающе подѣйствовали на Горкина, и онъ, бывшій почти равнодушнымъ до этого дня къ Надеждѣ Яковлевнѣ, почувствовалъ сначала «какую-то злобную ревность», а потомъ какую-то внутреннюю неразрывную связь съ этой странной барышней. Онъ понималъ ея игру: она разсказывала о своихъ любовныхъ похожденияхъ такъ, какъ будто она была не дѣвушка, а женщина, прошедшая огонь и воду и мѣдныя трубы; не могла она не понимать, что эти разказы волнуютъ въ ея слушатель такія чувства, отъ которыхъ простенькая сестра ея Анза сторѣла бы со стыда». Такъ разсуждалъ Горкинъ, и разсуждалъ вѣрно: барышня знала, какъ дѣйствуютъ ея разказы на собесѣдника. Понималъ также Горкинъ,

что въ ея съ нимъ заигрываніяхъ, сопровождаемыхъ поцѣлуями, есть нѣчто отличное отъ тѣхъ прежнихъ «шалостей», про которыя она рассказывала. Тамъ или была настоящая любовь (въ одномъ только, впрочемъ, случаѣ), или играла сила «садизма», можемъ мы теперь сказать, послѣ объясненія, даннаго въ прошлой бесѣдѣ, жажда специальной власти и мучительства надъ лицомъ другого пола. Объ одномъ случаѣ она рассказывала такъ: «Ну, и мучила же я его! Дразнила, издѣвалась, то дѣлала изъ него шута, то обращала въ лакея, то заставляла ухаживать за брошенной невѣстой, то снова переманивала къ себѣ». Эта мучительская сила коснулась и Горкина, но онъ понималъ, что это уже сила усталая, что барышня чувствуетъ убыль своихъ дѣвическихъ чаръ и прибѣгаетъ къ грубымъ средствамъ. Барышнѣ просто надо «пристронуться», барышнѣ замужъ пора. И тѣмъ не менѣе Горкинъ чувствуетъ себя безповоротно съ ней связаннымъ въ мысли и думаетъ только о томъ, какъ осуществить эту связь въ жизни. Ему подѣ сорокъ лѣтъ, всю жизнь онъ прожилъ литературной богемой съ тѣмъ особеннымъ складомъ отсутствія всякихъ формальностей, который свойственъ этой средѣ. Поэтому жениться кажется ему смѣшнымъ, дикимъ, невозможнымъ: а безъ женитьбы пойдетъ-ли съ нимъ она, настоящая барышня, воспитанная въ совѣтѣ иныхъ понятійхъ и окруженная совѣтѣмъ пной средой, даже теперь, послѣ раззоренія и самоубійства отца? Горкинъ сомнѣвается, но и надѣется. Происходитъ объясненіе, при которомъ Надежда Яковлевна рѣшительно объявляетъ, что никому и ни въ какомъ случаѣ не отдастъ своего сердца безъ брака. Мало того, она въ поученіе ему рассказываетъ еще одинъ изъ своихъ «романовъ». У нея, еще при жизни отца, былъ настоящій, формальный женихъ, нѣкто Карунтаевъ, человѣкъ гораздо старше ея, но очень богатый. Все уже было налажено, но Карунтаевъ заявилъ, что желаетъ самой скромной свадьбы у него въ деревнѣ, безъ всякихъ объявленій, приглашеній, вообще помпы. Во время этого разговора старикъ Ставроковский вспыхнулъ, а я—рассказываетъ барышня—«тоже подливала масла въ огонь, потому что Карунтаевъ казался мнѣ человѣкомъ тяжелаго характера», и свадьба разстроилась. Карунтаевъ уѣхалъ за границу. Послѣ этого разказа въ Горкинѣ не оставалось уже никакихъ сомнѣній, но невидимая петля затягивалась все туже, и онъ рѣшилъ преодолѣть свою цыганскую антипатію къ брачной процедурѣ. Барышня сказала, что она пойдетъ за него, но не раньше, чѣмъ онъ кончитъ свой романъ. Надо замѣтить, что о романѣ, надъ которымъ работалъ Горкинъ, онъ много и часто разговаривалъ съ Надеждой Яковлевной,—и объ содержаніи его, и о надеждахъ, съ нимъ связанныхъ.

Несвѣдущая въ литературныхъ дѣлахъ барышня поняла только, что романъ можетъ дать матеріальныя средства и положить основаніе благополучію. Поэтому она и ставила условіемъ своего согласія окончаніе романа. Но при этомъ у нея, неожиданно для нея самой, сорвалась жестокая фраза, значенія которой она въ первую минуту не понимала: «Мнѣ часто кажется, что вы уже неписались: ничего и никогда больше не напишите».

Къ Горкину мы еще вернемся ниже, а здѣсь скажемъ только, что барышня поняла въ его больное мѣсто, и сейчасъ же это почувствовала, но и онъ окончательно убѣдился, что необходимость замужества обратилась для нея въ болѣзнь, въ манию, и въ ихъ отношенія вторглось что-то новое, что сблизило ихъ гораздо больше, чѣмъ предыдущіе разговоры и поцѣлун: взаимная жалость. Съ этой минуты и Надеждѣ Яковлевиѣ стать дорогъ Горкинъ. Но это только влило новую мучительную струю въ ея жизнь, потому что ей всетаки нуженъ былъ мужъ, во что бы то ни стало, но не такой, какъ бездомный цыганъ Горкинъ съ неопредѣленнымъ и, по всѣмъ вѣроятностямъ, печальнымъ будущимъ. Являются новыя лица. Съ Ставроковскими знакомится городской врачъ, докторъ Сухачевскій, и всѣ прочать его въ женихи Надеждѣ Яковлевиѣ. Она и сама въ этомъ увѣрена и готова выйти за Сухачевского, хотя онъ ей вовсе не нравится, а Горкинъ, какъ запоза, сидитъ въ ея сердцѣ. Но вдругъ оказывается, что докторъ сватается не къ ней, а къ ея младшей сестрѣ, простенькой, скромной Лизѣ. Разочарованная, оскорбленная, разгнѣванная на самое себя Надежда Яковлевна бѣжитъ въ свое единственное пристанище. — къ Горкину. Она готова на все, но онъ уже совершенно ослабѣлъ, ничего свѣтлаго впереди не видитъ и говорить о самоубійствѣ. Въ тотъ же день совершенно неожиданно является изъ за границы бывшій женихъ Надежды Яковлевны, Карунтаевъ, и надежда опять оживаетъ въ сердцѣ барышни: она все еще хороша, «пикантна», и, кажется ей, производитъ сильное впечатлѣніе на Карунтаева. Идѣйственно производитъ, но совсѣмъ не то, на которое она рассчитываетъ. Жениться на ней Карунтаевъ вовсе не желаетъ и послѣ нѣсколькихъ изворотовъ грубо предлагаетъ ей идти къ нему на содержаніе. Она выгоняетъ его и затѣмъ происходитъ ея послѣднее свиданіе съ Горкинымъ, которое и оканчивается двойнымъ самоубійствомъ.

Этотъ конецъ можетъ показаться безнужно мелодраматическимъ. Но, во-первыхъ, въ жизни мы видимъ нѣмнѣ учащенные случаи двойного самоубійства, и значить это не капризная выдумка художника. Во-вторыхъ, кто прочтаетъ достаточно внимательно самый романъ, тотъ убѣдится, что мрачный финалъ вполнѣ под-

готовленъ предыдущими событіями и нравственными фізіономіями дѣйствующихъ лицъ. Въ моемъ пересказѣ можетъ казаться особенно натянутымъ и невѣроятнымъ то обстоятельство, что такая отъ природы умная и выдавшая виды дѣвушка, какъ Надежда Яковлевна, подъ рядъ два раза впадаетъ въ одну и ту же ошибку, видя жениховъ въ Сухачевскомъ и сейчасъ же послѣ него въ Карунтаевѣ. Но это можетъ быть лучшія, наиболѣе тонко отдѣланныя страницы романа, и я отсылаю читателя къ подлиннику.

У героя и героини есть какая-то общая имъ обоимъ «мертвая ткань». Не совсѣмъ, къ сожалѣнію, ясна эта «мертвая ткань», хотя слова эти и въ заголовкѣ романа стоятъ, и получаютъ, по-видимому, объясненіе устами героя. Горкинъ доказываетъ Надеждѣ Яковлевнѣ, что она не любитъ и не можетъ любить Сухачевского. «Я совершенно ясно представляю себѣ,—продолжаетъ онъ,—какъ вы увлекались тѣмъ, другимъ, третьимъ, мною. Между нами и вами есть много общаго. Какъ бы это объяснить вамъ? Точно ткань, изъ которой природа создавала насъ, пропитана однимъ составомъ. Мы сотканы изъ ощущеній чувственныхъ, въ широкомъ смыслѣ этого слова. Любить, наслаждаться красотами природы волноваться тѣмъ, что г. Сухачевскій называетъ проявленіями сердца, и презирать его проявленія разсудка, жалѣть, не думая о томъ, достоинъ-ли человѣкъ жалости, и ненавидѣть, хотя бы онъ заслуживалъ высокаго уваженія, отдаваться во власть нашимъ влеченіямъ, не задумываясь надъ приговоромъ строгой морали,—все это такъ на насъ похоже и такъ далеко отъ господина Сухачевского. Можетъ быть, эта ткань уже надорвана или, вѣрнѣе сказать, заражена,—мнѣ не хочется употреблять болѣе грубаго и непривлекательнаго выраженія, хотя оно у меня на языкѣ,—но мы естканы изъ нея. Господинъ Сухачевскій, наоборотъ, здоровъ и невредимъ. Если мы—изъ тончайшихъ нервовъ, способныхъ трепетать при ничтожнѣйшемъ прикосновеніи къ нимъ, если многіе изъ нихъ давнымъ-давно, отъ рожденія нашего, атрофированы, то у господина Сухачевского они всѣ цѣлы, всѣ на мѣстѣ, крѣпкіе, стальные, способные выдержать какую угодно душевную катастрофу. Вамъ завидно смотрѣть на него, какъ больному завидно видѣть молодой, здоровый румянецъ. Вамъ хочется выйти за него замужъ, потому что хочется украсть долю его здоровья и поддержать себя. Но вы его не любите и чувствуете, что не полюбите никогда».

Выслушавъ эту тираду, Надежда Яковлевна «густо покраснѣла и прошлась по комнатѣ, чтобы скрыть смущеніе отъ Максима Николаевича», а потомъ вдругъ разразилась негодованіемъ: «Какой-то трупъ... агонія со мной какая-то; если вы себя такъ хорошо знаете, такъ не навязывайте другимъ то, чего у нихъ нѣтъ».

Я не знаю, что ужъ такъ очень краснѣть, смущаться и сердиться Надеждѣ Яковлевиѣ. Горкинѣ угадалъ, собственно говоря, только одно: что она не любитъ Сухачевского, хотя и думаетъ выйти за него замужъ. Конечно, и это обстоятельство могло бы заставить покраснѣть барышню, но не Надежду Яковлевицу въ разговорѣ съ Горкинымъ: она съ нимъ дошла до такихъ откровенностей, что этимъ смущаться ей не пристало. А затѣмъ все остальное въ характеристикѣ Горкина или не ясно, или прямо не вѣрно. Барышня дѣйствительно не чувствуетъ себя «труномъ»: она, напротивъ, страстно хочетъ жить, только не можетъ себя представить жизнь иначе, какъ въ извѣстныхъ, определенныхъ условіяхъ. Барышня отнюдь не завидуетъ чему бы то ни было въ Сухачевскомъ: она считаетъ его во всѣхъ отношеніяхъ ниже себя, и хочется выйти за него отнюдь не по тому непонятному побужденію, что ей «хочется украсть долю его здоровья и поддержать себя», — она и за Карунтаева согласна выйти, и за Горкина, если бы онъ былъ матеріально обезпеченъ. Далѣе, не вѣрно, что барышня «отдается во власть своимъ влеченіямъ, не задумываясь надъ приговоромъ строгой морали». Не вѣрно или, по крайней мѣрѣ, недостаточно ясно и точно. Когда Надежда Яковлевна «шалитъ» съ своими кавалерами, она дѣйствительно не задумывается надъ «приговоромъ строгой морали», но изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, что она свободно отдается своимъ влеченіямъ: Горкину это лучше, чѣмъ кому-нибудь, знать; онъ на самомъ себѣ испытываетъ именно неспособность Надежды Яковлевны отдаваться во власть своихъ влеченій. Да и въ «шалостяхъ» своихъ она твердо помнитъ границы, предписываемыя не особенно, впрочемъ, строгой моралью.

Вообще, вся приведенная рѣчь Горкина, специально посвященная разъясненію «мертвой ткани», общей Горкину и Надеждѣ Яковлевиѣ, едва-ли что-нибудь разъясняетъ. Есть въ романѣ еще одно мѣсто, по которому можно попытаться добраться до смысла «мертвой ткани». Приѣхавъ въ городъ Л. и познакомившись съ семействомъ Ставроковскихъ, Горкинѣ задумалъ большой романъ, — тотъ самый, окончанія котораго такъ настоятельно и такъ тицетно требовала Надежда Яковлевна, въ которомъ долженъ былъ пройти рядъ лицъ трехъ поколѣній, послѣдовательно жившихъ въ «старомъ домѣ» Ставроковскихъ. Это былъ старинный барскій домъ, полный фамиліальныхъ преданій, и рассказы, какъ теперешнихъ обитателей его, такъ и вообще мѣстныхъ жителей, именно и толкнули Горкина на мысль о романѣ.

«Бесѣды съ Надеждой Яковлевной часто, по поводу задуманнаго романа, объ отцахъ и дѣдахъ, Горкинѣ пускался въ такія

откровенныя толкованія ихъ поступковъ, что даже подвиги ихъ принимали пошлый и грязный характеръ. Точно умышленно подбиралъ онъ событія, съ которыми легко было бы подкопаться подъ всякаго рода идеализацію. Рисуя ихъ жизнь, онъ ставилъ впереди другихъ явленій—невѣжество, деспотизмъ, тупое чванство, развратныя отношенія съ любовницами, безсудность и безправіе, грабежъ и т. п.». Такъ Горкинъ не то что преувеличивалъ, а сгущалъ краски стараго «барства», отзвуки котораго слышалъ и въ Надеждѣ Яковлевнѣ. Затѣмъ, когда онъ убѣдился, что романа ему не написать и что вообще литературная карьера его кончена, онъ объясняетъ Надеждѣ Яковлевнѣ это свое оскуднѣніе, между прочимъ, такъ: «Я относился (къ литературѣ) диллетантски, какъ *жили вы и ваши отцы и дѣды*: транжирилъ все, что у меня было, и не думалъ о томъ, что можно охладѣть къ дѣлу, отбить привычку къ нему: обрадовался, что судьба мнѣ улыбается и, какъ говорится, почилъ на лаврахъ». На этотъ разъ, говоря о жизни «отцовъ и дѣдовъ», Горкинъ, очевидно, разумѣетъ не звѣрства какія-нибудь, а избалованность и диллетантизмъ, поверхностное, не глубокое отношеніе ко всему, съ чѣмъ челоуѣка судьба сталкиваетъ. И можетъ быть именно здѣсь слѣдуетъ искать «мертвой ткани», общей герою и героинѣ романа г. Немировича-Данченко. Но во всякомъ случаѣ они подошли къ этому общему пункту съ совершенно противоположныхъ концовъ. Надежда Яковлевна —отпрыскъ настоящаго барскаго рода; до смерти отца она жила въ роскоши, притомъ же была любимицей этого расточительнаго барина-отца. О Горкинѣ же авторъ сообщаетъ, что онъ «уже съ 14-ти лѣтъ самостоятельно зарабатывалъ на себя», а самъ Горкинъ говоритъ, что у него «обѣдъ зависитъ отъ какого-то тамъ вдохновенія» и что онъ «изоощрялъ свои вкусы по трактирамъ и вертепамъ...» Но покончимъ сперва съ Надеждой Яковлевной.

Въ сердитую минуту она говоритъ своей бывшей воспитательницѣ: «Вы не виноваты въ томъ, что мы (съ сестрой) не вышли замужъ, но вы виноваты въ томъ, что мы, оставшись безъ мужей, не знаемъ, что съ собой дѣлать». И далѣе: «Какое образованіе вы дали намъ? Науки у васъ проходятся, какъ что-то лишнее, необходимое только для формы, какъ какое-то маленькое чистилище, черезъ которое надо пройти; или съ тѣмъ, чтобы наполнить чѣмъ-нибудь дѣтскій умъ отъ 10 до 17 лѣтъ, когда игрушки уже скучны, а о женихахъ думать рано». И т. д. и т. д. Въ концѣ концовъ раздраженная Надежда Яковлевна объявляетъ, что ея бывшая воспитательница готовила «тушищъ, которымъ безъ мужчинъ шагу ступить нельзя». Вотъ Лиза (сестра) «по крайней мѣрѣ научи-

лась хозяйничать, но къ чему ей и это, если она не выйдет замужъ?»

Воспитательница приходитъ въ ужасъ отъ этой, по ея мнѣнію, «неприличной» обвинительной рѣчи, но собственно возраженій никакихъ въ своемъ умѣ не находитъ, да съ ея точки зрѣнія ихъ и нельзя найти. Изъ этого не слѣдуетъ, однако, чтобы вообще нельзя было бы возразить Надеждѣ Яковлевѣ. Не можно было бы спросить: «ну, а если бы вы получили несравненно лучшее образованіе, если бы «науки» преподавались вамъ совершенно такъ же, какъ и намъ, мужчинамъ, или даже въ превосходной степени? могли бы вы обойтись безъ мужей?» Вопросъ этотъ особенно умѣстень теперь, когда женское образованіе, повидимому, становится на твердую почву, въ соответствии съ давнишнимъ, горячимъ и фактически доказаннымъ желаніемъ всего русскаго общества, за весьма малыми исключеніями. Дѣйствительно, изъ возникшихъ наше общество вопросовъ едва-ли найдется много такихъ, въ которыхъ оно обнаружило бы столько энергіи, настойчивости и готовности нести матеріальныя тягости, какъ въ этомъ дѣлѣ. Душой отдыхаешь на этихъ страницахъ исторіи нашего вообще столь аналитическаго, вялаго общества. Но есть изъ за чего и биться. Трудно оцѣнить всѣ благія послѣдствія широкаго развитія женскаго образованія. Уже одна убѣль щедринскихъ «куколокъ» и «ангелочковъ» чего стоитъ! Доселѣ половой подборъ руководился главнымъ образомъ чувствомъ красоты и грубо-матеріальными соображеніями: красота или приданое (капиталъ, недвижимое имущество, вліятельныя связи),—вотъ что преимущественно требовалось отъ женища и что предлагалось ими. Оба эти краугольные камни нынѣшняго полового подбора должны сильно пошатнуться съ распространѣнiемъ женскаго образованія. Мы постепенно приучимся, по крайней мѣрѣ рядомъ съ красотой, цѣнить въ женихахъ другія качества, которыя развернутся вмѣстѣ съ расширеніемъ ихъ умственныхъ горизонтовъ. Ослабнуть тѣ семейныя драмы, въ которыхъ мужъ, по прошествіи перваго періода сѣрной влюбленности, открываетъ въ своей подругѣ нѣкоторое пустое мѣсто, безнадежное въ смыслѣ поддержки или сочувствія ему на трудномъ житейскомъ пути. Благоутворно отзовется это и на дѣтяхъ, и не только въ дѣлѣ ихъ воспитанія: надо думать, что и рождаются они будутъ съ лучшими, чѣмъ теперь, умственными и нравственными задатками. Нельзя сказать, чтобы въ цивилизованныхъ обществахъ родъ человѣческой физически хорошѣлъ, но это зависитъ отъ многихъ и сложныхъ причинъ, а красивая женщина во всякомъ случаѣ имѣетъ нынѣ, вообще говоря, больше, чѣмъ некрасивая, шансовъ про- извести потомство и передать ему свои качества, а стало быть

глухая и безсердечная красавица больше, чѣмъ некрасивая умница съ великимъ сердцемъ. Это должно измѣниться. Правда, и теперь съ красотой соперничаетъ другой факторъ полового подбора—приданое, но оно тоже не гарантируетъ потомству высокихъ нравственныхъ качествъ, и значеніе его естественно тоже должно ослабѣть съ распространеніемъ женскаго образованія. Приданое сплосъ и рядомъ идетъ на поддержаніе того условнаго блеска, фокусъ котораго составляетъ все та же ангелоподобная куколка, и не отмѣмляеть вѣрности изрѣченія: *la caisse est donnée à l'homme, pour être vidée par la femme*; притомъ же, будущая просвѣщенная женщина окажется настолько цѣнной помощницей мужа, что унижительная для нея придача къ ея особѣ утратить свое нынѣшнее значеніе...

Все это прекрасно, но рѣчь у насъ идетъ при этомъ все о мужьяхъ и дѣтяхъ. Ну, а сами женщины какъ? Пусть просвѣщеніе принесетъ Надеждѣ Яковлевнѣ все то, что оно *могло бы* приносить нынѣ намъ, мужчинамъ, всю связанную съ нимъ сладость и горечь, все радости и все муки мысли, обнимающей въ своемъ полетѣ небо и землю, прошедшее, настоящее и будущее. Подчеркиваю слова *могло бы*,—предвидя замѣчаніе читателя или читательницы, что вѣдь ни талантливый Горкинъ, ни свѣтски образованный Карунтаевъ, ни спеціалистъ Сухачевскій все-таки съ неба звѣзды не хватаютъ. О, конечно! Но я предполагаю, что Надежда Яковлевна достигнетъ въ этомъ направленіи гораздо болѣе значительныхъ результатовъ, чѣмъ все окружающіе ее мужчины, и все-таки считаю позволительнымъ спросить ее: могли-ли бы вы обойтись безъ мужа? Дѣло, разумѣется, не лично въ Надеждѣ Яковлевнѣ. Въ пей, можетъ быть, откроется, скажемъ къ примѣру, литературный талантъ, и она блистательно напишетъ тотъ самый романъ, который такъ и не дался Горкину, а затѣмъ и вообще твердо станетъ на эту литературную почву. Но вѣдь и то сказать, что ей мѣшаетъ сдѣлать это теперь же, если у нея есть литературный талантъ? Были же у насъ и теперь есть болѣе или менѣе талантливыя писательницы, независимо отъ грядущаго торжества женскаго образованія, а съ другой стороны не мало у насъ даже высокоталантливыхъ писателей-мужчинъ, образованіе которыхъ оставляетъ желать многого,—не боги горники обжигаютъ. Но, повторяю, дѣло не лично въ Надеждѣ Яковлевнѣ, и если бы даже не одна она, а цѣлая сотня такихъ барышень стали самостоятельны, благодаря той или другой доступной имъ профессіи, то общее женское дѣло отъ этого не подвинулось бы ни на шагъ впередъ. Припоминая все эти профессіи, мы увидимъ, что все онѣ не требуютъ образованія большаго, чѣмъ то, которое и нынѣ получаютъ

женщины. Конечно, болѣ высокая степень образованія и въ этихъ профессіяхъ приведетъ къ своимъ естественнымъ благимъ послѣдствіямъ или, по крайней мѣрѣ, ничему не помѣшаетъ, но необходимости она не составляетъ; ибо и теперь есть безукоризненныя учительницы, телеграфистки, акушерки, конторщицы, женщины-счетоводы, наконецъ женщины-врачи, новое поколѣніе которыхъ получить именно то образованіе, которое необходимо для отвѣденной имъ практической дѣятельности. Повторяю, блага послѣдствія широкаго распространенія женскаго образованія неисчислимы, но, устроивъ Надежду Яковлевну, потомъ вторую, десятую, сотую Надежду Яковлевну, мы все же не рѣшимъ вопроса, что дѣлать женщинамъ, получившимъ образованіе въ новомъ, расширенномъ объемѣ. Скажутъ, можетъ быть, что тутъ нѣтъ никакого вопроса или что мы его только-что рѣшили, указавъ на тотъ свѣтъ и то тепло, которое разольетъ образованная женщина вокругъ себя въ семьѣ. Это превосходно, конечно, но вѣдь насъ занимаютъ жалобы Надежды Яковлевны: «мы, *оставшіеся безъ мужей*, не знаемъ, что съ собой дѣлать»; намъ «безъ мужчины шагу ступить нельзя». Очевидно, эти жалобы возможны въ устахъ Надежды Яковлевны и въ томъ случаѣ, если бы она получила превосходнѣйшее образованіе. Она и въ этомъ случаѣ могла бы оказаться въ числѣ тѣхъ многих и многихъ, которымъ не удалось пристроиться къ одной изъ доступныхъ нынѣ женщинамъ профессій. Значитъ, ей всетаки нуженъ будетъ мужъ, не только въ силу естественнаго тяготѣнія любви—объ этой сторонѣ дѣла мы теперь не говоримъ—и слѣдовательно не непремѣнно любимый человѣкъ, а мужъ, какъ опора. Словомъ, вся драма жизни Надежды Яковлевны и сотенъ подобныхъ барышень могла бы повториться съ буквальною точностью и тогда, если бы онѣ не имѣли новаго жаловаться на воспитательницъ за недостатокъ научнаго образованія. Бѣда Надежды Яковлевны не столько въ недостатокъ образованія или не только въ немъ, а во-первыхъ, въ обще-женской трудности самостоятельно устроиться и, во-вторыхъ, въ томъ, что она настоящая барышня, и по своимъ привычкамъ, и по своимъ понятіямъ, и по своей духовной зависимости отъ окружающей среды.

Въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» (№№ 101, 109, 163, 185) напечатаны любовныя письма Бѣлинскаго къ его женѣ, тогда еще только невѣстѣ. Кто любилъ и читалъ Бѣлинскаго раньше, тотъ, по прочтеніи этихъ писемъ, полюбитъ и почтитъ его еще больше, не потому, чтобы въ этихъ письмахъ обнаружился какія-нибудь новыя черты личности знаменитаго писателя, а напротивъ, именно потому, что и здѣсь, въ интимнѣйшей сторонѣ жизни, онъ все та же «наивная и страстная душа», идущая къ своей цѣли, упорствуя,

волнуясь и сѣбша». какимъ мы его знаемъ и по сочиненіямъ, и по перепискѣ съ друзьями и врагами. Письма писаны изъ Петербурга, тотчасъ по прїѣздѣ Бѣлинскаго туда изъ Москвы, гдѣ оставалась его невѣста, Марья Васильевна Орлова—дѣвушка уже не первой молодости (30 лѣтъ), которая, по словамъ составителя примѣчаній къ письмамъ, «выдаваясь среди сверстницъ по своимъ умственнымъ способностямъ, отличалась и замѣчательной красотой». Еще до знакомства съ Бѣлинскимъ она «читала и зачитывалась имъ, причѣмъ особенное впечатлѣніе произвела на нее появившаяся въ 1834 г. извѣстная статья Бѣлинскаго «Литературныя мечтанія». Очевидно, дѣвушка была не заурядная для своего времени. Первые письма Бѣлинскаго полны страстныхъ выраженій любви, тоски разлуки и жажды свиданья. Но вотъ понемножку вкрадывается въ нихъ особенная, горькая нота, достигающая наконецъ высоты настоящей бури. Дѣло идетъ о томъ, гдѣ быть свадьбѣ, въ Петербургѣ или въ Москвѣ? Женихъ настаиваетъ на Петербургѣ, невѣста—на Москвѣ. Главный мотивъ Бѣлинскаго тотъ, что онъ не можетъ оставить свое дѣло именно въ это время (октябрь 1843 г.): «Не могу прїѣхать по тому же самому, почему часовой не можетъ сойти съ своего поста, хотя бы отъ этого зависѣло счастье всей его жизни». П дальше изъ каждой строки сквозитъ все та же «наивная и страстная душа». Онъ не можетъ побороть въ себѣ отвращенія къ нѣкоторымъ, по его мнѣнію, необходимымъ въ московскомъ кругу родныхъ и знакомыхъ невѣсты подробностямъ свадебнаго обряда. Онъ съ ужасомъ говорить о «дядюшкахъ и тетюшкахъ, объ официальном обѣдѣ съ шампанскимъ и поздравленіями, съ идіотскими улыбками и можетъ быть, о infamie!—съ чиновническими шутками и любезностями. Въ этой поистинѣ плѣнительной картинѣ—прибавляетъ онъ—недостаеь только свахи, смотря, сговора, дѣвишника со свадебными пѣснями. Кажется, что—и при этой мысли ужасъ проникаетъ холодомъ до костей моихъ—въ посаженомъ отцѣ и посаженной матери недостатка не будетъ, и насъ съ вами встрѣтятъ, и мы будемъ кланяться въ ноги». Онъ съ завистью рассказываетъ, какъ женился Воткинъ: «взялъ невѣсту подъ руку, да и пошелъ съ ней по Невскому въ Казанскій соборъ въ сопровожденіи пяти прїятелей,—такъ и воротился, словно съ прогулки». Бѣлинскій умоляетъ Марью Васильевну прїѣхать въ Петербургъ именно въ качествѣ его невѣсты, и если ужъ она не хочетъ остановиться прямо у него, то онъ ей предлагаетъ поселиться до свадьбы у такихъ то и такихъ то своихъ семейныхъ знакомыхъ. Онъ пожалуй согласенъ и прїѣхать въ Москву и подвергнуться всей ненавистой ему процедурѣ, но это онъ можетъ сдѣлать только значительно позже, и свадьбу при-

дется отложить до апрѣля, можетъ быть мая, а первоначально она предполагалась въ ноябрѣ. «Счастье было такъ близко, такъ возможно», влюбленный Бѣлинскій рветъ и мечетъ, потому что Марья Васильевна настаиваетъ на Москвѣ. Ея письма неизвѣстны, но изъ отвѣтовъ Бѣлинскаго видно, что ее нисколько не пугаетъ то, къ чему онъ относится съ такимъ отвращеніемъ, а напротивъ страшитъ то, что ему кажется простымъ и естественнымъ: что скажутъ? какъ можно ѣхать въ Петербургъ къ жениху? «Неистовый Виссаріонъ» выходитъ изъ себя. Въ одномъ изъ писемъ читаемъ:

Вы пишете, каково бы намъ было, еслибъ въ Петербургѣ васъ встрѣтилъ кто изъ московскихъ и посмотрѣлъ бы на васъ такимъ взглядомъ, отъ котораго не поздоровится. Кто же это, Marie? Ужъ не Любови-ли, горничная вашей кухни? Или не тотъ-ли милый родственникъ вашъ, что такой мастеръ на лакейскія любезности и кучерскіе каламбуры? Но кто бы ни былъ, онъ—лакей, холопская подлая душа, если бы осмѣлился съ презрѣніемъ посмотреть на васъ за то только, что вы рѣшились пріѣхать къ своему жениху въ Петербургъ, вмѣсто того, чтобы дожидаться его къ себѣ въ Москву. Ну, Marie, какъ же слабо въ васъ сознаніе вашего достоинства, какъ же мало въ васъ уваженія къ самой себѣ, если взгляды лакеевъ, кучеронъ, свинопасовъ и чиновниковъ могутъ заставлять васъ потуплять ваши глаза и страдать. Вы-ли это, Marie, или тѣнь ваша, призракъ? Нѣтъ, эти строки необдуманно сорвались съ пера вашего, и вамъ вѣрно теперь стыдно ихъ.

Да, Marie, мы съ вами во многомъ расходимся. Вы за отутетвіемъ какихъ либо внутреннихъ убѣжденій, обожествили деревяннаго болвана общественнаго мнѣнія и преусердно ставите свѣчи своему идолу, чтобъ не разсердить его. Я съ дѣтства моего считалъ за пріятнѣйшую жертву для Бога истины и разума—плевать въ рожу общественному мнѣнію тамъ, гдѣ оно глупо или подло, или то и другое вмѣстѣ. Поступить наперекоръ ему, когда есть возможность достигнуть той же цѣли тихо и скромно, для меня божественное наслажденіе. Зачѣмъ же пишу я это вамъ? Затѣмъ, что въ ваши свѣтлыя минуты, когда вы будете самой собою, вы поймете это и скажете: еслибъ онъ былъ не таковъ, я бы, можетъ быть, больше любила его, но меньше уважала...

Послѣ такихъ писемъ Бѣлинскій, какъ оно и подобаетъ «наивной и страстной души» «неистоваго Виссаріона», приходитъ въ отчаяніе.

Мнѣ тяжело, невыносимо тяжело. Ко всѣмъ другимъ причинамъ моего страданія приевокупилаcя новая: это—вспоминаніе о грубомъ и жесткомъ тонѣ моихъ писемъ, который долженъ оскорбить, огорчить васъ, когда вамъ и безъ того тяжело. Меня ужасаетъ мысль, что, можетъ быть, звѣрскія письма мои сильно подѣйствуютъ на ваше здоровье. О, я звѣрь, родился звѣремъ—имъ и умру. Но мое звѣрство скоро сѣняется человѣческимъ расположеніемъ, и тогда я изъ одного мученія перехожу въ другое. Marie, другъ мой, о, простите меня, если я огорчилъ васъ, забудьте это, изорвите мои несчастныя письма; и помните только одно, вѣрьте только одному, что я люблю, глубоко и сильно люблю васъ.

«Послѣ долгихъ колебаній» М. В. Орлова рѣшилась наконецъ пріѣхать въ Петербургъ для вѣнчанія. Неистовый Виссаріонъ побѣдилъ. Но чего ему это стоило! Я еще буду имѣть случай въ другой разъ вернуться къ этому характерному эпизоду изъ жизни Бѣлинскаго, а теперь останавливаюсь на немъ лишь ради той стороны дѣла, которая имѣетъ непосредственное отношеніе къ предмету нашей бесѣды.

Марья Васильевна Орлова была для своего времени образованная дѣвушка, но это не помѣшало ей отравлять первыя минуты своего счастья изъ за мелочей, которыя такъ презиралъ Бѣлинскій. И винить-ли ее за это? Она ошибалась, конечно, предполагая, какъ это видно изъ отвѣтовъ Бѣлинскаго, что въ Петербургъ ее осудятъ, чуть не презирать будутъ за ея пріѣздъ къ жениху: въ той средѣ, гдѣ обращался Бѣлинскій, ничего подобнаго быть не могло. Но въ московскомъ кругу Марьи Васильевны очевидно были иные взгляды въ ходу, и ей нужно было дѣйствительно много храбрости, чтобы исполнить желаніе жениха. Бѣлинскій съ свойственною ему чуткостью понималъ это, и его бурное негодованіе смѣнялось иногда такими строками: «Бѣдный другъ мой, какъ вы страдаете. Сердце мое сжалось, когда я прочелъ ваше письмо. Правда, причины вашего страданія—фантомъ, призраки, бредъ больного воображенія; но развѣ отъ этого легче ваше страданіе? Напротивъ, тѣмъ болѣе страданіе возбуждаетъ во мнѣ ваше страданіе! Да, Маріе, есть пункты, въ которыхъ мы рѣшительно не понимаемъ другъ друга, за то, благодаря имъ, я понялъ, что такое Москва. Я давно уже не люблю ея, но теперь...» Многогочіе, обрывающее эту фразу письма, должно замѣнять тѣ ругательныя слова, которыя на этотъ разъ Бѣлинскій не рѣшается написать, щадя слабость своей невѣсты. Несомнѣнно, что и въ Петербургѣ были тогда, да и теперь еще вѣроятно найдутся круги, въ которыхъ пріѣздъ невѣсты къ жениху могъ бы вызвать нареканія, какъ нѣчто вполне неприличное. Но Бѣлинскій быстро и рѣзко обобщилъ свои непосредственныя впечатлѣнія и съ обычною страстностью сосредоточилъ на «Москвѣ» всю свою ненависть и все свое презрѣніе. «Москва» стала для него символомъ всяческой пошлости, всѣхъ дрянныхъ, ничтожныхъ и все-таки могущественныхъ мелочей, наполняющихъ жизнь однимъ и отравляющихъ ее другимъ отнюдь не въ одной Москвѣ.

Эта «Москва» въ кавычкахъ, Москва — символъ, владѣетъ и Надеждой Яковлевной въ романѣ г. Непировича-Данченко. И ясно, что «науки», за свое невѣжество въ которыхъ она такъ коритъ свою воспитательницу, сами по себѣ не освободили бы ее отъ «Москвы». Мало того. Если «науки» просвѣтятъ умъ и расширятъ сердце Надежды Яковлевны, то ея положеніе въ виду «Москвы»

(прошу прощенья у москвичей, но я продолжаю употреблять это слово по Вѣлинскому) станетъ еще острѣе, еще больнѣе. Образованной, настояще образованной женщины придется гораздо солонѣе въ тѣхъ захоластьяхъ, гдѣ царить «Москва», и въ частности гораздо труднѣе будетъ пайти человека по сердцу, чѣмъ блестящей, но пустопорожней Надеждѣ Яковлевнѣ г. Немировича - Данченко. И сторонники женскаго образованія (къ числу которыхъ относится и пишущій эти строки) должны помнить это. Мало дать женщинамъ образованіе — надо думать и о дальнѣйшей судьбѣ образованной женщины, жизненный путь которой во многихъ отношеніяхъ можетъ оказаться очень тернистымъ.

Русское общество — и, главнымъ образомъ, конечно, сами женщины — повидимому, и думаютъ, объ этомъ. Довольно давно уже существуетъ у насъ общество взаимопомощи женщинъ-врачей, недавно учреждены «Общество вспоможенія окончившихъ курсы наукъ на петербургскихъ высшихъ женскихъ курсахъ» и «Русское женское взаимно-благотворительное общество». «Не добро быти человѣку единому», сказано еще въ библии, а мы такъ одиноки, такъ разсыпаны и такъ безсильны въ своемъ одиночествѣ и разсыпанности, что нельзя не порадоваться всякой попыткѣ сложенія силъ съ благою цѣлью. Хорошо уже и то, что означенныя три общества существуютъ, но нельзя все-таки не замѣтить, что ихъ крайне недостаточно. Первые два имѣютъ совершенно специальный кругъ дѣятельности. Шире поставлены задачи третьяго — «Русскаго женскаго взаимно-благотворительнаго общества», но...

Предсѣдательницей этого общества была покойная Н. В. Стасова, а за смертью ея выбрана въ предсѣдательницы извѣстная въ Петербургѣ женщина - врачъ г-жа Шабанова. Сообщая объ этихъ выборахъ въ «Новомъ Времени», шкго Н. А., между прочимъ, пишетъ:

«Новоизбранная предсѣдательница А. И. Шабанова обратилась къ обществу съ короткою рѣчью, въ которой прекрасно и тепло высказала тѣ идеалы, къ которымъ оно должно стремиться, и ту программу, которой должно строго держаться. Суть ея рѣчи заключалась въ томъ, что члены этого общества должны сплотиться для достиженія намѣченной ими цѣли взаимопомощи: отдать на служеніе дѣлу ту энергію, находчивость и настойчивость, на которую такъ способны женщины, и въ то же время забыть мелочность личные счеты, раздражительное самолюбіе, словомъ, приписываемые именно женщинамъ недостатки, которые, конечно, могутъ погубить молодое дѣло. Рѣчь ея была покрыта искренними аплодисментами. Вчерашнее многочисленное собраніе показало, какъ настоятельна была потребность женщинъ именно въ такомъ «своемъ» обществѣ. Ап-

шенные элемента вѣчныхъ недоразумѣній, волненій, стѣсненій, любви и ненависти, т.-е. мужчинъ, женщины здѣсь становятся сами собою, т.-е. простыми, сердечными, веселыми, ласковыми существами. Художницы, пѣвицы, писательницы, учительницы, старія женщины и совсѣмъ молоденькія дѣвушки встрѣчаются здѣсь на равной ногѣ. Идетъ живой обмѣнъ мысли, оставлены всѣ мелкіе интересы и вызванъ одинъ высшій, т. е. желаніе общаго женскаго блага, которое лежитъ въ дѣятельности ума, сердца и въ достаточномъ заработкѣ, который позволитъ-бы спокойно смотрѣть на завтрашній день».

Г-жа Н. Л., повидимому, не вполне компетентна въ дѣлахъ новорожденнаго женскаго общества, такъ какъ въ «Новомъ Времени» было потомъ напечатано заявленіе, опровергающее въ нѣкоторыхъ частяхъ вышеприведенное сообщеніе, но для насъ это теперь безразлично. Немножко смѣшно, конечно, что женщины, «лишенные мужчинъ», оказываются такими милыми существами. Боюсь, что и въ отсутствіи мужчинъ онѣ остаются при нѣкоторыхъ, какъ индивидуальныхъ, такъ и общеженскихъ и общечеловѣческихъ слабостяхъ, и не представляютъ собою скопища воплощенныхъ ангеловъ. Но, разумѣется, нельзя ничего возразить противъ того, чтобы женщины исключительно сами вѣдали намѣченныя ими для себя дѣла или собирались для отдыха и занятій въ отсутствіи мужчинъ. Быть можетъ, это и въ самомъ дѣлѣ гарантируетъ отъ обнаруженія нѣкоторыхъ специальныхъ слабостей, хотя и даетъ просторъ нѣкоторымъ другимъ: а практика общественной дѣятельности нужна-же, наконецъ, женщинамъ. Надо только остерегаться иллюзій «общаго женскаго блага». Не бѣда, что уставомъ женскаго взаимно-благотворительнаго общества мужчины не допускаются въ члены, не бѣда и, можетъ быть, даже хорошо. Но было-бы очень печально, если-бы въ самой дѣятельности общества сказалось стремленіе изолировать «общее женское благо», поставить его въ сторонѣ отъ общечеловѣческихъ вопросовъ, задаваемыхъ текущею жизнью. Уже одна сколько-нибудь уснѣвшая борьба съ затхлостью и безобразіемъ «Москвы» немислима на почвѣ исключительнаго женскаго дѣла, потому что понятія «Москвы» о женскомъ достоинствѣ не особнякомъ въ ней стоятъ, а срастаются тысячами нитей со множествомъ другихъ вещей. А дѣло не въ одной «Москвѣ».

«Художницы, пѣвицы, писательницы, учительницы», — такъ перечисляетъ г-жа Н. Л. профессіи членовъ женскаго взаимно-благотворительнаго общества, прибавляя къ нимъ менѣе определенныхъ «старыхъ женщинъ и молодыхъ дѣвушекъ»; но подъ ними надо вѣроятно разумѣть опять-таки, если не художницъ, пѣвицъ и проч., то во всякомъ случаѣ женщинъ «интеллигентныхъ», — женъ

и дочерей людей свободныхъ профессій, чиновниковъ и т. п. Таковъ, по всей вѣроятности, фактически окажется составъ женскаго взаимно - благотворительнаго общества, хотя уставъ общества выражается на этотъ счетъ менѣе опредѣленными и болѣе широкими чертами. § 1 устава гласитъ: «Общество имѣетъ цѣлю оказаніе помощи нуждающимся лицамъ женскаго пола, проживающимъ въ Петербургѣ». § 3: «Членами общества могутъ быть совершеннолѣтнія лица женскаго пола, за исключеніемъ учащихся въ учебныхъ заведеніяхъ и ограниченныхъ въ правахъ по суду». Такимъ образомъ, въ принципѣ членомъ общества можетъ быть, подъ извѣстными условіями баллотировки и членскаго взноса, и пивей, и магазинная продавица, и кухарка, горничная, фабричная работница и проч. Но въ дѣйствительности этого, надо думать, не будетъ что, однако, еще не мѣшаетъ обществу такъ или иначе помогать и женщинамъ означенныхъ профессій. Мнѣ кажется, что слово «взаимно-благотворительное» — двусмысленно и не нужно въ названіи общества § 2 устава такъ излагаетъ виды помощи, оказываемой обществомъ: «а) предоставленіе лицамъ женскаго пола удобнаго помѣщенія для пребыванія въ свободное отъ занятій время; б) присканіе мѣсть и занятій; в) доставленіе пищи, медицинской помощи и т. п.; г) назначеніе, по мѣрѣ возможности, денежныхъ пособій и д) устройство, каждый разъ съ особаго разрѣшенія, кассъ взаимной помощи, читальни и т. д.». Спрашивается, предоставляются ли всѣ эти благодѣянія исключительно только членамъ общества, на основаніи дѣйствительно строгой «взаимной» помощи? Если да, то это просто кружокъ — можетъ быть, и очень многочисленный — женщинъ примѣрно одного и того же развитія и общественнаго положенія, но возможности гарантирующихъ другъ другу матеріальную и нравственную поддержку. Это прекрасно, конечно, и можетъ быть, — предполагая широкое развитіе средствъ общества, — не одна Надежда Яковлевна найдетъ въ немъ опору и избавленіе, благодаря ему, отъ необходимости не выходить, а бѣгомъ выбѣгать замужъ за перваго встрѣчнаго. Многое и другое хорошее можетъ быть достигнуто обществомъ. Если идиллическая картина, написанная краснорѣчивымъ перомъ г-жи П. Л., и не соответствуетъ дѣйствительности, то все-таки общеніе въ «удобномъ помѣщеніи для пребыванія въ въ свободное отъ занятій время» можетъ стать источникомъ много-различной пользы и удовольствія. Но «общее женское благо» тутъ не при чемъ. Мало того, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, дѣло взаимно-благотворительнаго женскаго общества можетъ встать въ противорѣчіе съ женскимъ же дѣломъ.

Цитируемый г. Кантеревымъ авторъ сочиненія «О равенствѣ

двухъ половъ». изданнаго въ 1673 г., Пулэнь Барръ раздѣлялъ людей на получающихъ образованіе и не получающихъ его. Женщины, говоритъ онъ, относятся ко второй категоріи, и это совершенно несправедливо, потому что женщины также способны къ наукѣ, какъ и мужчины.—и Пулэнь Барръ перечисляетъ отрасли науки своего времени, доказывая, что всѣ онѣ исполнѣ доступны женщинамъ. Но писатель XVII вѣка былъ послѣдовательнѣе или заботливѣе многихъ ревнителей женскаго образованіе въ XIX вѣкѣ. Требуя для женщинъ образованія, онъ думалъ и о примѣненіи его къ общественной дѣятельности. Нашли бы смѣшнымъ, говоритъ Барръ, если бы увидали «женщину на кафедрѣ, поучающую краснорѣчію или медицинѣ, въ качествѣ профессора; идущую по улицамъ въ сопровожденіи комиссаровъ и сержантовъ для исполненія полицейскихъ дѣлъ: произносящую рѣчи передъ судьями въ качествѣ адвоката, засѣдающую въ судѣ для совершенія правосудія; командующую арміей, дающую сраженіе; говорящую передъ властями республики или князьями въ качествѣ посланника. Я согласенъ, что все это было бы удивительно, но только вслѣдствіе своей новизны. Если бы государства, организуясь, учреждая различныя должности, входящія въ составъ ихъ, призвали на эти должности и женщинъ, то мы точно также привыкли бы видѣть на этихъ должностяхъ женщинъ, какъ женщины привыкли видѣть на нихъ мужчинъ». Барръ серьезно спрашиваетъ, почему бы женщинамъ не быть судьями, полководцами и даже епископами? (Каптеревъ, «Душевные свойства женщинъ», 19, 20).

Мечта Пулэна Барра, хотя ей и слишкомъ дѣвсти лѣтъ отъ роду, такъ далека отъ нашей дѣйствительности, что мы можемъ избавить себя отъ размышленій объ томъ, что произошло-бы при ея осуществленіи; какую форму и какую напряженность получила-бы борьба за существованіе, если-бы на всѣ существующія нынѣ въ обществѣ положенія оказался двойной комплектъ конкурентовъ. Теоретически задача, конечно, очень интересна, но въ ней слишкомъ много неизвѣстныхъ: неизвѣстно, какія изъ существующихъ общественныхъ положеній и профессій сохраняются, и какія, можетъ быть, вновь народятся къ моменту осуществленія мечты; неизвѣстно, каковы окажутся въ этотъ моментъ семейныя и половыя отношенія и т. д. Въ настоящее время поле женской дѣятельности, во всякомъ случаѣ, очень ограничено, и параграфъ устава о «присканіи мѣстъ и занятій», по всей вѣроятности, требуетъ особеннаго вниманія со стороны женскаго взаимно-благотворительнаго общества. Представимъ-же себѣ, что въ числѣ членовъ общества найдется человекъ 10, 20, нуждающихся въ работѣ, но не имѣющихъ никакихъ специальныхъ талантовъ и по-

знаній или не находящихъ имъ приложенія, а знающихъ общженское дѣло—шитье. Общество устраиваетъ для нихъ мастерскую, дѣла которой идутъ блистательно, такъ какъ всѣ члены взаимно-благотворительнаго общества становятся ея кліентами; мастерицы имѣють «удобное помѣщеніе для пребыванія въ свободное отъ занятій время», гдѣ бесѣдуютъ между собою и съ своими заказчицами, читають, поють, играютъ и т. д. Чего-же лучше. Прекрасное и вполне законное дѣло, но опять-таки не при чемъ тутъ «общее женское дѣло», ибо 10, 20 «взаимныхъ благотворительницъ». вонеднихъ въ составъ мастерской, обездолили ровно столько-же швей, нынѣ занимающихся этимъ дѣломъ и не имѣющихъ возможности быть членами взаимно-благотворительнаго женскаго общества. Съ точки зрѣнія взаимно-благотворительнаго кружка это можетъ быть и печально, но вполне законно, но съ точки зрѣнія общаго женскаго дѣла заставляетъ, по крайней мѣрѣ, призадуматься объ общихъ условіяхъ женскаго труда, а можетъ быть и не только женскаго. Призадуматься, во всякомъ случаѣ, есть надъ чѣмъ: 10—20 взаимныхъ благотворительницъ устроились прекрасно,—прекрасно не только въ смыслѣ комфорта, а и въ нѣкоторомъ гораздо высшемъ смыслѣ, и тѣмъ не менѣе онѣ выгнали на улицу 10—20 швей, а что значить выгнать въ Петербургѣ женщину на улицу, это всякій знаетъ. Таковъ колючій, жестокій фактъ, къ которому каждый можетъ относиться какъ ему угодно, но отрицать или не видѣть котораго нельзя.

Однако, взаимно-благотворительное женское общество можетъ идти и по совершенно другому пути. Дѣло въ томъ, что слово «взаимно» значитъ только въ названіи общества, а затѣмъ въ уставѣ нѣтъ ни одной черты, которая требовала-бы ограниченія дѣятельности общества «взаимностью». Самое это слово встрѣчается въ уставѣ всего одинъ разъ, а именно общество предполагаетъ заняться, между прочимъ, «устройствомъ, каждый разъ съ особаго разрѣшенія, *кассъ взаимной помощи*», кассъ,—множественное число,—а не кассы, и слѣдовательно, надо думать, не только для однихъ членовъ общества. Общество слишкомъ молодо, слишкомъ скудно авторитетомъ и, по всей вѣроятности, средствами, чтобы теперь-же задаваться какими-нибудь широкими планами съ характеромъ дѣйствительно обще-женскаго дѣла, каковое непременно окажется и общечеловѣческимъ,—а не специально женскимъ. Я думаю, что и для своихъ членовъ новорожденное общество только и можетъ сдѣлать въ настоящее время, что «предоставить удобное помѣщеніе для пребыванія въ свободное отъ занятій время», съ кое-какой библіотекой и т. п., да развѣ еще оказать при случаѣ безплатную медицинскую помощь или какъ-нибудь, при посред-

ствѣ личныхъ знакомствъ, найти кому нибудь занятіе. А затѣмъ энергія общества должна будетъ по необходимости направиться главнымъ образомъ въ сторону изысканія и увеличенія средствъ. Есть, однако, одно значительное дѣло, не предвидѣнное уставомъ, но и противорѣчащее ему, хотя и далеко выходящее за предѣлы кружковыхъ интересовъ, которое можетъ теперь же составить предметъ плодотворныхъ занятій общества и вмѣстѣ съ тѣмъ способствовать приумноженію его средствъ.

Я только что говорилъ о швейныхъ мастерскихъ. Знаемъ-ли мы, что въ нихъ дѣлается? Знаемъ, напримѣръ, что еще совсѣмъ недавно въ Петербургѣ было подрядъ три случая покушеній на самоубійство ученицъ модныхъ мастерскихъ. И когда подобный случай публикуется въ газетахъ, мы волнуемся, горячимся, скорбимъ, негодуемъ, а затѣмъ все это волненіе и негодованіе очень быстро расплывается въ общемъ шумномъ потокѣ жизни до слѣдующаго остраго случая, когда опять какая-нибудь 12—15-лѣтняя дѣвочка выбросится на мостовую изъ окна пятаго этажа или бросится въ Неву. Кому, какъ не женщинамъ,—не говорю, дѣломъ помочь этимъ несчастнымъ жертвамъ подлѣйшей жестокости,—это трудно, а хоть словомъ, горячимъ и убѣдительнымъ словомъ задержать наше вниманіе на судьбѣ этихъ маленькихъ женщинъ? Въ составѣ женскаго взаимно-благотворительнаго общества есть женщины-врачи, а между ними есть, вѣроятно, и хорошо знакомыя съ санитарными условіями жизни, напримѣръ, фабричныхъ работницъ. Есть учительницы, въ томъ числѣ городскихія, работающія въ начальныхъ школахъ для дѣвочекъ, въ воскресныхъ школахъ для взрослыхъ женщинъ, богатія разнообразными знаніями въ своей сферѣ, въ томъ числѣ и знаніемъ положенія самихъ учительницъ. И т. д., и т. д. Если-бы взаимно-благотворительное женское общество распредѣлило между своими членами изслѣдованіе различныхъ слоевъ петербургскаго женскаго населенія, то результаты этой работы и обмѣнъ мыслей по поводу ихъ могли-бы разнообразить досуги въ «удобномъ помѣщеніи для пребыванія въ свободное отъ занятій время». Но эта коллективная работа можетъ имѣть гораздо болѣе общее и широкое значеніе. Сомнѣваюсь, чтобы новорожденное общество имѣло теперь-же возможность завести свой періодическій печатный органъ, хотя ему, кажется, смѣло можно-бы было предсказать успѣхъ. Но издавать не періодическіе сборники своихъ «трудовъ» общество могло-бы по мѣрѣ накопленія матеріала, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ. И это было-бы однимъ изъ источниковъ дохода общества, а вмѣстѣ съ тѣмъ придало-бы ему необходимую для всякой общественной организаціи авторитетность, которой оно едва-ли добьется, если члены его бу-

дуть только «простыми, сердечными, веселыми, ласковыми существами» въ отсутствіи мужчинъ. Конечно, участницамъ предполагаемой коллективной работы придется нерѣдко выступать за предѣлы специально-женскихъ интересовъ. Мудрено, наиримѣръ, говорить о дѣвочкахъ, посѣщающихъ начальныя городскія школы, не касаясь положенія ихъ семей и, слѣдовательно, цѣлаго, довольно нестраго слоя петербургскаго населенія вообще: или о санитарныхъ условіяхъ жизни фабричныхъ работницъ, минуя общіе вопросы, скажемъ, о продолжительности рабочаго дня и т. п. Но если женщина сказала первую половину знаменитаго латинскаго изреченія: «есмы человѣкъ», то она должна и докончить фразу: «и ничто человѣческое мнѣ не чуждо».

Насъ ждетъ Максимъ Николаевичъ Горкинъ-Стенникъ.

Когда Надежда Яковлевна сказала ему, что онъ «исписался», она сама не понимала, какую горькую истину она высказываетъ, и тутъ же, «съ пугливой улыбкой» прибавила: «это нелѣпость, что я говорю?» А въ Горкинѣ страшное слово подняло внутреннюю борьбу. «Разумѣется, нелѣпость,—отвѣчалъ онъ, съ чего это могло придти вамъ въ голову? Я не такъ старъ, чтобъ ужъ исписаться! («Для этого вовсе не надо быть старымъ», подсказала совесть). Наконецъ, я вовсе не такъ много написалъ («Можно выписаться всему и въ одной вещи»). Да, впрочемъ, что объ этомъ говорить! Придетъ время,—увидите или услышите. Сами прочтете («Фраза, другъ мой»).

Нѣсколько позже Горкинъ уже не старается ни передъ собой, ни передъ Надеждой Яковлевной маскировать свое безсиліе. А между тѣмъ въ началѣ романа онъ появляется подающимъ надежды, хотя, впрочемъ, довольно двусмысленныя. Авторъ разсказываетъ о немъ: «Послѣ двухъ большихъ успѣховъ въ литературѣ онъ вдругъ пересталъ писать, все собираясь выступить съ крупнымъ произведеніемъ, которое бы окончательно укрѣпило его славу. Поэтому, хотя онъ и имѣлъ много предложеній, онъ отказывался отъ мелочной работы. Между тѣмъ годъ за годомъ проходили, его ужъ начали забывать. Наконецъ, надо было приступить къ серьезному труду». И въ другомъ мѣстѣ: «Максимъ Николаевичъ принадлежалъ къ числу тѣхъ многихъ въ русской литературѣ писателей, которые, послѣ нѣсколькихъ удачныхъ пробъ, вдругъ выпускаютъ въ свѣтъ одно, имѣющее блестящій успѣхъ произведеніе, и затѣмъ или навсегда исчезаютъ съ литературнаго горизонта, или разрѣшаются безталанными потугами изсякшей фантазіи». «Блестящаго» произведенія Горкинъ такъ и не написалъ. И не любов-

ная неудача тутъ виновата. Онъ категорически объявляетъ Надеждѣ Яковлевнѣ: «Не страсть къ вамъ уничтожила мое дарованіе. Скорѣе наоборотъ. Она развилась на почвѣ, ужъ лишенной дара. Вы здѣсь не причемъ. Надо любить,—вдругъ онъ возвысилъ голосъ,—поймите, надо любить, вотъ это!—Онъ хлопнулъ ладонью по кнѣ книгъ, лежавшей на столѣ».

Такимъ образомъ, исторія Горкина, какъ писателя лишь случайно осложнилась любовной неудачей и можетъ быть разсматриваема совѣмъ независимо отъ послѣдней. Авторъ утверждаетъ, что Горкинъ «одинъ изъ многихъ въ литературѣ писателей». Самъ Горкинъ говоритъ: «Не я первый, не я, вѣроятно и, послѣдній. У кого это безсиліе наступаетъ отъ легкомыслія, какъ у меня, у другого—отъ мрачнаго одиночества, какъ отчасти тоже у меня».

Что исторія Горкина, какъ писателя, дѣйствительно не единичная,—объ этомъ свидѣтельствуетъ напечатанная въ «Русскомъ Богатствѣ» за 1895 г. статья г. Горнфельда «Забытый писатель». И Кушевскій, заявивъ себя поистинѣ блестящимъ произведеніемъ, очень быстро обманулъ возбужденныя этимъ произведеніемъ надежды и погрязъ въ той тинѣ, гдѣ копошатся десятки и сотни либо такихъ же ослабѣвшихъ, либо просто бездарностей, либо ловко обдѣлывающихъ дѣла, не имѣющихъ къ литературѣ никакого отношенія. Много и другихъ найдется, которые хотя и не давали такихъ огромныхъ задатковъ, какъ «Николай Негоревъ», но все-таки нѣчто обѣщали и—«отцвѣли, не успѣвши расцвѣсть». Отчего это зависитъ? Сказать, какъ Горкинъ: отъ легкомыслія или отъ мрачнаго одиночества—значить сказать очень мало, но намекнуть на очень многое, и прежде всего на существованіе двухъ разрядовъ причинъ литературнаго обезсилія. Однѣ коренятся въ личныхъ свойствахъ писателя (легкомысліе), другія имѣютъ общій и именно общественный характеръ (мрачное одиночество), что не мѣшаетъ, конечно, часто сливаться этимъ источникамъ въ одно вдвойнѣ губительное теченіе.

Въ Горкинѣ, очевидно, преобладало легкомысліе. Онъ самъ говоритъ Надеждѣ Яковлевнѣ: «Надо воспитывать себя постоянно для своего дѣла. Читать, наблюдать, думать, учиться, вообще—работать. Такъ сказать, оттачивать свой талантъ. А я относился дилетантски и жилъ, какъ жили вы и ваши отцы и дѣды. Транжирилъ все, что у меня было, и не думалъ о томъ, что можно охладѣть къ дѣлу, отбить привычку къ нему. Обрадовался, что судьба мнѣ улыбается и, какъ говорится, почилъ на лаврахъ... Мы всегда думали, что талантъ, это—то вдохновеніе, котораго надо ждать. Придетъ,—пиши, не приходитъ,—гуляй по трактирамъ. Пришло

птицы настроеніе пѣть,—поеть. нѣтъ настроенія,—порхаетъ по саду и ловить бабочекъ. Не правда это... Коли нѣтъ привычки работать, любви къ работѣ,—никакое вдохновеніе не придетъ». Горкинъ созналъ и почувствовалъ все это слишкомъ поздно,—ему уже не было возврата. Но примѣръ его всетаки поучителенъ для многихъ писателей, изъ которыхъ нѣкоторые даже не «ждутъ», какъ Горкинъ, а, повинувшись вѣлѣніямъ нужды или особаго рода тщеславія, строчатъ и строчатъ, давно уже утративъ всякую любовь къ дѣлу и всякое желаніе дѣйствительно «работать». Трагическія положенія возникаютъ иногда изъ такого «почиванія на лаврахъ», и жалко, конечно, этихъ людей, но Богъ съ ними, они сами виноваты. Гораздо интереснѣе судьба тѣхъ, кого постигаетъ другая бѣда, которую Горкинъ, едва ли сознавая всю мѣткость своего выраженія, называетъ «мрачнымъ одиночествомъ». Это писательское одиночество совсѣмъ особенное и можетъ время отъ времени постигать писателя и «среди шумнаго бала», и въ кругу семейныхъ радостей, а наковенъ и совсѣмъ доканать.

Сравнивая свою жизнь съ жизнью «отцовъ и дѣдовъ» Надежды Яковлевны, Горкинъ правъ въ томъ отношеніи, что хотя онъ «уже съ 14-ти лѣтъ самостоятельно зарабатывалъ на себя», но въ моментъ разсказа, да и, повидимому, задолго до него, относится къ своему дѣлу по-барски. За это его и казнить справедливая на этотъ разъ судьба: ему не «диктуется совѣсть», неромъ его не «сердитый водить умъ», и работа становится для него невыносимо скучнымъ дѣломъ. Но та же скука, то же отвращеніе къ работѣ можетъ одолевать и настоящаго работника, причемъ корень бѣды лежитъ уже не въ личности писателя, а въ условіяхъ его работы.

По словамъ Дж. Ст. Милля, цѣль политической экономіи состоитъ въ томъ, чтобы «показать, каковъ будетъ образъ дѣйствій, къ которому пришли бы люди, живя въ обществѣ, если бы жажда богатства, за исключеніемъ той степени, въ которой она задерживается *отвращеніемъ къ труду* и желаніемъ насладиться дорогими удовольствіями въ настоящемъ, было абсолютнымъ двигателемъ человѣческихъ дѣйствій» (Система логики, II, 479). А въ «Основаніяхъ политической экономіи» Милль заявляетъ, что «понятіе труда необходимо должно обнимать не только самую дѣйствительность, но и всякое физическое или умственное *обремененіе или стѣсненіе*, вообще всѣ *непріятныя ощущенія*, соединенныя съ употребленіемъ мысли или мускуловъ на извѣстное занятіе». И таково общераспространенное понятіе о трудѣ. Лестеръ Уордъ выражается на этотъ счетъ такъ: «Не нужно забывать того обстоятельства, что трудъ не составляетъ естественнаго состоянія чловѣка. Мы не поймемъ настоящаго могущества этой соціальной силы, если не будемъ по-

мнить, что трудъ есть неестественное и тяжелое дѣло... Нуженъ сильный мотивъ, чтобы подавить всѣ дикія и случайныя желанія людей и приспособить ихъ къ монотонности работы». Рѣшая вопросъ столь категорически, Уордъ не идетъ, однако, такъ далеко, какъ Спенсеръ, отчасти Милль и многіе, многіе другіе, утверждающіе, что, не пройдя сквозь суровую школу рабства, люди никогда не научились бы трудиться. По мнѣнію Уорда, для этого достаточно «постоянной нужды». Существуетъ, однако, и другое, прямо противоположное мнѣніе, по которому трудъ не только ведетъ къ благополучію на землѣ или въ загробномъ мірѣ, но уже и самъ по себѣ составляетъ счастье или по крайней мѣрѣ наслажденіе для человѣка. Много лицемѣрія часто вкладывается въ этого рода проповѣди, но провести рѣзкую границу между трудомъ и наслажденіемъ не всегда легко. Наслажденіе есть самодовлѣющее напряженіе мускульной или нервной силы, трудъ есть такое же напряженіе, но сознательно направленное къ извѣстной цѣли. Почему же бы эта прибавка цѣлесообразности оказывалась непремѣнно той ложкой дегтя, которая портитъ всю бочку меда? Казалось бы, наоборотъ: эта прибавка должна усилить наслажденіе. И почему птица вьетъ свое гнѣздо, бобръ строитъ свое сложное жилище и запасается провіантомъ, не обнаруживая никакихъ признаковъ лѣности и отвращенія къ труду, а человѣкъ, этотъ вѣнецъ творенія, оказывается по самой природѣ своей лѣнтяемъ по преимуществу, котораго только кнутъ рабовладѣльца могъ заставить работать? А если кнутъ рабовладѣльца сыгралъ эту благодѣтельную роль въ исторіи человѣчества, то не сыгралъ-ли онъ и другой: не онъ-ли, освободивъ самого рабовладѣльца отъ труда, ввелъ и отвращеніе къ труду?

Во всякомъ случаѣ, въ жизни мы видимъ яркіе примѣры и отвращенія къ труду и наслажденія трудомъ. Поэтому, въ подтвержденіе того или другого мнѣнія можно привести такъ много фактовъ, что приходится признать правильнымъ и то, и другое, а слѣдовательно и то и другое—не охватывающимъ предметъ со всѣхъ сторонъ. Самъ Милль допускаетъ извѣстныя градаціи отвращенія къ труду, а слѣдовательно и привлекательности труда. «Мы скажемъ трюизмъ.—говоритъ онъ,—когда скажемъ, что трудъ, вынужденный страхомъ наказанія, неуспѣшенъ и непроизводителенъ» («Основанія». I, 298). А затѣмъ, въ главѣ о различіи заработной платы въ разныхъ занятіяхъ Милль, слѣдуя А. Смигу, отмѣчаетъ «привлекательность или непривлекательность самыхъ занятій». Изъ комментаріевъ и дополненій, которыя дѣлаетъ Милль къ положеніямъ А. Смига, для насъ любопытно слѣдующее: «Въ рискованныхъ занятіяхъ карьера переполняется иногда сопскаателями просто по любви къ сильнымъ впечатлѣніямъ, хотя бы и не пред-

ставлялось большихъ выигрышей. Это доказывается охотою простолюдиновъ поступать въ солдаты и въ матросы. Опасности, въ которыхъ жизнь виситъ на волоскѣ, не отталкиваютъ молодыхъ людей отъ жизни, полной приключеній, а напротивъ, какъ будто привлекаютъ къ такой карьерѣ. Въ низшихъ классахъ ибжная мать часто боится посылать сына въ школу приморскаго города, чтобы видѣ кораблей, разговоры съ матросами, рассказы о ихъ приключеніяхъ не увлекли его пуститься въ море. Отдаленная перспектива рисковъ, изъ которыхъ мы надѣемся видти мужествомъ и ловкостью, не бываетъ намъ непріятна».

Я не диссертацию о трудѣ пишу и тороплюсь къ своей дѣлн,— къ «мрачному одиночеству» писателя, какъ источнику скуки и отвращенія къ труду. Поэтому минуя разныя другія частности вродѣ приведенной привлекательности очень тяжелаго труда въ связи съ «любовью къ сильнымъ впечатлѣніямъ». Не буду говорить и о тѣхъ явленіяхъ болѣе общаго характера, которыя легли въ основаніе извѣстной теоріи «*travail attrayant*». Остановимся только на двухъ пунктахъ.

Древній грекъ питаль отвращеніе къ земледѣльческому и въ особенности ремесленному труду. Но это еще не значить, чтобы онъ питаль отвращеніе къ труду вообще или даже только къ физическому труду въ частности. Напротивъ, онъ охотно выбираль себѣ трудъ, требовавшій въ то время особенно сильнаго напряженія нравственнаго и физическаго, полный опасностей, лишеній и отвѣтственности,—трудъ воина. Онъ не избѣгалъ труда, а различаль трудъ презрѣнный, рабамъ приличествующій, и трудъ почетный, благородный, хотя бы и болѣе тяжкій. То же самое мы видимъ у многихъ нынѣшнихъ дикарей. Путешественники рассказываютъ объ нихъ, какъ о завзятыхъ лѣнтяяхъ, которые только объ охотѣ и войнѣ думаютъ, а всю тяжесть домашняго обихода вваливаютъ на женщинъ и рабовъ. Путешественники забываютъ при этомъ, что воинъ и охотникъ у дикарей еще отнюдь не значить лѣнтяй. Спенсеръ въ одномъ изъ своихъ сочиненій (французскій переводъ Кастелло и Сень-Леона: «*La morale des différents peuples*», глава «*Le travail*»), приведя ибсколько подобныхъ свидѣтельствъ путешественниковъ, не дѣлаетъ въ нихъ указанной поправки, не выражаетъ никакихъ сомнѣній въ непоколебимой лѣности дикарей, но самымъ ходомъ своего изслѣдованія наталкивается на вопросъ о причинахъ предпочтенія, отдаваемого ими труду воина и охотника. Въ согласіи съ своими общими воззрѣніями на исторію человечества, онъ объясняетъ дѣло такъ. Наиболѣе низко стоящіе дикари живутъ главнымъ образомъ непосредственными произведеніями природы, причемъ добываніе съѣдобныхъ корней и плодовъ, ловля какихъ

нибудь ракушек и т. п. производится съ чрезвычайною легкостью: но есть и другія произведенія природы, добываніе которыхъ сопряжено съ опасностями или требуетъ преодоленія значительныхъ препятствій: это или очень быстро обгающія или очень опасныя животныя. Кроме того, опасность грозитъ со стороны другихъ людей. Такимъ образомъ занятія первобытныхъ людей раздѣляются на двѣ категоріи: одни требуютъ силы, храбрости, ловкости, а другія мало нуждаются или даже совсѣмъ не нуждаются въ этихъ качествахъ. А такъ какъ въ большинствѣ случаевъ благосостояніе племени зависитъ отъ успѣховъ въ войнѣ и охотѣ, то въ почетъ оказываются упомянутыя качества, выгодныя для всего племени, и соотвѣтственные имъ занятія: трудъ же, не требующій этихъ качествъ, мало уважается и даже презирается. Съ теченіемъ времени, по мѣрѣ развитія промышленности, это отношеніе къ различнымъ категоріямъ труда измѣняется, но процессъ этотъ идетъ крайне медленно, а затѣмъ и послѣ измѣненія фактическаго положенія дѣла еще долго переживаютъ первобытныя воззрѣнія.

Достаточно ли этого объясненія Спенсера, это для насъ теперь безразлично. Намъ нуженъ только самый фактъ существованія такихъ особенно тяжелыхъ формъ труда, которыхъ люди, однако, не обгаютъ, а напротивъ ищутъ въ виду сопряженнаго съ ними почета или гордаго сознанія приносимой ими пользы. Формы эти могутъ мѣняться въ исторіи, но онѣ существуютъ, и дѣйствительно, всѣ мы знаемъ, какое даже мало вѣроятное количество труда можетъ не только безъ отвращенія, а со страстью подыять въ настоящее время иной врачъ, ученый, общественный дѣятель, да и по прежнему воинъ въ моментъ угрожающей отечеству опасности.

Спенсеръ приводитъ въ томъ же сочиненіи нѣсколько фактовъ, не совсѣмъ укладывающихся въ его излюбленную общую схему. Они любопытны. Шомбурагъ, описавъ карайбовъ самымъ трудолюбивымъ племенемъ Гвіаны, прибавляетъ, что тѣмъ не менѣе только самая крайняя нужда можетъ заставить карайба унизиться до работы на европейца за плату. Другой путешественникъ рассказываетъ объ нѣкоторыхъ горныхъ племенахъ въ Индіи, что никакая самая баснословная заработная плата не могла соблазнить ихъ принять участіе въ постройкѣ въ 1865 г. дороги, пролегающей въблизи. Сонталы, народъ очень трудолюбивый, никогда не соглашаются работать на другихъ за плату, и когда ихъ пытаются принудить, они обгаютъ въ глухія, непроходимыя заросли и тамъ съ величайшимъ трудомъ расчищаютъ себѣ участокъ и строятъ жилище. Повторяю, эти факты не укладываются въ схему Спенсера, и потому онъ называетъ ихъ аномаліями, стараясь объяснить переходнымъ состояніемъ. Но этого рода явленія давно извѣстны экономистамъ, и

напримѣръ, В. Рошеръ даётъ имъ слѣдующую общую формулу: «Рвеніе человѣка къ труду обуславливается главнымъ образомъ тѣмъ, въ какой мѣрѣ и съ какою увѣренностью онъ разсчитываетъ воспользоваться плодами своего труда». По своему обыкновенію, Рошеръ обставляетъ это положеніе массою фактическаго матеріала (*System der Volkswirtschaft*, I, Arbeit, § 39).

Таковы нѣкоторыя общія черты психологіи всякаго труда, въ томъ числѣ и литературнаго. И въ этой области одинъ и тотъ же человѣкъ можетъ и со страстью отдавать всё свои силы труду, и ослабѣвать, работать спустя рукава, наконецъ совсѣмъ отойти,— въ зависимости отъ условій, въ которыя поставленъ его трудъ.

XI *).

А. В. Эвальдъ и Г. З. Елисеевъ. — О г. Туганъ-Барановскомъ и экономическомъ факторѣ въ исторіи.

Въ декабрьской книжкѣ «Историческаго Вѣстника» закончены «Воспоминанія А. В. Эвальда». На заключительныхъ страницахъ авторъ рассказываетъ, что побудило его писать воспоминанія и чего онъ опасался, принимаясь за нихъ. Къ сожалѣнію, довольно трудно разобраться въ этихъ мотивахъ и опасеніяхъ. Собственно основной мотивъ, конечно, простъ и понятенъ: «Бываетъ такъ, — говоритъ г. Эвальдъ, — что жизнь самаго автора записокъ не представляетъ особаго любопытнаго матеріала, но онъ много видѣлъ на своемъ вѣку и можетъ обрисовать болѣе или менѣе талантливо эпоху, въ которой жилъ». И прекрасно. Но г. Эвальдъ рѣшительно утверждаетъ, что «написать правдивыя воспоминанія и напечатать ихъ при своей жизни — трудъ совершенно невозможный». Читатель понимаетъ, что чортъ не такъ страшенъ, какъ его малюютъ, и что если г. Эвальдъ все-таки написать воспоминанія и напечатать ихъ при своей жизни, такъ, должно быть, это трудъ не «совершенно невозможный». Однако, какіе все-таки резоны «совершенной невозможности»? Вотъ какіе: «Всѣ дѣятели, о которыхъ придется упомянуть, сами еще живы, а если не они, то какіе-нибудь ближайшіе ихъ родственники, которые, прочтя правдивую оцѣнку свою или своего близкаго, поднимутъ шумъ и притянутъ автора къ отвѣтственности. Писать же, скрывая правду, не имѣетъ никакого смысла». Последнее, разумѣется, совершенно справедливо, но нѣсколько непонятно — почему г. Эвальдъ такъ боится отвѣтственности за «правдивую оцѣнку». Всѣ мы, писатели, постоянно тѣмъ и занимаемся, что по мѣрѣ силъ и насколько позволяютъ обстоятельства, даемъ оцѣнку событіямъ, лицамъ, идеямъ, художественныхъ произведеній.

*) Январь 1896.

Не всегда эта оцѣнка бываетъ правдивая, но все-таки и въ такихъ случаяхъ всякій желаетъ, чтобы ее считали таковою, всякій либо дѣйствительно говоритъ правду, либо притворяется правдивымъ. Однимъ изъ этихъ путей шелъ и г. Эвальдъ въ своей литературной дѣятельности. Спрашивается, почему же именно теперь, по отношенію къ своимъ воспоминаніямъ, онъ вдругъ забоялся, что «поднимутъ шумъ и притянутъ автора къ отвѣтственности»?

Не умѣя разгадать эту загадку, я беру фактъ, какъ онъ есть: г. Эвальдъ не хочетъ отвѣтственности, почему бы то ни было боялся ея. Но въ такомъ случаѣ онъ все-таки могъ бы написать свои мемуары, только не печатать ихъ при своей жизни, а завѣщать потомству. Но и это не улыбается г. Эвальду, и именно вотъ почему: «Печатавъ при своей жизни, слѣдовательно готовясь къ отвѣтственности за каждое слово, авторъ поостережется говорить неправду, преувеличивать или преуменьшать что-нибудь, выставлять себя въ лучшемъ видѣ, а другихъ въ худшемъ и т. д. Воспоминанія же загробныя, то есть составляемыя для напечатанія послѣ смерти автора, теряютъ девять десятыхъ своей цѣнности, именно потому, что авторъ уже ускользнулъ отъ отвѣтственности и можетъ сочинять, что ему угодно».

Какъ же быть? Казалось бы, единственный выходъ изъ положенія, въ которое г. Эвальдъ поставленъ своими размышленіями объ отвѣтственности, состоитъ въ томъ, чтобы совсѣмъ не писать воспоминаній или по крайней мѣрѣ писать ихъ лишь для собственнаго времяпровожденія, а не печатать ни при жизни, ни послѣ смерти. Но у г. Эвальда вышло нѣчто иное. Приведа еще нѣсколько соображеній о томъ, какія бываютъ воспоминанія (мы сейчасъ этими соображеніями займемся), г. Эвальдъ кончаетъ такъ: «Вотъ почему я рѣшился кое-что, очень малое и очень отрывочное, написать теперь и напечатать непременно при своей жизни, подѣ страхомъ отвѣтственности за все, что я сказалъ. Пусть это будетъ не много, но за то вѣрно».

Такимъ образомъ, г. Эвальдъ боится отвѣтственности за правдивую оцѣнку, до такой степени боится, что считаетъ эту правдивую оцѣнку даже «совершенно невозможнымъ» дѣломъ, но «очень малое и очень отрывочное» — ничего, не страшно... Это напоминаетъ анекдотъ о маленькой дѣвочкѣ, которая долго колебалась — слѣдуетъ ли въ извѣстномъ мѣстѣ диктанта поставить запятую, и наконецъ рѣшила: поставить, но маленькую. Дѣвочка имѣла всѣ основанія колебаться: она знала свою слабость въ грамматикѣ; г. Эвальдъ тоже имѣетъ всѣ основанія колебаться: онъ знаетъ свою слабость въ правдивости. Онъ считаетъ впрочемъ эту слабость общечеловѣческою. Онъ говоритъ: «Я много читалъ загробныхъ записокъ и

всегда находить въ нихъ одинъ общій всѣмъ имъ недостатокъ: авторъ всегда выходитъ правъ, онъ всегда умнѣ другихъ, честнѣ другихъ, и постоянно между строкъ его просвѣчиваетъ, что еслибы его послушали, то было бы не то, а нѣчто гораздо лучшее. Говорю это не въ упрекъ другимъ, а по личному опыту. Я самъ иногда начиналъ писать такія записки и когда прочитывалъ ихъ черезъ нѣсколько времени, то всегда находилъ неправду не въ самыхъ фактахъ, а въ освѣщеніи этихъ фактовъ, и потому рвалъ и сжигалъ ихъ какъ негодныя. Даже въ тѣхъ случаяхъ, когда я говорилъ о себѣ, повидимому, безпощадную и жестокую правду, и тогда я выставлялся какимъ-то героемъ, хотя бы въ томъ отношеніи, что сознавался въ своихъ недостаткахъ и ошибкахъ. А это противно».

Повидимому, коли противно,—такъ не дѣлай, не «выставляйся какимъ-то героемъ». Но, когда г. Эвальдъ пытался ставить большую запятую, онъ никакъ не могъ отдѣлаться отъ этой слабости. Почему бы она могла оставить его теперь, когда онъ остановился на маленькой запятой, непонятно, но, конечно, надо радоваться, если могла оставить, потому что не хорошая это слабость. Не въ томъ только дѣло, что человѣкъ «выставляется какимъ-то героемъ». Пусть бы онъ этимъ занимался подобно Нарцису, гдѣ-нибудь въ красивомъ уединеніи, любясь своимъ отраженіемъ въ ручѣ. Отъ этого никому ни тепло, ни холодно. Но обыкновенно не такъ бываетъ, и собственное величіе автора воспоминаній строится на чужой счетъ, а удобіе всего, конечно, воздвигнуть себѣ пьедесталь изъ труповъ покойниковъ. Кстати у насъ и подходящая поговорка есть: мертвымъ тѣломъ хоть заборъ подпирай. Что сказалось въ этой мрачной поговоркѣ? настоящая вѣра въ правотѣрность совершенно «свободнаго» обращенія съ покойниками, съ ихъ именемъ, достоинствомъ, честью, или, напротивъ, скорбное негодованіе на такого рода факты? Негодовать во всякомъ случаѣ есть на что. Есть нѣчто глубоко возмутительное въ той безцеремонности, съ которою люди иногда,—повинуясь-ли чувству долго сдерживаемой злобы или вотъ именно изъ желанія устроить себѣ какой-нибудь пьедестальчикъ на чужой счетъ,—извращаютъ личность и дѣятельность покойника. Правда, его собственные счета съ нашей грѣшной землей покончены, и злословіе такъ же его не тревожитъ, какъ не радуется дань справедливости; но если живы знавшіе и чтившіе его, то каждое незаслуженное оскорбленіе его памяти естественно вызываетъ въ нихъ негодованіе. Однако они далеко не всегда могутъ фактически опровергнуть ложное показаніе или, какъ выражается г. Эвальдъ, «поднять шумъ и притянуть къ отвѣтственности». Бываетъ и такъ, что у знавшихъ и чтившихъ покойника руки коротки; они, напримѣръ, не были свидѣтелями такого-то именно происшествія или разговора,

или не имѣють въ своемъ распоряженіи оправдательныхъ документовъ, и т. п. Они принуждены поэтому молча присутствовать при томъ, какъ надъ покойникомъ совершается даже не насиліе, а нѣчто гораздо болѣе возмутительное, потому что насиліе даже надъ безпомощнымъ ребенкомъ встрѣчаетъ съ его стороны протестъ, хоть въ видѣ крика или инстинктивно защитительныхъ жестовъ, а тутъ нѣтъ и этого подобія препятствій. Къ счастью, возможны иногда достаточно убѣдительныя косвенныя улики... Да, хорошо, если г. Эвальдъ отдѣлался отъ своей слабости.

Въ воспоминаніяхъ г. Эвальда меня особенно заинтересовалъ одинъ эпизодъ, касающійся покойнаго Г. З. Елисеева, котораго я глубоко уважалъ и горячо любилъ, потому что хорошо зналъ. Правда, я познакомился съ нимъ нѣсколько позже того времени, къ которому относится разсказъ г. Эвальда, но и тогда уже, въ моментъ этого разсказа, Елисееву было за сорокъ лѣтъ, онъ былъ человѣкъ вполне сложившійся, чему соотвѣствовало и видное положеніе, занимаемое имъ въ литературѣ; стало быть тотъ Елисеевъ, котораго я зналъ, едва-ли отличался отъ того Елисеева, который имѣлъ нижеприведенное объясненіе съ г. Эвальдомъ.

Дѣло было въ 1862 г. Краевскій и Очкинъ, издававшіе «С.-Петербургскія Вѣдомости», передали ихъ Коршу, Краевскій основалъ «Голосъ», Очкинъ остался не у дѣлъ. Г. Эвальду «стало жаль почтеннаго старика» (Очкина), и онъ «обѣщалъ ему придумать какое нибудь дѣло». И дѣйствительно придумалъ: «изданіе небольшой и недорогой литературно-политической газеты», въ которой, конечно, Очкинъ предложилъ и ему участвовать, въ качествѣ компаньона, и онъ, конечно, не отвергъ этого предложенія. Такимъ образомъ г. Эвальдъ придумалъ дѣло не только для жалости достойнаго почтеннаго старика, а и для самого себя. Очкинъ уѣхалъ въ Парижъ, а г. Эвальдъ занялся приготовленіями. Но когда Очкинъ вернулся въ сентябрѣ въ Петербургъ, то г. Эвальдъ услышалъ отъ него такую неожиданную рѣчь: «Вы поймете хорошо, что, начиная новую газету, надо чѣмъ-нибудь привлечь къ ней публику. Тенерь въ большой модѣ такіе писатели, какъ Елисеевъ, Антоновичъ, Чернышевскій и другіе. Наша публика, въ особенности молодежь, зачитывается ими. Безъ нихъ мы будемъ только ланти илести, а съ ними, наоборотъ, можно разчитывать на блестящій успѣхъ». Г. Эвальдъ изумился и испугался, но, на увѣщаніе Очкина попробовать переговорить съ новыми сотрудниками, согласился, безъ всякой, однако, надежды на успѣхъ. Вотъ какъ онъ объ этомъ разсказываетъ:

«Чтобы успокоить его (Очкина), я согласился, и дня черезъ два, по моему приглашенію, сдѣланному черезъ Кожанчикова, Ели-

сеевъ прѣхать ко мнѣ. *По первому взгляду* на него, я убѣдился, что никакое соглашеніе между нами не будетъ возможно. да вѣроятно къ тому же убѣжденію припелъ и Елисеевъ. Не желая влиять и бесполезно тянуть разговоръ, я поставилъ вопросъ прямо ребромъ».

Здѣсь я позволю себѣ перебить на минуту рассказъ г. Эвальда для одного маленькаго замѣчанія. Г. Эвальдъ «по первому взгляду» убѣдился, что имъ съ Елисеевымъ не сойтись. Это ему дѣлаетъ честь, какъ фізіономисту. Но, хотя фізіономія у Елисеева была дѣйствительно очень выразительная, сколько-нибудь основательному человѣку странно руководствоваться такого рода первыми впечатлѣніями. Притомъ же, г. Эвальдъ могъ бы еще до «перваго взгляда». на основаніи писаній Елисеева, рѣшить—возможна-ли для нихъ совмѣстная работа. Да вѣдь онъ ужъ и рѣшилъ это: онъ только «чтобы уснокоить» Очкина согласился бесѣдовать съ Елисеевымъ, а въ душѣ-то знать, что изъ этого ничего не выйдетъ... Продолжаю выпускъ:

— Вы знаете, конечно, отъ Кожанчикова о причинѣ нашего свиданія, сказать я.—Знаю и удивляюсь этому, отвѣтилъ Елисеевъ.—То есть чему именно?—Тому, что вы хотите сдѣлать попытку сойтись со мной.—Я такого желанія вовсе не имѣю, г. Елисеевъ, вы ошибаетесь. Я сегодня говорю съ вами только по просьбѣ Очкина, который желаетъ, чтобы вы участвовали въ редакціи его газеты.—Но Кожанчиковъ мнѣ говорилъ, что вы состоите компаньономъ Очкина?—Да, пока. Но я думаю вы поймете, что если желаніе Очкина состоится, то только при условіи, что я оставлю его.—А! это другое дѣло...—Иначе и быть не можетъ... *)—Легкая насмѣшливая улыбка пробѣжала по лицу Елисеева.—А вы сами, сказалъ онъ, считаете невозможнымъ сойтись со мной? — Совершенно, какъ двумъ конпамъ магнитной стрѣлки. Вы исповѣдуете разрушеніе, а я созиданіе.—Одно безъ другого немислимо, замѣтилъ Елисеевъ, нахмуривъ брови. Нашъ храмъ обветшалъ: надо построить новый; а какъ же это сдѣлать, не разрушая стараго. Мы съ вами новаго не успѣемъ создать, это будетъ дѣломъ грядущихъ поколѣній; довольно будетъ на нашъ вѣкъ, если мы уничтожимъ ветхія развалины и подготовимъ почву для новаго зданія.—Объ этихъ вопросахъ можно спорить безконечно, возразилъ я, и мы все-таки ни къ чему не придемъ. Скажу вамъ коротко: въ Европѣ есть народъ, который вѣчно создаетъ новое, никогда не разрушая ничего стараго. Это, какъ вамъ извѣстно, англичане. Изъ нихъ примѣра я вывожу, что такимъ путемъ можно идти впередъ, безъ тѣхъ скачковъ то впередъ, то назадъ, которые вѣчно совершаются у насъ, въ Россіи, не приводя ровно ни къ чему.—Катковщина, презрительно замѣтилъ Елисеевъ.—Называйте, какъ хотите. Я привелъ этотъ примѣръ только къ тому, чтобы показать, какъ мало общаго между мною и вами и какъ невозможно какое-либо соглашеніе между нами.

И т. д. Дѣло кончилось тѣмъ, что газета Очкина стала выходить подъ редакціей Елисеева. безъ всякаго участія въ ней г. Эвальда.

*) Пропускаю, для краткости, нѣсколько строкъ объ Очкинѣ.

Это были «Очерки», просуществовавшіе очень не долго (однако все-таки не два мѣсяца, какъ утверждаетъ г. Эвальдъ).

Мнѣ кажется, что весь этотъ разсказъ г. Эвальда принадлежить къ числу тѣхъ, которые онъ, по его собственнымъ словамъ, принимался не разъ писать, но «всегда находилъ въ нихъ неправду не въ самыхъ фактахъ, а въ освѣщеніи этихъ фактовъ, и потому рвалъ и сжигалъ ихъ, какъ негодные». Только вотъ на этотъ разъ онъ забылъ или не имѣлъ времени разорвать и сжечь. Я не смѣю, разумѣется, сомнѣваться въ фактахъ, сообщаемыхъ г. Эвальдомъ, но, съ его любезнаго разрѣшенія, очень сомнѣваюсь въ ихъ освѣщеніи. Несомнѣнно, что г. Эвальдъ съ Очкинымъ затѣяли «очерки», что Очкинъ неожиданно для г. Эвальда предложилъ Елисеева въ редакторы, что, наконецъ, у Елисеева съ г. Эвальдомъ былъ по этому поводу разговоръ, изъ котораго выяснилась невозможность ихъ совмѣстной работы. Все это факты, но затѣмъ идетъ освѣщеніе фактовъ. Нѣкоторое сомнѣніе внушаетъ уже самая сбивчивость показаній г. Эвальда относительно времени, когда именно выяснилась для него невозможность совмѣстной работы съ Елисеевымъ: какъ будто «по первому взгляду», а какъ будто и еще раньше. Я бы не удивился, если бы въ дѣйствительности это оказалось гораздо позже, а именно въ конечномъ результатѣ бесѣды, причемъ, разумѣется, и самая эта бесѣда должна была имѣть совсѣмъ другой характеръ. Судя по разсказу г. Эвальда, онъ позвалъ къ себѣ Елисеева и объявилъ ему, что они вмѣстѣ работать не могутъ, причемъ обращаясь съ нимъ свысока, поучая его, и рѣзко, даже не утомивъ называть по имени и отчеству, какъ у насъ принято, а просто «г. Елисеевъ». Сама цѣль свиданія что-то ужъ очень странна. Собственно вопросъ о согласіи или несогласіи Елисеева участвовать въ газетѣ могъ бы ему задать самъ Очкинъ или, если ужъ нуженъ былъ посредникъ, то Кожанчиковъ. Очевидно, г. Эвальдъ имѣлъ сказать нѣчто гораздо болѣе значительное, чѣмъ простой вопросъ о согласіи Елисеева работать въ «Очеркахъ», и болѣе дѣловое, чѣмъ элементарныя разсужденія о характерѣ англійскаго прогресса, да иначе Елисеевъ, предупрежденный Кожанчиковымъ, и не пошелъ бы на зовъ г. Эвальда. Но и помимо этого, весь тонъ разговора мало вѣроятенъ даже для людей, не знавшихъ Елисеева. Чтобы достойно оцѣнить эту мало-вѣроятность, достаточно сопоставить тогдашнее положеніе въ литературѣ Елисеева и г. Эвальда. Елисееву, какъ уже сказано, было въ это время за сорокъ лѣтъ. Онъ занималъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ въ литературѣ, въ качествѣ постоянного сотрудника и члена редакціи «Современника», былъ «въ большой модѣ», какъ выразился объ немъ, по словамъ г. Эвальда, Очкинъ. Въ разныхъ литературныхъ кругахъ Елисеевъ являлся, по выраженію

Шелгунова, «мужемъ совѣта», всѣмъ хорошо извѣстнымъ, всѣмъ уважаемымъ Г-нъ же Эвальдъ никогда во всю свою жизнь не занималъ хотя бы отдаленно подобнаго положенія въ литературѣ, а въ то время, къ которому относится вышеприведенный рассказъ, былъ просто начинающій писатель. Онъ не сообщаетъ, когда именно было напечатано его первое произведеніе; во всякомъ случаѣ это была какая-то бездѣлка, написанная ради прекрасныхъ глазъ барышни, за которую авторъ «немножко ухаживалъ», и самъ онъ «не придавалъ этому случаю большого значенія и далѣе не продолжалъ писать нѣсколько лѣтъ». Затѣмъ онъ «вступилъ на печальный и тернистый путь русскаго журналиста», въ 1860 или 1861 г. въ качествѣ заграничнаго корреспондента «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», а въ 1862 г. началъ писать въ «Отечественныхъ Запискахъ» (значеніе которыхъ тогда уже сильно упало) фельетоны подъ заглавіемъ «Все и ничего». И въ томъ же 1862 г. этотъ литературный младенецъ такъ разговаривалъ съ Елисеевымъ...

Да простить мнѣ читатель, что я его занимаю столь подробнымъ изслѣдованіемъ давно забытаго и совершенно ничтожнаго литературнаго эпизода. Но, оставляя даже въ сторонѣ мое личное глубокое почтеніе къ памяти покойнаго Елисеева, я думаю, что именно его память особенно нуждается въ огражденіи отъ наскоковъ охочихъ людей, въ воспоминаніяхъ которыхъ, по словамъ г. Эвальда, авторъ «всегда выходитъ правъ, всегда умнѣе и честнѣе другихъ». Я не хочу этимъ сказать, что въ данномъ случаѣ г. Эвальдъ выходитъ умнѣе или честнѣе Елисеева. Не могу повѣрить, чтобы г. Эвальдъ съ точностью воспроизвелъ бесѣду литературнаго младенца съ «мужемъ совѣта», но собственно ума въ приведенномъ рассказѣ на сторонѣ Елисеева больше все-таки, чѣмъ на сторонѣ рассказчика. «Вы исповѣдуете разрушеніе, а я созиданіе»... англичане «вѣчно создаютъ новое, никогда не разрушая ничего стараго»,— это просто фразы, пустыя и неумныя фразы, тогда какъ возраженіе Елисеева, даже въ передачѣ г. Эвальда, совершенно вѣрно, азбучно, элементарно вѣрно: въ самомъ дѣлѣ вѣдь «одно безъ другого немислимо».

Перелистывая воспоминанія самого г. Эвальда и останавливаясь на страницахъ болѣе или менѣе достовѣрныхъ, т. е. на такихъ, гдѣ онъ является не героемъ добродѣтели или ума, я нахожу, на примѣръ, слѣдующее. Въ 1869 году ему захотѣлось ухватить на свою долю какую-нибудь желѣзнодорожную концессію. Онъ видѣлъ, какъ быстро богатѣютъ фонъ-Дервизы, Поляковы, Варшавскіе и проч., и рѣшилъ тоже попробовать счастья. Намѣтилъ онъ линію отъ Москвы къ Воскресенскому посаду, при которомъ находится монастырь Новый Іерусалимъ, посѣщаемый многочисленными бо-

гомольцами,—на ихъ-то религіозномъ рвеніи онъ и разсчитывалъ построить свое благополучіе. Надо было заручиться содѣйствіемъ московскаго митрополита Пинноктія, и вотъ, между прочимъ, какой вопросъ задать г. Эвальдъ митрополиту: «Я могу исполнить это дѣло только при содѣйствіи Варшавскаго, еврея. Не будетъ-ли это непріятно вашему высокопреосвященству?» Митрополитъ отвѣчалъ: «Отчего же непріятно? Да Господь съ нимъ, что онъ еврей. Какой ни на есть, онъ все-таки въ Бога вѣруетъ. Вотъ церковь строить еврею было бы не совсѣмъ удобно, это правда, а что касается желѣзной дороги, хотя бы къ монастырю, то я въ этомъ не вижу никакого препятствія. Иѣтъ, иѣтъ, этого вы не опасайтесь». Замѣьте, что, какъ видно изъ діалога между митрополитомъ и г. Эвальдомъ, послѣдній самъ никогда въ Новомъ Іерусалимѣ до тѣхъ поръ не бывалъ, объ удовлетвореніи религіозной потребности богомольцевъ вовсе не думалъ и только освѣдомлялся: «думаете-ли, вамъ высокопреосвященство, что эта дорога будетъ давать достаточный доходъ?», «вамъ неизвѣстно, какъ велико приблизительно число паломниковъ въ настоящее время?» И этотъ-то человѣкъ полагаетъ, что еврею, которому, конечно, тоже иѣтъ дѣла до религіозныхъ потребностей ново-іерусалимскихъ богомольцевъ, можетъ быть и неприлично строить желѣзную дорогу къ монастырю. Такое чисто формальное и нѣсколько лицемерное благочестіе не рѣдкость въ нашемъ духовномъ обиходѣ, и митрополитъ Пинноктій естественно явился по отношенію къ нему отрицателемъ, «разрушителемъ». изъ чего, однако, не слѣдуетъ, что въ его дѣятельности не было ничего созидательнаго.

Другой примѣръ, совсѣмъ изъ другой области. Хотя дѣло съ постройкой желѣзной дороги къ Новому Іерусалиму въ концѣ концовъ и не выгорѣло у г. Эвальда, но онъ все-таки дѣлалъ изысканія этого пути. На этихъ изысканіяхъ на него нанали мужики, такъ что ему пришлось пугнуть ихъ револьверомъ. Такъ-ли онъ все это разсказываетъ, какъ оно дѣйствительно было, вопросъ особый; но итогъ его таковъ: «Трудно вѣрится самому себѣ, что все это было такъ недавно и притомъ подъ самой Москвой, а не въ глухихъ дебряхъ какой-нибудь Енисейской губерніи!» Тамъ же ему пришлось ѣсть въ крестьянской избѣ крестьянское кушанье. — похлебку изъ ржаной муки, листьевъ подорожника и грибовъ. Ѣсть эту мерзость онъ не могъ, да и угощавшая его баба предупредила, что, дескать, «очень пскудная похлебка». «Нечего ѣсть то у насъ,—пояснила она въ дальнѣйшемъ разговорѣ: хлѣбъ куды плохой родится, земля — несокъ одинъ. Вотъ кабы картофель намъ сажать, такъ мы богатѣи были бы! Картофель у насъ родится словно сахаръ: сладкій, разсыпчатый, скусный такой. — Такъ отчего же вы

не садите картофель?—Нельзя, баринъ: мужики говорятъ, что это—чортово яблоко». Въ той же деревнѣ г. Эвальдъ увидать, что всѣ ея жители, бабы, мужики, ребята вяжутъ чулки,—сидятъ на улицѣ и вяжутъ: «выходила точно карриатура на крестьянскій бытъ»! Оказалось, что другихъ заработковъ нѣтъ, и деревня глубоко благодарна московскому купцу, заказывающему ей чулки. Г. Эвальдъ предложить своей хозяйкѣ связать ему полдюжины, но та предупредила его, что эти чулки нельзя носить, потому что «нитка совсѣмъ гнилая: часу не пронесишь, какъ весь чулокъ расплзется на ногѣ.—Такъ на что же купцу такіе чулки?—Для торговли, онѣ ихъ на нижегородской ярмаркѣ тысячами продаетъ». Приведа еще два-три штриха, г. Эвальдъ заключаетъ: «Боже мой, какая жизнь! Каторжники въ острогахъ живутъ сытнѣе и съ большимъ комфортомъ, чѣмъ эти несчастные труженики, которыхъ некому ни научить, ни просвѣтить... И это, опять повторяю, подъ самой Москвой, воровчающей торговлей всей Россіи»!

Не будемъ больше рыться въ мемуарахъ г. Эвальда и возьмемъ только вышеприведенное. Возьмемъ самого г. Эвальда въ его бесѣдѣ съ митрополитомъ Иннокентіемъ, подмосковныхъ крестьянъ съ которыми нужно разговаривать съ револьверомъ въ рукахъ. «очень паскудную похлебку», которую нельзя ѣсть, и очень «скусный» картофель, котораго нельзя сажать, сотни рукъ, занятыхъ вязаніемъ чулокъ, которыхъ нельзя носить и которые, однако, тысячами распродаютъ на нижегородской ярмаркѣ. Возьмемъ все это вмѣстѣ, какъ цѣльную картину, и попросимъ г. Эвальда приложить къ ней его будто бы англійскій рецептъ: «вѣчно создавать новое. никогда не разрушая ничего стараго». Ясно, что это совершенно пустопорожняя фраза, но она довольно часто пускается въ ходъ вмѣстѣ съ другой, столь же пустопорожней фразой г. Эвальда: «вы исповѣдуете разрушеніе, а я созиданіе».

Есть, однако, точка зрѣнія, съ которой и это созиданіе и это разрушеніе—фантомы, а идеалы и идеи—пустяки, не имѣющіе никакого значенія. Ибо, во-первыхъ, «идеи не выходятъ изъ головы Юпитера, какъ Минерва, но возникаютъ на почвѣ общихъ матеріальныхъ и культурныхъ условій эпохи»... Это-то мы и безъ васъ знаемъ, — перебьетъ меня можетъ быть иной нетерпѣливый читатель,—это ужъ лѣтъ тридцать слишкомъ намъ литература на разные манеры толкуетъ, и ново это развѣ только для васъ, да и къ дѣлу не идетъ: вы мнѣ скажите, почему идеи, такъ-ли, сякъ-ли возникшія, не имѣютъ значенія...—Извольте, но я долженъ сказать, что приведенная фраза принадлежитъ не мнѣ, а г. М. Туганъ-Барановскому, и находится въ статьѣ «Значеніе экономического фактора въ исторіи», напечатанной въ декабрьской книжкѣ журнала

«Миръ Божій». Что касается, относительно говоря, почтеннаго возраста мысли, выраженной въ этой фразѣ, то зачѣмъ вамъ непременно новыя мысли, если и старыя хороши? Не надо только выдавать ихъ за новыя. А зачѣмъ, на интересующій васъ вопросъ г. Туганъ отвѣчаетъ слѣдующимъ образомъ: «Вліяніе научныхъ идей, въ сущности, довольно ограниченно. Очень мало людей серьезно читаетъ книги, а еще меньше такихъ, на которыхъ книги оказываютъ настолько глубокое дѣйствіе, что они подъ вліяніемъ книгъ измѣняютъ свое поведеніе. Обыкновенный средній человѣкъ живетъ не умомъ, а чувствомъ; условія его жизни воспитываютъ въ немъ цѣлый рядъ наклонностей, симпатій и антипатій, предвзятыхъ мыслей, предразсудковъ, которые глубоко коренятся въ его душѣ и не могутъ быть измѣнены книгами. Характеръ человѣка опредѣляется не книгами, а всей его жизненной обстановкой, противъ которой, точно такъ-же, какъ и противъ интересовъ, книги безсильны. Даже и на взгляды людей книги оказываютъ далеко не такое сильное вліяніе, какъ обыкновенно думаютъ».

Какъ увидимъ ниже, тирада эта, въ связи съ содержаніемъ всей статьи г. Тугана, интересна во многихъ отношеніяхъ. Но остановимся пока только на одной сторонѣ дѣла. Если г. Туганъ хочетъ вразумить тѣхъ, кто думаетъ книгой или идеей, только книгой и идеей, направляя ходъ исторіи, то онъ, конечно, правъ. Но, по всемъ видимостямъ, онъ хочетъ сказать нѣчто гораздо большее и только изъ снисхожденія къ предразсудкамъ читателей ставить маленькія ограниченія: «въ сущности довольно ограниченно», «очень мало», «не такое сильное, какъ обыкновенно думаютъ». Въ принципиальномъ отношеніи эти оговорки никакого значенія не имѣютъ и свидѣтельствуютъ только о нѣкоторомъ наивномъ лукавствѣ автора, которое уже и въ томъ сказывается, что онъ говоритъ лишь о «научныхъ» идеяхъ. Ну, а прочія, напримѣръ, религіозныя, слонясь и рядомъ не нуждающіяся въ «книгѣ» для своего распространенія, обращающіяся не столько къ «уму», сколько къ «чувству», властно охватывающія всего человѣка со всеми его симпатіями и антипатіями?

Здѣсь я предвижу одну сказку про бѣлаго бычка, которою разилъ-бы г. Туганъ, если-бы я имѣлъ честь лично бесѣдовать съ нимъ. Онъ сказалъ-бы, напримѣръ: чего далеко ходить,—въ той-же декабрьской книжкѣ «Міра Божія», въ отдѣлѣ «Разныя разности» сообщается о статьѣ «Вѣстника Европы» по поводу изданнаго г. Лопыревымъ сочиненія XVII вѣка о самосожигателяхъ. Въ замѣткѣ «Міра Божія» читаемъ: «Происхожденіе раскола обыкновенно объяснялось невѣжествомъ народной массы, не понявшей исправленія церковныхъ книгъ при Никонѣ». «Но, говоритъ г. Лопыревъ.

новѣйшія изслѣдованія показали, что корни «старой вѣры» лежали дальше Никона и что глубокая основа раскола лежала въ социально-экономическихъ отношеніяхъ». Вотъ,—скажаль-бы г. Туганъ,—видите: «новѣйшія изслѣдованія показали, что и релігіозныя идеи вырастаютъ на почвѣ общихъ матеріальныхъ и культурныхъ условий». Я не читалъ ни книги, изданной г. Лопыревымъ, ни статьи о ней «Вѣстника Европы», а потому не знаю, въ какомъ смыслѣ говорится о новѣйшихъ изслѣдованіяхъ раскола, но собственно та точка зрѣнія, съ которой здѣсь трактуется расколъ, установлена 30—35 лѣтъ тому назадъ (вспомните Щапова), такъ что эпитетъ «новѣйшія» надо понимать очень условно. Несомнѣнно, однако, что въ составъ «соціально-экономическихъ отношеній», породившихъ самосожигательство, входило и невѣжество. По словамъ замѣтки «Міра Божія», авторъ упомянутаго трактата XVII вѣка «свидѣтельствуешь, что большинство раскольниковъ-зажигателей были людьми необразованными, людьми «глубоко безсловесными», чѣмъ отчасти и объясняется фактъ массовыхъ самоубійствъ». А главное, что я имѣлъ-бы возразить г. Тугану, состоитъ въ томъ, что онъ рассказываетъ сказку про бѣлаго бычка: мы говоримъ теперь не о происхожденіи, а о вліяніи идей,—«научныхъ» и всякихъ другихъ, распространяемыхъ при помощи книгъ и всякими другими путями. Въ видѣ иллюстраціи сдѣлаю еще выписку изъ замѣтки «Міра Божія»: «Около 1685 г. была «гарь» близъ Пошехонья. Раскольникій попъ до того довѣлъ свою паству, что она рѣшилась идти въ огонь, и въ ту-же ночь человекъ 600 собралось въ одномъ домѣ, подожгли его и заживо сгорѣли».

Такъ что, не будь этотъ самый раскольникій попъ столь красно-рѣчивъ, 600 человекъ можетъ быть и не сожглись бы, а искали бы (какъ и искали другіе) какого-нибудь другого выхода изъ данныхъ «соціально-экономическихъ отношеній». Но для г. Тугана 600 мучительнѣйшихъ смертей, это такіе пустяки...

Наивное лукавство г. Тугана сказывается не только въ томъ, что, заговоривъ объ идеяхъ вообще, онъ сводитъ дѣло на идеи «научныя» и книги, а и во всей его аргументаціи. «Очень мало людей серьезно читаетъ книги». — Что это за аргументъ? Надо ли «серьезно» читать, чтобы, напримѣръ отравиться изю дня въ день подносимой порнографической и кроваво-уголовной пищей парижской бульварной прессы? По крайней мѣрѣ, знаменитѣйшіе французскіе психіатры не разъ вступались въ это дѣло, указывая на грозящія всему обществу опасности. Ну, а для г. Тугана это пустяки. Далѣе, если люди читаютъ мало, то вѣдь они могутъ читать и больше: у насъ совсѣмъ мало, въ Германіи и Англіи больше, а съ теченіемъ времени будутъ и еще больше, такъ что на «очень

мало» г. Тугана можно и очень мало построить. Одно из двух: или идеи имеют влияние,—тогда давайте работать, или они его не имеют,—тогда не зачѣмъ и огородъ городить, не зачѣмъ и статьи о «значеніи экономического фактора» писать, они, этотъ факторъ, безъ насъ съумѣютъ заявить себя.

Тѣмъ не менѣе г. Туганъ написалъ и напечаталъ свою статью, въ которой изложилъ, по его собственнымъ словамъ, «весьма плодотворную», то есть весьма вліятельную гипотезу. Онъ, сколько мнѣ извѣстно, читаетъ въ петербургскомъ университетѣ лекціи, которыми старается повліять на умы своихъ слушателей, въ расчетѣ, что они въ свою очередь понесутъ это вліяніе и дальше. Онъ, можетъ быть, состоитъ членомъ комитета грамотности или какого-нибудь другого учрежденія, взявшаго на себя благородную задачу распространенія просвѣщенія. Онъ, я увѣренъ, совсѣмъ не такъ жестокосердъ, чтобы ему было «вполнѣ и неключительно наплевать» на 600 мучительныхъ смертей: напротивъ, я увѣренъ, что случись на его глазахъ что-нибудь подобное, онъ съ жаромъ противопоставилъ бы свои собственные идеи идеямъ раскольниковъго монаха и свое краснорѣчіе его краснорѣчію. Наконецъ, мнѣ было бы очень не трудно указать, какія идеи и книги рѣшительно, до ослѣпленія рѣшительно повліяли на него самого, на г. Тугана. Откуда же такое странное недоразумѣніе? Почему г. Туганъ, такъ... деликатно выражаясь, такъ неосторожно и неблагодарно относится къ хлѣбу, его самого вскормившему и имъ самымъ раздаваемому, если предположить, конечно, что онъ предлагаетъ своимъ читателямъ и слушателямъ хлѣбъ, а не камень? Дѣло именно въ томъ, что извѣстныя идеи и книги повліяли на г. Тугана до ослѣпленія, и такъ быстро, что онъ не успѣлъ даже познакомиться съ исторіей этихъ самыхъ идей. Для разъясненія этого прискорбнаго обстоятельства мнѣ придется сдѣлать нѣкоторое отступленіе. Но и раньше того мнѣ хочется сказать нѣсколько постороннихъ словъ. Хочется сказать именно, что я очень сожалѣю объ томъ, что въ своихъ скромныхъ замѣткахъ о текущей литературѣ и жизни мнѣ случайно приходится впервые упомянуть о «Мирѣ Божіемъ» въ связи со статьей г. Тугана. Если-бы я говорилъ вообще объ этомъ почтенномъ изданіи, столь быстро и заслуженно занявшемъ видное мѣсто въ средѣ нашей журналистики, то я долженъ бы былъ сказать много хорошаго. Но статья г. Тугана не украшаетъ почтенный журналъ..

У Глѣба Успенскаго есть прелестный рассказъ «Неизлѣчимый»,—одинъ изъ тѣхъ, въ которыхъ свойственный этому писателю тонкій переиллюстрируетъ трагическаго и комическаго элементъ рисуется съ осо-

бенною яркостью. Герой рассказа—запрещенный дяконъ, лишенный сана за пьянство и проявленіе «свиного элемента» вообще. Но это не столько порочный, сколько несчастный человѣкъ, одо-
лѣваемый, подобно многимъ дѣйствующимъ лицамъ рассказовъ Успенскаго, «болѣзнью совѣсти». Онъ искренно желаетъ исправиться, обновиться и, не находя въ себѣ достаточной силы воли, прибѣ-
гаетъ за совѣтами къ доктору. Тотъ рекомендуетъ ему прежде всего прекратить пьянство и прописываетъ желѣзо. Но именно пить-то онъ и не можетъ перестать, потому что, въ ожиданіи
обновленія, только водкой и можетъ залить свое горе (а горе у него есть настоящее, большое); что же касается лекарства, про-
писаннаго докторомъ, то его все беретъ сомнѣніе,—дѣйствительно ли оно «вступаетъ»?.. Онъ приступаетъ съ этимъ мучающимъ его
вопросомъ къ доктору. Докторъ недоумѣваетъ.

— Что такое «вступаетъ»? Что вы тутъ толкуете? куда вступаетъ?—
Да желѣзо-то... Точно-ли, моль, вступаетъ въ это... какъ его?—Въ кровь
что-ль? Въ организмъ?—Вотъ, вотъ... въ это самое... Точно-ли-моль?... — Ахъ,
отецъ Аркадій, или какъ тамъ васъ, отецъ вы или кто ужъ не знаю... Сколько
разъ я вамъ говорилъ—да! да! вступаетъ! И именно вступаетъ въ кровь! За
какимъ-же чортомъ, спрашивается, я вамъ его прописывалъ? Ну скажите,
ради Бога, за какимъ чортомъ?—Отецъ дяконъ кашлянулъ.—Вы, продолжалъ
докторъ, отдѣляя каждое слово:—вы пили, кровь у васъ теперь—не кровь,
а еусло... Понимаете? еусло, а не кровь!...—Позвольте, перебилъ дяконъ:—
Господи помилуй! Да развѣ я объ этомъ? Конечно, пьешь... да нѣшто я объ
этомъ? Еусло! И я самъ знаю, что еусло...—Ну такъ что-же тутъ, о чемъ-же
тутъ разговаривать? Принимайте желѣзо—и все!—И, то-есть, ужъ въ самый
корень вступитъ?—Я не знаю, что это за корень... Вамъ куда надо-то?—Да
по мнѣ-бы въ самую настоящую точку...—Еще куда?... Въ корень, въ точку,
еще куда?—То-есть, чтобъ въ сам-ую, наиримѣръ, въ жилу?—Дяконъ
ждалъ отвѣта.—Знаете, что я вамъ скажу, отецъ дяконъ, довольно строгимъ
тономъ заговорилъ докторъ:—Такъ говорить нельзя... Помилуйте! Да такого
разговора самъ чортъ не разбереть... Что это значитъ—въ самую точку? Гдѣ
самая жила, а гдѣ не самая? Вѣдь это—просто чортъ знаетъ что такое! Что
такое вы говорите?—Дяконъ и самъ засмѣялся.—Чортъ ее знаетъ, въ самомъ
дѣлѣ, плетешь языкомъ невѣсть что!...—Ей-Богу, вѣдь это невозможно!.. Въ
точку, да въ жилу...—Ха-ха-ха!... хохоталъ дяконъ.—Ей-Богу невозможно!...—
Послѣ незначительнаго молчанія, во время котораго докторъ, надо думать,
смягчился, разговоръ возобновился вновь.—Я вамъ говорю, началъ докторъ
спокойно и категорически:—желѣзо вступаетъ въ кровь! развѣ!—Такъ!—По-
правляеть и укрѣпляетъ нервы!—Два! тоже категорически отчеканивалъ
дяконъ. Далѣе?—Да чего-жъ вамъ еще?—А въ душу?—Что въ душу?—Да въ
душу-то вступаетъ-ли?

Такъ какъ доктора этотъ вопросъ ставитъ окончательно вту-
пикъ, то и дяконъ въ свою очередь объявляетъ, что «какой же,
дескать, ему расчетъ его пить, ежели оно только обалоло болѣзни
ходить, тамъ, въ эти нервы въ разныя, а въ самую, значитъ, суть

то и нѣтъ!» Дьяконъ уходитъ, но опять возвращается. Онъ надумалъ: для тѣла пусть будутъ пороники эти самые, я для души—чтеніе; не дасть-ли докторъ книжекъ почитать. Докторъ спрашиваетъ: какихъ же надо?

— Да мнѣ бы пофундаментальнѣе...—Ну, вотъ, выберите... Вотъ журналъ не хотите-ли?—Нѣтъ, это все мимолетное.—А вамъ надо не мимолетнаго? да?—Да ужъ что-нибудь, по... того, поздоровѣй.—Поздоровѣй?...—роясь въ книгахъ, болталъ докторъ. Поздоровѣй вамъ? Не хотите-ли взять вотъ Шлоесера: это, я думаю, будетъ довольно здорово...—Это что такое—Шлоесерь?—Исторія.—Сдѣлайте милость, это мнѣ въ самый разъ...—Ну такъ вотъ и берите...—Мнѣ-бы только, Иванъ Ивановичъ, ужъ съ самаго начала... что-нибудь...—Да вотъ что тутъ? «Греки»... вотъ тутъ съ самаго начала...—Очень вамъ благодаренъ... То-есть, какъ вы говорите—съ самаго начала? Съ самаго начала только греческая исторія?—Только одна греческая... А вамъ что-же?—А раньше грековъ нѣтъ-ли чего?—Разумѣется, есть. Вотъ исторія Индіи... Это раньше грековъ.—А еще чего не было-ли раньше?—Ужъ я, ей-Богу не знаю... Да зачѣмъ вамъ?—Да мнѣ бы хотѣлось ужъ, что бы начать, напримѣръ, съ самаго корня...—Ониъ самые корни?—Да ей-Богу, Иванъ Ивановичъ, что жъ мнѣ хватить верхушки? Ужъ ежели поправляться, такъ надо, какъ слѣдуетъ... Вновь... Съ самаго, напримѣръ, съ кор... съ корня... Что вы смѣтаете? Ей-Богу, право... Чтожъ такъ-то?...—Да такъ, такъ. Только я не знаю, чтожъ бы такое?... Не хотите-ли «До человѣка»?—Это—книга такая?—Книга... Понимаете—до! Ужъ тутъ самый корень.—Вотъ, вотъ, вотъ! какъ-то даже сладострастно зашепталъ дьяконъ:—до! Это самое и есть—«до» всего еще?—То-есть до всего на свѣтѣ!...—Ну, ну, ну... Этого мнѣ и надо... съ самаго...—Съ самаго, съ самаго! на-те, берите!

Я не прошу у читателя прощенія за эту длинную выписку: она навѣрное доставила ему много художественнаго наслажденія и не разъ заставила улыбнуться. Продолженіе разсказа, опять-таки, какъ это обыкновенно у Успенскаго, совсѣмъ не веселаго характера и получаетъ даже рѣзко-трагическій оттѣнокъ. Однако, и въ приведенномъ діалогѣ не все ужъ такъ смѣшно, какъ иному можетъ показаться съ перваго взгляда. Вы видите, что бѣдный дьяконъ дѣйствительно ищетъ, мучительно ищетъ радикальнаго леченія отъ «свиного элемента», и мука эта сквозитъ въ каждомъ смѣшномъ, неуклюжемъ словѣ, которымъ онъ тѣтено старается выразить свою душевную боль. Трезвенному доктору, который формально совершенно правъ, да и слишкомъ занятъ своими прямыми обязанностями, вамъ иной разъ хочется крикнуть: да деревянный ты человѣкъ, вѣдь ты знаешь исторію этого бѣдняги, поговори же съ нимъ по просту, по человѣчески... Намъ, однако, до всего этого дѣла нѣтъ теперь,—ни до отношенія доктора къ дьякону, ни до побужденій послѣдняго. Но какимъ бы то ни было причинамъ, дьяконъ ищетъ корня вещей, отменяя поверхностное, по его мнѣнію, леченіе и поверхностное чтеніе. Это сама по себѣ, конечно, прекрасная черта:

столь прекрасная, что я не вижу надобности распространяться въ ея восхваленіи. Но она имѣетъ свои опасныя стороны, что и на дьяконѣ сказывается. Какъ ни какъ, а въ погонѣ за средствомъ, которое «вступало» бы въ «сам-ую жилу», онъ уклоняется отъ исполненія практическаго совѣта, быть можетъ единственнаго, какой находится въ распоряженіи медицины, а въ поискахъ книги о томъ, что было «до всего на свѣтѣ», остается безъ всякаго чтенія. Однако, самая страстность его исканія, придавая жизненность его фигурѣ, одухотворяя ее, притягиваетъ къ нему наши симпатіи. Но представимъ себѣ, что онъ достигъ своей цѣли или, вѣрнѣе, повѣрилъ, что достигъ ея, — потому что въ дѣйствительности нѣтъ и не можетъ быть «самой жилы», «точки», въ которую «вступало» бы помимо «нервовъ этихъ разныхъ», равно, какъ нѣтъ и не можетъ быть книги, которая рассказывала бы объ томъ, что было «до всего на свѣтѣ». Какъ бы то ни было, исканія кончились, и дьяконъ долженъ немедленно преобразиться побѣднымъ кликомъ — «эврика». Онъ понялъ все. Съ нимъ случилось то же, что съ пушкинскимъ пророкомъ: «духовная жажда» и «пустыня мрачная» отошли въ прошедшее, «отверзлись вѣщія зѣнницы... и внялъ онъ неба содроганье, и горній ангеловъ полеть, и гадъ морскихъ подводный ходъ, и дольней лозы прозябанье»... Неизвѣстно, однако, услышалъ-ли онъ голосъ: «возстань, пророкъ, и виждь и вземли, исполнись волею моею и. обходя моря и земли, глаголомъ жги сердца людей». Если не услышалъ, то и Богъ съ нимъ, онъ самъ себѣ довѣдетъ: если же услышалъ, то глаголъ, которымъ онъ будетъ жечь сердца людей, получаетъ общественный интересъ, а слѣдовательно заслуживаетъ нашего вниманія. И здѣсь жизненный путь просвѣтленнаго дьякона раздвояется.

Та «сам-мая точка», тотъ «корень», который нашелъ или вѣрить, что нашелъ дьяконъ, лежитъ во всякомъ случаѣ очень глубоко; такъ глубоко, что между нимъ и просвѣтленнымъ дьякономъ помѣщается цѣлая толща разнаго рода наслоеній. Если въ немъ, въ дьяконѣ, бьется практическая жилка или даже только горячее сердце, то онъ очень скоро убѣдится, что даже въ видахъ достиженія «точки» необходимо повозиться съ этой толщей или, пожалуй, съ этой «надстройкой», а съ теченіемъ времени убѣдится онъ и въ томъ, что эти надстройки и сами по себѣ имѣютъ и значеніе, и вліяніе, отражающееся въ свою очередь на «точкѣ», что нѣтъ такой «самой точки», къ которой можно бы было свести всю безконечную сложность и пестроту жизни. Послѣ этого вторичнаго просвѣтленія дьяконъ, если судьба побаловала его нужными дарованіями, будетъ дѣйствительно глаголомъ жечь сердца людей. Но быть можетъ онъ не дѣятельная, а созерцательная натура, и искалъ «точки», какъ

центра художественно цѣльной картины мірозданія или какъ от-
правнаго пункта для логически стройной философской системы.
Это очень часто случается въ исторіи мысли, причемъ найденная
«сам-мая точка» — Идея, Матерія, Духъ, Воля, Безсознательное —
получаетъ характеръ и названіе «сущности вещей», а толща раз-
ныхъ наслоеній, отдѣляющая мыслителя отъ «точки», иначе говоря,
весь міръ доступныхъ опыту и наблюденію «явленій» оказывается
собираемъ, по выраженію дьякона, «мимолетностей». Эти «мимолет-
ности», эти явленія не интересуютъ мыслителя своею пестрою
игрою и не задѣваютъ его непосредственного чувства, — онѣ такъ
преходящи, а онѣ знаетъ «самую точку», «самую суть», при-
нимающую въ нихъ безконечно разнообразныя, вѣчно смѣняющіяся
формы; онѣ даже мѣшаютъ ему иногда своею пестротою и шум-
ностью, врываясь въ спокойный ходъ его созерцанія и не съ разу
укладываясь, а то и совсѣмъ не укладываясь въ приготовленную
для нихъ систему. Да и зачѣмъ съ ними возиться? Найдена «са-
мая точка», нѣчто, собственно говоря, единосущее (потому что все
остальное — только мимолетныя формы бытія), нѣчто все опредѣ-
ляющее, и ничѣмъ въ свою очередь не опредѣляемое, на все воз-
дѣйствующее, но само не подлежащее воздѣйствію. Оно само со-
вершить все то, что должно быть совершенно, и наше вѣншательство
будетъ или безумною дерзостью (потому что мы совершенно без-
силны передъ «самой точкой»), или смѣшной иллюзіей (потому
что самое это вѣншательство есть лишь одно изъ безчисленныхъ
мимолетныхъ проявленій «точки»). Мыслителю, открывшему это
великое всеопредѣляющее и ничѣмъ не опредѣляемое нѣчто, только
и остается сказать: вотъ Аллахъ, а я — Магометъ, пророкъ его. На
дѣлѣ, однако, это простое предложеніе разростается въ цѣлые томы,
въ которыхъ Магометъ вѣншаетъ и истолковываетъ волю Аллаха.
И хотя это, конечно, не Аллаховы, а собственные Магометовы
«глаголы», но въ числѣ мыслителей этого типа бывали люди боль-
шой эрудиціи, логической силы и таланта изложенія, и потому ихъ
«глаголы», если не всегда «жгли сердца людей», то увлекали умы.
Естественный выводъ изъ всемогущества и единосущности «самой
точки» — есть квіетизмъ, оптимистическій или пессимистическій, ра-
достное или скорбное примиреніе съ дѣйствительностью. Но рѣзко
выраженные типы натуръ дѣятельныхъ и чисто созерцательныхъ
встрѣчаются не часто, и въ большинствѣ случаевъ мы имѣемъ
дѣло съ типами смѣшанными, въ которыхъ эти элементы соеди-
няются въ разныхъ пропорціяхъ. Притомъ же Магометы иногда
такъ искусно располагаютъ свои толкованія воли Аллаха, что ихъ
можно гнуть и направо и налѣво.

Все сказанное относится къ людямъ, нашедшимъ свою «самую

точку» послѣ болѣе или менѣе долгихъ, болѣе или менѣе упорныхъ исканій. Но бываетъ и такъ, что человѣкъ получилъ свою «точку» совсѣмъ даромъ, безъ усилій мысли и напряженія чувства, «безъ борьбы, безъ думы роковой»: просто въ книжкѣ вычиталъ или отъ вѣрнаго человѣка услышалъ и такъ соблазнился простотою и ясностью прочитаннаго или услышаннаго, что сразу увѣровалъ. Это даже наиболѣе обыкновенный случай, потому что на каждый изъ самостоятельныхъ голосовъ, при извѣстныхъ акустическихъ условіяхъ, приходится многократное эхо. Дѣйственная складка въ характерѣ и такого человѣка скоро убѣдитъ въ томъ, что нельзя не считаться съ «мимолетнымъ», а созерцательная натура надолго, быть можетъ навсегда останется при своемъ великолѣпномъ презрѣніи къ этимъ «нервамъ тамъ разнымъ». Но, не пройдя сквозь горнило сколько-нибудь самостоятельныхъ, хотя бы только чисто умозрительныхъ исканій, такой, если позволительно такъ выразиться, «эховый» человѣкъ естественно окажется плохимъ защитникомъ своей «самой жилы». Разгнѣванная богиня наказала нимфу Эхо косноязычіемъ, да еще въ скалу превратила, и съ тѣхъ поръ эта окаменѣлая и косноязычная нимфа повторяетъ только послѣднія слова или слоги услышаннаго. Все остальное эховый человѣкъ воспроизводитъ собственными ресурсами, ну, а для выясненія начала всѣхъ началъ, той «самой жилы», которая всѣмъ жиламъ жила,—нужны ресурсы очень значительные, и немудрено, что ихъ не оказывается въ распоряженіи эховаго человѣка: они вообще крайне рѣдко даются въ размѣрѣ, нужномъ для такого предпріятія. Но это послѣднее вовсе не кажется такимъ труднымъ самому эховому человѣку,—онъ получилъ готовую истину. И въ результатѣ получается нѣчто такое, объ чемъ по справедливости можно сказать: «все это было бы смѣшно, когда бы не было такъ грустно».

Именно эти слова поэта пришли мнѣ прежде всего въ голову по прочтеніи вышеупомянутой статьи г. Туганъ-Барановскаго «Значеніе экономическаго фактора въ исторіи». Мнѣ кажется, что слова эти должны повторить и всѣ сколько-нибудь серьезные единомышленники г. Тугана: слишкомъ ужъ наивна его аргументація и слишкомъ компрометируетъ защищаемый имъ тезисъ. Источникъ моей грусти, конечно, совсѣмъ другой.

Г. Туганъ начинаетъ свою статью справедливымъ замѣчаніемъ, что какъ бы ни былъ, повидимому, «объективенъ» историкъ, онъ на дѣлѣ непремѣнно руководится какою-нибудь «предвзятою теоріею» въ расположеніи и освѣщеніи своего матеріала. «Древніе лѣтописцы менѣе всего могутъ считаться зараженными какими бы то ни было предвзятыми теоріями»,—говоритъ г. Туганъ: ихъ труды являются образцами спокойнаго, объективнаго изложенія предмета,

но легко доказать, что и они были проникнуты вполне определенной историко-философской теорией». Эта бессознательно руководящая теория получила впоследствии сознательную обработку и состоитъ въ томъ, что исторію дѣлаютъ выдающіеся люди, герои. Карлейль приглашалъ преклоняться передъ великими людьми. «По наука ни передъ чѣмъ не преклоняется», гордо заявляетъ г. Туганъ. Великій человѣкъ есть нѣчто «мимолетное» и надо не имъ объяснять исторію, а еще самого его объяснить. Поэтому на смену культа героевъ явилось ученіе о всемогуществѣ идеи. «Разуму, интеллекту приписывается первенствующая роль въ жизни отдѣльнаго человѣка и всего общества, а чувства, привычки, желанія, страсти человѣка признаются маловажнымъ элементомъ въ его жизни. не имѣющимъ никакого историческаго значенія». По словамъ г. Тугана, эта точка зрѣнія господствовала у всѣхъ писателей конца прошлаго и начала XIX вѣка, — у Вольтера, Руссо, энциклопедистовъ, въ школѣ Адама Смита, въ школѣ Бентама, у утопистовъ, каковы Оуенъ, Сень-Симонъ, Фурье и проч. «Но можно-ли согласиться съ исторической философіей, признающей идеи, мнѣнія и взгляды людей конечною причиною прогресса?» — спрашиваетъ г. Туганъ и отвѣчаетъ, разумѣется, отрицательно. Идеи, взгляды, мнѣнія, — все это лишено самостоятельнаго значенія, ибо имѣетъ свои корни въ данной социальной средѣ, которая, повидимому, и должна, наконецъ, быть признана «самой жилой». Однако, нѣтъ. «Социальная среда не есть первичный факторъ, не поддающийся дальнѣйшему разложенію. Социальная среда — это тѣ же люди. Следовательно, объясняя историческое развитіе вліяніемъ среды, мы, въ сущности, утверждаемъ только то, что историческая эволюція имѣетъ безличный, массовый характеръ. Но чѣмъ же движется исторія, что толкаетъ человѣчество впередъ, что создаетъ то общественное строеніе, которымъ опредѣляется характеръ исторической эпохи? Социальная среда опредѣляется прежде всего («до всего на свѣтѣ!») хозяйственными отношеніями». Достаточно поговоривъ на эту тему съ чисто догматическою увѣренностью, г. Туганъ, однако, опять возвращается къ вопросу: «чѣмъ создается сама среда, что опредѣляетъ ея характеръ?» Отмѣтивъ разнородность социальной среды, раздѣленіе всѣхъ историческихъ обществъ на классы, г. Туганъ приходитъ къ заключенію, что раздѣленіе это основывается на «неравенствѣ распредѣленія народнаго дохода». «Чѣмъ же опредѣляется это распредѣленіе? Ничѣмъ инымъ, какъ способомъ производства и обмена». И тутъ мы, наконецъ, у пристани. у той «самой точки», которой такъ страстно и мучительно искать дьяконы и которую такъ просто и спокойно нашелъ г. Туганъ.

Дѣло, однако, въ томъ, что онъ не самъ ее нашелъ. Г. Туганъ

съ приличествующею ему скромностью отвѣтитъ, конечно, что онъ и не думаетъ выдавать себя за творца доктрины, оригинальнаго мыслителя, или даже только за человѣка, исчерпавшаго все про и contra доктрины. Онъ сознаетъ, что «этихъ бѣглыхъ замѣчаній, разумѣется, отнюдь не достаточно для доказательства преобладающаго значенія экономическаго фактора въ исторіи», что онъ лишь изложилъ основы «гипотезы», которая еще ждетъ фактическаго подтвержденія. Но я и не приписываю г. Тугану неблаговидной роли творца-самозванца. Говоря, что онъ не самъ нашелъ свой ключъ отъ всѣхъ ключей, я хочу лишь сказать, что онъ получилъ нѣчто цѣликомъ готовое, безъ предварительнаго процесса исканій, сравненій, сомнѣній, провѣрокъ, что послѣдовательно отменяя все «мимолетное» въ разныхъ историческихъ теоріяхъ и добираясь до «фундаментальнаго», онъ не продумалъ сколько-нибудь самостоятельно ни своей «фундаментальности» и ни одной изъ отринутыхъ «мимолетностей». Все имъ изложенное онъ принялъ просто на вѣру. Этому вполне соответствующь и та наивность, съ которой онъ побѣдоносно предъявляетъ аргументы по истинѣ поразительные, и то пренебреженіе, съ которымъ онъ относится къ тому, что онъ якобы анализируетъ, критически освѣщаетъ. Онъ въ одномъ мѣстѣ утверждаетъ даже, что «въ критикѣ и заключается вся сущность науки» (стр. 102), что ужъ несомнѣнно черезъ край хвачено, но, какъ слѣно вѣрующему, ему совершенно чужды истинно критическій духъ. А такъ какъ формально задачу г. Тугана составляетъ главнымъ образомъ именно кридика, то въ результатъ получается нѣчто до такой степени несуразное, что въ другое время и при другихъ обстоятельствахъ статья г. Тугана смѣло могла бы быть оставлена безъ всякаго вниманія. Не то нынѣ, когда слѣпая вѣра, прикрывающаяся «критикой» и «наукой», съ особенною силою обнаруживаетъ свое общественное свойство—заразительность. Не забудемъ, что мы имѣемъ дѣло съ человѣкомъ, ex cathedra излагающимъ свои взгляды... Великій грѣхъ беретъ на свою душу г. Туганъ...

Мы видѣли то наивное лукавство, съ которымъ г. Туганъ, говоря о вліяніи идей, подмѣниваетъ идеи вообще идеями «научными» и «книжными» и обставляетъ свой тезисъ разными «въ сущности не очень» и, такъ сказать, «не очень, чтобъ очень». Это на стр. 109. Но на стр. 105 узнаемъ, что «нельзя, разумѣется, отрицать вліяніе идей на ходъ исторіи», а на стр. 106, приведя отзывы Бокля и Беджота о вліяніи книги Адама Смита, г. Туганъ говоритъ: «Если даже признать эти отзывы сильно преувеличенными, то все же фактъ огромнаго историческаго значенія «Богатства народовъ» не подлежитъ сомнѣнію. Идеи Ад. Смита дѣйствительно обладали творческою силою, и социальныя отношенія

въ Англіи глубоко измѣнились подѣ вліяніемъ этихъ идей». Значитъ, хоть и не очень, чтобъ очень, а бываетъ и такъ, что и очень. Г. Туганъ не смущается этимъ противорѣчіемъ, да и не видитъ его, ибо, говоритъ онъ, хотя идеи Ад. Смита дѣйствительно имѣли огромное вліяніе, но не то, на которое самъ Смитъ рассчитывалъ. «Смитъ признавалъ свои идеи вполне соответствующими интересамъ рабочихъ и находящимися въ непримиримомъ противорѣчій со стремленіями капиталистическаго класса. И что же... — на сторонѣ Смита оказались фабриканты и торговцы, а противъ ученія Смита боролись рабочіе; и будущее вполне оправдало такое неожиданное для творца экономической науки распределеніе ролей на исторической сценѣ». Дѣло, значитъ, въ томъ, что хотя идеи Смита и оказали вліяніе, но въ направленіи, указанномъ тѣмъ всемогущимъ ключомъ отъ всѣхъ ключей, котораго Смитъ не зналъ, а г. Туганъ знаетъ. Это не удивительно — наука идетъ впередъ: и такъ какъ человѣчеству остается еще жить, по всей вѣроятности, неизмѣримо дольше, чѣмъ тѣ 120 лѣтъ, которыя отдѣляютъ г. Тугана отъ Ад. Смита, то я боюсь, что придется наконецъ какой-нибудь г. Постъ-Туганъ, который будетъ знать то, чего даже г. Туганъ еще не знаетъ, и докажетъ, что вліяніе идей послѣдняго или было совершенно ничтожно, такъ что незачѣмъ ему было и писать, и говорить, или же, что вліяніе это было прямо противоположно тому, на которое г. Туганъ рассчитывалъ. Издали вѣдь это видѣе будетъ. Въ чемъ же состоитъ поучительность рассказанной г. Туганомъ исторіи идей Ад. Смита? Единственный выводъ, который изъ нея можетъ быть сдѣланъ, состоитъ въ томъ, что говори — не говори, а если говоришь, то чтобы ты ни говорилъ съ кафедръ, въ книгѣ, въ общественномъ собраніи, въ совѣтѣ призванныхъ вязать и рѣшить, въ толпѣ. — «самая жила» все устроить по своему. «И погромче насъ были витѣи», вотъ, на примѣръ, Ад. Смитъ, а между тѣмъ, что же мы видимъ? Если же г. Туганъ удостоиваетъ насъ собесѣдованія и съ кафедръ, и въ книгѣ, то единственно для просвѣтленія насъ на счетъ этой «самой жилы», руководящей ходомъ исторіи. Просвѣтитъ и отошлетъ къ сторонѣ: созерцаетъ. Правда, въ исторіи не одиноко стоитъ тотъ случай, что раскольниковъ нонѣ заставилъ своимъ словомъ 600 человѣкъ съжечься, но это — «мимолетное», а надо смотрѣть въ корень вещей, въ сам...ую, сам...ую...

До какой степени проникаетъ г. Туганъ въ глубь вещей, видно изъ слѣдующей его поразительной иллюстраціи: «Въ средніе вѣка самые сильные умы посвящали себя теологіи и изощрялись въ бесплодныхъ усиліяхъ понять и объяснить то, что по самому существу своему необъяснимо. Теперь во главѣ наукъ стоитъ естество-

знание. Почему же блаженный (beatus) Августинъ изучать не природу, а Дарвинъ не сдѣлался теологомъ? Не влѣдствіе своей индивидуальности, а просто потому, что Августинъ жилъ въ то время, когда теологія господствовала надъ умами человечества и заключала въ себѣ всѣ знанія и философію эпохи, а Дарвинъ жилъ въ наше время, когда крупная промышленность преобразовала хозяйство и на первый планъ выдвинулись практическія задачи, разрѣшеніе которыхъ невозможно безъ познанія законовъ природы».

Выслушавъ эту тираду, вы естественно думаете сначала, что ошиблись, не дослышали. Что? какъ? — переспрашиваете вы. Всѣ занимались, Августинъ былъ одинъ изъ всѣхъ, а потому и онъ занимался. Въ формально логическомъ или, точнѣе, силлогистическомъ смыслѣ это предложеніе безупречно, но за то же и довольно бесплодно, и притомъ вы не видите, зачѣмъ понадобился автору этотъ пустопорожній силлогизмъ. Другое дѣло примѣръ Дарвина: тутъ вы видите перстъ, указующій на «самую жилу» — «крупная промышленность преобразовала хозяйство». Но для избранной авторомъ параллели Дарвина съ Августиномъ и въ подтвержденіе того, что индивидуальность ничего не опредѣляетъ въ выборѣ занятій, надо бы было доказать, что нынѣ всѣ занимаются естествознаніемъ и никто не занимается теологіей. Не говоря о безчисленныхъ специалистахъ по исторіи, по философій, языкознанію, по разнымъ отраслямъ общественныхъ наукъ, я попрошу г. Тугана объяснить мнѣ хоть одинъ только случай: почему такая крупная фигура, какъ современникъ Дарвина Гладстонъ, не занимается естествознаніемъ, а занимается политикой, исторіей литературы и — теологическими вопросами? Почему онъ не слушается властныхъ велѣній того Аллаха, Магометомъ котораго состоитъ г. Туганъ и котораго такъ охотно послушался Дарвинъ? Надо, впрочемъ, замѣтить, что какъ разъ предметъ изслѣдованій Дарвина не имѣетъ никакого непосредственнаго отношенія къ «практическимъ задачамъ, выдвинутымъ на первый планъ крупною промышленностью» (если не считать таковою скотоводство, изъ практики котораго самъ Дарвинъ кое-что заимствовалъ и едва-ли въ свою очередь на него повліялъ). Я воображаю положеніе самого Дарвина, если бы ему довелось прочесть размышленія г. Тугана! Онъ особенно удивился бы тому, что именно изъ него, изъ его личной жизни дѣлаютъ какой-то аргументъ противъ значенія индивидуальности въ развитіи склонностей; ибо такимъ образомъ ниспровергается одинъ изъ главныхъ столповъ всего его ученія. Не одному этому, конечно, подивился бы Дарвинъ, но и мы, простые люди, знакомые все-таки съ трудами и біографіей Дарвина, можемъ руками развести.

Родъ Дарвиновъ часто приводится, какъ типическій образчикъ наслѣдственности талантовъ и склонностей. Дѣдъ Чарльза Дарвина, Эразмъ, былъ ботаникъ и поэтъ, и въ стихахъ, и въ прозѣ до известной степени предвосхитилъ нѣкоторыя идеи своего знаменитаго внука. Братъ Эразма, Робертъ, былъ также ботаникъ и написалъ очень цѣнвившія въ свое время «Начала ботаники». Старшій сынъ Эразма былъ фізіологъ. Отецъ Чарльза былъ врачъ, славившійся, какъ діагностъ, и, вообще, обладавшій, повидимому, исключительною наблюдательностью; онъ также занимался цвѣтоводствомъ и садоводствомъ. Что наблюдательность въ связи съ широкимъ воображеніемъ получены Чарльзомъ Дарвиномъ по наслѣдству, въ этомъ сомнѣваться мудро, хотя мы не знаемъ и никогда не узнаемъ тайны индивидуальныхъ особенностей великаго натуралиста, заложенныхъ быть можетъ въ моментъ зачатія, въ связи съ наслѣдственностью по женской линіи, настроеніемъ духа родителей и проч. Труднѣе утверждать, что склонность именно къ естествознанію была наслѣдственнымъ даромъ, но здѣсь должны придти на помощь фамиліи преданія, домашняя обстановка и проч. Надо, однако, замѣтить, что естествоиспытатель Дарвинъ сложился далеко не сразу. Учился онъ плохо, увлекался больше охотой, рыбной ловлей и коллекціонированіемъ, и притомъ не только естественно-историческихъ предметовъ, минераловъ, насекомыхъ и проч., а и печатей, монетъ и т. п. Затѣмъ онъ готовился въ Единбургѣ къ медицинской карьерѣ, къ которой не чувствовалъ, однако, никакой склонности. Отношеніе его къ естествознанію было въ это время двойственное: онъ съ отвращеніемъ слушалъ лекціи по анатоміи, по геологіи, но охотно ѣздилъ съ нѣкимъ зоологомъ Грантомъ, поклонникомъ Ламарка, на морской берегъ для собиранія морскихъ животныхъ. Черезъ два года Дарвинъ сталъ готовиться въ священники и перешелъ въ Кембриджскій университетъ. Здѣсь судьба столкнула его съ ботаникомъ Генсло, который сумѣлъ заинтересовать его естествознаніемъ, главнымъ образомъ, экскурсіями и собираніемъ коллекцій. Этотъ же Генсло устроилъ ему мѣсто на кораблѣ «Бигль», на которомъ онъ отправился въ путешествіе, главнымъ образомъ, въ качествѣ эстетика, любителя природы, охотника и коллекціонера. Но здѣсь-то, во время пятилѣтняго плаванія на «Бигль», пятилѣтняго отдаленія отъ всего европейскаго шума, — въ томъ числѣ и отъ практическихъ задачъ, выдвигаемыхъ крушою промышленностью, — сложился тотъ великій натуралистъ, котораго мы знаемъ...

Затѣмъ я все это рассказываю? Вѣдь, это можно прочесть въ любой біографіи Дарвина, а ихъ и на русскомъ языкѣ десятки. Затѣмъ, читатель, чтобы ярче отбѣнить глубокомысліе г. Тугана.

Мы, простые люди, да и не только мы, а и люди науки, интересуемся законами наследственности и изменчивости, фактической стороной биографии знаменитого натуралиста и проч., а г. Туганъ—онъ на три аршина подъ землей видитъ: все это «мимолетное», а ему надо что-нибудь «пофундаментальнѣе, поздоровѣе», чтобы ужъ «до всего на свѣтѣ». И онъ находитъ это фундаментальное въ практическихъ задачахъ, выдвигаемыхъ развитіемъ крупной промышленности...

Но вернемся къ Дарвину и подойдемъ къ нему съ такой стороны, на которую г. Туганъ, будь онъ менѣе глубокомысленъ, имѣлъ-бы гораздо болѣе резоновъ сослаться. Что выборъ занятій Дарвина опредѣлился практическими задачами, выдвигаемыми развитіемъ круной промышленности,—это просто смѣшной вздоръ, но что развитіе это имѣло свою долю вліянія на самое содержаніе ученія Дарвина,—это весьма вѣроятно. Первое мѣсто принадлежитъ здѣсь, конечно, самостоятельному преемственному ходу развитія самой науки. Обобщеніе, столь солидно поставленное, какъ теорія Дарвина, не могло явиться раньше, чѣмъ наука накопила достаточное количество специальныхъ наблюденій и фактовъ. Затѣмъ и общее содержаніе ученія Дарвина—измѣнчивость видовъ—было болѣе, чѣмъ подготовлено трудами Ламарка, Жоффруа Сентъ-Илера и проч. Дарвинъ въ этомъ смыслѣ не сказалъ новаго слова, а только далъ прочную и широкую опору слову, до него сказанному. Новое слово состояло въ указаніи тѣхъ путей, которыми отъ вѣка и до вѣка шло и будетъ идти измѣненіе видовъ. Здѣсь, кромѣ развѣ Мальтуса, нельзя указать ни одного прямого личнаго или сколько-нибудь значительнаго преемственно-научнаго вліянія. Но за то теорія пассивно механическаго подбора приспособленныхъ и переживанія, въ лютой борьбѣ за существованіе, лучшихъ и высшихъ организмовъ—есть прямое отраженіе и какъ-бы принципиальное оправданіе той бѣшеной общественной конкуренціи, въ которой развитіе крупной промышленности играетъ столь видную роль. Рекомендую эту тему г. Тугану. Разрабатывая ее, онъ не упуститъ, конечно, изъ вида и того, что какъ ни мощенъ былъ голосъ Дарвина и какъ ни восторженно былъ онъ привѣтствованъ и ученымъ міромъ, и профанами, но встрѣчалъ и протесты, какъ со стороны правотѣрныхъ сторонниковъ идеи постоянства видовъ, такъ и со стороны людей, вполне признававшихъ ихъ измѣнчивость и огромныя заслуги Дарвина въ этомъ общемъ смыслѣ; но они, послѣдніе, полагали, полагаютъ и все настойчивѣе продолжаютъ утверждать, что пути развитія органической жизни указаны Дарвиномъ односторонне и не полно, и что борьба за существо-

ваніе и переживаніе приспособленныхъ не играютъ той благотворной роли, которую имъ приписывалъ Дарвинъ.

Куда ужъ, впрочемъ, г. Тугану заниматься такими мелочами! Онъ на три аршина подъ землей видитъ и, гордый этою своею проищательностью, тѣмъ, что добрался, наконецъ, до «самой жилы», презираетъ все, что у него, съ позволенія сказать, передъ носомъ дѣлается, все «мимолетное». Но я рѣшительно утверждаю, что идеи г. Тугана или не будутъ имѣть никакого положительнаго вліянія, или вліяніе какъ разъ противоположное тому, на которое онъ разсчитываетъ; онъ желаетъ ввести насъ въ глубь вещей, а на дѣлѣ, если научить чему-нибудь, то верхоглядству и неозволительно поверхностному отношенію къ наукѣ и жизни: онъ хочетъ схватить жизнь въ самомъ широкомъ ея основаніи, всѣ частности обнимающимъ, а на дѣлѣ учить грубѣйшей односторонности и узости; онъ, наконецъ, желаетъ возвеличить идею такъ называемаго экономическаго матеріализма и — компрометируетъ ее. Развѣ въ самомъ дѣлѣ глубина, а не верхоглядство это разсужденіе объ Августинѣ и Дарвинѣ? И какая односторонность, узость, тусклость всего міросозерцанія, поскольку оно отразилось въ этомъ эпизодѣ! Весь пестрый переплетъ законовъ наследственности и измѣчивости, самими же Дарвинимъ формулированныхъ, весь преемственный ходъ развитія біологін, все вліяніе непосредственно окружающей среды, воспитанія, чтенія, вся психологія путешественника, пять лѣтъ живущаго вдали отъ текущихъ дѣлъ родины и Европы вообще, — всѣ своеобразныя комбинаціи красокъ и звуковъ жизни перажаются, все получаетъ однотонный, тусклый характеръ. Г. Туганъ возразить можетъ быть, что «наука ни передъ чѣмъ не преклоняется», и что если мнѣ жаль той шумной пестроты жизни, которую онъ упраздняетъ своимъ ключомъ отъ всѣхъ ключей, — такъ я долженъ все-таки смириться передъ голосомъ науки. Да, мнѣ жаль этихъ стертыхъ красокъ, этихъ заглушенныхъ звуковъ, но собственно для меня никакіе Туганы ихъ не сотрутъ и не заглушатъ; а истинно жаль мнѣ тѣхъ, кто, повѣривъ г. Тугану, начнетъ смотрѣть на бѣлый свѣтъ холодными и тусклыми рыбьими глазами, въ увѣренности, что это и есть «научный» взглядъ. Въ дѣйствительности, это пропаганда не науки, а самоуувѣреннаго невѣжества. И понятно, что если я повѣрю г. Тугану, такъ незачѣмъ мнѣ знакомиться ни съ трудами, ни съ жизнью Дарвина, равно какъ и другихъ современныхъ натуралистовъ: и Бэръ, и Фогтъ, и Гельмгольцъ, и Фехнеръ, и Геккель и проч. — всѣ уравниваются въ этой формулѣ: стали натуралистами, потому что практическія задачи крупной промышленности и т. д. Правда, напримѣръ, Пьютонъ и многіе другіе знаменитые люди занимались естествознаніемъ задолго до требованій

современной крупной промышленности; правда, что и наши знаменитѣйшіе современники не все естествоиспытатели, а есть между ними и Гладстонъ, и Марксъ, и Ренанъ, и Гюго, и Парнель, и Моммсенъ, и Толстой, и Иерингъ и проч., и проч., и проч., — но это я мимо ушей пропущу, какъ многое пропускаетъ мимо ушей и мой учитель, г. Туганъ...

Я остановился на диссертациі г. Тугана объ Августинѣ и Дарвинѣ (и все-таки не исчерпалъ ея достоинствъ), какъ на типичномъ образчикѣ его разсужденій вообще. Но это не снимаетъ съ меня грустной обязанности пересмотрѣть и другія страницы статьи г. Тугана. Однако, исполненіе этой обязанности приходится, за недостаткомъ мѣста и времени, отложить до слѣдующаго раза. Одно прибавлю въ заключеніе. Я сказалъ, что идеи г. Тугана или не будутъ имѣть никакого вліянія, или противоположное тому, на которое онъ разсчитываетъ. Но возможенъ еще исходъ. Быть можетъ, люди склонные къ слѣпой вѣрѣ подъ флагомъ науки и критики, и люди, склонные къ верхоглядству подъ флагомъ глубины, — согласятся, читатель, что такіе у насъ есть, — уразумѣвъ статью г. Тугана, скажутъ себѣ: нѣтъ, это ужъ чересчуръ! такъ нельзя! Надо серьезнѣе, вдумчивѣе, самостоятельнѣе пересмотрѣть свой багажъ, а то чего добраго до этакого-же договориться... Если результатъ будетъ дѣйствительно таковъ, то да благословенъ будетъ жизненный путь г. Тугана: онъ сослужилъ хорошую службу...

XII *).

Еще о г. Туганъ-Барановскомъ и экономическомъ факторѣ. — „Чумазын“ и „Культурный прогрессъ Россіи“.

Мнѣ говорятъ и пишутъ, что я не долженъ былъ обращать вниманіе на статью г. М. Тугана-Барановскаго, въ виду ея слишкомъ уже очевидной слабости; что писать объ ней, а тѣмъ болѣе возвращаться къ ней значитъ придавать ей несоответственное значеніе. Не могу согласиться съ этимъ мнѣніемъ. Г. Туганъ-Барановскій—человѣкъ науки, въ нѣкоторомъ родѣ авторитетъ, такъ что въ буквальномъ смыслѣ *magister dixit*. Это съ одной стороны, а съ другой—никогда еще можетъ быть у насъ не было столько людей, склонныхъ *jurare in verba magistri*, какъ теперь, хотя и не въ буквальномъ смыслѣ *magistri* и подъ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы *magister* говорилъ именно то, что, въ общихъ чертахъ, угодно самимъ слушателямъ. Немножко это странное положеніе для *magister'a*, но г. Туганъ-Барановскій вполне удовлетворяетъ такому требованію. Далѣе, соблазняющимъ образомъ должно дѣйствовать самое изложеніе г. Тугана-Барановскаго. Развивая ту же самую мысль, которая лежитъ въ основаніи книжки г. Вельтова «Къ вопросу о развитіи монистическаго взгляда на исторію», г. Туганъ-Барановскій дѣлаетъ это гораздо спокойнѣе и, такъ сказать, прозрачнѣе. Г. Вельтовъ лжетъ, кувыркается, пляшетъ въ присядку, эскурируетъ въ Гегелеву философію и всѣми этими приемами—однимъ отводитъ глаза отъ существа дѣла, а другимъ внушаетъ недоверіе. Г. Туганъ-Барановскій не прибѣгаетъ ни къ какимъ фокусамъ, онъ весь какъ на ладони, и если, благодаря этому, несостоятельность его положеній и слабость его аргументаціи дѣйствительно ясно выступаютъ, то много, напротивъ, можетъ подкупить эта прозрачная ясность и безхитрость: очевидно, добросовѣстный человѣкъ, которому довѣрится можно. Я и не сомнѣ-

*) Февраль, 1896 г.

ваюсь въ добросовѣстности г. Тугана-Барановскаго, и если говорилъ о нѣкоторомъ его «наивномъ лукавствѣ», то разумѣлъ лукавство именно наивное, почти безсознательно обходящее то или другое логическое или фактическое преніяствіе. Это лукавство классическаго страуса, прячущаго голову, чтобы не видѣть опасности, а не наглое поведеніе гуся, который хочетъ замаскировать грозящую ему опасность и даже другихъ наугать безпорядочнымъ гоготаньемъ, шипѣньемъ и размахиваніемъ беспильныхъ крыльевъ. И тѣмъ не менѣе, я не рѣшился бы сказать категорически, кто лучше, кто хуже: гусь или страусъ, ибо при всемъ безобразіи гуся—г. Бельтова, онъ въ то же время понимаетъ вещи много шире и жизненнѣе, чѣмъ благообразный страусъ — г. Туганъ-Барановскій. Какъ бы то ни было, я не объ томъ жалѣю, что заговорилъ о статьѣ г. Тугана-Барановскаго, а объ томъ, что мнѣ не пришлось кончить этотъ разговоръ въ одной статьѣ. — Чисто техническое неудобство: приходится повторять кое-что уже сказанное въ прошлый разъ.

Послѣдовательно отметая различныя историческія теоріи, какъ скользящія лишь по поверхности исторической жизни, г. Туганъ-Барановскій останавливается, наконецъ, на формахъ производства и обмѣна, какъ на послѣднемъ, наиболѣе глубоко лежащемъ факторѣ, единственно способномъ объяснить въковѣчную смѣну историческихъ явленій. Этотъ свой главный тезисъ авторъ доказываетъ, во-первыхъ, отрицательнымъ путемъ. — путемъ критики другихъ историческихъ теорій; во-вторыхъ, — положительными доводами отъ разума и въ-третьихъ, наконецъ, фактическими иллюстраціями.

Мы остановились на двухъ образчикахъ фактическихъ иллюстрацій: на примѣрѣ Дарвина, который будто бы потому обратился къ естествознанію, что того требовали практическія задачи, выдвинутыя на первый планъ развитіемъ крупной промышленности, и на идеяхъ Ад. Смита, которыя оказали вліяніе, прямо противоположное тому, на которое рассчитывалъ самъ Смитъ. Можно бы еще многое небезынтересное отмѣтить по поводу примѣра Дарвина, но я полагаю, что и сказаннаго въ прошлый разъ достаточно для освѣщенія фактической достовѣрности и логической доказательности утвержденія г. Тугана-Барановскаго. Мы видѣли, что вмѣсто обѣщанной глубины онъ предлагаетъ даже до странности поверхностное объясненіе и вмѣсто какого-то особеннаго, коренного знанія учить простому незнанію. Именно учить незнанію, какъ ни странно можетъ показаться это выраженіе. Характерна при этомъ самоувѣренность, съ которою г. Туганъ-Барановскій разрушаетъ одинъ изъ запутаннѣйшихъ узловъ цѣлаго ряда научныхъ вопросовъ. Характерна и та слѣпота, съ которою онъ упускаетъ изъ

вида по истинѣ безчисленное множество явленій, рѣзко противорѣчащихъ его выводу.

Что касается вліянія идей Адама Смита, то этой иллюстраціи я буду имѣть случай коснуться съ нѣкоторою подробностью ниже. Теперь намъ слѣдуетъ обратиться къ критическимъ приѣмамъ г. Тугана-Барановскаго, и прежде всего, конечно, къ тому, какъ онъ понимаетъ то, что критикуеть. Наибольшее вниманіе удѣляетъ онъ ученію объ идеяхъ, какъ о двигателѣ исторіи. Свое изложеніе этого ученія онъ начинаетъ съ Луи Влана, точнѣе сказать,—съ одной фразы Луи Влана въ «Исторіи французской революціи»: исторію движетъ «не сила, что бы ни говорила вѣщность, но мысль: исторія дѣлается книгами». «Съ этой точки зрѣнія,—продолжаетъ уже отъ себя нашъ авторъ,—важнѣйшимъ факторомъ исторіи является развитіе человѣческаго ума, распространеніе просвѣщенія въ народѣ. Разуму, интеллекту приписывается первенствующая роль въ жизни отдѣльнаго человѣка и всего общества, а чувства привычки, желанія, страсти человѣка признаются мало-важнымъ элементомъ въ его жизни, не имѣющимъ никакого историческаго значенія». Такая «историческая философія», по мнѣнію автора, характерна для конца прошлаго столѣтія. «Французскіе матеріалисты XVIII столѣтія, послѣдователи Вольтера и Руссо, экономисты школы Смита, философы и юристы школы Бенгтама, наконецъ, сами дѣятели революціи,—все эти столь различные по своимъ цѣлямъ и стремленіямъ люди сходились въ томъ, что мысль, разумъ они ставили впереди чувства. Можно сказать, что чувство они совсѣмъ игнорировали». Точно также и «утописты XIX вѣка, Оуэнъ, Сент-Симонъ, Фурье, были полны наивной вѣры во всемогущество идеи». «Подобныя же воззрѣнія долгое время пользовались неограниченнымъ кредитомъ и у насъ. Припомнимъ столь популярное у насъ ученіе о роли «критически мыслящей личности» въ историческомъ процессѣ».

Это—весьма даже мало сокращенное изложеніе экскурсіи г. Тугана-Барановскаго въ область литературы занимающаго его вопроса, и во всякомъ случаѣ здѣсь не пропущенъ ни одинъ изъ фактовъ этой литературы, привлеченныхъ къ себѣ его вниманіе. Просматривая эти факты, вы невольно изумляетесь, не встрѣчая среди нихъ нѣкоторыхъ очень крупныхъ явленій, быть можетъ наиболѣе крупныхъ въ данной области. Въ самомъ дѣлѣ, почему въ списокъ писателей и мыслителей, заблуждающихся насчетъ роли «развитія человѣческаго ума и распространенія просвѣщенія», имѣтъ Ог. Конта, Дж. Ст. Милля, Вокля? Съ высоты величія, на которой стоитъ нашъ авторъ, эти люди можетъ быть и заслуживаютъ презрительнаго упоминанія, но съ этой высоты равно презрѣнны и Вольтеръ, и Руссо

и проч., однако онъ соблаговолилъ объ нихъ упомянуть. Между тѣмъ, для насъ, обыкновенныхъ читателей, означенные три мыслителя представляютъ особенный интересъ. Во-первыхъ, они къ намъ ближе по времени и пользуются у насъ значительною популярностью; во вторыхъ, они высказались по вопросу о значеніи идей и знанія, какъ историческаго фактора, такъ сказать, специально, и притомъ съ не оставляющею никакимъ сомнѣніямъ мѣста ясностью и опредѣленностью. Было бы слишкомъ долго, да и не входить въ мои цѣли, излагать эти взгляды въ подробности, но въ «Системѣ логики» Милля есть посвященная занимающей насъ темѣ страничка, которая, помимо своего общаго интереса, пригодится намъ впоследствии для нѣкоторыхъ частныхъ замѣчаній. Я ее выпишу.

«Въ трудномъ приѣмѣ наблюденія и сравненія... мы, очевидно, получили бы большую помощь, если бы оказалось фактомъ, что который либо изъ элементовъ сложнаго существованія общественнаго человѣка господствуетъ надъ всѣми другими, какъ *primus agens* социальнаго движенія. Въ такомъ случаѣ мы могли бы взять прогрессъ одного этого элемента за центральную цѣль, съ каждымъ послѣдовательнымъ звеномъ которой соединяются соотвѣтствующія звенья всѣхъ другихъ прогрессій, такъ что послѣдовательность фактовъ, уже въ силу одного этого, являлась бы въ видѣ самобытнаго порядка, гораздо ближе подходящаго къ дѣйствительному порядку ихъ зависимости, чѣмъ получаемый какимъ бы то ни было другимъ чисто эмпирическимъ процессомъ. Но свидѣтельство исторіи и свидѣтельство человѣческой природы, представляя здѣсь разительный примѣръ согласія, показываютъ, что дѣйствительно есть социальный элементъ, имѣющій перевѣсъ и почти господство между силами общественнаго прогресса. Этотъ элементъ—состояніе умозрительныхъ способностей людей, со включеніемъ свойства вѣрованій, которыхъ они какимъ бы то ни было способомъ достигли относительно себя самихъ и окружающаго міра. — Было бы большою ошибкою, которую едва-ли кто сдѣлаетъ, утверждать, что умозрѣніе, умственная дѣятельность, изслѣдованіе истины принадлежатъ къ самымъ могущественнымъ склонностямъ человѣческой природы или занимаетъ господствующее мѣсто въ жизни недѣлимыхъ, кромѣ нѣкоторыхъ, вполне исключительныхъ. Но несмотря на относительную слабость этого принципа между другими общественными силами, вліяніе его есть главная опредѣляющая причина общественнаго прогресса, такъ какъ всѣ другія настроенія нашей природы, содѣйствующія прогрессу, зависятъ отъ него въ средствахъ исполненія своей доли вліянія. Такимъ образомъ... побудительная сила къ большей части улучшеній въ жизненныхъ

искусствахъ есть желаніе увеличить матеріальный комфортъ; но такъ какъ мы можемъ дѣйствовать на вѣншіе предметы только по мѣрѣ нашего знанія ихъ, то состояніе познаній въ каждое данное время есть предѣлъ промышленныхъ улучшеній, возможныхъ въ это время; и прогрессъ промышленности долженъ слѣдовать прогрессу знаній и зависеть отъ него. Можно показать, что то же самое справедливо, хотя не такъ очевидно, относительно прогресса изящныхъ искусствъ. Далѣе, такъ какъ сильнѣйшія склонности необразованной или полуобразованной человѣческой природы (т. е. чисто эгоистическія, а изъ симпатическихъ лишь тѣ, которыя наиболѣе подходятъ къ эгоизму), очевидно, сами по себѣ стремятся разъединить человѣчество, а не связать его, сдѣлать людей соперниками, а не союзниками, — то общественное существованіе возможно только посредствомъ дисциплинированія этихъ болѣе могущественныхъ склонностей, которое состоитъ въ подчиненіи ихъ общей системѣ мнѣній. Степень этого подчиненія есть мѣра полноты общественного союза, а свойство общихъ мнѣній опредѣляетъ его родъ. Но для того, чтобы человѣчество сообразовало свои дѣйствія съ извѣстнымъ родомъ мнѣній, эти мнѣнія должны существовать, должны быть имъ признаваемы. Такимъ образомъ, состояніе умозрительныхъ способностей, характеръ предложеній, признаваемыхъ умомъ, существеннымъ образомъ опредѣляетъ нравственное и политическое состояніе общества, такъ же, какъ оно опредѣляетъ и его физическое состояніе. Эти заключенія, выведенныя изъ законовъ человѣческой природы, находятся въ совершенномъ согласіи съ общими фактами исторіи. Каждое исторически извѣстное намъ значительное измѣненіе въ состояніи какой-нибудь части человѣчества, если оно не произведено вѣншіею силою, было предшествоваемо соотвѣтствующимъ по размѣру измѣненіемъ въ состояніи знаній или въ господствующихъ вѣрованіяхъ. Всякое данное состояніе умозрѣнія почти всегда обнаруживалось раньше соотвѣтствующаго ему состоянія всѣхъ другихъ явленій, хотя дѣйствія безъ сомнѣнія сильно воздѣйствовали на причину. Каждое значительное преуспѣяніе въ вещественной цивилизаціи было предшествоваемо успѣхомъ въ знаніяхъ; и когда происходила какая-нибудь великая общественная перемѣна, путемъ-ли постепеннаго развитія или быстрого переворота, предвѣстницею ея была великая перемѣна въ мнѣніяхъ и образѣ мыслей общества». (Система логики, II, 507. Ср. сужденія Милля о томъ же предметѣ въ статьѣ «Огюсть Контъ и позитивизмъ»).

По соображеніямъ, изложеннымъ много лѣтъ тому назадъ, я не могу примкнуть къ тѣмъ основаніямъ философій исторіи, которыя указаны въ приведенныхъ словахъ Милля. Но дѣло не во мнѣ,

а въ г. Туганъ-Барановскомъ. Приведенная изъ «Системы логики» страница сама по себѣ была бы достойна его вниманія, и если прибавить къ ней труды Конта и Бокля, то получится во всякомъ случаѣ стройное, и въ логическомъ, и въ фактическомъ отношеніи не плохо защищенное ученіе, которымъ, повидимому, прежде всего надлежало бы заняться г. Тугану-Барановскому. Однако, онъ его даже хотъ какимъ-нибудь бѣглымъ намекомъ не коснулся въ своей экскурсіи въ исторію литературы занимающаго его вопроса.—точно ничего этого не было: ни такой постановки вопроса, ни такой аргументаціи, ни фактическаго приложенія этой точки зрѣнія къ историческимъ даннымъ въ трудахъ крупныхъ и просвѣщенныхъ умовъ. Самоотверженно лишивъ себя такимъ образомъ блестящаго случая развернуть свои критическія силы, а вмѣстѣ съ тѣмъ и свою собственную точку зрѣнія выяснить, г. Туганъ-Барановскій предпочитаетъ остановиться на фразѣ Луи Блана: исторію движеть «не сила, что бы ни говорила виѣшность, но мысль: исторія дѣлается книгами».

Луи Бланъ былъ очень умный человѣкъ съ благороднѣйшими стремленіями, трудолюбивый историкъ и блестящій писатель: но можетъ быть уже слишкомъ блестящій, въ томъ смыслѣ, что красивая своею цвѣтистостью или рѣзкою законченностью фраза нерѣдко вводила его въ искушеніе. Одна изъ такихъ «фразъ» и есть та, которую г. Туганъ-Барановскій избралъ исходною точкою для своей критики. Конечно, для человѣка, имѣющаго въ запасѣ такія возраженія, какъ «мало кто читаетъ серьезныя книги» и тому подобныя, простите меня, пустяки, — эта фраза Луи Блана сущій кладъ. Но человѣкъ болѣе къ себѣ требовательный отмѣтитъ, пожалуй, фразу, какъ фразу, но затѣмъ устремитъ свое вниманіе на существо дѣла. И вотъ, еслибы нашъ авторъ ноступалъ подобно этому требовательному человѣку, онъ увидѣлъ бы въ нѣкоторыхъ сочиненіяхъ Луи Блана весьма яркія черты того самаго философско-историческаго ученія, которое исповѣдуетъ онъ, г. Туганъ-Барановскій: истолкованіе если не всемірной исторіи, то отдѣльных ея эпизодовъ борьбою классовъ, опредѣляемыхъ экономическими признаками. Я не хочу сказать, что Луи Бланъ былъ столь же одностороненъ и узокъ, какъ г. Туганъ-Барановскій, или что для послѣдняго обязательны всѣ подробности взглядовъ Луи Блана или его практическія планы. Я говорю только, что г. Туганъ-Барановскій имѣетъ или, по крайней мѣрѣ, даетъ своимъ читателямъ извращенное, невѣрное понятіе о Луи Бланѣ, и что, ухватившись за одинъ клочокъ изъ сочиненій послѣдняго, онъ лишаетъ себя до извѣстной степени союзника по общему теоретическому вопросу о значеніи экономическаго фактора въ исторіи.

Что же это, однако, значитъ? Въ лицѣ Милля, Конта, Бокля г. Туганъ-Барановскій замалчиваетъ противниковъ, достойныхъ того, чтобы нанести на себѣ удары его пронизательной критики, а въ лицѣ Луи Блана—превращаетъ союзника въ противника и тѣмъ создаетъ себѣ возможность получить очень дешевые лавры побѣдителя *). Можно сдѣлать разныя предположенія относительно причинъ такого страннаго поведения г. Тугана. Можно подумать, напримѣръ, что имъ руководить именно желаніе стяжать возможно дешевые лавры,—но это какъ-то не идетъ къ нему: слишкомъ онъ простодушенъ и слишкомъ вѣрить въ свой ключъ отъ всѣхъ ключей, чтобы намеренно избѣгать турнира съ какимъ-то тамъ Миллемъ или Контомъ. Можно, далѣе, думать, что онъ просто не знаетъ того, о чемъ говорить,—но, хотя предметъ спеціальнаго изученія г. Тугана-Барановскаго, политическая экономія, не обязательно требуетъ знакомства съ историческими теоріями, однако, разъ онъ заговорилъ о послѣднихъ, притомъ такимъ авторитетнымъ тономъ, не хочется допустить, чтобы онъ не потрудился хотя *ad hoc* съ ними познакомиться.

А между тѣмъ, умолчаніемъ о Миллѣ, Контѣ, Боклѣ и операцией съ Луи* Бланомъ не исчерпываются странности экскурсій г. Тугана-Барановскаго въ литературу вопроса объ идеяхъ и знаніяхъ, какъ историческихъ факторахъ. Передъ нами еще удивительная куча изъ «французскихъ матеріалистовъ XVIII столѣтія, послѣдователей Вольтера и Руссо, экономистовъ школы Смита, философовъ и юристовъ школы Бентама, дѣятелей революціи», затѣмъ «утопистовъ XIX вѣка, Овена, Сентъ-Симона, Фурье». Всѣ эти люди, по мнѣнію г. Тугана-Барановскаго, «были полны наивной вѣры во всемогущество идеи»; въ ихъ писаніяхъ «важнѣйшимъ факторомъ исторіи является развитіе человѣческаго ума, распространеніе просвѣщенія въ народѣ; разуму, интеллекту приписывается первенствующая роль въ жизни отдѣльнаго человѣка и всего общества, а чувства, желанія, привычки, страсти человѣка признаются маловажнымъ элементомъ въ его жизни». «Можно сказать, что чувства они совсѣмъ игнорировали», говоритъ г. Туганъ-Барановскій.

*) Правда, г. Туганъ-Барановскій не воспользовался этою возможностью, ибо для того, чтобы опровергнуть вышеприведенную фразу Луи Блана, нѣтъ никакой надобности говорить объ томъ, что книги мало кто серьезно читаетъ; достаточно напомнить, что было время, когда книгъ не было вовсе, а исторія-то все-таки сдвигалась. Если же авторъ хотѣлъ познакомить насъ съ дѣйствительными теоретическими взглядами Луи Блана на вліяніе книги, то ему надлежало обратиться къ главамъ «*De la propriété littéraire*» въ «*Organisation du travail*», а не къ случайной фразѣ въ «Исторіи революціи».

Это ужасно, читатель! истинно ужасно, если вы примите въ соображеніе, что имѣете дѣло съ человѣкомъ науки. Напоминать-ли ему—ну хоть слѣдующія слова Руссо въ «Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité»: «Только дѣятельностью страстей совершенствуется нашъ разумъ; мы хотимъ знать только потому, что хотимъ наслаждаться, и невозможно понять, зачѣмъ сталъ бы умиствовать тотъ, кто лишенъ желаній и опасеній». Напоминать-ли, что Смитъ написалъ «Теорію нравственныхъ чувствъ», что Бентамъ считалъ основнымъ двигателемъ человѣческой природы стремленіе къ наслажденію и боязнь страданія, что Фурье былъ авторомъ цѣлой теоріи страстей и т. д., и т. д., и т. д. Все это такъ элементарно и общезвѣстно, что опровергать г. Тугана-Барановскаго просто стыдно. Но тѣмъ интереснѣе становится вопросъ о причинахъ, побудившихъ его столь размахисто отнестись къ чрезвычайно сложнымъ моментамъ исторіи мысли.

Нѣкоторый отдаленный, едва брежущій свѣтъ можетъ бросить на это обстоятельство слѣдующее заявленіе г. Тугана-Барановскаго все о тѣхъ же вышеперечисленныхъ, такъ удивительно однообразно заблуждавшихся людяхъ. Для нихъ, по словамъ г. Тугана-Барановскаго, «сила человѣческой мысли и просвѣщенія такъ велика, что предъ нею не могутъ устоять предразсудки и предубѣжденія, порождаемые невѣжествомъ, и потому измѣненія социальнаго строя происходятъ съ такою же легкостью, съ какою открываются новыя идеи».

Что тѣ предразсудки и предубѣжденія, которые порождаются невѣжествомъ, не могутъ устоять противъ силы просвѣщенія, это несомнѣнно, какъ таблица умноженія. Но дѣло въ томъ, что есть предразсудки, то есть предъ разсужденіемъ принятія положенія, зависяція не отъ невѣжества или не отъ одного невѣжества. Что же касается легкости, съ какою могутъ происходить измѣненія социальнаго строя, то, вообще говоря, конечно, мы, люди почти уже XX вѣка, смотримъ на вещи въ этомъ отношеніи трезвѣе, чѣмъ молодая, неопытная, только что вырвавшаяся на свободу мысль XVIII столѣтія. Надо, однако, замѣтить, что еслибы г. Туганъ взялъ на себя трудъ присмотрѣться къ взглядамъ писателей и мыслителей, сметенныхъ имъ въ одну кучу, то онъ увидѣлъ бы у различныхъ представителей этой кучи весьма большую разницу въ степени этой самой «легкости», такъ что иныхъ, пожалуй, даже не придется уличать въ ней. Да не этого, но всѣмъ видимостямъ, автору и надо. Заблужденіе поименованныхъ писателей и мыслителей, общее всѣмъ имъ, состоитъ, повидимому, не въ томъ, что они вѣрили въ легкость измѣненія социальнаго строя, а въ томъ, что они вообще домогались этого измѣненія въ направленіи свихъ идеаловъ. Если, однако, это заблужденіе, то само по себѣ оно свойственно

всѣмъ людямъ, принимающимъ участіе въ общественной жизни (въ томъ числѣ и г. Тугану), хотя, разумѣется, они очень различаются между собою, какъ относительно качествъ своихъ идеаловъ, такъ и относительно мнѣнія о легкости приближенія къ нимъ. Въ этомъ смыслѣ г. Туганъ-Барановскій, конечно, правъ, ставя за одну скобку Смита и Фурье, Руссо и Бентама и проч., какъ былъ бы правъ я, ставя за ту же скобку, напримѣръ, г. Тугана, кн. Менцера, самого себя, гр. Толстого и проч. Очевидно, однако, что это скобки ужъ слишкомъ широкія и при томъ отнюдь не совпадающія съ тѣми, за которыя г. Туганъ-Барановскій засадилъ Вольтера, Руссо, Смита, Бентама, дѣятелей революціи, утопистовъ и проч. Въ дѣйствительности эти люди разсчитывали не только на «всемогущество идеи», а и кто на медленныя законодательныя реформы, кто на насильственный переворотъ и устрашеніе, кто на силу нагляднаго примѣра и т. д. Если бы, напримѣръ, дѣятели революціи вѣрили во всемогущество идеи, въ томъ смыслѣ, какъ это понимаетъ нашъ авторъ, имъ не было бы никакой надобности рубить людямъ головы, этотъ очагъ идей. Это вѣдь ужъ ни въ какомъ случаѣ не «горячее слово убѣжденія», которое г. Туганъ-Барановскій въ своемъ чрезвычайномъ великолѣпнѣ такъ презираетъ.

Мы, кажется, поняли ту общую скобку, въ которую г. Туганъ-Барановскій заключаетъ самыя разнообразныя явленія, а вмѣстѣ поняли и совершенную ея несостоятельность. Но изъ помогшаго намъ въ этомъ дѣлѣ замѣчанія г. Тугана-Барановскаго мы можемъ извлечь и еще нѣчто поучительное. Отдавъ должную дань трезвости автора, считающаго измѣненіе соціальнаго строя дѣломъ не легкимъ, нельзя не удивиться, что «открытіе новыхъ идей» представляется ему, напротивъ, очень легкимъ. Это чрезвычайно характерная черта. Кто интересовался историческимъ ходомъ развитія идей, тотъ знаетъ, какъ многотруденъ и многосложенъ ихъ путь. Говоря словами Мефистофеля,

Wer kan was Dummes, wer was Kluges denken,
Das nicht die Vorwelt schon gedacht?

И люди, дѣйствительно поработавшіе на поприщѣ мысли и внесшіе нѣчто новое въ ея сокровищницу,—въ большинствѣ случаевъ лишь новыя комбинаціи старыхъ истинъ или новыя ихъ отбѣлки въ связи съ накопленіемъ фактическихъ знаній,—цѣнятъ не только это новое, но и тотъ страдный путь, которымъ преемственная человеческая мысль доработалась до него. Другое дѣло господа, получившіе свою истину даромъ, на вѣру. Имъ, конечно, «открытіе новыхъ идей» должно представляться легкимъ дѣломъ: они сами — живой примѣръ этой легкости, если не открытія, то усвоенія но-

выхъ идей. Представьте себѣ вѣками воздвигаемый храмъ чело-
вечской мысли и въ немъ гробницы почившихъ работниковъ храма.
И вотъ эти господа.—

Для нихъ вѣдь камни эти нѣмы!
Они предъ этими мужами
Не заливались слезами,
Съ стыдомъ не потупляли взоръ...

Какой ужъ тутъ стыдъ! По собственнымъ надобностямъ они
рѣдко въ храмъ заглядываютъ, — зачѣмъ? они имѣютъ въ своемъ
распоряженіи новое, окончательное; а тамъ, въ храмѣ, нѣтъ ничего,
кромѣ памятниковъ заблужденія, въ которыхъ и разбираться не
стоитъ: все заблужденія и всѣ въ этомъ смыслѣ равны между собою.
Но этого мало. Эти господа берутся быть нашими проводниками,
путеводителями по храму: пойдемте, дескать, мы вамъ покажемъ,
что люди до насъ вралі; вотъ Милль, Контъ, Бокль. — мимо! не
стоитъ! вотъ Луи Бланъ,—этотъ вотъ что сболтнулъ; вотъ цѣлый
рядъ гробницъ въ даль уходитъ, — все одинъ чортъ, одного поля
ягоды; а теперь довольно: посмотрѣли и будетъ, теперь на насъ
смотрите, какіе мы умные и новые, съ иголочки...

Если г. Туганъ-Барановскій такъ величественно обходится съ
литературой европейской, то можно себѣ заранѣе представить, какъ
презрительно третируетъ онъ бѣдную скудную русскую литературу.
Объ ней онъ упоминаетъ въ своей статьѣ дважды. Одинъ разъ
онъ пристегиваетъ къ общему хору заблужденій «столь популяр-
ное у насъ ученіе о роли «критически мыслящей личности» въ
историческомъ процессѣ» (стр. 105); въ другой разъ мимоходомъ
презрительно упоминаетъ о «русскихъ субъективистахъ» (114).
Оставимъ пока эти двѣ струи русской литературы въ покоѣ и по-
смотримъ, не было-ли въ ней еще чего-нибудь достойнаго вниманія
г. Тугана-Барановскаго съ его собственной точки зрѣнія. Эта точка
зрѣнія состоитъ, вообще говоря (въ подробности мы войдемъ ниже),
въ преобладаніи экономического фактора въ исторіи и жизни.
При этомъ г. Туганъ-Барановскій изображаетъ дѣло такъ, какъ
будто этотъ экономическій факторъ былъ у насъ до «новѣйшаго»
времени въ полномъ забросѣ и вообще только и было, что какая-то
теорія «критически мыслящей личности», да какой-то «субъекти-
визмъ». не имѣющіе никакого касательства къ экономическому
фактору.

Ничего не можетъ быть ошибочнѣе такого представленія, есте-
ственно возникающаго у чело-вѣка, незнакомаго съ дѣломъ и заним-

ствующаго свой свѣтъ отъ г. Тугана-Барановскаго. Не буду говорить о специальныхъ историческихъ изслѣдованіяхъ, въ которыхъ прямо, безъ фразъ и предварительныхъ теоретическихъ подходовъ, изучались экономическія основы русской народной и государственной жизни. Приведу только слова В. И. Семевскаго во введеніи къ его работѣ «Крестыяне въ царствованіе императрицы Екатерины II» (1881 г.): «Изъ всѣхъ сторонъ внутренней жизни народа едва-ли не болѣе всего обращаетъ вниманіе современная исторіографія на исторію умственного развитія; трудъ Бокля служить самымъ талантливымъ выраженіемъ этого направленія. О важности этой стороны въ исторіи человѣчества нечего и говорить, о необходимости подробнѣйшаго ея изученія не можетъ быть и спора; но было бы крайнюю односторонностью не видѣть такой же важности и другихъ сторонъ народной жизни, и прежде всего экономическаго положенія народа». Далѣе г. Семевскій замѣчаетъ, что такихъ изслѣдованій пока сравнительно еще мало, какъ у насъ, такъ и въ Европѣ. Но и я не хочу сказать, чтобы у насъ ихъ было много, я говорю только, что они есть. Наномню еще цѣлую огромную библіотеку статистическихъ работъ, созданную съ такимъ же трудолюбіемъ, какъ и горячимъ увлеченіемъ, находящимся въ тѣснѣйшей связи съ наиболѣе сильными теченіями нашей умственной жизни вообще,—это вѣское и непрерываемое свидѣтельство интереса къ вопросамъ экономической жизни народа и признанія значительности экономическаго фактора. Въ журналистикѣ, гдѣ издавна бьется главный пульсъ русской мысли, первенствующее значеніе экономическаго фактора было одно время ходячимъ словомъ. Я не имѣю времени рыться въ старыхъ журналахъ, но вотъ, напримѣръ, сочиненія Благосвѣтлова. Развертываю ихъ на стр. 119 и читаю: «Химія, фізіологія, ботаника, исторія, философія, физика, анатомія, однимъ словомъ, всѣ отрасли умственной работы человѣка должны отвѣчать на запросы политической экономіи; потому что главной задачей ея служить человѣкъ и отношеніе его къ природѣ и обществу, а къ этой задачѣ, въ послѣднемъ результатѣ, стремится наше мышленіе по всѣмъ его направленіямъ и во всѣхъ видахъ». Это въ статьѣ «Политическая экономія для богатыхъ», напечатанной въ «Русскомъ Словѣ» въ 1860 г. Въ статьѣ «Политическіе предразсудки» (1863 г.): «Кто мыслить въ наше время, тотъ понимаетъ, что экономическая сторона въ народной дѣятельности занимаетъ первое мѣсто. Она рѣшаетъ задачу народнаго благосостоянія и руководитъ всѣми другими интересами нашей жизни». (Сочиненія, 147). Въ статьѣ «Историческая школа Бокля» (1863 г.): «Есть особый разрядъ мечтателей, очень умныхъ и благородныхъ, которые думаютъ, что всю общественную жизнь, всю систему ея правствен-

ныхъ и политическихъ началъ можно перестроить съ помощью образованія. Когда народъ настолько разовьется, что въ состояніи будетъ убѣдиться въ нелѣпости своего положенія, тогда, по мнѣнію нашихъ доктринеровъ, онъ пойдетъ быстрыми шагами къ своему прогрессу... Бокль оставилъ въ тѣни множество любопытныхъ вопросовъ, прямо относящихся къ его предмету. Такъ, экономическое состояніе страны—столь капитальный дѣятель въ народной жизни, совершенно исчезаетъ изъ его кругозора... Признавая необходимость матеріальнаго довольства для развитія народнаго образованія, Бокль не представляетъ намъ удовлетворительнаго разрѣшенія этого вопроса при самомъ обзорѣ европейскихъ цивилизацій. Онъ зорко слѣдитъ за всѣми умственными движеніями народовъ, которыхъ онъ успѣлъ коснуться въ своемъ неоконченномъ сочиненіи, но нигдѣ не раскрываетъ взаимной связи, существующей между образованіемъ и экономическимъ бытомъ страны... Само собою разумѣется, что не одно богатство играетъ роль въ развитіи умственныхъ силъ народа; здѣсь много замѣшивается причинъ чисто политическихъ, направленныхъ дурными правительствами прямо къ тому, чтобы сдерживать образованіе для извѣстныхъ эгоистическихъ цѣлей, но эти причины—случайныя и большею частію совершенно безполезныя, такъ что социальная задача все-таки остается преобладающею въ этомъ дѣлѣ». (Соч., 209, 210, 213—14).

Читатель, можетъ быть, претендуетъ на меня за вызовъ тѣни такого третьестепеннаго писателя 60-хъ годовъ, какъ Благосвѣтловъ. Но я остановился на немъ не случайно, а именно потому, что это былъ писатель третьестепенный, лишенный оригинальной мысли, но въ то же время властный и нетерпимый редакторъ-издатель очень распространеннаго и вліятельнаго журнала. Такіе люди лучше всего отражаютъ господствующее настроеніе умовъ извѣстной части общества, а моя цѣль не въ томъ состоитъ, чтобы представить какія-нибудь вѣскія доказательства первенствующаго значенія экономическаго фактора (это взялся сдѣлать г. Туганъ-Барановскій), а въ томъ, чтобы показать, что идея этого первенствующаго значенія не новость въ русской литературѣ, а была даже ходячей монетой.

Г. Туганъ-Барановскій можетъ замѣтить, что приведенныя мысли Благосвѣтлова отрывочны, не систематичны, не развиты, что въ сочиненіяхъ того же Благосвѣтлова найдутся мысли противорѣчивыя и т. д. Все это совершенно вѣрно, но нисколько не колеблетъ значенія Благосвѣтлова, какъ представителя ходячихъ мыслей. А затѣмъ я обращаю ваше вниманіе на другого писателя, совершенно иного калибра, литературное развитіе котораго въ высокой

степени поучительно для г. Туганъ-Барановскаго. Я говорю о Ю. Г. Жуковскомъ.

Впервые г. Жуковскій появился на литературномъ поприщѣ въ 1859 г. въ сборникѣ «Весна». Онъ дебютировалъ тамъ повѣстью «Петербургскія ночи» и статьей «Общественныя отношенія Россіи съ точки зрѣнія исторической науки права». Повѣсть была скучна, растянута, не обнаруживала ни малѣйшихъ задатковъ художественнаго таланта, и г. Жуковскій уже болѣе не возвращался къ беллетристическимъ опытамъ. Другое дѣло статья: туманная и двусмысленная, она заключала, однако, въ себѣ зачатки всей дальнѣйшей литературной дѣятельности г. Жуковскаго. Тамъ, между прочимъ, читаемъ: «Если общему глазу ясно изъ поворота дѣлъ на Западѣ, что политическія стремленія не удалась континентальной Европѣ, то отсюда немного нужно, чтобы понять причину этой неудачи, лежащую въ отсутствіи на социальной почвѣ задатковъ, соответствовавшихъ этимъ стремленіямъ» («Весна», 254). А что, главнымъ образомъ, разумѣлъ авторъ подъ «соціальною почвой», видно изъ слѣдующихъ словъ: «Это одно экономическое условіе само по себѣ разрѣшаетъ уже весь особенный ходъ нравственнаго развитія отъ самыхъ зачатковъ его» (258). — Вскорѣ послѣ этого г. Жуковскій становится дѣятельнымъ сотрудникомъ «Современника», приобрѣтая въ немъ все большее и большее значеніе, и наконецъ однимъ изъ главныхъ его руководителей. Первоначально г. Жуковскаго занимали вопросы юридическіе и политическіе, но затѣмъ очень быстро онъ отдался изученію политической экономіи и напечаталъ рядъ теоретическихъ статей, изъ которыхъ наиболѣе замѣчательная и доселѣ достойная вниманія называется «Смитовское направленіе и позитивизмъ въ экономической наукѣ» («Современникъ», 1864, №№ 9—12). Не мѣшаетъ, можетъ быть, отмѣтить, что работу эту высоко цѣнилъ покойный Н. И. Зиберъ (См. предисловія къ книгѣ «Теорія цѣнности и капитала Д. Рикардо», 1871. и къ «Сочиненіямъ Давида Рикардо», 1882). Въмѣстѣ съ тѣмъ г. Жуковскій продолжалъ разрабатывать ту общую мысль, зачатки которой мы нашли въ его первой статьѣ. И вотъ что читаемъ, напримѣръ, въ книжкѣ «Политическія и общественныя теоріи XVI вѣка», изданной въ 1866 г., то есть ровно 30 лѣтъ тому назадъ (въ журналѣ статьи, составившія эту книжку, были напечатаны еще раньше—въ 1861 и 1862 гг.):

«Указать ближайшій рядъ явленій, въ которыхъ философія права могла, обрѣсть дѣйствительное открытіе законовъ, по которымъ строится общество, и понасть на положительный и точный путь, въ сущности было не трудно. Рядъ ученыхъ изслѣдователей занимался давно разборомъ этихъ явленій, и съ начала текущаго

столятія начался особенно дѣятельный разборъ этихъ явленій въ примѣненіи къ общественнымъ отношеніямъ и общественной философіи. Явленія эти были *экономическія*. Послѣ этого юристамъ недоставало одного только слова, чтобы поставить свою науку на прочную положительную почву. — сознать, что почва права есть экономическая, что право есть результатъ экономическихъ условий и отношеній и опредѣляетъ въ послѣднемъ счетѣ ничто иное, какъ экономическія отношенія» (15). «Три теоретическіе элемента, три отвѣченные начала представляются намъ опредѣляющими въ каждое данное время гражданское сознаніе общества: элементъ юридическій или права, элементъ политическій и элементъ экономическій... Разсуждая а priori надъ той связью, которая должна заключаться между этими тремя элементами, не трудно, конечно, придти къ тому совершенно вѣрному заключенію, что всѣ эти три элемента составляютъ только различныя формы, различныя положенія или видоизмѣненія въ сущности *одного* всего элемента или начала... То, что мы называемъ обыкновенно экономическимъ элементомъ, изучаемымъ политическою экономіею, есть экономическое начало, какъ принципъ, или экономическое начало въ его теоретической формѣ; то, что мы называемъ началомъ политическимъ, есть экономическое начало въ дѣйствіи, то, что мы называемъ правомъ, есть экономическое начало оформленное, введенное въ обязательный для всѣхъ положительный законъ... Такимъ образомъ экономическія требованія руководятъ политикой и правомъ, и достаточно принять это разъ въ общемъ смыслѣ, чтобы понять, что въ частности политическая дѣятельность лицъ и партій есть выраженіе экономическаго интереса этихъ лицъ и партій» (155—157).

Это уже не Благосвѣтловъ. Г. Жуковскій недантически послѣдовательно проводитъ свою точку зрѣнія въ обзорѣ «политическихъ и общественныхъ теорій XVI вѣка», а затѣмъ и въ другихъ своихъ трудахъ, въ особенности въ «Исторіи политической литературы XIX столѣтія» (1871 г.). Онъ не только систематически устанавливаетъ и развиваетъ извѣстную точку зрѣнія, а и прилагаетъ ее къ историческимъ фактамъ.

Г. Туганъ-Барановскій скажетъ, пожалуй, что не могъ же онъ въ небольшой журнальной статьѣ исчерпать всѣ теченія русской мысли. Дѣлая себѣ это возраженіе, я не могу, однако, признать его удовлетворительнымъ. Во-первыхъ, его дѣло было писать статью большую или небольшую. Во-вторыхъ, я отнюдь не требую исчерпывающаго изложенія всѣхъ теченій: это трудно сдѣлать и въ большой статьѣ, и въ цѣломъ рядѣ большихъ статей. Но меня поражаетъ странность пробѣловъ въ изложеніи г. Тугана-Барановскаго,

какъ относительно еврейской, такъ и относительно русской литературы. Какъ бы, казалось, не помянуть, что вотъ, молъ, у насъ уже въ началѣ 60-хъ годовъ знали ту общую истину, которую г. Туганъ-Барановскій считаетъ столь значительною и «плодотворною»: истина (если она остается истиной, конечно), все равно какъ вино, отъ старости только крѣпнѣетъ. Но многимъ въ наше странное время непременно хочется быть провозвѣстниками самой, самой новой истины...

И остановился на г. Жуковскомъ частію въ виду дальнѣйшей судьбы его писаній, о которыхъ сейчасъ скажу, а частію потому, что онъ упорнѣе и систематичнѣе другихъ проводилъ въ нашей литературѣ мысль о первенствующемъ значеніи экономического фактора въ исторіи. Но онъ не первый и не послѣдній стоялъ на этой точкѣ зрѣнія: мысль эта, можно сказать, не изыкала въ нашей литературѣ въ послѣднія тридцать, тридцать пять лѣтъ, такъ что пока рѣчь идетъ о значеніи экономического фактора вообще, безъ дальнѣйшихъ опредѣленій экономического матеріализма, неизвѣстно даже, съ кѣмъ воюетъ г. Туганъ.

Вотъ какъ онъ излагаетъ «столь популярное у насъ ученіе о роли критически-мыслящей личности въ историческомъ процессѣ»: «По этому взгляду прогрессъ въ исторіи совершается очень просто: критически-мыслящія личности, другими словами то, что называется интеллигенціей, вырабатываютъ общественные идеалы; чѣмъ болѣе возвышенны и гуманны эти идеалы, тѣмъ плодотворнѣе вліяніе интеллигенціи на народъ. Когда выработка идеала закончена, тогда начинается распространеніе его въ народной массѣ, и если идеалъ стоитъ этого, онъ мало по малу проникаетъ въ народное сознаніе, становится господствующимъ воззрѣніемъ и, наконецъ, достигаетъ своего объективнаго осуществленія, въ видѣ желаемого преобразованія общественнаго строя. *При такомъ взглядѣ на исторію, задача историка очень упрощается; она сводится къ критической оцѣнкѣ идеаловъ.*»

Подчеркнутыя слова формулируютъ собственное г. Тугана-Барановскаго соображеніе, отноудъ не обязательное для сторонниковъ изложенной имъ теоріи. Не обязательно, во-первыхъ, считать критическую оцѣнку идеаловъ «очень упрощенною задачей»: напротивъ, она есть дѣло очень не легкое. Не обязательно, далѣе, думать, что къ этой оцѣнкѣ сводится вся задача историка. Это даже изъ собственнаго изложенія г. Тугана-Барановскаго не слѣдуетъ: изъ него видно только, что критическая оцѣнка идеаловъ *входитъ въ составъ* общей задачи историка, состоящей въ изслѣдованіи и группировкѣ историческихъ фактовъ. И во всякомъ случаѣ ученіе о роли «критически мыслящей личности», даже въ томъ видѣ,

какъ оно изложено г. Туганомъ-Барановскимъ, вовсе не состоитъ въ непримиримомъ противорѣчїи съ ученїемъ о важномъ и даже, пожалуй, первенствующемъ значенїи экономического фактора въ исторїи. Г. Бельтовъ, который, какъ я уже сказалъ, не смотря на всѣ свои безобразія, смотритъ на вещи много шире и жизненнѣе, чѣмъ г. Туганъ-Барановскій, знаетъ, что «психологія людей можетъ опережать формы ихъ общежитія». Происходитъ это такимъ образомъ, что «психологія видоизмѣняется въ направленїи тѣхъ отношеній производства, которыми замѣняются современемъ старыя, отживающія экономическія отношенія. Приспособленіе психологїи къ экономїи, какъ видите, продолжается, но медленная психологическая эволюція предшествуетъ экономической революціи» (Бельтовъ, 176). Теперь скажемъ такъ: критически мыслящая личность отдѣляетъ въ текущей дѣйствительности отживающее отъ нарождающагося, уловляетъ черты будущаго въ видѣ идеала и работаетъ для его торжества доступными ей средствами распространенія въ ожиданїи его объективнаго осуществленія. Что все это можетъ быть поставлено на экономическій фундаментъ,—ясно само собой; а что ученіе о роли критически-мыслящей личности вполне совмѣстно съ убѣжденїемъ въ первенствующемъ значенїи экономического фактора въ исторїи,—тому косвеннымъ доказательствомъ можетъ служить живой примѣръ самого г. Тугана-Барановскаго. Въ самомъ дѣлѣ, его общественные идеалы намъ неизвѣстны, но идеаль, такъ сказать, исторїографическій—на лицо: онъ состоитъ въ истолкованїи историческихъ фактовъ экономическими условїями. Г. Туганъ является намъ въ своей статьѣ историкомъ извѣстнаго круга идей. При этомъ его критическая мысль послѣдовательно отмечаетъ одну за другою различныя историческія теорїи во имя пропагандируемаго имъ собственнаго идеала исторїографїи, и такъ какъ онъ естественно разсчитываетъ на успѣхъ своей пропаганды, то есть на торжество своего идеала, то мы имѣемъ полнѣйшее практическое примѣненіе или осуществленіе ученія о роли критически-мыслящей личности. Какъ онъ выполнилъ свою задачу, хорошо или не хорошо,—это другой вопросъ; я думаю—не хорошо, и именно потому не хорошо, что недостаточно изощрилъ и вообще подготовилъ свою критическую мысль, а затѣмъ потому еще, что согрѣшилъ тѣмъ самымъ грѣхомъ, въ которомъ напрасно уличаетъ ученіе о роли критически-мыслящей личности. Мы видѣли, въ чемъ состоитъ этотъ грѣхъ: «при такомъ взглядѣ на исторїю, задача историка очень упрощается: она сводится къ критической оцѣнкѣ идеаловъ». Такъ «упрощенно» именно и понимаетъ г. Туганъ-Барановскій свою задачу: онъ критикуетъ Карлейлевскій идеаль исторического изслѣдованія, Лун Блановскій и т. д., тогда какъ ему надлежало не

только критиковать эти идеалы, а продѣлать съ ними еще нѣкоторую операцію, которая сама по себѣ не противорѣчитъ ученію о роли критически-мыслящей личности и прямо требуется собственною точкою зрѣнія г. Тугана-Барановскаго: ему надлежало привести критикуемые имъ идеалы исторіографіи въ связь съ данными экономическими условіями. И вотъ, если бы г. Туганъ-Барановскій сдѣлалъ это, то, смотря по тому, какъ выполнилъ бы онъ задачу, — обнаружилась бы дальнѣйшая совмѣстимость или несовмѣстимость его взглядовъ съ ученіемъ о роли критически-мыслящей личности.

Я съ большимъ почтеніемъ отношусь къ ученію о роли критически-мыслящей личности въ исторіи, но для меня лично перспектива историческихъ фактовъ располагается нѣсколько иначе; поэтому не рго domo sua хлопочу я, защищая означенное ученіе отъ нападковъ г. Тугана-Барановскаго, такъ сказать, собственной особой послѣдняго. Дѣло въ томъ, что очень различныя историческія теоріи могутъ, при извѣстныхъ условіяхъ, очень мирно уживаться рядомъ, не только не вступая въ страстную полемику между собою, но дружно работая для одной и той же цѣли. Полемизируя съ г. Туганомъ-Барановскимъ, я не думаю отрицать великое значеніе экономического фактора въ исторіи, — да оно и никогда не отрицалось въ русской литературѣ. Я утверждаю лишь, что г. Туганъ-Барановскій защищаетъ «значеніе экономического фактора» дурно: рубить съ плеча тамъ, гдѣ требуется тонкій анализъ, извращаетъ одни факты, закрываетъ глаза на другіе, учитъ незнаю. И все это зависить отъ того, во-первыхъ, что онъ недостаточно подготовился къ своей работѣ, просто повѣрилъ въ извѣстныя положенія, а не провѣрилъ ихъ; и еще отъ того, что придаетъ экономическому фактору метафизическій характеръ сущности исторического процесса, характеръ той «самой жилы», въ которую можно попасть минуя «тамъ нервы эти разные».

Читатель благоволитъ перевернуть нѣсколько страницъ назадъ и перечитать выписку изъ «Системы логики» Дж. Ст. Милля. Принимая состояніе умовъ (количество и качество знаній, характеръ идей и вѣрованій) за *primus agens*, какъ онъ выражается, исторического процесса, Милль вовсе не ищетъ «самой жилы» или сущности вещей, — онъ знаетъ, что эта сущность для человѣческаго ума не достижима. Онъ даже вполне признаетъ «относительную слабость умственного фактора между другими общественными силами». Какъ мотиву человѣческой дѣятельности, онъ предоставляетъ первое мѣсто «желанію увеличить матеріальный комфортъ», но по такимъ-то и такимъ-то теоретическимъ и практическимъ соображеніямъ онъ считаетъ удобнымъ принять умственный элементъ за «центральную цѣль, съ каждымъ послѣдовательнымъ звеномъ которой соединяются

соотвѣтствующія звенья всѣхъ другихъ прогрессій». Возможность ввести съ этой точки зрѣнія въ историческое изслѣдованіе всѣ общественные элементы основывается здѣсь не на вѣрѣ въ фантастическую «самую жилу», а на знаніи факта извѣстнаго *consensus'a* между всѣми элементами общественного цѣлаго. Въ силу этого *consensus'a* не только всѣ общественные элементы, но и всѣ измѣненія каждаго изъ нихъ находятся во взаимной зависимости. Милль представилъ соображенія, по которымъ онъ полагаетъ удобнымъ приурочивать эту зависимость къ умственному фактору, но не считаетъ этотъ факторъ ни единственнымъ или исключительнымъ, ни даже наиболѣе могущественнымъ, тѣмъ болѣе не видитъ въ немъ «сущности историческаго процесса». Рядомъ съ историческимъ изслѣдованіемъ, написаннымъ по этому плану, ничто не мѣшаетъ существовать изслѣдованію, въ которомъ за *primus agens* принятъ экономическій факторъ. Оно, это второе изслѣдованіе, будетъ имѣть дѣло съ тою же взаимною зависимостью общественныхъ элементовъ, только расположитъ ихъ измѣненія около другой «центральной цѣпи». II, при прочихъ равныхъ условіяхъ, — при одинаковомъ уровнѣ знаній, одинаковой широтѣ взгляда, одинаковыхъ идеалахъ, то есть одинаковомъ пониманіи добра и зла, — два наши изслѣдователя нарисуютъ двѣ историческія картины, во всякомъ случаѣ не исключаютія, а развѣ только дополняющія одна другую.

Но если такъ, то, — говоря опять словами одного изъ дѣйствующихъ лицъ Гл. Успенскаго, — «по какому случаю шумъ?» Да вотъ именно по тому случаю, что для г. Тугана-Барановскаго экономическій факторъ есть не просто одинъ изъ общественныхъ элементовъ, представляющій съ извѣстной точки зрѣнія особенныя удобства для того, чтобы его принять за «центральную цѣпь» историческаго процесса, а «самый корень», «самая жила», самая сущность этого процесса. II такимъ образомъ вмѣсто научной постановки вопроса получается постановка метафизическая, со всѣмъ тѣмъ величественнымъ, но совершенно недостойнымъ челоѣка науки презрѣніемъ къ міру явленій, которое свойственно всякой метафизикѣ. Изумительный эпизодъ съ Дарвиномъ и многое другое въ разбираемой статьѣ представляетъ собственную г. Тугана-Барановскаго грубость, но подобныя грубости свойственны даже очень крупнымъ умамъ, витающимъ въ метафизической атмосферѣ. (Въ январскомъ номерѣ «Міра Божія», въ статьѣ «Мозгъ и мысль» г. Челпановъ напомнилъ нѣсколько забавныхъ подходящихъ анекдотовъ о Гегелѣ). Разъ найдена «самая жила» и найденъ къ ней прямой доступъ помимо «этихъ тамъ нервовъ разныхъ», — понятно, что эти «нервы разные» не дорогого стоятъ. Разъ найдена всеопредѣляющая и ничѣмъ не опредѣляемая сущность вещей, — съ самыми этими

вещами, явленіями можно и не церемониться: хочу съ кашей ѣмъ, хочу во щи лью. Тамъ именно и поступаетъ г. Туганъ-Барановскій.

Но—любопытный вопросъ — нельзя-ли проникнуть еще глубже въ поискахъ «самого корня»? Это возвращаетъ насъ къ г. Жуковскому. Замѣчательный писатель этотъ не остановился на вышеприведенныхъ соображеніяхъ о значеніи экономическаго фактора. Онъ замѣтилъ, что сама наука, завѣдующая экономическими явленіями, стоитъ еще на шаткомъ основаніи, и предпринять реформу политической экономіи при помощи математическаго анализа. Предпріятіе это не привело ни къ какимъ положительнымъ результатамъ, да оно и никакой опредѣленной цѣли не имѣло, и хотя г. Жуковскій потратилъ на него не мало труда и времени, не представляетъ для насъ интереса. Затѣмъ, г. Жуковскій предпринялъ реформу всего обществознанія при помощи законовъ физики и механики. Онъ и здѣсь держится того мифа, что «матеріальныя условія существованія являются первыми и главными опредѣлителями нравственнаго бытія человѣка» («Космосъ», 1869, № 1. «Законъ сохраненія силы въ примѣненіи къ нравственному быту». Статья эта не подписана, но затѣмъ она явилась, въ передѣланномъ видѣ, уже съ подписью г. Жуковского въ «Вѣстникѣ Европы» подъ заглавіемъ «Вопросъ народонаселенія»). Но г. Жуковскій задается вопросомъ, — что же такое эти самыя «матеріальныя условія существованія» и ставитъ дѣло на новую почву, или, если хотите, глубже взрываетъ почву для установки фундамента обществознанія. Обществознаніе или «нравственное знаніе», какъ предпочитаетъ выражаться г. Жуковскій, «ислѣдуетъ одну лишь опредѣленную часть общаго естественнаго кругового процесса, совершаемаго человѣческимъ типомъ, и нужно думать, что, какъ часть естественнаго процесса, эта часть должна быть такою же естественной, подчиненной въ своихъ частностяхъ тѣмъ же общимъ естественно-историческимъ законамъ, которые и опредѣляютъ тѣ основныя рамки, въ которыя поставлена дѣятельность человѣка по выполненію человѣчествомъ задачи, поставленной передъ нимъ. Эта задача опредѣляется двумя словами—постановка потенціальной силы окружающей насъ или вещества въ такія условія освобожденія силы, при которыхъ этими силами могъ бы воспользоваться панъ организмъ для ихъ капитализаціи».

Мы не будемъ слѣдить за дальнѣйшимъ развитіемъ мысли г. Жуковского. Для насъ достаточно того, что въ поискахъ «первичнаго фактора, не поддающагося дальнѣйшему разложенію» г. Жуковскій спустился глубже г. Тугана-Барановскаго, и онъ, конечно, правъ въ томъ смыслѣ, что общіе законы механики и физики обязательны для всего сущаго, въ томъ числѣ для явленій общественной жизни. Однако, можно-ли свести эти послѣднія къ законамъ механики и

физики, сталъ ли бы для насъ отъ этой операціи понятнѣе «нравственный бытъ» — это другой вопросъ: теоретически онъ разрѣшается довольно просто, но для практическаго его испытанія г. Жуковскій никакихъ матеріаловъ не далъ, такъ какъ лишь возвѣстилъ реформу, а затѣмъ, блеснувъ извѣстной статьей о Карлѣ Марксѣ, вскорѣ и совсѣмъ исчезъ съ литературнаго горизонта. Вернемся къ тому г. Жуковскому, какимъ онъ былъ до физико-механическихъ реформъ общественнаго знанія.

Два обстоятельства заслуживаютъ здѣсь нашего вниманія.

Мы видѣли, что г. Жуковскій, указавъ три элемента, «опредѣляющихъ въ каждое данное время гражданское сознаніе общества», — юридическій, политическій и экономическій, — считаетъ первенствующимъ послѣдній и въ немъ именно ищетъ субстрата историческаго процесса. Однако, тамъ же читаемъ: «Мы видимъ, согласно съ этими тремя элементами, три рода писателей: юристовъ, политиковъ и экономистовъ, одинаково разсуждающихъ объ обществѣ, въ теоретической и исторической его формѣ, но все эти писатели одинаково забываютъ до сихъ поръ, что каждый изъ нихъ изучаетъ одну только произвольно отвлеченную сторону общества, которая можетъ быть обособлена въ видахъ удобства самаго изученія только условно и не имѣетъ реальной самостоятельности и, слѣдовательно, немыслима сама по себѣ, и имѣетъ этотъ смыслъ только въ общей связи съ другими». («Политическія и общественныя теоріи XVI вѣка», 155). Впослѣдствіи, продолжая утверждать, что «человѣческое общество вообще можетъ быть разсматриваемо, какъ обширное экономическое учрежденіе», г. Жуковскій считаетъ нужнымъ прибавить: «Разсуждая надъ обществомъ чисто теоретически, можно отвлекать одну сторону отъ другой, можно выставить на видъ выводы и требованія одной какой-либо стороны. Но было бы крайнимъ заблужденіемъ, какъ со стороны мыслителя, такъ и со стороны аудиторіи принимать такіе выводы и разсужденія за конечный выводъ — это выводъ только по одному элементу или одному члену, изъ которыхъ слагается общественный вопросъ. Дѣлать подобную ошибку было бы то же, что принимать въ математическомъ вычисленіи одинъ членъ за полную сумму. Между тѣмъ такая ошибка дѣлалась часто, какъ со стороны писателей, такъ и со стороны ихъ толкователей... Привычка принимать частные выводы чисто хозяйственнаго анализа за конечные выводы, не подлежащіе дальнѣйшему учету въ силу болѣе сложнаго характера самаго экономического вопроса и зависимости его отъ вопроса дисциплины *)».

*) Подъ «вопросомъ дисциплины» г. Жуковскій, всегда до излишества своеобразный въ терминологіи, разумѣетъ «законодательные, административные и политическіе» элементы.

сдѣлалась за послѣднее время источникомъ весьма крайнихъ и прискорбныхъ недоразумѣній. И я имѣлъ несчастье испытать на себѣ всю тягость этого общественнаго заблужденія и подвергся самымъ несообразнымъ инкриминаціямъ за то только, что думалъ излагать частные выводы экономическаго анализа, какъ выводы чисто частные и подлежащіе дальнѣйшему соглашенію съ другими элементами вопроса, ихъ видоизмѣняющаго. Для меня это видоизмѣненіе и зависимость чисто экономическихъ положеній разумѣлись сами собой» («Исторія политической литературы XIX столѣтія», 199, 200). «Самыя несообразныя инкриминаціи», на которыя здѣсь жалуется г. Жуковскій, исходили—не мѣшаетъ замѣтить—изъ извѣстнаго лагеря печати, а въ той литературѣ, которой обыкновенно усвоивается названіе литературы 60-хъ годовъ, г. Жуковскій былъ свой человѣкъ; онъ лишь систематичнѣе другихъ развивалъ и обосновывалъ мысль о великомъ значеніи экономическаго фактора. И читатель видитъ теперь, въ чемъ состоитъ разница между его пониманіемъ этого значенія и пониманіемъ г. Тугана-Барановскаго. Далеко-ли мы ушли въ дѣлѣ этого пониманія за 30—35 лѣтъ? и хорошо-ли, даже просто благоразумно-ли поступаютъ тѣ открыватели Америкъ, которые не хотятъ знать пропала своей родной литературы? А вѣдь въ этомъ проплотъ они могли бы найти себѣ—не смѣю сказать: учителей, ибо гдѣ же г. Тугану-Барановскому учиться! онъ самъ всякаго научить,—но, по крайней мѣрѣ, до извѣстной степени союзниковъ. Дѣло не въ великомъ значеніи экономическаго фактора,—оно несомнѣнно и никогда у насъ въ передовой литературѣ и не подвергалось сомнѣнію. Если г. Туганъ-Барановскій внесъ сюда поправки, дополненія, новыя фактическія изслѣдованія,—прекрасно; шагайте еще и еще впередъ, если можете, но это еще не резонъ торжествовать открытіе Америки и замалчивать прошлое, презрительно объявляя, что были тамъ какіе-то вздоры, едва достойные пинка перомъ. Дѣло, однако, въ томъ, что ни одинъ безпристрастный человѣкъ не признаетъ взгляды г. Тугана-Барановскаго шагомъ впередъ. 30—35 лѣтъ тому назадъ вопросъ о значеніи экономическаго фактора рѣшался на научной почвѣ,—на почвѣ относительнаго, условнаго знанія явленій; теперь онъ переносится на метафизическую почву безусловной, все собою опредѣляющей и ничѣмъ не опредѣляемой сущности историческаго процесса. Помимо того, что это не наука, а метафизика, въ этой сущности меркнуть всѣ разноцвѣтныя грани явленій жизни и получается, вмѣсто общаемаго лучшаго ихъ пониманія,—полная невозможность объяснить ихъ безъ грубѣйшихъ натяжекъ, какъ это мы видѣли на примѣрѣ Дарвина въ освѣщеніи г. Тугана-Барановскаго.

И еще разъ о г. Жуковскомъ. Какъ уже сказано, онъ въ началѣ своей дѣятельности особенно интересовался установленіемъ вопросовъ права, юриспруденціи на экономическій фундаментъ. И вотъ что, между прочимъ, читаемъ все въ той же книжкѣ «Политическія и общественныя теоріи XVI вѣка» о философіи права: «Изъ мистической науки пустого понятія права она должна стать философіей нищеты и благосостоянія; а такъ какъ человѣческое благосостояніе есть прежде всего матеріальное благосостояніе и право опредѣляетъ только отношенія между людьми, при которыхъ совершается процессъ приобрѣтенія достатка въ обществѣ—процессъ труда, то философія права сводится на изысканіе тѣхъ отношеній между людьми въ обществѣ, которыя соотвѣтствуютъ наибольшей успѣшности этого процесса» (стр. 15). Другими словами, г. Жуковский ставитъ извѣстный идеаль экономическихъ, а черезъ нихъ и правовыхъ отношеній, степенью приближенія къ которому для него измѣряется прогрессивное значеніе историческихъ явленій и который вмѣстѣ съ тѣмъ есть руководящее начало для дѣятельности въ настоящемъ. На этомъ пунктѣ мы опять естественно должны встрѣтиться съ разногласіемъ между г. Жуковскимъ и г. Туганомъ-Барановскимъ. Для послѣдняго экономическій факторъ есть не одинъ изъ общественныхъ элементовъ, умѣряемый и обусловливаемый всею совокупностью жизненныхъ явленій, а единая сущность историческаго процесса, самодержавно и непосредственно управляющая всѣмъ ходомъ событій до мельчайшихъ мелочей, въ родѣ выбора специальности тѣмъ или другимъ ученымъ. Ничьей власти эта сущность надъ собою не признаетъ, никакихъ ограниченій и воздѣйствій не терпитъ, а воздѣйствія на нее «критически-мыслящихъ личностей» во имя тѣхъ или другихъ идеаловъ—просто даже комическое предпріятіе. Смѣшна, въ частности, и задача г. Жуковского: «изысканіе тѣхъ отношеній между людьми въ обществѣ, которыя соотвѣтствуютъ наибольшей успѣшности процесса труда». Изыскивай—не изыскивай, а будетъ то, что будетъ, и именно то, что прикажетъ самодержавный экономическій факторъ. Вотъ Адамъ Смитъ тоже изыскивалъ, а что вышло?—Съ метафизической точки зрѣнія это очень послѣдовательное разсужденіе, но такъ какъ самодержавная и всемогущая сущность выражаетъ свою волю все-таки при посредствѣ людей, причемъ страннымъ образомъ внушаетъ имъ въ каждое данное время очень разнообразныя и даже противорѣчащія другъ другу мысли, чувства и поступки, то въ дѣйствительности никто приведеннаго весьма послѣдовательнаго разсужденія своимъ личнымъ примѣромъ не оправдываетъ. Такъ и г. Туганъ-Барановскій. Его общественныхъ идеаловъ, какъ уже сказано, мы не знаемъ, но его исторіографическій идеаль, равно какъ и его

усилія провести этотъ идеалъ въ жизни, осуществить,—мы видѣли. Г. Бельтовъ, единомышленникъ г. Тугана-Барановскаго, говорить прямо: «Матеріалисты-діалектики далеки отъ того, чтобы сводить роль личности въ исторіи къ нулю; они ставятъ передъ личностью задачу, которую, употребляя обычный, хотя и неправильный терминъ, надо признать совершенно исключительно (даже совершенно исключительно!) идеалистической» (I. с. 234).

Посмотримъ нѣсколько ближе на пониманіе г. Туганъ-Барановскимъ самаго экономическаго фактора.

Подходитъ онъ къ этому дѣлу издалека. Устранивъ сначала великихъ людей, какъ двигателей исторіи, потомъ идеи, онъ останавливается на социальной средѣ. Онъ говоритъ: «Какъ животное общественное, человѣкъ подвергается не только физическимъ вліяніямъ, но и вліянію всѣхъ другихъ людей, съ которыми онъ вступаетъ въ соприкосновеніе, вліянію ихъ правовъ, обычаевъ, вѣрованій, политическихъ и общественныхъ учрежденій, наукъ и искусствъ, однимъ словомъ, всѣхъ тѣхъ социальныхъ элементовъ, которые своею совокупностью составляютъ социальную среду». Это, конечно, совершенно справедливо, и вы только удивляетесь, что въ числѣ «социальныхъ элементовъ» не встрѣчаете въ этомъ перечнѣ элемента экономическаго. Но г. Туганъ-Барановскій именно потому, надо думать, и не ввелъ его въ «совокупность», что считаетъ его опредѣляющимъ всю эту совокупность. Онъ продолжаетъ: «Социальная среда опредѣляется, прежде всего, хозяйственными отношеніями. Философія, наука и искусство, политическія учрежденія, обычаи народа—всѣ самыя возвышенныя проявленія человѣческаго духа имѣютъ свои корни въ условіяхъ хозяйства». Слѣдуютъ доказательства. Г. Туганъ-Барановскій предлагаетъ «отбросить всякія теоріи въ сторону и посмотрѣть кругомъ». Оказывается, что «прежде, чѣмъ наслаждаться искусствомъ и философствовать, нужно ѣсть». Тутъ нашему автору подвертываются стихи Шиллера на ту тему, что «природа поддерживаетъ все живое съ помощью голода и любви», а затѣмъ слѣдующее изреченіе Лестера Уорда: «Какой же философъ или вообще мыслящій человѣкъ можетъ не видѣть, что любовь, голодъ и вообще нужда поглощаетъ силы большей части человечества?» Это изреченіе г. Туганъ-Барановскій сопровождаетъ чрезвычайно страннымъ замѣчаніемъ: «русскіе субъективисты часто ссылаются на Лестера Уорда», а онъ, дескать, вотъ что говорить. Я называю это замѣчаніе страннымъ, потому что «русскіе субъективисты» поминуются здѣсь (стр. 114) въ первый (и въ послѣдній) разъ и высказываютъ ни съ того, ни съ сего. Очевидно, г. Туганъ-

Барановскій что-то противъ нихъ имѣть, но что именно — неизвѣстно; неизвѣстно даже, что онъ разумѣть подъ «русскими субъективистами». Боюсь, что-нибудь совершенно фантастическое и дѣйствительности не соответствующее, потому что я, напримѣръ, часто называемый субъективистомъ и не отрицающійся отъ этой клички, рѣшительно ничего не имѣю противъ мысли, заключающейся въ изреченіи Лестера Уорда. Мысль совершенно вѣрная, но совершенно непонятно, почему г. Туганъ-Барановскій приводитъ ее въ книгу «русскимъ субъективистамъ». А вотъ комментаріевъ къ ней г. Тугана-Барановскаго я дѣйствительно одобрить не могу, но не въ качествѣ «субъективиста», а ни на одинъ шагъ не сходя съ объективной почвы.

Стихи Шиллера «выражаютъ несомнѣнную истину, съ которой трудно спорить», а изреченіе Лестера Уорда указываетъ на фактъ, который «дѣйствительно нельзя не видѣть». Такъ говоритъ г. Туганъ-Барановскій, но тутъ же прибавляетъ, что изъ «двухъ основныхъ факторовъ человѣческой жизни» онъ «признаетъ только одинъ—голодъ, творческой силой исторіи». И вотъ почему: «Любовь не толкаетъ насъ на борьбу съ природой, не требуетъ съ нашей стороны труда и усилій, не вызываетъ упорной и неутомимой работы ума. Удовлетвореніе чувства любви зависитъ не только отъ насъ самихъ, но и отъ воли другого человѣка, и никакія усилія съ нашей стороны не могутъ вызвать въ этомъ другомъ человѣкѣ чувства, если оно не возникаетъ само собой. Чувство любви одинаково удовлетворяется людьми, стоящими на самыхъ различныхъ ступеняхъ культуры и самыхъ различныхъ общественныхъ положеній. Это есть по преимуществу не историческій факторъ, и къ нему вполне примѣнимо изреченіе: «ничто не ново подъ луною». Тысячу лѣтъ назадъ любили такъ же, какъ теперь, такъ же радовались, встрѣчая взаимность, такъ же страдали отъ неудачной любви. Въ этомъ отношеніи человѣчество почти не прогрессируетъ. Напротивъ, прогрессъ цивилизаціи можетъ вполне измѣряться успѣхами матеріальной культуры».

Не знаю—чему больше удивляться въ этой тирадѣ: извращенію фактовъ или спутанности мысли. Изъ «двухъ основныхъ факторовъ человѣческой жизни» одинъ—голодъ г. Туганъ-Барановскій беретъ въ прямомъ, чисто физическомъ смыслѣ: «нужно ѣсть» (ниже онъ заявляетъ, что подъ голодомъ онъ разумѣетъ «всю совокупность нашихъ матеріальныхъ потребностей.—потребность въ пищѣ, одеждѣ, жилищѣ и пр.»), но это не измѣняетъ дѣла), а любовь—съ высшими психическими осложненіями.—съ страданіями отъ неудачной любви и радостью взаимности. Что тысячу лѣтъ тому назадъ эти психическія осложненія существовали, да еще въ

томъ самомъ видѣ, какъ они существуютъ теперь,—это г. Туганъ-Барановскій говоритъ прямую, фактическую, «объективную» неправду, въ чемъ онъ можетъ убѣдиться, заглянувъ въ любую исторію культуры. Радость взаимности и горе нераздѣленной любви незнакомы были не только тѣмъ дикарямъ, которые при случаѣ съѣдали своихъ женъ, или нашимъ предкамъ, которые «умыкали» себѣ женъ, но и на гораздо болѣе позднихъ ступеняхъ культуры, когда жены покунались, какъ живой товаръ. Покунная любовь и нынѣ существуетъ въ разныхъ видахъ, такъ что никоимъ образомъ нельзя сказать, что «чувство любви одинаково удовлетворяется людьми, стоящими на самыхъ различныхъ ступеняхъ культуры и самыхъ различныхъ общественныхъ положеній». Это можно утверждать, лишь разумѣя любовь въ смыслѣ ея грубаго физиологическаго корня, но въ такомъ случаѣ и чувство голода удовлетворяется на всѣхъ ступеняхъ культуры и во всѣхъ общественныхъ положеніяхъ совершенно одинаково. Точно также невѣрно, фактически, «объективно» не вѣрно, что любовь «не требуетъ съ нашей стороны труда и усилій, не вызываетъ унорной и неутомимой работы ума». Достаточно указать на добрыя три четверти поэзии и искусства вообще, прямо и непосредственно обязанныя своимъ происхожденіемъ исключительно чувству любви. Но и въ область «матеріальной культуры» любовь властно и именно творчески вторгается разными путями.

Считать всю матеріальную культуру продуктомъ голода, хотя бы съ присоединеніемъ къ нему потребности въ жилищѣ и одеждѣ,—значить впадать въ грубѣйшую ошибку и закрывать глаза на цѣлый рядъ несомнѣнныхъ фактовъ. Милль въ вышеприведенной цитатѣ изъ «Системы логики», отдавая экономическому фактору первенство въ смыслѣ вліятельности, выражается, однако, несравненно осторожнѣе г. Тугана-Барановскаго: «побудительная сила къ *большей части* улучшеній въ жизненныхъ искусствахъ есть желаніе увеличить *матеріальный комфортъ*», — замѣтите: во-первыхъ, *большей части*, а не всѣхъ, и во-вторыхъ, не «голодь», а *матеріальный комфортъ*. Разумѣется, значительная часть человечества именно голодомъ загнана въ то положеніе, въ которомъ она находится, но съ этой элементарной точки зрѣнія совершенно непонятна роль какихъ-нибудь Ротшильдовъ, которые, будучи вполнѣ обезпечены пищей, одеждой и жилищемъ, тѣмъ не менѣе, по выраженію пророка Исаи, «прибавляютъ домъ къ дому, присоединяютъ поле къ полю, такъ что другимъ не остается мѣста». Да вѣдь и римская чернь, рядомъ съ «хлѣбомъ», требовала «зрѣлищъ». Хлѣбъ прекрасно удовлетворяетъ голодь, но человѣкъ хочетъ ѣсть его съ масломъ. И если бы въ исторіи человечества дѣйствовали только голодь, мы

не имѣли бы нашей цивилизаціи со всѣми ея свѣтлыми и темными сторонами, какъ не имѣють ея звѣри.

Кстати о звѣряхъ. Изслѣдованія Дарвина о половомъ подборѣ показали, что даже у нѣкоторыхъ низшихъ животныхъ любовь, въ элементарной формѣ полового влеченія, вызываетъ извѣстныя явленія чисто эстетическаго характера. Рядомъ съ измѣненіями, имѣющими цѣлью устрашить или побѣдить соперника, складываются временныя или постоянныя измѣненія, долженствующія обратить вниманіе, плѣнить особъ другого пола. Это процессъ безсознательный и органическій. Въ человѣчествѣ онъ принимаетъ сознательный и культурный характеръ, и уже голый дикарь, татуируясь для устрашенія враговъ, втыкаетъ себѣ въ носъ какое-нибудь кольцо, считывая понравиться дикаркѣ. Одинъ упоминаемый, но не называемый Дарвиномъ «англійскій философъ» полагаетъ даже, что одежда была первоначально придумана для украшенія, а не для тепла. Какъ ни странно можетъ показаться на первый взглядъ это мнѣніе, но оно имѣетъ за себя извѣстныя основанія, и во всякомъ случаѣ разныя краски, кольца, бусы, браслеты и тому подобные предметы «матеріальной культуры» появляются очень рано въ исторіи человѣчества, и притомъ совершенно независимо отъ «голода».

Обратите затѣмъ вниманіе на естественное послѣдствіе любви—дѣторожденіе, огромное значеніе котораго въ исторіи человѣчества едва-ли есть надобность подробно мотивировать. Безъ сомнѣнія, и оно испытываетъ на себѣ вліяніе экономическаго фактора: различныя экономическія условія то приказываютъ или разрѣшаютъ, то воспрепятствуютъ имѣть дѣтей. Но не говоря ужъ о томъ, что этихъ властныхъ запрещеній люди далеко не всегда слушаются, и любовь съ ея развѣтвленіями перевѣшиваетъ требованія экономики,—даже и въ случаяхъ повиновенія послѣднее осложняется иногда независимыми отъ экономическаго фактора мотивами. Такъ, Дарвинъ говоритъ: «Дикари находятъ слишкомъ труднымъ прокормить себя и дѣтей и, конечно, видятъ очень простой выходъ—въ убійствѣ новорожденныхъ». Но вмѣстѣ съ тѣмъ, «нѣкоторые компетентные наблюдатели приписываютъ страшно распространенный обычай дѣторубіи отчасти желанію женщинъ сохранить красоту». (Происхожденіе человѣка и половой подборъ. Спб. 1872, стр. 404. 382). Объ томъ, какую роль этотъ послѣдній мотивъ, съ присоединеніемъ стыда незаконныхъ рожденій, играетъ въ обезпеченныхъ, экономически независимыхъ классахъ современной Европы, — распространяться нечего. Наконецъ, самъ Энгельсъ счелъ нужнымъ, въ своей извѣстной книгѣ о происхожденіи семьи, собственности и государства, рядомъ съ экономикой поставить, какъ историческій факторъ,—«производство самого человѣка, продолженіе рода». Правда,

Энгельсъ полагаетъ, что значеніе этого фактора съ теченіемъ исторіи убываетъ, слабѣетъ, но это все-таки не то, что утверждаетъ г. Туганъ-Барановскій: «любовь есть по преимуществу не историческій факторъ». Нѣтъ, очень историческій. И чтобы убѣдиться въ этомъ, нѣтъ даже надобности подниматься до древней греческой, римской и германской исторіи, остававшейся, по словамъ Энгельса, неясною до изслѣдованія Моргана о родовыхъ отношеніяхъ. Достаточно оглянуться кругомъ и отнестись, ну хоть къ институту наслѣдства, въ связи съ предписываемымъ правами, обычаями и законами воспитаніемъ дѣтей, безъ того глубокомыслія, съ которымъ г. Туганъ-Барановскій отнесся къ Дарвину...

Я не хочу всѣмъ этимъ сказать, что половыя отношенія съ ихъ отроутками — чувствомъ красоты (которое имѣетъ и другіе корни) и обязательствами кровнаго родства — являются единственными ограничителями вліянія экономическаго фактора въ исторіи. Г. Бельтовъ, занятый, подобно г. Тугану-Барановскому, неблагодарною задачею изысканія начала всѣхъ началъ, останавливается, между прочимъ, на Франклиновскомъ опредѣленіи человѣка, какъ «животнаго, дѣлающаго орудія». Заявивъ, что «употребленіе и производство орудій дѣйствительно составляетъ отличительную черту человѣка», г. Бельтовъ дѣлаетъ отсюда рядъ выводовъ во славу экономическаго фактора. Не входя въ оцѣнку этихъ выводовъ, замѣтимъ только, что можно вѣдь начать и съ другого начала всѣхъ началъ. Не отрицая опредѣленія Франклина, можно сказать, напримѣръ, что человѣкъ есть животное, владѣющее членораздѣльною рѣчью, и повести отсюда совсѣмъ другую историческую линію; но нѣтъ никакого резона ожидать, чтобы эти двѣ историческія линіи непремѣнно противорѣчили другъ другу. Безъ сомнѣнія, экономическій факторъ достаточно вліятеленъ для того, чтобы его можно было принять за «центральную цѣнь» историческаго процесса, но надо помнить, что это дѣлается лишь въ видахъ тѣхъ или другихъ удобствъ изслѣдованія, а не благодаря открытію «самой линіи», безусловнаго начала всѣхъ началъ; что звенья этой цѣпи обуславливаются, то какъ причина, то какъ слѣдствіе, другими историческими факторами. А затѣмъ нужно, конечно, поточнѣе выяснитъ себѣ — что такое этотъ «экономическій факторъ», какъ движущая сила исторіи. Г. Туганъ-Барановскій говоритъ: «голодъ», и это, конечно, во всѣхъ смыслахъ не точно и не вѣрно. «Голодъ», со включеніемъ потребности въ жилищѣ и одеждѣ, есть явленіе физиологическое, а не экономическое, и если ужъ г. Туганъ-Барановскій беретъ его за исходную точку, то долженъ бы былъ подниматься и выше по физиологической лѣстницѣ съ ея вышними психологическими ступенями, каждой изъ которыхъ соотвѣтствуетъ

чрезвычайно сложный комплекс общественных явлений. Несомненно, что удовлетворение голода вызывает ряд экономических явлений, но если бы с самого начала истории человечества голод был единственною движущею силою, то история эта не далеко подвинулась бы: голодъ удовлетворяется и звѣрями, голодають и растенія.

Поговоривъ о голодѣ, г. Туганъ-Барановскій вновь возвращается къ социальной средѣ и замѣчаетъ, что она неоднородна и прежде всего экономически неоднородна. Оставляя въ сторонѣ первобытное общество (хотя и неизвѣстно, почему надо оставлять его въ сторонѣ, разъ рѣчь идетъ обо всемъ историческомъ процессѣ), мы, говоритъ нашъ авторъ, вездѣ встрѣчаемъ «одно основное дѣленіе общества — на богатыхъ и бѣдныхъ». Богатство и бѣдность суть явленія экономической, и вотъ одновременное ихъ существованіе и составляетъ то основаніе, на которомъ строятся политика, юриспруденція, религія, наука, искусство. «На этомъ основномъ общественномъ неравенствѣ создаются и общественные классы». Г. Туганъ-Барановскій тутъ же, однако, замѣчаетъ, что «на низшихъ ступеняхъ культуры съ этимъ различіемъ соединяется различіе въ политическихъ и гражданскихъ правахъ», а «въ современныхъ государствахъ политическихъ и гражданскихъ права богатыхъ и бѣдныхъ уравниваются, но экономическое неравенство не исчезаетъ». Иначе говоря, экономическое основаніе, «фундаментъ», остается неизмѣннымъ, тогда какъ безусловно отъ него зависящія явленія юридическія и политическія измѣняются... Должно быть они еще отъ чего-нибудь другого зависятъ? Но г. Туганъ-Барановскій не останавливается на этомъ вопросѣ и продолжаетъ свое изслѣдованіе. Общество состоитъ не изъ двухъ только классовъ, — богатыхъ и бѣдныхъ. «Въ каждомъ обществѣ столько же классовъ, сколько формъ дохода въ нихъ существуетъ. Такъ, капиталистическая организація хозяйства предполагаетъ три основныя формы дохода — ренту, прибыль и заработную плату. Но не нужно забывать, что ни въ одной странѣ капитализмъ не достигъ еще полного господства, и на ряду съ крупными капиталистическими предпріятіями повсюду еще сохраняются многочисленныя мелкія предпріятія, основанныя на личномъ трудѣ хозяевъ; особенно распространены такія предпріятія въ земледѣліи. Поэтому, большинство современныхъ обществъ распадается по крайней мѣрѣ на 5 классовъ: крупныхъ землевладѣльцевъ (рента), крупныхъ предпринимателей (прибыль), рабочихъ (заработная плата), ремесленниковъ, лавочниковъ, вообще мелкихъ самостоятельныхъ хозяевъ (смѣшанный доходъ, состоящій изъ прибыли и заработной платы) и крестьянъ (смѣшанный доходъ изъ ренты, прибыли и рабочей платы)».

Остановимся на минуту. Позволимъ себѣ замѣтить г. Тугану-

Барановскому, что ему, какъ специалисту, подобаешь выражаться точнѣе. Не «капиталистическая организація хозяйства предполагаетъ три основныя формы дохода» (она «предполагаетъ» лишь ихъ раздѣльное существованіе), а наука знаетъ только эти формы, и на сколько бы классовъ общество ни дробилось, въ немъ все-таки будетъ только три формы дохода въ различныхъ сочетаніяхъ, что уже изъ изложенія самого г. Тугана-Барановскаго видно: классовъ у него «по крайней мѣрѣ» пять, а видовъ дохода все-таки только три. Ихъ останется три и въ томъ случаѣ, если мы прибавимъ къ пяти перечисленнымъ еще такъ называемые непронизводительные классы—профессоровъ, врачей, писателей, администраторовъ, политическихъ, судебныхъ дѣятелей. Политическая экономія ими не занимается, такъ какъ они не производятъ матеріальныхъ цѣнностей, но тѣмъ не менѣе они существуютъ и свою долю разнородности въ социальную среду вносятъ. Нѣкоторые изъ нихъ складываются въ совершенно опредѣленные классы съ ясно выраженными классовыми интересами и опредѣленнымъ классовымъ вліяніемъ на ходъ событій,—таковы были жрецы,—но доходы ихъ все-таки не имѣютъ какого-нибудь особливаго характера, не вымѣщающагося въ рамки трехъ «основныхъ формъ». Есть у насъ, правда, названія «жалованье», «гонораръ», «руга», но имя вещи не мѣняетъ, и это все та же заработная плата.

Такимъ образомъ, нѣтъ никакого основанія утверждать, что «въ каждомъ обществѣ столько же классовъ, сколько формъ дохода въ немъ существуетъ». А между тѣмъ г. Туганъ-Барановскій такъ доволенъ своимъ вышеприведеннымъ разсужденіемъ, что, сдѣлавъ нѣкоторую экскурсію въ сторону пенкики представителей различныхъ классовъ, рѣшительно подводитъ итогъ какимъ-то будто бы прочно установленнымъ слагаемымъ: «Итакъ, раздѣленіе народа на классы основывается на неравенствѣ распредѣленія народнаго дохода». Безъ сомнѣнія, неравенство въ распредѣленіи народнаго дохода сильно вліяетъ на образованіе классовъ, хотя бываетъ и такъ, что образованіе классовъ ведетъ за собой неравенство распредѣленія. Но дѣло теперь не въ этомъ, а въ томъ—откуда взялось «итакъ» г. Тугана-Барановскаго? Ничто въ предыдущемъ не оправдываетъ этого категорическаго «итакъ». А г. Туганъ-Барановскій продолжаетъ: «Чѣмъ же опредѣляется это распредѣленіе? Ничѣмъ инымъ какъ способомъ производства и обмѣна». Тутъ и скажи конецъ.

Насъ давно уже ждетъ Адамъ Смитъ, идею котораго, хотя и оказали большое вліяніе, но противоположное тому, на которое, онъ самъ расчитывалъ. «На сторонѣ Смита оказались фабриканты и

торговцы. а противъ ученія Смита боролись рабочіе; и будущее вполнѣ оправдало такое неожиданное для творца экономической науки распредѣленіе ролей на исторической сценѣ. Царство свободы далеко не принесло народной массѣ тѣхъ благъ, которыхъ ожидалъ Смитъ. Гуманные и широкіе идеалы Смита нашли себѣ неожиданное выраженіе въ узко-эгоистическихъ интересахъ того общественнаго класса, которому Смитъ менѣе всего сочувствовалъ». Положимъ, что «менѣе всего» Смитъ сочувствовалъ не фабрикантамъ и торговцамъ, а классу крупныхъ землевладѣльцевъ, но дѣло теперь не въ этомъ. Смитъ ошибался. извѣстнымъ образомъ опѣнивая принципъ свободной конкуренціи, ожидая отъ нея извѣстныхъ послѣдствій. Что это значить и въ какомъ отношеніи это поучительно? Ошибки въ наукѣ дѣло довольно обыкновенное, истина рѣдко дается сразу, и можетъ быть даже г. Туганъ-Барановскій въ чемъ-нибудь ошибается. Согласитесь, что это возможно. Ошибки того рода, къ которому относится ошибка Смита, зависятъ или оттого, что еще нѣтъ достаточнаго количества фактовъ, необходимыхъ для рѣшенія задачи, или оттого, что факты есть, но изслѣдователь ихъ не досмотрѣлъ, или наконецъ оттого, что онъ сдѣлалъ логическій промахъ въ ихъ сопоставленіи. Всего этого надо, конечно, избѣгать, и если бы г. Туганъ-Барановскій привелъ этотъ примѣръ съ цѣлю внушить кому слѣдуетъ необходимую въ наукѣ осторожность выводовъ, то мы могли бы только сказать: о да, г. Туганъ-Барановскій, вы совершенно правы, — неосторожные, односторонніе, недостаточно провѣренныя и обоснованныя выводы могутъ имѣть очень печальныя послѣдствія, и прежде всего — врачу, исцѣлится самъ! Однако, очевидно, не для этой цѣли потревожилъ г. Туганъ-Барановскій тѣнь Адама Смита. Онъ хотѣлъ показать на немъ силу экономического фактора или, точнѣе, формъ производства и обмѣна. Эти формы выдвигали на первый планъ «капиталистическій классъ», въ пользу котораго исторія и перемолола на своей мельницѣ идеи Смита. Но вѣдь Смитъ просто ошибся въ расчетѣ послѣдствій свободной конкуренціи, и если «экономическій факторъ» воспользовался ошибкой, то этимъ еще не обнаружилъ особеннаго могущества: Смитъ не намѣренно, а по ошибкѣ, но все-таки самъ отворилъ ворота, въ которыя и вошли «узко-эгоистическіе интересы того общественнаго класса, которому Смитъ менѣе всего сочувствовалъ». Или самая ошибка Смита была фатальна, неизбежна, и въ этомъ именно состоитъ поучительность его примѣра?

Сейчасъ мы постараемся найти у г. Туганъ-Барановскаго отвѣтъ на этотъ вопросъ, а теперь сдѣлаемъ одно маленькое фактическое замѣчаніе. «На сторонѣ Смита оказались фабриканты и торговцы, а противъ ученія Смита боролись рабочіе... Тѣмъ не менѣе учени-

ки Смита продолжали открывать вѣчные неизбѣемые законы народнаго хозяйства... Неудивительно, что фабриканты охотно признавали выводы экономистовъ неопровержимыми положеніями науки, но также понятно, что рабочіе съ этими выводами не соглашались. И рабочіе были правы, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ одинъ изъ самыхъ талантливыхъ экономистовъ 80-хъ годовъ, Арнольдъ Тойнби. Въ своей книгѣ „Lectures on the industrial Revolution in England“ онъ прямо заявляетъ, что «политическая экономія была преобразована рабочими классами».

Изъ всего этого читатель статьи г. Тугана-Барановскаго долженъ вывести такое заключеніе объ А. Смитѣ и его роли въ наукѣ: хороший, благонамѣренный человекъ былъ этотъ «творецъ экономической науки», но всю его науку пришлось потомъ передѣлывать, что и исполнено рабочими... Г. Тугану-Барановскому, какъ специалисту по политической экономіи, должно быть извѣстно, что это совершенно невѣрно. Не буду говорить о томъ, насколько Смитъ способствовалъ выясненію «значенія экономического фактора въ исторіи», но напомнимъ трудовую теорію цѣнности, начало которой положено Ад. Смитомъ, съ которою рабочіе не приходилось «бороться», которую, если кто и старался «передѣлать», то ужъ, конечно, не рабочіе или ихъ защитники, и которая, наконецъ, въ дополненіи и развитіи видѣ составляетъ прочное достояніе науки. Умолчавъ объ этой сторонѣ дѣла, г. Туганъ-Барановскій даетъ своимъ читателямъ волюнѣ извращенное понятіе объ исторической роли «творца экономической науки».

Вернемся къ своему вопросу: не въ томъ-ли отношеніи поучителенъ примѣръ Ад. Смита, что его ошибка была фатально неизбежна? Не совсѣмъ такъ, но въ этомъ родѣ. Конечно, все, что совершилось, должно было совершиться: крупныя и мелкія причины такъ сложились, что иначе и не могло быть. Но отсюда никакого поученія не выжмешь. А поучительно вотъ что: «Все это показываетъ, какимъ образомъ возникаютъ идеи въ исторіи и какъ онѣ дѣйствуютъ на общество. Въ идеальной оболочкѣ всегда скрывается очень грубое матеріальное содержаніе, котораго лицо, нустившее ихъ въ ходъ, перѣдко совсѣмъ и не подозреваетъ. Идеи Адама Смита послужили прежде всего на пользу буржуазіи, а самъ Смитъ мечталъ о благѣ рабочихъ. Для того, чтобы идея подѣйствовала, сдѣлалась господствующимъ воззрѣніемъ въ обществѣ и дѣйствительно могущественнымъ историческимъ факторомъ, необходимо, чтобы она соответствовала нуждамъ и потребностямъ данной эпохи». А эти послѣднія, какъ мы знаемъ, опредѣляются формами производства и обмена.

Разсмотримъ внимательно это разсужденіе. Изъ него прежде всего видно, что «въ исторіи возникаютъ» два рода идей: онѣ

соотвѣтствуютъ даннымъ формамъ производства и обмѣна, другія имъ не соотвѣтствуютъ. Не будемъ приставать къ г. Тугану-Барановскому съ вопросомъ: какъ могутъ, какъ смѣютъ «возникать» эти несоотвѣтствующія идеи? Рѣшимъ этотъ вопросъ за него, и притомъ во славу экономического фактора: пусть нѣкоторыя изъ этихъ несоотвѣтствующихъ идей представляютъ отраженіе отжившихъ или отживающихъ формъ производства, а другія—такое же отраженіе формъ грядущихъ, зарождающихся, но не созрѣвшихъ. Какъ бы то ни было, идеи Ад. Смита,—т. е. собственно та часть этихъ идей, которую счелъ нужнымъ выдвинуть г. Туганъ-Барановскій въ ущербъ общей научной физиономіи Смита,—соотвѣтствовали господствующимъ формамъ производства, которыя благоприятствовали «узко-эгоистическимъ интересамъ» одного общественного класса. И хотя самъ Смитъ этого и не сознавалъ, но только въ силу этого соотвѣтствія его воззрѣнія и стали «дѣйствительно могущественнымъ историческимъ факторомъ». А вотъ его «сочувствіе рабочимъ» не соотвѣтствовало,—ну, оно и пропало даромъ, хотя оно, это сочувствіе, не могло не быть одною изъ подробностей идейной надстройки надъ все опредѣляющимъ экономическимъ фундаментомъ.

Таковъ урокъ. Какъ имъ воспользоваться? Каждый изъ насъ, дѣйствующихъ даже на скромномъ литературномъ поприщѣ—скажемъ, г. Туганъ-Барановскій—естественно желать бы избѣжать сюрпризовъ, подобныхъ тому, который поднесъ Ад. Смитъ историческій ходъ вещей. Онъ хотѣлъ бы, чтобы его идеи были, ну хоть не могущественнымъ историческимъ факторомъ, но все-таки внесли бы въ историческій процессъ свою каплю меда, свою лепту вдовицы и притомъ вполне сознательно. Повидимому, дѣло очень просто: нащупай «самую жилу» и уже затѣмъ плыви по теченію. Плывъ по теченію, конечно, очень легко, и для этого вовсе не требуется быть «могущественнымъ», но нащупать «самую жилу»... Можно вѣдь и промахнуться. Смитъ даже не самой жилы искалъ, да и то промахнулся. Допустимъ, однако, что г. Туганъ-Барановскій, будучи проникательнѣе и осторожнѣе Смита, на его мѣстѣ не сдѣлалъ бы промаха и сознательно поплылъ бы по тому теченію, въ которое «творецъ экономической науки» попалъ безсознательно, то есть не по ошибкѣ служилъ бы «узко-эгоистическимъ интересамъ» одного общественного класса. Многіе съ успѣхомъ этимъ занимались и занимаются, но отъ большинства ихъ г. Туганъ-Барановскій отличался бы сознаниемъ, что онъ въ точности исполняетъ велѣнія единосущнаго фактора исторіи. Завидное положеніе! Оно оказалось бы, однако, далеко не столь завиднымъ, если бы г. Туганъ-Барановскій, превзойдя Смита въ проникательности, въ

то же время сохранилъ его «сочувствіе» къ тѣмъ, кого давило колесо исторіи, руководимое «узко-эгоистическими интересами». Смитъ (я все говорю не о настоящемъ Смитѣ, а о Смитѣ г. Тугана-Барановскаго) былъ счастливъ въ своей безсознательности, потому что его сознаніе и его сочувствіе не были въ противорѣчіи. Г. же Туганъ-Барановскій, при вышеозначенныхъ условіяхъ, очутился бы въ положеніи по истинѣ трагическомъ. И гдѣ же искать выхода?

О, конечно, въ наукѣ! Она—свѣтлая, безстрастная, неподкупная—просвѣтитъ и успокоитъ. Она докажетъ необходимость необходимаго, убѣдитъ, что гибнуть лишь подлежащіе гибели, и пожалуй еще въ утѣшеніе прибавитъ, что на костяхъ погибшихъ можетъ расцвѣсть высшее благополучіе. И мы должны смиренно выслушать рѣшеніе науки, ибо—это—то г. Туганъ-Барановскій твердо знаетъ и съ необычайною гордостью заявляетъ—«наука ни передъ чѣмъ не преклоняется»!..

Какъ ни передъ чѣмъ не преклоняется, когда намъ только-что сообщили, что въ ней «всегда скрывается грубое матеріальное содержаніе», что она сознательно или безсознательно преклонялась передъ торговцами и фабрикантами, а потомъ передъ рабочими?! Если правда, что рабочіе съ успѣхомъ боролись съ наукой Адама Смита, то почему нельзя ожидать успѣха борьбы съ наукой г. Тугана-Барановскаго?

Наука г. Тугана-Барановскаго!

Я кончилъ о г. Туганѣ-Барановскомъ, но въ заключеніе мнѣ хочется привести образчикъ того, какъ у насъ иные просто справляются съ тѣмъ трагическимъ положеніемъ, въ которое я гипотетически поставилъ автора статьи «Значеніе экономическаго фактора въ исторіи».

Въ № 14 казанской газеты «Волжскій Вѣстникъ» напечатана статья г. Вл. Тр. о Пермскомъ кустарно-промышленномъ банкѣ. На основаніи отчета банка за 1894 г. авторъ доказываетъ, что банкъ не достигаетъ предполагаемыхъ имъ цѣлей, и въ заключеніе пишетъ:

«Такое положеніе вещей является яркой иллюстраціей того, какъ идеи и цѣли и стремленія личностей, направленные противъ капитализма, жизнь поворачиваетъ по своему, какъ капиталъ заставлятъ всѣхъ покоряться законамъ историческаго развитія, дѣйствовать чрезъ эти законы, пользуясь ими, посредствомъ ихъ, какъ онъ заставлятъ всѣхъ сознательно или безсознательно служить ему. Въ настоящій историческій моментъ, моментъ накопленія капитала, всѣ наиболѣе вліятельныя теченія нашей обществен-

ной жизни, всѣ наиболѣе знаменательные факты въ сферѣ производства и обмена имѣють одинъ несомнѣнный и безспорный интересъ: они не только расчищаютъ дорогу капитализму, но и сами являются необходимыми и въ высшей степени важными моментами его развитія. Въ этомъ направленіи банку дѣйствительно предстоитъ блестящая будущность. Онъ дастъ возможность экономически крѣпкимъ кустарямъ улучшить свое производство, поднять его технику и повысить производительность: онъ явится факторомъ общественнаго раздѣленія труда или развитія капитализма, «съ которымъ тѣсно связанъ культурный прогрессъ Россіи» (П. Б. Струве. Критическія замѣтки и т. д.).

Я не трону этой цитаты по существу и обращу ваше вниманіе на то, что статья г. Вл. Тр. открывается эпиграфомъ изъ «Мелочей жизни» Салтыкова:

«Идетъ чумазый, идетъ! Я не разъ говорилъ это и теперь повторяю: идетъ и даже уже пришелъ! Идетъ съ фальшивой мѣрой, съ фальшивымъ аршиномъ и неутолимой алчностью глотать, глотать, глотать... Интеллигенція наша ничего не противопоставить ему»...

Слова Щедрина въ этомъ эпиграфѣ оборваны: за ними слѣдуетъ еще «ибо», объясняющее, какъ именно смотрѣлъ на дѣло сатирикъ. Но все равно: вы видите, что то самое, что Щедринъ называлъ «фальшивой мѣрой, фальшивымъ аршиномъ и неутолимой алчностью глотать, глотать и глотать», можетъ при случаѣ оказаться «культурнымъ прогрессомъ Россіи». И авторъ вовсе не думаетъ смягчать щедринскія краски; нѣтъ: «фальшивая мѣра» и «культурный прогрессъ» едино суть...

XIII).

Г-жа Гиппиусъ и „ступени къ новой красотѣ“.

«Разными путями можно идти къ одной цѣли. Ваша дорога отлична отъ моей, оружіе, которымъ Вы боретесь—иное, но мы идемъ въ одну сторону, ведемъ одну войну. И Вы, и я окружены врагами, тѣмъ отградиле встрѣтиться друзьямъ. Духъ того, что Вы пишете, близокъ мнѣ, и я дарю Вамъ эту книгу—первыя ступени къ новой красотѣ, которая дорога намъ обоимъ».

Въ этихъ выраженіяхъ З. Н. Гиппиусъ (Мережковская) посвящаетъ А. Л. Волинскому собраніе своихъ рассказовъ, озаглавленное: «Новые люди».

Великое дѣло дружба, и даже отвергающій все существующія общественныя узы Ницше говоритъ: «не любви къ ближнему учу я васъ, а любви къ другу; да будетъ для васъ другъ праздникомъ на землѣ и предчувствіемъ сверхъ-человѣка (Also sprach Zarathustra, 2-е изд., 85). Но цѣнность дружбы имѣетъ свои степени, смотря по источнику. Она можетъ исходить изъ смутныхъ инстинктивныхъ влеченій, изъ простой привычки и, наконецъ, изъ сознанія общности цѣлей. Эту послѣднюю, самую высокую степень и представляетъ печатно заявленная и, слѣдовательно, подлежащая печатному обсужденію дружба г-жи Гиппиусъ и г. Волинскаго. Собственно обсуждать тутъ, пожалуй, и нечего. Одно можно сказать: дай Богъ всякому. Но изъ заявленія г-жи Гиппиусъ мы можемъ все-таки извлечь нѣкоторую пользу. Конечно, не вся эта польза связана съ аффишированнымъ г-жею Гиппиусъ дружбою, а относится и къ широкой области «познанія всякаго рода вещей». Мы узнаемъ, напримѣръ, что г-жа Гиппиусъ «окружена врагами» и, разумѣется, проникаемся сочувствіемъ къ ея трудному положенію. Шутка въ самомъ дѣлѣ сказать: окружена врагами! И за что?! Рѣчь идетъ,

*) Мартъ, 1896.

конечно, не о какихъ-нибудь личныхъ врагахъ. не объ Сидорѣ Карнычѣ какомъ-нибудь или Дарѣ Сидоровѣ, до которыхъ читателю нѣтъ никакого дѣла, а о врагахъ на попривѣ общественной дѣятельности. По всей вѣроятности, именно такого рода враговъ разумѣть даже Чичиковъ, когда говорилъ генералу Бетрищеву: «А что было отъ враговъ, покушавшихся на самую жизнь, такъ это ни слова, ни краски, ни самая, такъ сказать, кисть не сумѣютъ передать». Чичиковъ терпѣлъ «за правду». За что же терпѣтъ г-жа Гиппіусъ? Пишетъ она второго сорта безобидные рассказы, которые безпрепятственно печатаются въ разныхъ журналахъ, не вызывая большихъ восторговъ, но не вызывая и какихъ-нибудь яростныхъ нападеній. Такъ себѣ, въ числѣ прочихъ. Откуда же враги и зачѣмъ они окружили г-жу Гиппіусъ? Оказывается, однако, что она не простые заурядные рассказы пишетъ, а «ведетъ войну», и рассказы ея хотя дѣйствительно не совершенны, но только потому, что это еще «первыя ступени» къ «новой», доселѣ невиданной «красотѣ». Такимъ образомъ дѣятельность г-жи Гиппіусъ получаетъ новое и, согласитесь, неожиданное освѣщеніе. Сострадая горестному положенію г-жи Гиппіусъ, окруженной врагами, вы естественно сочувствуете и ея «отрадѣ» встрѣчи съ другомъ. Что касается этого друга, то и онъ окруженъ врагами, по свидѣтельству г-жи Гиппіусъ. Это уже не такъ неожиданно: критику и публицисту мудрено обойтись безъ враговъ, и г. Волинскій несомнѣнно «ведетъ войну». Но и друзьями онъ, повидимому, не бѣденъ. Я давно уже не читаю руководимаго г. Волинскимъ «Сѣвернаго Вѣстника».—частію по чувству брезгливости, частію по убѣжденію, что потребное для этого время можно употребить съ большею пользою и удовольствіемъ. Но свѣдущій человекъ, бывшій редакторъ-издатель «Сѣвернаго Вѣстника», Б. Б. Глинскій рассказываетъ о г. Волинскомъ такое («Болѣзнь или реклама?» въ февральской книжкѣ «Историческаго Вѣстника»), что онъ является, напротивъ, окруженнымъ друзьями. Да вотъ и г-жа Гиппіусъ считаетъ нужнымъ публично заявить, что она другъ г. Волинскаго. Ну, а совѣмъ безъ враговъ нельзя,—у кого же изъ насъ ихъ нѣтъ?

Всѣмъ этимъ я отнюдь не хочу смягчить трагизмъ положенія г-жи Гиппіусъ среди враговъ или умалить отраду ея встрѣчи съ другомъ. Я беру факты въ собственномъ ея освѣщеніи, и такъ какъ это освѣщеніе для меня,—да, полагаю, и не для одного меня,—совершенно ново и неожиданно, то пересмотримъ книжку г-жи Гиппіусъ съ нѣкоторымъ вниманіемъ, не такъ бѣгло, какъ мы читали ея рассказы заурядъ съ другими въ журналахъ. Дѣло стоитъ труда, ибо мы узнаемъ въ результатъ—съ кѣмъ и за что ведутъ войну г-жа Гиппіусъ и ея другъ, за что окружили ихъ

враги и въ чемъ состоитъ та невиданная доселѣ красота, которая дорога имъ обоимъ. При этомъ получится еще та выгода, что, благодаря заявленію г-жи Гинніусъ, мы познакомимся и съ г. Волинскимъ, не марая рукъ объ него самого: они вѣдь идутъ къ одной цѣли.

Въ книжкѣ г-жи Гинніусъ есть, кромѣ разсказовъ, еще стихотворенія. Ихъ счетомъ двѣнадцать. Остановимся хоть на двухъ.

П Ъ С Н Я.

Окно мое высоко надъ землею,
Высоко надъ землею.
Я вижу только небо съ вечернею зарею,
Съ вечернею зарею.
И небо кажется пустымъ и блѣднымъ,
Такимъ пустымъ и блѣднымъ...
Оно не скалится надъ сердцемъ блѣднымъ,
Надъ моимъ сердцемъ блѣднымъ.
Увы, въ печали безумной я умираю,
Я умираю.
Стремлюсь къ тому, чего я не знаю,
Не знаю...
И это желанье не знаю откуда
Пришло откуда.
Но сердце хочетъ и проситъ чуда,
Чуда!
О, пусть будетъ то, чего не бываетъ,
Никогда не бываетъ.
Мнѣ блѣдное небо чудесъ общаетъ,
Оно общаетъ—
Но плачу безъ слезъ о невѣрномъ обѣтѣ,
О невѣрномъ обѣтѣ...
Мнѣ нужно то, чего нѣтъ на свѣтѣ,
Чего нѣтъ на свѣтѣ!

Повидимому, содержаніе этого стихотворенія знакомо и старымъ поэтамъ, представителямъ и служителямъ старой красоты. Это—настроение безиредметной тоски, лишь осложненное у г-жи Гинніусъ не то дѣтски, не то истерически-капризной нотой: «пусть будетъ то, чего не бываетъ, никогда не бываетъ: мнѣ нужно то, чего нѣтъ на свѣтѣ, чего нѣтъ на свѣтѣ». А что касается формы... Понимать много такихъ стиховъ можно, и нѣкоторые изъ нихъ звучатъ красиво, вѣрнѣе звучали, въ прошедшемъ времени, потому что разъ красота сводится къ чисто техническимъ приѣмамъ, она выдыхается, превращаясь въ шаблонъ. А техника подобныхъ стиховъ очень проста: изгнаніе ритма съ сохраненіемъ рифмы и повтореніе или усиленіе послѣднихъ словъ предъидущей строки. Это еще Смердяковъ въ «Братьяхъ Карамазовыхъ» практиковалъ. Помните:

Необѣдимой силой
Привержень я къ милой.
Господи помози
Ее и меня!
Ее и меня!

Или еще:

Сколько ни стараться,
Стану удаляться,
Жизнью наслаждаться
И въ столицѣ жить!
Не буду тужить.
Совѣмъ не буду тужить,
Совѣмъ даже не намѣренъ тужить!

Конечно, Смердяковъ — лакей, настоящій, душой лакей, а потому и мысли у него лакейскія, притомъ же онъ человѣкъ малограмотный, а г-жа Гишпюсъ одушевлена высокими чувствами и вполне грамотна. Но я говорю только о томъ, чисто техническомъ приѣмѣ, который, если даже онъ дѣйствительно входитъ въ составъ «новой красоты», то годится развѣ именно только для «первой ея ступени» и долженъ очень быстро выдохнуться и надобѣть.

Возьмемъ другое стихотвореніе: «Цвѣты ночи».

О, ночному часу не вѣрьте!
Онъ исполненъ злой красоты.
Въ этотъ часъ люди близки къ смерти,
Только странно живы цвѣты.
Темны, теплы тихія стѣны.
И давно каминъ безъ огня,
И я жду отъ цвѣтовъ измѣны.
Ненавидятъ цвѣты меня.
Среди нихъ мнѣ жарко, тревожно.
Ароматъ ихъ душень и смѣлъ.
Но уйти отъ нихъ невозможно.
Но нельзя избѣжать ихъ стрѣлъ.
Свѣтъ вечерній лучи бросаетъ
Сквозь кровавый шелкъ на листы...
Тѣло вѣжное оживаетъ —
Пробудились злые цвѣты.
Съ ядовитаго арума мѣрно
Капли падаютъ на коверъ.
Все таинственно, все невѣрно —
И мнѣ тихій чудится споръ
Шедеять, шевелятся, дышать,
Какъ враги за мною слѣдять,
Все, что думаю, знаютъ, слышать
И меня отравить хотятъ...
О, часу ночному не вѣрьте,
Берегитесь злой красоты!
Въ этотъ часъ всѣ мы близки къ смерти —
Только странно живы цвѣты.

Мнѣ кажется это лучшее произведеніе г-жи Гиннѣусъ, и оно дѣйствительно очень хорошо, если видѣть въ немъ горячечный бредъ или монологъ больного, страдающаго маніей преслѣдованія. Самое отсутствіе ритма въ данномъ случаѣ чрезвычайно цѣлесообразно, придавая монологу безумно тревожный характеръ: понятны и умѣстны съ этой точки зрѣнія странныя сочетанія словъ въ родѣ «злая красота»; и если не понятны, то прощательны совсѣмъ не нужныя строки въ родѣ: «тѣло пѣжное оживаетъ». Словомъ, стихотвореніе вполнѣ удовлетворяетъ тому очень старому эстетическому правилу, въ силу котораго форма и содержаніе должны соотвѣтствовать другъ другу. Иначе говоря, тутъ нѣтъ никакой поющей красоты. Но я боюсь, что г-жа Гиннѣусъ не согласится съ такимъ толкованіемъ «Цвѣтовъ ночи», что это для нея совсѣмъ не горячечный бредъ и не монологъ больного маніей преслѣдованія. Недаромъ же она сама, находясь въ здоровомъ умѣ и твердой памяти «окружена врагами», отъ которыхъ она, можетъ быть, тоже «ждетъ измѣны», которые ее «ненавидятъ» и «отравить хотятъ». Тогда дѣло совершенно измѣняется, и приходится опять припомнить «Братьевъ Карамазовыхъ», и въ нихъ слова старца Зосимы, обращенныя къ старику Карамазову. «Вѣдь обидѣться иногда очень пріятно, не такъ-ли? И вѣдь знаетъ человѣкъ, что никто не обидѣлъ его, а что онъ самъ себя обиду навидумалъ и налагалъ для красы, самъ преувеличилъ, чтобы картину создать, къ слову привязался и изъ горошинки сдѣлалъ гору,—знаетъ самъ это, а все-таки самъ первый обижается, обижается до пріятности, до ощущенія больного удовольствія, а тѣмъ самымъ доходитъ и до вражды истинной». Федоръ Карамазовъ вполнѣ соглашается съ этой характеристикой. Онъ говоритъ: «Именно, именно пріятно обидѣться. Это вы такъ хорошо сказали, что я и не слыхалъ еще. Именно, именно я то всю жизнь и обижался до пріятности, для эстетики обижался, ибо не токмо пріятно, но и красиво иной разъ обиженнымъ быть; — вотъ вы что забыли, великій старецъ: красиво!»

Не въ этихъ-ли, по выраженію того же Зосимы, «ложныхъ жестяхъ» состоитъ «новая красота»? Я думаю, что именно въ нихъ, и что стихотворенія г-жи Гиннѣусъ составляютъ уже не первыя ступени къ ней, ибо таковыя уже даны разными декадентами. Надо, однако, замѣтить, что стихотворенія г-жи Гиннѣусъ, въ отличіе отъ прочихъ декадентовъ, не вовсе лишены смысла. Совсѣмъ безсмысленнаго набора словъ у нея даже вовсе нѣтъ, но тѣмъ, можетъ быть, яснѣе выступаетъ общій родовой признакъ—«ложные жесты». Таково канризное требованіе того, «чего не бываетъ, чего никогда не бываетъ»: это «ложный жестъ», ибо г-жа Гиннѣусъ до-

вольствуется и тѣмъ, что бываетъ, ну хоть дружбой. «Ложный жестъ» — и картинно ужасное положеніе человѣка, окруженнаго врагами: по совѣсти говоря, нѣтъ вѣдь этихъ враговъ. «Ложный жестъ» — и «злая красота» хотя, къ сожалѣнію этотъ пунктъ недостаточно ясенъ. Есть у г-жи Гиппиусъ стихотвореніе «Гризельда», по формѣ очень недурное и вмѣстѣ съ тѣмъ вполне обыкновенное, то есть безъ всякихъ фокусовъ по части размѣра и рифмы. Содержаніе же состоитъ въ томъ, что Гризельда, жена рыцаря, уѣхавшаго на войну, фактически устояла противъ любовнаго искушенія, которое оставило, однако, въ ея душѣ грѣховно-сладкую занозу. Исторія тоже очень обыкновенная, но дѣло въ томъ, что «искалъ надъ ней (Гризельдой) побѣды самъ Повелитель Зла: любовною отравой и дерзостной игрой, манилъ ее онъ славой, весельемъ, красотой». «Гризельда побѣдила, душа ея свѣтла, а все-жъ какая сила у Духа жи и зла!.. И снова сердце жаждетъ таинственныхъ утѣхъ. Зачѣмъ оно такъ страдаетъ, зачѣмъ такъ любить грѣхъ? О, мудрый Соблазнитель, злой Духъ, ужели ты — непонятый Учитель великой красоты?» Какъ видите, и здѣсь мы имѣемъ какое-то сочетаніе словъ «зло» и «красота», но что все это значитъ, — г-жа Гиппиусъ даетъ слишкомъ мало матеріала для отвѣта на этотъ вопросъ и, можетъ быть, даже сама не уяснила себѣ того особеннаго пониманія «злой красоты» и «красоты зла», которое предъявляется нѣкоторыми «новыми людьми». Я буду вѣроятно имѣть случай вернуться къ этому пониманію по другому поводу. А теперь обратимся къ прозаическимъ произведеніямъ г-жи Гиппиусъ, гдѣ естественно ожидать большей ясности и меньшаго приложенія той манеры, которая такъ нравилась Фамусову въ современныхъ ему московскихъ барышняхъ: «словечка въ простотѣ не скажутъ, — все съ ужимкой». Конечно, «ложные жесты» вполне возможны и въ прозѣ, но тамъ они по крайней мѣрѣ не вуалируются сѣтью такъ называемыхъ поэтическихъ вольностей.

Мы имѣемъ дѣло съ разсказами, представляющими «первыя ступени къ новой красотѣ» и озаглавленными въ своей совокупности: «Новые люди»; значитъ, можемъ рассчитывать найти въ каждомъ изъ нихъ и новую красоту и новыхъ людей. Разсмотримъ три-четыре разсказа на-удачу.

Разсказъ «Местъ». Герой разсказа — восьмилѣтній мальчикъ Костя Антиповъ. По возрасту это, конечно, даже очень новый человѣкъ, но можетъ быть и не только по возрасту, а и въ томъ высшемъ смыслѣ, который должны намъ разъяснить «новые люди и первыя ступени къ новой красотѣ» г-жи Гиппиусъ. Восьмилѣтній Костя поражаетъ своею просвѣщенностью. Онъ знаетъ многое такое, чего мы, люди старые, въ восемь лѣтъ не знали. Не по части

«наукъ» такъ свѣдунтъ Костя, о, нѣтъ: «у него есть старая учительница ариметики и закона Божія, но она часто пропускаетъ уроки». Но за то «онъ зналъ, что ему восемь лѣтъ, и зналъ, что это очень много, для мужчины въ особенности: женщины—тѣ могутъ кинуть хоть до двадцати лѣтъ, имъ все можно». Восемилѣтній Костя зналъ, почему бывавшіе въ ихъ домѣ офицеры «любили больше маму, чѣмъ кузину,—это оттого, что мама считалась хорошенькой и была при другихъ веселой и доброй». Восемилѣтній Костя зналъ, что «папа даетъ мамѣ деньги на офицеровъ, и если онъ разсердится, то можетъ не дать денегъ, офицеры не придутъ танцевать, и мамѣ будетъ скучно». Восемилѣтній Костя «зналъ, что у него есть собственные деньги, отъ дѣдушки, и что ни папа, ни мама не могутъ ихъ взять, хотя бы и пожелали». Вотъ какой просвѣщенный молодой человѣкъ! Правда, онъ не зналъ, откуда берутся дѣти, но и надъ этимъ вопросомъ задумывался.

При такой просвѣщенности, восьмилѣтній Костя отличался еще необыкновенной злобностью. Приставленная къ нему бонна всегда должна была отъ него ожидать «можетъ щипковъ, а можетъ и хуже». Къ отцу онъ питалъ «враждебность», мать «презиралъ». И когда, однажды, мать не взяла его съ собой на пикникъ, онъ нахмурилъ брови и сказалъ «съ достоинствомъ»: «Ты, пожалуйста, со мной такъ не разговаривай. Это вздоръ, что на козлахъ нѣтъ мѣста. Я хочу ѣхать на тройкахъ, почему я не могу, если вы ѣдете»? Не правда-ли, въ самомъ дѣлѣ, сколько твердости и «достоинства» и попой красоты въ этой репликѣ восьмилѣтняго поваго человѣка? И когда разозленная его «достоинствомъ» мать пригрозила ему, при гостяхъ, розгой, онъ естественно очень оскорбился и задумалъ «мечь»,—ту самую «Мечь», которая и въ главѣнъ разказа стоитъ. Онъ цѣлую ночь не спалъ, мечтая о мести. Онъ придумывалъ много, и все не годилось. «Разбить вазы и весь фарфоръ въ будуарѣ? Опять будетъ исторія, на него стануть кричать, а папа дастъ денегъ и выпишутъ новый фарфоръ изъ Москвы. Платье залить чернилами? То же самое. Осрамить ее? *Сказать офицерамъ, что у нея коса привязная? Да вѣдь у нея не привязная. Она распуститъ волосы и стыдно будетъ не ей, а Костю*». Замѣьте опять, сколько познаній! Однако, на этотъ разъ Костя такъ ничего и не придумалъ. Но—«онъ зналъ, что унывають лишь слабые; и онъ поклялся себѣ, даже пожемъ на рукѣ знакъ сдѣлать, хотя больно было, что онъ отомститъ». Случай скоро представился. Костя печально засталъ свою мать въ объятіяхъ офицера и сообразилъ, что это значитъ: «Мама цѣловала Далай-Гобачевскаго, а папа ей это воспрещаетъ, потому что жена, которая цѣлуется не съ мужемъ, а съ другимъ, измѣняетъ мужу. И папа

долженъ очень разсердиться, если узнаетъ про это. Костя видѣлъ, какъ они цѣловались, и мама боится, что онъ скажетъ папѣ, а папа такъ разсердится, что, пожалуй, перестанетъ давать деньги. И у мамы не будетъ ни новыхъ платьевъ, ни колець, и она уже не дастъ ни одного вечера и не будетъ танцевать съ офицерами». И вотъ, однажды, за большимъ параднымъ обѣдомъ, улучивъ минуту, когда гости замолчали, Костя громко спросилъ мать: «Мама, скажи, отчего ты папу никогда такъ крѣпко не цѣлуешь, какъ Далай-Лобачевского»? Понятное дѣло, произошелъ скандалъ, которымъ маленькій негодяй—потому что надо, наконецъ, правду сказать: этотъ новый человѣкъ дѣйствительно негодяй—остался очень доволенъ. Но когда, на другой день, мать должна была уѣхать и прощалась съ сыномъ, то и въ этой танцевальницѣ, и въ этомъ маленькомъ негодяѣ что-то проснулось: они плакали, ласкали другъ друга и, въ то же время, среди остраго горя, чувствовали какую-то не совсѣмъ понятную имъ радость...

На этомъ рассказъ обрывается, и мы не знаемъ дальнѣйшей судьбы новаго человѣка. Радость его и матери, примѣнившаяся къ острому горю ихъ разставанья, была, конечно, радость ощущенія добрыхъ чувствъ, возникшихъ на почвѣ сознанія взаимной виноватости. Но это не гарантія добронормальности Кости въ будущемъ, которое остается намъ во всякомъ случаѣ неизвѣстнымъ. И согласитесь, что если бы не этотъ неожиданный и нѣсколько туманный конецъ рассказа, можно бы было думать, что г-жа Гиппиусъ пишетъ злую, даже чересчуръ злую сатиру на «новыхъ людей» и «новую красоту».

Рассказъ «Богиня». Здѣсь дѣйствуютъ люди старше восемнадцатилѣтняго возраста: есть мальчикъ 10—11 лѣтъ, Амосъ Крестовоздвиженскій, есть ученикъ шестого класса реального училища Викторъ, есть пятнадцатилѣтняя дѣвочка Женья Решъ, есть другія молодя барышни, есть студентъ Апостолиди и т. д. Но мало быть молодымъ человѣкомъ, надо быть еще и новымъ человѣкомъ, съ задатками новой красоты или со стремленіями къ ней. Чтобы не утомлять, какъ себя, такъ и читателей, характеристиками всѣхъ дѣйствующихъ лицъ рассказа, я прямо скажу, что новый человѣкъ есть студентъ Апостолиди, обыкновенно называемый и остальными дѣйствующими лицами, и самимъ авторомъ «Пустоплюнди». Да не подумаетъ читатель, что давая своему герою такое смѣшное и презрительное прозвище и самъ постоянно такъ его называя, авторъ уже тѣмъ самымъ выгоняетъ его изъ среды новыхъ людей и за предѣлы новой красоты. Судите сами, а мы пока будемъ называть героя его настоящимъ именемъ. Апостолиди—грекъ и по отцу и по матери, но еще груднымъ ребенкомъ былъ перевезенъ въ Москву

и почему-то «никогда даже не зналъ хорошенько, гдѣ онъ родился». Такихъ «почему-то» довольно много въ жизни Апостолиди. Такъ, «среди товарищей онъ прослылъ почему-то за идеалиста, мечтателя и даже поэта, хотя никогда стиховъ не писалъ, не зналъ и не читалъ ихъ». — «Всегда только непонятное и необъяснимое имѣло силу давать ему радость. Онъ любилъ горячіе, самые горячіе лучи солнца и синее небо. Онъ часто лѣтомъ ложился на землю, на траву и смотрѣлъ въ самую глубину неба, гдѣ оно темное, темное... Онъ выбралъ себѣ мѣстечко въ паркѣ, на прогалинкѣ, между прямыми соснами. И высокіе, круглые, голые стволы этихъ сосенъ не мѣшали его радости, а даже увеличивали ее... Онъ точно вспоминалъ что-то, чего съ нимъ никогда не случалось, можетъ быть страны, которыхъ глаза его никогда не видѣли; онъ самъ не зналъ, чего ему хочется».

Апостолиди пріѣзжаетъ репетиторомъ въ семью, живущую на дачѣ; заводятся обыкновенныя дачныя знакомства, устраиваются общія прогулки. На одной изъ этихъ прогулокъ, въ старомъ богатомъ помѣщичьемъ домѣ, Апостолиди увидаль въ одной изъ комнатъ статую Вакха. «Когда другіе ушли изъ столовой, Пустоплюнди (это г-жа Гинпиусъ говоритъ), все стоялъ передъ Вакхомъ и смотрѣлъ на него. Пустоплюнди самъ не зналъ, что съ нимъ дѣлается въ этомъ домѣ. Ему казалось, что онъ вступаетъ въ какой-то неизвѣстный міръ, чуждый даже его счастливому міру неба и прямыхъ сосенъ, но не менѣе прекрасный. Все ему правилось здѣсь до слезъ, и онъ не могъ объяснить—почему». Но самая интересная встрѣча Апостолиди была не со статуей Вакха, а съ живой «богиней»,—хорошенькой барышней, въ которую онъ сразу влюбился. «Пустоплюнди не зналъ, какія бываютъ богини, онъ не выдавалъ ни одной и называлъ Попочку мысленно богиней, совершенно не отдавая себѣ отчета, что именно хотѣлось ему сказать, и все-таки выражался именно такъ». Онъ полюбить ее «неизвѣстно за что, неизвѣстно почему, но полюбить: вся она ему нравилась, и опять были въ этой любви у него невѣдомыя родныя и неясныя воспоминанія о томъ, чего онъ никогда не видѣлъ». Попочка была вообще хорошенькая, хотя и не всею нравилась. «Но самое удивительное у Попочки, это былъ ея цвѣтъ лица: не розовый и блѣдый, а какой-то прозрачный, не живой, удивительно чистоты и иѣжности, точно ея голова была сдѣлана изъ куска мрамора». «Все движенія Попочки были странно красивы, безъ граціи. Чаще всего она сидѣла совершенно неподвижно, даже не мигая рѣсницами, и такъ она была удивительно хороша». Но вотъ случилось несчастье, не особенно, впрочемъ, значительное. Возвращаясь съ той самой прогулки, которая дала Апостолиди возможность полюбоваться Вакхомъ, Попочка

упала въ узкую и неглубокую рѣчку, куда немедленно бросился ее спасать нашъ герой. Оба благополучно вышли изъ опасности, да и опасности никакой не было, но Попочка, мокрая, перепуганная, плачущая, была такъ некрасива, что Апостолиди рѣшилъ: «она равна вѣмъ; въ ней онъ не найдетъ того, что дорого сердцу». Но отъ поспѣшкова красотою Апостолиди не отказался. Онъ немедленно уѣхалъ съ мѣста своего обожанія и крушенія, но затѣмъ «хочетъ побывать на родинѣ, тамъ, гдѣ прямыя колонны изъ пожелтѣвшаго мрамора уходятъ въ синее жаркое небо, тамъ, гдѣ есть другое небо, которое люди называютъ моремъ, гдѣ онъ найдетъ то, чего не зналъ и всегда любилъ—красоту».

Читателю понятно теперь, почему я считаю именно Апостолиди новымъ человѣкомъ новой красоты. Надо замѣтить, что до встрѣчи съ Попочкой Апостолиди не только никѣмъ, а и ничѣмъ не интересовался. Въ молодомъ студентѣ естественно ожидать какого-нибудь отношенія къ наукѣ, если не въ смыслѣ стремленія къ истинѣ, то къ карьерѣ, наконецъ, просто къ куску хлѣба. Авторъ свидѣтельствуетъ, что ничего этого въ Апостолиди не было. Въ гимназій «онъ учился машинально, безъ малѣйшаго интереса и пониманія», и такъ же продолжалъ и въ университетѣ. «У него не было ни самолюбія, ни честолюбія: кажется, не было даже эгоизма». О любви онъ тоже не думалъ. У него были только какія-то смутныя тяготѣнія къ «непонятному и необъяснимому», что, при встрѣчѣ съ Попочкой, вылилось въ нѣсколько болѣе опредѣленную форму «красоты». Попочка для него не женщина, а «богиня», все та же красота, ничего, кромѣ восторженнаго созерцанія, не вызывающая. И когда Попочка утрачиваетъ свою красоту, хотя бы лишь на короткое время, въ волнахъ рѣчки, онъ собирается уѣзжать на родину, въ Грецію, опять-таки не ради какихъ-нибудь тамъ патріотическихъ или научныхъ или еще какихъ интересовъ, а исключительно все ради той же красоты. Эта-то исключительность, кажется, и составляетъ новизну Апостолиди. Доселѣ служители такъ называемой чистой красоты обнимали своимъ принципомъ по крайней мѣрѣ нѣкоторыя «житейскія волненія», главнымъ образомъ любовь, вслѣдствіе чего относились къ женщинѣ иногда очень возвышенно, иногда просто, какъ къ самкѣ, но не отвлекали отъ нея все-таки одну красоту. Если не всегда душу женщины, то хоть тѣло ея они цѣнили, какъ нѣчто живое и сложное, способное вызвать сложные чувства. Нынѣ, для «новыхъ людей» г-жи Гиппиусъ, отъ женщины ничего не остается, кромѣ отвлеченной красоты, въ которой она уравнивается не только со статуей Вакха, но и съ мраморной колонной или съ напоминающей ее своею обнаженностью и гладкостью сохой. Только ея положеніе рискованнѣе: мраморная колонна или

сосна не подвергается той опасности, которая сразу и навсегда лишила бѣдную Поночку поклоненія Апостолиди.

Вотъ истинное пониманіе той «новой красоты», которая дорога г-жѣ Гинніусъ и ея другу. Ея новизна состоитъ въ очищенности отъ всякихъ—высокихъ и низкихъ, но постороннихъ примѣсей. А вмѣстѣ съ тѣмъ многое въ біографіи Апостолиди совпадаетъ съ собственною исповѣдью г-жи Гинніусъ въ стихотвореніи «Пѣсня». Помните: «Стремлюсь къ тому, чего я не знаю, не знаю... И это желанье не знаю откуда, приняло откуда... О пусть будетъ то, чего не бываетъ, никогда не бываетъ... Мнѣ нужно то, чего нѣтъ на свѣтѣ, чего нѣтъ на свѣтѣ». Точно также и Апостолиди не зналъ, откуда пришло къ нему тяготѣніе къ красотѣ, онъ вспоминалъ о томъ, «чего онъ никогда не видѣлъ, чего съ нимъ никогда не случилось», его всегда тянуло къ себѣ «только непонятное и необъяснимое». И взявши во вниманіе все это, а также и вышесказанное, мы, кажется, объяснимъ себѣ многое.

Пока мы читали рассказы г-жи Гинніусъ въ журналахъ заурядъ съ другими, мы могли видѣть въ исторіи Апостолиди заурядный же, но довольно забавный анекдотъ о нѣкоторомъ молодомъ человѣкѣ, который разлюбилъ дѣвушку только потому, что она промокла или обмокла въ рѣчкѣ. Но теперь мы узнали, что авторъ «ведетъ войну»; онъ представляетъ въ этой войнѣ настолько значительную силу, что его «окружили враги», и если бы не мощная рука друга, то кто знаетъ—не предстояли-ли бы г-жѣ Гинніусъ тѣ страшныя минуты, которыя такъ ярко описаны въ «Цвѣтахъ ночи». И мы, естественно очень заинтересованные, тревожно спрашиваемъ: кто враги? гдѣ враги? съ кѣмъ война? Если мы и не рѣшимъ этихъ вопросовъ такъ сразу, то получаемъ теперь по крайней мѣрѣ возможность съ большою увѣренностью думать, что искомыя враги г-жи Гинніусъ и ея друга суть вмѣстѣ съ тѣмъ враги Апостолиди, а войну г-жа Гинніусъ и ея другъ ведутъ за него, Апостолиди, и подобныхъ ему новыхъ людей новой красоты, столь родственныхъ имъ самимъ. Чтобы привести къ одному знаменателю психологію Апостолиди и собственную свою поэтическую исповѣдь въ «Пѣснѣ», г-жа Гинніусъ дѣлаетъ даже ничѣмъ не оправдываемыя натяжки. Въ самомъ дѣлѣ, Апостолиди грекъ, и отецъ, и мать его были греки, и онъ это знаетъ, но почему-то не знаетъ, гдѣ онъ родился, что даже совершенно невѣроятно, хотя бы уже потому, что въ русскія учебныя заведенія нельзя поступить безъ документовъ, въ которыхъ обозначается, между прочимъ, и мѣсто рожденія. Но г-жѣ Гинніусъ нужна эта невѣроятность, чтобы заставить Апостолиди, подобно ей самой, стремиться неизвѣстно откуда, неизвѣстно куда и хотѣть неизвѣстно чего. И вотъ, г-жа

Гиппиусъ самымъ безцеремоннымъ образомъ, какъ школьникъ товарищу при глухомъ учителѣ, подсказываетъ Апостолиди, откуда у него это молитвенное созерцаніе статуи Вакха, сосенъ, которыя такъ напоминаютъ греческія колонны, Попочки, которая такъ похожа на статую. что «голова ея была точно изъ куса мрамора сдѣлана» и «чаще всего» она сидѣла неподвижно, «даже не моргая рѣсницами». А глупый грекъ все-таки ничего не понимаетъ. Но вѣдь это все «ложные жесты», и, разочаровавшись въ красотѣ Попочки, Апостолиди вполнѣ сознательно собирается не въ иное какое мѣсто, а въ Грецію: онъ знаетъ, что онъ оттуда и что его тянетъ именно туда. Но г-жѣ Гиппиусъ нравятся «ложные жесты»...

Тѣмъ не менѣе Апостолиди глупъ. Это и г-жа Гиппиусъ удостоверяетъ. Она рассказываетъ, что «онъ бродилъ по чернымъ дорожкамъ парка, странный и глупый, и перепутанныя, нелѣпыя мысли ему приходили въ голову». Апостолиди глупъ, и кромѣ того онъ — Пустоплюнди. И это меня чрезвычайно смущаетъ. «Апостолиди» — такое красивое имя, притомъ намекающее на какую-то высокую миссію, и оно такъ идетъ къ служителю новой, невиданной красоты, а г-жа Гиппиусъ передѣлала это благозвучное и многознаменательное имя въ «Пустоплюнди»! Добро бы служителя новой красоты такъ называли профаны или враги: нѣтъ, сама г-жа Гиппиусъ иначе его не называетъ. Не значитъ-ли это, что друзья г-жи Гиппиусъ вообще «ходятъ странные и глупые», что въ головы имъ приходятъ «перепутанныя и нелѣпыя мысли» и что, обращаясь къ нимъ, мы можемъ сказать: «пустоплюнди вы, пустоплюнди»!..

Вотъ тутъ и разбирайся. То намъ новыхъ людей и новую красоту представлять въ лицѣ несчастнаго человѣка, страдающаго маніей преслѣдованія, то въ видѣ маленькаго злобнаго негодяя, то, наконецъ, — просто пустоплюнди! И подумать, что это еще только первая ступени...

Еще рассказъ — «Голубое небо». Здѣсь очень недурна фигура нѣкоего Антона Антоныча, молодого начальника почтово-телеграфной станціи, чистенькаго, аккуратнаго, добросовѣстнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ узколобаго и самодовольнаго. Но не Антонъ Антонычъ составляетъ центръ разсказа, а двадцати-двухъ-лѣтняя дѣвица Людмила, долженствующая представлять собою новаго человѣка и новую красоту.

Въ творествѣ г-жи Гиппиусъ есть одна любопытная наивная черта. Ее, какъ и Пустоплюнди, тянетъ ко всему таинственному, необъяснимому, неясному, и ей хочется и читателю своему внушить почтеніе къ этимъ туманамъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ она чрезвычайно торопливо и въ высшей степени антихудожественно рас-

крываетъ свои неясности. Мы видѣли, какъ пазойливо подсказывала она въ «Богинѣ»: Пустоплюнды грекъ и оттого-то ему милы Поночка, сосна, статуя Вакха. Глупый Пустоплюнды этому не внималъ, но читатель-то сразу понялъ, въ чемъ дѣло. Такъ и въ «Голубомъ небѣ». Ужъ на что прозрачный, мало таинственный писатель былъ дѣдушка Крыловъ, столь пригодный для дѣтскаго чтенія, а и тотъ зналъ, что «наружность иногда обманчива бываетъ». А г-жа Гиннѣусъ обманчивыхъ наружностей, кажется, совсѣмъ не признаетъ. Но крайней мѣрѣ, объ дѣвицѣ Людмилѣ, какъ только она показывается въ разсказѣ, авторъ сообщаетъ: «При черныхъ бровяхъ и рѣсницахъ глаза были неожиданно свѣтлые, безъ всякаго цвѣта, странно прозрачные. Такая бываетъ вода въ очень глубокихъ чистыхъ прудахъ въ тихую погоду». По поводу этихъ глазъ нѣкто когда-то сказалъ Людмилѣ: «Знаете, я бы искренно боялся сдѣлаться вашимъ суиругомъ. Съ вашими глазами лгать легко. Я бы не умѣлъ узнать по нимъ—обманываете вы меня или нѣтъ». И дѣйствительно,—дѣвица Людмила лжетъ и обманываетъ постоянно, сознательно, по принципу. Видите, значитъ, какъ любезно: обманщица даже вполне исключительная, а наружность-то у нея все-таки не обманчива. Но это любезность торопливо-подсказывающей г-жи Гиннѣусъ, а не самой Людмилы, которой, несмотря на сразу раскрытыя авторомъ карты, удается обманывать многихъ.

Попросту говоря, Людмила—кокетка, но кокетка изъ принципа. Вотъ какъ излагаетъ она этотъ принципъ одному изъ тѣхъ, которымъ она подавала очень опредѣленные надежды на взаимность и супружеское счастье: «Да, я лгала. А развѣ можно и нужно всегда говорить только правду? Лжи столько же на свѣтѣ и она такъ же необходима, какъ правда. Зачѣмъ ее презирать?... Я не знаю дѣйствительно-ли хорошо хорошее и честно честное. Докажите мнѣ, что я должна подчиняться вашему долгу. Мнѣ не страшно и не скучно подчиняться, я только не вѣрю... не вѣрю въ ваши обязательства и нравственные законы... Это не я одна дѣлаю, а всѣ, всѣ дѣлаютъ, или почти всѣ, только они дѣлаютъ безсознательно, а я сознательно и обдуманно. Я поняла, что нѣтъ людей на свѣтѣ. Людей нѣтъ, а есть мужчины и женщины, и есть вѣчная, непрестанная борьба между ними. Иногда побѣждаетъ мужчина, и тогда женщина принадлежитъ ему, а иногда наоборотъ. Побѣждаетъ тотъ, кто сильнѣе. Я борюсь много и много побѣждаю, и наслаждаюсь побѣдой и униженіемъ противника... Для каждой побѣды, для каждого торжества надо лгать, хитрить, притворяться. И я дѣлаю это, все равно, какъ на войнѣ заряжаютъ ружья и спускаютъ курки. И чѣмъ больше убьешь, тѣмъ больше тебѣ славы». — Побѣдоносная дѣвица Людмила не отрицаетъ, что ей можетъ встрѣ-

титься мужчиною сильнѣе ея, и тогда она влюбится, но, прибавляетъ она, «полюблю я, если только встрѣчу не мужчину, а человѣка; да если и встрѣчу, то не повѣрю». И она мститъ мужчинамъ за то, что они не хотятъ или даже не могутъ видѣть въ женщинѣ человѣка. Въ теченіи разсказа она встрѣчается съ нѣкимъ Елецкимъ, который ей кажется «такимъ, какихъ въ самомъ дѣлѣ нѣтъ», настоящимъ «человѣкомъ», и она со страхомъ отгоняетъ возможность сближенія, наговоривъ, однако, Елецкому много разнаго туманнѣйшаго и претенціознаго вздора, отъ котораго, впрочемъ, сейчасъ же отеклась: это, говорить, я все глала...

Въ разсужденіяхъ дѣвицы Людмилы надо различать двѣ стороны. Одна—общая, гдѣ она поднимается до высшихъ ступеней отрицанія или сомнѣнія, задумываясь надъ вопросомъ дѣйствительно ли хорошо хорошее и честно честное. Объ этомъ (равно какъ и о вышеупомянутой «красотѣ зла») надо не съ дѣвицей Людмилой разговаривать, тѣмъ болѣе, что въ концѣ разсказа она оказывается совсѣмъ не демономъ зла какимъ-нибудь, а даже доброй дѣвушкой, только ужъ очень легкомысленной. Другая часть исповѣданія вѣры дѣвицы Людмилы, менѣе общая и отвлеченная, касается отношеній между мужчинами и женщинами. И вотъ, значитъ, какъ смотреть на эти отношенія новый человѣкъ женскаго пола. Отчаявшись въ возможности мужчины—«человѣка», Людмила и сама не думаетъ стать женщиной—«человѣкомъ», а напротивъ, укрѣпляется въ позиціи спеціально женскихъ побѣдъ и одолѣній, въ ожиданіи мужчины, который въ свою очередь побѣдитъ ее. Съ этою возможностью она считается, хотя, понятно, не желаетъ ея и боится: но боится, хотя и очень желаетъ, она и другой возможностью,—не влюбиться, а полюбить, и не мужчину, а человѣка. Боится потому, что считаетъ эту возможность невозможностью. Это именно то, «чего нѣтъ на свѣтѣ, чего нѣтъ на свѣтѣ». Ей показалось, какъ уже упомянуто, что Елецкій—«такой, какихъ въ самомъ дѣлѣ нѣтъ», но она сейчасъ же хватается за мысль, что и онъ—«какъ и всѣ», а потому прогоняетъ его, желая сохранить въ чистотѣ тѣ минуты великаго счастья, которыя она пережила въ недолгое время своей илюзии. Къ сожалѣнію, совершенно не видно, по какимъ основаніямъ она признала, хотя бы на минуту, Елецкаго человѣкомъ, «какихъ въ самомъ дѣлѣ нѣтъ». Онъ является мелькомъ, и читателю извѣстно объ немъ только то, что онъ—«магистръ». Это еще не очень опредѣлительно, ибо о магистрахъ нельзя все-таки сказать, что ихъ нѣтъ на свѣтѣ. Надо впрочемъ замѣтить, что Людмила и до встрѣчи съ Елецкимъ испытывала мгновенія, когда къ ней приходило «счастье и непонятная радость, и волненіе»,—она «не знаетъ откуда и почему». Последнее не удивительно, такъ какъ вообще герои и ге-

роппи г-жи Гинниусъ идутъ неизвѣстно откуда, неизвѣстно куда, зачѣмъ и почему. Но удивительны нѣкоторыя изъ обстоятельствъ, приводившихъ дѣвицу Людмилу въ состояніе счастья и непонятной радости и волненія. Она рассказываетъ, напимѣръ: «Помню, у меня въ дѣтствѣ была большая книга съ картинками, и на одной была нарисована скала, гдѣ сидѣлъ пингвинъ, и скала и пингвинъ рѣзко выдѣлялись на голубомъ небѣ. И вдругъ опять вернулось ко мнѣ то чувство счастья»... Пингвинъ есть одна изъ самыхъ глухихъ птицъ, — онъ иначе такъ и называется «глухунинъ». — а потому одинаковость хотя бы и очень возвышеннаго настроенія, вызываемаго имъ и Елецкимъ, не можетъ, повидимому, быть особенно лестною для послѣдняго. Тѣмъ не менѣе Елецкій удовлетворительно заявляетъ, что онъ вполне понимаетъ Людмилу, а та, неигравши съ нимъ въ пингвина и другія загадочности, объясняетъ, что все это она «выдумала»...

Странный новый человѣкъ дѣвица Людмила; странный, непріятный, въ обществѣ неудобный. Но въ книжкѣ г-жи Гинниусъ ей есть противоязъ въ лицѣ героини разсказа «Миссъ Май».

Жилъ былъ молодой человѣкъ Андрей, у него была невѣста Катя. Они росли вмѣстѣ, чуть не съ самаго ранняго дѣтства считались женихомъ и невѣстой и любили другъ друга. Но тутъ замѣшалась миссъ Май Эверъ, англичанка, компаньонка теткы Андрея. Май съ перваго же раза произвела сильное впечатлѣніе на Андрея. Онъ смотрѣлъ на англичанку, «прямую и всю необычайную и только удивлялся, почему другіе не удивляются и не недоумѣваютъ, какъ онъ». И въслѣдствіи, когда они нѣсколько сблизились, Андрей говоритъ Май: «Какая ты необыкновенная». Удивительность и необыкновенность Май выражались какъ въ ея наружности и даже костюмахъ, которые авторъ описываетъ съ большою тщательностью, такъ и въ ея душевныхъ качествахъ. Май любитъ Андрея, по рѣшительно отказывается стать его женой и рекомендуетъ ему жениться на Катѣ. «Я не жена», — говоритъ она. Она не создана для «житейскаго, мелкаго». Андрей далъ ей короткое, но высшее счастье экстаза, которое дѣвицѣ Людмилѣ далъ пингвинъ на скалѣ, и больше ей ничего не нужно. Она уѣзжаетъ, а Андрей женится на Катѣ, которую онъ не переставалъ любить обыкновенною, «житейскою» любовью.

Почему миссъ Май англичанка? То-есть почему г-жа Гинниусъ сочла пужнымъ вынести изъ Англіи героиню для своего разсказа? Я думаю, единственно потому, что имя «Май» звучитъ такъ красиво и, согласно общему характеру творчества г-жи Гинниусъ, такъ не загадочно подчеркиваетъ загадочную эфирность героини. Помните: «какъ май ароматный, веселье весны». Когда Андрей однажды

осмѣлился обнять миссъ Май, то «подъ руками его было тонкое, почти несуществующее тѣло, почти призракъ»... Этому соответствуетъ и высшая духовная тонкость миссъ Май, которая нѣсколько компенсируетъ грубую живость и воинственность дѣвницы Людмилы. Едва-ли, однако, все-таки была дѣйствительная надобность выписывать героиню изъ Англіи, ибо въ томъ же разсказѣ одинъ чисто русскій человѣкъ высказываетъ совершенно тѣ же взгляды на отношенія между мужчинами и женщинами, что и почти не существующая миссъ Май. Человѣкъ этотъ — лакей Андрея, Тихонъ.

Въ наружности Тихона нѣтъ ничего необыкновеннаго или эфирнаго, у него «черствая и унылая фізіономія». Но онъ могъ бы сказать о себѣ, какъ одно изъ дѣйствующихъ лицъ Островскаго: «душа моя изъ тонкихъ парфюмовъ соткана». Параллельно — съ художественной точки зрѣнія слишкомъ параллельно — роману Андрея—Кати—Май идетъ романъ лакея Тихона, прачки Василисы и другой прачки Пелагеи. Какъ Андрей Катю, такъ Тихонъ Василису любить и ею любимъ, и жениться они собираются. Но подобно тому, какъ миссъ Май вторглась съ своею удивительностью въ романъ Андрея и Кати, прачка Пелагея побѣдила сердце лакея Тихона такою же удивительностью. Онъ ей говоритъ: «Ты меня, дѣвка, коли хочешь знать, вотъ какъ приворожила. Я безъ тебя теперь ни ступить. Повернешься ты—мила мнѣ, слово скажешь—еще милѣе... И сладко вотъ мнѣ, и сладко, и самъ я не знаю, что мнѣ сладко. Главное — *вся ты для меня удивительная*, вотъ что главное». Но — и въ этомъ отступленіе отъ параллелизма двухъ романовъ — Пелагея не похожа на почти не существующую Май: она требуетъ, чтобы Тихонъ женился на ней, Пелагеѣ, а не на Василисѣ. Но Тихонъ не согласенъ. Онъ возражаетъ: «Съ Васенкой у насъ обѣщанье, давнишнее, я ее, Васену, вдоль и поперекъ знаю, она славная жена будетъ. Можетъ и ты славная жена будешь — да жалѣю я тебя смертно въ жены взять. Ты теперь, Поля, такая мнѣ удивительная и сладкая, какъ бы мнѣ отъ Бога ниспосланіе, а тогда что? Какъ Васена и будешь. Жена что? Жена всегда жена. Для духа нѣтъ простора, умиленія нѣтъ».

Чрезвычайно краснорѣчивъ этотъ новый человѣкъ лакейскаго званія, и хотя онъ, по всеѣмъ видимостямъ, обремененъ тѣломъ, но въ пареніи духа нисколько не уступаетъ почти безтѣлесной миссъ Май, а ужъ тѣмъ болѣе вѣчно лгущей дѣвицѣ Людмилѣ...

Что же это, однако, значитъ? Новые люди г-жи Гиппіусъ оказываются то маленькими злобными негодяями, то глупыми «пустоплюндями» съ нелѣпыми мыслями въ головѣ, то лгунами, приходящими въ экстазъ при видѣ интима на скалѣ, то почти не су-

существующими англичанками и едва-ли существующими въ дѣйствительности лакеями. Если бы мы не знали, что всѣ эти негодянъ, лгуны, пустошлюнды и лакеи представляютъ собою первыя ступени къ новой красотѣ, которая дорога г-жѣ Гинпиусъ и ея другу, мы бы естественно подумали, что она безнощадно воюетъ съ этой странною бандой, а потому и нажила себѣ въ ней лютыхъ враговъ. Но такъ какъ это «первыя ступени новой красоты», то, спрашивается, — съ кѣмъ же ведетъ войну г-жа Гинпиусъ, и кто враги, окружившіе ее? Очевидно, наша надежда отвѣтить на эти вопросы была преждевременна. Поживемъ—увидимъ, а пока, послѣ достаточно, кажется, тщательнаго изслѣдованія, ничего опредѣленнаго сказать не можемъ, кромѣ развѣ слѣдующаго.

Объ одномъ изъ своихъ дѣйствующихъ лицъ г-жа Гинпиусъ говоритъ: «Женю можно бы было назвать хорошенькой дѣвочкой, если бы она иначе себя держала. Но она слишкомъ рано поняла, что она хорошенькая, и стала нестерпимо кривляться». Г-жа Гинпиусъ не лишена литературнаго дарованія, но она слишкомъ высоко оцѣнила это свое маленькое дарованіе (въ одномъ изъ ея стихотвореній есть такая строка: «люблю я себя, какъ Бога»), и пустилась въ разныя вычурности на тему объ томъ, «чего нѣтъ на свѣтѣ, чего нѣтъ на свѣтѣ». Но и этого ей показалось мало. При всемъ своемъ презрѣніи къ тому, что есть на свѣтѣ, она все-таки пожелала занять на этомъ свѣтѣ извѣстное общественное, притомъ воинствующее положеніе: и тотчасъ же, по щучьему велѣнію, по ея прошенію, ее окружили враги, хотя можетъ быть именно ихъ то и нѣтъ на свѣтѣ. Но разъ они, по щучьему велѣнію, явились, надо воевать. Воевать же занимательнѣе всего подъ знаменемъ чего-нибудь новаго, новаго вообще, говоря нѣмецкимъ философскимъ языкомъ, — новаго, какъ такового, а что именно представляетъ собою это новое: негодяйство восьмилѣтняго Кости, неустанныю лживость Людмилы, экстазъ при видѣ пингвина на скалѣ, наконецъ, просто пустошлюнды,—это не важно...

О, поле, поле, кто тебя
Усыль мертвыми костями?

XIV *).

Три случая нападенія на редакторовъ періодическихъ изданій.—Опять г. Туганъ-Барановскій.—Книга г. Антоновича о Дарвинѣ.—Веселенькій пейзажикъ.

Въ Петербургѣ было подъ рядъ три случая нападенія на редакторовъ періодическихъ изданій: плевокъ, «символическое» или вполнѣ реальное (это не выяснилось) оскорбленіе палкой и арапникомъ, наконецъ выстрѣлъ изъ револьвера. Всѣ три случая надѣлали столько шума и такъ много комментировались въ газетахъ, что мнѣ нѣтъ надобности рассказывать фактическія подробности этихъ печальныхъ событій: они еще у всѣхъ въ памяти. Не считаю также нужнымъ распространяться о томъ, что *argumentum baculinum* не есть надлежащій отвѣтъ на голосъ критики: это истина слишкомъ элементарная, хотя печати то и дѣло приходится ее напоминать. Но мнѣ кажется, что въ толкахъ, вызванныхъ плевокъ, арапникомъ и револьверомъ, все-таки не затронуты нѣкоторыя стороны этихъ безобразныхъ явленій, заслуживающія, однако, самаго серьезнаго вниманія.

Останавливаясь на этихъ трехъ случаяхъ, мы естественно приходимъ къ обобщенію ихъ въ нѣкоторое нелестное для нашего цивилизованнаго общества, мало того,—ужасное цѣлое: вотъ наши нравы! Но затѣмъ можетъ наступить раздумье: можетъ быть, всѣ три случая только по видимости имѣютъ въ себѣ нѣчто общее, для современныхъ нравовъ характерное, типичное, и если судьба угостила насъ ими, однимъ за другимъ, въ такой короткій промежутокъ времени, то это чисто случайное совпаденіе, изъ котораго нельзя дѣлать какіе-нибудь общіе выводы. Въ самомъ дѣлѣ, въ первомъ случаѣ замѣшаны интимныя семейныя отношенія, не подлежащія публичному обсужденію, и виновникъ плевокъ былъ поставленъ этимъ обстоятельствомъ въ совершенно исключительное положеніе. Исключительность эта такова, что, вполнѣ сознавая безобразіе рас-

*) Апрель 1896.

правы, я, признаюсь, не желалъ бы быть судьей въ этомъ дѣлѣ. Второй случай нѣсколько проще, но все-таки содержитъ въ себѣ не совсѣмъ обыденные элементы. Наконецъ, если, какъ можно думать, стрѣлявшій въ г. Меньшикова бывшій земскій начальникъ г. Жеденевъ окажется больнымъ человѣкомъ, то и этотъ третій случай явится передъ нами чѣмъ-то исключительнымъ, обобщенію не подлежащимъ. Такимъ образомъ, сгустившееся надъ нами мрачное облако какъ будто разсѣвается по клочкамъ въ пространствѣ...

Однако, можно и, я думаю, должно посмотрѣть на дѣло съ иной точки зрѣнія. Общественная жизнь лишь въ крайне рѣдкихъ случаяхъ даетъ явленія, повторяющія другъ друга съ буквальною точностью во всѣхъ подробностяхъ; и если мы, имѣя передъ собою рядъ однородныхъ въ какомъ-нибудь отношеніи, явленій, всегда будемъ разсматривать ихъ исключительно въ ихъ конкретной индивидуальной особенности, то сдѣлаемъ почти невозможнымъ изученіе общественной жизни. Конечно, слѣдуетъ избѣгать общихъ выводовъ изъ недостаточнаго числа фактовъ, но съ тремя-ли только фактами мы имѣемъ въ настоящемъ случаѣ дѣло?

Писатели естественно были очень заинтересованы этими тремя фактами и съ большимъ или меньшимъ одушевленіемъ и краснорѣчіемъ, но единогласно выражали ту совершенно вѣрную мысль, что не годится возражать на печатное слово плевкомъ, палкой и револьверомъ. Мнѣ кажется, однако, что при этомъ мои собратья по перу встали на не то что ложную, а неудовлетворительную точку, ограничивъ свое одушевленіе и краснорѣчіе кругозоромъ своей профессіи. Вотъ, напримѣръ, что писалъ въ «Новомъ Времени» г. Фингалъ:

«Въ концѣ вѣка, когда человѣчество уже не идетъ и не бѣжитъ по пути прогресса, а дѣлаетъ гигантскіе скачки, становится опаснымъ заниматься тѣмъ самымъ дѣломъ, которое помогло людямъ стать на такую высоту. Въ мирное писательское дѣло, въ писательскій кабинетъ, гдѣ идетъ тихая и важная работа мысли, врываются разбойники съ палками, плевками и порохомъ. Какъ тутъ быть? Какъ быть намъ, у которыхъ никогда не было никакого другого оружія, кромѣ мысли и этого маленькаго куска металла, помогающаго намъ изобразить наши мысли на бумагѣ, чтобы ихъ слышали и знали всѣ? Я ничего не имѣю даже противъ разбойниковъ. Я ничего не имѣю противъ того, чтобы они пускали въ ходъ свои палки и пистолеты. Вѣдь это единственныя доступныя имъ орудія. Но пусть они уногребляютъ ихъ въ снѣгахъ другъ съ другомъ; пусть поднимаютъ палку противъ палки, а не противъ мысли. У быка нѣтъ другого орудія для борьбы, кромѣ

пары роговъ, и было бы смѣшно, если бы мы требовали, чтобы быкъ боролся разумными доводами».

Такимъ образомъ, г. Фингалъ знаетъ только два рода палочныхъ столкновений: во-первыхъ, между палочниками и палочниками, во-вторыхъ, между палочниками и писателями. На первыя онъ машетъ рукой, — дескать, пусть дерутся, а противъ вторыхъ горячо протестуетъ, собственно потому, что у писателя нѣтъ иного оружія, кромѣ письменныхъ принадлежностей. Конечно, писатель, *какъ писатель*, иного оружія не имѣетъ, но это не исключаетъ все-таки для него возможности встрѣтить палку палкой же, хотя онъ это сдѣлаетъ съ сугубымъ отвращеніемъ. Фактически и онъ, разумѣется, можетъ оказаться въ невозможности защитить себя физической силой, но въ такомъ случаѣ онъ уравнивается со множествомъ не-писателей, которые безпомощно претерпѣваютъ оскорбленія и насилія. И вотъ, если мы примемъ въ соображеніе всю массу этихъ случаевъ, то получимъ прочную и широкую основу для нѣкоторыхъ обобщеній.

«Нужно твердо, разъ навсегда установить принципы, — продолжаетъ г. Фингалъ: на печатныя мнѣнія или даже обвиненія можно отвѣчать только возраженіями или опроверженіями путемъ печати». Совершенно справедливо. Но мнѣ кажется, что этотъ принципъ долженъ быть распространенъ и на устное слово, по крайней мѣрѣ въ тѣхъ случаяхъ, когда оно не имѣетъ формы «непечатнаго слова». которое уже само по себѣ составляетъ оскорбленіе. Вотъ что недавно сообщило «Восточное Обозрѣніе». Гдѣ-то около Челябинска ѣхалъ по желѣзной дорогѣ инженеръ Курманъ. Въ томъ же вагонѣ сидѣло нѣсколько дамъ и два какіе-то молодые человѣка. Послѣдніе позволили себѣ неподходящіе для дамскаго общества разговоры и наконецъ прямо неприличныя выраженія по адресу присутствующихъ дамъ. Курманъ сдѣлалъ имъ «въ очень вѣжливой формѣ» замѣчаніе, въ отвѣтъ на которое одинъ изъ нихъ ударилъ его кулакомъ такъ, что онъ упалъ, и не успѣлъ Курманъ подняться, какъ получилъ еще двѣ пули изъ револьвера и умеръ.

«Въ мирное писательское дѣло, въ писательскій кабинетъ, гдѣ идетъ тихая и важная работа мысли, врываются разбойники съ палками, плевками и порохомъ». Это отвратительно. Но вотъ въ какомъ-то, не помню ужъ, провинціальномъ клубѣ два человѣка начинаютъ палить другъ въ друга изъ револьверовъ, причемъ, однако, попадаютъ не другъ въ друга, а въ совершенно мирныхъ и къ дѣлу непричастныхъ обывателей. Конечно, въ клубѣ происходить не какая-нибудь «тихая и важная работа мысли», а просто люди собираются для пріятнаго времяпровожденія, но это точно также не мѣсто для какой бы то ни было физической расправы

и собственно въ этомъ отношеніи клубъ ничѣмъ не отличается отъ писательскаго кабинета.

Та «тихая и важная работа мысли», которая совершается въ кабинетѣ писателя, должна обнимать и фактически обнимаетъ не только то, что происходитъ въ четырехъ стѣнахъ этого кабинета. Возьмите любой номеръ провинціальной или столичной газеты: почти въ каждомъ изъ нихъ вы найдете извѣстіе о какомъ-нибудь насиліи или оскорбленіи, нанесенномъ какому-нибудь мирному обывателю, отличающемуся въ этомъ отношеніи отъ писателя только тѣмъ, что у него нѣтъ и такого оружія, какъ перо. Единственное прибѣжище для такого оскорбленнаго или потерпѣвшаго насиліе обывателя есть судъ. Судъ и дѣлаетъ свое дѣло, но онъ является уже *post factum*, когда человѣкъ уже претерпѣлъ насиліе, униженіе, оскорбленіе или когда его уже нѣтъ на свѣтѣ, какъ нѣтъ инженера Курмана. Безъ сомнѣнія, гласный судъ имѣетъ и воспитательное значеніе, не только казня насильника, но и всенародно ставя его къ позорному столбу. Но, очевидно, въ нашей общественной жизни есть какія-то теченія, пересиливающія это воспитательное значеніе суда. Нашъ общественный организмъ зараженъ какими-то зловердными микробами, для борьбы съ которыми организмъ вырабатываетъ или слишкомъ мало или недостаточно энергическихъ фагоцитовъ. И нечего рассчитывать на успѣхъ самыхъ краснорѣчивыхъ проповѣдей по частному вопросу о палочныхъ вторженіяхъ въ писательскіе кабинеты, пока не очистится вся наша общественная атмосфера. Да и какое право имѣемъ мы, писатели, такъ обособлять свои кабинеты, мы, тихая и важная работа мысли которыхъ въ томъ именно и состоитъ, чтобы распространять изъ своихъ кабинетовъ свѣтъ во все углы и закоулки нашей родины. Я глубоко скорблю за г-жу Гуревичъ, но не угодно-ли вамъ продумать и почувствовать слѣдующую, напримѣръ, исторію, сообщаемую кievскою газетою «Жизнь и Искусство».

«Въ прошломъ году въ т—скомъ 2-классномъ училищѣ разыгралась слѣдующая возмутительная сцена. Одна изъ лучшихъ ученицъ, всегда получающая награды и похвальные листы, 14-ти-лѣтняя Ольга А—ская, заподозрѣна была въ присвоеніи чужихъ калонъ. Завѣдывающій училищемъ М—ко произвелъ тутъ же въ классѣ разслѣдованіе дѣла и когда, по его мнѣнію, фактъ присвоенія былъ установленъ, онъ назначилъ ей слѣдующее безчеловѣчное дисциплинарное взысканіе, немислимое въ стѣнахъ школы въ сколько-нибудь цивилизованномъ обществѣ: признанную виновною онъ приказалъ провести между построеными въ ряды во дворѣ учениками, которые должны были плевать на нее. Неполненіе этой нравственной экзекуціи онъ поручилъ достойному своего учителя стипендіату

Б—ку, который долженъ былъ поступить въ учительскую семинарію, слѣдовательно, готовившемуся быть педагогомъ. Б—къ приказалъ двумъ ученикамъ вывести Л—скую во дворъ. Она сопротивлялась, кричала: «всѣ вы лжете!», стараясь вырваться. Б—къ, видя, что мальчишки не могутъ справиться съ ней, замѣнилъ ихъ другими, болѣе сильными. Они потащили ее изъ класса во дворъ; она продолжала сопротивляться; во время борьбы у ея платья оборвались пуговицы, книги брошены были на землю. Во дворѣ построены были въ ряды ученики; у воротъ стояли посторонніе лица. Когда Л—скую подвели къ рядамъ учениковъ, она вырвалась изъ рукъ юныхъ тирановъ и опрометью пробѣжала сквозь ряды учениковъ, пытаясь прорваться наружу, но это ей не удалось. Въ это время многіе ученики плевали—одни на землю, другіе на нее».

Эта возмутительная картина «педагогическаго» истязанія взята *Жизнью и Искусствомъ* изъ судебного протокола мирового судьи уманскаго округа.

«Судебное преслѣдованіе изувѣра-педагога было возбуждено отцомъ жертвы его изувѣрства. При разборѣ дѣла М—ко настаивалъ на прекращеніи дѣла, на томъ основаніи, что оно было уже на разсмотрѣніи и учебнаго начальства, и администраціи, онъ показалъ, что и отецъ потерпѣвшей въ кабинетѣ нанесъ ему оскорбленіе дѣйствіемъ. Мировой судья, однако, приговорилъ М—ко къ 2-хъ-мѣсячному аресту».

Сѣздъ призналъ дѣло неподсуднымъ мировымъ учрежденіямъ и передалъ дѣло прокурору.

Разъ дѣло разсматривалось въ судѣ, я не понимаю, почему кievская газета довольствуется инициалами или сокращенными именами дѣйствующихъ лицъ. Но это, конечно, не важно. Повторяю: я глубоко скорблю за Л. Я. Гуревичъ, но какими же скорбями скорбѣть за эту несчастную 14-лѣтнюю дѣвочку! Вѣдь Достоевскій съ его жестокимъ талантомъ нуженъ для изображенія претерпѣнныхъ ею душевныхъ мукъ. А эти «юные тираны»,—что вынесутъ они изъ жизни и что внесутъ въ нее, если не встрѣтятъ парализующихъ этотъ воспитательный опытъ вліяній! И вотъ, когда мы введемъ въ свой кругозоръ все множество этихъ случаевъ безобразнаго тиранства и самоуправства, намъ понятно станетъ, что прискорбные эпизоды съ г-жею Гуревичъ, кн. Мещерскимъ и г. Меньшиковымъ суть только частности, не подлежащія обсужденію въ ихъ связи съ множествомъ другихъ явленій: что насъ угнетаетъ не специальное неуваженіе къ тихой и важной работѣ мысли, совершающейся въ кабинетахъ писателей, а неуваженіе къ личности вообще, во всѣхъ ея законныхъ и мирныхъ проявленіяхъ; что неуваженію этому мы учимся вонъ еще въ двуклассномъ училищѣ...

И потомъ — остается еще вопросъ о характерѣ той тихой и важной работы мысли, которая совершается въ нашихъ писательскихъ кабинетахъ. Въ кабинетѣ кн. Мещерскаго, напримѣръ, эта работа состояла въ проповѣди оглушенія мысли разными способами, въ проповѣди презрѣнія къ личному достоинству вообще, въ смакованіи розги, какъ спасительнаго воздѣйствія на умъ и чувства, въ частности. *Argumentum baculinum* и теперь, послѣ полученнаго имъ «символическаго» или реального оскорбленія, сохраняетъ для кн. Мещерскаго свою прелесть. Говоря о происшествіи въ редакціонномъ кабинетѣ «Педѣли», «онъ глубоко скорбитъ объ участи несчастнаго Жеденева». Онъ, претерпѣвшій насилие, становится на сторону не такого же претерпѣвшаго, а насильника. Это даже самоотверженно. Въ кн. Мещерскаго до такой степени вросло стремленіе къ оглушенію мысли всякими способами, что никакіе *medicamenta heroica* не могутъ его излѣчить отъ этой болѣзни. И пришлось бы, наконецъ, молча предоставить его той участи, которую онъ самъ себѣ съ такимъ упорствомъ готовитъ. Но дѣло въ томъ, что онъ заражаетъ атмосферу. Онъ давно уже окруженъ нѣкоторымъ комическимъ ореоломъ, и за послѣднее время, кажется, только гг. Половцевы и приняли его слова *au sérieux*. Тѣмъ не менѣе, и капля, какъ извѣстно, продабливаетъ, наконецъ, камень, и изо дня въ день (теперь ужъ, впрочемъ, не изо дня въ день) повторяемое восхваленіе кулака, какъ противовѣса мысли, оставляетъ, наконецъ, свой слѣдъ въ общественномъ сознаніи. А вѣдь кн. Мещерскій не одинъ подвизается на этомъ поприщѣ. Есть и другіе органы печати, болѣе или менѣе азартно рекомендующіе кулакъ, какъ самое лучшее оружіе въ борьбѣ съ мыслью вообще. съ тою или другою не правящеюся имъ мыслью въ частности. Этотъ рекомендуемый кулакъ не всегда, разумѣется, реаленъ, а имѣетъ и тоже своего рода «символическій» характеръ. Это во всякомъ случаѣ стремленіе не аргументомъ отвѣтить на аргументъ, а такъ или иначе зажать ротъ противнику виѣ литературными средствами. Едва ли такой образъ дѣйствія заслуживаетъ титула «тихой и важной работы мысли», и нѣтъ ничего удивительнаго, если онъ, вкладывая свою ленту въ общую сокровищницу насилія и самоуправства, вызываетъ рикшеты, въ свою очередь неприятныя для самихъ «поднявшихъ мечъ». Сомнѣваюсь, чтобы и все, что дѣлается въ редакціи «Сѣвернаго Вѣстника», заслуживало названія тихой и важной работы мысли и способствовало воспитанію общества въ смыслъ уваженія къ литературѣ. Даже не выходя за предѣлы литературнаго эпизода, вызваннаго оскорбленіемъ г-жи Гуревичъ, мы имѣемъ ея собственное признаніе, что на страницѣ ея журнала понало нѣчто дѣйствительно непозволительное.

Итакъ, мы, писатели, безспорно должны скорбѣть о случаяхъ съ г-жею Гуревичъ, кн. Мещерскимъ и г. Меньшиковымъ, но намъ, голосу страны, не подобаетъ себялюбивая точка зрѣнія, изолирующая эти возмутительные случаи отъ всей совокупности произвола и самоуправства, совершающихся въ родной странѣ въ самыхъ разнообразныхъ формахъ. А затѣмъ, намъ, писателямъ, слѣдуетъ подумать объ упорядоченіи нравовъ въ своей собственной средѣ...

Врачу, исцѣлся самъ! — скажетъ мнѣ г. Туганъ-Барановскій. Въ апрѣльской книжкѣ «Міра Божія» напечатана его статья «Экономическій факторъ и идеи», оканчивающаяся слѣдующими словами: «Не довольствуясь аргументами по существу (или, вѣрнѣе, по недостатку таковыхъ), г. Михайловскій прибѣгаетъ къ аргументамъ *ad hominem*. Это, разумеется, его дѣло. Такъ, напримѣръ, онъ полагаетъ, что «для г. Тугана 600 мучительнѣйшихъ смертей—сущіе пустяки»(?). Что можно возразить на это? Состязаться съ г. Михайловскимъ на этой почвѣ я не имѣю никакого желанія. Но всему есть предѣлъ, и заявленія о грѣховности того или иного мнѣнія о факторахъ историческаго развитія («великій грѣхъ беретъ на свою душу г. Туганъ») кажется мнѣ довольно неожиданнымъ на страницахъ либеральнаго журнала».

Этими словами г. Туганъ-Барановскій хочетъ сказать что-то очень ядовитое, едва, однако, мерцающее сквозь туманы «аргументовъ *ad hominem*» и «грѣховныхъ мнѣній». Я долженъ былъ бы, повидимому, посыпать свою посѣдѣвшую на литературной работѣ голову пепломъ и покаяться, что «Русское Богатство» не оправдало довѣрія г. Тугана-Барановскаго, а я лично, для самого себя «довольно неожиданно», встрѣтилъ такого богатыря, передъ которымъ оказались безсильными мои литературные ресурсы, и я прибѣгъ къ «лукавому книжалу». Я могъ бы, однако, съ другой стороны, развить мысль, выраженную въ редакціонномъ примѣчаніи въ статьѣ г. Гольдштейна «Живое и мертвое», напечатанной въ той же апрѣльской книжкѣ «Міра Божія»: есть «чистая наука», которая «всегда нравственна», но есть и такіе вопросы, въ которыхъ, по мнѣнію редакціи, «можетъ быть рѣчь о нравственности или безнравственности («грѣховности») даннаго направленія». Но я не сдѣлаю ни того, ни другого: ни пепломъ голову свою не посыплю, ни развивать мысль редакціи «Міра Божія» не буду. Я просто возстановлю факты.

Фраза: «для г. Тугана 600 мучительнѣйшихъ смертей — сущіе пустяки», дѣйствительно, есть въ моей статьѣ. Но изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобы я уподоблялъ г. Тугана-Барановскаго Торкве-

мадѣ, Нерону и другимъ любителямъ жестокихъ зрѣлищъ. Напротивъ, «ad hominem» у меня говорится слѣдующее: «Онъ, я увѣренъ, совсѣмъ не такъ жестокосердъ, чтобы ему было «выполнѣ и исключительно наплевать» на 600 мучительныхъ смертей; я увѣренъ, что случись на его глазахъ что нибудь подобное, онъ съ жаромъ противопоставилъ бы свои идеи идеямъ раскольничьего пона (рѣчь идетъ о самосожигателяхъ) и свое краснорѣчіе его краснорѣчію» («Р. Б.» № 1, стр. 54). Зачѣмъ же г. Туганъ-Барановскій такъ самъ себя беспокоить?

Что касается его «мнѣнія о факторахъ историческаго развитія», то я считаю это мнѣніе невѣрнымъ и одностороннимъ, но никогда не называлъ «грѣховнымъ». Косвеннымъ образомъ мнѣ пришлось въ своей статьѣ даже заступиться за это мнѣніе, ибо я говорю, что г. Туганъ-Барановскій «компрометируетъ защищаемый имъ тезисъ», и выражаю увѣренность, что съ этимъ согласятся «всѣ сколько нибудь серьезные единомышленники г. Тугана» (ibid. 59, а также 65). Фраза: «великій грѣхъ беретъ на свою душу г. Туганъ» опять таки, дѣйствительно, есть въ моей статьѣ, но она относится не къ «мнѣнію» г. Тугана-Барановскаго, а къ тому, что онъ, будучи человѣкомъ науки, способствуетъ распространенію «слѣпой вѣры», прикрывающейся «критикой» и «наукой» (ibid. 61). Но тутъ я, по крайней мѣрѣ, понимаю, почему г. Туганъ-Барановскій такъ самъ себя беспокоить.

По этимъ двумъ образчикамъ читатель можетъ судить вообще о полемическихъ пріемахъ г. Тугана-Барановскаго: все то онъ, по выраженію Гл. Успенскаго, «не въ то мѣсто попадаетъ». Не вижу поэтому надобности входить во всѣ подробности новаго произведенія г. Тугана-Барановскаго, да это было бы для меня и затруднительно, такъ какъ свои возраженія мнѣ онъ переплетаетъ съ возраженіями гг. Карѣву и Оболенскому, влѣдствіе чего его аргументація получаетъ нарочито запутанный характеръ. Не могу, однако, не воспользоваться нѣкоторыми уроками, которые онъ, въ качествѣ специалиста, преподаетъ мнѣ, профану.

Онъ объясняетъ: «Въ своей статьѣ я говорю, что капиталистическая организація предполагаетъ три основныхъ формы дохода: ренту, прибыль и заработную плату. Г. Михайловскій и съ этимъ не согласенъ: «не капиталистическая организація предполагаетъ 3 основныхъ формы дохода, а наука знаетъ только эти 3 формы». Повидимому, г. Михайловскій полагаетъ, что формы дохода суть не историческія, а логическія категоріи, что рента, прибыль и заработная плата существуютъ при всякой организаціи хозяйства. Было бы любопытно, если бы онъ нашелъ эти формы дохода хотя бы у проказовъ, о которыхъ разсказываетъ Морганъ» («М. В.» IV.

290). У прокезовъ, о которыхъ рассказываетъ Морганъ, а также у многихъ другихъ, о которыхъ рассказываютъ многіе другіе, мы не найдемъ трехъ формъ дохода, но не въ прокезахъ и дѣло. Г. Туганъ-Барановскій утверждалъ въ своей первой статьѣ, что «въ каждомъ обществѣ столько же классовъ, сколько формъ дохода въ нихъ существуетъ», а затѣмъ, указавъ *три* формы дохода, самъ насчиталъ «въ большинствѣ *современныхъ* обществъ» «по крайней мѣрѣ *пять* классовъ». Я же, предложивъ ему прибавить къ этимъ пяти еще такъ называемые непронизводительные классы, утверждалъ и утверждаю, что, на сколько бы классовъ это современное «общество» ни дѣлилось, въ немъ все-таки будетъ не больше трехъ формъ дохода, а потому не вѣрно и общее положеніе г. Туганъ-Барановскаго: «въ каждомъ обществѣ столько же классовъ, сколько формъ дохода въ немъ существуетъ». Полагаю, что ссылка на прокезовъ, о которыхъ рассказываетъ Морганъ, ничего въ этомъ моемъ утвержденіи не отмѣняетъ.

Гораздо поучительнѣе другой урокъ, преподаваемый мнѣ г. Туганъ-Барановскимъ. Если читатель припомнить, я обвинялъ моего почтеннаго оппонента въ томъ, что онъ «даетъ своимъ читателямъ вполне извращенное понятіе объ исторической роли «отца политической экономіи», то есть, Адама Смита, выставивъ на видъ лишь «идеи» Смита о благотворномъ значеніи свободной конкуренціи и умалчивая о его роли въ развитіи теоретическихъ основъ науки, въ частности трудовой теоріи цѣнности. *Мимоходолю*, возражая г. Туганъ-Барановскому, я замѣтилъ: «Положимъ, что «меньше всего» Смитъ сочувствовалъ не фабрикантамъ и торговцамъ, а классу крупныхъ землевладѣльцевъ, *но дѣло теперь не въ этомъ*» («Р. Б.» II, 159). Дѣйствительно, дѣло было не въ этомъ, но г. Туганъ-Барановскій, совершенно умалчивая о моемъ главномъ обвиненіи, ухватился именно за это побочное мимоходное замѣчаніе, сдѣланное, такъ сказать, въ скобкахъ, и обвиняетъ меня «въ полномъ незнакомствѣ съ предметомъ» и совѣтуетъ прочитать «Богатство народовъ». Затѣмъ онъ приводитъ двѣ-три выписки изъ книги Смита, въ которыхъ, дѣйствительно, сквозитъ неблагопріятное отношеніе къ торгово-промышленному классу и благопріятное—къ классу землевладѣльцевъ. И г. Туганъ-Барановскій побѣдоносно спрашиваетъ: «Кажется, все это достаточно ясно?» Нѣтъ, недостаточно ясно. Дѣло въ томъ, что выписать изъ обширнаго сочиненія нѣсколько строкъ еще не значитъ опредѣлить его характеръ въ цѣломъ. И я, въ свою защиту, позволю себѣ сослаться на мнѣніе челоуѣка, авторитетъ котораго г. Туганъ-Барановскій, надѣюсь, не станетъ отвергать. Одинъ ученый экономистъ говоритъ: «Мальтусъ, сочиненія котораго были въ высшей степени

тенденціозны и всегда преслѣдовали опредѣленную политическую цѣль. выступилъ въ защиту землевладѣльческаго класса отъ тѣхъ нареканій въ безполезности, которымъ землевладѣльцы подвергались со стороны Адама Смита и его учениковъ. Такое отношеніе къ общественной роли земельной аристократіи со стороны Адама Смита вполне гармонизировало съ революціоннымъ характеромъ той эпохи, во время которой писалъ Ад. Смитъ. Хотя Ад. Смитъ во многихъ мѣстахъ своей знаменитой книги говоритъ, что интересы торгово-промышленнаго сословія противоположны интересамъ всей націи, тѣмъ не менѣе вся книга его проникнута воззрѣніемъ, что торгово-промышленные классы представляютъ собою главную, если не единственную, силу націи».

Цитируемый авторъ, очевидно, согласенъ со мной, а не съ г. Туганомъ-Барановскимъ. Онъ знаетъ тѣ «мѣста знаменитой книги Ад. Смита», которыя приводитъ г. Туганъ-Барановскій, но, не сближаясь ими, говоритъ почти буквально то самое, что и я говорю: «менѣе всего Смитъ сочувствовалъ не фабрикантамъ и торговцамъ, а классу крупныхъ землевладѣльцевъ». И это, по мнѣнію цитируемаго автора, «вполнѣ гармонизовало съ революціоннымъ характеромъ эпохи». А знаете-ли, кто этотъ авторъ, столь согласный со мной и, слѣдовательно, по мнѣнію г. Тугана-Барановскаго, подлежащій обвиненію въ «полномъ незнакомствѣ съ предметомъ»? Никто иной, какъ самъ г. Туганъ-Барановскій... Цитированное мѣсто вы можете найти на стр. 392—393 его книги «Промышленные кризисы въ современной Англіи». Вѣроятно, въ качествѣ челоуѣка науки, г. Туганъ-Барановскій имѣетъ два прямо противоположныхъ мнѣнія объ одномъ и томъ же предметѣ. Я — профанъ, и такой роскоши позволить себѣ не могу...

Не довольно-ли? Нѣтъ, еще одинъ пунктъ для характеристики полемическихъ пріемовъ г. Тугана-Барановскаго. Вы помните его удивительную диссертацию о Дарвинѣ, который, дескать, потому выбралъ предметомъ своихъ занятій естествознаніе, что того требовали практическія задачи, выдвинутыя развитіемъ крупной промышленности. Теперь г. Туганъ Барановскій возвращается къ этой темѣ и разлиываетъ такое море учености и остроумія, что куда уже мнѣ вычерпать его своимъ скромнымъ ковшомъ! Для такой попытки надо быть въ веселомъ расположеніи духа. Мнѣ особенно правится тутъ побѣдоносный вопросъ: «развѣ дѣдъ и отецъ Дарвина жили на о-вахъ Фиджи, а не въ Англіи»? Ничего не могу возразить противъ заключающейся въ этомъ вопросѣ истины. Могу только изумляться обширности познаній г. Тугана-Барановскаго и его находчивости въ спорѣ. Только вотъ что замѣчу. Г. Туганъ-Барановскій говоритъ: «Г. Михайловскій не можетъ допустить, чтобы

была какая-нибудь зависимость между изслѣдованіями Дарвина и крупной промышленностью... Г. Михайловскій съ негодованіемъ отвергаетъ самую мысль о томъ, чтобы развитіе естествознанія находилось въ какой-либо связи съ условіями хозяйства... Г. Михайловскій думаетъ, что Дарвинъ стоялъ внѣ всякаго вліянія социальной среды»...

Да будетъ вамъ, мой многоуважаемый! Успокойтесь! Ничего подобнаго я не говорилъ. Вы почитайте. Я ужъ лѣтъ 25 тому назадъ вполне опредѣленно говорилъ о связи естествознанія вообще и теоріи Дарвина въ частности съ условіями хозяйства. Да и въ той статьѣ, изъ которой вы такія удивительныя заключенія на мой счетъ вывели, есть слѣдующія строки: «Теорія пассивно механическаго подбора приспособленныхъ и переживанія, въ лютой борьбѣ за существованіе, лучшихъ и высшихъ организмовъ,—есть прямое отраженіе и какъ бы принципиальное оправданіе той бѣшеней общественной конкуренціи, въ которой развитіе крупной промышленности играетъ столь видную роль. Рекомендую эту тему г. Тугану» («Р. Б». I, 64—65). Я ему благодарнѣйшую тему рекомендую, именно о связи теоріи Дарвина съ условіями хозяйства, а онъ говоритъ, что я «съ негодованіемъ отвергаю самую мысль» о такой связи... Связь несомнѣнно есть, но г. Туганъ-Барановскій «не въ то мѣсто попалъ», утверждая, что *выборъ занятій* Дарвина опредѣлялся практическими задачами, выдвигаемыми развитіемъ крупной промышленности. Немножко сложите это дѣло...

Недавно появилась книга М. А. Автоновича «Чарльзъ Дарвинъ и его теорія». Это чрезвычайно почтенный трудъ, исполненный съ большою любовью, можетъ быть, даже съ чрезмѣрною любовью. Не то, чтобы Дарвинъ не заслуживалъ величайшаго почтенія, не только какъ ученый, а и какъ человѣкъ,—напротивъ, всѣ біографы единогласно говорятъ о его высокихъ нравственныхъ качествахъ. Нѣкоторые изъ нихъ утверждаютъ даже, что въ немъ «величайшій умъ соединялся съ еще болѣе высокимъ характеромъ» (Грантъ Алленъ). И не смотря на огромность вклада Дарвина въ науку, каковая огромность могла бы, повидимому, совершенно заслонить его худыя-ли, хорошія-ли личныя качества,—тѣмъ болѣе, что отъ тревогъ практической жизни онъ сторонится,—даже энциклопедическіе словари отмѣчаютъ его скромность, добросовѣстность, честность, благородство характера и т. д. Словомъ, это дѣло безспорное: біографы Дарвина всѣ безъ исключенія почтительно преклоняютъ головы передъ его нравственнымъ обликомъ. Но г. Автоновичу этого мало. Подобно тѣмъ рыцарямъ, которые, разтѣзая по

бѣлому свѣту, намѣренно вызывали непріятности по адресу своей дамы. чтобы сразиться за ея честь, г. Антонович навязываетъ біографамъ Дарвина дурные объ немъ отзывы, которые, конечно, тутъ же и опровергаются.

Г. Антоновичъ говоритъ: «Біографы Дарвина самымъ непозволительнымъ образомъ злоупотребляютъ его неумѣренной скромностью и его чрезмерно строгою требовательностью къ себѣ». Слѣдуютъ примѣры, изъ которыхъ, ради краткости, мы остановимся только на двухъ.

«Въ своей автобіографіи Дарвинъ откровенно и чистосердечно принесъ покаяніе въ томъ, что въ дѣтствѣ онъ любилъ сочинять небылицы для шутки и для эффекта. Слѣдовательно, — заключаютъ біографы, — онъ въ дѣтствѣ обнаруживалъ наклонность ко лжи. И что же это за ложь? Самая лживая продѣлка: онъ сорвалъ въ своемъ саду нѣсколько фруктовъ и спряталъ ихъ въ кустахъ, а потомъ прибѣжалъ домой и сказалъ, что онъ нашелъ въ кустахъ кучу фруктовъ, вѣроятно кѣмъ-то украденныхъ и спрятанныхъ. Ну можно-ли изъ этого выводить, что Дарвинъ въ дѣтствѣ имѣлъ страсть лгать? И вѣроятно-ли это въ человѣкѣ, вся натура котораго насквозь была пропитана правдивостью? И гдѣ это біографы видали такіа отъ рожденія правдивыя натуры, которыя въ дѣтствѣ не сочиняли бы подобныхъ небылицъ и подобной лжи? — Дарвинъ рассказываетъ, что въ бытность свою въ Эдинбургскомъ университетѣ, узнавъ, что отецъ можетъ оставить ему средства, достаточныя для существованія, разлѣнился, пересталъ заниматься медициной. Слѣдовательно, — заключаютъ біографы, — онъ былъ лживымъ молодымъ человѣкомъ, занимавшимся только для куска хлѣба; потому что, узнавъ о средствахъ отца, сталъ шелонайничать, предавался спорту, кутежамъ и даже однажды былъ пьянъ, какъ самъ же сознается».

Какіе, подумаешь, мелкіе и злорадные люди эти біографы! — непременно норовятъ разыскать какую-нибудь слабость великаго человѣка и раздуть ее до размѣровъ, совершенно не соответствующихъ ея дѣйствительному значенію. Даже смерть великаго человѣка не заставляетъ эти ядовитые языки прилигнуть къ гортани... И какая дрянная мелочность обвиненій: 73 года человѣкъ прожилъ, и одинъ разъ выпилъ лишнее, — какой мѣдный лобъ или лицемерную душу надо имѣть, чтобы сдѣлать изъ этого факта упрекъ творцу «Присхожденія видовъ»? Или это уличеніе правдивѣйшаго человѣка во лживости... Да, правъ, совершенно правъ въ своемъ негодованіи г. Антоновичъ...

Итъ, совершенно не правъ г. Антоновичъ. Похвальное дѣло — защита чистаго человѣка отъ не чистыхъ нападокъ: похвальное, а

вмѣстѣ съ тѣмъ и для самаго защитника лестное, особенно когда рѣчь идетъ не только о чистомъ, а и о великомъ человѣкѣ, раздвинувшемъ наши умственные горизонты и составляющемъ гордость и славу науки. Но ради этого похвального и лестнаго дѣла не слѣдуетъ все-таки бросать незаслуженную тѣнь на людей, хотя бы даже и очень маленькихъ въ сравненіи съ великаномъ Дарвиномъ, но относящихся къ этому великану не менѣе почтительно. — скажу больше: не менѣе благоговѣйно, чѣмъ г. Антоновичъ. Я не знаю ни одного біографа Дарвина, который заслуживалъ бы негодованія г. Антоновича; напротивъ, какъ уже сказано, всѣ они распространяются въ похвалахъ высокимъ нравственнымъ качествамъ своего героя, хотя нѣкоторые изъ нихъ приводятъ и анекдотъ о будто бы найденныхъ фруктахъ и случай пьянства. Вопросъ въ томъ, — какъ приводить и какъ освѣщаютъ. Г. Антоновичъ не называетъ по имени ни одного изъ біографовъ Дарвина, возбудившихъ его негодованіе, а говоритъ вообще — «біографы», такъ что какъ будто даже всѣ они повинны въ грѣхѣхъ злоязычія и дрянной придирчивости. Возьмемъ же біографію, въ которой упомянутые случаи лжи и пьянства выступаютъ, повидимому, съ особенною яркостью. Это — біографическій очеркъ М. А. Энгельгардта, вошедшій въ составъ біографической бібліотеки Павленкова.

Въ оглавленіи этой біографіи встречаемъ такія слова: «наклонность ко лжи въ дѣтствѣ», «отлыниванье отъ науки», «посредственные успѣхи въ наукахъ». А подъ этими заголовками находимъ слѣдующее. Разсказавъ о мягкосердечіи юнаго Дарвина, г. Энгельгардтъ продолжаетъ: «Кстати упомянемъ здѣсь о другой чертѣ его характера. «Я долженъ признаться — разсказываетъ онъ въ своей автобіографіи — что въ дѣтствѣ былъ очень склоненъ выдумывать неправдоподобныя исторіи съ цѣлю возбудить переполохъ. Такъ, напримѣръ, я набралъ однажды въ саду моего отца кучу плодовъ, спряталъ ее въ кустарникъ и опрометью побѣжалъ сообщить, что я нашелъ кучу украденныхъ плодовъ». Къ этому показанію самаго Дарвина біографъ прибавляетъ *только* слѣдующее: «Вотъ фактическое опроверженіе пословицы — каковъ въ колыбелькѣ, таковъ и въ могилку». А затѣмъ рѣчь идетъ уже совсѣмъ о другомъ (о занятіяхъ химіей). И только черезъ нѣсколько страницъ, говоря о правдивости Дарвина, біографъ замѣчаетъ: «наклонность выдумывать сенсационныя исторіи исчезла безслѣдно вмѣстѣ съ дѣтствомъ».

Очевидно, что, по крайней мѣрѣ, г. Энгельгардтъ отнюдь не заслуживаетъ упрековъ въ непочтительномъ или придирчивомъ упоминаніи о случаѣ съ кучей плодовъ. Онъ буквально приводитъ собственные слова Дарвина, а отъ себя прибавляетъ только то

именно, что г. Антоновичъ предъявляетъ какъ бы въ пику злоязычнымъ біографамъ: онъ очень хорошо знаетъ, что «вся натура Дарвина насквозь была пропитана правдивостью», и именно это самое и хочется сказать своимъ «фактическимъ опроверженіемъ» поговорки о колыбелькѣ и могилкѣ. Скажутъ, можетъ быть, что не зачѣмъ было и упоминать о такой мелочи, при томъ столь не характерной для человѣка. Едва-ли это, однако, справедливо. Въ одномъ изъ своихъ писемъ изъ кругосвѣтнаго плаванія Дарвинъ выражаетъ сомнѣніе:— на тѣ-ли онъ факты обращаетъ вниманіе, которые его дѣйствительно заслуживаютъ. Это опасеніе очень характерно для молодого, мало подготовленнаго Дарвина, но впоследствии, потому-ли, что самое это опасеніе дѣйствовало на него воспитательнымъ образомъ, или потому, что таковы ужъ были природныя свойства его ума.— Дарвинъ отличался особенною способностью замѣчать и склонностью отмѣчать факты, повидимому, чрезвычайно мелкіе, но представляющіе въ извѣстномъ освѣщеніи огромный интересъ. Въ виду этого можно съ большою увѣренностью а priori сказать, что если онъ счелъ нужнымъ внести въ свою автобіографію ту или другую психологическую черту, то она заслуживаетъ вниманія. И дѣйствительно, дѣтская лживость — явленіе очень обыкновенное, но очень мало изученное. Мотивы ея, по всей вѣроятности, имѣютъ мало общаго съ мотивами лжи у взрослыхъ людей и требуютъ особаго вниманія со стороны психологовъ и педагоговъ. Поэтому здѣсь дорого каждое наблюденіе, а признаніе Дарвина въ частности дорого именно потому, что кладетъ рѣзкую границу между дѣтскою ложью и ложью взрослыхъ людей. Я не слѣжу за педагогической литературой, но, случайно развернувъ только что вышедшую книгу Компере «Умственное и нравственное развитіе ребенка», увидать, что рассказъ Дарвина о будто бы найденныхъ плодахъ въ пей, худо-ли, хорошо-ли, утилизируется. И это совершенно понятно. Почему знать, можетъ быть отмѣченная біографомъ Дарвина «наклонность выдумывать сенсационныя исторіи» была зачаточной формой работы того могучаго воображенія, которое впоследствии, обузданное изъ ряда вонъ выходящею наблюдательностью, позволило Дарвину обнять ходъ развитія всего органическаго міра; можетъ быть, то, что въ дѣтствѣ, за неимѣніемъ матеріала, разрѣшалась ложью, стало впоследствии орудіемъ изысканія истины. Во всякомъ случаѣ фактъ остается фактомъ, и біографъ, упоминая объ немъ собственными словами Дарвина и сопровождающій ихъ вышеприведенными оговорками, ужъ, конечно, не наноситъ никакого оскорбленія памяти великаго натуралиста.

Пойдемъ дальше. Въ томъ же біографическомъ очеркѣ г. Энгельгардта читаемъ: «Въ 1825 г., удивившись, что изъ школьныхъ

занятій Чарльза не выйдет особеннаго прока, отецъ взять его изъ гимназій и отправить въ Единбургскій университетъ подготавливаться къ медицинскою карьерѣ. «Вскорѣ однако — говоритъ Дарвинъ — я убѣдился, что отецъ оставитъ мнѣ достаточное для жизни состояніе: этого убѣжденія было довольно, чтобы уничтожить всякое серьезное стремленіе изучать медицину». — Опять, какъ видите, подлинныя слова самого Дарвина, а отъ себя біографъ комментируетъ ихъ такъ: «Очевидно, интересъ, представляемый медициною, былъ слишкомъ узокъ и ограниченъ для Дарвина, интересовавшагося всей вообще природою». Кажется, тутъ нѣтъ умаленія достоинствъ Дарвина...

О времяпровожденіи въ Кембриджѣ нашъ біографъ рассказываетъ, между прочимъ, слѣдующее: «По вечерамъ Дарвинъ и его товарищи нерѣдко собирались и проводили время довольно весело: пѣли пѣсни, играли въ карты и при случаѣ выпивали не вполнѣ умѣренно. Объ этихъ вечерахъ у него сохранилось нѣсколько конфузливое воспоминаніе. Много лѣтъ спустя, его сынъ — еще ребенокъ — спросилъ его однажды, былъ-ли онъ когда-нибудь пьянымъ? Дарвинъ совершенно серьезно отвѣчалъ, что къ стыду своему долженъ сознаться, что однажды въ Кембриджѣ ему случилось выпить лишнее». Вотъ и все. Непосредственно за этимъ слѣдуетъ: «Добродушный, наивный, правдивый — склонность выдумывать сенсационныя исторіи исчезла безслѣдно вмѣстѣ съ дѣтствомъ — онъ привлекалъ къ себѣ сердца всѣхъ знавшихъ его и имѣлъ много друзей среди студентовъ и профессоровъ».

Г. Антоновичъ не называетъ г. Энгельгардта, какъ и вообще никого изъ «біографовъ». Но я не знаю ни одного изъ нихъ, — и беру на себя смѣлость утверждать, что и нѣтъ такого, — который заслуживалъ бы упрековъ г. Антоновича въ большей мѣрѣ, чѣмъ г. Энгельгардтъ, а послѣдній ихъ, очевидно, совѣмъ не заслуживаетъ.

Сама по себѣ эта странная неумѣстность негодованія не представляетъ чего-нибудь важнаго, — хотя все-таки, зачѣмъ же бросать тѣнь на людей неповинныхъ, — но дѣло въ томъ, что это характерно вообще для почтеннаго въ другихъ отношеніяхъ труда г. Антоновича. Если разобранный случай можетъ быть объясненъ тѣмъ страстнымъ желаніемъ засвидѣтельствовать свои чувства уваженія и преданности, которыя руководили и рыцарями въ ихъ подвигахъ въ честь своихъ дамъ, то для другихъ полемическихъ неумѣстностей въ книгѣ г. Антоновича нѣтъ и этого объясненія. Казалось бы, что тема «Чарльзъ Дарвинъ и его теорія» настолько обширна, что въ книгѣ, ей посвященной можно было бы исключительно на ней сосредоточиться. А между тѣмъ г. Антоновичъ, напримѣръ, «не можетъ удержаться», чтобы не сравнить съ Дарвиномъ г-жъ

Смирнову, Головачеву-Шапаеву и Винницкую (стр. 10 — 11). Разумѣется, сравненіе оказывается не въ пользу этихъ дамъ, но согласитесь, что отгнѣять на ихъ счетъ величіе Дарвина, пожалуй, и не было особенной надобности. Біографы — тѣ хоть какое-нибудь отношеніе къ Дарвину имѣютъ, а тутъ ужъ подвернулись, какъ капитану Конфійкину, люди даже вовсе посторонняго вѣдомства: ни Дарвинъ не знаетъ о существованіи упомянутыхъ русскихъ писателей, ни эти писатели не сказали ничего о Дарвинѣ. А если ужъ пошло на переименованіе людей, стоящихъ въ какомъ-нибудь отношеніи ниже Дарвина, то не видно, почему этотъ списокъ ограничивается всего тремя именами...

Эти странные и совершенно ненужные прыжки въ сторону производятъ особенно непріятное впечатлѣніе въ третьей главѣ труда г. Антоновича, которая по своей задачѣ представляетъ особенный интересъ для большинства читающей публики. Рѣчь здѣсь идетъ о нравственно-политическомъ значеніи теоріи Дарвина. Извѣстно, что въ этомъ отношеніи теорія Дарвина съ самаго своего обнародованія и до настоящаго времени вызывала и вызываетъ чрезвычайно горячіе споры и разнообразныя толкованія, тщательное разсмотрѣніе которыхъ могло бы составить интереснѣйшія страницы книги «Чарльзъ Дарвинъ и его теорія». Къ сожалѣнію, эта глава одна изъ самыхъ слабыхъ, что объясняется отчасти небрежностью, съ которою отнесся къ предстоявшей задачѣ авторъ, очевидно, считая ее гораздо болѣе простою и легкою, чѣмъ какова она въ дѣйствительности, а отчасти все тѣми же ненужными прыжками въ сторону.

Изложивъ нѣкоторыя нападки на теорію Дарвина съ нравственно-политической точки зрѣнія, г. Антоновичъ продолжаетъ: «Прежде всего нужно замѣтить, что ужъ если бы теорія Дарвина, *заодно съ теоріей Маркса*, до такой степени благопріятствовала буржуазной конкуренціи и эксплуатаціи и своекорыстной плутократіи, то общественные представители этихъ элементовъ и ихъ естественные заступники и покровители встрѣтили бы обѣ теоріи съ распростертыми объятіями и съ шумными криками одобренія, чего, *какъ извѣстно, на дѣлѣ не было*, а было совсѣмъ противоположное. И въ настоящее время самыми ожесточенными противниками Дарвина, какъ и Маркса, оказываются тѣ сферы, которыя служатъ опорами и столбами буржуазной эксплуатаціи и всякой экономической и политической несправды».

Я подчеркнул два мѣста въ этой цитатѣ, дабы обратить на нихъ особенное вниманіе читателей.

«За одно съ теоріей Маркса». При чемъ тутъ Марксъ? Третья глава книги г. Антоновича, посвященная нравственно-политиче-

скому значенію теоріи Дарвина, занимаетъ всего 7—8 страницъ. Это и безъ того не особенно много для темы, столь значительной по своему смыслу и столь обширной по прикосновенному къ ней фактическому матеріалу. А нашъ авторъ находитъ возможнымъ и нужнымъ «заодно» прихватить и «теорію Маркса», которая вѣдь и сама по себѣ представляетъ сюжетъ достаточно обширный и сложный. Было бы, разумѣется, очень интересно выслушать мнѣніе г. Антоновича объ этомъ сюжетѣ, вызывающемъ нынѣ такъ много пререканій, — это способствовало бы, можетъ быть, «просіянію нашихъ умовъ». Но при такихъ условіяхъ, когда Марксъ является просто прихваченнымъ «заодно», я боюсь, что мысли г. Антоновича могутъ способствовать только вящей смутѣ. Онъ сочувственно дѣлаетъ большую выписку изъ книжки г. Бельтова, изъ которой, однако, только и видно, что г. Антоновичъ раздѣляетъ мнѣнія г. Бельтова, а вынутая изъ всей цѣли аргументаціи послѣдняя, сама по себѣ эта выписка ни для кого не имѣетъ доказательной силы. Собственнымъ же мыслямъ г. Антоновича о «теоріи Маркса» остается такъ мало мѣста, что онѣ поневолѣ являются въ крайне поверхностномъ и двусмысленномъ видѣ. Напримѣръ: «Тѣ же, буквально тѣ же (что и теоріи Дарвина) упреки дѣлаются и дѣлались экономической теоріи Маркса». И т. д. Г. Антоновичу, повидимому, некогда или негдѣ было на отведенномъ имъ себѣ маленькомъ пространствѣ различить «экономическую теорію» Маркса отъ его философско-историческихъ взглядовъ. А это было бы очень и очень не лишнее теперь у насъ, когда склонны совсѣмъ забывать Маркса-экономиста и видѣть въ немъ по преимуществу историка. При этомъ выяснилось бы, что хотя одинъ и тотъ же человѣкъ можетъ и изучать частную область хозяйственныхъ явленій, и строить ту или другую философско-историческую схему, но его заслуги въ той и другой сферѣ могутъ быть очень различны. И во всякомъ случаѣ не годится валить то и другое въ одну кучу подъ именемъ «экономической теоріи».

Постараемся быть осторожнѣе г. Антоновича и оставимъ пока въ сторонѣ Маркса. Г. Антоновичъ полагаетъ, что «ужь если бы теорія Дарвина до такой степени благопріятствовала буржуазной конкуренціи и эксплуатаціи и своекорыстной плутократіи, то общественные представители этихъ элементовъ и ихъ естественные защитники и покровители встрѣтили бы теорію съ распростертыми объятіями и съ шумными криками одобренія. чего, какъ извѣстно на дѣлѣ не было, а было совсѣмъ противоположное».

Кому и откуда это «извѣстно»?

И восторги, и протесты, вызванные и вызываемые теоріей Дарвина, очень разнообразны. Тѣ вѣрныя или невѣрныя замѣчанія,

опроверженія, дополненія, ограниченія. словомъ, вся та положительная или отрицательная критика, которая имѣетъ въ виду естественно-научную сторону теоріи, насъ здѣсь пока не интересуетъ. Но и за вычетомъ этой обширѣйшей стороны дѣла, въ предѣлахъ вопросовъ, затрогиваемыхъ третьею главою книги г. Антоновича, мы встрѣчаемъ все-таки чрезвычайное разнообразіе мнѣній о теоріи Дарвина и выводахъ изъ нея. Оставимъ и здѣсь въ сторонѣ тѣ мнѣнія и выводы, которые представляются противниками теоріи, и остановимся лишь на «встрѣтившихъ теорію съ распростертыми объятіями и шумными одобреніями». Читатель, надѣюсь, оцѣнитъ такую постановку вопроса. Г. Антоновичъ уподобляется вѣщему Баяну, который, «если кому хотѣлъ пѣснь творить, то растекался мыслью по древу, сѣрымъ волкомъ по землѣ, сизымъ орломъ подь облаками». Въ поэзіи это выходитъ хорошо. красиво. Но когда дѣло идетъ о сложномъ явленіи въ его фактическихъ подробностяхъ, лучше не «растекаться» и не прихватывать «заодно» всего, что подь руку попадется.

Чтобы не повторять сказаннаго уже очень давно, я попрошу читателя заглянуть въ пятый томъ моихъ «Сочиненій», въ статьи «Теорія Дарвина и соціологическіе выводы изъ нея Густава Іегера» и «Теорія Дарвина и либерализмъ». Но напомню все-таки нѣчто изъ послѣдней, написанной по поводу книги г-жи Ройе «*Origine de l'homme et des sociétés*» (1870). Г-жа Клемансъ Ройе— дама очень ученая и либеральная, переводчица «Происхожденія видовъ» на французскій языкъ и ярая дарвинистка. Она то ужъ несомнѣнно встрѣтила теорію Дарвина «съ распростертыми объятіями и шумными одобреніями». А вотъ каковы ея нравственно-политическіе выводы изъ теоріи. Еще до появленія упомянутой книги о происхожденіи человѣка и обществъ, если не ошибаюсь, въ предисловіи къ своему переводу книги Дарвина, она горячо протестовала, во имя теоріи, противъ демократическихъ принциповъ, практическое примѣненіе которыхъ, дескать, неизбѣжно понижаетъ уровень расы. Въ книгѣ о происхожденіи человѣка и обществъ Ройе развиваетъ эту мысль въ подробностяхъ. Напомню слѣдующія характерныя ея опасенія: «Въ Нагорной проповѣди есть достаточно элементовъ для ниспроверженія всего соціального строя, и въ догматѣ естественнаго равенства всѣхъ членовъ человѣческаго рода, дѣтей одного Отца, заключается отрицаніе всѣхъ жизненныхъ условій цивилизованныхъ обществъ». Что дѣло идетъ именно о сочетаніи дарвинизма съ принципомъ «буржуазной конкуренціи», это видно изъ слѣдующихъ, напримѣръ, словъ Ройе: «Изученіе законовъ, управляющихъ человѣческими дѣйствіями, показываетъ, что... нѣтъ такой нелѣпой страсти, такого страшнаго каприза, который не открывалъ

бы человѣческой дѣятельности новаго поля и который не давалъ бы пропитанія извѣстному числу людей, коимъ безъ этой помощи пришлось бы погибнуть... Уничтожьте праздность, и вы уничтожите вмѣстѣ съ тѣмъ и капризъ, а слѣдовательно, люди, удовлетворявшіе его, останутся безъ работы». Или еще: «Пора, если уже не поздно, доказать массамъ, что справедливость и общее счастье состоятъ въ равенствѣ свободы и въ прогрессѣ путемъ неравенства, которое, превративъ животное въ человѣка, въ будущемъ можетъ произвести изъ людей божественную расу, которая будетъ управлять землею справедливо, въ радости и мирѣ».

Объ такой же «божественной расѣ» («тирановъ—позитивистовъ») и на той же почвѣ общихъ принциповъ дарвинизма мечталъ Ренанъ («Dialogues et fragments philosophiques»).

Д. Ф. Штраусъ, включившій дарвинизмъ въ составъ своей «новой вѣры» («Der alte und der neue Glaube», 1873), писалъ: «Знаменательно, гдѣ нашелъ свой принципъ англичанинъ (Дарвинъ): ему и не приходилось его искать, ибо онъ вокругъ себя, на своей родинѣ, видѣлъ дѣятельность и поразительные результаты этого принципа: конкуренціи. Дарвинова «борьба за существованіе» есть ничто иное, какъ давно намъ извѣстный общественный, промышленный (industrielles) принципъ, расширенный до степени принципа природы» (130). А объ себѣ Штраусъ говоритъ: «Я—буржуа (ein Bürgerlicher) и горжусь имъ быть. Что бы ни говорили о буржуазіи и какъ бы ни осмѣивали ее съ двухъ сторонъ, онъ остается ядромъ народа, очагомъ его нравовъ, умножающимъ его благосостояніе, и служителемъ науки и искусства» (274). Соответственно этому относится Штраусъ и къ рабочему вопросу (279 и слѣд.).

Въ вышедшей недавно въ русскомъ переводѣ книжкѣ Гумпловича «Соціологія и политика» объясняется, что «теорія Дарвина обязана своимъ существованіемъ соціологическимъ изслѣдованіямъ Мальтуса» и что надлежитъ «эту теорію борьбы за существованіе примѣнить къ процессу соціальнаго развитія» (89). И именно въ томъ смыслѣ, что «главная пружина всей внѣшней и внутренней политики есть борьба соціальныхъ группъ за существованіе и развитіе благосостоянія путемъ эксплуатаціи, осуществляемой легче всего посредствомъ власти» (78).

Г. Антоновичъ допускаетъ существованіе «многихъ фигурирующихъ въ литературѣ полубразованныхъ людей, которые, слышавшійся дарвиновскихъ фразъ и имѣя самыя низменныя понятія о человѣческомъ существованіи, страшно злоупотребляютъ фразою о борьбѣ за существованіе; такъ какъ по представленію такихъ людей существованіе есть единственно и исключительно только «шкура», то, по ихъ терминологіи, борьбою за существованіе называется только

та дѣятельность, которая стимулируется низменными, пошлыми и алчными цѣлями, и потому всякій негодяй и преступникъ есть борецъ за существованіе, дѣйствующій по рецепту теоріи Дарвина.

Все это совершенно вѣрно: существуютъ и такіе полудобразованные люди, и такіе негодяи. Но не въ нихъ дѣло. Ни Густавъ Іегеръ, ни Роіе, ни Ренанъ, ни Штраусъ, ни Гумпловичъ не могутъ быть названы полудобразованными людьми. Равнымъ образомъ не защищаютъ они завѣдомыхъ «негодяевъ», а къ «преступникамъ» даже очень строги (см., напримѣръ, разсужденія Штрауса о смертной казни, стр. 293 и слѣд.). И тѣмъ не менѣе ясно, что они встрѣтили теорію Дарвина «съ распростертыми объятіями и съ шумными криками одобренія», видя въ ней нѣчто, «благопріятствующее буржуазной конкуренціи и эксплуатаціи». Откуда же г. Антоновичу «извѣстно», что этого не было? Нѣтъ, это было и есть, и я пока только этотъ фактъ и утверждаю, не касаясь вопроса о томъ — нравы или неправы люди, дѣлающіе приведенные выводы изъ теоріи Дарвина.

Надо замѣтить, что объ нѣкоторыхъ изъ приведенныхъ писателей и ученыхъ г. Антоновичъ упоминаетъ въ своей книгѣ. Такъ упоминается Густавъ Іегеръ въ числѣ «солидныхъ и ученыхъ специалистовъ», примкнувшихъ къ теоріи Дарвина (211). О г-жѣ Роіе приводится отзывъ самого Дарвина изъ его письма къ А. Грею: «Я получилъ нѣсколько дней назадъ французскій переводъ *Origin*, сдѣланный мадмуазель Роіе, должно быть самою дѣльною и выдающеюся женщиной въ Европѣ: она горячая деистка... и утверждаетъ, что естественный подборъ и борьба за существованіе объясняютъ всю мораль, природу человѣка, политику и проч. и проч. Она сдѣлала много любопытныхъ и дѣльныхъ указаній и обѣщаетъ издать цѣлую книгу объ этихъ предметахъ» (325). (Эта обѣщанная книга и есть вышеупомянутая *De l'origine etc.*). Изъ Штрауса приведено нѣсколько строкъ, изъ которыхъ, между прочимъ, видно, что этотъ «философъ и критикъ-теологъ», какъ онъ самъ себя называетъ, считаетъ Дарвина «величайшимъ благодѣтелемъ человѣческаго рода» (323). Положимъ, въ подлинникѣ сказано немножко мягче: «однимъ изъ величайшихъ благодѣтелей» (*als einen der grössten Wohlthäter*). Но эта маленькая дань пристрастія къ суженію красокъ не имѣетъ, разумѣется, существеннаго значенія. Гораздо интереснѣе то, что г. Антоновичъ не только не счелъ нужнымъ, въ главѣ о нравственно-политическомъ значеніи теоріи Дарвина, упомянуть о соответственныхъ выводахъ Роіе или Штрауса, не только скрылъ ихъ, но даже утверждаетъ, что таковыхъ, «какъ извѣстно», вовсе и не было со стороны тѣхъ, кто встрѣтилъ теорію

«съ распростертыми объятіями и шумными криками одобренія». А между тѣмъ въ существованіи отрицаемыхъ имъ явленій г. Антоновичъ могъ бы убѣдиться даже изъ приведенныхъ имъ словъ г. Бельтова: «Буржуазные писатели.—гласить, между прочимъ, эта цитата. — ссылаясь на Дарвина. въ дѣйствительности рекомендовали своимъ читателямъ не *научные приемы Дарвина, а только звѣрскіе инстинкты* тѣхъ животныхъ, о которыхъ у Дарвина пларѣчь. Марксъ сходится съ *Дарвиномъ*; буржуазные писатели *сходятся(?) съ звѣрями и скотами, которыхъ изучалъ Дарвинъ*». Курсивъ въ этой цитатѣ принадлежитъ г. Бельтову, а вопросительный знакъ—г. Антоновичу. Не знаю, къ чему относится выражаемое этимъ вопросительнымъ знакомъ недоумѣніе г. Антоновича: къ неудачно ли выбранному слову «сходятся» или къ самой мысли о томъ, что «со звѣрями и скотами» сходятся такіе писатели, какъ, напримѣръ, г-жа Ройе, которую Дарвинъ считалъ «самою дѣльною и выдающеюся женщиною въ Европѣ». Вы видите, что дѣло выходитъ несравненно сложнее, чѣмъ у г. Антоновича съ его рѣшительнымъ «какъ извѣстно».

Но сложность картины отношеній людей разныхъ взглядовъ къ теоріи Дарвина со стороны ея нравственно-политическаго значенія этимъ еще далеко не исчерпывается. Г. Бельтовъ не первый дѣлаетъ вышеприведенное сближеніе. Слишкомъ двадцать лѣтъ тому назадъ (въ 1874 г.) Леопольдъ Якоби утверждалъ въ книгѣ «Die Idee der Entwicklung», что «Капиталъ» есть «продолженіе и дополненіе» трудовъ Дарвина. Въ самое недавнее время то же самое доказываетъ Бебель въ книгѣ «Die Frau» etc. Такимъ образомъ, и люди взглядовъ совершенно противоположныхъ взглядамъ Ройе и т. п. устанавливаютъ связь своего ученія съ теоріей Дарвина. Однако, противъ этого рѣзко протестуютъ многіе натуралисты. Изъ нихъ особенно интересно отмѣтить Эрнста Геккеля, котораго г. Антоновичъ справедливо называетъ «самымъ энергичнымъ и успѣшнымъ, самымъ горячимъ и воинственнымъ пропагандистомъ» дарвинизма. Самъ Дарвинъ высоко цѣнилъ Геккеля. Напримѣръ, онъ писалъ этому апостолу дарвинизма по поводу одного изъ сочиненій послѣдняго: «Что меня больше всего поражаетъ, это необыкновенная ясность и методичность въ изложеніи, какъ менѣе важныхъ принциповъ, такъ и общей философіи предмета. Ваша критика борьбы за существованіе представляетъ прекрасный примѣръ того, до какой степени ваши мысли ясны, чѣмъ мнѣ. Все ваше разсужденіе о дистелеологіи привело меня въ восторгъ. Но было бы напрасно искать чего-нибудь особенно выдающагося; все кажется мнѣ превосходнымъ» (Антоновичъ, 219, 220). И этотъ дарвинистъ изъ дарвинистовъ самымъ рѣшитель-

нымъ образомъ высказывается противъ возможности сближенія соціально-демократическаго ученія съ теоріей Дарвина («Der Monismus als Band Zwischen Religion und Wissenschaft», 1892). Столь же опредѣленно высказывается на этотъ счетъ другой выдающійся нѣмецкій дарвинистъ, зоологъ Оскаръ Шмидтъ («Darwinismus und Socialdemocratie», 1878), затѣмъ антропологъ Отто Аммонъ («Der Darwinismus gegen die Socialdemocratie», 1891), зоологъ Циглеръ («Die Naturwissenschaft und die socialdemocratische Theorie», 1894).

Это упорное нежеланіе дарвинистовъ стоять «заодно» съ тѣмъ, что они считаютъ непримиримымъ съ основными принципами дарвинизма, вызвало у Бебеля рѣзкія замѣчанія на ту тему, что представители науки («проф. Геккель и его сторонники, какъ проф. О. Шмидтъ, Гельвальдъ и другіе») состоятъ на службѣ у буржуазіи, которая оплачиваетъ ихъ старанія защитить ея интересы авторитетомъ науки. Г. Антоновичъ такъ горячо говоритъ о безстрашии Геккеля въ борьбѣ со всякаго рода предрассудками и общепринятыми взглядами, что едва-ли согласится съ Бебелемъ. Но допустимъ, что Бебель правъ. Все же не правъ г. Антоновичъ.

Я думаю, что послѣ нашего очень бѣлаго и, разумѣется, далеко не полнаго обзора литературы предмета, намъ извѣстно совсѣмъ не то, что считаетъ извѣстнымъ г. Антоновичъ. Теорія Дарвина, помимо подтвержденій, дополненій, ограниченій и опроверженій на чисто естественно-научной, преимущественно біологической почвѣ, вызвала самыя противорѣчивыя сужденія въ примѣненіи къ общественной жизни. Не считая тѣхъ, кто либо совсѣмъ не признаетъ истинности теоріи, либо принимаетъ ее съ ограниченіями и дополненіями, либо, наконецъ, безъ всякаго къ ней отношенія изучаетъ общественную жизнь (вѣдь и авторъ «Капитала» всего раза два, да и то вскользь, мимоходомъ упоминаетъ Дарвина); ограничиваясь лишь тѣми, кто цѣлкомъ упоминаетъ теорію и старается приложить ее къ явленіямъ общественной жизни,—мы и здѣсь встрѣчаемъ самыя рѣзкія и непримиримыя разногласія. Г. Антоновичъ говоритъ гдѣ-то въ своей книгѣ, что весь образованный міръ раздѣляется нѣмѣ на дарвинистовъ и не-дарвинистовъ. Это вѣрно или почти вѣрно, какъ указаніе на общее значеніе и широкое распространеніе теоріи, съ которой приходится такъ или иначе считаться всякому образованному человеку, а тѣмъ паче людямъ науки: по это даетъ слишкомъ уже упрощенное представленіе о совокупности фактовъ, которымъ подводится итогъ приведенною фразою. Въ примѣненіи къ вопросамъ общественной жизни группа «дарвинистовъ» такъ же неоднородна, какъ и группа «не-дарвинистовъ». Какъ

разсказывается въ сказкахъ: на небѣ солнце и въ теремѣ солнце, на небѣ звѣзды и въ теремѣ звѣзды. Виѣ теоріи Дарвина, совершенно отъ нея независимо, происходитъ извѣстная борьба мнѣній, та же, буквально та же борьба идетъ и подъ сѣнью теоріи. Кто изъ враждующихъ правъ въ своихъ притязаніяхъ найти опору въ теоріи Дарвина и даже правъ-ли кто бы то ни было изъ нихъ въ своихъ толкованіяхъ теоріи, и нѣтъ-ли еще какой-нибудь точки зрѣнія, которая способна дать правильное освѣщеніе вопросу,—это насъ теперь не занимаетъ; тѣмъ болѣе, что собственное г. Антоновича на этотъ счетъ мнѣніе, признаюсь, осталось для меня неяснымъ. Остановиться же на третьей главѣ труда г. Антоновича я счелъ нужнымъ вотъ по какимъ соображеніямъ.

Нынѣ чаще, чѣмъ когда-нибудь, можно встрѣтить въ печати указанія на необходимость «объективнаго» отношенія къ фактамъ, при чемъ подъ объективностью разумѣется точность воспроизведенія фактовъ, какъ бы они ни были для насъ пріятны или непріятны. Это, разумѣется, прекрасное, но вмѣстѣ съ тѣмъ и элементарное правило, обязательное для всѣхъ и каждаго. Примѣненіе его не составляетъ даже, собственно говоря, заслуги: оно признается заслугою только при сопоставленіи съ нарушеніями правила. Тѣмъ не менѣе, наоминаніе объ этомъ элементарномъ правилѣ необходимо и полезно. Къ сожалѣнію, наоминаніе часто не по надлежащему адресу направляютъ свои поученія и столь же часто, иногда даже въ самый моментъ поученія, сами же и нарушаютъ преподаваемое ими правило. Такъ именно поступаетъ и г. Антоновичъ. Онъ много говоритъ о необходимости объективнаго отношенія къ фактамъ и горячо обвиняетъ тѣхъ, кто ихъ извращаетъ въ угоду какой-нибудь моральной теоріи. Одно изъ его разсужденій на эту тему я приведу.

«Въ исторіи встрѣчаются крайне непріятныя вещи, возмущающія нравственное или эстетическое чувство, и историческія событія часто принимаютъ оборотъ крайне нежелательный и возмутительный для самого историка. Однако же историкъ долженъ бываетъ изображать этотъ оборотъ такимъ, каковъ онъ былъ, и никто не подумаетъ обвинять за это историка и исторію въ безнравственности или безсердечности, или давать предпочтеніе другому историкъ, который изображаетъ этотъ оборотъ не такъ, какъ онъ совершился, а такъ, чтобы онъ соотвѣтствовалъ нашимъ личнымъ моральнымъ и эстетическимъ симпатіямъ... Трезвое изслѣдованіе безжалостно разрушало теоріи, не соотвѣтствующія суровой дѣйствительности, и считало ихъ просто фантазіями, годными только для умовъ, не имѣющихъ мужества прямо взглянуть въ глаза дѣйствительности, *при-*

знать ее, какъ она есть, и потомъ уже сообразовать съ нею свои чувства и вкусы».

Если бы не нѣкоторая двусмысленность подчеркнутыхъ мною строкъ (объ нихъ скажу особо), то оставалось бы только сказать: вотъ золотыя слова! Къ сожалѣнню, однако, это только слова, отъ осуществленія которыхъ на дѣлѣ самъ г. Антоновичъ очень далекъ. «Суровая дѣйствительность», между прочимъ, такова, что среди представителей «буржуазной эксплуатаціи и всякой экономической и политической неправды» нашлось немало людей, встрѣтившихъ теорію Дарвина «съ распростертыми объятіями и съ шумными криками одобренія». Но г. Антоновичъ «не имѣетъ мужества прямо взглянуть въ глаза дѣйствительности» и изображаетъ этотъ «крайне нежелательный и возмутительный для него оборотъ не такимъ, каковъ онъ былъ, а такъ, чтобы онъ соответствовалъ его, г. Антоновича, личнымъ моральнымъ симпатіямъ». Онъ просто отрицаетъ фактъ, утверждая, что его, «какъ извѣстно, не было». Это эпизодъ очень характерный для людей, требующихъ «объективнаго отношенія къ фактамъ».

Но подъ объективизмомъ разумѣется иногда еще не только точное, а и безстрастное констатированіе факта. И въ этомъ отношеніи очень характерны подчеркнутыя мною строки. Я прошу сопоставить ихъ со слѣдующими словами г. Антоновича въ той-же третьей главѣ: «Трезвый естествоиспытатель, изучающій природу, старается познать и полюбить ее, какъ она есть фактически, считая идеальную природу фантазіей, а моральные укоры—по меньшей мѣрѣ излишними» (93). «Идеальная» природа очевидно, значить, здѣсь выдуманная, сочиненная, и такая природа есть, конечно, фантазія. Познавать природу слѣдуетъ, конечно, «какъ она есть фактически», иначе это вовсе и не познаніе будетъ. Но почему мы должны «стараться полюбить» природу? Она въ этомъ вовсе не нуждается. Это уже нѣкоторый субъективный элементъ, и если онъ допущенъ въ формѣ «любви», то совершенно непонятно, почему онъ изгоняется въ формѣ не-любви. «Моральные укоры» по адресу природы, конечно, «излишнии» въ утилитарномъ смыслѣ, но столь же излишни и восхваленія, естественно сопряженные съ «любовью». Истинный, воистинѣ послѣдовательный объективизмъ въ смыслѣ безстрастнаго констатирования фактовъ (если бы таковое было всегда и во всѣхъ случаяхъ возможно) одинаково отвергаетъ и порицаніе и хвалу, и ненависть и любовь. Но въ сторону любви и хвалы, оказывается, дѣлаются поблажки. Такъ относительно природы, такъ и относительно исторической дѣйствительности: мы должны «признать ее, какъ она есть, и потомъ уже *сообразовать* съ нею свои чувства и вкусы». Но вѣдь «сообразовать» свои вкусы и симпатіи съ исто-

рической дѣйствительностью можно и въ положительномъ, и въ отрицательномъ направленіи. Разумѣется, надо узнать дѣйствительность, какъ она есть, но затѣмъ вѣдь не обязательно же непременно «полюбить» ее? или обязательно?

Въ заключеніе «веселенькій нейзажикъ».

Въ «Волжскомъ Вѣстникѣ», въ трехъ №№ (56, 57 и 62), напечатана статья г. Рейнгардта о Кетле. Рѣчь идетъ, между прочимъ, о приложеніи математики къ фактамъ общественной жизни.

«Означенный пріемъ можетъ привести къ весьма интереснымъ результатамъ, выяснивъ, напримѣръ, появленіе на исторической аренѣ такихъ социальныхъ элементовъ, которые опредѣляютъ характеръ эпохи вълѣдствіе своей силы и вліянія. Сила же каждаго социальнаго элемента обусловлена не только его юридическимъ положеніемъ, но главнымъ образомъ количествомъ солидарныхъ особей и матеріальнымъ богатствомъ, т. е. такими факторами, которые подчиняются вычисленію. Такъ какъ вычисленіе можетъ опредѣлить появленіе такой группы лицъ, матеріальное значеніе которой должно оказать весьма существенное вліяніе на всю массу народа, вліяніе, предъ которымъ значеніе другихъ факторовъ сведется къ весьма ничтожнымъ причинамъ, то этотъ пріемъ можетъ совершенно точно разрѣшить волнующій въ настоящее время очень многихъ вопросъ: пойдетъ-ли Россія въ экономической жизни тѣмъ же путемъ, какимъ пошла Западная Европа, или другимъ».

Что Россія пойдетъ въ экономической жизни по пути Западной Европы, это, конечно, вполне возможно. Но чтобы г. Рейнгардтъ могъ «совершенно точно» разрѣшить этотъ вопросъ при помощи математики.— въ этомъ я позволю себѣ сильно сомнѣваться. Въ пользу такого сомнѣнія говоритъ уже то обстоятельство, что г. Рейнгардтъ такъ и не далъ разрѣшенія, а только сказалъ: «могу». «Я все могу, могущественный я человѣкъ»,—говоритъ кто-то изъ темнаго царства Островскаго. Вѣрю, что г. Рейнгардтъ могущественный человѣкъ, но все-таки подожду пока онъ дастъ обѣщанное рѣшеніе. А пока отыщу слѣдующее. Г. Рейнгардтъ припоминаетъ извѣстныя слова Ог. Конта, что къ фактамъ общественной жизни слѣдуетъ относиться безъ восхищенія и осужденія. Слова эти часто цитируются съ почтеніемъ, но весьма рѣдко воплощаются въ дѣло. Еще недавно слышалъ я ихъ отъ одного пріѣзжаго просвѣщеннаго провинціала, который и вообще разсуждалъ чрезвычайно сходно съ тѣмъ, что говоритъ г. Рейнгардтъ въ статьѣ о Кетле: точно онъ ее только что прочиталъ и цѣлкомъ воспринялъ, буква въ букву. Но затѣмъ зашелъ какъ-то разговоръ о новой формѣ чиновниковъ од-

ного министерства, и я не узналъ своего просвѣщеннаго знакомаго: онъ волновался до чрезвычайности, осуждая реформу, и горячо обвинялъ меня въ «деморализаціи» за то, что я, по привычкѣ-ли петербургскаго жителя къ обилію и разнообразію мундировъ или, можетъ быть, по индиферентизму къ этого рода фактамъ,—изумлялся его волненію. Конечно, его горячая рѣчь не была научнымъ изслѣдованіемъ, но онъ стоялъ на научной почвѣ, ибо обсуждалъ реформу въ сферѣ причинъ и слѣдствій явленія. Каково же было мое удивленіе, когда недавно я получилъ отъ него письмо, въ которомъ онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, повторяетъ слова Ог. Конта: факты общественной жизни не подлежатъ ни восхищенію, ни осужденію, ибо, говоритъ, можно математическимъ приемомъ и т. д. Но я ему не повѣрилъ. Я подумалъ: ты говоришь о безстрастной математикѣ только тогда, когда ходъ вещей представляется тебѣ выгоднымъ или когда дѣло тебя не касается, а какъ только тебя непріятно задѣнетъ даже совершенный пустякъ, изъ спокойной лазури твоего объективизма загремитъ громъ и засверкаетъ молнія.

XV).

Въ послѣдній разъ о г. Туганъ-Барановскомъ. — О г. К. М—скомъ, г. К. Медвѣдскомъ и политическомъ доносѣ. — О книгѣ Кидда.

«Русская Мысль» (апрѣль, библиографическій отдѣлъ) замѣчаетъ, что я «въ своей полемикѣ съ г. Туганъ-Барановскимъ повторяю старые аргументы, правда, совершенно пригодные для пораженія такого слабаго противника, какъ г. Туганъ-Барановскій, но наврядъ ли убѣдительные для болѣе солидныхъ приверженцевъ гипотезы». Надѣюсь, что существуютъ «болѣе солидные приверженцы», не нуждающіеся въ тѣхъ элементарныхъ урокахъ, которые мнѣ пришлось преподать г. Тугану-Барановскому, но я вѣдь и заявилъ, что г. Туганъ-Барановскій «компрометируетъ» защищаемую имъ гипотезу, и «болѣе солидные приверженцы» могутъ быть только благодарны мнѣ. Остановился же я на г. Туганъ-Барановскомъ совсѣмъ не потому, что пріятно имѣть дѣло «со слабымъ противникомъ»,—это, напротивъ, очень скучно,—а по слѣдующимъ причинамъ. Во-первыхъ, г. Туганъ-Барановскій есть признанный человѣкъ науки: онъ можетъ сказать о себѣ, какъ Фаустъ: *heisze Magister*, а въ свое время получить, вѣроятно, право и докончить фразу: *heisze Doktor gar*. Это придаетъ его описаніямъ извѣстную внѣшнюю авторитетность. Во-вторыхъ, на примѣрѣ г. Тугана-Барановскаго было особенно удобно показать, на какія удивительныя вещи можно наткнуться, если стремительно бѣжать, зажмуря глаза,—иначе говоря: если усвоить себѣ извѣстныя положенія на вѣру, не утруждая себя критикою и ознакомленіемъ съ другими взглядами на тотъ же предметъ. Во второй, полемической статьѣ г. Туганъ-Барановскій обнаружилъ еще одно достойное вниманія свойство, представляющее въ немъ, впрочемъ, кажется, отраженіе въ области полемическихъ пріемовъ той же слабости критическаго элемента мысли. Свойство это не составляетъ исключительной при-

надлежности г. Тугана-Барановскаго и даже очень распространено у насъ, но, благодаря простодушію г. Тугана-Барановскаго, у него оно особенно удобно вскрывается. Это именно талант, умѣнье или склонность «не въ то мѣсто попадать». И такъ какъ въ майской книжкѣ «Міра Божія» г. Туганъ-Барановскій продолжаетъ не въ то мѣсто попадать, то я считаю нужнымъ нѣсколько дольше остановиться на этомъ полемическомъ приѣмѣ.

Напомню одно изъ замѣчательнѣйшихъ разсужденій въ первой статьѣ г. Тугана-Барановскаго.

«Въ средніе вѣка самые сильные умы посвящали себя теологій и изощрялись въ безплодныхъ усиліяхъ понять и объяснить то, что по самому существу своему необъяснимо. Теперь во главѣ наукъ стоитъ естествознаніе. Почему же блаженный (beatus) Августинъ изучалъ не природу, а Дарвинъ не сдѣлался теологомъ? Не вѣдѣствіе своей индивидуальности, а просто потому, что Августинъ жилъ въ то время, когда теологія господствовала надъ умами человѣчества и заключала въ себѣ всѣ знанія и философію эпохи, а Дарвинъ жилъ въ наше время, когда крупная промышленность преобразовала хозяйство и на первый планъ выдвинулись практическія задачи, разрѣшеніе которыхъ невозможно безъ познанія законовъ природы».

Я замѣтилъ на это, что силлогизмъ: Августинъ занимался теологіей, потому что теологія господствовала надъ умами — не дорого стоять и при томъ не имѣть никакого смысла, какъ параллель умозаключеніямъ автора относительно Дарвина. Что же касается этого послѣдняго, то свести причины, по которымъ онъ выбралъ предметомъ своего изученія природу, къ развитію крупной промышленности, — нѣтъ никакой возможности. Тутъ, какъ и во всѣхъ подобныхъ случаяхъ, дѣйствовала цѣлая сложная сѣтъ вліяній наслѣдственности, воспитанія, чтенія, знакомствъ, случайныхъ событій и впечатлѣній и проч., въ цѣломъ составляющихъ личную жизнь Дарвина. И я просилъ г. Тугана-Барановскаго объяснить мнѣ: если Дарвинъ изучалъ природу потому, что «крупная промышленность преобразовала хозяйство», то почему же не сдѣлался естествоиспытателемъ многіе другіе сильные умы нашего времени, какъ Гладстонъ, Марксъ и проч., и проч. Въ виду азбучной ясности всего этого г. Тугану-Барановскому надлежало либо совсѣмъ отстуниться отъ своего тезиса о Дарвинѣ путемъ откровеннаго признанія его неосновательности или хоть умолчанія объ немъ, либо же какъ нибудь наново обосновать его, если это возможно. Г. Туганъ-Барановскій не сдѣлалъ ни того, ни другого въ своей второй, полемической статьѣ, а принялся съ чрезвычайнымъ усердіемъ не въ то мѣсто попадать. Я прошу у читателя внима-

нія; не потому, чтобы пререканія съ столь слабыми, по выраженію «Русской Мысли», противниками сами по себѣ представляли большой интересъ, а потому, что дѣло идетъ о полемическомъ приѣмѣ, очень распространенномъ. Возраженія г. Туганъ-Барановскаго могутъ быть сведены къ двумъ типамъ: въ однихъ случаяхъ онъ не въ то мѣсто попадаетъ, потому то говорить фактическую неправду, въ другихъ потому, что несомнѣнную правду ненадлежащимъ образомъ пристраиваетъ. Образцы первого типа я представлялъ въ прошлый разъ, но приведу и еще. Онъ пишетъ: «Разумѣется, я не говорилъ вздора, приписываемаго мифъ г. Михайловскимъ, будто теперь всѣ занимаются естествознаніемъ». Дѣйствительно, *этого* вздора г. Туганъ-Барановскій не говорилъ, но я ему и не приписывалъ его, — эта прямая неправда. Я, напротивъ (именно напротивъ), упрекалъ его въ томъ, что онъ *забылъ, упустилъ изъ вида* «всѣхъ» выдающихся современниковъ, не занимающихся естествознаніемъ. Образцы второго типа: дѣдъ и отецъ Дарвина жили не на островахъ Фиджи... Вотъ это — правда, несомнѣнная правда; но если бы г. Туганъ-Барановскій взялъ на себя мало полезный трудъ перечислить даже всѣ острова, на которыхъ не жили отецъ и дѣдъ Дарвина, даже если бы онъ прихватилъ въ этомъ перечнѣ и всѣ полуострова, — вся эта правда ничего не говорила бы въ пользу его тезиса. Ибо не въ томъ этотъ тезисъ состоялъ, что жизнь родины такъ или иначе вліяла на Дарвина, — съ этимъ я не сталъ бы спорить, и теперь, конечно, не спорю, а только обращаю вниманіе моего почтеннаго оппонента на разнообразіе вліяній родины: сынъ той же родины и современникъ Дарвина Гладстонъ занимается не естествознаніемъ, а практической политикой и богословскими вопросами. Но г. Туганъ-Барановскій забылъ свой тезисъ и сыплетъ фактами, цитатами, сентенціями, вопросами и отвѣтами, не имѣющими ровно никакого отношенія къ этому тезису. «Почему г. Михайловскій думаетъ, что Дарвинъ стоялъ внѣ всякаго вліянія соціальной среды?» Прежде всего г. Михайловскій этого вовсе не думаетъ и, напротивъ, много разъ указывалъ на это вліяніе. А затѣмъ, если бы г. Михайловскій это и думалъ, то изъ этого все-таки не слѣдуетъ, что Дарвинъ изучалъ природу потому, что крупная промышленность преобразовала хозяйство. «Гербертъ Спенсеръ, въ своемъ опытѣ «The Genesis of Science», указываетъ на тѣсную связь промышленныхъ искусствъ съ науками». «Развитіе естествознанія немислимо безъ лабораторій, обсерваторій, опытныхъ станцій и другихъ спеціальныхъ приспособленій, нерѣдко требующихъ громадныхъ денежныхъ затратъ». «Проф. Тимирязевъ указываетъ на вліяніе рациональной медицины на успѣхи физиологіи животныхъ». И т. д., и т. д. Все это рядъ

столь же несомнѣнныхъ истинъ, какъ и то, что дѣдъ и отецъ Дарвина жили не на островахъ Фиджи: и Гербертъ Спенсеръ указываетъ, и проф. Тимирязевъ указываетъ, и обсерваторію нельзя безъ денегъ выстроить. Но ни одна изъ этихъ истинъ не подтверждаетъ тезиса: Дарвинъ выбралъ предметомъ изученія естествознаніе потому, что крупная промышленность преобразовала хозяйство; равнымъ образомъ ни одна изъ нихъ не отвѣчаетъ на вопросъ: почему Гладстонъ, Марксъ, Гюго и прочіе выдающіеся современники избѣжали того толчка къ естествознанію, который развитіе крупной промышленности дало Дарвину? А между тѣмъ наговорено много, и иной невнимательный или непроницательный читатель, пожалуй, скажетъ: да, это—возраженіе, настоящее, солидное возраженіе, потому что вѣдь дѣйствительно дѣдъ и отецъ Дарвина не на островахъ Фиджи жили, дѣйствительно обсерваторію нельзя строить безъ денегъ. Этотъ полемическій пріемъ пускается иногда въ ходъ съ коварною цѣлью обморочить читателей, отвлечь ихъ вниманіе отъ предмета спора, а иногда вполнѣ простодушно. Въ г. Туганъ-Барановскомъ я коварства не подозреваю. Дѣло, однако, въ томъ, что всякій простодушный писатель можетъ найти еще болѣе простодушныхъ читателей, которые ему повѣрятъ, и при неизбѣжныхъ формахъ простодушія тутъ уже, конечно, ничего не подѣлаешь. Но всякій, не зараженный этою добродѣтелью, безъ труда увидитъ, что вся полемическая статья г. Тугана-Барановскаго переполнена такими, не попадающими въ цѣль выстрѣлами, хотя они не всегда такъ многословны, какъ въ случаѣ съ Дарвиномъ. Иногда, напротивъ, его реплики, сохраняя свое свойство не въ то мѣсто попадать, даже чересчуръ кратки.

Я подивился, что г. Туганъ-Барановскій оставилъ безъ вниманія философско-историческіе взгляды Конта, Милля и Бокля и привелъ изъ Милля любопытную страницу, въ которой не только не отрицается экономическій факторъ въ исторіи, а, напротивъ, придается ему первенствующее значеніе, и тѣмъ не менѣ за *primus agens* исторической эволюціи принимается интеллектуальный элементъ. — характеръ идей и вѣрованій, объемъ знаній. Эту свою прорѣху г. Туганъ-Барановскій заштопываетъ во второй статьѣ такъ: «Если я ничего не сказалъ о Контѣ, Миллѣ и Боклѣ, разбирая историческія теоріи, выдвигавшія на первый планъ разумъ и просвѣщеніе, то на это я имѣлъ свои причины: ученіе о роли «критически-мыслящей личности» въ историческомъ процессѣ, которое я *главнымъ образомъ* (курсивъ мой. Н. М.) имѣлъ въ виду, имѣетъ очень мало общаго съ взглядами трехъ названныхъ мыслителей».

Чужая душа—потемки, и, можетъ быть, г. Туганъ-Барановскій

въ тайникахъ своей души дѣйствительно имѣлъ въ виду *главнымъ образомъ* ученіе о роли критически-мыслящей личности. Но на дѣлѣ онъ посвятилъ этой теоріи всего нѣсколько строкъ (что, впрочемъ, не помѣшало ему извратить ее и на этомъ маломъ пространствѣ), а затѣмъ онъ говоритъ въ своей статьѣ и о древнихъ мѣтодическихъ, и о Карлейлѣ, и о Луи Бланѣ, Вольтерѣ, Руссо, Адамѣ Смитѣ, Бентамѣ, дѣятеляхъ революціи, утопистахъ и проч., и проч. Все это онъ, значитъ, попадалъ не въ то мѣсто, которое имѣлъ въ виду «главнымъ образомъ». А вотъ въ Конта, Милля и Бокля не попалъ, потому что, говорить, и не хотѣлъ попадать... Это очень жалко. Онъ и продолжаетъ не попадать. Вторая, полемическая его статья озаглавлена: «Экономическій факторъ и идеи». Ученіе о роли критически-мыслящей личности въ ней уже совсѣмъ не затрогивается, но и на этомъ просторѣ г. Туганъ-Барановскій не считаетъ нужнымъ коснуться того сочетанія «экономическаго фактора и идей», которое я предложилъ его вниманію въ цитатѣ изъ Милля.

Такова вся статья г. Тугана-Барановскаго; таковы всѣ его возраженія, которыя онъ, кажется, серьезно считаетъ «аргументами по существу»...

Изъ ученыхъ подвиговъ г. Тугана-Барановскаго, отмѣченныхъ мною въ прошлый разъ, онъ считъ возможнымъ разъяснить въ майской книжкѣ «Міра Божія» только одинъ. Мнѣ очень пріятно, что краткость этого разъясненія позволяетъ перепечатать его цѣлкомъ. Вотъ оно отъ слова до слова:

Въ статьѣ «Экономическій факторъ и идеи» («Міръ Божій», апрѣль) я привелъ нѣсколько выдержекъ изъ «Богатства народовъ» Смита, изъ которыхъ, по моему мнѣнію, вылилъ ясно, какому общественному *классу* (курсивъ мой, Н. М.) Смитъ «менѣе всего сочувствовалъ», а именно, *купцамъ и фабрикантамъ*. Въ апрѣльской книжкѣ «Русскаго Богатства» г. Михайловскій противъ этого возражаетъ и приводитъ нижеслѣдующую цитату изъ моей книги «О кризисахъ»:

«Мальтусъ, сочиненія котораго были въ высшей степени тенденціозны и всегда преслѣдовали опредѣленную политическую цѣль, выступилъ въ защиту землевладѣческаго класса отъ тѣхъ нареканій въ безполезности, которымъ землевладѣльцы подвергались со стороны Адама Смита и его учениковъ. Такое отношеніе къ общественной роли земельной аристократіи Адама Смита вполнѣ гармонировало съ революціоннымъ характеромъ той эпохи, когда писалъ Ад. Смитъ. Хотя Смитъ во многихъ мѣстахъ своей знаменитой книги говорить, что интересы торгово-промышленнаго *сословія* противоположны интересамъ всей націи, тѣмъ не менѣе вся книга его проникнута воззрѣніемъ, что торгово-промышленныя *классы* представляютъ собою главную, если не единственную силу націи».

Эта цитата даетъ поводъ г. Михайловскому сказать:

«Вѣроятно, въ качествѣ челоѣка науки, г. Туганъ-Барановскій имѣетъ два прямо противоположныхъ мнѣнія объ одномъ и томъ же предметѣ. Я—профанъ и такой роскоши позволить себѣ не могу».

Внимательный читатель легко замѣтитъ, что «сословія» и «классы» не одно и то же. Интересы торгово-промышленнаго *сословія* (т. е. купцовъ и фабрикантовъ) Смитъ признавалъ противоположными общественнымъ; но торгово-промышленные *классы* (т. е. купцы, фабриканты и *рабочіе*) признавались Смитомъ наиживѣйшей силой націи. Но дѣло не въ этомъ. Развѣ признавать силой ту или иную общественную группу, это значить сочувствовать ей? Врядъ ли кто-либо будетъ отрицать, что буржуазія является круной силой въ Западной Европѣ, а въ извѣстныя эпохи являлась и господствующей силой. Слѣдуетъ ли изъ этого, что буржуазія пользуется всеобщимъ сочувствіемъ?

Если я скажу, что въ настоящее время самая могущественная военная держава Германія—равносильно ли это выраженію моего сочувствія Германіи? Почему же г. Михайловскій изъ моего указанія, что Смитъ признавалъ силу купцовъ и фабрикантовъ, заключаетъ объ его сочувствіи имъ? Наоборотъ, именно, потому, что Смитъ зналъ силу этого общественнаго класса, онъ относился къ нему съ такой враждебностью, какъ можно убѣдиться хотя бы изъ нижеслѣдующихъ словъ А. Смита.

«Правда, налѣзаться на полную свободу торговли въ Великобританіи было бы такимъ же безуміемъ, какъ ожидать осуществленія въ ней республики Утопіи или Оксани. Не только общественные предрассудки, но что побѣдитъ всего труднѣе, частныя выгоды многихъ отдѣльных лицъ представляютъ въ этомъ отношеніи неодолимую преграду.

... Въ настоящее время опасна самая ничтожная попытка противъ монополіи фабрикантовъ надъ всѣмъ обществомъ. Монополія та до того усилила число людей въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ производствахъ, что они представляютъ какъ бы многочисленную армію, всегда готовую къ отпору, страшную для правительства и при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ наводившую страхъ на само законодательство.

... Если членъ парламента выскажется противъ монополіи, то ничто не предохранитъ его отъ клеветы, личныхъ оскорбленій, но даже отъ дѣйствительной опасности со стороны негодующей и обманутой аличности наглыхъ монополистовъ». («Богатство народовъ», кн IV, глава II).

Что же касается до землевладѣльцевъ, то Смитъ принадлежитъ извѣстная фраза, что они «собираютъ плоды тамъ, гдѣ не сѣяли», но, тѣмъ не менѣе, въ землевладѣльцахъ Смитъ видѣлъ своихъ союзниковъ въ борьбѣ за свободу торговли («къ чести поземельныхъ собственниковъ можно сказать, что они менѣе всякаго другого класса заражены гнуснымъ духомъ монополіи», «Богатство народовъ», кн. IV, гл. II) и это побуждало его вообще относиться къ нимъ съ симпатіей, хотя онъ и признавалъ экономическую бесполезность класса людей, живущихъ на счетъ земельной ренты.

Предоставлю судить самому читателю, имѣю ли я въ качествѣ членъ науки два прямо противоположныхъ мнѣнія объ одномъ и томъ же предметѣ.

Я опять прошу вниманія читателя.

Выраженіе «менѣе всего сочувствовалъ», выраженіе достаточно-таки неопредѣленное, принадлежитъ не мнѣ, а г. Тугану-Барановскому, а я его лишь повторилъ, ставя, какъ и слѣдуетъ, въ кавычки, а потому и отвѣтственность за этотъ терминъ лежитъ не на мнѣ.

Далѣе. Очень хорошо, конечно, что г. Туганъ-Барановскій знаетъ

о различіи между классами и сословіями, но очень печально, что онъ этого своего знанія не утилизируетъ. Въ приведенномъ отвѣтѣ его, онъ въ одномъ мѣстѣ называетъ купцовъ и фабрикантовъ *классомъ* (см. тамъ, гдѣ у меня прибавлено въ скобкахъ: курсивъ мой), а въ другомъ — подчеркиваетъ, что купцы и фабриканты составляютъ *сословіе*. Такимъ образомъ, мы и здѣсь имѣемъ опять-таки два мнѣнія объ одномъ и томъ же предметѣ, изъ которыхъ одно которое нибудь ужъ навѣрное не въ то мѣсто попадаетъ. Я съ своей стороны позволю себѣ замѣтить моему почтенному и ученому оппоненту, что фабриканты никоимъ образомъ не составляютъ сословія, ибо дворянинъ можетъ основать фабрику, сохраняя всѣ свои сословныя права и преимущества, и рядомъ съ нимъ такую же фабрику можетъ открыть крестьянинъ или мѣщанинъ, опять-таки не выходя изъ своего сословія. Вообще, моему почтенному и ученому оппоненту было бы, можетъ быть, выгоднѣе не становиться на эту зыбкую для него почву и оставить мое замѣчаніе насчетъ Ад. Смита безъ отвѣта, какъ оставилъ онъ безъ отвѣта другія мои замѣчанія. А то что хорошаго? Я думалъ, что выписка изъ ученаго труда г. Тугана-Барановскаго о «Промышленныхъ кризисахъ» достаточно выразительна и полна, въ смыслѣ законченности. Но вотъ мой почтенный оппонентъ нашелъ лазейку въ «классахъ» и «сословіяхъ», которыхъ, однако, самъ не различаетъ. Дѣлать нечего, прибавлю еще нѣсколько строкъ изъ «Промышленныхъ кризисовъ». Послѣ цитированнаго мною изъ этого труда мѣста находятся слѣдующія строки: «Самый выдающійся изъ учениковъ А. Смита, Рикардо, съ особенною энергіей настаивалъ на необходимости свободной конкуренціи и прекращенія искусственной поддержки землевладѣльческихъ интересовъ» (стр. 393). А передъ упомянутымъ мѣстомъ читаемъ: «Споръ между Рикардо и Мальтусомъ о значеніи непроизводительнаго потребленія имѣлъ не только теоретическій характеръ. Въ сущности, Рикардо и Мальтусъ явились выразителями *двухъ соперничающихъ классовъ*» (ст. 392). Если «внимательный читатель», къ которому апеллируетъ г. Туганъ-Барановскій, вставитъ эти двѣ маленькія цитаты куда слѣдуетъ, то онъ безъ труда усмотритъ, что мой ученый оппонентъ совершенно напрасно путается въ «классахъ» и «сословіяхъ», каковое путаніе только лишній разъ побуждаетъ его высказать два мнѣнія объ одномъ и томъ же предметѣ.

Но и это еще не все. Вся затѣянная г. Туганомъ-Барановскимъ полемика о «сочувствіяхъ» Ад. Смита напоминаетъ разговоръ почтмейстера о капитанѣ Копѣйкинѣ. Намѣреніемъ почтмейстера было доказать тождество Чичикова съ капитаномъ Копѣйкинскимъ, но подъ самый конецъ оказалось, что весь длинный и чрезвычайно,

занимательный разсказъ почтмейстера «не въ то мѣсто попадаетъ»: почтмейстеръ забылъ свою исходную точку. Такъ и г. Туганъ-Барановскій. Онъ ухватился за мое замѣчаніе, брошенное мимоходомъ, въ скобкахъ, въ двухъ строкахъ, и упустилъ изъ вида слѣдующее мое обвиненіе:

«Читатель статьи г. Тугана-Барановскаго долженъ вывести такое заключеніе объ А. Смитѣ и его роли въ наукѣ: хорошій, благонамѣренный человѣкъ былъ этотъ «творецъ экономической науки», но всю его науку пришлось потомъ передѣлывать, что и исполнено рабочими... Г. Тугану-Барановскому, какъ специалисту по политической экономіи, должно быть извѣстно, что это совершенно не-вѣрно. Не буду говорить о томъ, насколько Смитъ способствовалъ выясненію «значенія экономического фактора въ исторіи», но на-помню трудовую теорію цѣнности, начало которой положено Ад. Смитомъ, съ которою рабочимъ не приходилось «бороться», которую если кто и старался «передѣлать», то ужъ, конечно, не рабочіе или ихъ защитники, и которая, наконецъ, въ дополненномъ и развитомъ видѣ составляетъ прочное достояніе науки. Умолчавъ объ этой сторонѣ дѣла, г. Туганъ-Барановскій даетъ своимъ читателямъ волюнѣ извращенное понятіе объ исторической роли «творца экономической науки».

Это мое обвиненіе, увлекшись разсказомъ о капитанѣ Конфликѣ, который онъ считаетъ «аргументомъ по существу», г. Туганъ-Барановскій оставилъ втупѣ, и передъ читателями «Міра Божія» образъ Ад. Смита такъ и остается волюнѣ извращеннымъ, какъ и образъ Луи Блана, и многое, многое другое...

Sapienti sat. Но удовлетворенъ-ли г. Туганъ-Барановскій, — за это я не поручусь.

Задача полемики состоитъ въ выясненіи той или другой мысли, того или другого факта. Г. Туганъ-Барановскій полемизируетъ дурно, ибо, по простодушію своему, не въ то мѣсто попадаетъ, а это не можетъ способствовать выясненію чего бы то ни было. Есть писатели, которые полемизируютъ дурно совѣмъ въ другомъ родѣ, ибо они совѣмъ не простодушны и отлично попадаютъ въ намѣченное ими мѣсто, но все-таки ничего не выясняютъ, а только мутятъ воду, въ которой и вылавливаютъ нужную имъ рыбу. Въ майской книжкѣ «Русскаго Вѣстника» есть и прекрасный образецъ этого рода полемики, и тутъ же рядомъ ея оправданіе, ея, такъ сказать, теорія.

Въ одномъ изъ предыдущихъ номеровъ «Русскаго Вѣстника» были напечатаны «Литературно-общественныя замѣтки», подписанныя какимъ-то К. М.—скимъ, въ которыхъ, между прочимъ, обсу-

ждалось «профессорское представление о самодержавіи». Г. К. М—скій доказывалъ что наши профессора имѣютъ неправильное и неблагонамѣренное представленіе о самодержавіи. «Русская Мысль» назвала эту замѣтку «политическимъ доносомъ». Въ майской книжкѣ «Русскаго Вѣстника» «Литературно-общественныя замѣтки», на этотъ разъ уже никѣмъ не подписанныя, возражаютъ «Русской Мысли». Анонимъ «Русскаго Вѣстника» не согласенъ признать упомянутую замѣтку доносомъ. Онъ говоритъ: «Въ чемъ же здѣсь доносъ и что такое вообще политическій доносъ, появляющійся на страницахъ журнала, иными словами, произносимый громогласно передъ аудиторіей въ нѣсколько тысячъ и даже десятковъ тысячъ человѣкъ. Тому, кто дѣлается жертвою подобнаго открытаго «доноса», предоставляются все средства защиты и прежде всего то средство, которымъ пользуется «доносчикъ», т. е. печатное слово. Наконецъ, если бы это средство оказалось недостаточнымъ, то никто не мѣшаетъ привлечь защитника (?) къ уголовной отвѣтственности и судебнымъ порядкомъ доказать, что онъ не только доносчикъ, но и клеветникъ... Наши оппоненты не даютъ себѣ труда доказать (ибо это трудъ совершенно невозможный), что мы исказили кого-либо изъ ихъ цитированныхъ авторовъ, что мы зачеркнули одно и подчеркнули другое. Слѣдовательно, вся наша вина заключается, во-первыхъ, въ томъ, что мы осмѣлились понять профессорское опредѣленіе такъ, какъ его понять надлежало, и во-вторыхъ, что съ выводами гг. профессоровъ кореннымъ образомъ разошлись... Мы думаемъ, что, коснѣя въ своемъ упорствѣ дикой нетерпимости и стремленіи закатить противнику ротъ грубымъ браннымъ словомъ, либеральная журналистика рѣшительно ничего не выиграетъ. Даже сочувствующая ей публика остается равнодушною къ изступленнымъ крикамъ: «доносъ, доносчики, ату его!», потому что эти крики раздаются безъ всякаго, серьезнаго повода и служатъ дешевымъ средствомъ отдѣлаться отъ противника, котораго оспаривать по существу—не хватаетъ пороха. Приемы либеральныхъ полемистовъ слишкомъ избиты; имъ необходимо придумать что-нибудь новое. Никто болѣе не вѣритъ, что «опасно» вести споръ съ консервативными журналами и что консервативные журналы на все аргументы отвѣчаютъ доносами и злокозѣннѣйшими инсинуаціями».

Я совершенно понимаю, что анонимъ «Русскаго Вѣстника» не желаетъ, чтобы его считали «доносчикомъ». Хотя законъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ обязываетъ cadaго русскаго подданнаго доносить подлежащей власти о совершенномъ или готовящемся преступленіи» и даже караетъ недонесеніе: хотя, съ другой стороны, чистѣйшее нравственное чувство можетъ найти удовлетвореніе въ доносахъ, на-

примѣръ, на истязующихъ ребенка, на злоупотребленіе властью и проч.; однако, со словомъ «доносчикъ» у насъ все-таки ассоціировалось представленіе чего то низменнаго и презрѣннаго достойнаго. Это не какое-нибудь переживаніе школьнаго періода, когда мы всѣ презирали «доносчиковъ», «ябедниковъ», «фискаловъ», и даже — что грѣхъ таить — покланявали ихъ. Вотъ что читаемъ мы, напримѣръ, въ «Курсѣ русскаго уголовного права» Н. С. Таганцева, мнѣніе котораго, какъ профессора и сенатора, теоретика и высокопоставленнаго практика, вдвойнѣ цѣнно: «Съ одной стороны, при современныхъ государственныхъ условіяхъ исчезла необходимость въ привлеченіи всѣхъ гражданъ къ участию въ преслѣдованіи преступниковъ. Матеріальныя и нравственныя тягости, которыя каждый гражданинъ несетъ на содержаніе полицейскихъ органовъ разнаго рода, служатъ достаточнымъ основаніемъ для сложенія съ общества натуральной повинности доноса, тѣмъ болѣе, что спеціальныя органы могутъ вести дѣло преслѣдованія преступниковъ и съ несравненно большимъ успѣхомъ, и съ меньшею затратою силъ. Съ другой — существующее во всякомъ неотжившемъ еще нравственно обществѣ презрѣніе къ доносу и доносчикамъ не можетъ быть игнорировемо закономъ. Нельзя завѣдомо противопоставлять требованія закона и общественной нравственности, тѣмъ болѣе, что это отвращеніе къ доносу не составляетъ предразсудка, съ которымъ нужно бороться государству. Не надо забывать, что здѣсь дѣло идетъ не о гласномъ обвиненіи преступника, при которомъ обвинитель несетъ и всю тягость послѣдствій легкомысленнаго или недобросовѣстнаго привлеченія кого-либо къ ответственности, и даже не о добровольномъ заявленіи органамъ суда о преступленіи, котораго заявитель былъ очевидцемъ, или о которомъ онъ имѣетъ несомнѣныя свѣдѣнія, а о тайномъ доносѣ, вынуждаемомъ угрозою наказанія. Обязанность доноса имѣетъ необходимымъ и естественнымъ дополненіемъ награду за доносъ, всевозможныя поощренія доносчиковъ *). Конечно, несомнѣнно, что такая система можетъ иногда содѣйствовать раскрытію преступленій, борьба съ которыми оказалась не подъ силу спеціальнымъ органамъ, но горе той странѣ, которая ради этого обратитъ доносъ въ необходимый элементъ общественной жизни, выдвинетъ шпионовъ и доносчиковъ на видное мѣсто въ государствѣ. Ради временныхъ выгодъ правительство поощретъ въ обществѣ сѣмена странной нравственной заразы, кото-

*) На это указывать еще и Генке, Handbuch, стр. 282, справедливо прибавляя, что желаніе получить эти «деньги крови», Blutgeld, или, какъ называютъ ихъ Serber, Judagelt, порождаетъ профессію лицъ, возбуждающихъ къ преступленію, ради будущихъ выгодъ. (Примѣчаніе Н. С. Таганцева).

рая грозитъ или вымираніемъ государственнаго организма, или потребуетъ громадныхъ и долгихъ жертвъ на его исцѣленіе». (Курсъ русскаго уголовного права, вып. III. 170).

Н. С. Таганцевъ рѣшаетъ спеціально-юридическій вопросъ о наказуемости или ненаказуемости недонесенія. Намъ здѣсь этотъ вопросъ не занимаетъ, но въ высшей степени цѣнны указанія столь компетентнаго ученаго и практическаго дѣятеля. во-первыхъ, на самый фактъ презрѣнія къ доносчику и, во-вторыхъ, на причины этого презрѣнія. Последнія отмѣчены у г. Таганцева мимоходомъ и не полно, такъ какъ не въ нихъ и дѣло въ спеціальномъ юридическомъ вопросѣ. Безъ сомнѣнія тайна, въ которой совершается доносъ, и денежное или иное вознагражденіе за него — составляютъ почву, не благоприятствующую расцвѣту достойныхъ уваженія чертъ въ доносчикѣ. Но этого мало. Разумѣется, совершенно независимо отъ вопроса, рѣшаемаго г. Таганцевымъ, никакая власть не откажется и не можетъ отказаться воспользоваться свѣдѣніями, доставленными доносчикомъ, если, конечно, они вѣрны и достаточно цѣнны. Совершенно также поступить и всякое частное лицо въ соответственныхъ условіяхъ. Припомните когда-то знаменитую «Черную шаль» Пушкина, которую такъ усердно расцѣвляли наши бабушки. Герой стихотворенія получилъ доносъ на свою возлюбленную гречанку: она ему измѣняла. Онъ воспользовался сообщенными ему свѣдѣніями, но объ доносчикѣ вспоминаетъ такъ: «я далъ ему злата и проклялъ его». Это сочетаніе злата и проклятія въ высшей степени характерно. Можно бы было думать, что доносчикъ въ этомъ случаѣ проклятъ просто какъ человѣкъ, принесшій обидное и горькое извѣстіе. Но это не вѣрно или, по крайней мѣрѣ, не вполне вѣрно: поэтъ называетъ доносчика «презрѣннымъ». И это вполне понятно. Доносчикъ долженъ былъ высказывать «невѣрную дѣву» въ ея свиданіяхъ съ «армяниномъ», подлизывать, какъ змѣя, вилить хвостомъ, какъ лиса, предательски цѣловать, какъ Иуда: можетъ быть, другихъ подкупать; можетъ быть, обманнымъ образомъ вступать въ дружбу съ армяниномъ и выпытать у него тайну, или съ тою же цѣлью вкрасть въ довѣріе «дѣвы»: можетъ быть, онъ самъ же и соводничалъ гречанку съ армяниномъ, съ цѣлью получить «злато» и съ нихъ, а когда этого ему показалось мало, онъ получилъ злато и за доносъ; можетъ быть, кромѣ корыстолюбія, его душу жгло чувство злобной зависти къ обоимъ счастливымъ, «лобзавинымъ» дѣву, или месть этой дѣвѣ, отвергнувшей его собственные «лобзанія», или месть герою стихотворенія или армянину за какую-нибудь старую обиду и т. д., и т. д. Читатель знаетъ, что все это возможно, что все это бываетъ. И вотъ почему доносчикъ получаетъ у Пушкина не только «злато», а и «проклятіе» и име-

нуется «презрѣннымъ». И вотъ почему, хотя люди и пользуются свѣдѣніями, доставляемыми доносчиками, и часто не могутъ ими не пользоваться. г. Таганцевъ говорить о «существующемъ во всякомъ не отжившемъ еще нравственно обществѣ презрѣніи къ доносу и доносчикамъ». Слишкомъ скользка и грязна та извилистая, узенькая, трудно проходима тропинка, по которой доносчикъ по необходимости долженъ идти къ своей цѣли, въ чемъ бы эта цѣль даже ни состояла.

Естественно, что анонимъ «Русскаго Вѣстника» не хочетъ называться «доносчикомъ». Да и какой-же онъ доносчикъ? Онъ «во-первыхъ, осмѣлился понять профессорское опредѣленіе, какъ его понять надлежало, и, во-вторыхъ, съ выводами гг. профессоровъ кореннымъ образомъ разошелся». Затѣмъ, онъ вѣдь не тайно докладываетъ что-нибудь властямъ предержавнымъ, а говоритъ громко-гласно въ журналѣ: пусть ему такъ же громкогласно отвѣчаютъ въ печати, пусть даже «судебнымъ порядкомъ доказываютъ, что онъ не только доносчикъ, но и клеветникъ».

Грамматическая неловкость послѣдней, поставленной въ кавычки, фразы не позволяетъ, конечно, думать, что анонимъ считаетъ возможнымъ «судебнымъ порядкомъ доказывать, что онъ доносчикъ». Этого нельзя. Есть, однако, судъ, къ которому можно обратиться и въ данномъ случаѣ: это—судъ общественнаго мнѣнія, въ частности судъ собратовъ по профессіи. Въ этотъ то судъ я и призываю г. анонима. Въ списекъ сотрудниковъ «Русскаго Вѣстника» значатся такія имена, какъ К. Н. Бестужева-Рюмина, Д. В. Григоровича, А. Н. Майкова, Л. Н. Майкова, К. П. Побѣдоносцева, Я. П. Полонскаго и проч. Все это писатели, на благосклонность которыхъ ко мнѣ и къ представляемому мною образу мыслей я не имѣю никакого права рассчитывать. Но все это—заслуженные писатели, много лѣтъ работающіе на литературномъ поприщѣ и, совершенно независимо отъ направленія, конечно, достаточно компетентные въ вопросахъ литературной чести. Я не мечтаю, разумѣется, объ томъ, чтобы они печатно выразили свой вердиктъ. Съ меня совершенно достаточно сознанія, что въ этомъ дѣлѣ я и къ нимъ могу обратиться съ полною увѣренностью хотя бы въ невысказанномъ отвѣтѣ: да, анонимъ виновенъ и не заслуживаетъ снисхожденія.

Не по дѣлу о «профессорскомъ опредѣленіи» зову я г. анонима на судъ общественнаго мнѣнія и свѣдущихъ людей: я не успѣлъ съ этимъ дѣломъ достаточно познакомиться, да и «гг. профессора» сами на лицо. Я полагаю, впрочемъ, что они просто никакого вниманія не обращаютъ на г. анонима, и хорошо сдѣлаютъ. Въ иномъ положеніи находится «Русск. Бог.», которому въ тѣхъ же майскихъ

«Литературно - общественных замѣткахъ» анонимъ посвящаетъ главу подъ заглавіемъ: «Изъ радикальной журналистики».

Анонимъ говоритъ «Русскому Богатству» нѣсколько любезностей относительно «строго выдержанной программы» и «послѣдовательности редакціи и энергіи сотрудниковъ». Но бѣда въ томъ, что мы послѣдовательны и энергичны въ дѣлѣ «коварныхъ умысловъ» и зловредныхъ «идей»; «разсужденія авторовъ нужно понимать иносказательно». Вотъ, напримѣръ, статья г. Иванова о Тѣѣ, вотъ корреспонденція изъ Франціи, вотъ «Дневникъ журналиста», вотъ «Въ мірѣ отверженныхъ» нѣкоего Мелышина, вотъ «Литературно-общественныя замѣтки» (?) г. Михайловскаго.—все какъ будто и ничего, но пронизательный взоръ анонима въ каждой изъ этихъ статей усматриваетъ «коварный умыселъ» и зловредную идею. И въ концѣ концовъ анонимъ умозаключаетъ: «Наши либералы и въ частныхъ разговорахъ, и въ журналахъ постоянно жалуются на отсутствіе у насъ свободы печати. Эти жалобы проникаютъ и за рубежъ, появляются и на страницахъ иностранныхъ періодическихъ изданій. Русская «свобода печати» сдѣлалась синонимомъ чего-то невѣроятно курьезнаго и уродливаго. Но вотъ передъ нами «Русское Богатство», являющееся живымъ опроверженіемъ подобныхъ сѣтованій. «Русское Богатство» даже не освобождено отъ предварительной цензуры. Каждая его статья просматривается цензоромъ, имѣющимъ право вычеркивать сколько угодно. И что же? Читая журналъ г.г. Михайловскаго и Короленки, совершенно забываешь о существованіи у насъ не только предварительной, но и послѣдующей цензуры. Не доказываетъ-ли это, что наши либералы жалуются и роищутъ только по привычкѣ вѣчно роптать и жаловаться».

Вотъ статья, которую никакъ нельзя назвать доносомъ.—не правда-ли? Авторъ не тайкомъ какъ-нибудь, а во всеуслышаніе излагаетъ свои мысли, намъ предоставляется право опровергать его тѣмъ же путемъ громогласнаго изложенія своихъ мыслей, а въ случаѣ недостаточности этого средства мы можемъ «судебнымъ порядкомъ доказывать, что авторъ не только доносчикъ, но и клеветникъ».

Прибѣгнуть въ данномъ случаѣ къ суду намъ, какъ сейчасъ увидимъ, довольно трудно, а опровергнуть кое-что громогласно—можно и даже нисколько не «опасно». Прежде всего, какія удивительныя понятія у анонима о «свободной печати»! Воображаю недоумѣніе иностранцевъ, если бы такая защита русской свободы печати появилась «на страницахъ иностранныхъ періодическихъ изданій». Эти безтолковые иностранцы рѣшительно въ тупикъ стали бы: какая-же это у нихъ свобода печати, если она должна прибѣгать къ «коварнымъ умысламъ», если ея разсужденія «нужно по-

нимать инносказательно» и если «цензоръ имѣть право вычеркивать сколько угодно»!! Очевидно, анонимъ пересолить въ своемъ усердіи и не только не обфлилъ передъ иностранцами русскую свободу печати, а даже отчасти оклеветать ее; ибо напрасно онъ думаетъ, что цензоръ имѣть право «вычеркивать сколько угодно». И прежде всего цензоръ не имѣть права читать, подобно духовнику, въ сердцахъ, выслѣживать «коварные умыслы» и возможность «инносказательнаго пониманія разсужденій». Это не возбраняется лишь добровольцамъ въ родѣ анонима, проникательный взоръ котораго контролируетъ «не только предварительную, но и послѣдующую цензуру», и имѣть предфловъ этому добровольческому усердію; права же и обязанности цензора опредѣлены закономъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ анонимъ напрасно думаетъ, что «не только предварительная, но и послѣдующая цензура» нуждается въ его контролѣ: смѣемъ его увѣрить, что спеціальныя органы надзора за печатью дѣйствуютъ достаточно энергично. Намъ, въ особенности намъ, «даже не освобожденнымъ отъ предварительной цензуры», это слишкомъ хорошо извѣстно...

Какъ ни щекотливо положеніе, въ которое ставитъ насъ анонимъ «Русскаго Вѣстника» своею, по самой скромной оцѣнкѣ, грубо безтактною и неприличною выходкою, мы считаемъ, однако, возможнымъ и ни мало не «опаснымъ» сказать слѣдующее. Правительство, по тѣмъ или другимъ соображеніямъ, въ оцѣнку которыхъ мы входить не можемъ, кладетъ извѣстныя ограниченія свободѣ печати и, естественно, усугубляетъ эти ограниченія для органовъ печати, на конхъ значится надпись «дозволено цензурою». Мы не можемъ не подчиняться этимъ ограниченіямъ, но никто и ничто не обязываетъ насъ радоваться имъ или даже находить ихъ недостаточными, какъ находить г. анонимъ. Напротивъ, самое званіе писателей обязываетъ насъ по совѣсти желать возможно большей свободы печатнаго слова. И не только насъ, обвиняемыхъ г. анонимомъ въ злоупотребленіяхъ нашею несвободою, но и всѣхъ и каждого изъ писателей, въ томъ числѣ и г. анонима. Какъ сейчасъ увидимъ, трудно сказать, что именно не нравится анониму въ «Русскомъ Богатствѣ» и въ какомъ именно направленіи желать бы онъ большей, по отношенію къ нашему журналу, бдительности не «только предварительной, но и послѣдующей цензуры». По самое это указаніе на недостатокъ бдительности есть поступокъ по существу своему нелитературный и писателя недостойный. Писатель, скольконибудь вѣрный въ свое дѣло, естественно долженъ желать, чтобы непріятная для него или ошибочная, по его мнѣнію, мысль была предъявлена въ своемъ полномъ, неурѣзанномъ логическомъ и фактическомъ вооруженіи, дабы онъ имѣлъ возможность сразиться съ

ней «въ открытой и честной борьбѣ», по выраженію Ивана Аксакова.

Кстати объ Аксаковѣ. «Русскій Вѣстникъ» еще недавно (въ мартѣ) посвятилъ теплую статью его памяти, и потому ссылка на него должна быть особенно поучительна для анонима «Русскаго Вѣстника». Но то, что я сейчасъ приведу изъ сочиненій Аксакова, и вообще поучительно. Это истинно блестящія иллюстраціи къ тому положенію, что никакая, самая глубокая рознь въ вопросахъ религіозныхъ, политическихъ, національных и т. д. — не должна отзываться ущербомъ на знамени литературной чести. Аксаковъ былъ въ этомъ отношеніи настоящимъ рыцаремъ. Въ 1865 г., по поводу одной статьи «Современника», онъ писалъ: «Едва ли кто, при защитѣ своихъ убѣжденій, терпѣлъ болѣе отъ цензурной строгости, чѣмъ писатели славянофильскаго направленія: никто болѣе насъ не испытывалъ той неловкости, того неудобства, въ которое ставитъ истину непрощенная помощь грубой виѣшней силы, полицейское вторженіе въ область духа». Или въ 1883 г. по поводу запрещенія «Голоса» на шесть мѣсяцевъ: «Мы можемъ лишь сожалѣть, не о «Голосѣ» собственно, но о противникѣ, не нами, къ сожалѣнію, въ открытомъ бою, а постороннею силою обезоруженномъ... Сумерекъ мысли не слѣдовало бы допускать, а слѣдовало бы вызвать мысль на бѣлый день, на публичный споръ... Запретите, пожалуй, всѣ газеты, работа общественной мысли будетъ все же производиться, но во тьмѣ, подспудно, при самыхъ неблагоприятныхъ условіяхъ для торжества правды: обезоруженными явятся лишь тѣ, которые неспособны защищать истину иначе, какъ при свѣтѣ, въ открытой и честной борьбѣ».

Патріотизмъ Аксакова стоитъ виѣ всякихъ сомнѣній и не анонимамъ разнымъ съ нимъ въ этомъ отношеніи мѣряться. Но Аксаковъ вѣрилъ въ свою истину и считалъ бы для себя унижительно-нѣйшимъ «свидѣтельствомъ о бѣдности» призывъ специальныхъ органовъ по надзору за печатью къ вящей бдительности. Оттого то онъ пользовался уваженіемъ и въ тѣхъ сферахъ, которыя не раздѣляли его взглядовъ на благотворность свободы печати: то были, независимо отъ ихъ истинности или ложности, примѣнимости или непримѣнимости, — честные взгляды.

Но — говоритъ анонимъ — я что-жъ? я открыто указалъ факты и высказалъ объ нихъ свое мнѣніе, а если что невѣрно понялъ или извратилъ, такъ опровергайте меня въ печати, а если и этого мало, — преслѣдуйте меня судебнымъ порядкомъ за клевету... Таковы, мы видѣли, признаки, отличающіе работу анонима отъ доноса.

Какіе же, однако, факты указалъ анонимъ? какія мнѣнія выска-

заль? что въ его статьѣ можно опровергать? за что можно преслѣдовать судебнымъ порядкомъ?

До сихъ поръ мы достаточно близко видѣли только одно мнѣніе и одинъ фактъ: «наши либералы» совершенно напрасно жалуются, потому что вотъ «Русское Богатство», при чтеніи котораго «совершенно забываешь о существованіи у насъ не только предварительной, но и послѣдующей цензуры». Что же мы можемъ сдѣлать съ этимъ указаніемъ и съ этимъ мнѣніемъ? Если тутъ есть клевета, то она относится не къ вамъ, а къ цензурному вѣдомству, недостаточно бдительному, а опровергнуть указаніе мы могли бы только опубликованіемъ тѣхъ отдѣльныхъ мѣстъ въ разныхъ статьяхъ, которыя г. цензоръ нашелъ для печати неудобными, и тѣхъ цѣлыхъ статей, которыя признаны таковыми, какъ г. цензоромъ, такъ и цензурнымъ комитетомъ. Но разъ эти отдѣльные мѣста и цѣлыя статьи признаны для печати неудобными,—мы ихъ опубликовать не можемъ. И. такимъ образомъ, изъ трехъ признаковъ, отличающихъ работу анонима отъ доноса, остается только одинъ, не имѣющій, однако, при отсутствіи двухъ другихъ, никакого значенія: анонимъ дѣлаетъ свое указаніе дѣйствительно «громогласно», но ни опровергнуть его въ печати, ни преслѣдовать судомъ мы не можемъ.

Обратимся къ другимъ фактамъ и мнѣніямъ анонима. Начинаетъ онъ свой обзоръ со статьи г. Иванова о Тѣнѣ. Онъ говоритъ: «Авторъ прилагаетъ всѣ старанія, чтобы доказать несостоятельность эстетической теоріи Тѣна, различныхъ сужденій его объ искусствѣ, но вовсе не съ тою цѣлью, чтобы установить болѣе правильный взглядъ на явленія въ данной области, а для того, чтобы легче дискредитировать Тѣна, какъ автора капитальныхъ сочиненій, изображающихъ великую французскую революцію и ея значеніе совершенно иначе, нежели изображаютъ ее наши русскіе радикалы». Таковъ первый камень воздвигаемаго анонимомъ зданія, первое свидѣтельство чрезмѣрной свободы нашего слова, не сдерживаемой даже и предварительною цензурой, и первое приглашеніе: опровергайте въ печати, тащите въ судъ, я вѣдь громогласно говорю! Позвольте, однако. По дѣйствующимъ законамъ цензура не только не обязана проникать въ тайныя намѣренія автора и утрудять себя вопросомъ объ томъ, съ какою «цѣлью» онъ пишетъ объ эстетикѣ Тѣна, а и не имѣетъ на это права. Если бы, однако, таковое и было ей закономъ предоставлено и если бы она въ данномъ случаѣ пришла именно къ тому заключенію, къ которому привела анонима его добровольческая проищательность, то «дискредитированіе» историческаго труда Тѣна о революціи само по себѣ вовсе не представляетъ чего нибудь запретнаго.

Анонимъ «Русскаго Вѣстника» чрезвычайно проникателенъ. Я, одинъ изъ ближайшихъ сотрудниковъ «Русскаго Богатства», не знаю, съ тою ли именно цѣлью г. Ивановъ занялся эстетикой Тэна, какую ему приписываетъ анонимъ. Думаю, что онъ просто хотѣлъ характеризовать Тэна вообще, и какъ критика, и какъ философа, и какъ историка. Но если бы онъ дѣйствительно имѣлъ приписываемый ему «коварный умыселъ» и обратился бы ко мнѣ за совѣтомъ на этотъ счетъ, я бы отвѣтилъ ему: да зачѣмъ же вамъ «коварно умышлять?» Сочиненіе Тэна о французской революціи не неприкосновенное что нибудь, не каноническая книга, а просто одно изъ сотенъ и даже тысячъ сочиненій объ этой эпохѣ; конечно, судя по бывшимъ примѣрамъ, цензоръ найдетъ, можетъ быть, многое въ вашей статьѣ неудобнымъ, но собственно «дискредитировать» Тэна, какъ историка, можете безъ всякихъ «коварствъ». Даже если цензоръ, въ противоположность вамъ, величайшій почитатель Тэна.

Спрашивается, что же можетъ опровергать г. Ивановъ въ замѣткахъ анонима? Никакихъ своихъ мнѣній ни объ Тэнѣ-историкѣ, ни объ Тэнѣ-философѣ, ни объ Тэнѣ-критикѣ анонимъ не выразилъ, никакого опредѣленнаго сужденія о достоинствахъ или недостаткахъ работы г. Иванова не произнесъ,—опровергать нечего. Ну, такъ судебнымъ порядкомъ за клевету преслѣдуйте!—требуется анонимъ. Клевета, можетъ быть, и есть въ указаніи на «цѣль», которую прочиталъ въ сердцѣ г. Иванова анонимъ, но какая то ужъ очень дрянненькая и никчемная клевета, ибо, повторяю, ни въ какихъ «коварныхъ» сокрытіяхъ цѣли нѣтъ надобности для произнесенія отрицательнаго сужденія объ исторіи революціи Тэна. Такъ что во всемъ «громогласіи» анонима не за что уцѣпиться. Это все равно, что ловить руками налима или угря; послѣ такого упражненія остается, однако, на рукахъ слізъ и специфическій запахъ. Такой запахъ оставляетъ по себѣ и замѣтка г. анонима: ничего существеннаго, а все-таки... «революція», «россійскіе радикалы»... Вообще пахнетъ неблагонамѣренностью...

На этотъ именно результатъ и рассчитываетъ анонимъ. Онъ продѣлываетъ подобныя же операціи надъ двумя нашими корреспонденціями изъ Франціи (при чемъ «вовсе не намѣренъ вступать въ споръ съ авторомъ по существу»), надъ одной главой «Дневника журналиста» (при чемъ: «что онъ тамъ напуталъ и что искалъ—объ этомъ не стоитъ беспокоиться»), надъ одной главой «Міра отверженныхъ» (о которомъ «упоминаетъ лишь для того, чтобы показать, какъ въ «Русскомъ Богатствѣ» старательно пригоняютъ статью къ статьѣ»), пристегиваетъ въ концѣ меня, пишущаго эти строки, и затѣмъ восклицаетъ: какая необузданность! и

чего только цензура смотритъ?! Читатель избавить меня отъ пристального разсмотрѣнія всѣхъ обвинительныхъ пунктовъ анонима: довольно съ насъ сказаннаго по поводу статьи г. Иванова и собственныхъ признаній анонима, что онъ «не вступаетъ въ споръ по существу» и не считаетъ нужнымъ «безпокоиться» объ томъ, что вѣрно или невѣрно въ критикуемыхъ (?) имъ статьяхъ. Онъ дѣйствительно не споритъ и не безпокоится, чѣмъ и устраняетъ всякую возможность опроверженія, а только все подмигиваетъ и намекаетъ на неблагонамѣренность. Позволю себѣ остановиться только на строкахъ, мнѣ лично посвященныхъ. Ихъ всего три: «*Нечего и говорить*, что «Литературно-общественныя замѣтки» (?) г. Михайловскаго дополняютъ букетъ и по временамъ сообщаютъ ему особенную пикантность». Вотъ и все. Въ виду этого едва ли есть надобность разъяснять ту смѣсь лицемѣрія и наглости, съ которою г. анонимъ рекомендуетъ своимъ собесѣдникамъ опровергать его или преслѣдовать судебнымъ порядкомъ за клевету. Опровергать нечего, преслѣдовать не за что, а между тѣмъ я втиснуть въ «букетъ» какой то неопредѣленной, но совершенно необузданной неблагонамѣренности, да еще придаю ему «особенную пикантность». «Громогласность» указаній анонима при этихъ условіяхъ ни мало не скрашиваетъ его поступка. А если принять въ соображеніе, что бездоказательный доносъ можетъ быть занесенъ въ протоколъ «для вѣдома впредь», то надо признаться, что анонимъ, при всей вздорности своихъ указаній, попадаетъ именно въ то мѣсто, въ которое намѣтилъ: *il en restera toujours quelque chose*. Если, однако, поведение анонима цѣлесообразно, то, съ точки зрѣнія для всѣхъ направленій равно обязательной литературной чести, оно—позорно.

Въ «Русскомъ Вѣстникѣ» печатается романъ редактора (Д. И. Стахѣева, которому, къ слову сказать, уже въ силу его многолѣтней литературной карьеры не должно быть чуждо понятіе литературной чести), подъ заглавіемъ: «Духа не угашайте». Я не успѣлъ познакомиться съ самымъ романомъ, но заглавіе его также прекрасно, какъ позорно поведение анонимнаго сотрудника «Русскаго Вѣстника». Анониму особенно хочется пристегнуть насъ къ «великой французской революціи» и къ якобинскому теченію въ особенности. Ему вѣтъ дѣла до того, что событія міровой важности, опредѣляющія собою дальнѣйшее теченіе исторіи, всегда отличаются чрезвычайною сложностью. Ему нужны только странныя слова: «великая революція», «якобинцы», собственно, для составленія «букета». Не для парированія его дрянныхъ намековъ, а въ назиданіе ему напомнимъ одну изъ позорныхъ страницъ исторіи революціи: якобинскій декретъ о «подозрительныхъ» (*loi des suspects*) 17 сентября 1793 года. Декретъ этотъ предписывалъ немед-

ленный, безъ суда и слѣдствія, арестъ всѣхъ «подозрительныхъ», каковыми объявлялись: всѣ, кто своими поступками, или связями, или рѣчами, или писаніями выказывали себя сторонниками «тираніи или федерализма или врагами свободы»; всѣ, не могущіе доказать, что они исполнили свои гражданскія обязанности: всѣ, кому было отказано въ свидѣтельствѣ о гражданской благонамѣренности (*certificats de civisme*); всѣ уволенные или временно отрѣшенные конвентомъ или его комиссарами отъ какой нибудь должности: всѣ дворяне, ихъ жены, родители и дѣти, не обнаружившіе приверженности къ революціи. Впослѣдствіи эти признаки «подозрительности» получили еще болѣе точныя и дробныя опредѣленія, и Франція опозорилась безчисленными арестами безъ слѣдствія и суда, единственно на основаніи доносовъ на «подозрительныхъ» и «неблагонамѣренныхъ». Вотъ документъ изъ исторіи революціи, который, конечно, не буквою своею, а духомъ долженъ очень нравиться анониму «Русскаго Вѣстника». Букву онъ, разумѣется, измѣнилъ бы, и именно въ такомъ родѣ: подозрительными и неблагонамѣренными считаются всѣ, кто пытается «дискредитировать» Тэна, какъ историка, а затѣмъ и разныя другіе, съ которыми онъ «вовсе не намѣренъ вступать въ споръ по существу», объ опроверженіи которыхъ «не стоитъ беспокоиться» и о которыхъ «нечего и говорить». А тѣмъ временемъ редакторъ «Русскаго Вѣстника» все бы благородно возглашалъ въ заглавіи своего романа: «Духа не угашайте!»...

Очень тѣсны рамки, въ которыхъ намъ приходится дѣлать свое дѣло, и даже обидной проницей звучать нелѣпыя рѣчи анонима о нашей необузданности. Но, къ счастью, это еще не обязываетъ насъ быть благонамѣренными во вкусѣ перваго встрѣчнаго анонима.

Въ заключеніе.—маленькая справка. Я все время называю анонима анонимомъ, потому что собственно то, что относится къ «Русскому Богатству»—не подписано. Но нѣкоторыя другія «Литературно-общественныя замѣтки» «Русскаго Вѣстника» подписаны такъ: «К. М.—скій», и анонимъ, очевидно, признаетъ свою полную солидарность съ этимъ К. М.—скимъ, такъ какъ безъ всякихъ оговорокъ горячо поддерживаетъ затѣянное послѣднимъ обличеніе «профессорскаго опредѣленія». Это напоминаетъ мнѣ нѣкоторыя статьи въ журналѣ «Наблюдатель», подписанныя «К. П. Медвѣдскій» и «К.—скій». Анонимъ «Русскаго Вѣстника» такъ благородно говорить объ открытости и «громогласности» своихъ указаній (вслѣдствіе чего именно и отказывается признать ихъ доносами), что, конечно, только по какой нибудь случайности не подписался подъ своимъ обличеніемъ «Русскаго Богатства» въ необузданности и, въ слу-

чаѣ надобности (вѣдь онъ даже на судебное преслѣдованіе напрашивается), и не откажется опредѣлить свои отношенія къ К. П. Медвѣдскому, К. М—скому и К.—скому. Но въ ожиданіи этого благороднаго акта, посмотримъ на нѣкоторое совпаденіе приведенныхъ подписей, какъ на *lusus naturae*, какъ на любопытную игру природы. Она въ самомъ дѣлѣ любопытна. Въ статьѣ К. П. Медвѣдскаго «Новѣсть честнаго гражданина» («Наблюдатель» 1894, мартъ), написанной по поводу извѣстнаго дневника А. В. Никитенка, между прочимъ, читаемъ: «Нельзя упрекать молодого адъюнкта (Никитенко) за то, что онъ принялъ мѣсто цензора. Если бы, принявъ мѣсто цензора, А. В. обратился въ одного изъ «офицеровъ, сурово управляющихся съ истиной», и забылъ о преимуществахъ свѣтлой головы передъ свѣтлыми нутвинцами, — тогда другое дѣло. Ничего подобнаго съ Никитенкомъ не случилось. Наоборотъ, его цензорская дѣятельность вызываетъ безусловное уваженіе и симпатію. Ни на минуту Никитенко не забывалъ, что онъ прежде всего литераторъ и ученый и что на его обязанности лежить отстаивать интересы науки и литературы до послѣдней возможности». Дневникъ А. В. Никитенко, дѣйствовавшего, въ качествѣ цензора, въ одну изъ самыхъ трудныхъ и мрачныхъ полостей исторіи нашей литературы, дасть, конечно, К. П. Медвѣдскому много поводовъ для подобныхъ, несомнѣнно «либеральныхъ» заявленій. Но я удовольствуюсь приведенной фразой. Какая разница между К. П. Медвѣдскимъ, съ одной стороны, и К. М—скимъ и анонимомъ «Русскаго Вѣстника» — съ другой! Первый едва извиняетъ Никитенку за то, что онъ принялъ мѣсто цензора, и то только потому, что онъ «до послѣдней возможности» отстаивалъ интересы науки и литературы. К. М—скій и анонимъ, наоборотъ, изумляются бездѣятельности «не только предварительной, но и послѣдующей цензуры». Не менѣе любопытно сопоставить нѣкоторыя мнѣнія К—скаго въ «Наблюдателѣ» и К. М—скаго и анонима въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Въ статьѣ «Наша журналистика» («Наблюдатель» 1893, ноябрь) К—скій пишетъ: «Переходъ журнала «Русское Богатство» къ новой редакціи, состоящей изъ нѣкоторыхъ прежнихъ сотрудниковъ «Отечественныхъ Записокъ» съ Н. К. Михайловскимъ во главѣ, сулилъ нѣкоторыя пріятныя надежды. Ужъ слишкомъ «все темно и сѣро» въ нашей журналистикѣ, говоря стихомъ Кузьмы Пруткова. Умѣренный либерализмъ «Вѣстника Евроны», тупое ретроградство «Русскаго Обзорѣнія» и окончательная непристойность «Сѣвернаго Вѣстника» вопіють объ освѣженіи атмосферы. Думалось, что преобразованное «Русское Богатство» до извѣстной степени послужитъ дѣду освѣженія. Надежды эти не оправдались. Въ «Русскомъ Богатствѣ» также «все темно

и сфр»... Г. Михайловскій имѣтъ право на признательность со стороны русскаго общества, но послѣдніе годы его литературной дѣятельности отмѣчены усталостью... «Русскій Вѣстникъ» отличается отъ прочей «консервативной» компаніи своею литературностью, но не чуждъ и крупныхъ промаховъ. Такими промахами мы считаемъ помѣщеніе статей ультра-консервативныхъ авторовъ, тщетно пытающихся выставить черное бѣлымъ и бѣлое чернымъ. Трудъ напрасный и неинтересный. Какой-нибудь ультра-консервативный авторъ беретъ, напримѣръ, на себя трудъ доказывать, что либеральное движеніе, ознаменовавшее цѣлую громадную эпоху, было «незаконнымъ». Нелѣпость подобной задачи очевидна сама собою; можно-ли говорить о незаконности либеральнаго движенія, охватившаго не отдѣльные кружки, а все общество «отъ верхняго края до нижняго»? Можно-ли также проливать украдкой горючія слезы по такому безчеловѣчному институту, какъ крѣпостное право?... Пора бы нашимъ «консерваторамъ» выбросить за бортъ истрепанную мѣрку полицейской благонадежности; пора бы воспитать въ себѣ хоть малую толику уваженія къ обществу просвѣщенныхъ и кое-что понимающихъ людей. Пора бы перестать и лгать».

Видите, до какой степени могутъ быть различны мнѣнія и желанія и какъ трудно угодить на всѣхъ. К. П. Медвѣдскій называетъ Никитенка «честнымъ гражданиномъ» и, въ лицѣ его, ставитъ какъ бы идеаль передъ цензурнымъ вѣдомствомъ: вотъ человѣкъ, который «до послѣдней возможности» отстаивалъ интересы литературы. Но если цензурное вѣдомство, весьма далекое отъ «послѣдней возможности», допустить «дискредитированіе» Тѣна, то К. М—скій и анонимъ упрекнуть его въ бездѣтельности. К—скій ожидаетъ отъ «Русскаго Богатства» яркости и огорчается его блѣдностью, а К. М—скій находитъ его необузданно яркимъ. К—скій полагаетъ, что Михайловскій «заслуживаетъ признательности русскаго общества», а только какъ будто усталъ, а К. М—скій и анонимъ заявляютъ: «нечего и говорить», что статьи Михайловскаго придають «особенную инкантиность» «букету» неблагонамѣренности. К—скій рекомендуетъ нашимъ «консерваторамъ» отказаться отъ «истрепанной мѣрки полицейской благонадежности» и «перестать лгать», а К. М—скій и анонимъ находятъ, напротивъ, «избитыми» «пріемы либеральныхъ полемистовъ»: въ «спорѣ съ консервативными противниками» они кричатъ о доносахъ («мѣрка полицейской благонадежности»?), но это только «дешевое средство отдѣлаться отъ противника, котораго опаривать по существу—не хватаетъ пороха»...

Мудрено найти двѣ литературныя фізіономіи, болѣе различныя, чѣмъ К. П. Медвѣдскій и К—скій, съ одной стороны, и К. М—скій

и анонимъ—съ другой. Какая странная игра природы это совпаденіе подписей. Допустить, чтобы все это писано одно и то же лицо—нельзя, ибо это лицо пришлось бы признать не только человѣкомъ безъ всякихъ убѣждений, но и провокаторомъ, подстрекающимъ въ одномъ органѣ и доносящимъ въ другомъ. Неужели же и въ литературѣ возможна та профессія, о которой, какъ мы видѣли, съ такимъ презрѣніемъ говоритъ сенаторъ Таганцевъ: «профессія лицъ, возбуждающихъ къ преступленію, ради будущихъ выгодъ»?—«Никогда не повѣрю», какъ говорила въ подобныхъ случаяхъ одна невинная дѣвица. Желательно бы знать, повѣрятъ-ли этому редакціи «Наблюдателя» и «Русскаго Вѣстника»...

Въ дополненіе къ сказанному въ прошлый разъ о разнообразіи толкованій теоріи Дарвина и выводовъ изъ нея въ области нравственно-политическихъ вопросовъ,—остановимся на много нату-мѣвней книгѣ Бенжамена Кидда «Общественная эволюція». Миѣ она извѣстна въ нѣмецкомъ переводѣ Пфлюйдера (Sociale Evolution, Jena, 1895). Переводъ этотъ представляетъ нѣкоторый самостоятельный интересъ, въ виду предисловія, написаннаго тоже гремящимъ нынѣ натуралистомъ Авг. Вейсманомъ. Не содержаніемъ своимъ важно это предисловіе, занимающее всего двѣ странички, а какъ фактъ рекомендаціи со стороны одного изъ самыхъ выдающихся современныхъ біологовъ.

Книга Кидда—говорить Вейсманъ,—представляетъ «попытку свести развитіе человѣческаго общества къ тѣмъ принципамъ, которые, по возрѣніямъ современныхъ біологовъ, управляютъ развитіемъ самихъ формъ жизни. Доселѣ никто не дѣлалъ этого съ такою ясностью и послѣдовательностью и съ такою многообъемлющей точки зрѣнія».

По миѣнію Кидда, «западная цивилизація» переживаетъ кризисъ. Въ исторіи нѣтъ параллели концу XIX вѣка. Задачи, стоящія передъ человѣкомъ на порогѣ новаго столѣтія, своею грандіозностью превосходятъ все, что доселѣ предстояло цивилизаціи: все заставляетъ думать, что Европа изжила извѣстный періодъ развитія и находится накануне новой эры. Одну изъ замѣчательнѣйшихъ чертъ нашего времени Киддъ видитъ въ новомъ, по его миѣнію, отношеніи къ религіи, въ новой точкѣ зрѣнія на ея роль и значеніе *). Внутри различныхъ западныхъ церквей замѣчается

*) Прому замѣтить, что все нижеслѣдующее относится къ западно-европейской цивилизаціи. Киддъ настойчиво и многократно это подчеркиваетъ и двумъ главамъ своей книги прямо даетъ заглавіе: «Западная цивилизація» (Die westliche Civilisation въ нѣмецкомъ переводѣ).

стремленіе къ признанію того факта, что религія имѣетъ въ виду не только будущую жизнь, а и настоящую, земную, и не личную жизнь, а жизнь людей, какъ членовъ одного общественнаго организма. При этомъ конфессіональныя различія отступаютъ на второй планъ, уступая первое мѣсто общимъ основамъ всѣхъ церквей. Вмѣстѣ съ тѣмъ съ разныхъ сторонъ слышится утвержденіе, что социальный вопросъ есть въ сущности (im Grunde) религіозный вопросъ. Но и внѣ церковныхъ круговъ мы встрѣчаемъ чрезвычайно знаменательныя новыя теченія. Было бы большою ошибкою, говорить Киддъ, видѣть въ бурномъ невѣріи Брэдло и тому подобныхъ явленіяхъ нѣчто наиболѣе характерное для нашего времени. Это отзвуки нѣкоторыхъ теченій мысли конца прошлаго и начала нынѣшняго вѣка, а къ концу вѣка мы замѣчаемъ, напротивъ, въ обществѣ совершенно иное отношеніе въ религіи. Мы видимъ тяготящее многихъ умовъ къ консервативнѣйшей и наименѣе гибкой изъ всѣхъ церквей,—католической, видимъ стремленіе укрыться подъ сѣнь разнообразныхъ формъ мистицизма. Правда, наука, повидимому, произвела значительныя опустошенія въ рядахъ вѣрующихъ и въ системѣ вѣрованій, но по отношенію къ религіозному чувству вообще это одна лишь видимость. Вопросъ о границахъ науки и религіи, рѣшавшійся прежде въ смыслѣ непримиримаго ихъ противорѣчія, готовится вступить на новую почву. А именно болѣе или менѣе безсознательно пробивается признаніе того, что религія имѣетъ совершенно опредѣленную задачу въ исторіи человѣчества и что она есть могущественный факторъ социальнаго развитія. Но какова эта задача въ настоящемъ и будущемъ,—на этотъ вопросъ наука не даетъ отвѣта. Не даетъ, однако, не потому, что не можетъ дать, а потому, во-первыхъ, что доселѣ недостаточно внимательно относилась къ религіи, какъ къ общественному фактору, и потому, во-вторыхъ, что разныя отрасли социальныхъ наукъ стоятъ на слишкомъ одностороннихъ точкахъ зрѣнія, не охватывающихъ человѣка и человѣческое общество въ ихъ сложной цѣльности. Киддъ полагаетъ, что социальныя науки должны почерпнуть новыя силы въ біологіи, въ приложеніи ея методовъ и выводовъ къ явленіямъ общественной жизни. Къ этому онъ и приступаетъ во второй главѣ.

Мы встрѣчаемся здѣсь съ общими принципами дарвинизма, но въ той болѣе односторонней и рѣзкой формѣ, какую имѣ въ послѣднее время старается придать Вейсманъ. Съ момента возникновенія жизни, говоритъ Киддъ, прогрессъ совершался всегда однимъ и тѣмъ же путемъ и никакой иной путь немислимъ. Прогрессъ есть результатъ подбора однихъ и устраненія другихъ. Никогда не существовало и не существуетъ двухъ вполне одинаковыхъ пред-

ставителей одного и того же вида. Напротивъ, мы вездѣ встрѣчаемъ, въ извѣстныхъ узкихъ предѣлахъ, безконечное разнообразіе: одни индивиды стоятъ въ какомъ-нибудь отношеніи выше средняго уровня, другіе — ниже. И вотъ, если первые встрѣчаютъ благопріятныя условія для своего размноженія, — но только въ этомъ случаѣ, — становится возможнымъ прогрессъ въ какомъ-нибудь отношеніи. «Гдѣ есть прогрессъ, тамъ необходимо долженъ быть подборъ, а подборъ въ свою очередь необходимо предполагаетъ какое-нибудь соперничество». Но этого мало. Ссылаясь на работы Вейсмана. Киддъ считаетъ прочнымъ достояніемъ науки слѣдующее положеніе: если бы постоянно совершающійся въ высшихъ формахъ жизни подборъ былъ устраненъ, то формы эти не только не имѣли бы никакого побужденія къ дальнѣйшему совершенствованію, но неизбѣжно регрессировали бы. Другими словами: «если бы совокупность индивидовъ каждаго поколѣнія какого-нибудь вида имѣла возможность размножаться равномерно, то средній уровень каждаго поколѣнія имѣлъ бы постоянную тенденцію понижаться въ сравненіи съ предыдущимъ поколѣніемъ, и получилось бы медленное, но несомнѣнное вырожденіе». Въ большей или меньшей степени подборъ и соперничество необходимы, но чѣмъ они рѣзче, безпощаднѣе, тѣмъ сильнѣе прогрессируетъ видъ. Въ общемъ мы вездѣ видимъ прогрессъ, «но путь къ нему покрытъ всеми несчастливцами и неудачниками, падшими въ этомъ поступательномъ движеніи». Такъ всегда было, такъ и будетъ. Очевидно, прогрессъ не совмѣстимъ съ благополучіемъ большей части представителей даннаго вида. И если бы эти индивидуальныя представители вида могли размышлять объ общемъ ходѣ дѣлъ, то, конечно, ихъ собственное благополучіе было бы для нихъ гораздо дорожее, чѣмъ совершенствованіе или вообще будущее вида. Въ мірѣ животныхъ и тѣмъ паче растений процессъ совершается безъ участія сознанія, но человѣкъ вноситъ въ эту міровую и вѣковую картину двѣ новыя силы: свой разумъ и свою способность совмѣстной дѣятельности въ организованныхъ обществахъ. И спрашивается, какимъ же образомъ обладаніе разумомъ совмѣщается въ человѣкѣ съ рѣшимостью подчиняться тяжелымъ условіямъ существованія, требующимъ полного и постоянного жертвоприношенія своего личнаго благополучія прогрессирующему развитію, въ которомъ индивидъ не имѣетъ никакой личной выгоды?

Эволюція на всемъ своемъ протяженіи сохраняетъ свои главныя черты. Люди собираются въ первобытныя общества, и такъ какъ разумъ человѣка достигаетъ высшихъ успѣховъ, когда онъ работаетъ въ сообществѣ собѣ подобныхъ, то онъ пріобрѣтаетъ извѣстныя соціальныя привычки. Но и общество слѣдуетъ тому же

общему закону подбора и соперничества. «Побѣдоносныя общества истребляютъ постепенно своихъ соперниковъ, слабѣйшіе народы исчезаютъ передъ сильнѣйшими, порабоженіе и устраненіе менѣе сильныхъ остаются главнымъ теченіемъ человѣческаго прогресса». Само собою идетъ соперничество внутри обществъ, и, наконецъ, возникаютъ «наиболѣе жизнеспособныя соціальныя системы, въ которыхъ полное подчиненіе интересамъ соціальнаго организма соединяется съ высшимъ развитіемъ личности». Въ то же время, однако, «эволюціонистъ нигдѣ не находитъ прекращенія жесткихъ условій, господствующихъ съ самаго начала жизни. Напротивъ, замѣчается тенденція поставить ихъ еще уже и строже. Вездѣ и всегда прогрессъ сопровождается одними и тѣми же неизбѣжными явленіями неудачи большей части индивидовъ и устраненія ихъ отъ высшихъ ступеней жизни».

Естественно, что это большинство не находитъ въ своемъ разумѣ оправдательнаго основанія для такого порядка вещей. Можно утверждать, что таковы необходимыя условія всякаго прогресса, что ихъ упраздненіе неблагопріятно отзовется на будущихъ интересахъ общества и даже всей нашей расы. Но для индивидуума, занятого своими собственными интересами въ настоящемъ, а не возможными интересами общества или расы въ будущемъ, — это соображеніе не имѣетъ вѣса. Сравнивая мозгъ современнаго европейца съ мозгомъ низшихъ дикарей и мысленно возстановляя промежуточныя ступени развитія, наука констатируетъ несомнѣнный прогрессъ, но нѣтъ доводовъ, которые могли бы убѣдить разумъ американскихъ краснокожихъ или новозеландскихъ маорисовъ въ необходимости ихъ исчезновенія съ лица земли. Обращаясь съ тому періоду европейской исторіи, когда процвѣтали могущественныя военныя аристократіи, угнетавшія народъ, мы увидимъ то же самое. Тщетно было бы доказывать угнетеннымъ, что этотъ общественный строй есть естественный продуктъ своего времени и что безъ такой организаціи данная соціальная группа погибла бы подъ ударами мощныхъ соперниковъ... Когда социалисты и демократы изборажаютъ намъ тяжкое положеніе низшихъ классовъ, наукѣ трудно имъ возражать. Но она можетъ, и при томъ «безъ малѣйшаго затрудненія», доказать, что социалистическіе планы не осуществимы, а въ случаѣ осуществленія повели бы къ окончательной гибели человѣчества. «Эволюціонистъ убѣжденъ, что такъ называемая *Massenausbeutung* есть только современная форма соперничества, наблюдаемаго съ перваго проявленія жизни, и что жертвоприношеніе единицъ грядущимъ интересамъ всего соціальнаго организма есть необходимый элементъ нашего прогресса». Нельзя, однако, требовать, чтобы приносимыя въ жертву это сознавали. «Интересы

индивида и социального организма очень различны», говорит Киндль и еще резче выражает это положение на той же страницѣ (73): «интересы социального организма и составляющихъ его индивидовъ всегда противостоятъ одинъ другимъ, какъ враги». Поэтому въ разумѣ индивида нѣтъ оправданія для порядковъ, существующихъ въ прогрессирующемъ обществѣ.

Но разумъ не есть единственная сила, дѣйствующая въ исторіи. «Центральный пунктъ исторіи человечества, доселѣ неопѣненный надлежащимъ образомъ ни наукою, ни философіей, лежитъ въ борьбѣ, которую человѣкъ въ теченіе всего своего социального развитія вель съ цѣлью подчиненія своего собственнаго разума. Движущая сила въ этой борьбѣ дается религіозными вѣрованіями». Ихъ вліяніе опредѣлило поведеніе въ качествѣ сверхъ-разумной (*über die Vernunft hinausgehende*) нормировки и санкціи. Никакое вѣрованіе не можетъ функционировать въ обществѣ, какъ религія, если оно не дастъ этой сверхъ-разумной нормировки социального поведенія человѣка. Поэтому и социальный организмъ есть не политическая организація, часть которой мы составляемъ, и не раса, къ которой мы принадлежимъ, и не весь родъ человеческій въ процессѣ его развитія: онъ есть социальная система, покоящаяся на какой нибудь формѣ религіознаго вѣрованія. Въ такомъ организмѣ возникаетъ двойственность: разлагающій отрицательный принципъ, представляемый самоопредѣленіемъ индивидовъ, и обновляющій, положительный, содержащій религіозное вѣрованіе, которымъ нормируется и санкціонируется социальное поведеніе. Этотъ послѣдній принципъ лежитъ, очевидно, за предѣлами разума, и функція его состоитъ въ томъ, чтобы въ борьбѣ развитія осуществлять и нормировать подчиненіе интересовъ индивидуальнаго существованія болѣе широкимъ интересамъ долѣе живущаго социального организма, къ которому мы принадлежимъ. Въ зависимость отъ нравственныхъ нормъ, устанавливаемыхъ этимъ принципомъ, находится роль социальныхъ группъ въ дѣлѣ развитія расы. Въ нихъ, въ этихъ нравственныхъ нормахъ, и въ ихъ исторической смѣнѣ коренится множество явленій жизни, законы которыхъ еще не изучены. Что же касается религіи, то она, — независимо отъ тѣхъ или другихъ догматовъ, составляющихъ предметъ богословія, — какъ социальное явленіе, получаетъ слѣдующее опредѣленіе: «Религія есть форма вѣрованій, создающая сверхъ-разумныя нормы для поведенія индивидуума въ тѣхъ случаяхъ, когда его интересы стоятъ въ противорѣчій съ интересами социального организма, и подчиняющая первыхъ послѣднимъ въ общихъ интересахъ эволюціи расы» (97). Таково основаніе каждой религіи, говоритъ Киндль, но само собою разумѣется, что для неповѣдую-

щихъ ту или другую религію этимъ не исчерпывается ея содержаніе.

Заручившись этими общими положеніями (я, разумѣется, передаю ихъ и весь ходъ аргументаціи очень бѣгло), Киддъ приступаетъ къ анализу того, что онъ называетъ «западной цивилизаціей». Та сложная система, то огромное органическое цѣлое, въ которомъ живетъ современный цивилизованный человѣкъ, не приурочивается ни къ какому національному или расовому границамъ. Ее, эту громадную и сложную систему, можно бы было, пожалуй, назвать «европейской цивилизаціей», но и это будетъ не точно. Поэтому Киддъ, за неимѣніемъ лучшаго обозначенія, даетъ ей названіе «западной цивилизаціи».

Многое изъ того, что мы видимъ теперь вокругъ себя, съ чѣмъ мы сжились и на что смотримъ, какъ на необходимую часть своего ежедневнаго обихода, — очень недавняго происхожденія. Наша торговля, банки, вся система кредита — не старше двухъ столѣтій, пути сообщенія, которыми мы пользуемся, наши системы образованія, міровой рынокъ, большинство завоеваній техники, прикладной науки, не насчитываютъ себѣ и этого возраста. Все это есть не больше, какъ одинъ краткій эпизодъ въ исторіи западной цивилизаціи, и нельзя составить себѣ объ ней даже самое общее представленіе, принимая во вниманіе лишь эти такъ недавно выступившія на историческую арену силы. Надо обратиться къ прошлому.

Не трудно, по мнѣнію Кидда, указать историческое начало «западной цивилизаціи»; это — первые вѣка нашей эры. Это было время паденія одного типа цивилизаціи и возникновенія новаго. Вѣкъ, предшествовавшій христіанской эрѣ, и вѣкъ, непосредственно за ней слѣдовавшій, выставили рядъ блестящихъ именъ на всѣхъ поприщахъ умственной дѣятельности: Цицеронъ, Виргилій, Катуллъ, Гораций, Лукрецій, Овидій, Тибуллъ, Салюстій, Цезарь, Ливій, Ювеналь, оба Плинія, Сенека, Квинтиліанъ, Тацитъ. И тѣмъ не менѣ римскій геній уже переступалъ пору своего разцвѣта, римская цивилизація достигла своей вершины. Всѣ усилія вдохнуть жизнь въ старыя формы были напрасны; и мы вездѣ видимъ явственные симптомы упадка, разложенія. Но на развалинахъ отцвѣтшей жизни возникаетъ новая, съ самаго начала имѣющая огромное общественное значеніе. Столѣтія прошли прежде, чѣмъ получилась ясная идея о томъ общественномъ организмѣ, который предстояло создать христіанской религіи, но уже съ самаго начала обнаружилось ея необыкновенное значеніе, какъ историческаго фактора. Новая сила стирала границы классовъ, національностей, расъ, безразлично вводя ихъ представителей въ новое обществен-

ное цѣлое, несомнѣдующихъ христіанство, и ради этого цѣлаго они готовы были на всякое самопожертвованіе. И эта новая сила отнюдь не была продуктомъ разума или разсудка. Она увлекала по преимуществу низшіе, наименѣ образованные и уметвенно развитые слои общества. Представители ума и знанія были далеки отъ сознанія важности того, что происходило передъ ихъ глазами. Они относились къ новой силѣ или враждебно, или съ высокомернымъ презрѣніемъ. Но не эти представители разума наложили свою печать на дальнѣйшій ходъ общественной эволюціи. Мы видимъ быстрый ростъ церковной организаціи, полное и добровольное подчиненіе разума, постепенное паденіе личнаго, независимаго сужденія и торжество аскетическаго идеала. Вся западная Европа обратилась въ огромную теократію, всѣхъ и каждого обязывавшую безпрекословно повиноваться авторитетамъ и строго каравшую всякое сомнѣніе или отклоненіе. Все, созданное гениемъ Греціи и Рима, погребено, и люди даже не знаютъ, что нѣчто подобное существовало. Между старою жизнью и тою, которая заняла ея мѣсто, нѣтъ никакой органической связи. Лишь въ XII. XIII вв. начинается пробиваться другой факторъ соціальнаго развитія, въ XV в. наступаетъ эпоха «возрожденія», въ XVI в. — развертывается реформація, давшая новый толчокъ религіозному чувству. Невозможно обсуждать принципы, лежащіе въ основѣ новѣйшей цивилизаціи, не принимая въ соображеніе религіознаго движенія, съ котораго началась новая исторія. Эволюціонистъ долженъ признать, что оно въ теченіе многихъ вѣковъ способствовало и способствовало росту однихъ элементовъ и препятствовало росту другихъ, и что каковы бы ни были наши личные взгляды на принципы христіанства и содержаніе его вѣрованій, мы во всякомъ случаѣ составляемъ продуктъ этого движенія. Вся современность есть только часть явленій, съ нимъ связанныхъ. Говорятъ объ теоретической безплодности первыхъ вѣковъ церковной организаціи западной Европы, но это совершенно не вѣрно, — этотъ историческій періодъ былъ періодомъ накопленія альтруистическихъ чувствъ, школьнымъ періодомъ подчиненія самоопредѣляющейся личности иному, высшему началу, и плоды его, обильные и благотворные, сказались позже.

Не входя въ подробности дальнѣйшей аргументаціи Кидда и его анализа нѣкоторыхъ фактовъ западно-европейской исторіи, остановимся только на главныхъ и общихъ сторонахъ его работы, находящихся въ непосредственномъ отношеніи къ вышеизложенному.

Древній міръ, на развалинахъ котораго выросла новая, западно-европейская цивилизація, поконилъ на рабствѣ, — на рабствѣ въ собственномъ смыслѣ, рабствѣ женщинъ, рабствѣ дѣтей, — на презрѣніи ко многимъ отраслямъ труда, на замкнутости общественной жизни. Все это создавало искусственныя препятствія для свободной игры борьбы за существованіе и естественнаго подбора, а потому неизбѣжно понижало уровеньъ расы. Христіанство внесло въ исторію новую этическую систему прирожденнаго равенства всѣхъ людей и братской любви, снабдивъ при томъ эту этическую систему чрезвычайною силою сверхъ-разумнаго фактора. Построенная на этой системѣ цивилизація призываетъ къ участію въ борьбѣ за существованіе всѣхъ дотолѣ отстраненныхъ. Такимъ образомъ, западно-европейская цивилизація не только не обрываетъ вѣковѣчнаго космическаго процесса, но составляетъ прямое его продолженіе. Этимъ именно объясняется энергія, сила, духъ предприимчивости, характеризующіе европейскіе народы. И процессъ долженъ идти и впредь въ томъ же направленіи. Многое уже сдѣлано на этомъ пути приобщенія разныхъ общественныхъ слоевъ къ открытой и свободной борьбѣ за существованіе; многое и теперь дѣлается, и въ этомъ отношеніи особенно поучительна новѣйшая исторія Англіи, постепенно, но твердо расширяющая поле естественнаго подбора привлеченіемъ народныхъ массъ къ активной политической жизни. Но очень многое еще остается сдѣлать. И Англія, и европейская цивилизація вообще еще очень далеки отъ такого состоянія, при которомъ каждая сила и каждая способность находили бы себѣ надлежащее приложеніе, не будучи стѣсняемы посторонними, случайными условіями. Послѣднихъ еще весьма много даже въ сферѣ политическихъ отношеній, не говоря уже объ отношеніяхъ экономическихъ. Они должны исчезнуть въ видахъ уравниванія шансовъ соперничества и борьбы за существованіе, дабы побѣждали дѣйствительно лучшіе, сильнѣйшіе. Съ этою цѣлью подлежитъ, напримѣръ, пересмотру наслѣдственное право, но именно и исключительно съ этою цѣлью, которая состоитъ отнюдь не въ упраздненіи соперничества, борьбы и подбора, а, напротивъ, въ ихъ вѣдшемъ обостреніи. Доктрина, имѣющая своимъ девизомъ «laissez faire», оказала много услугъ человѣчеству, но нынѣ она уже требуетъ поправки, въ смыслъ необходимости государственнаго вмѣшательства, но съ цѣлью не ограниченія поля свободной конкуренціи, а его охраненія отъ вліянія случайныхъ причинъ. Приведа извѣстное, часто цитируемое предсказаніе Ангельса о грядущей рѣзкой перемирѣ общественныхъ отношеній, при чемъ должна исчезнуть борьба за личное существованіе. Киддъ утверждаетъ, что это исчезновеніе и невозможно, и не жела-

тельно, такъ какъ оно знаменовало бы собою паденіе цивилизаціи.

Мы уже видѣли отчасти отношеніе Кидда къ школѣ Энгельса. Признавая неопровержимымъ ея фактическое изложеніе современнаго экономическаго строя, говоря ей по этому поводу много комплиментовъ, Киддъ отвергаетъ едва ли не все историческія положенія школы. Ту *Massenausbeutung*, которую школа считаетъ особливою принадлежностью капиталистическаго строя, Киддъ находитъ и въ феодализмѣ, и въ античномъ мірѣ, словомъ, на всемъ протяженіи исторіи, и полагаетъ, что она не прекратится и въ будущемъ. Она только принимала и принимаетъ разныя формы въ разные историческіе періоды, но въ существѣ своемъ составляетъ неизбѣжную основу общественной эволюціи. Затѣмъ, экономическое обоснованіе всехъ историческихъ явленій Киддъ считаетъ слишкомъ узкимъ и недостаточнымъ. Впрочемъ, на эту матеріалистическую точку зрѣнія онъ обращаетъ мало вниманія, сосредоточиваясь главнымъ образомъ на исторической роли разума и науки, съ одной стороны, этики и религіи—съ другой.

«Западная цивилизація» представляетъ собою нѣкоторое единое органическое цѣлое; процессъ его развитія состоитъ въ постепенномъ высвобожденіи личныхъ силъ для состязанія на аренѣ борьбы за существованіе; движущая сила, лежащая въ основѣ этого развитія, есть извѣстный фондъ альтруистическихъ чувствъ: этотъ фондъ есть продуктъ связанной съ западною цивилизаціей религіозной системы. Интеллектуальный элементъ играетъ при этомъ важную, но лишь второстепенную, подчиненную роль. Онъ имѣетъ задачею только развивать то, что приобрѣтено другими силами, и не можетъ даже удержать приобрѣтенное этими другими силами, когда послѣднія изсякаютъ. Мы видѣли рядъ блестящихъ именъ дѣятелей мысли во времена упадка римской цивилизаціи,—они ея не спасли. Мы знаемъ рядъ еще болѣе блестящихъ представителей интеллектуальнаго элемента въ древней Греціи, во многихъ отношеніяхъ не превзойденныхъ никѣмъ въ европейской исторіи, и, однако, греческая цивилизація исчезла, и даже этнографически населеніе древней Греціи расплылось безслѣдно въ другихъ, чуждыхъ элементахъ. Черезъ значительную часть XIX в. проходитъ пламенная надежда на благотворительную роль, которую умственный элементъ долженъ сыграть въ исторіи человѣчества. Существуетъ убѣжденіе, что вышеупомянутый процессъ политическаго, экономическаго, социальнаго высвобожденія личности происходитъ главнымъ образомъ на интеллектуальной почвѣ. Но при-сматриваясь къ дѣлу ближе съ эволюціонной точки зрѣнія, мы должны признать, что движущей силой этого процесса является

не разумъ. «Отнимите вышеуказанныя этическія вліянія, и мы можемъ себѣ представить то циническое равнодушіе и разсудочную гордость, съ которыми спальный характеръ отнесется къ этому освобожденію отъ вулгарнаго и рабскаго, при такихъ условіяхъ, предразсудка. Если наше сознательное отношеніе къ міру измѣрять краткимъ поприщемъ нашего личнаго существованія, то разумъ признаетъ только одну обязанность индивида: обязанность по отношенію къ себѣ, обязанность по возможности воспользо-ваться немногими драгоценными годами сознательной жизни. Всякая другая точка зрѣнія окажется юридскою и смѣшною. Каждое избѣгнутое въ эти годы страданіе, каждое полученное наслажденіе—есть выгода, рядомъ съ которою стремленіе споспѣшествовать космическому процессу, безразличному для интересовъ индивида, ничтожно». Указываютъ на многочисленныя исключенія,—на людей, отнюдь не стоящихъ подъ вліяніемъ религіознаго движенія, составляющаго основу нашей цивилизаціи, которые, однако, одушевлены благородными мотивами и ведутъ безупречную жизнь. Но это только кажущіяся исключенія, ибо въ нихъ сказывается все-таки тотъ же общій фондъ альтруистическихъ чувствъ. Если памятовать, что съ эволюціонной точки зрѣнія наша цивилизація есть единый организмъ, исторія жизни котораго подлежитъ изученію въ цѣломъ, то ясно, что нельзя разсматривать отдѣльные индивиды, какъ независимые отъ процесса, вліяющаго на общество въ теченіе вѣковъ. Слѣдуетъ думать, что раціоналистическая школа, поющая нынѣ хвалы разуму и предсказывающая ему полное и окончательное господство, потерпитъ крушеніе. Рано или поздно «проницательные умы поймутъ, что всѣ пріобрѣтенія разума, всѣ наши открытія и изобрѣтенія могутъ быть усвоены и такъ называемыми низшими расами, и что если передовыя, прогрессирующія расы не будутъ имѣть иного орудія въ борьбѣ, то онѣ утратятъ свое первенство, и весь эволюціонный процессъ западной цивилизаціи задержится или даже повернется назадъ. «Отличительная черта человѣческой эволюціи, какъ цѣлаго, состоитъ въ томъ, что, въ силу закона естественнаго подбора, раса должна становиться все болѣе и болѣе религіозною». (226). Прогрессъ совершается постепеннымъ подчиненіемъ непосредственныхъ интересовъ самоопредѣляющаго индивида интересамъ общества. Такимъ путемъ слагается то, что называется «религіознымъ характеромъ». И побѣждаютъ въ борьбѣ тѣ расы, въ которыхъ этотъ религіозный характеръ является наиболѣе развитымъ, а среди нихъ въ свою очередь тѣ, которыя обладаютъ и наилучшей этической системой; а эта послѣдняя, подчиняя интересы индивида интересамъ общества, вмѣстѣ съ тѣмъ предоставляетъ арену

борьбы всѣмъ силамъ и способностямъ на равно свободномъ основаніи. Такимъ образомъ, мы видимъ въ исторіи два параллельныхъ процесса: развитіе религіознаго характера индивидовъ и развитіе характера самыхъ религій. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи западная цивилизація пережила два важныхъ момента, представляемыхъ торжествомъ католицизма и затѣмъ реформаціей. Фондъ альтруистическихъ чувствъ, накопленный въ первые вѣка христіанства, получилъ съ теченіемъ времени ложное направленіе въ католицизмъ, но возродился съ новою силою, какъ бы вернувшись къ своему чистому источнику, въ реформаціонномъ движеніи XIV вѣка. Онъ вступилъ здѣсь на естественный, не подавляемый авторитетомъ путь развитія. Оттого-то мы и видимъ рядъ судорожныхъ революціонныхъ взрывовъ въ странахъ, оставшихся вѣрными католицизму, главнымъ образомъ во Франціи, и спокойную, но неустанную эволюцію странъ протестантскихъ, главнымъ образомъ Англіи. Киддъ не знаетъ, кажется, достаточно сильныхъ словъ для восхваленія, какъ внутренняго строя англійской жизни, такъ и ея иностранной и въ особенности колониальной политики. Конечно, и Англіи предстоитъ еще многое совершить, но она навѣрное это многое совершитъ, потому что стоитъ на вѣрной дорогѣ, отъ вѣка намѣченной космическимъ процессомъ. Низшія расы, съ которыми Англія сталкивается въ колоніяхъ, конечно, должны или погибнуть, или состоять подъ верховнымъ руководствомъ метрополіи. Но и эта гибель, и эта подчиненность, во-первыхъ, волюнтіе естественны, а во-вторыхъ, совершаются на почвѣ альтруистическаго призыва всѣхъ силъ и способностей на арену свободной борьбы за существованіе. Если при этомъ, напримѣръ, мѣстная промышленность не выдерживаетъ конкуренціи съ англійскою, то это лишь естественное и мирное торжество сильнаго надъ слабымъ, а насилій тутъ не бываетъ. И все это благодаря основному религіозному фактору англійской исторіи, который сказывается и во внутреннихъ дѣлахъ выработкою благородныхъ характеровъ въ высшихъ, правящихъ классахъ, добровольно дѣлающихъ одну за другою уступки низшимъ, дабы и ихъ привлечь къ участию въ борьбѣ за существованіе на равно свободномъ для всѣхъ основаніи...

Я далеко не исчерпалъ всего содержанія книги Кидда, минуя многія побочныя мысли и фактическія иллюстраціи, хотя къ нѣкоторымъ изъ нихъ намъ придется еще обратиться. Боюсь, что и въ такомъ, освобожденномъ отъ многихъ подробностей видѣ, концепція Кидда представляется читателю очень неясною. Слишкомъ ужъ непривычны нѣкоторыя изъ его сближеній, въ особенности для насъ,

русскихъ, но не только для насъ. Излагая теорію Кидда, такой основательный и добросовѣстный писатель, какъ Де-Греефъ, въ одномъ мѣстѣ говоритъ: «Киддъ, признавая, что разумъ есть отличное свойство человѣка, думаетъ, что онъ станетъ главнымъ орудіемъ подбора», — а черезъ двѣ страницы пишетъ: «но Кидду функція религіи состоитъ въ подчиненіи разума и личныхъ интересовъ коллективному организму; она есть центральный факторъ эволюціи человѣчества» (*Le transformisme social. Essai sur le progrès et ee regrès des sociétés*, 1895, стр. 249 и 252). Мы видѣли, что только послѣдняя изъ этихъ фразъ выражаетъ настоящую и при томъ основную мысль Кидда, а первая ей прямо противорѣчитъ. Тотъ же Де-Греефъ мимоходомъ упрекаетъ Кидда въ томъ, что онъ, «прилагая къ общественному развитію принципъ естественнаго подбора, удѣляетъ слишкомъ малую, даже въ первобытныхъ цивилизаціяхъ, долю вліянія общественному чувству (*socialité*), во многихъ случаяхъ являющемуся благопріятнымъ моментомъ для развитія и сохраненія обществъ» (247). На самомъ дѣлѣ, въ данномъ случаѣ Киддъ заслуживаетъ упрека не за забвеніе роли общественного чувства, а за произвольность и невыдержанность терминологіи.

XVI *).

Продолженіе о Киддѣ.—Г. Антоновичъ и объективность.—О Невскомъ Обществѣ устройства народныхъ развлеченій.

Сопоставляя жизнь цивилизованныхъ людей съ жизнью дикарей, нельзя не изумляться колоссальнымъ успѣхамъ человѣческаго разума, говоритъ Киддъ. Мы, цивилизованные люди, сообщаемъ другъ другу свои мысли въ кратчайшее время на огромныя разстоянія; мы за цѣлыя годы впередъ съ точностью опредѣляемъ движенія небесныхъ тѣлъ, отстоящихъ отъ насъ на многіе милліоны миль; дѣлаемъ механическіе снимки съ рѣчей и потомъ возстановляемъ въ любое время эти рѣчи для нашего слуха; изучаемъ составъ неподвижныхъ звѣздъ съ помощью анализа свѣта, исшедшаго изъ своего источника раньше, чѣмъ занялась заря нашей исторіи. Все это достигнуто человѣческимъ разумомъ, и ничего отдаленно подобнаго мы не находимъ у низшихъ расъ. Сложность нашей цивилизованной жизни, наша торговля и промышленность, служащая имъ орудія, машины, техническія знанія, — также, повидимому, рѣзко отграничиваютъ цивилизованные народы отъ низшихъ расъ. Очень, однако, ошибаются тѣ близорукіе люди, которые считаютъ эти результаты цивилизаціи мѣриломъ умственной разницы между нами и низшими расами. Стоитъ лишь немного подумать, чтобы убѣдиться въ томъ, что изумительные плоды цивилизаціи отнюдь не могутъ служить мѣриломъ умственного превосходства цивилизованныхъ народовъ. Это результаты не умственного напряженія отдѣльныхъ лицъ изъ насъ, а колоссальной преемственной работы накопленія знаній, каждое послѣдующее увеличеніе которыхъ становится все легче. Даже даровитѣйшіе изъ насъ, заносящіе въ лѣтоиспи науки открытія первостепенной важности, собственно говоря, не могутъ приписывать ихъ себѣ, своему личному творчеству, ибо работаютъ на расчищенной трудами многихъ поколѣній почвѣ. Вотъ почему

*) Июнь, 1896.

мы и видимъ, что великія открытія и изобрѣтенія совершаются обыкновенно не однимъ лицомъ, а нѣсколькими, вполнѣ другъ отъ друга независимо. Такъ было съ дифференціальнымъ исчисленіемъ, съ закономъ сохраненія силы, съ эволюціонной теоріей, съ объясненіемъ египетскихъ іероглифовъ, такъ было съ открытіемъ паровой машины, спектральнаго анализа, телеграфа, телефона, и проч. Ни объ одной великой идеѣ нельзя сказать, чтобы она была продуктомъ единичнаго генія, а слѣдовательно, нельзя указывать на наши идеи и знанія, какъ на свидѣтельство нашей умственной высоты; они гораздо болѣе свидѣлствуютъ о высотѣ нашей общественности, социальнаго развитія. Точно такъ же, говоря о низшихъ расахъ, нельзя объяснять ихъ состояніе исключительно ихъ умственною отсталостью. Извѣстно, что въ языкахъ низшихъ расъ нѣтъ словъ для выраженія нѣкоторыхъ идей и отношеній, съ которыми мы, цивилизованные люди, освоюемся съ самаго ранняго дѣтства. Такъ, напримѣръ, дикари обыкновенно умѣютъ считать только до пяти, даже до трехъ и не имѣютъ словъ для обозначенія большихъ чиселъ. А между тѣмъ эти люди владѣютъ часто стадами рогатаго скота, овецъ и проч. и очень хорошо знаютъ, все-ли стадо тутъ на лицо, хотя и не могутъ сказать, какъ оно велико. Если-же мы съ легкостью совершаемъ свои счетныя операціи, такъ это благодаря преемственно выработанному какъ бы масштабу, который мы почти механически примѣняемъ къ дѣлу; затрачиваемыя же при этомъ наши умственные способности совсѣмъ ужъ не такъ значительно превышаютъ способности дикаря, какъ это кажется съ перваго взгляда.

Это разсужденіе Кидда, содержа въ себѣ много вѣрнаго, можетъ выстѣ съ тѣмъ служить исходнымъ пунктомъ для доказательства произвольности нѣкоторыхъ его обобщеній и самой его терминологіи. Нельзя сомнѣваться въ великомъ значеніи религіозныхъ вѣрованій и связанныхъ съ ними этическихъ системъ, какъ историческаго фактора. Но было бы большою ошибкою не видѣть другихъ источниковъ этики, заключающихся въ томъ процессѣ развитія общественности, въ томъ, такъ сказать, социальномъ тренін, которому Киддъ не безъ основанія приписываетъ столь значительную роль даже въ чисто интеллектуальной области. Вопреки мнѣнію Де-Греефа, Киддъ придаетъ огромное значеніе общественности (*socialité*), но онъ даетъ ей совершенно произвольное, слабо мотивированное и одностороннее освѣщеніе.

Затѣмъ Киддъ уже слишкомъ грубо и прямолинейно изображаетъ картину развитія «европейской цивилизаціи». Одна изъ исходныхъ точекъ Кидда—естественный антогонизмъ между индивидомъ и обществомъ, между индивидуальнымъ и общественнымъ

развитіемъ—есть пунктъ, къ которому съ разныхъ сторонъ приходятъ многіе современные европейскіе социологи. Но протекająca отсюда борьба за индивидуальность во всякомъ случаѣ не можетъ быть столь проста и, такъ сказать, монотонна, какъ выходитъ у Кидда. Дѣло въ томъ, что всякая общественная форма, въ которую вступаетъ человѣкъ, съ одной стороны, расширяетъ его личное существованіе, обогащая его новыми психологическими элементами, новыми красками и звуками жизни, и предоставляя сотрудниковъ для достиженія его цѣлей, но, съ другой стороны, падагаетъ на личность извѣстныя узы, ограничивающія просторъ ея жизненныхъ проявленій. Эти плюсы и минусы, доставляемые личности обществомъ, и по своему объему, и по своей напряженности, и по своему направленію, очень разнообразны въ разныхъ формахъ общественныхъ союзовъ и на разныхъ ступеняхъ развитія этихъ союзовъ. Разнообразіе это еще во много разъ увеличивается тѣмъ обстоятельствомъ, что, напримѣръ, членъ того колоссальнаго цѣлаго, которое Киддъ называетъ «западной цивилизаціей», не исключительно и непосредственно въ это цѣлое входитъ: онъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ и членъ семейнаго союза, и сынъ своей родины, входитъ въ составъ того или другого общественнаго класса или сословія, принадлежит по своему вѣроисповѣданію къ той или другой церкви, а по своей профессіи—къ той или другой профессиональной группѣ, онъ въ то же время членъ какого-нибудь благотворительнаго, ученаго общества, какого-нибудь клуба и т. д., и т. д. Нѣсколько меньшую нестроту, но все-таки значительное разнообразіе встрѣтимъ мы и въ томъ цѣломъ, которое Киддъ объединяетъ, какъ средневѣковую теократію. И здѣсь имѣется сложная іерархія феодальной системы, рыцарскихъ и монашескихъ орденовъ, цеховъ, сельскихъ общинъ, союзовъ кровнаго родства, временныхъ союзовъ съ торгово-промышленными и военными цѣлями и т. д. Прослѣдить судьбы личности въ этомъ пестромъ переплетѣ разнообразныхъ союзовъ со всеми ихъ плюсами и минусами—задача столь же интересная, какъ и трудная. И, очевидно, въ этой сложной картинѣ нельзя оріентироваться при помощи противопоставленія разума и эгоизма, съ одной стороны, «сверхъ-разумныхъ факторовъ» и общественности—съ другой. Даже въ средніе вѣка, когда европейскую цивилизацію дѣйствительно обуяла страстная жажда преклоненія передъ авторитетомъ и разнообразные общественные союзы дѣйствительно часто принимали ту окраску, которую Киддъ называетъ сверхъ-разумною; даже и тогда были часто «разумныя» основанія для вступленія въ вассальныя отношенія къ сильному сюзерену или для образованія союзовъ взаимной защиты и помощи. А съ другой стороны, такъ пышно расцвѣтшій въ средніе

вѣка аскетическій идеалъ, часто заключающій въ себѣ прямое отрицаніе общества, опирался на сверхъ-разумныя основанія. Такимъ образомъ, ни разумъ не можетъ быть признанъ противообщественнымъ началомъ ни общественность не можетъ быть предоставлена въ исключительное вѣдѣніе сверхъ-разумныхъ факторовъ.

Соотечественникъ Кидда, Генри Друммондъ, книга котораго «Прогрессъ и эволюція человѣка» вышла недавно въ русскомъ переводѣ, находитъ, что «ни одинъ изъ современныхъ мыслителей не смотрѣлъ на проблему съ такою ясностью, какъ Киддъ; но—продолжаетъ онъ—его рѣшеніе, глубоко вѣрное само по себѣ, портится въ глазахъ науки и философіи своимъ совершенно ошибочнымъ основаніемъ». По мнѣнію Друммонда, концепція Кидда есть продуктъ разочарованія и отчаянія. Отчаявшись найти въ разумѣ и въ самой природѣ основанія для этики, Киддъ ищетъ ей «ультра-раціональной санкціи». Надо замѣтить, что Друммондъ столь же высоко цѣнитъ христіанскую этику, какъ и Киддъ, но онъ полагаетъ, что соответствующія ей предписанія даютъ и разумъ, и сама природа. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ, какъ и Киддъ же, пламенный эволюціонистъ, но нѣсколько на иной подкладкѣ. И ходъ его мысли, и результатъ, къ которому онъ приходитъ, хорошо характеризуются слѣдующими его словами: «Вплоть до сихъ поръ не было сказано ни одного слова для примиренія христіанства съ эволюціей или эволюціи съ христіанствомъ. А почему? Ибо и то, и другое составляютъ одно. Что такое эволюція? Способъ творенія. Въ чемъ цѣль ея? Сдѣлать живыя существа болѣе совершенными. Что такое христіанство? Способъ творенія. Въ чемъ цѣль его? Сдѣлать живыя существа болѣе совершенными. Черезъ что дѣйствуетъ эволюція? Черезъ любовь. Черезъ что дѣйствуетъ христіанство? Черезъ любовь. Эволюція и христіанство имѣютъ одного и того же Творца, одну и ту же цѣль, одинъ и тотъ же духъ. Между этими двумя процессами нѣтъ соперничества. Христіанство проникло въ эволюціонный процессъ безъ шума и потрясенія: оно не опрокинуло ничего изъ того, что было сдѣлано; оно приняло всѣ естественныя основанія точь въ точь такими, какими нашло ихъ; оно взяло человѣческое тѣло, умъ и душу какъ разъ на томъ уровнѣ, на которомъ работала надъ ними органическая эволюція; оно продолжало постройку путемъ медленныхъ и постепенныхъ измѣненій; и черезъ процессы, управляемые раціональными законами, оно завершило восхожденіе человѣка. Но одинъ человѣкъ не можетъ прослѣдить естественно пути эволюціи, не достигнувъ при вершинѣ христіанства» (русскій переводъ, М. 1896, стр. 388—389).

Последнюю мысль развиваетъ, какъ мы видѣли, и Киддъ, но Друммондъ желаетъ избѣжать Киддовской парадоксальной постановки вопроса на почву единства «религій любви» и доктрины борьбы за существованіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ найти моральную санкцію не тамъ, гдѣ ее ищетъ Киддъ, а, напротивъ, въ отвергнутыхъ имъ источникахъ этического и социальнаго творчества, въ разумѣ и природѣ. Достигаетъ онъ этого двумя путями. Во-первыхъ, весь эволюціонный процессъ, всю исторію міра въ цѣломъ и въ подробностяхъ онъ изображаетъ, какъ целесообразное осуществленіе отъ вѣка существовавшаго гигантскаго плана; при этомъ онъ отчасти какъ бы слѣдуетъ за Дарвиномъ, но вездѣ подставляетъ целесообразное творчество природы вмѣсто механическаго подбора выгодныхъ измѣненій. Затѣмъ, во-вторыхъ, онъ, съ энтузіазмомъ говоря о высокомъ значеніи теорій Дарвина, находитъ, однако, что ея устанавливается лишь одна половина истины. «Борьба за жизнь» несомнѣнно происходитъ и даетъ тѣ именно результаты, которые такъ блистательно разработаны великимъ англійскимъ натуралистомъ, но результаты эти частью видоизмѣняются, частью парализуются другимъ, столь же естественнымъ началомъ, доселѣ упущеннымъ наукою изъ вида, — «борьбою за жизнь другихъ». «Въ чемъ Киддъ имѣлъ успѣхъ, и исходъ блестящій,—говоритъ Друммондъ,—это показать, что природа, *изъясняемая, въ предѣлахъ борьбы за жизнь*, не заключаетъ въ себѣ санкціи ни для нравственности, ни для социальнаго прогресса. Но вмѣсто того, чтобы отказываться здѣсь отъ природы и разума, ему слѣдовало отказаться отъ Дарвина. Борьба за жизнь не составляетъ «высшаго факта, котораго достигла мало по малу біологія». Это фактъ, котораго достигъ Дарвинъ, но если бы обратиться къ біологій исполнѣ, она не дала бы столь искаженнаго свѣдѣнія о самой себѣ». Друммондъ, какъ и Киддъ, думаетъ, что процессъ социальнаго развитія, совершающійся въ западной цивилизаціи, обязанъ своимъ существованіемъ извѣстному фонду альтруистическихъ чувствъ, но фондъ этотъ, по его мнѣнію, созданъ самой природой, какъ результатъ той борьбы за жизнь другихъ, которая во все времена была однимъ изъ условій существованія. Друммондъ не отрицаетъ ни факта борьбы за жизнь, ни благотворныхъ послѣдствій въ смыслѣ выработки сильныхъ и способныхъ. Но «рядомъ съ борьбой за жизнь другихъ, борьба за жизнь собственную есть только преходящій фазисъ. Столь же давняя, какъ и глубоко таящаяся въ природѣ, эта дальнѣйшая сила была съ самаго начала предназначена заслонить собою борьбу за жизнь и выстроить болѣе благородную постройку на основаніяхъ, заложенныхъ этой послѣдней». Борьба за жизнь есть рядъ явленій, произ-

водныхъ отъ функціи питанія; борьба за жизнь другихъ есть рядъ явленій, производныхъ отъ функціи воспроизведенія. Первый проблескъ борьбы за жизнь другихъ находимъ въ тѣхъ чисто механическихъ приспособленіяхъ, которыми въ самыхъ низшихъ слояхъ органическаго міра индивидъ откладываетъ извѣстные запасы для питанія зародыша и охраненія его отъ неблагоприятныхъ внѣшнихъ вліяній. Затѣмъ, постепенно усиливая сложность и напряженность явленія, эволюція создаетъ мать въ лучшемъ и высшемъ смыслѣ этого слова. «Слѣдить за пріобрѣтеніями воспроизведенія съ этого пункта значило бы писать исторію націй, исторію цивилизаціи, прогрессъ соціальной эволюціи. Ключъ ко всѣмъ этимъ процессамъ лежитъ здѣсь. Нѣтъ яснаго знанія міра, не основаннаго на уясненіи мѣста этого фактора въ развитіи. Соціологія будетъ только толочь воду и не можетъ сдѣлать ни одного шага впередъ, какъ наука, пока не признаетъ этого основанія въ біологіи».

Такимъ образомъ, въ концѣ концовъ, и для Друммонда, какъ для Кидда, космическая и этическая эволюція совпадаютъ, завершаясь христіанствомъ. Но достигаютъ они этого результата очень различными путями. Тѣхъ процессовъ природы, которые Друммондъ резюмируетъ общимъ названіемъ «борьбы за жизнь другихъ», Киддъ просто не видитъ, да и, говоря, о человѣческомъ обществѣ, совсѣмъ даже не упоминаетъ объ элементарной формѣ «борьбы за жизнь другихъ», объ отношеніяхъ семейныхъ. Встрѣчаясь же съ другого рода явленіями самоотверженія, преданности, любви, онъ не находитъ для нихъ никакого разумнаго основанія, вслѣдствіе чего и обращается къ сверхъ-разумной санкціи. вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ, хотя и подъ покровительствомъ Вейсмана, но все-таки крайне двусмысленно и съ насиліемъ надъ логикой втискиваетъ эти явленія въ узкія рамки Дарвиновой борьбы за существованіе. Его «любовь» есть вызовъ на борьбу. Друммондъ избѣгаетъ *этихъ* двусмысленностей, такъ какъ въ самой природѣ ищетъ и находитъ самостоятельнаго этического фактора, существующаго рядомъ съ борьбою за существованіе. Но, ставъ на мало надежную точку зрѣнія цѣлесообразности всѣхъ процессовъ природы, Друммондъ лишилъ себя возможности установить истинныя отношенія между «борьбою за жизнь» и «борьбою за жизнь другихъ» и ориентироваться въ той сложной пестротѣ общественныхъ союзовъ, которая, какъ мы видѣли, и для Кидда составляетъ камень преткновенія. Каждый общественный союзъ, сложившійся хотя бы даже исключительно на почвѣ «борьбы за жизнь другихъ», имѣетъ, какъ цѣлое, какъ коллективная единица, тенденцію вступить съ другими единицами въ «борьбу за жизнь». Материнское чувство, этотъ, по Друммонду, прообразъ и источникъ всѣхъ формъ «борьбы за жизнь другихъ», давая, безъ сомнѣнія,

много образчиковъ высокаго самоотверженія, передъ которымъ нельзя не преклониться, часто становится источникомъ семейнаго эгоизма, топчущаго интересы и другихъ семей, и высшихъ общественныхъ единицъ, и даже членовъ собственной семьи. Патріотизмъ, эта болѣе широкая школа любви и самоотверженія, часто обложивается лютою враждою къ другимъ національнымъ или государственнымъ единицамъ. Наконецъ, есть общественныя формы, для поддержанія своего требующія внутренней борьбы, борьбы за жизнь, борьбы на смерть, между своими членами. Такова современная промышленная организація. Дарвинъ, будучи противникомъ планомѣрной цѣлесообразности въ органическомъ мірѣ, стоитъ, однако, на точкѣ зрѣнія механической цѣлесообразности, которая приводитъ его, напримѣръ, къ такому разсужденію: «Если мы восхищаемся по истинѣ чудесною способностью чутья, при помощи котораго самцы многихъ насекомыхъ отыскиваютъ своихъ самокъ, то можемъ ли мы восхищаться производству, для единственной цѣли оплодотворенія, многихъ тысячъ трутней, которые совершенно бесполезны общинѣ для какой либо иной цѣли, и которые въ концѣ концовъ убиваются ихъ трудолюбивыми и неплодовитыми сестрами? Трудно, но должно восхищаться дикою инстинктивною ненавистью пчелиной матки, побуждающею ее убивать молодыхъ матокъ, своихъ дочерей, какъ только онѣ родятся, или погибнуть самой въ бою; потому что несомнѣнно, что это происходитъ для блага общества; а материнская любовь или материнская ненависть, хотя послѣдняя, по счастью, встрѣчается очень рѣдко, есть одно и тоже для неумолимыхъ законовъ естественнаго подбора. («Происхожденіе видовъ», пер. Филиппова, 213—214). Если мы *должны* восхищаться смертнымъ боемъ пчелиной матки съ своими собственными дѣтьми, то не видно, почему бы не восхищаться и періодическими избіеніями трутней, ибо и это полезно для данной общественной формы. Вопросъ, однако, въ томъ, почему надлежитъ восхищаться чѣмъ бы то ни было, что способствуетъ сохраненію всякой существующей общественной формѣ, хотя несомнѣнно, что въ каждой изъ нихъ «борьба за жизнь другихъ» играетъ большую или меньшую роль.

Было бы очень интересно подольше остановиться на книгахъ Кидда и Друммонда, но не могу теперь это сдѣлать. Я заговорилъ объ нихъ собственно только къ слову, какъ о послѣднихъ новинкахъ въ области приложенія теоріи Дарвина къ общественной жизни, дабы показать, какъ много еще въ этой области спорнаго и какъ неосновательно упрощенное освѣщеніе, данное ей г. Антоновичемъ въ книгѣ «Чарльзъ Дарвинъ и его теорія». Упрощенное освѣщеніе идей и фактовъ естественно соблазнительно для большинства читателей, въ составѣ котораго всегда много лѣни-

выхъ умовъ, которые рады получить истину по дешевой цѣнѣ, съ возможно меньшей затратой собственнаго труда. Такая дешевая истина становится еще соблазнительнѣе, когда предлагающій ее, въ болѣе или менѣе краснорѣчивыхъ выраженіяхъ, выдаетъ себѣ аттестатъ «объективизма» или даже только бросаетъ нѣсколько пренебрежительныхъ или укоризненныхъ словъ по адресу «субъективистовъ»,—это, дескать, люди страсти, по принципу извращающіе истину въ угоду своимъ симпатіямъ и антипатіямъ, а это не похвально. Конечно, не похвально. Но люди, выдающіе себѣ аттестатъ «объективизма», сплошь и рядомъ смотрятъ на этотъ документъ, какъ на индульгенцію, разрѣшающую имъ грѣшить противъ той самой истины, которой они столь благоговѣнно поклоняются. Г. Антоновичъ въ этомъ отношеніи очень типиченъ. Говоря о его книгѣ, я забылъ привести одинъ мелкій, но любопытный примѣръ его уваженія къ истинѣ. Приведу его теперь.

«Въ 1864 году явился, наконецъ, и русскій переводъ сочиненія Дарвина, сдѣланный московскимъ профессоромъ Рачинскимъ. Появленіе его было встрѣчено съ энтузіазмомъ: важнѣйшіе органы печати: «Современникъ», «Отечественныя Записки» и «Библіотека для Чтенія» помѣстили о немъ большія статьи, выставившія на видъ блестящія стороны и глубокое значеніе новой теоріи, имѣющей произвести радикальный переворотъ во всей біологіи». Такъ рассказываетъ г. Антоновичъ («Чарльзъ Дарвинъ и его теорія», 239) и затѣмъ отмѣчаетъ статьи «Русскаго Вѣстника». Достойно вниманія, что здѣсь пропущены статьи Писарева въ «Русскомъ Словѣ» («Прогрессъ въ мірѣ животныхъ и растений»), а между тѣмъ, по ясности и блеску изложенія, это было, разумѣется, самое замѣчательное изъ всего, что тогда появилось въ русской журналистикѣ о теоріи Дарвина. Но Писаревъ имѣлъ несчастье нанести г. Антоновичу нѣсколько весьма чувствительныхъ полемическихъ ударовъ, и хотя съ тѣхъ поръ прошло больше тридцати лѣтъ, г. Антоновичъ не можетъ простить покойнику и наказываетъ его умолчаніемъ объ его статьяхъ. Таковъ «объективизмъ»... Но это еще не очень важно, хотя, разумѣется, вовсе не похвально: во-первыхъ, это все-таки только умолчаніе, а во-вторыхъ, умолчаніе это цѣли своей не достигнетъ, ибо статьи Писарева вошли въ собраніе его сочиненій и, пожалуй, не нуждаются въ напоминаніи. Иное дѣло, когда г. Антоновичъ прямо таки извращаетъ дѣйствительное положеніе вопроса объ отношеніи теоріи Дарвина къ общественной жизни. Соблазнительная упрощенность освѣщенія, категорическій тонъ, которымъ онъ предъявляется, обманные гимны безпристрастной истинѣ, которыми оно сопровождается, — все это можетъ привести къ самымъ нежелательнымъ результатамъ. И прежде

всего это — высшее оскорбленіе той объективной истинѣ, которой поются столь краснорѣчивые гимны. Объективная истина состоитъ въ данномъ случаѣ въ томъ, что теорія Дарвина «встрѣчена съ распростертыми объятіями», по выраженію г. Антоновича, и примѣнялась и примѣняется къ общественной жизни представителями самыхъ разнообразныхъ оттѣнковъ мыслей и интересовъ. Въ числѣ ихъ есть много, даже очень много такихъ, которыхъ г. Антоновичу непріятно видѣть въ числѣ дарвинистовъ. Было бы совершенно естественно и законно выразить по этому случаю свое неудовольствіе, оправдать его критикою, то есть доказать, что тѣ или другіе «дарвинисты» неправильно таковыми себя почитаютъ, либо же въ самой теоріи Дарвина указать какой нибудь изъянъ. Но все это очень долго, очень не легко, и г. Антоновичъ предпочитаетъ даже не игнорировать непріятныя ему явленія, какъ онъ дѣлаетъ со статьями Писарева, а прямо и просто отрицать ихъ существованіе, при чемъ «заодно» прихватываетъ Маркса, не имѣя для этого никакого основанія.

Читатель видѣлъ, что въ вопросѣ о примѣненіи теоріи Дарвина къ общественной жизни европейская мысль далеко не одноцвѣтна и не можетъ быть подведена подъ рубрики «дарвинистовъ» и «недарвинистовъ» tout court; что она выдвигаетъ много разнообразныхъ, иногда, повидимому, совершенно неожиданныхъ рѣшеній. Чтобы разобраться во всемъ этомъ, читатель долженъ приложить трудъ собственной критической мысли, при чемъ я рекомендовалъ бы слѣдующія очень простыя правила: во-первыхъ, не слѣдуетъ соблазняться очень ужъ простыми освѣщеніями идей и фактовъ, ибо они крайне, исключительно рѣдко совпадаютъ съ объективною дѣйствительностью; во-вторыхъ, отнюдь не ожидать, чтобы какая бы то ни была доктрина, созданная какимъ бы то ни было великимъ умомъ и великимъ сердцемъ, была безъ лияна и порока и обязательна цѣлкомъ, во всѣхъ своихъ подробностяхъ, ибо это тоже большая рѣдкость въ исторіи: въ-третьихъ, наконецъ, помнить, что, какъ «не всякій, говорящій: Господи! Господи!—видитъ въ царствіе небесное», такъ и далеко не всякій, поющій хвалу объективной истинѣ, дѣйствительно дорожитъ ею.

Вернемся на минуту къ Кидду.

Объясненіе сравнительно спокойнаго внутренняго развитія Англіи ея протестантизмомъ, а судорожныхъ взрывовъ въ исторіи Франціи ея католицизмомъ,—до такой степени явственно невѣрно и произвольно, а вмѣстѣ съ тѣмъ до такой степени связано со всей исторической концепціей Кидда, что можетъ служить косвен-

нимъ, но нагляднымъ свидѣтельствомъ несостоятельности этой концепціи. Ясно, что въ различіи историческихъ судебъ Англіи и Франціи играли огромную роль и географическія условія, и расовыя, и экономическія. Затѣмъ, представляетъ ли въ дѣйствительности внутренняя, колоніальная и вишіяя политика Англіи столь розовую картину, какую рисуетъ Киддъ? Одно несомненно: Англія у себя дома есть дѣйствительно страна свободы и далеко опередила всѣ страны стараго свѣта на томъ пути вызова всѣхъ силъ и способностей на арену конкуренціи, который Киддъ считаетъ единственно прогрессивнымъ. Но можно очень сомнѣваться, чтобы этотъ ходъ развитія Англіи находился въ исключительной зависимости отъ «фонда альтруистическихъ чувствъ», заложеннаго протестантизмомъ или чѣмъ бы то ни было другимъ. Кидд доходитъ даже до наивности, когда говоритъ, что, не будь этого «фонда», мы видѣли бы людей, прожигающихъ жизнь безъ мысли о какихъ-нибудь обязанностяхъ передъ обществомъ. Какъ будто такихъ прожигателей жизни и въ самомъ дѣлѣ нѣтъ въ Англіи, какъ, впрочемъ, и во всѣхъ другихъ странахъ! Что касается «благородныхъ характеровъ», выдвигаемыхъ высшими классами, то таковыя несомнѣнно существуютъ. Судя, однако, хотя-бы только по однимъ ирландскимъ отношеніямъ, можно съ увѣренностью сказать, что правящіе классы Англіи очень цѣтко держатся за свои преимущества и уступаютъ лишь передъ крайнею необходимостью. Если мы видимъ за послѣднія десятилѣтія постепенное, но сравнительно быстрое расширеніе политическихъ правъ низшихъ классовъ или, въ области экономическихъ отношеній, упроченіе и развитіе такого учрежденія, какъ фабричный инспекторатъ,—то это результаты не столько гуманныхъ чувствъ высшихъ классовъ Англіи, сколько роста самосознанія ея низшихъ классовъ. Это, конечно, акты справедливости, но болѣе той, которая питается благоразуміемъ, чѣмъ той, которая коренится въ гуманныхъ чувствахъ. Было-бы, однако, большою ошибкою совершенно отрицать наличность послѣднихъ. Но ихъ слѣдуетъ искать не въ общемъ механизмѣ, а въ отдѣльныхъ благородныхъ личностяхъ, иногда имѣющихъ возможность до извѣстной степени вліять и на общій механизмъ, а иногда довольствующихся частною культурною просвѣтительною и филантропическою дѣятельностью: разумѣя филантропію, конечно, не въ опошленномъ смыслѣ подачекъ и танцевъ въ пользу бѣдныхъ. Въ книгѣ гг. Янжула «Въ поискахъ лучшаго будущаго» и Гольденвейзера «Соціальныя теченія и реформы XIX столѣтія въ Англіи» читатели найдутъ образчики такихъ великодушныхъ и подчасъ грандіозныхъ предпріятій, изъ которыхъ нѣкоторые пользуются, впрочемъ, всемірною извѣстностью, какъ, напримѣръ, лондонскій

«Народный дворецъ» или «Университетское поселеніе» (Toynbee-Hall). Оба автора преувеличаютъ значеніе этихъ предпріятій, и если, напримѣръ, г. Инжуль видитъ въ «сосѣдскихъ гильдіяхъ» — «новый путь къ социальной реформѣ», то это, по малой мѣрѣ, неудачное выраженіе. Какъ-бы ни были благородны и возвышенны мысли инициаторовъ этого рода учреждений, какъ-бы ни были пылки ихъ мечты, здѣсь не можетъ быть рѣчи о социальной реформѣ, а только лишь объ оздоровляющемъ и облагораживающемъ подготовленіи людей.

Въ апрѣльской книжкѣ «Русскаго Богатства» было помѣщено воззваніе «Комитета Невскаго общества устройства народныхъ развлеченій».

Намъ доставлены, кромѣ того, брошюра Е. П. Карпова «Десятилѣтіе народныхъ гуляній за Невскою заставою», отчетъ комитета «Невскаго общества» за 1894—95 г. и въ высшей степени интересная коллекція отзывовъ самихъ посѣтителей гуляній и спектаклей, устраиваемыхъ Невскимъ обществомъ. Народныя гулянья Невскаго общества, это—нашъ «Народный дворецъ», конечно, очень въ миниатюрѣ. На «Народный дворецъ» въ первые-же два года было собрано пожертвованій около милліона рублей на наши деньги: за шесть первыхъ лѣтъ существованія кружка, положившаго основаніе Невскому обществу, въ кассу его поступило пожертвованій 3,375 руб.—Народный дворецъ имѣетъ концертный залъ, вмѣщающій 2,500 человекъ, бібліотеку, рассчитанную на 250,000 томовъ, техническое училище и т. д., и т. д.; деревянный театръ Невскаго общества вмѣщаетъ 250 человекъ и, какъ видно изъ воззванія комитета, общество *мечтаетъ*, послѣ десятилѣтняго существованія, о «постройкѣ большого каменнаго зданія для народныхъ развлеченій, которое вмѣстало-бы зрительный залъ на 1,600 человекъ, залъ танцевальный, гимнастическій, бібліотеку, читальню, чайную, быть можетъ музей».—Число посѣтителей разныхъ учреждений Народнаго дворца въ первый-же отчетный годъ достигло полутора милліона, кромѣ почетныхъ членовъ и учащихся; въ учрежденіяхъ Невскаго общества за десять лѣтъ перебывало взрослыхъ посѣтителей 767,944 и дѣтей 84,402, всего 852,346 человекъ.

Разумѣется, это говорится не въ укоръ Невскому обществу, безкорыстная дѣятельность котораго заслуживаетъ самой горячей хвалы. При томъ-же Петербургъ—не Лондонъ—во всѣхъ отношеніяхъ и по численности рабочаго населенія въ частности. Надо, однако, замѣтить, что районъ Шлиссельбургскаго участка, на который разсчитаны дѣйствія Невскаго общества, вмѣщаетъ 60,000 жителей. Это стоитъ хорошаго губернскаго города, при чемъ характеръ на-

селенія, почти исключительно фабричнаго, налагаетъ на всю эту мѣстность своеобразный отпечатокъ, характеризующій въ воззваніи комитета Невскаго общества такъ: «Въ рабочіе дни и часы тихія, пустынные улицы кажутся безлюдными, но за то по вечерамъ послѣ «шабаша» и особенно по праздникамъ, картина совершенно мѣняется: весь рабочій людъ высыпаетъ на улицы и закружаетъ ихъ до такой степени, что мѣстами едва возможно пройти по панели или проѣхать по улицѣ. Кабаки и другія питейныя заведенія набиты биткомъ. Свои свободные часы здѣшній рабочій рѣдко проводитъ дома, что вполнѣ понятно: квартиры рабочихъ, большею частью, грязны, зловонны и страшно переполнены. Въ лучшемъ случаѣ рабочій толкается безцѣльно по улицѣ, а не то идетъ въ питейное заведеніе, гдѣ и спускаетъ свои послѣдніе гроши; а заведенія эти въ изобиліи и близко, подъ рукой: въ рѣдкомъ домѣ нѣтъ хоть одного, а въ нѣкоторыхъ по два и по три. Знатки мѣстныхъ нравовъ утверждаютъ, что рабочіе оставляютъ здѣсь не менѣ половины заработка».

Этому-то горю и взялось помочь Невское общество устройства народныхъ развлеченій. Рекомендую вниманію читателей отчеты общества и брошюру г. Карпова, изъ которыхъ они увидятъ весь ходъ дѣла. Не буду распространяться и въ теоретическихъ соображеніяхъ о необходимости облагороженія краткихъ досуговъ рабочаго человѣка. Пусть говорятъ сами посѣтителі учреждений Невскаго общества,—это будетъ лучшая характеристика и самыхъ развлеченій, устраиваемыхъ Невскимъ обществомъ, и всей его дѣятельности, и отношенія къ нимъ публики. Матеріаломъ намъ послужитъ вышеупомянутая коллекція отзывовъ посѣтителей, представляющихъ отвѣты на вопросы, предложенные комитетомъ Невскаго общества.

Вопросы задавались слѣдующіе: 1. Удовлетворяютъ-ли посѣтителі вполнѣ развлеченія, устраиваемыя Невскимъ обществомъ, и если не удовлетворяютъ, то почему?—2. Каково значеніе этихъ развлеченій для посѣтителей въ нравственномъ и матеріальномъ отношеніяхъ?—3. Всѣ-ли театральныя пьесы на открытой и закрытой сценахъ были понятны и какія были особенно интересны?—4. Удовлетворительны-ли продаваемые посѣтелямъ гуляній и спектаклей съѣстные припасы по ихъ качеству и цѣнѣ?—5. Удовлетворительны-ли дѣйствія распорядителей на гуляньяхъ и спектакляхъ, и не представляетъ-ли какихъ-либо неудобствъ для посѣтителей порядокъ, установленный членами-распорядителями и чинами полиціи?—6. Не имѣется-ли замѣчаній по какому-либо другимъ вопросамъ?

Минуя отвѣты безцвѣтные, выражающіе простое, не мотивированное удовольствіе и благодарность, или содержащіе мало инте-

ресныя, такъ-сказать, техническія указанія на тѣ или другія частныя неудобства, останавлиюсь лишь на немногихъ, при чемъ ихъ, конечно, не буду приводить всѣ цѣликомъ (Ороографію и пунктуацию исправляю, но слога не касаюсь).

Одинъ изъ посѣтителей, мѣщанинъ, рабочій Обуховскаго сталелитейнаго завода, пишетъ: «Развлеченія, доставляемыя Невскимъ обществомъ, удовлетворяютъ въ общемъ; но въ частности желательно было-бы измѣнить нѣсколько порядокъ развлеченій, какъ, напримѣръ, заведенные съ начала гуляній танцы для однихъ доставляютъ удовольствіе, но такихъ меньшинство, между тѣмъ какъ другіе принуждены услаждать свой слухъ крайне избитыми мотивами полекъ и кадрилией; а потому не дурно было-бы, чтобы танцевальныя увеселенія чередовались съ музыкальными. Значеніе увеселеній въ нравственномъ отношеніи неоспоримо, и такія развлеченія необходимы, такъ-какъ они носятъ семейный характеръ и способствуютъ поднятію нравственности въ такой средѣ, какъ среди рабочихъ, т. е. сокращаютъ пьянство, давая провести время и вынести благопріятное впечатлѣніе изъ всего видѣннаго на подобныхъ увеселеніяхъ. Что-же касается того, что они доступны для всѣхъ, то это видно изъ того приблизительнаго разсчета, который можетъ служить доказательствомъ. Въ то время, когда не существовало гуляній, всѣ заведенія были переполнены рабочимъ людомъ, гдѣ они коротали свой досугъ, а подобное коротаніе обходится приблизительно болѣе 50 к. на человѣка, и кромѣ того получаютъ болѣзненные послѣдствія. На увеселенія-же подобнаго рода расходуется много менѣе, да и остается хорошее воспоминаніе, которымъ и дѣлятся между собою вплоть до новаго гулянья бывшіе на предъидущемъ. Что-же касается до того, понятны-ли пьесы, ставимыя Невскимъ обществомъ, или нѣтъ, то можно отвѣтить, что большинство пьесъ принадлежитъ Островскому. А такія пьесы объясненій не требуютъ. Мотивы ихъ взяты изъ той-же почти среды, какъ и среда рабочихъ, и языкъ ихъ это родной языкъ каждаго русскаго человѣка; но тоже желательно было-бы ставить на открытой сценѣ болѣе легкаго содержанія пьесы, чтобы лѣтнее время отвѣчало своему назначенію, т. е. служило-бы отдыхомъ. И въ самомъ дѣлѣ, смотрѣть въ какой-нибудь чудный лѣтній вечеръ, когда человѣкъ такъ радостно настроенъ, такія пьесы, какъ «Гроза», очень тяжело, и вообще надо стараться избавиться отъ такого репертуара, который оставляетъ гнетущее впечатлѣніе.

Денежная и доброкачественность продаваемыхъ съѣстныхъ припасовъ и напитковъ заслуживаетъ благодарности отъ посѣтителей. Распоряженія завѣдующихъ Невскимъ обществомъ не могутъ встрѣтить ни малѣйшаго упрека и порядокъ увеселеній образцовый.

Желательно было-бы, чтобы Невское общество процвѣтало и проектъ объ устройствѣ зимняго театра осуществился».

Этотъ вполне грамотный отзывъ есть, такъ сказать, средній. Въ другихъ встрѣчаются и болѣе яркія замѣчанія, и болѣе экспансивныя похвалы. Въ общемъ всѣ довольны, и самый желчный изъ доставившихъ отвѣты, крестьянинъ, рабочій на чугунномъ заводѣ, отвѣчаетъ на предложенные вопросы по пунктамъ такъ: 1) Удовлетворяють. 2) Значеніе развлеченій: въ нравственномъ отношеніи хороши, но въ матеріальномъ не очень. Можетъ быть, вамъ кажется и дешево, но и мы не дороги. 3) Пьесы, ставленныя на сцену, всѣ были понятны, а особенно «Ревизоръ», «Горе отъ ума», «Гроза» и пр. Но первая была ставлена, чтобы рабочіе не попадали, въ матеріальномъ отношеніи. 4) Съѣстные припасы можетъ быть и удовлетворительны, но я ихъ не ѣдалъ, а по чужому вкусу судить плохо...»

Выборомъ театральныхъ пьесъ вообще всѣ довольны, при чемъ кромѣ Гоголя, Грибоѣдова, Островскаго, любопытно отмѣтить нѣрѣдко встрѣчающіяся и похвалы «Тартюфу» Мольера. Однако повторяются и желанія видѣть, по крайней мѣрѣ, на открытой сценѣ пьесы болѣе легкаго, веселаго содержанія,—дескать, горя и мрака и безъ того много. Не всѣ также считаютъ предложенныя имъ театральныя зрѣлища достаточно понятными. Крестьянинъ, рабочій фабрики Торнтонъ, между прочимъ, пишетъ: «Представленія, играющіяся на сценахъ, очень немногими понимаются. А потому недурно бы было передъ представленіемъ разсказать, что въ этой игрѣ надо понимать, какія послѣдствія изъ этого выходятъ и какіе дурные люди, портящіе другихъ людей, почему либо имъ подвластныхъ. Но главное, даже непременно нужное, передъ представленіемъ указать, въ какой средѣ выводимые люди выросли или воспитывались. каковы ихъ старшіе были и до чего довели, сами не сознавая своихъ дурныхъ поступковъ, что они губительно вліяютъ на людей, зависящихъ отъ нихъ». Оканчиваетъ этотъ авторъ свой отзывъ такими восторженными словами: «Прощай же народное гулянье безъ крѣпкихъ напитковъ, а вамъ, труженики члены гуляній и желатели добра темнымъ людямъ, большое и очень большое спасибо, тысячу разъ спасибо!!!» Другой («мастеровой») пишетъ: «О понятіи и интересующихъ пьесъ я ничего не скажу, а думаю, если общество будетъ выставлать письменное поясненіе, какъ понимать пьесы, въ рамкѣ подъ стекломъ, такъ навѣрное никто не откажется прочитать, если кто не понимаетъ пьесы, и будетъ благодаренъ».

На многихъ театрѣ, очевидно, производитъ сильное и серьезное впечатлѣніе. Главные мотивы всѣхъ сколько-нибудь интересныхъ

авторовъ, это, во-первыхъ, доходящая до наивности радость уголку, гдѣ можно провести пріятно время безъ пьянства, и, во-вторыхъ, восторгъ передъ театромъ.

«Самъ Господь научилъ Невское общество устроить народныя развлечения, за которыя много бѣдныхъ людей отдають великую благодарность обществу. У меня духу не хватаетъ выложить на бумагу правдивность (sic), но я скажу: когда я смотрю на открытую сцену, то душа моя никогда, кромѣ этого, такъ радостна не бываетъ. Понятны-ли, непонятны-ли пьесы, этого я не скажу, но не было такой игры, которая мнѣ не понравилась» (Крестыянинъ, рабочій Обуховскаго сталелитейнаго завода).

«Значеніе этихъ развлеченій: могутъ принести пользу для человѣка, такъ какъ въ комедіяхъ и драмахъ выступаютъ люди двухъ разрядовъ. Къ 1-му разряду принадлежать люди грубые, необразованные, къ нимъ присовокупляется невѣжество, хитрость, пронырливость, клевета, пьянство, развратъ, обжорство, эксплуатация («експлуатровка») и даже самое гнусное предательство на невинныхъ людей. Ко 2-му разряду принадлежать люди образованные, милостивые, благотѣльные, стараются подѣлиться своимъ знаніемъ и средствами, если таковыя имѣютъ, и даже не дорожатъ собою для того только, чтобы послужило на пользу человѣчеству» (Запасный унтеръ-офицеръ, ткачъ на Петровской фабрикѣ).

Приведу еще цѣликомъ отвѣтъ женщины, работницы на фабрикѣ Паля: «Лѣтнія гулянья мнѣ не очень нравятся, потому что музыка плоховата, а сцена такъ загромождена со всѣхъ сторонъ, что если не взять билета на верхъ, то ничего не увидишь и не услышишь. А въдъ не много такихъ счастливцевъ, которые успѣютъ захватить эти билеты. А вотъ зимній закрытый театръ мнѣ очень нравится. Жаль только, что всѣ тѣ билеты, которые присылаются на нашу фабрику для рабочихъ, попадаютъ въ руки конторщикамъ и писарямъ, а они оставляютъ эти билеты для себя, и часто я замѣчала, что большинство изъ нихъ почему либо не придутъ въ театръ, и мѣста пропадаютъ. Зимній театръ вполне удовлетворителенъ для народа. Рабочій въ немъ на время забываетъ свое положеніе: онъ весь поглощенъ тѣмъ, что видитъ и слышитъ въ театрѣ. Театръ—это отдыхъ для народа, но не такой отдыхъ, какой бы мы видѣли дома. Придешь въ театръ и внимательно смотришь и слушаешь, что происходитъ на сценѣ. Такъ слушаешь, что не видишь ничего вокругъ себя, кромѣ сцены. Вся уйдешь въ то, что видишь и слышишь, и себя какъ будто чувствуешь дѣйствующимъ лицомъ. Придя домой, долго еще не можешь заснуть, а въ воображеніи все еще носится та пьеса, которую только что видѣла. На работу встаешь со свѣжей головой и весело принимаешься за работу, чувствуя себя

довольной за проведенный праздничный вечеръ. Кто нибудь изъ знакомыхъ подойдетъ и спросить: ну, что видѣла въ театрѣ? «Очень хорошо», отвѣчая я и начинаю рассказывать, что видѣла и слышала въ прошедшій день. Я рассказываю весело, съ оживленіемъ, и мои слушатели тоже оживляются, а по окончаніи моего рассказа они одобряютъ или жалѣютъ тѣхъ личностей, смотря по обстоятельствамъ, про которыхъ я только что рассказала. А то сама пойдеши къ тѣмъ, которые были въ театрѣ, и тутъ начинаемъ высказывать другъ другу свое мнѣніе, кому что болѣе понравилось изъ всего видѣннаго и слышаннаго въ прошедшій день. Театръ знакомитъ насъ съ другимъ, высшимъ классомъ людей. И мы видимъ ихъ жизнь, ихъ взгляды на жизнь и отношеніе къ низшимъ классамъ. И невольно подумаешь: будутъ ли когда-нибудь всѣ люди такими, какъ, напримѣръ, въ пьесѣ «Доходное мѣсто» тотъ молодой человекъ, который хотѣлъ жить своимъ трудомъ, а не взятками. Или будутъ ли когда-нибудь всѣ такими умными и честными, какъ Чацкій, чтобы некому было смѣяться надъ умниками. На сценѣ мы, какъ въ зеркалѣ, видимъ недостатки людей. Театръ исправляетъ людей отъ ихъ недостатковъ. Человѣкъ самъ не можетъ замѣтить въ себѣ недостатка, а въ театрѣ, внимательно слѣдя за той пьесой, которую играютъ, видишь хорошія и дурныя стороны дѣйствующихъ лицъ и послѣ все это примѣняешь къ себѣ, и если видишь за собою какой-нибудь недостатокъ, то стараешься исправиться, потому что видишь, какъ глупъ и смѣшонъ твой недостатокъ. Признаюсь чистосердечно, театръ и меня исправилъ отъ одного недостатка. Я часто вмѣстѣ съ подругами осуждала ту изъ нихъ, которой съ нами не было, смѣялась надъ ней, выдвигала передъ подругами ея недостатки, а своего въ то же время не замѣчала. А теперь, благодаря театру, я поняла, какъ стыдно и глупо смѣяться надъ подругами. Всѣ театральныя пьесы были понятны, а самыя интересныя изъ нихъ были: «Горе отъ ума», «Доходное мѣсто» и «Тартюфъ». Всѣ мои знакомые расхваливали «Недоросля», но я эту пьесу сама не видала и не могу высказать о ней мое мнѣніе».

«Доходное мѣсто» вообще, повидимому, производило сильное впечатлѣніе. Одинъ весьма плохо грамотный рабочій Спасской бумагопрядильной и ткацкой фабрики, стараясь выразить свои мысли о значеніи театра, пишетъ: «Театральныя представленія знакомятъ съ жизнью и нравами людей, которымъ намъ приходится служить, исправить себя, угождать по вкусу имъ; выводить образъ жизни праведной и неправедной, какою жизнью легче, какою труднѣе жить; каковъ этотъ трудъ ведшаго праведную жизнь съ горячимъ чувствомъ (изъ комедіи «Доходное мѣсто» роль Жадова), кто

больше сдѣлаетъ пользы другимъ, — принявшій стремленіе къ праведности, кто принималъ постепенно или въ короткое время».

Крестьянинъ, мастеровой, пишетъ о театрѣ: «Тамъ можно видѣть, что требуется въ жизни и что можетъ разбить жизнь, что дѣлаетъ скупость, гордость, обманъ: все это видѣвши, оно завсегда живо представляется, и ты хотѣлъ бы кого-нибудь обмануть, но какъ вспомнишь представленіе, гдѣ обманъ ведетъ къ худшему, и оставишь этотъ нехорошій порокъ». Этотъ корреспондентъ дѣлаетъ нѣсколько критическихъ заключеній, но оканчиваетъ свой отзывъ такъ: «все мои замѣчанія пустяки, въ общемъ все очень хорошо».

Нѣкоторые отвѣты содержатъ въ себѣ оригинальныя сравненія. Такъ, одинъ рабочій съ фабрики Торнтона, говоря объ учрежденіяхъ Невскаго общества вообще, сравниваетъ ихъ съ «ручьемъ со свѣжей водой, выпадающимъ въ гнилое болото. А въ это гнилое болото покойной водой рыбу занесло. Рыба отъ гнили болотной задыхается, но въ свѣжемъ ручьѣ освѣжается».

Бывшій рабочій, а теперь помощникъ мастера, на Невскомъ механическомъ заводѣ, человѣкъ, очевидно, просвѣщенный, пишетъ: «Въ вашемъ саду я не встрѣтилъ спаванья и не встрѣтилъ пьяныхъ; не встрѣтилъ группъ мужчинъ, плотоядно оглядывающихъ проходящихъ мимо женщинъ; не встрѣтилъ въ саду и буфетѣ стремленія обогатиться; не встрѣтилъ грязныхъ сценъ по выходѣ изъ сада. Но за то впервые встрѣтилъ что-то, отъ чего сердце радостно забилось и жизнь показалась веселѣе». Затѣмъ авторъ предлагаетъ такой проектъ: «Слѣдуетъ въ саду устроить галерею портретовъ друзей человѣчества всего свѣта. Подъ портретами краткія біографіи, годъ рожденія и смерти и въ чемъ состояло совершенное на пользу общую. При галереѣ слѣдуетъ устроить павильонъ для чтенія лучшихъ газетъ и журналовъ, а также завести торговлю книгами, въ особенности дешевыми изданіями. На стѣнахъ, въ пустыхъ пространствахъ между портретами, повѣсить списки лучшихъ популярныхъ книгъ для самообразованія по всевозможнымъ отраслямъ знанія, съ указаніемъ цѣны и что эти книги продаются тутъ же въ павильонѣ. Списки постараются размѣстить такъ, чтобы механика была между портретами Стифенсона и Фультона, астрономія между Коперникомъ и Галилеемъ, географія около Реклю и т. д. Среди народа есть не мало интересующихся всевозможными вопросами: одного интересуютъ ремесло, другого небо, третьяго литература и т. д. Общество, открывъ вышеупомянутую галерею, первое пришло бы народу на помощь и дало бы отвѣтъ каждому на интересующій его вопросъ. Народъ любопытенъ, и этимъ надо воспользоваться для его же собственной пользы».

Въ заключеніе приведу еще цѣликомъ оригинальные отвѣты по пунктамъ крестьянина, столяра въ вагонныхъ мастерскихъ: «I. Развлеченія, устраиваемыя Невскимъ обществомъ, въ общемъ исполнѣ удовлетворительны. — II. Въ нравственномъ и матеріальномъ отношеніи садъ большую пользу приноситъ, а именно: глазъ не видитъ, такъ и зубъ не горитъ. Когда человѣкъ въ саду, онъ связанъ приличіемъ, а развлекаясь играми, онъ забываетъ на время свои дурныя наклонности. Но если ему какая-нибудь игра понравится, то онъ весь отдается ей, старается подражать деликатности, старается толковать о томъ, чего не понимаетъ, но польза въ томъ, что грубыхъ ругательствъ меньше выпускаетъ. А это спасаетъ и матеріальное состояніе его: виѣ сада онъ не знаетъ лучшаго развлечения, какъ кабакъ и волокитство. — III. Пьесы многія были неудовлетворительны и даже наводили тоску и какое-то досадное размышленіе. Прошедшимъ лѣтомъ пьесы игрались, кажется, нѣсколько разъ изъ фабричнаго быта, иногда и изъ крестьянскаго, но эти пьесы такъ утомительны, что, кажется, самъ режиссеръ можетъ видѣть по волненію публики — нравится-ли ей или нѣтъ. На сцену выводился фабричный безнравственный разгулъ, правда, очень оригинально, но какъ хочется фабричному смотрѣть на эту прозаическую игру на сценѣ, когда она ему противна въ дѣйствительной жизни? Какъ винить человѣка, чуть не помѣшаннаго продолжительной работой? Посмотрите, какъ они выходятъ вечеромъ изъ фабрики. — какъ очумѣвшіе, выпущенные на свѣтъ Божій. Въ такой жизни человѣку даже нѣтъ времени обдумать о сохраненіи своей нравственности. Не нашлось, кажется, до сихъ поръ автора драматурга-благодѣтеля, кромѣ поэта Некрасова, писать пьесу не на площади фабричной, а заглянуть за непроницаемыя стѣны фабрики: не кроются-ли тамъ главные виновники женской безнравственности? Человѣкъ пришелъ въ садъ, чтобы разсѣять свою скуку, отогнать всedневныя нерадостныя мысли, пускай и тѣло отдохнетъ, а тутъ душу его терзаютъ. Мнѣ скажутъ: не нравится видѣть образъ свой въ зеркалѣ. Напротивъ, тутъ не всѣ такія, какъ Стешка (?), но за людей обидно. Хотя это и народная сцена, но прошу васъ дайте намъ то, что намъ въ зубахъ не навязло, чего мы въ жизни не знаемъ. — IV. Напитки и съѣстные припасы порядочны по цѣнѣ и качеству, но чай съ лимономъ подаютъ удивительно добросовѣстно: очень жаль, что не пишущую бумагу вмѣсто лимона кладутъ, а лимонную оболочку съ прозрачной серединой. — V. Прекрасно. — VI. Зачѣмъ дѣти допускаются иногда къ большой сценѣ? и почему взрослые нарушители у сцены въ нетрезвомъ видѣ, при заявленіи городовому, не удаляются, по крайней мѣрѣ, отъ сцены? — Отвѣты я написалъ съ общей точки зрѣнія, но вмѣ-

сто отзыва ошину свои личныя чувства, другимъ, быть можетъ, и не свойственныя:

НЕВСКІЙ САДЪ.

Куда душѣ моей, какъ странникѣ усталой,
 Уйти отъ жизни будничныхъ невзгодъ?
 И гдѣ блеснетъ ей яркой некрой малой
 Отрадный свѣтъ? И гдѣ мой умъ найдетъ
 (Отъ юныхъ лѣтъ, какъ узникъ, скованный цѣпями
 Труда, терѣбизъ, мелочныхъ тревогъ)
 Убѣжище, гдѣ-бъ онъ постигнуть могъ
 Прекрасный міръ, увидишия красотами?
 И это ты, садъ мой, зачѣтный уголокъ!
 Когда бывалъ я жизнью стѣсненный,
 Просилъ людей о помощи,—вокругъ
 Молчали все, и мой печальный звукъ
 Мнѣ сердце жегъ сильнѣй, чѣмъ уголь раскаленный.
 И я, убитый, слабый, утомленный,
 Сидѣлъ скорѣй, скорѣй подъ тѣнь твою,
 И ты прохладой радовала мою
 Измученную грудь. Тутъ нѣгой идеальной
 И сладострастьемъ дышетъ каждый кустъ.
 И здѣсь, въ тѣни, съ души моей печальной,
 Внимая жадно трели музыкальной,
 Снадасть желчь и свѣтъ не кажется мнѣ пустъ.
 О, часъ отрадный, часъ благословенный,
 Я жилъ тобой! Природой упоенный,
 Мой взоръ ласкала съ слезою умленной
 Густыхъ навѣшихъ листьевъ бархатный карнизъ...
 Красуясь ввѣкъ, мой Невскій оазисъ!
 Тамъ, за оградой твоей досчатой,
 Развратъ и съ пьянствомъ подъ руку идетъ.
 Чья честная душа предъ нравственною тратой
 Горючихъ слезъ за ближнихъ не прольетъ?
 И въ этотъ часъ простить я радъ злодѣю,
 Сказать ему: простя, мой добрый братъ...
 И вотъ, за что хвалю я, такъ благоговѣю
 Передъ тобой, чудесный Невскій садъ!

Дѣйствительные и возможные результаты дѣятельности «Невскаго Общества устройства народныхъ развлеченій» ясно рисуются приведенными отзывами. Конечно, не все посѣтителы учреждений Невскаго общества выносятъ то настроеніе, которое характеризуется этими отзывами. Но многіе-ли изъ насъ, «вверху стоящихъ, что городъ на горѣ, дабы всеѣмъ видѣнъ былъ», относятся къ своимъ развлеченіямъ съ такою серьезною вдумчивостью, съ такою трогательною жаждою уловить въ развлеченіи нравственный урокъ? А эта навѣная радость избавленія отъ необходимости пьянствен-

наго времяпровожденія? Именно необходимость. Въ отзывахъ посѣтителей учреждений Невскаго общества часто встрѣчаются драгоцѣнныя по своей искренности описанія того, какъ естественно рабочему человѣку коротать свои досуги въ кабакѣ или трактирѣ, даже при полномъ сознаніи пагубности этого времяпровожденія. Нельзя поэтому не порадоваться, что нашлись, наконецъ, достаточно энергичные люди, которые взялись «содѣйствовать доставленію мѣстному рабочему населенію нравственныхъ, трезвыхъ, дешевыхъ развлеченій». Не грѣхъ, конечно, позаботиться о народныхъ развлеченіяхъ просто по человѣчеству, по доброму участію къ людямъ, лишеннымъ возможности повеселиться сообразно съ человѣческимъ достоинствомъ. Но по свойствамъ среды, которая имѣется въ этомъ случаѣ въ виду, свойствамъ, явственно обнаруживающимся въ вышеприведенныхъ отзывахъ, развлечения, предлагаемыя Невскимъ обществомъ, не разрѣшаются въ самихъ себѣ, какъ это сплошь и рядомъ случается въ нашемъ быту, а получаютъ характеръ просвѣтительный въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова. И если у нашего общества не хватитъ добрыхъ чувствъ для поддержанія предпріятія, долженствующаго дать нѣсколько радостныхъ часовъ тысячамъ «труждающихся и обремененныхъ», и—я не говорю: спасти цѣлыя поколѣнія отъ наслѣдственного алкоголизма и связанныхъ съ нимъ ужасовъ,—но хоть отчасти поспособствовать этому спасенію; если не хватитъ на это добрыхъ чувствъ, — такъ вѣдь это есть вмѣстѣ съ тѣмъ вопросъ благоразумія.

Въ концѣ десятилѣтіяго существованія народныхъ гуляній за Невскою заставой, Невское общество имѣетъ въ своемъ распоряженіи театральный (онъ же и концертный) залъ на 250 зрителей. На лѣтнихъ гуляньяхъ въ 1894—95 гг. бывало среднимъ числомъ по 3,365 посѣтителей. Гимнастикой на этихъ гуляньяхъ занимались въ среднемъ по 64 съ дробью человѣка. Въ читальнѣ въ томъ же году было всего 48 посѣтителей и посѣтили они ее 182 раза; на домъ брали книги 759 человѣкъ. Книгъ въ томъ же 1894—95 гг. куплено для читальни на 262 р. 28 к., да пожертвовано на 486 р. 52 к. Пѣвческій хоръ Общества состоялъ изъ 59 лицъ. Все это—очень скудныя цифры, особенно если принять въ соображеніе, что районъ, на который разсчитана дѣятельность Невскаго общества, населенъ 60,000 жителей. Нѣтъ поэтому ничего удивительнаго въ томъ, что, не смотря на отдѣльные, хотя бы и многочисленные случаи благотворнаго вліянія предпріятій Невскаго общества, въ общемъ оно оказывается все-таки слабо. Слишкомъ скудны средства Невскаго общества и поддержать его есть, повторяю, дѣло не только гуманыхъ чувствъ, а и простого благоразумія. По свидѣтельству какъ комитета Невскаго общества, такъ и посѣтителей его учреж-

дений, досуги населенія Шлиссельбургскаго участка значительно измѣнились къ лучшему. Но не говоря уже о томъ, что, конечно, и въ этомъ отношеніи остается многого желать, въ экстренныхъ случаяхъ, какъ было въ торжественные дни коронаціи, движущаяся по Невскому проспекту сплошная толпа, повидимому, въ значительной степени состоявшая изъ фабричныхъ обитателей Шлиссельбургскаго участка, безъ сомнѣнія, многихъ заставила своимъ поведеніемъ призадуматься.

Впрочемъ, наши петербургскія непріятности совершенно меркнуть въ сравненіи съ катастрофой на Ходынскомъ полѣ, такимъ ужасающимъ контрастомъ врѣзавшейся въ торжественное веселье и блескъ коронаціонныхъ дней...

И неужели же мы не извлечемъ никакого урока изъ этого событія? Говорятъ о неудобствахъ скопленія толпы въ нѣсколько сотъ тысячъ человѣкъ въ одномъ мѣстѣ, о неправильномъ расположеніи бudoкъ, изъ которыхъ раздавалось угощеніе, о небрежности при недостаткѣ распорядительности, вслѣдствіе чего оказались заваленные трупами ямы, рвы и колодцы. Все это, повидимому, вѣрно, но удрученная ужаснымъ событіемъ мысль невольно поднимается къ общему вопросу о нашемъ отношеніи къ народу вообще, къ его духовной жизни въ частности. Конечно, это дѣло общихъ государственныхъ мѣропріятій, но и мы, private люди, можемъ свою хоть малую лепту внести, хотя бы въ видѣ учреждений, подобныхъ начинаніямъ Невскаго общества устройства народныхъ развлеченій.

XVII *).

Во исполненіе требованія г. Медвѣдскаго я отвѣчаю на всѣ его вопросы по пунктамъ.

Маленькій отдыхъ, который я позволю себѣ лѣтомъ, помѣшатъ мнѣ своевременно познакомиться съ «Отвѣтомъ «Русскому Богатству» г. Медвѣдскаго, напечатаннымъ въ іюльской книжкѣ «Русскаго Вѣстника». А познакомившись съ нимъ, я довольно долго колебался: какъ поступить. Съ одной стороны, много было резоновъ въ пользу того, чтобы пройти мимо, ибо, во-первыхъ, есть мѣста, на которыхъ долго останавливаться просто противно, а во-вторыхъ, г. Медвѣдскій горитъ желаніемъ въ своемъ родѣ прославиться, ну, и пусть его собственными средствами въ своемъ родѣ прославляется; зачѣмъ же я ему буду помогать въ этомъ дѣлѣ, обращая на него вниманіе? Такъ и рѣшилъ было: пусть онъ горитъ и тухнетъ, какъ уже многіе и раньше его подобнымъ же пламенемъ горѣли, трещали, чадили и тухли, а я дровъ подкладывать не буду. И хотя г. Медвѣдскій съ чрезвычайною настойчивостью, какъ власть имѣющій, требуетъ отъ меня отвѣтовъ на нѣкоторые интересующіе его вопросы, но не одинъ я думаю, что поза вопросительнаго знака къ нему очень идетъ, и можно бы и не выводить его изъ этого положенія.

Въ «Новомъ Времени» въ № отъ 2 августа напечатана замѣтка г. Буренина подъ шутивымъ заглавіемъ «Анкротоморскія битвы», посвященная г. Медвѣдскому и его полемическимъ упражненіямъ. Приведа заключительныя строки «Отвѣта «Русскому Богатству», г. Буренинъ пишетъ: «Такъ заканчиваетъ г. Медвѣдскій свое обращеніе къ г. Михайловскому, воображая, вѣроятно, что онъ закончилъ необыкновенно горячо, сильно и убилъ своего противника на-поваль, обозвавъ его «во всеуслышаніе» надпольнымъ анархистомъ. А между тѣмъ, если онъ кого-либо убилъ, то развѣ

*) Сентябрь, 1896.

только самого себя... Г. Михайловскій сдѣлалъ нѣкоторымъ образомъ честь «молодому перу» г. Медвѣдскаго, обратилъ вниманіе на его заблужденіе, старался выяснитъ г. Медвѣдскому, очевидно не совсемъ ясныя для этого развязнаго «новаго человѣка», какъ онъ самъ себя называетъ, правила добраго журнальнаго поведения. Ну, а вотъ теперь, послѣ того, какъ г. Медвѣдскій выпалилъ «передового бойца надпольнаго анархизма», г. Михайловскій, надо думать уже не сдѣлаетъ болѣе чести г. Медвѣдскому — не станетъ разговаривать съ нимъ. Почтенному публицисту и критику «Русскаго Богатства» остается теперь только оглядѣть съ ногъ до головы г. Медвѣдскаго, дабы полюбоваться невыносимой прелестью этого новаго «бойца», и затѣмъ... Затѣмъ г. Михайловскій, пожалуй, можетъ плюнуть, а, пожалуй, даже и этимъ выраженіемъ презрѣнія не удостоитъ своего благороднаго противника».

Въ такомъ же родѣ отзывались «С.-Петербургскія Вѣдомости», «Биржевыя Вѣдомости», «Русскія Вѣдомости», а «Вѣстникъ Европы» и «Наблюдатель» высказались еще по поводу первой атаки г. Медвѣдскаго. Сужденіе г. Буренина представляется мнѣ достойнымъ вниманія въ особенности вотъ въ какомъ отношеніи. У насъ часто говорятъ о кумовствѣ въ литературѣ, о томъ, что «свои» «своихъ» тянутъ, свои своихъ хвалятъ, свои своимъ все прощаютъ, а если «не нашего прихода», такъ не подвертывайся. Не буду разбирать, насколько вѣрно это мнѣніе вообще, но достаточно во всякомъ случаѣ, что мы съ г. Буренинымъ въ кумовствѣ не состоимъ. Онъ и самъ напоминаетъ объ этомъ. «Читатели не заподозрятъ меня въ пристрастно благосклонномъ отношеніи къ г. Михайловскому,—говоритъ онъ,—такъ какъ мы съ нимъ въ былые годы не разъ неревѣдывались на «анкроморскихъ кровавыхъ поляхъ» журналистики въ качествѣ литературныхъ противниковъ. Съ другой стороны, я не имѣю никакого нерасположенія къ г. Медвѣдскому и даже, пожалуй, по «человѣческой слабости» долженъ къ нему чувствовать нѣкоторую пріязнь, такъ какъ онъ въ «Историческомъ Вѣстникѣ» напечаталъ обо мнѣ этюдъ, въ которомъ изрядно восхвалилъ мою литературную дѣятельность. Тѣмъ не менѣе я прямо становлюсь на сторону г. Михайловскаго въ полемикѣ, о которой шла рѣчь».

Если читатель припомнитъ, я именно предсказывалъ, что всякій писатель, сколько-нибудь уважающій свое дѣло, безъ различія направленій и совершенно независимо отъ своихъ личныхъ или партійныхъ отношеній ко мнѣ или къ г. Медвѣдскому, скажетъ: да, г. Медвѣдскій виновенъ и не заслуживаетъ снисхожденія. Я былъ увѣренъ въ этомъ результатѣ, но все-таки не могу

не порадоваться столь блистательному подтвержденію предсказанія. Могло бы вѣдь и такъ случиться, что всякій, ознакомившійся съ дѣломъ, въ душѣ дѣйствительно произнесъ бы правильный вердиктъ, но никто не счелъ бы этотъ случай достаточно интереснымъ, чтобы сказать свое обвинительное слово публично. Теперь же я имѣю лишній резонъ оставить отвѣтъ «Русскому Богатству» безъ вниманія. Если для третьихъ лицъ, для, очевидно, безпристрастныхъ свидѣтелей, дѣло до такой степени ясно, такъ о чемъ же еще разговаривать? Schwamm drüber, какъ говорятъ нѣмцы. Повторяю, я такъ и думалъ поступить. Но потомъ передумалъ. Противно-то, конечно, противно, но вѣдь мало ли съ какими явленіями приходится имѣть дѣло нашему брату журналисту, преодолевая чувство брезгливости! И если предметъ стоитъ того,—дѣлать нечего. Да, наконецъ, можно вѣдь и калоши надѣть, какъ вы ихъ надѣваете, когда вамъ идти куда-нибудь нужно, а на улицѣ очень грязно. Спранивается только, стоитъ-ли овчинка выдѣлки и какъ надѣть калоши, говоря о г. Медвѣдскомъ? Обстоятельства складываются, мнѣ кажется, такъ, что оба эти вопроса разрѣшаются очень просто и при томъ одновременно, одинъ при помощи другого. Просматривая вышеупомянутые отзывы разныхъ органовъ печати о критическихъ и полемическихъ приѣмахъ г. Медвѣдскаго, вы убѣждаетесь, что они касаются исключительно нравственной стороны дѣла, оцѣниваютъ благородство души г. Медвѣдскаго, и единодушіе отзывовъ позволяетъ считать этотъ вопросъ исчерпаннымъ: объ немъ, дѣйствительно, разговаривать больше не стоитъ. Но, кромѣ душевной красоты, г. Медвѣдскій обнаружилъ еще извѣстную логическую силу, извѣстную степень образованности и вообще извѣстныя умственные качества, которыя дѣлаютъ его литературную фізіономію, если и не привлекательною, то, можетъ быть, грозною. Пусть онъ пускаетъ въ ходъ средства, въ нравственномъ отношеніи по заслугамъ оцѣненные, кромѣ «Русскаго Богатства», «Вѣстникомъ Европы», «Наблюдателемъ», «Новымъ Временемъ», «С.-Петербургскими Вѣдомостями», «Биржевыми Вѣдомостями», «Русскими Вѣдомостями» и, кажется, еще нѣкоторыми провинціальными изданіями; но можетъ быть это такъ умно, сильно, обставлено такимъ логическимъ и научнымъ аппаратомъ, что однимъ негодованіемъ нельзя въ данномъ случаѣ ограничиваться. Перенесемъ же дѣло въ чисто умственные сферы.

Г. Медвѣдскій желаетъ сказать мнѣ возможно больше непріятностей. Я вхожу въ его положеніе и понимаю его желаніе, но долженъ сказать, что осуществляетъ его онъ очень неискусно. Онъ, между прочимъ, ругается, грубо, какъ на базарѣ ругаются.

Ну, это пусть при немъ и остается. Я получилъ нѣкоторое воспріятіе и состязаться съ нимъ не буду. Затѣмъ, г. Медвѣдскій желаетъ зарекомендовать себя, по выраженію одного изъ дѣйствующихъ лицъ Островскаго, «патріотомъ своего отечества». Онъ говоритъ о «благѣ Россіи, сохраненіи и утвержденіи ея цѣлости, развитіи ея своеобразія, укрѣпленіи и разработкѣ всего того, что дѣлаетъ народъ способнымъ къ выполненію міровой культурной миссіи». Онъ почему-то подчеркиваетъ эти слова, печатаетъ ихъ курсивомъ и зачѣмъ-то грозно прибавляетъ: «Кто не сходитъ съ нами на этомъ пунктѣ, тотъ долженъ быть для насъ хуже язычника и мытаря, съ тѣмъ не можетъ быть никакихъ компромиссовъ, и если мы дѣйствительно вѣримъ въ нашу правду, если насъ точно вдохновляетъ наша истина, — мы обязаны вести борьбу не на животь, а на смерть, безъ единой уступки, безъ тѣни снисхожденія»... Какая величественная и грозная картина! Даже подумать страшно: г. Медвѣдскій борется не на животь, а на смерть, безъ тѣни снисхожденія... Допуская, однако, что нашему отечеству грозятъ серьезныя опасности, если г. Медвѣдскій окажетъ хоть какое-нибудь снисхожденіе язычникамъ и мытарямъ и тѣмъ, кто хуже ихъ, я долженъ все-таки сказать, что всѣ разсужденія г. Медвѣдскаго о патріотизмѣ — ни къ чему. Ни въ первой его вылазкѣ противъ «Русскаго Богатства», вызвавшей мою отповѣдь, ни въ этой отповѣди, — о патріотизмѣ и о томъ, какъ его надо понимать и осуществлять, не было рѣчи. Ничто, конечно, не мѣшаетъ г. Медвѣдскому повести разговоры и на эту, и еще на какую-нибудь новую тему, но собственно въ *отвѣтъ* «Русскому Богатству» это элементъ совершенно лишній, ничѣмъ предъидущимъ не вызванный. имѣющій цѣлью лишь заявить *ubi et orbi*, что Россія можетъ быть спокойна, ибо на стражѣ ея интересовъ и достоинства стоитъ г. Медвѣдскій. Вѣроятно, такое заявленіе зачѣмъ нибудь нужно г. Медвѣдскому, однако мы все-таки остановимся въ *отвѣтъ* только на томъ, что дѣйствительно составляетъ *отвѣтъ* или, по крайней мѣрѣ, сколько-нибудь похоже на него.

Дѣло шло не о Россіи, во всемъ объемѣ ея интересовъ и достоинства, а о предметѣ гораздо болѣе частномъ. Припомнимъ обстоятельства дѣла.

Г. Медвѣдскій такъ освѣтилъ мнѣнія нѣкоторыхъ профессоровъ, что «Русская Мысль» назвала это освѣщеніе «политическимъ доносомъ». Г. Медвѣдскій обидѣлся. Онъ находилъ, что нельзя называть доносомъ какое бы то ни было указаніе въ печати, такъ какъ, во-первыхъ, оно громогласно, во-вторыхъ, передъ некриминированнымъ лицомъ лежитъ свободный путь такого же открытаго опроверженія въ печати, въ-третьихъ, если этотъ путь почему-ни-

будь неудобствъ, инкриминированное лицо можетъ обратиться въ судъ. Затѣмъ г. Медвѣдскій обратилъ свое неблагосклонное вниманіе на «Русское Богатство». Приемы его изслѣдованія меня заинтересовали, а вмѣстѣ съ тѣмъ заинтересовалъ и вопросъ о доносчикахъ: что это за люди, почему ихъ часто презираютъ даже тѣ, кто ихъ услугами пользуются, а иногда и не могутъ не пользоваться, что такое доносъ, чѣмъ онъ отличается отъ другихъ указаній или обличеній. Я принялъ во вниманіе и разсужденія г. Медвѣдскаго по поводу брошеннаго ему «Русскою Мыслью» обвиненія въ доноситељствѣ: но, желая дать своей маленькой работѣ возможно солидный, для бѣглой замѣтки, видъ, обратился и къ научному труду — къ курсу уголовного права Н. С. Таганцева. Теперь г. Медвѣдскій удивляется, зачѣмъ это мнѣ понадобилось цитировать курсъ г. Таганцева, потому что вѣдь тамъ говорится о «тайномъ доносѣ», который противопоставляется «гласному обвиненію преступника». Совершенно справедливо, и я это противоположеніе сохранилъ въ своей цитатѣ, но въ свою очередь удивляюсь удивленію г. Медвѣдскаго. Поднявъ перчатку, брошенную ему «Русскою Мыслью», онъ самъ заговорилъ о доносѣ и доносчикахъ, а я пожелалъ по возможности всесторонне осмотрѣть этотъ предметъ и, между прочимъ, остановился на фактѣ всеобщаго презрѣнія къ доносчикамъ. Мнѣ интересно было при этомъ отмѣтить, что ученый криминалистъ, теоретикъ и практикъ, признаетъ этотъ фактъ, даетъ ему свою санкцію и нѣкоторое, хотя и не полное объясненіе. Если все это не относится лично къ г. Медвѣдскому, то во всякомъ случаѣ входитъ въ составъ темы, имъ самимъ на общее обсужденіе предложенной. А если цитата изъ курса г. Таганцева подтверждаетъ мнѣнія, высказанныя г. Медвѣдскимъ, то тѣмъ лучше для него. Претендовать ему тутъ не на что. Но и я, съ своей стороны, не жалѣю о томъ, что цитировалъ курсъ г. Таганцева.

Нельзя сказать, чтобы въ принципѣ мы совершенно разошлись съ г. Медвѣдскимъ относительно того, что слѣдуетъ понимать подъ словами «доносъ», «доносчикъ». Правда, на первый взглядъ онъ какъ будто даже совсѣмъ упраздняетъ самое понятіе печатнаго доноса, потому что вѣдь печатное слово есть всегда открытое, гласное слово. Слѣдовательно, «печатный доносъ», въ презрительномъ смыслѣ этого слова, есть nonsens, безсмыслица, мнѣе, созданный услужливымъ воображеніемъ или лицемѣріемъ «либераловъ», которымъ нечего возразить на направленные противъ нихъ обвиненія. Печать есть арена открытой борьбы мнѣній, вспомошествоваемая въ крайнемъ случаѣ (въ случаѣ клеветы) судомъ. Таковъ ходъ мысли г. Медвѣдскаго. Но вотъ самъ же г. Медвѣдскій пи-

сать въ «Наблюдателѣ»: «Пора бы нанимъ «консерваторамъ» выбросить за бортъ истрепанную мѣрку полицейской благонадежности; пора бы воспитать въ себѣ хоть малую толику уваженія къ обществу просвѣщенныхъ и кое-что понимающихъ людей; пора бы перестать и лгать». Изъ этого слѣдуетъ, что, по мнѣнію самого г. Медвѣдскаго, печать можетъ и не быть ареною свободной борьбы мнѣній, ибо есть писатели, выступающіе на нее съ виѣ-литературнымъ оружіемъ въ рукахъ. Затѣмъ и въ «Русскомъ Вѣстникѣ» г. Медвѣдскій любезно указываетъ нѣкоторые признаки, выдѣляющіе доносъ изъ произведеній печати вообще, изъ полемики, критики и публицистики въ частности. Чтобы статья не имѣла характера доноса, недостаточно того, чтобы она содержала въ себѣ открыто высказанное сужденіе или обвиненіе, а надо еще, чтобы она не устраняла возможности возраженія, чтобы не прерывался насильственно тотъ *choc des opinions*, изъ котораго *jaillit la vérité*. Это явственно вытекаетъ изъ того, что г. Медвѣдскій парируетъ обвиненіе «Русской Мысли» указаніемъ на возможность отвѣчать ему въ печати же. Такимъ образомъ, г. Медвѣдскій самъ вводитъ въ свою слишкомъ уже расплывающуюся точку зрѣнія весьма существенное ограниченіе, которое и слѣдуетъ, конечно, принять. Такъ что въ принципѣ мы, значить, совершенно согласны съ г. Медвѣдскимъ. Остается только прилагать найденный принципъ къ конкретнымъ частнымъ случаямъ, но теперь мы этимъ заниматься не будемъ, такъ какъ условились не снимать калонъ.

Предоставляемъ, между прочимъ, самому читателю привести вышеизложенное въ связь съ слѣдующею замѣчательною мыслью, выраженной въ «отвѣтѣ «Русскому Богатству»: «Мы не для того, полагаю, ведемъ разговоры въ присутствіи многочисленной аудитории, чтобы показывать діалектическіе фокусы, и, выражаясь грубо, конечною цѣлью каждый имѣетъ прижать противника къ стѣнѣ». Мнѣ кажется, что здѣсь грубо не столько форма выраженія, сколько облеченная въ нее мысль. Особенно, если принять въ соображеніе способъ, которымъ г. Медвѣдскій рекомендуетъ прижимать противника къ стѣнѣ: «*несудобными* (курсивъ г. Медвѣдскаго) вопросами». Доселѣ даже тѣ, кто практиковалъ этотъ способъ, не возводили его открыто въ теоретическій принципъ, а мынѣ вотъ какъ наивно раскрываются карты: что тамъ за *choc des opinions*, что за *vérité* и прочіе «діалектическіе фокусы»? Надо просто ставить вопросы такъ, чтобы на нихъ «несудобно» было отвѣчать. Мы, люди чужіе г. Медвѣдскому, можемъ только благодарить его за сообщеніе этого секрета партійной тактики. Но люди тѣхъ принциповъ, въ защиту которыхъ самозванно высту-

наетъ г. Медвѣдскій, едва-ли обязаны ему благодарностью: это защитникъ компрометирующій. Дочитавъ предлагаемую статью до конца, читатель, надѣюсь, вполне въ этомъ убѣдится. Дѣло въ томъ, что, кромѣ желанія прижать противника къ стѣнѣ, заставить его не «діалектическими фокусами», а «неудобными вопросами» замолчать; кромѣ, говорю, этого желанія, степень благородства котораго пусть оцѣниваетъ кто хочетъ, нужно еще умѣнье. И мы сейчасъ увидимъ, каково умѣнье г. Медвѣдскаго.

Въ своей первой и совершенно внезапной вылазкѣ противъ «Русскаго Богатства» г. Медвѣдскій утверждалъ, что, читая нашъ журналъ, можно позабыть о существованіи въ Россіи «не только предварительной, но и послѣдующей цензуры». Вотъ—говорилъ онъ,—у насъ жалуются на стѣсненія печати, даже въ Европу эти жалобы проникли, а посмотрите-ка, что пишутъ въ «Русскомъ Богатствѣ»! При этомъ, однако, г. Медвѣдскій обнаружилъ совершенное непониманіе того, что значитъ свобода печати, и по истинѣ удивилъ бы Европу, если-бы она узнала изъ его сообщенія, что это столь необузданное «Русское Богатство» оперируетъ «коварными умыслами» и «иносказаніями» и что цензоръ будто бы можетъ въ Россіи «вычеркивать сколько ему угодно»,—таковъ одинъ изъ приемовъ, которыми г. Медвѣдскій охраняетъ достоинство Россіи. Но, быть можетъ, еще болѣе удивилась бы Европа, если-бы узнала, что именно въ «Русскомъ Богатствѣ» русскій писатель, хотя бы онъ назывался и Медвѣдскимъ, считаетъ неправильно ускользнувшимъ отъ бдительности цензуры «не только предварительной, а и послѣдующей». Во всякомъ случаѣ теперь, въ «отвѣтъ», г. Медвѣдскій уже какъ будто беретъ отчасти назадъ свое показаніе о нашей необузданности. Онъ говоритъ: «Кому—кому, а «Русскому Богатству» мы отъ души (даже отъ души!) желали бы того «простора рѣчи», при которыхъ оно могло бы высказать всѣ свои душевные мысли, съ математическою точностью изложить свои взгляды, однимъ словомъ, *договориться до конца*» (курсивъ, какъ и вездѣ далѣе, г. Медвѣдскаго, онъ очень любить курсивъ). А la bonne heure! Вотъ и еще пунктъ, на которомъ мы вполне сходимся съ г. Медвѣдскимъ: мы того же желаемъ. «Но это когда еще случится»,—разочарованно прибавляетъ г. Медвѣдскій. Значитъ, до сихъ поръ предварительная и послѣдующая цензура еще не заслуживала упрека въ недостаткѣ бдительности, и всѣ разговоры г. Медвѣдскаго на эту тему—просто пустяки. Ниже мы увидимъ, что собственно обозначаетъ та любезность, съ которою г. Медвѣдскій желаетъ намъ теперь полного «простора рѣчи». А пока я обращаю вниманіе читателей на ловкость и грацію, съ которыми мысли этого писателя прыгаютъ другъ черезъ друга: по

его первоначальному показанію, мы пользуемся такимъ «просто-ромъ рѣчи», что даже для Европы удивительно, а теперь оказывается, что «это когда еще случится»; онъ намъ «отъ души» желаетъ «простора рѣчи», но въ то же время хочетъ прижать насъ къ стѣнѣ «неудобными вопросами».

«Но это когда еще случится,—говоритъ г. Медвѣдскій,—а нынѣ приглашаю г. Михайловскаго, попросту и безъ затѣй, *ответить* на предложенные нами *вопросы*. Теперь дѣло стоитъ, кажется, настолько ясно, что увильнуть мудрено».

Съ величайшимъ удовольствіемъ отвѣчу, и именно попросту, безъ затѣй, хотя это тѣ самые будто бы ужасно неудобные вопросы, которыми г. Медвѣдскій думаетъ прижимать противника къ стѣнѣ. Собственно говоря, не только такой умыи челоѣкъ, какъ г. Медвѣдскій, а по нѣмецкой поговоркѣ, даже ein Narr kann zehn Mal mehr fragen, als ein kluger antworten, но для г. Медвѣдскаго я готовъ потрудиться. Я никогда не забуду, что въ «Наблюдателѣ» онъ предлагалъ вотировать мнѣ благодарность отечества. Онъ писалъ: «Г. Михайловскій имѣетъ право на признательность со стороны русскаго общества, но послѣдніе годы его литературной дѣятельности отмѣчены усталостью». Со стороны челоѣка, грозно охраняющаго интересы и достоинство Россіи и безъ снисхожденія истребляющаго язычниковъ и мытарей и тѣхъ, кто хуже ихъ,—согласитесь, это аттестація слишкомъ лестная, чтобы я, хотя и усталый, но все-таки благодарный, могъ отказаться исполнить просьбу г. Медвѣдскаго. Да и просьба то пустяковая: отвѣтить на предложенные имъ «неудобные» вопросы можно съ большимъ удобствомъ. Надо только сначала напомнить ихъ исторію.

Въ первой вылазкѣ, дѣлая косвенный, но строгій выговоръ цензурному вѣдомству, г. Медвѣдскій обратилъ свое неблагоклонное вниманіе на слѣдующія статьи «Русскаго Богатства»: статью г. Иванова о Тѣнѣ, парижскія корреспонденціи г. Н. К., «Въ мірѣ отверженныхъ» г. Мельниша, «Дневникъ журналиста» г. Южакова и мои литературныя и житейскія замѣтки. Я опредѣлилъ общій характеръ этихъ указаній такъ: благодаря «страшнымъ» словамъ, въ родѣ революція, якобинцы, радикализмъ и проч., на самыя простыя вещи напущень туманъ «неблагонамѣренности», но ничего существеннаго, ничего такого, на что стоило бы и даже можно было возражать. Для демонстраціи я взялъ первое и послѣднее указаніе и, должно быть, демонстрировалъ ихъ удачно, потому что теперь, въ «отвѣтъ», г. Медвѣдскій ихъ уже не касается, признаетъ ихъ, стало быть, выбывшими изъ строя его аргументаціи. Но за то съ тѣмъ большею энергіей настаиваетъ онъ на своихъ

остальныхъ указаніяхъ. Затѣмъ, говорить, вы остальное «смазали»? Потрудитесь-ка отвѣчать, да не виляйте!

Затѣмъ вилять! Я приведу вопросы г. Медвѣдскаго его подлинными словами, такъ именно, какъ они формулированы въ «отвѣтѣ», затѣмъ постараюсь удовлетворить его любознательность и, наконецъ, сдѣлаю нѣкоторый общій выводъ.

Пунктъ первый: о французскихъ корреспонденціяхъ. «Совѣтъ (корреспондента) «позаимствовать кое-что» у современнаго француза показался намъ (г. Медвѣдскому) любопытнымъ, такъ какъ изъ положительныхъ французскихъ качествъ авторъ называетъ три: искусство *пропагандировать, агитировать и ораторствовать* (курсивъ, какъ и далѣе, принадлежитъ г. Медвѣдскому). На нашъ взглядъ «позаимствованіе» подобныхъ добродѣтелей намъ ничего, кромѣ вреда, принести не можетъ. Корреспондентъ «Русскаго Богатства» и г. Михайловскій вольны дивиться нашему невѣжеству, но вѣдь возражать-то *есть на что*, вѣдь споръ *по существу* о необходимости или ненужности изученія искусства пропагандировать и агитировать — *мыслимъ?*»

А ужъ, право не знаю, мыслимъ-ли. Должно быть, мыслимъ, если г. Медвѣдскій его поднимаетъ, да еще съ такимъ побѣдоноснымъ видомъ. Но мнѣ, признаться, стыдно принимать хотя бы и невольное, вынужденное участіе въ такомъ спорѣ. Дѣлать нечего, однако: взялся за гужъ, не говори, что не дюжъ. Преодолѣлъ же я нѣкоторый конфузъ, доказывая г. Медвѣдскому, по поводу статьи г. Иванова, что сочиненіе Тэна о французской революціи не есть каноническая книга, которую русская цензура должна охранять отъ критики. Что касается собственно ораторскаго искусства, то удовлетворить любознательность г. Медвѣдскаго могъ бы любой гимназистъ среднихъ классовъ, потому что, если не ошибаюсь, уже въ среднихъ классахъ гимназій изучаются образцы ораторскаго искусства древнихъ и внушается ученикамъ мысль о его значеніи; да и по русскому языку задаются сочиненія на эту тему, при чемъ учитель едва-ли поставитъ хорошую отмѣтку гимназисту, который сталъ бы доказывать, что ораторское искусство «намъ ничего, кромѣ вреда, принести не можетъ». Пусть такъ, скажетъ г. Медвѣдскій, — это я, дѣйствительно, не подумавши, съ маху брякнулъ, но «агитація», «пропаганда»? И я представляю себѣ глубокую взволнованность души г. Медвѣдскаго при произнесеніи этихъ страшныхъ словъ. Но почтенная редакция «Русскаго Вѣстника» легко можетъ успокоить своего публициста, поднеся ему какой-нибудь толкователь иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ употребленіе въ русскомъ языкѣ. Въ ожиданіи этого счастливаго для русской литературы или, по край-

ней мѣръ, для «Русскаго Вѣстника» событія, заглянемъ въ инкриминированныя корреспонденціи г. Н. К. Вотъ, напримѣръ, на стр. 142 въ № 3 «Русскаго Богатства» нашъ корреспондентъ, останавливаясь на Вольтерѣ, какъ на типичномъ представительѣ французской мысли, приводитъ, между прочимъ, заключительныя строки его письма къ одному изъ друзей: «Я хочу учиться и хочу любить васъ; я хочу, чтобы вы сдѣлались ньютономъ, чтобы вы такъ же понимали эту философію, какъ вы умѣете любить людей». Затѣмъ корреспондентъ нашъ прибавляетъ отъ себя: «Вотъ это «я хочу учиться, хочу любить васъ и хочу, чтобы вы сдѣлались ньютономъ», можетъ быть, лучше характеризуетъ француза, чѣмъ цѣлые томы разсужденій. Эта жажда знанія, но съ цѣлью пропаганды, эта страсть пропаганды, но въ виду улучшенія живыхъ людей, которые насъ окружаютъ, является могущественнымъ двигателемъ французской націи». Читатель понимаетъ теперь, въ чемъ дѣло. «Агитація», «пропаганда», — это для публициста «Русскаго Вѣстника» то же самое, что «жупель» для замоскворѣцкой кучихи. Въ его умѣ эти существительныя неразрывно ассоціировались съ прилагательнымъ «преступный», а агитаціи и пропаганды «по существу» онъ не понимаетъ, какъ не понимаютъ ихъ герои разсказовъ г. Лейкина. Есть малороссійскій водевиль «По ревизіи». Тамъ писарь, хватившій цивилизаціи, выражается такъ: «откатегоряемъ усю систему въ свое время». Вотъ и публицистъ «Русскаго Вѣстника» желаетъ «откатегорять усю систему». Выдѣлить общее понятіе агитаціи и пропаганды ему не позволяетъ даже то обстоятельство, что обличаемый имъ корреспондентъ говоритъ о пропагандѣ ньютоновой философіи. Кто ее тамъ знаетъ, какая такая философія, а вотъ насчетъ «пропаганды» г. Медвѣдскаго ужъ не собошь! Правда, во Франціи идетъ агитація въ виду самыхъ разнообразныхъ цѣлей и пропаганда самыхъ разнообразныхъ идей — научныхъ, философскихъ, художественныхъ, политическихъ, а въ составѣ послѣднихъ есть идеи монархическія, республиканскія, клерикальныя, социалистическія. пропаганда «реванша» и пропаганда мира, агитація въ пользу франко-русскаго союза и агитація противъ него. Гдѣ же во всемъ этомъ разобраться просвѣщенному публицисту «Русскаго Вѣстника», ну, онъ и «категоряетъ усю систему», а за одно прихватываетъ и ораторское искусство въ число вещей, которыя «намъ ничего, кромѣ вреда, принести не могутъ». И это серьезная публицистика! Этакъ-то вооруженный человѣкъ беретъ на себя миссію стоять на стражѣ интересовъ и достоинства Россіи!

Второй пунктъ: о «Дневникѣ журналиста». Г. Медвѣдскій го-

ворить: «Выписавъ нѣсколько строкъ изъ «Дневника журналиста», характеризующихъ до-Петровскую Русь, мы *спрашиваемъ*: «неужели въ этихъ строкахъ содержится сколько-нибудь вѣрный обликъ состоянія до-Петровской Руси?» Вотъ г. Михайловскому и слѣдовало бы *отвѣтить*, какъ по его мнѣнію — точный это или неточный, вѣрный или невѣрный обликъ. Затѣмъ, намъ кажется возмутительною нелѣпостью помѣщеніе въ одномъ перечнѣ съ «рабствомъ земледѣльческихъ массъ» и «затворничествомъ женщины» — *вѣры* русскаго народа *въ свою избранность*. Г. Михайловскій недоумѣваетъ, — что опровергать, съ чѣмъ спорить, а вопросъ самъ собою формулируется: объясните, докажите, что «вѣра въ избранность» не лучше «рабства земледѣльческихъ массъ», и все будетъ въ порядкѣ. Интересно также послушать о «растлѣвающемъ режимѣ Іоанна IV», ибо мы, въ простотѣ душевной, убѣждены, что «онъ царство *создавалъ* и — царство *создалось*», слѣдовательно, ужъ никакимъ образомъ нельзя толковать о «растлѣніи», не давая себѣ труда облечь мысль въ сколько-нибудь пристойную серьезную форму. На данную тему такъ же, какъ и на предыдущую, мы непремѣнно будемъ еще бесѣдовать, потому что нѣтъ ничего возмутительнѣе практикуемой радикальными журналистами эксплоатаціи невѣжества нашей «интеллигенціи» по части русской исторіи. Стало быть, здѣсь мы снова сталкиваемся съ *вопросомъ*, и очень важнымъ вопросомъ, который напрасно оставленъ г. Михайловскимъ втунѣ.

Судя по тону, г. Медвѣдскій должно быть специалистъ по русской исторіи, и я готовъ съ величайшею почтительностью встрѣтить то его будущее изслѣдованіе по этому обширнѣйшему предмету, въ которомъ онъ разсѣтъ мракъ невѣжества нашей интеллигенціи. Но, въ ожиданіи этого роскошнаго пира науки и тѣхъ крохъ, которыя, можетъ быть, и намъ грѣшнымъ перепадутъ съ богатаго стола г. Медвѣдскаго, приходится довольствоваться трудами другихъ историковъ. Вотъ, напримѣръ, г. Медвѣдскому «интересно послушать «о растлѣвающемъ режимѣ Іоанна IV». Очевидно, онъ до такой степени занятъ собственными оригинальными изслѣдованіями по русской исторіи, что не удосужился до сихъ поръ заглянуть ну хоть, напримѣръ, въ «Исторію государства Россійскаго» Карамзина. Въ VII главѣ IX тома этого неизвѣстнаго г. Медвѣдскому сочиненія есть слѣдующія строки. Упомянувъ о Калигулѣ и Неронѣ, Карамзинъ продолжаетъ: «Они были язычники; но Людовикъ XI былъ христіанинъ, не уступая Іоанну ни въ свирѣпости, ни въ наружномъ благочестіи, коимъ они хотѣли загладить свои беззаконія: оба набожные отъ страха, оба кровожадные и женолюбивые, подобно азіатскимъ и римскимъ мучителямъ. Изверги внѣ законовъ, внѣ правилъ и вѣротностей раз-

судка: сіи ужасныя метеоры, сіи блудящіе огни страстей необузданныхъ озаряють для насъ. въ пространствѣ вѣковъ, бездну возможнаго челоѣческаго разврата, да видя содрогаемся!» Далѣе Карамзинъ указываетъ на то, что Грозный царь «губительной рукою касался самихъ будущихъ временъ: ибо туча доносителей, клеветниковъ, кромѣшниковъ, имъ образованныхъ, какъ туча гладоносныхъ насѣкомыхъ, исчезнувъ, оставили злое сѣмя въ народѣ: и если иго Батыево унизило духъ россіянъ, то безъ сомнѣнія не возвысило его и царствованіе Іоанново». Это вѣдь именно то, что г. Медвѣдскому «интересно послушать». Я могъ бы привести еще много подобныхъ и даже еще болѣе рѣзкихъ характеристикъ «растлѣвающего режима Іоанна IV», но полагаю, что Карамзинъ, какъ официальный исторіографъ, особенно интересенъ для г. Медвѣдскаго. Ну, да и для читателя небезынтересно знать, что публицисту «Русскаго Вѣстника», собирающемуся разсвѣять мракъ нашего невѣжества по части русской исторіи, неизвѣстна «Исторія государства россійскаго», съ которою юношество начинаетъ знакомиться въ гимназіяхъ. Было бы очень поучительно войти здѣсь въ нѣкоторыя подробности, но насъ ждутъ другіе вопросы г. Медвѣдскаго, и я сдѣлаю еще одну только ссылку въ поученіе г. Медвѣдекому. Пусть онъ прочтетъ предисловіе гр. Алексѣя Толстого къ роману «Князь Серебряный», посвященному императрицѣ Маріи Александровнѣ. Тамъ есть слѣдующія строки: «Въ отношеніи къ ужасамъ того времени авторъ постоянно оставался ниже исторіи. Изъ уваженія къ искусству и нравственному чувству читателя онъ набросилъ на нихъ тѣнь и показалъ ихъ, по возможности, въ отдаленіи. Тѣмъ не менѣе, онъ сознается, что при чтеніи источниковъ книга не разъ выпадала у него изъ рукъ, и онъ бросалъ перо въ негодованіи, не столько отъ мысли, что могъ существовать Іоаннъ IV, сколько отъ той, что могло существовать такое общество, которое смотрѣло на него безъ негодованія». Пусть, далѣе, въ стихотвореніяхъ гр. А. Толстого, опять-таки посвященныхъ императрицѣ Маріи Александровнѣ («Къ твоимъ, Царица. я ногамъ песу и радость, и печали» и т. д.), г. Медвѣдскій прочтетъ слѣдующую картину:

«Вдругъ гремятъ тулумбасы, идетъ караулъ,
Гонятъ палками встрѣчныхъ съ дороги;
Идетъ царь на конѣ, въ зипунѣ изъ парчи.
А крутомъ съ топорами идутъ палачи,
Его милость собираются тѣшить;
Тамъ кого-то рубить или вѣшать. . . И т. д.

Пойдемъ далѣе.

«Намъ кажется возмутительною нелѣпностью»—говоритъ г. Мед-

вѣдскій — помѣщеніе въ одномъ перечнѣ съ «рабствомъ земледѣльческихъ массъ» и «затворничествомъ женщины» — *вѣры* русскаго народа *въ свою избранность*. Г. Михайловскій недоумѣваетъ — что опровергать, съ чѣмъ спорить, а вопросъ самъ собою формулируется; объясните, докажите, что «вѣра въ избранность» не лучше «рабства земледѣльческихъ массъ», и все будетъ въ порядкѣ.

Долженъ признаться, что этотъ вопросъ поставленъ, дѣйствительно, «неудобно», но собственно только въ логическомъ смыслѣ. Что лучше — гордость или дырявые сапоги? — на это я не могу отвѣтить. Но что гордый человекъ можетъ ходить въ дырявыхъ сапогахъ, это я утверждать рѣшаюсь. «Вѣра въ свою избранность» и «рабство земледѣльческихъ массъ» непосредственному сравненію не подлежатъ, но что они могутъ быть «помѣщены въ одномъ перечнѣ», — это достоверно. Г. Медвѣдскому это кажется «возмутительною нелѣпостью», потому что онъ считаетъ «вѣру въ свою избранность» какою-то добродѣтелью, чѣмъ-то такимъ, что уже само по себѣ достойно уваженія. Это онъ напрасно. Древніе евреи вѣрили въ свою избранность, и, однако, какъ свидѣтельствуетъ Библія, эта вѣра уживалась со многими тяжкими грѣхами, пороками и несправедливостями, за которые Богъ и посылалъ своему народу наказанія. Новозавѣтная же исторія совѣмъ не знаетъ избранныхъ на родовъ, и ни русскій, ни какой другой народъ христіанской цивилизаціи не можетъ поддержать свои претензіи въ этомъ родѣ какимъ-нибудь непререкаемымъ авторитетомъ.

Третій пунктъ, — о «Мірѣ отверженныхъ». Г. Медвѣдскій говоритъ: «Что показалось намъ фальшиваго въ запискахъ г. Мельшина, — мы указали съ точностью. Намъ показалось фальшивымъ это приторное отношеніе къ «несчастненькимъ», сознательно участвующимъ, подобно юному татарину, въ убійствѣ съ корыстной цѣлью (а то и совершающимъ такіа преступленія единолично) и въ то же время якобы сохраняющимъ *безукоризненную нравственную чистоту*. Пускай нашъ взглядъ ошибоченъ, а г. Мельшинъ стоитъ на вѣрной точкѣ зрѣнія. Вотъ г. Михайловскій и просвѣтилъ бы насъ. Просвѣщая, онъ *опровергнулъ бы* «коварнаго анонима» и все бы кончилось чудесно».

Маленькое побочное замѣчаніе. Г. Медвѣдскій ставитъ въ кавычки слова «коварный анонимъ» и тѣмъ даетъ понять, что я его такъ называлъ. Это невѣрно. Анонимомъ я его называлъ, потому что онъ тогда и былъ анонимомъ, но единственный эпитетъ къ этому существительному во всей моей статьѣ есть «первый встрѣчный». Признаться, я дѣйствительно думалъ сначала, что г. Медвѣдскій коваренъ, но, къ счастью, не сказалъ этого; потому къ счастью, что иначе мнѣ пришлось бы теперь брать свое слово на-

задь: нѣтъ, онъ не коваренъ, хотя, можетъ быть, и желать бы быть коварнымъ. Онъ не только не коваренъ, а даже до чрезвычайности простъ.

Что касается эпизода съ молодымъ татаринимъ Маразгали, то читатель, конечно, помнитъ эту прелестную главу записокъ г. Мельниина. Одна изъ лучшихъ, она есть вмѣстѣ съ тѣмъ едва-ли не единственная свѣтлая, хотя и проникнутая грустью. Ужъ, конечно, г. Мельниинъ не идеализируетъ своихъ каторжниковъ. Представленные имъ картины ужасающаго разврата и нечеловѣческой жестокости, образы почти звѣринные по отсутствію сознанія добра и зла—производятъ удручающее впечатлѣніе, и мнѣ приходилось слышать объ упрекахъ г. Мельниину именно въ этомъ направленіи,—за слишкомъ мрачную психологію «несчастненькихъ». Упреки эти несправедливы: сама дѣйствительность сгустила мрачныя краски въ той атмосферѣ, въ которой пришлось годы прожить г. Мельниину. Онъ описываетъ то, что видѣлъ, а видѣлъ, конечно, не добродѣтельныхъ людей. Но вотъ среди этого мрака отчаянія, злобы, звѣрства и разврата мелькаетъ трогательный образъ Маразгали, и г. Медвѣдскій утверждаетъ, что это «фальшиво» и «приторно», и распространяетъ это свое замѣчаніе на всѣхъ «несчастненькихъ», изображенныхъ г. Мельнинымъ, тогда какъ Маразгали стоитъ въ «Мірѣ отверженныхъ» совсѣмъ одиноко. Представляя дѣло въ столь извращенномъ видѣ, г. Медвѣдскій поступаетъ... Впрочемъ, вопросъ о благородствѣ души г. Медвѣдскаго исчерпанъ, и мы посмотримъ только, ведетъ-ли этотъ его поступокъ къ предположенной имъ цѣли. Цѣль эта, вы помните, состоитъ въ предъявленіи документовъ неблагонамѣренности «Русскаго Богатства» и недостаточной бдительности «не только предварительной, а и послѣдующей цензуры». Въ этихъ видахъ онъ и желаетъ «прижимать къ стѣнѣ» при помощи «неудобныхъ вопросовъ». Но что же неудобнаго въ вопросѣ г. Медвѣдскаго о г. Мельниинѣ? Да, образъ Маразгали не кажется мнѣ фальшивымъ; да, г. Мельниинъ стоитъ на вѣрной точкѣ зрѣнія,—вотъ мой отвѣтъ, и «суди меня, судія неправедный», какъ, по словамъ одной богомолки у Островскаго, пишутъ прошенія въ невѣрныхъ земляхъ. Если бы я, однако, и вынужденъ былъ признать, что образъ Маразгали фальшивъ и г. Мельниинъ стоитъ на невѣрной точкѣ зрѣнія,—это все-таки ни на шагъ не подвинуло бы г. Медвѣдскаго къ его цѣли; ибо политическая благонамѣренность совершенно не при чемъ въ этого рода вопросахъ. Иначе г. Медвѣдскому пришлось бы обвинять въ политической неблагонамѣренности ни больше, ни меньше, какъ г. петербургскаго градоначальника, генерала Клейгельса. Въ напечатанной недавно по распоряженію генерала брошюрѣ «Основы полицейской службы», предна-

значенной для руководства чинамъ петербургской полиціи, между прочимъ, читаемъ: «На арестантовъ слѣдуетъ смотрѣть, какъ на своихъ ближнихъ, своихъ братьевъ, впавшихъ въ несчастіе или душевную болѣзнь, называемую преступленіемъ. Подаромъ и нашъ простой русскій народъ всегда смотритъ на арестантовъ съ тою всепрощающею любовью, съ тою глубокою незлобивою и снисходительностью, какія присущи его натурѣ, называя ихъ «несчастенькими» («Основы полицейской службы», Спб. 1896, стр. 23).

Таковы гуманнныя идеи, которыя генералъ Клейгельсъ считаетъ полезнымъ и нужнымъ внушать чинамъ петербургской полиціи, а г. Медвѣдскій обвиняетъ въ неблагонамѣренности г. Мельшина, который среди цѣлой коллекціи злодѣевъ намѣтилъ одинъ трогательный образъ. Какими же громами долженъ г. Медвѣдскій разразиться по адресу всего штата петербургской полиціи, поскольку послѣдняя успѣла проникнуться духомъ «Основъ полицейской службы»?!!

Я удовлетворилъ любознательность г. Медвѣдскаго: пересмотрѣлъ всѣ его три пункта, и читатель видитъ, что если изъ пяти пунктовъ обвинительнаго акта, предъявленнаго намъ публицистомъ «Русскаго Вѣстника», я остановился въ прошлый разъ только на первомъ и на послѣднемъ, такъ не потому, что остальные три меня дѣйствительно «прижимали къ стѣнѣ». Это просто карточные домики, рассыпающіеся отъ одного дуновенія, и мнѣ просто стыдно было возиться съ такими пустяками. Но—*tu l'as voulu, George Dandin, tu l'as voulu!* Какъ видите, отвѣчать на будто бы «неудобные вопросы» г. Медвѣдскаго я могъ даже не своими словами, а ссылками на толковые словари иностранныхъ словъ (по вопросу объ агитаціи и пропагандѣ вообще, Ньютоновой философіи въ частности), на гимназическіе учебники (по вопросу о вредѣ ораторскаго искусства), на оффиціальный исторіографъ и на поэта, пользовавшагося особеннымъ благоволеніемъ императрицы (по вопросу о растлѣвающимъ режимѣ Іоанна IV), наконецъ, на оффиціальное изданіе «Основъ полицейской службы» (по вопросу о «несчастенькихъ»). Мнѣ и теперь стыдно. Стыдно, во-первыхъ, лично за себя, вынужденнаго занимать читателя такими преніями; стыдно, во-вторыхъ, за русскую литературу, въ средѣ которой нашелся человѣкъ не только столь благородной души, но и столь просвѣщеннаго ума, какъ г. Медвѣдскій; наконецъ, вчужѣ стыдно за «консерваторовъ», отъ имени которыхъ выступаетъ г. Медвѣдскій на защиту интересовъ и достоинства отечества. Что, если-бы «не только предварительная, а и послѣдующая цензура», призываемая г. Медвѣдскимъ къ вѣщей бдительности, приняла во вниманіе его указанія? Вѣдъ

пришлось бы, послѣдовательности ради, запретить «Исторію государства руссiйскаго» Карамзина, и сочиненія гр. Алексѣя Толстого, и «Основы полицейской службы», изданныя по распоряженію петербургскаго градоначальника...

Спрашивается, однако, какъ же все это могло такъ странно сложиться? Какъ могъ г. Медвѣдскій хотя-бы на одну минуту самъ повѣрить и редакцію «Русскаго Вѣстника» убѣдить въ «неудобствѣ» задаваемыхъ имъ вопросовъ? Дѣло объясняется отчасти круглымъ невѣжествомъ г. Медвѣдскаго, а отчасти нѣкоторымъ техническимъ приѣмомъ, уловить который особенно удобно на эпизодѣ съ записками г. Мельштина. Въ томъ видѣ, какъ вы сейчасъ, въ третьемъ пунктѣ, прочитали, вопросъ г. Медвѣдскаго о татаринѣ Маразгали (а я его привелъ весь, отъ первой до послѣдней буквы), это есть вопросъ либо литературно-критическій, либо психологическій, либо, наконецъ, уголовно-антропологическій, и къ политической благонамѣренности или неблагонамѣренности его никакъ не пристропишь. Еще если-бы дѣло шло о политическомъ преступникѣ, ну тогда г. Медвѣдскій имѣлъ хоть поводъ натѣшиться вволю, а то простой полудикій татаринъ за тридевять земель отъ всякой политики. II, повторяю, если-бы я даже вынужденъ былъ признать фальшь въ изображеніи Маразгали, то г. Медвѣдскій могъ бы праздновать побѣду какъ критикъ и психологъ, а въ качествѣ представителя политической благонамѣренности ему все-таки не было бы никакого повода себя беззаконить. Но онъ думаетъ себѣ: «откатегориемъ усю систему», заразы уже. Устраиваетъ онъ этотъ кунштштюкъ слѣдующимъ образомъ (въ первой еще вылазкѣ). Онъ говоритъ о выдержанности направленія «Русскаго Богатства», объ излишествахъ свободы печати, которой не ставитъ надлежащихъ препонъ «не только предварительная, но и послѣдующая цензура»; блестяще фейерверкомъ «страшныхъ словъ» по поводу статей гг. Иванова и Н. К., патріотически застываетъ за до-Петровскую Русь и въ частности за Ивана Грознаго по поводу «Дневника журналиста», и такъ, между прочимъ, отмѣчаетъ записки г. Мельштина, «лишь для того, чтобы показать, какъ въ «Русскомъ Богатствѣ» старательно приговяютъ статью къ статьѣ». Вслѣдъ затѣмъ г. Медвѣдскій ставитъ послѣдній пунктъ своего обвинительнаго акта: «*Нечего и говорить* (на этотъ разъ курсивъ мой), что «литературно-общественныя замѣтки» г. Михайловскаго дополняютъ букетъ и по временамъ сообщаютъ ему особенную никантность». Понимаете, какой «букетъ» — подмигиваетъ г. Медвѣдскій: «нечего и говорить»! Все это было въ первой вылазкѣ. Нынѣ, въ «отвѣтѣ», когда г. Медвѣдскій нарочито хочетъ убѣдить читателей въ доказательности своихъ мнѣній и въ полной возможности опровергать ихъ въ печати, онъ уже прямо

подносить мнѣ титулъ «передового бойца надпольнаго анархизма». Къ сожалѣнію, въ подтвержденіе этой квалификаціи онъ не приводитъ ни единого слова изъ моихъ довольно многочисленныхъ писаній, такъ что я не знаю, какъ бы я сталъ его опровергать, если бы мнѣ это почему нибудь понадобилось. Хорошо, что мнѣ это никогда не понадобится, такъ какъ я чувствую себя укрытымъ отъ всякой непогоды: можетъ быть, и за мой «надпольный анархизмъ», но «г. Михайловскій имѣетъ право на признательность со стороны русскаго общества»,—ссылаюсь на авторитетъ г. Медвѣдскаго, того самаго г. Медвѣдскаго, который непреклонно стоитъ на стражѣ и не знаетъ снисхожденія. Но г. Мельшицъ не имѣетъ такой блестящей аттестаціи, а между тѣмъ и онъ, подъ шумокъ страшныхъ словъ, попалъ въ одинъ букетъ съ «передовымъ бойцомъ надпольнаго анархизма». Въ букетѣ стало однимъ цвѣткомъ больше. Если, однако, вы возьмете на себя трудъ поубрать въ сторону страшныя слова, которыя суть не болѣе, какъ гамлетовскія «слова, слова, слова», и сосредоточите свое вниманіе на «существѣ», какъ того требуетъ самъ г. Медвѣдскій, то увидите просто пустое мѣсто.

Это любопытно. Настолько любопытно, что мы можемъ теперь перейти къ нѣкоторымъ общимъ соображеніямъ, ради которыхъ собственно только и стоило удовлетворять любознательность г. Медвѣдскаго и вообще заниматься этимъ писателемъ, столь блистательно соединяющимъ въ своей особѣ благородство души и возвышенный и просвѣщенный умъ.

Послѣ смерти Каткова явились претенденты на то исключительное, небывалое положеніе, которое онъ, журналистъ и частный человѣкъ, занималъ не только въ литературѣ, а и въ жизни: г. Петровскій, кн. Мещерскій, разные «молодшіе», подручныя люди. Ни кому, однако, изъ нихъ не удалось достигнуть честолюбивой цѣли, да и не могло уdatся. Во-первыхъ, Катковъ былъ человѣкъ высоко образованный и обладалъ крупными природными дарованіями, какія не легко найти въ первомъ встрѣчномъ охочемъ человѣкѣ. Во-вторыхъ, Катковъ выдвинулся и занялъ свое исключительное положеніе, благодаря своей дѣятельности въ моментъ исключительной тоже исторической важности, въ моментъ польскаго возстанія, тѣмъ или другимъ исходомъ котораго надолго опредѣлялись судьбы не только Россіи, а и Европы, можно сказать, всего цивилизованнаго міра. Теперь намъ трудно даже представить себѣ ту перетасовку всѣхъ международныхъ отношеній и тѣ перемѣны во внутренней жизни всѣхъ государствъ, но крайней мѣрѣ, восточной Европы, которыя произошли бы, если бы исходъ польскаго возстанія былъ иной. Одно несомнѣнно: ничего, даже отдаленно, даже

хоть сколько-нибудь похожаго мы нынѣ не переживаемъ. А такъ какъ и качествъ надлежащихъ у сказанныхъ претендентовъ нѣтъ, то и выходитъ, что во всѣхъ отношеніяхъ охота смертная, да участь горькая. Нѣтъ, поэтому, ничего удивительнаго, если они «категоріяютъ усю систему» съ компрометирующею отвагою. Шаткость и двусмысленность ихъ положенія сказывается, между прочимъ, въ томъ фактѣ, что они хотѣли бы быть наслѣдниками не только Каткова, но вмѣстѣ съ тѣмъ и Аксакова, — предпріятіе невозможное.

Вотъ и г. Медвѣдскій упрекаетъ меня за то, что я цитировалъ одно мѣсто изъ сочиненій Аксакова, въ которомъ этотъ писатель говоритъ о значеніи свободы печатнаго слова и неудобствахъ ея стѣсненій, и не привелъ другого мѣста, которое гораздо больше нравится ему, г. Медвѣдскому. Станный, по малой мѣрѣ странный упрекъ. Я цитировалъ то, что подтверждало мою мысль, что мнѣ нужно было по ходу моей аргументаціи, и такъ, я полагаю, дѣлаютъ всѣ, да иначе вѣдь цитаты не имѣли бы никакого смысла. Тогда мнѣ было нужно одно, теперь нужно другое — и какъ разъ именно то мѣсто, которое такъ нравится г. Медвѣдскому. Вотъ слова Аксакова: «Мы убѣждены, что ничто не было бы гибельнѣе для того нашего либерализма, который лишь суевѣрно повторяетъ зады западной политической мысли, какъ такой просторъ рѣчи, при которомъ не приходилось бы ему вопить при всякомъ прямомъ возраженіи: «доносъ!», «инсинуація!», уклоняться отъ спора, прятать пустопорожность своей думы за многоточія и важно, между строкъ, намекать, что «сказалъ бы слово, да»...

Эти слова очень характерны для Аксакова, но они получаютъ свое полное значеніе лишь въ связи съ практическимъ выводомъ, изъ нихъ вытекающимъ, да и въ этой цитатѣ уже явственнымъ: слѣдовательно, этому нашему либерализму, суевѣрно повторяющему зады западно-европейской политической мысли, надо предоставить высказаться; въ свободѣ, которой онъ добивается, онъ найдетъ свою погибель, ибо онъ ложь и не устоитъ въ открытой борьбѣ съ истиной. Идеалистъ своего «свѣта съ востока», Аксаковъ безусловно вѣрилъ въ его самостоятельное, такъ сказать, единоличное, никѣмъ и ничѣмъ стороннимъ не вспомооществуемое торжество. Всякая такая сторонняя помощь оскорбляла и стѣсняла его. Само собою разумѣется, что его уваженіе къ свободѣ слова вытекало не только изъ желанія утопить въ ней либерализмъ, суевѣрно повторяющій и т. д. Въ представленіи Аксакова эта свобода входила въ самый составъ того «свѣта съ востока», въ который онъ вѣрилъ. Совсѣмъ независимо отъ какихъ бы то ни было полемиче-

скихъ цѣлей, онъ призывалъ ее и скорбѣлъ по ней и въ публицистическихъ статьяхъ, и въ стихотвореніяхъ, и въ частныхъ письмахъ. И въ этомъ отношеніи, какъ во многихъ другихъ, объ Аксаковѣ можно сказать пословицей: каковъ въ колыбельку, таковъ и въ могилку. И вотъ почему попытка опереться въ этомъ вопросѣ на Каткова и Аксакова одновременно—есть невозможное акробатическое предпріятіе.

XVIII *).

Объ Ибсенѣ, статья первая.

Въ числѣ иностранныхъ писателей, получившихъ у насъ въ послѣднее время большую извѣстность, одно изъ первыхъ мѣстъ занимаетъ Генрихъ Ибсенъ. Его драмы переводятся, ставятся на сцену, объ немъ говорятъ, пишутъ. Еще болѣе широкою популярностью пользуется онъ въ Западной Европѣ, и не только у себя на родинѣ и въ скандинавскихъ странахъ вообще, а и во Франціи, въ Германіи и, если не ошибаюсь, въ Италіи. Рядомъ съ восторженными отзывами идетъ, разумѣется, и хула, но фактъ во всякомъ случаѣ тотъ, что Ибсенъ представляетъ собою въ настоящее время одинъ изъ самыхъ яркихъ центровъ вниманія образованныхъ людей во всемъ мірѣ, одно изъ немногихъ международныхъ именъ, что-то говорящихъ уму и сердцу такъ называемой болыной публики на сѣверѣ и югѣ, на востокѣ и западѣ. Ясно, что какова бы ни была работа Ибсена въ другихъ отношеніяхъ, но ему удалось нащупать какой-то значительный пульсъ жизни. Этому нисколько не противорѣчитъ разнообразіе сужденій объ немъ. Великій-ли онъ писатель, соединяющій колоссальный талантъ съ свѣтлымъ умомъ и горячимъ сердцемъ, какъ думаютъ многіе, или скорѣе психопатъ и едва-ли не шарлатанъ, какъ утверждаетъ, напримѣръ, Максъ Нордау; пролагаетъ-ли онъ своими художественными приѣмами новые и притомъ лучшіе пути искусству, или же самъ себя мѣшаетъ своимъ символизмомъ,—объ этомъ можно разсуждать и спорить, но къ какому бы рѣшенію мы ни пришли, имъ не будетъ поколебленъ самъ по себѣ фактъ центральности Ибсена, фактъ силы тяготѣнія къ нему общаго вниманія. И разнообразіе сужденій только усугубляетъ интересъ задачи—разобраться въ его писаніяхъ.

Я долженъ признаться, что приступаю къ этой задачѣ далеко

*) Ноябрь, 1896.

не въ полномъ вооруженіи. Во-первыхъ, не зная подлинника, легко упустить изъ вида многое, быть можетъ, въ высшей степени характерное для даннаго писателя; а переводы, въ особенности нынѣшніе русскіе переводы, болышинство которыхъ отличается ремесленною небрежностью, а подчасъ и просто безграмотностью, часто являются не только не помощью въ этомъ отношеніи, а даже помѣхой. Затѣмъ, для исчерпывающей работы объ Ибсенѣ надлежитъ знать его мѣсто въ родной литературѣ, его предшественниковъ и современниковъ, тѣ корни, изъ которыхъ онъ выросъ, тѣ теченія, которыя имѣли на него вліяніе, и тѣ, которыя въ свою очередь вызваны его дѣятельностью. Ничего этого я не могу предложить читателю. Очень мало знакомъ я и съ литературой объ Ибсенѣ. Судя по ссылкамъ и цитатамъ, литература эта количественно, а можетъ быть и качественно, довольно значительна. Но изъ всѣхъ сколько-нибудь пристально вглядывавшихся въ Ибсена я знаю только Нордау (глава «Der ibsenismus» во второмъ томѣ «Etar-tung»), да Горна и Швейцера (Ф. В. Горнъ «Исторія скандинавской литературы отъ древнѣйшихъ временъ до нашихъ дней». Съ приложеніемъ этюда Ф. Швейцера „Скандинавское творчество новѣйшаго времени“. Изданіе К. Т. Солдатенкова). Затѣмъ мнѣ попадались только бѣглыя журнальныя (въ «Артистѣ») и газетныя замѣтки. Неизвѣстны мнѣ также стихотворенія Ибсена и его письма, опубликованныя Брандесомъ. Конечно, если бы я имѣлъ въ виду всесторонне исчерпать предметъ, мнѣ надлежало бы пополнить свой багажъ. Слѣдовало бы, можетъ быть, по крайней мѣрѣ дожидаться «вступительной статьи» г. Веселовскаго, обѣщанной къ предпринятому г. Юровскимъ шеститомному изданію Ибсеновыхъ драмъ въ русскомъ переводѣ. Но вотъ уже и третій томъ изданія г. Юровскаго вышелъ, а вступительной статьи г. Веселовскаго все еще нѣтъ, да и общается на обложкѣ этого третьяго тома уже не «вступительная статья», а только «біографическій очеркъ, составленный проф. Алексѣемъ Н. Веселовскимъ». И такъ какъ я не мечтаю объ исчерпывающей работѣ, то позволяю себѣ не дожидаться этого біографическаго очерка и вообще считаю, для предположенной цѣли, достаточнымъ знакомство съ слѣдующими произведеніями самого Ибсена. Привожу списокъ ихъ теперь же съ указаніемъ изданій во избѣжаніе ссылокъ въ теченіи статьи:

«Нора», «Столпы общества», «Привидѣнія» (первый томъ изданія г. Юровскаго); «Союзъ молодежи», «Дикая утка», «Комедія любви» (второй томъ того же изданія); «Сѣверные богатыри», «Праздникъ въ Сольгаугѣ», «Ингеръ изъ Эстрота», «Претенденты на корону» (третій томъ).— «Эдда Габлеръ». Пер. С. Л. Степановой. Изданіе А. А. Алексѣева. М. 1891.— «Эллида». Пер. В. М. Спас-

ской, въ «Артистѣ» 1891 г.—«Докторъ Штокманъ». Пер. Н. Миновичъ, тамъ же.—«Счастливецъ (Строитель Сольнесъ)». Пер. П. Ганзена. Изданіе Я. Бермана. Спб. 1893.—«Маленькій Эйольфъ». Изданіе А. С. Суворина. Спб. 1895.—«Peer Gyut» и «Brand» въ нѣмецкомъ переводѣ.—«Rosmersholm» и «Emperenr et Galiléen» во французскомъ переводѣ.

Нѣсколько словъ о русскихъ переводахъ. Не могу судить объ ихъ точности, близости къ подлиннику, но что касается собственно русскаго языка, то есть переводы по истинѣ непозволительные. Нѣкоторые переводчики, напримѣръ, упорно пишутъ: «что съ того?» и «съ чего ты будешь жить?» вмѣсто «что изъ того?» и «чѣмъ, на какія средства жить». Не говорю уже объ употребленіи родительнаго падежа во фразахъ такого рода: «вы не можете употреблять своего свободнаго времени» (изданіе Юровскаго, т. I, 106); «я не допущу такъ пачкать своего добраго имени» (тамъ же, 141) и т. п. Въ «Столпахъ общества» много разъ поминается «большой свѣтъ» совершенно непонятно въ какомъ смыслѣ. Въ «Союзѣ молодежи» одно изъ дѣйствующихъ лицъ, приглашая собесѣдника изъ парка въ палатку, называетъ почему-то эту палатку «серединой»: «не зайти-ли намъ туда, въ «середину» (24), а другое дѣйствующее лицо называетъ «серединой» столовую (36). Повидимому, «середина» означаетъ тутъ внутренность жилья. Въ «Претендентахъ на корону» находимъ, напримѣръ, такую фразу: «развѣ съ нимъ ибѣтъ много воинновъ?» (381) и т. д., и т. д. Къ сожалѣнію, едва-ли не худшимъ изъ переводчиковъ является самъ издатель, г. Юровский; потому къ сожалѣнію, что не только онъ самъ переводитъ нѣкоторыя драмы, но еще «всѣ переводы, при которыхъ не указаны имена переводчиковъ, редактированы по датскому тексту» имъ же. Бѣда не въ отдѣльныхъ лишь грамматическихъ безобразіяхъ въ родѣ вышеприведенныхъ, а и въ томъ, что чуть не цѣлыя страницы (напримѣръ, въ «Комедіи любви») являются какимъ-то непонятнымъ наборомъ словъ. «Комедія любви» въ подлинникѣ написана стихами, а переведена прозой. Это бы еще не бѣда, но эта проза до крайности плоха. Наоборотъ, «Сѣверные богатыри», написанные въ оригиналѣ прозой, переведены мѣстами какою-то странною, полуритмическою рѣчью. Впрочемъ, что касается грамматики, это одинъ изъ хорошихъ переводовъ.

Свой обзоръ драмъ Ибсена мы начнемъ съ одной изъ самыхъ запутанныхъ—съ «Строителя Сольнеса», и читатель, надѣюсь, не посѣтуетъ за довольно подробное изложеніе ея. Но для опредѣленія границъ анализа этой драмы и задачи предлагаемой статьи вообще, приведу сначала нѣсколько словъ изъ статьи г. Д. М.

«Женскіе типы въ произведеніяхъ Ибсена», напечатанной въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» (№№ 191 и 209 за 1896 г.):

«Сольнесъ» — одна изъ наименѣ понятныхъ и симпатичныхъ пьесъ Ибсена. Символика въ ней настолько туманна, что изъ лежащихъ передъ нами четырехъ отзывовъ о драмѣ три даютъ различные объясненія, а четвертый (принадлежащій Сарсэ) отказывается отъ анализа. Главное дѣйствующее лицо въ теченіе трехъ періодовъ своей жизни строитъ сначала церкви и колокольни, потомъ семейные дома, потомъ, наконецъ, воздушные замки на каменномъ основаніи. Являются ли эти три періода символомъ различныхъ эпохъ человѣческой сознательной жизни, или они символизируютъ жизнь генія, или ходъ научно-философскаго развитія — сказать трудно. Мы склонны были бы видѣть въ нихъ автобіографическія черты, указанія на литературную дѣятельность самого Ибсена, провозглашавшаго сначала устами Бранда религіозныя истины и требовавшего преклоненія передъ долгомъ, затѣмъ попробовавшаго строить семейное счастье на началахъ истины и разрушенія «жизненной муки», и, наконецъ, убѣдившагося въ томъ, что построенное, повидимому, на такомъ крѣпкомъ основаніи счастье не болѣе, какъ воздушный замокъ, который долженъ рушиться при первой попыткѣ взойти на него. Таковъ дѣйствительно печальный ходъ ибсеновскихъ идей о необходимости правды, разрушенной имъ же самимъ въ «Дикой уткѣ», «Росмерсгольмѣ» и т. д. Но видѣть автобіографію въ «Сольнесѣ» препятствуютъ крайне несимпатичныя черты, которыми обрисовано главное лицо: мегаломанія, завистливость, мелкая расчетливость и т. п.»

Въ цитатѣ этой затронуты тѣ именно стороны дѣла, которыя насъ занимать не будутъ. Мы не будемъ ломать себѣ головы надъ разгадкой символики Ибсена; не будемъ, напримѣръ, стараться прибавить еще одно объясненіе символовъ «Строителя Сольнеса» къ тѣмъ тремъ или четыремъ, которыя, по словамъ г. Д. М., уже имѣются въ литературѣ; останемся даже въ неизвѣстности относительно этихъ уже имѣющихся объясненій. Равнымъ образомъ оставимъ мы въ сторонѣ и исторію развитія идей Ибсена. Это, безспорно, очень интересная задача, но, по вышеизложеннымъ причинамъ, я не могу за нее взяться. Замѣчу только, что едва-ли правъ г. Д. М., говоря, что Ибсенъ «сначала» провозглашалъ устами Бранда тѣ или другія истины. «Брандъ» появился въ 1866 г. и до него Ибсенъ издалъ шесть большихъ драмъ, въ которыхъ нѣкоторыя основныя черты его міросозерцанія и творчества выразились уже съ полною ясностью. Эти нѣкоторыя черты проходятъ красною нитью черезъ всѣ произведенія Ибсена, и только онѣ и будутъ насъ занимать,

независимо отъ хронологическаго порядка, въ какомъ писались и появлялись въ печати разбираемыя драмы.

Гальвардъ Сольнесъ—архитекторъ, но онъ называется не архитекторомъ, а строителемъ, потому что не получилъ спеціальнаго образованія. Онъ и вообще, повидимому, самоучка, происходитъ изъ крестьянской семьи и когда-то работалъ подъ началомъ у архитектора или, можетъ быть, также строителя Кнуда Бровика. Но въ настоящее время онъ знаменитость, и самъ Кнудъ Бровикъ, и его сынъ, подающій надежды молодой человѣкъ Рагнаръ, работаютъ уже въ свою очередь подъ его началомъ и руководствомъ. Онъ ихъ «растонталъ» въ своемъ счастливомъ шествіи по жизненному пути. Пробилая строитель Сольнесъ на свою тенерешнюю высоту отчасти, конечно, благодаря своему таланту, а отчасти благодаря случаю, позволившему ему развернуть свой талантъ въ широкихъ размѣрахъ. Жена его получила въ наслѣдство старый родовой домъ, въ которомъ выросла. Это было большое безобразное деревянное зданіе съ большимъ садомъ. Домъ этотъ сгорѣлъ, и на его мѣстѣ, разбивъ садъ на небольшіе участки, Сольнесъ сталъ строить виллы по своему вкусу. Съ этого онъ и пошелъ въ гору. Однако, пожаръ женина дома былъ для него источникомъ и горя. Пожаръ произошелъ въ холодную зимнюю ночь. Жена Сольнеса испугалась и, кромѣ того, простудилась, у нея испортилось молоко, а она непременно хотѣла сама кормить двухъ своихъ малютокъ близнецовъ, и малютки умерли. Съ тѣхъ поръ Алина (жена Сольнеса) не можетъ утѣшиться. Сольнесъ строить новый домъ на мѣстѣ стараго, лучше и красивѣе, но это не радуетъ Алину. Она прямо говоритъ мужу: «Сколько бы ты ни строилъ, Гальвардъ, для меня тебѣ никогда не выстроить вновь родного дома».

Но у Алины есть и другіе источники страданія. Не даромъ она—«худощавая, преждевременно увядшая отъ горя женщина» и «говоритъ медленно и какъ-то жалобно». Сольнесъ слабъ (а отчасти, можетъ быть, слѣдуетъ сказать, наоборотъ: «сильнѣе») по части женскаго пола, и Алина перѣдко имѣла болѣе или менѣе основательные поводы ревновать мужа. Въ началѣ драмы она ревнуетъ Сольнеса къ Кайѣ Фосли, невѣстѣ Рагнара Бровика, тоже работающей въ конторѣ Сольнеса. Женитьба Рагнара и Кайи рѣшена уже давно, и когда-то, до поступленія на службу къ Сольнесу, Кайя очень любила своего жениха, но съ тѣхъ поръ Сольнесъ («пемолодой уже человѣкъ, но крѣпкій и здоровый»), по выраженію Рагнара, «взялъ всю ея душу». Сольнесъ же ведетъ себя съ ней онялѣ недостойнымъ образомъ: ласкается ей, даетъ ей понять, что

до известной степени отвѣчать ся чувствамъ, а между тѣмъ не только къ ней равнодушенъ, но и держитъ ее у себя въ конторѣ по совершенно стороннимъ и при томъ недоброкачественнымъ соображеніямъ. И Рагнаръ, и его отецъ Кнудъ Бровикъ—способные и свѣдущіе люди, каждый въ своемъ родѣ; они нужны Сольнесу, и онъ боится, что, женившись на Кайѣ Рагнеръ уйдетъ отъ него и начнетъ самостоятельное дѣло. Мало того, Сальнесъ боится конкуренціи Рагнара, вообще боится конкуренціи: «Тотъ-ли, другой-ли—говоритъ онъ—явится сюда и потребуетъ: уступи мнѣ дорогу! А за нимъ нахлынетъ цѣлая толпа съ криками, съ воплями: дорогу! дорогу! мѣсто намъ!.. Тогда конецъ строителю Сольнесу». Поэтому-то Сольнесъ и ведетъ двусмысленную политику съ Кайей, а кромѣ того самымъ жестокимъ образомъ отказывается сдѣлать одобрительную надпись на самостоятельныхъ чертежахъ и смѣтахъ Рагнара. Въ концѣ концовъ онъ, хотя и поздно, дѣлаетъ, однако, эту надпись, благодаря требованію новаго дѣйствующаго лица, Гильды Вангеля.

Десять лѣтъ тому назадъ Сольнесъ строилъ въ чужомъ городѣ церковь съ высокой башней. Въ торжественный день окончанія постройки онъ взобрался по неубраннымъ еще лѣсамъ на самую вершину башни и повѣсилъ на шпигъ вѣнокъ. Въ числѣ зрителей была 12—13-лѣтняя дѣвочка Гильда Вангель. Она поразила видомъ строителя на вершинѣ башни, пріукрасила его своей дѣтской фантазіей и до мельчайшихъ подробностей запомнила все, что происходило въ этотъ день. А происходило, между прочимъ, вотъ что. Послѣ окончанія церемоніи Сольнесъ былъ у отца Гильды, окружного врача Вангеля (дѣвочка Гильда, дочь окружного врача Вангеля, фигурируетъ и въ «Элидѣ»), сказалъ ей, что она «прелестна въ бѣломъ платьѣ, похожа на маленькую принцессу», поцѣловаль ее и общалъ черезъ десять лѣтъ похитить ее и купить ей королевство «Апельсинію». Все это Гильда запомнила, и вотъ ровно черезъ десять лѣтъ, изъ числа въ число (19 сентября), сама является къ Сольнесу и требуетъ обѣщаннаго королевства; но уже не шуточной «Апельсиніи» и не настоящаго какого-нибудь королевства: «вѣдь — говоритъ она, — нѣтъ нужды, чтобы это было непременно настоящее обыкновенное королевство». Подъ королевствомъ Гильда, теперь уже 22—23-лѣтняя дѣвушка, разумѣетъ любовь Сольнеса, но того или такого Сольнеса, какого она видѣла десять лѣтъ тому назадъ, въ ореолѣ славы, высоко надъ толпой, на вершинѣ созданной имъ церковной башни. Но Сольнесъ уже не тотъ. Онъ уже давно не строитъ ни церковныхъ башенъ, ни церквей, онъ строитъ только «дома, семейные очаги для людей». Онъ напуганъ жизнью, напуганъ, если хотите, своимъ счастьемъ въ смыслѣ удачливости и

боится «возмездія» за него. «Возмездія» этого онъ ждетъ отъ «юности», которая затретъ его, и въ лицѣ Рагнара Бровика является уже въ видѣ осязательнаго образа. Но когда «юность постучалась въ дверь» въ лицѣ Гильды Вангель — союзницы и восторженной поклонницы. Сольнесъ пріободрился: «юность противъ юности!» Однако, именно Гильда и оказывается причиною его гибели. Восторженная дѣвушка требуетъ отъ него подвиговъ во имя того же обѣщанія купить ей королевство. Она говоритъ ему и колкости: «Мой замокъ долженъ лежать высоко, высоко. И на полномъ просторѣ. Чтобы можно было видѣть далеко, далеко вокругъ... А на самомъ верху башни балконъ... Тамъ, на этой высотѣ хочу я стоять и смотрѣть внизъ на тѣхъ... кто строятъ дома, семейные очаги для напавши съ мамашей и дѣтокъ». И если Сольнесъ не строитъ уже больше ни церквей, ни башенъ, а только дома, то не можетъ-ли онъ, по крайней мѣрѣ, строить что-нибудь «въ родѣ башенъ на домахъ», «нѣчто такое, что бы такъ же свободно стремилось въ высь: съ флюгеромъ на захватывающей духъ высотѣ». Какъ разъ въ день этого разговора, вечеромъ оканчивается постройка новаго дома Сольнеса, украшеннаго высокой башней. Гильда въ восторгѣ и требуетъ, чтобы Сольнесъ, какъ десять лѣтъ тому назадъ, взобрался по лѣсамъ на эту башню и собственноручно повѣсилъ вѣнокъ на шпигъ. Сольнесъ колеблется, но въ концѣ концовъ исполняетъ требованіе и—падаетъ съ высоты, разбивается на смерть.

Таковъ голый остоѣтъ «Строителя Сольнеса». Мы сейчасъ обратимся къ нѣкоторымъ психологическимъ подробностямъ, одухотворяющимъ его, вносящимъ въ него жизнь и смыслъ. Но сначала нѣсколько мелкихъ замѣчаній объ этомъ остоѣтъ въ связи съ нѣкоторыми другими произведеніями Ибсена.

Когда Сольнесъ и Гильда вспоминаютъ то, что пронесло десять лѣтъ тому назадъ, Сольнесъ говоритъ о своемъ подъемѣ на церковную башню: *«такая у меня была привычка въ тѣ времена, это вѣдь старинный обычай»*. Изъ этого слѣдуетъ, что онъ всегда взбирался на вершины своихъ построекъ. Между тѣмъ дальше оказывается, что онъ сдѣлалъ это всего одинъ разъ въ жизни: «я никогда не могъ свободно входить на вершину, но въ тотъ день я взомелъ»; въ тотъ день онъ совершилъ «невозможное». И Рагнаръ Бровикъ свидѣтельствуетъ, что это былъ «единственный» разъ, вызвавшій въ свое время много разговоровъ. И Алина, уговаривая мужа не лѣзть на башню, замѣчаетъ: «ты не можешь даже стоять тутъ на балконѣ, во второмъ этажѣ; и всегда ты такимъ былъ». Словомъ, никогда у Сольнеса не было той «привычки», о которой онъ говоритъ Гильдѣ. Но это не ложь Сольнеса. — его слова о «привычкѣ» не играютъ никакой роли въ драмѣ. — это

просто авторскій недосмотръ, свидѣтельствующій о крайней торопливости творчества.

Торопливость эта сказывается почти во всѣхъ драмахъ Пбсена, и не только подобными мелкими недосмотрами, а и въ самой обработкѣ характеровъ дѣйствующихъ лицъ, и въ постановкѣ ихъ взаимныхъ отношеній. Въмѣстѣ съ авторомъ торопятся и дѣйствующія лица. 19-го сентября Сольнесъ общалъ маленькой Гильдѣ черезъ десять лѣтъ явиться къ ней и подарить королевство. Если она такъ или иначе вѣрила въ это общаніе, то ей, повидимому, надлежало черезъ десять лѣтъ 19-го сентября спдѣть дома и ждать. А между тѣмъ она 19-го сентября уже сама явилась къ Сольнесу, да еще послѣ какого-то путешествія, и все-таки упрекаетъ строителя: «десять лѣтъ минули, а вы не явились, какъ обѣщали мнѣ». Барышня, очевидно, очень нетерпѣлива. Далѣе, первое дѣйствіе «Строителя Сольнеса» происходитъ вечеромъ (горятъ лампы), время второго дѣйствія указано въ ремаркѣ—«около полудня», а въ тотъ же день вечеромъ драма оканчивается драгическою смертію Сольнеса. Это не случайность, не особенность именно «Строителя Сольнеса». Въ большинствѣ драмъ Пбсена—два, три дня, и наступаетъ предположенный авторомъ конецъ, при чемъ съ дѣйствующими лицами происходятъ коренные нравственные перевороты (напримѣръ, съ Гюнтеромъ въ «Норѣ», не говоря уже о самой Норѣ, съ Фалькомъ въ «Комедіи любви», съ Маргитъ въ «Праздникѣ въ Сольгаугѣ» и проч.), разрѣшаются недоразумѣнія, длившіеся цѣлые годы («Сѣверные богатыри», «Росмерсгольмъ», «Дикая утка», «Эллада» и т. д.) и вообще происходитъ столько чрезвычайныхъ событій, сколько ихъ въ жизни едва ли когда-нибудь бываетъ въ такое короткое время. Такая непомѣрная быстрота дѣйствія достигается искусственною подтасовкою фактовъ, событія происходятъ, такъ сказать, по щучьему велѣнію, по авторскому прошенію. Такъ, въ «Строителѣ Сольнесѣ» Гильда является какъ разъ наканунѣ окончанія постройки дома Сольнеса или, вѣрнѣе, авторъ постарался окончить постройку къ появленію Гильды. Иногда эта наивная торопливость автора и дѣйствующихъ лицъ производитъ рѣзко антихудожественное впечатлѣніе. Такъ, въ «Эддѣ Габлерѣ» Левборгъ, появляясь въ гостиной Тесмана, по истинѣ ни съ того, ни съ сего вытаскиваетъ изъ кармана рукопись своей книги. Но автору хочется поскорѣе заявить читателямъ или зрителямъ о существованіи этой рукописи, играющей столь роковую роль въ драмѣ, и онъ не стѣсняется. Еще меньше стѣсняется онъ позже, когда рукопись уже сожжена и Левборгъ застрѣлился. Только что пришло извѣстіе о неожиданной смерти Левборга. Этимъ, конечно, должна быть особенно поражена безумно влюбленная въ него г-жа Эльфштедъ, дама

вообще чрезвычайно пѣжкая и чувствительная. Она и поражена, и тѣмъ не менѣе тутъ же, сію же минуту, среди всеобщаго смятенія принимается разбирать вмѣстѣ съ Тесманомъ черновые наброски погибшей рукописи Левборга, каковыя наброски необыкновенно кетати оказываются у нея въ карманѣ...

Нѣкоторыя другія наивности творчества Ибсена мы еще увидимъ. А теперь замѣтимъ, что въ искусственно быстромъ потокѣ событій въ драмахъ Ибсена характеры дѣйствующихъ лицъ не успеваютъ сложиться въ законченныя типическія фигуры. Лица вводныя, побочныя, стоящія болѣе или менѣе въ сторонѣ отъ водоворота (именно водоворота!) событій, часто очень удаются Ибсену. Таковъ, напримѣръ, трогательный образъ доктора Ранка въ «Норѣ», комическая фигура Гильмара въ «Столпахъ общества», Гейре въ «Союзѣ молодежи», Лингстранъ въ «Элидѣ». Но не на нихъ сосредоточивается вниманіе читателя или зрителя и не ими, главнымъ образомъ, занятъ авторъ. Это просто такъ, мимоходящіе люди. Что же касается центральныхъ фигуръ въ драмахъ Ибсена, то между ними пѣтъ ни одной, которая по яркости законченности могла бы выдержать хоть какое-нибудь сравненіе съ Гамлетомъ или Отелло, Фаустомъ или Вагнеромъ, Орлеанскою дѣвой или маркизомъ Позой, Тартюфомъ или Донъ-Жуаномъ. Именно главные дѣйствующія лица Ибсена, какъ художественные образы, страдаютъ какою-то блѣдною немочью, окутаны какимъ-то загадочнымъ туманомъ, не смотря на то, что нужныя автору черты подчеркиваются въ нихъ часто съ чрезмѣрною и потому опять-таки анти-художественною рѣзкостью. Герои Ибсена часто говорятъ о своихъ стремленіяхъ, намѣреніяхъ, планахъ, говорятъ чрезвычайно горячо и, повидимому, убѣжденно, но, за малыми исключеніями, весь поражаетъ крайняя неопредѣленность, туманность ихъ выраженій. Особенно часто говорятъ они о своемъ стремленіи «въ высь» или «на просторъ», и эта высь или этотъ просторъ символизируются то моремъ, какъ, напримѣръ, въ «Элидѣ», то горами, какъ въ «Маленькомъ Эйольфѣ», то высокими башнями, какъ въ «Строителѣ Сольнесѣ» и т. п. При этомъ символъ слишкомъ, если можно такъ выразиться, капризно, не мотивированно то вилотную сливается съ реальнымъ образомъ или картиною, то рѣзко отъ нихъ отдѣляется. Строитель Сольнесъ самымъ реальнымъ образомъ лѣзетъ на башню и, падая съ нея, разбивается: «Между деревьями мелькаютъ летящіе съ высоты обломки досокъ и человѣческое тѣло, г-жа Сольнесъ шатается и падаетъ навзничъ на руки дамъ; толпа на улицѣ ломаетъ изгородь и врывается въ садъ; докторъ спѣшитъ туда же». А между тѣмъ вся бесѣда Сольнеса съ Гильдой, вызвавшая эту катастрофу, всѣ эти разговоры о высокихъ башняхъ, замкахъ, «воздушныхъ замкахъ», «воздушныхъ

замкахъ на каменномъ фундаментѣ» — имѣть исключительно символическій характеръ. Вѣдь этого символизма предпріятіе Сольнеса влѣзть по лѣсамъ на башню есть простая нелѣпность: не въ томъ же состоитъ достоинство художника архитектора, чтобы уподобиться кровельщику или матросу и не страдать головокруженіемъ на огромной высотѣ. Но не только восторженная Гильда, для которой странный подвигъ строителя Сольнеса имѣетъ особенное, чисто личное значеніе, а и Рагнаръ Бровикъ и нѣкоторые другіе зрители видятъ въ попыткѣ Сольнеса дѣйствительно подвигъ архитектора. «Онъ не смѣетъ подняться на свой собственный домъ», — злобно говоритъ Рагнаръ. — «онъ не дойдетъ и до полуты, какъ у него все завертится въ глазахъ: придется ему сползть оттуда на четверенькахъ!» А когда Сольнесъ все-таки взобрался, Рагнаръ замѣчаетъ: «Такъ все-таки у него хватило силы!» Въ «Перѣ Гинтѣ», повидимому, навѣянномъ второю частью Гетевского «Фауста», символизмъ достигаетъ чудовищныхъ размѣровъ: но это было бы все-таки удобнѣе, чѣмъ незаконная помѣсь символизма съ реализмомъ, если бы не множество заимствованій изъ мало извѣстныхъ за предѣлами Норвегіи повѣрій и легендъ. По словамъ нѣмецкаго переводчика, самъ Пбсенъ видитъ въ главномъ дѣйствующемъ лицѣ этого «драматическаго стихотворенія» (не драмы) символическое изображеніе норвежскаго народа.

Туманности героевъ Пбсена способствуетъ еще его тяготѣніе къ таинственнымъ, необъяснимымъ или еще недостаточно объясненнымъ явленіямъ. Сольнесъ вѣритъ въ существованіе «исключительныхъ, избранныхъ натуръ, которымъ дана власть и способность пожелать, захотѣть чего-нибудь такъ упорно, такъ непреклонно, что оно дается имъ наконецъ». Онъ самъ принадлежитъ къ числу такихъ избранныхъ натуръ и имѣетъ къ тому вѣскія доказательства. Вотъ какъ онъ рассказываетъ доктору Гердалю объ отношеніяхъ къ нему Кайи Фосли. Мы видѣли, что изъ ревности и страха конкуренціи онъ не хочетъ, чтобы Рагнаръ Бровикъ началъ самостоятельное дѣло, и желаетъ держать его, въ качествѣ помощника, при себѣ. Однажды, въ его присутствіи, къ Рагнару пришла невѣста, Кайя, которой Сольнесъ до тѣхъ поръ совсѣмъ не зналъ. И вотъ, — рассказываетъ Сольнесъ, — «увидѣвъ я тутъ, какъ эти двое льнуть другъ къ другу, и явился у меня мысль: вотъ если бы заполучить ко мнѣ въ контору ее, тогда и Рагнаръ усидѣлъ бы, пожалуй... Но я и не заикнулся объ этомъ. Я только такъ стоялъ, смотрѣлъ на нее и *думалъ* и *желалъ отъ души* имѣть ее у себя на службѣ. Потомъ я переклинулся съ ней парой, другой дружескихъ словъ о томъ, о семь... И затѣмъ она ушла». А на другой день пришла, какъ будто бы у нихъ уже былъ разговоръ объ томъ, объ чемъ *только думалъ* Сольнесъ, и

прямо спросила, въ чемъ будутъ состоятъ ея занятія въ его конторѣ. «Я замѣчаю, — продолжаетъ строитель, — что она чувствуетъ, если я смотрю на нее сзади; вся дрожить и трепещеть, какъ только я подхожу къ ней».

Не безъ этого таинственнаго элемента обходится и исторія съ Гильдой. Но въ обоихъ этихъ случаяхъ, принимая въ соображеніе намеки доктора Гердаля на нѣкоторыя другія любовныя приключенія Сольнеса («я знаю, — говоритъ Гердаль, — что вы на своемъ вѣку имѣли дѣло со многими женщинами»), слѣдуетъ, можетъ быть, видѣть варианты того факта, что Сольнесъ вообще производитъ сильное впечатлѣніе на женщинъ. Однако, не только въ этого рода дѣлахъ сказывается «исключительность, избранность» его натуры. Не сирота сгорѣлъ и домъ жены Сольнеса. Строитель не то, чтобы прямо желалъ этого пожара, но часто думалъ объ томъ, что хорошо бы было, если бы домъ сгорѣлъ, и онъ могъ бы строить на его мѣстѣ небольшіе дома по своему вкусу и тѣмъ выдвинуться, какъ архитекторъ. Онъ даже намѣтилъ трещину въ дымовой трубѣ, объ которой шло, кромѣ него, не зналъ и которая могла стать причиною пожара. Онъ смаковалъ картину пожара и хотя подумывалъ велѣть исправить трубу, но — говоритъ онъ — «каждый разъ, какъ я хотѣлъ заняться этимъ, какъ будто кто толкалъ меня подъ руку». Пожаръ произошелъ отъ совсѣмъ другой причины и даже не въ той сторонѣ начался, но все-таки исполнилось тайное упрямое желаніе Сольнеса, и онъ построилъ на мѣстѣ сгорѣвшаго дома что хотѣлъ, и прославился. Сольнесъ готовъ вѣрить, что ему помогаютъ духи. «А кто вызвалъ ихъ? я! И они пришли и подчинились моему волѣ».

Смерть «маленькаго Эйольфа» въ драмѣ того-же названія есть тоже результатъ таинственныхъ, магическихъ причинъ. Болѣзненный, слабый, хромой, но бодрый духомъ, бойкій мальчикъ утонулъ. Читателю предлагаются два объясненія этого несчастія на выборъ, но можно принять и оба одновременно. Въ домъ родителей Эйольфа является старуха, «баба-крысоловка», странное, почти страшное созданіе. Она предлагаетъ свои услуги, въ которыхъ, однако, не оказывается надобности. Она занимается истребленіемъ крысъ и мышей. Дѣлаетъ она это съ помощью своей собачки, москы, и именно слѣдующимъ образомъ: она привязываетъ къ ошейнику москы веревочку и обводитъ ее три раза по всему дому, а сама въ это время играетъ на лютнѣ; крысы и мыши вылѣзаютъ изъ норъ; старуха садится въ лодку и, продолжая играть на лютнѣ, гребетъ къ глубокому мѣсту; москка плыветъ сзади, а слѣдомъ за ней, влекомая таинственною силой, плывутъ крысы и мыши и, наконецъ, тонутъ. Такъ рассказываетъ сама «крысоловка» и при-

бавляеть, что когда-то она умѣла и безъ моськи обходиться и при-
манивать мужичиъ, «одного въ особенноти», своего «милаго
дружка», который теперь лежитъ «тамъ, на глубинѣ, подъ водой,
вмѣстѣ съ крысами». Появленіе старухи, ея разсказъ, видъ, ма-
нера говорить — производятъ на всѣхъ тяжелое впечатлѣніе, въ
особенности на маленькаго Эйольфа. Старуха приглашаетъ его по-
дойти поближе къ собачкѣ, выглядывающей изъ мѣшка. Происхо-
дитъ такая сцена:

Баба-крысоловка (киваетъ и подмигиваетъ Эйольфу). Подойдите поближе,
не бойтесь, мой маленькій раненный воиъ. Она не кусается. Подходите,
подходите!

Эйольфъ (цѣпляется за платье Асты). Нѣтъ, я ни за что не рѣшусь.

Баба-крысоловка. Ну, полно, мой маленькій баринъ! Собачка, право доб-
рая и хорошенькая такая!

Эйольфъ (недовѣрчиво показывая на нее пальцемъ). Это она-то добрая?

Баба-крысоловка. Ну да, конечно.

Эйольфъ (вполголоса, не сводя глазъ съ собачки). Я никогда не видывалъ
такого страшнѣща.

Баба-крысоловка (закрывая мѣшокъ). О, потому сами такъ придете, придете.

Эйольфъ (подходя противъ воли и поглаживая мѣшокъ). А вѣдь правда
она чудо, чудо какая прелесть!

Тотчасъ послѣ ухода бабы-крысоловки, Эйольфъ «незамѣтно
исчезаетъ» въ ту же дверь, въ которую и она вышла. Приходитъ
Борхгеймъ и затѣмъ уходитъ вмѣстѣ съ Астой. Родители Эйольфа,
супруги Альмеры, остаются одни. Между ними завязывается раз-
говоръ, среди котораго страстная и ревнивая Рита въ безумномъ
порывѣ выражаетъ, между прочимъ, желаніе, чтобы ихъ сына Эй-
ольфа, отвлекающаго часть любви Альмерса, — «не было». И вслѣдъ
затѣмъ — во исполненіе ли желанія Риты, какъ исполняются же-
ланія строителя Сольнеса, или же подъ магическимъ вліяніемъ бабы-
крысоловки съ ея моськой, или, наконецъ, по совокупности этихъ
обстоятельствъ — маленькій Эйольфъ утонуть...

Въ драмѣ «Элида», въ концѣ испорченной капризнымъ то сов-
паденіемъ, то раздвоеніемъ символизма и реализма, героиня нахо-
дится подъ вліяніемъ очень сложныхъ чаръ — символическаго моря,
реальнаго моря и, наконецъ, «незнакомца», который называется и
незнакомцемъ, и Фриманомъ, и Альфредомъ Джонстономъ. Этотъ чело-
вѣкъ имѣетъ надъ Элидой страшную власть, которую ея мужъ, *врачъ*
Вангель, считаетъ «необъяснимою». «во всякомъ случаѣ необъясни-
мою въ настоящее время». На вопросъ «вѣрить-ли онъ подобнымъ
вещамъ?» онъ отвѣчаетъ: «я не вѣрю имъ, но и не отрицаю ихъ;
я просто не знаю; поэтому я и не пытаюсь объяснять ихъ».

Итакъ, чрезмѣрная быстрота дѣйствія въ связи съ искусственною подгонкою фактовъ; неопредѣленность стремлений, плановъ, цѣлей героевъ; символизмъ, при томъ символизмъ невыдержанный, незаконно переиллюстрирующійся съ реализмомъ; тяготѣніе къ таинственному, необъяснимому, — таковы нѣкоторые изъ чертъ творчества Ибсена, затрудняющихъ пониманіе самой сути, живого зерна его драмъ. Но зерно это все-таки открыть можно.

Обратимся опять къ «Строителю Сольнесу». Въ русскомъ переводѣ драма эта имѣетъ еще другое заглавіе: «Счастливецъ». И, дѣйствительно, строитель Сольнесъ, повидимому, вполнѣ «счастливецъ»: такъ ему везетъ въ жизни, такъ неукоснительно исполняются все его желанія. Однако, онъ трепетно ждетъ «возмездія» за свое счастье, да ужъ и несетъ его въ своей истощенной угрызениями совѣсти. Успѣхи свои онъ приписываетъ своей «избранности», «исключительности» своей натуры и, какъ мы видѣли, готовъ вѣрить, что ему повинуются «духи», что среди нихъ онъ имѣетъ усердныхъ «помощниковъ и слугъ». Онъ, молча, пожелалъ, чтобы Кайя Фосли стала служить у него въ конторѣ, — и она служить, но это произошло въ ущербъ интересамъ Рагнара Бровика и его старика-отца. Онъ пожелалъ, чтобы домъ его жены сгорѣлъ, — и домъ сгорѣлъ, но изъ за этого умерли его малютки и осталась навсегда неутѣшная жена. «У нея вѣдь тоже было свое призваніе въ жизни», съ горечью говоритъ Сольнесъ, — призваніе растить и воспитывать дѣтей. «Но ея призванію суждено было быть уничтоженнымъ, исковерканнымъ, разбитымъ въ дребезги... чтобы мое могло утвердиться и восторжествовать». Это только то, что открывается въ дѣйствіи, а въ драмѣ есть намеки, что строитель Сольнесъ и другихъ, «и многихъ» «обогналъ» или «растопталъ» въ своемъ побѣдномъ шествіи къ славѣ и богатству. И онъ исповѣдывается передъ Гильдой: «Все, что мнѣ удалось сдѣлать, построить, создать красиваго, прочнаго, уютнаго, величаваго, — все это я долженъ постоянно выкупать... платить за все... не деньгами, а человѣческимъ счастьемъ. И не однимъ своимъ собственнымъ счастьемъ, а и чужимъ... Вотъ чего стоило мое мѣсто, какъ художника, мнѣ самому и другимъ. И я день за днемъ принужденъ смотрѣть, какъ и другіе расплачиваются за меня». И далѣе: «Такъ вотъ что добрые люди зовутъ счастьемъ. Но я скажу вамъ, какъ отзывается это счастье! Какъ большая обнаженная рана тутъ вотъ, на груди! А эти помощники и слуги сдираютъ кусочки кожи съ другихъ людей, чтобы заживить мою рану. Но ея не заживить! Никогда, никогда. Ахъ, если бы вы знали, какъ она иногда горитъ и ноетъ!»

Слушая эти жалобныя покаянныя рѣчи, Гильда приходитъ къ заключенію, что строитель Сольнесъ душевно боленъ. Не то чтобы

у него разумъ былъ не въ порядкѣ, а онъ «родился на свѣтъ съ слишкомъ хилой совѣстью». «Ваша совѣсть—говоритъ она—черезчуръ ужъ немощна... Этакъ тщедушна, неустойчива, неспособна взвалить на себя что-нибудь потяжелѣе». А вотъ у нея, Гильды, совѣсть, напротивъ, «коренастая», и такъ и должно быть. Хорошо «имѣть настоящую, сочную, здоровую совѣсть, чтобы смѣло идти къ желанной цѣли!» Между ними завязывается разговоръ о древнихъ сагахъ и викинггахъ, «которые отпиливали на корабляхъ въ чужія страны, грабили, жгли и убивали людей, похищали женщинъ». «Вотъ у этихъ-то молодцовъ была коренастая совѣсть,—замѣчаетъ Сольнесъ: прѣзжали домой, или, ѣли и веселились, какъ малые ребята А женщины - то! Онѣ зачастую и не желали вовсе разставаться съ ними. Можете вы понять этихъ женщинъ, Гильда?» — «Ихъ я отлично могу понять», отвѣчаетъ дѣвушка.

Гильда, однако, немножко рано хвалится своею «коренастою» совѣстью. Она понимаетъ, что счастливый исходъ ея любви къ Сольнесу долженъ нанести новый ущербъ и безъ того уже несчастной Алинѣ (женѣ Сольнеса). Она и готова бы на это, но, поговоривъ съ Алиной, узнавъ ее поближе, отступаетъ: «*Не могу* я сдѣлать зло тому, кого я знаю! Не могу я посягнуть на ея собственность... Будь это не она, а кто-нибудь другой, незнакомый. — пожалуй». Однако, она все-таки колеблется: «Глуна, что не смѣешь схватиться за свое собственное счастье. За счастье всей жизни! И потому лишь, что тутъ замѣшался чловѣкъ, котораго знаешь... А что—не имѣешь ли права, въ сущности?» Непозвѣстно, чѣмъ кончились бы эти колебанія дѣвушки, если бы судьба не спустила занавѣсъ трагическою смертию Сольнеса. Надо замѣтить, что Гильда узнала Алину съ совершенно неожиданной (какъ для себя, такъ и для читателя) стороны. Оказывается, что эта странная женщина совѣмъ не о погибшихъ дѣтяхъ тоскуетъ. На вопросъ Гильды о дѣтяхъ она отвѣчаетъ: «Ахъ да, это. Вотъ видите-ли, это дѣло совѣмъ особаго рода. Такъ было назначено свыше, и передъ этимъ надо преклониться... И еще благодарить». И далѣе: «За нихъ (малютокъ) надо только радоваться. Имъ вѣдь такъ хорошо теперь. Нѣтъ, вотъ маленькія потери... онѣ вотъ надрываютъ сердце... Разныя мелочи, которыя другимъ кажутся пустяками... Сгорѣли всѣ старые портреты, всѣ старыя шелковыя платья, которыя хранились испоконъ вѣка, мамашины и бабушкины кружева, всѣ драгоценности. И всѣ куклы...» О куклахъ Алина говоритъ «глухо» и «глотая слезы». У нея было девять чудныхъ куколъ, которыми она втихомолку отъ мужа занималась до самаго ихъ исчезновенія, значить, будучи уже и матерью... Эта даже слишкомъ подчеркнутая ничтожность Алины не мѣшаетъ, однако, работѣ совѣсти подняться въ душѣ Гильды.

Но и Алиф не чужда работа совѣсти. Она говоритъ: «На мнѣ вѣдь лежали серьезныя обязанности жены и матери. Я должна была крѣпиться. Не должна была такъ поддаваться страху и горю о потерѣ родного дома (*ломаетъ руки*). О, если бы я не была такъ малодушна!» Она «никогда не проститъ себѣ самой» и, должно быть, въ искупленіе своего грѣха накладываетъ на себя нравственныя вериги, состоящія изъ множества мелкихъ цѣпей. Она до комической надоедливости часто, по поводу всякихъ пустяковъ, толкуетъ о «долгѣ»: «это мой долгъ», «это только простой долгъ» и т. п., и только разъ: «конечно, собственно говоря, это моя обязанность, но когда обязанности тянутъ тебя во всѣ стороны разъ, то...»

Совѣсть—вотъ центръ драмы «Строитель Сольнесъ», ея въ нѣкоторомъ родѣ главное дѣйствующее лицо или, по крайней мѣрѣ, та реальная пружина драмы, передъ силой и значеніемъ которой меркнуть и вѣра Сольнеса въ свою «избранность», и символическія «высокія башни», «замки» и «воздушные замки», и всѣ недофлапши или передфлапшия фигуры дѣйствующихъ лицъ. Мы окончательно, я надѣюсь, убѣдимся въ этомъ, пересмотрѣвъ нѣкоторыя другія драмы Ибсена, въ которыхъ работа совѣсти иначе возникаетъ, иначе развивается и приводитъ къ иному концу. Но прежде отмѣтимъ еще другую, столь же реальную, но въ извѣстномъ смыслѣ противоположную пружину Ибсеновыхъ драмъ, едва дающую себя звать въ «Строителѣ Сольнесѣ». Для этого обратимся къ тѣмъ древнимъ скандинавскимъ викингамъ, о которыхъ Сольнесъ говоритъ, что у нихъ была «коренастая совѣсть», которые «отплывали на корабляхъ въ чужія страны, грабили, жгли и убивали людей и похищали женщинъ, а потомъ прѣвзжали домой, пили, ѣли и веселились, какъ малые ребята». Ихъ изображенію посвящена драма «Сѣверные богатыри».

Дѣйствіе происходитъ въ X вѣкѣ, въ сѣверной Норвегіи. Орнульфъ съ фюрдовъ, «исландскій вождь», прибылъ изъ Исландіи въ Норвегію съ цѣлью возстановить свою оскорбленную честь. Пять лѣтъ тому назадъ викинги Сигурдь и Гуннаръ похитили первую родную дочь Орнульфа—Дагни, второй пріемную дочь—Гордись. Орнульфъ пріѣхалъ требовать у похитителей или выкупа, или же «честнаго боя». Съ Сигурдомъ дѣло кончается скоро и просто: онъ съ перваго же слова соглашается уплатить назначенную Орнульфомъ сумму, и тотъ объявляетъ Дагни, что отнынѣ ей «оказанъ будетъ такой же почетъ, какъ если бы она была законно отдана съ согласія родныхъ». Не такъ легко налаживается дѣло съ Гуннаромъ или, собственно говоря, не съ нимъ, а съ его женой, Гордись, дочерью Іокула, убитаго «въ честномъ бою» Орнульфомъ,

который потомъ, не зная, впрочемъ, сначала ея происхожденія, усыновилъ ее. Иордисъ, гордая и властная, претендуетъ на то, что Орнульфъ явился въ ихъ страну вооруженный, съ дружиною: по ея мнѣнію, безчестно при такихъ обстоятельствахъ согласиться на его требованіе; другое дѣло, если бы онъ пришелъ мирно. Между Орнульфомъ и Иордисъ возгорается споръ, въ которомъ слова «честь» и «безчестіе» съ той и другой стороны летятъ въ изобиліи и производятъ эффектъ отравленныхъ стрѣлъ. Такъ, напримѣръ, Иордисъ говоритъ: «то было не оскорбленіе, а честь для тебя, когда ты усыновилъ дочь Іокула». Орнульфъ: «Похищенная жена, по закону, не болѣе какъ наложница. Если ты хочешь возстановить поруганную честь твою»... Иордисъ перебиваетъ: «Нѣтъ, Орнульфъ, мнѣ лучше знать, какъ поступить. Если я не болѣе, какъ наложница Гуннара, онъ новымъ подвигомъ долженъ возратить мнѣ честь, и подвигомъ такимъ, чтобы его слава искупила позоръ мой». На пиру у Гуннара (2-ое дѣйствіе) идетъ такая же перестрѣлка «честью» и «безчестьемъ» и оканчивается убійствомъ сына Орнульфа, Торольфа, а затѣмъ приходитъ извѣстіе о смерти и остальныхъ его сыновей. Орнульфъ не только воинъ, а и скальдъ, и потому «чествуетъ» погибшихъ сыновей вдохновенной пѣснью. Но главный узелъ и интересъ драмы не въ Орнульфѣ или его дѣтяхъ, а въ Сигурдѣ и Дагни, Гуннарѣ и Иордисъ. Оба эти супружества представляютъ результатъ роковой ошибки, страннаго недоразумѣнія, какія часто встрѣчаются у Ибсена. Сигурдъ и Гуннаръ — боевые товарищи и друзья, но это совсѣмъ разные люди. Гуннаръ — храбрый и «честный» воинъ, но онъ болѣе склоненъ къ мирнымъ занятіямъ, ходить, напримѣръ, съ торговыми дѣлами въ Біармію и т. п. Сигурдъ же есть настоящий типическій викингъ, для котораго война и военная слава исчерпываютъ весь смыслъ жизни. Когда они пріѣхали въ Исландію, то обоимъ имъ приглянулась гордая, властная, страстная Иордисъ. Однажды Сигурдъ публично изложилъ свой идеалъ женщины: «Воину нужна жена съ высокимъ духомъ. Та, которую я выберу, не удовольствуется смиренной долей. Къ величію, къ почестямъ она должна стремиться; охотно въ поле бранное идти со мной, носить броню и панцырь, побуждать меня къ великимъ подвигамъ, и дрогнуть не должна, какъ засверкаютъ мечи въ кровавой битвѣ. А малодушная жена не много чести мнѣ принесетъ». Въ другой разъ, на пиру, Иордисъ тоже публично заявила, что мужемъ ея будетъ лишь тотъ, кто убьетъ огромнаго и злого бѣлаго медвѣдя, стоящаго на стражѣ ея спальни, и унесетъ ее въ своихъ объятіяхъ. Задавая присутствующимъ этотъ подвигъ, Иордисъ въ тайнѣ надѣется, что его совершитъ Сигурдъ. Онъ его дѣйствительно и совершаетъ, но, полагая, что Иордисъ любитъ не

его, а Гуннара, и изъ дружбы къ Гуннару, онъ уступаетъ послѣднему славу подвига, а вмѣстѣ съ тѣмъ и Юрдисъ. Дѣло происходило ночью, и Юрдисъ осталась въ убѣжденіи, что убилъ бѣлаго медвѣдя и похитилъ ее Гуннаръ, съ которымъ она и уѣхала, а Сигурдь увезъ кроткую, слабую Дагни. Прошло пять лѣтъ. Сигурдь, проводившій ихъ въ военныхъ подвигахъ, все еще хранить въ своемъ сердцѣ образъ Юрдисъ, хотя и привыкъ къ Дагни и «научился цѣнить ее». Юрдисъ провела эти годы печально, такъ какъ ея вкусы не соответствуютъ мирныя наклонности Гуннара, но тѣмъ съ болѣею гордостью вспоминаетъ она, при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ, о томъ, что Гуннаръ убилъ страшнаго бѣлаго медвѣдя. Она и себѣ требуетъ почета по мужу, совершившему тотъ славный подвигъ. Сѣвленіемъ обстоятельствъ раскрывается, однако, роковая тайна, и Юрдисъ чувствуетъ себя вдвойнѣ обезчещенной: во-первыхъ, ея мужъ не есть тотъ славный витязь, который убилъ бѣлаго медвѣдя, и, требуя ему и себѣ почета, она была въ смѣшномъ положеніи; во-вторыхъ, ее обманулъ, по ея мнѣнію, насмѣялся надъ ней Сигурдь, котораго она не переставала любить, живя съ Гуннаромъ. Гордая женщина мечется отъ одного рѣшенія къ другому. То ей кажется, что поруганная честь ея будетъ восстановлена, если Гуннаръ убьетъ Сигурда, то, напротивъ, она желаетъ смерти Гуннара, то предлагаетъ Сигурду свою любовь и сотрудничество въ боевыхъ подвигахъ, то рѣшается сама убить Сигурда и умереть вмѣстѣ съ нимъ, чтобы соединиться съ нимъ тамъ, въ загробной жизни, въ Валгаллѣ. На послѣднемъ рѣшеніи она, наконецъ, останавливается и убиваетъ Сигурда, а сама бросается со скалы въ море, предварительно узнавъ, однако, отъ Сигурда, что въ Валгаллѣ имъ вмѣстѣ не быть, потому что онъ христіанинъ.

Для насъ интересны тѣ бурныя рѣчи, съ которыми Юрдисъ обращается къ Сигурду. Вотъ нѣкоторыя изъ нихъ: «Женой твоей я не буду: другому я принадлежала, и та, которую избралъ ты, жива. Нѣтъ, Сигурдь, я за тобой послѣдую подобно безстрашнымъ валкирямъ, и жажду великихъ дѣлъ въ тебѣ я буду разжигать, чтобы повеюду прогремѣло твое имя... Когда же о доблестяхъ твоихъ раздается пѣснь, вмѣстѣ назовутъ Сигурда и Юрдисъ... Я создана была, чтобы въ дни невзгоды сильнымъ духомъ ободрять и укрѣплять тебя; а ты рожденъ былъ для того, чтобы все великое и славное наша я въ одномъ мужѣ. И знаю я, Сигурдь, когда бы наша судьба соединила, ты сталъ бы славнѣе, а я счастливѣй всѣхъ людей на свѣтѣ». Юрдисъ предлагаетъ Сигурду овладѣть норвежскимъ престоломъ. А, приглашая отправиться вмѣстѣ на тотъ свѣтъ, въ Валгаллу, говоритъ: «Тамъ, на небѣ, я царскій дамъ тебѣ престолъ и около тебя возведу!»

Таковы тѣ люди, по опредѣленію строителя Сольнеса, съ «коренастою совѣстью», которые грабили, жгли, убивали людей, похищали женщинъ, а потомъ пили, ѣли и веселились, какъ малые ребята. Все это, какъ видимъ, дѣйствительно было, но было и нѣчто другое. Были душевныя терзанія, въ своемъ родѣ не менѣе мучительныя, чѣмъ тѣ, которыя испытываетъ Сольнесъ. Только развиваются они въ «Сѣверныхъ богатыряхъ» на почвѣ оскорбленной, помраченной чести, а не удрученной совѣсти. И я думаю, что если не всѣ, то большинство драмъ Ибсена построены либо на одномъ изъ этихъ мотивовъ, либо на той или другой ихъ комбинаціи; что вопросы чести и совѣсти, сознательно или безсознательно, наиболѣе привлекаютъ къ себѣ его вниманіе и составляютъ то живое зерно его драмъ, которое и читателя, опять-таки сознательно или безсознательно, къ нимъ привлекаетъ. Герои Ибсена блѣдны или грубо подчеркнуты, то есть яркія краски приданы имъ виѣшнимъ, искусственнымъ образомъ, они и въ этомъ случаѣ сами по себѣ блѣдны, а только болѣе или менѣе густо нарумянены; построеніе его драмъ искусственно и, подчасъ, дѣтски или архаически наивно; фабулы чрезвычайно запутаны, но вмѣстѣ съ тѣмъ далеко не столь разнообразны, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда; вообще, какъ художникъ, онъ далеко ниже своей репутаціи. И тѣмъ не менѣе понятенъ интересъ, возбуждаемый его произведеніями во всемъ читающемъ мірѣ. Въ числѣ увлекающихся Ибсеномъ или славославящихъ его есть, конечно, не мало такихъ, которые любятъ именно слабыми его сторонами: его туманнымъ символизмомъ, его пристрастіемъ къ таинственному, необъяснимому. Но это дѣло преходящей моды, и, можетъ быть, сами модники безсознательно чуютъ не эти побочныя осложненія драмъ Ибсена, а ихъ часто заваленное множествомъ ненужностей живое зерно, которое и переживаетъ моду. Въ «Маленькомъ Эйольфѣ» Альмерсъ работаетъ надъ книгой объ «Отвѣтственности человѣка» и затѣмъ бросаетъ эту работу, чтобы «сдѣлать отвѣтственность человѣка основой всей своей жизни», перейти отъ теоретическихъ разсужденій къ практическому дѣлу. Мнѣ кажется, что весь литературный багажъ Ибсена или, по крайней мѣрѣ, большая его часть составляетъ въ совокупности одну большую книгу объ «отвѣтственности человѣка», въ которую разныя случайности ввели много лишнихъ страницъ. Отвѣтственность же человѣка передъ собой и передъ другими исчерпывается въ конечномъ счетѣ понятіями вины и заслуги и соответственными имъ мотивами совѣсти и чести.

Здѣсь я чувствую потребность сказать нѣсколько личныхъ словъ. Читатель, удостоившій своимъ вниманіемъ мои прежнія писанія, припомнитъ, можетъ быть, что въ статьѣ «Щедринъ» есть глава

«Честь и совесть»: что о «больной совести» и о чести идетъ рѣчь и въ моей вступительной статьѣ къ сочиненіямъ Гл. Успенскаго: что и раньше, въ замѣткахъ «Житейскія и художественныя драмы» можно найти сопоставленіе и въ извѣстномъ смыслѣ противоположеніе чести и совѣсти. Не значить-ли это, что, разыскивая тѣ же мотивы у Ибсена и придавая имъ первенствующее значеніе въ его драмахъ, я произвольно втискиваю ихъ содержаніе въ лично излюбленные мною рамки, укладываю его на своего рода Прокустово ложе? Это было бы, можетъ быть, и естественнымъ, но во всякомъ случаѣ непослѣдственнымъ предположеніемъ. Безъ сомнѣнія, критикъ, выбирая извѣстную позицію для установленія правильнаго, по его мнѣнію, пониманія того или другого писателя, не можетъ отрѣшиться отъ своихъ личныхъ взглядовъ, выработанныхъ въ немъ жизнью и размышленіемъ. Но этого мало. Мы не можемъ сказать, что понятіи писателя, пока не привели въ ту или другую, положительную или отрицательную, связь содержаніе его писаній и наши личные взгляды, на предметы, его занимающіе, пока между ними и имъ нѣтъ общей почвы. Само собою разумѣется, что эта общая почва можетъ быть и новообразованіемъ, то есть изучаемый писатель можетъ внушить намъ новыя для насъ взгляды, пожалуй, перевернуть вверхъ дномъ все наше міроразумѣніе. Но общая почва должна существовать во всякомъ случаѣ, и безъ нея мы не можемъ не только понять писателя, но даже заинтересоваться имъ. Я испыталъ это на себѣ именно относительно Ибсена. Нѣкоторыя его драмы я читалъ уже давно, года два, три, даже лѣтъ пять тому назадъ, тотчасъ по ихъ появленіи въ русскомъ переводѣ, но онѣ не фиксировали на себѣ моего вниманія, не смотря на то, что слава Ибсена была мнѣ, конечно, хорошо извѣстна; онѣ проходили, такъ сказать, мимо моего сознанія, и я не могъ бы даже просто рассказать фабулу только что прочитанной драмы. Онѣ не производили на меня достаточно сильнаго впечатлѣнія, ни въ положительномъ, ни въ отрицательномъ смыслѣ. Разныя уродства символическаго, магическаго и архангелска-наивнаго характера я зналъ въ гораздо болѣе рѣзкой формѣ, чѣмъ тѣ, какія встрѣчались въ прочитанныхъ драмахъ, а общій смыслъ этихъ драмъ ступевывался чрезвычайною пестротой каждой изъ нихъ въ отдѣльности. Лишь недавно счастливая случайность такъ подошла обстоятельства, что въ одной изъ драмъ (это была драма «Росмерсгольмъ», но могла бы быть и иная) я нашелъ какъ бы откликъ того, что меня давно занимало, и тотчасъ же Ибсенъ сталъ для меня интересенъ и понятенъ. Такъ, я думаю, бываетъ со всѣми. Конечно, критикъ можетъ и не *найти* эту необходимую почву (съ положительнымъ или отрицательнымъ знакомъ), а *навязать* ее изучаемому писателю, и тогда все его зданіе окажется построеннымъ

на нескѣ. Но пусть судить читатель, дойдя до конца статьи. Однако, и теперь уже видно, что не я выдумалъ «хилую совѣсть» и «коренастую совѣсть» въ «Строителѣ Сольнесѣ» и перестрѣлку «честью» и «безчестіемъ» въ «Сѣверныхъ богатыряхъ», равно какъ и прежде не я выдумалъ «большую совѣсть» Гл. Успенскаго. И если мы встрѣчаемъ одни и тѣ же основные мотивы у писателей, столь различныхъ рѣшительно во всѣхъ отношеніяхъ, то это свидѣтельствуетъ лишь о важности тѣхъ мотивовъ.

Гуннаръ и Юрдисъ, Сигурдъ и Дагни представляютъ собою двѣ неудачныя супружескія пары. Это одна изъ излюбленныхъ темъ всѣхъ беллетристовъ, и у Ибсена она эксплуатируется очень часто. Кромѣ «Сѣверныхъ богатырей», мы находимъ ее и въ «Привидѣніяхъ», и въ «Эддѣ Габлеръ», и въ «Праздникѣ въ Сольгаугѣ», и въ «Норѣ», и въ «Росмерсгольмѣ», и въ «Строителѣ Сольнесѣ», отчасти въ «Эллидѣ» и «Маленькомъ Эйольфѣ». Но въ разработку этого сюжета Ибсенъ вводитъ нѣкоторыя черты, если не отсутствующія у большинства художниковъ слова, то, по крайней мѣрѣ, остающіяся въ тѣни, на второмъ планѣ, и, наоборотъ, въ его репертуарѣ отсутствуютъ нѣкоторыя осложненія, особенно излюбленныя другими драматургами и романистами. Такъ называемаго *adultèrea* въ драмахъ Ибсена, можно сказать, совсѣмъ нѣтъ. Онъ поминается иногда (въ «Дикой уткѣ», въ «Маленькомъ Эйольфѣ», въ «Привидѣніяхъ») въ прошедшемъ, мы видимъ только его результаты, но въ самомъ дѣйстви, въ развитіи драмы—его нѣтъ ни въ одной изъ нихъ, при чемъ ясно, что авторъ *не хочетъ* дать ему мѣсто. Въ «Брандѣ» Агнеса оставляетъ Эйнара для Бранда, но она не жена Эйнара, а только невѣста; въ «Эллидѣ» героиня терзается мыслью о своей измѣнѣ таинственному незнакомцу ради Вангеля, но она никогда не была его женой, а только была обручена съ нимъ, да и то какимъ-то страннымъ, фантастическимъ обрученіемъ, не то дѣйствительно съ нимъ, не то «съ моремъ». Нора оставляетъ своего мужа, но не потому, что,—какъ это обыкновенно случается въ романахъ и драмахъ, а, пожалуй, и въ жизни,—какой-нибудь новый «онъ» овладѣлъ ея сердцемъ, а по совершенно другимъ побужденіямъ,—объ «немъ» въ драмѣ нѣтъ и помину; хотя и есть безнадежно любящій Нору, тоскующій, умирающій Ранкъ, но для Норы это не «онъ», и ни малѣйшей роли въ рѣшеніи Норы оставить мужа Ранкъ не играетъ. Но и въ тѣхъ случаяхъ, когда въ дѣйствіе введены новые «онъ» или «она», къ кому лежитъ сердце героя или героини, Ибсенъ, часто цѣною грубыхъ и анти-художественныхъ натяжекъ, такъ располагаетъ обстоятельства, что нарушенія такъ называемаго супружеской

вѣрности не промахиваться. Достигается это разными способами. Простѣйшій изъ нихъ мы видѣли въ «Строителѣ Сольнесѣ»: быть можетъ, Сольнесъ и Гильда и устроились бы, временно или навсегда, въ какомъ-нибудь настоящемъ или «воздушномъ» замкѣ, но тутъ какъ разъ подоспѣла трагическая смерть строителя. Но въ большинствѣ случаевъ дѣло выходитъ гораздо сложнее и запутаннѣе, хотя нѣкоторыя комбинаціи при этомъ не разъ повторяются. Такъ, въ «Росмерсгольмѣ» Росмеръ, а въ «Маленькомъ Эйольфѣ» Альмерсъ долго не догадываются о характерѣ чувства, связывающаго—перваго съ Ревеккой, второго съ Астой. Росмеръ принимаетъ его за сочувствіе единомышленниковъ по философскимъ и политическимъ вопросамъ, Альмерсъ за братское чувство, а когда, наконецъ, ихъ глаза открываются, то, вслѣдствіе сложныхъ обстоятельствъ, о которыхъ у насъ еще будетъ рѣчь,—Росмеръ и Ревекка умираютъ вмѣстѣ, а Альмерсъ и Аста разстаются. Въ «Праздникѣ въ Сольгаугѣ» Маргитъ тоже ошибается, если не относительно своего чувства къ Гудмунду, то относительно его чувства къ ней: благодаря недомолвкамъ и вообще недоразумѣніямъ почти водевильнаго характера, ей кажется, что Гудмундъ любитъ ее, и она готова не только оставить своего ненавистнаго мужа, а даже убить его. Но Гудмундъ любитъ не ее, а ея сестру, дѣвушку, и грѣховныя мысли Маргитъ не получаютъ осуществленія. Мало того. Она кается, уходитъ въ монастырь и сама благославляетъ союзъ Гудмунда и своей соперницы—сестры: «Гудмундъ, возьми ее, она твоя! Благослови Господь союзъ вашъ, безгрѣшный, чистый!» Къ характеристикѣ творчества Ибсена замѣтимъ мимоходомъ, что наивно-водевильныя недоразумѣнія вродѣ тѣхъ, которыя вводятъ Маргитъ въ заблужденіе, играютъ (впрочемъ, нѣсколько ниую) роль и въ «Комедіи любви», и въ «Союзѣ молодежи». Въ «Сѣверныхъ богатыряхъ» они составляютъ основу фабулы, тотъ роковой моментъ, который опредѣлялъ всю эту странную и слишкомъ ужъ симметричную кадрили Сигурда и Дагни, Гуннара и Юрдисъ. Правда, Ибсенъ заимствовалъ этотъ моментъ изъ скандинавскихъ легендъ, но наивность и симметричность, составляющія своего рода прелесть въ произведеніяхъ стѣдой древности и безымяннаго народнаго творчества, получаютъ совсѣмъ другой характеръ въ произведеніяхъ современнаго писателя. Для нашей ближайшей цѣли важно, впрочемъ, отмѣтить только то, что, измѣнивъ во многихъ подробностяхъ древнюю легенду о Сигурдѣ и Брингильдѣ (Юрдисъ Ибсена), авторъ, однако, не только устоялъ передъ соблазномъ хоть на время устроить фигуру «changez les dames» въ своей кадрили, но даже усугубилъ роковую пропасть между Сигурдомъ и Юрдисъ. Мы видѣли, что страстная, необузданная Юрдисъ говоритъ Сигурду: «Женой твоей я не буду; другому я принадлежала. и та.

которую избралъ ты, жива». Наконецъ, и въ загробной даже жизни Ибсенъ не разрѣшаетъ своимъ героямъ соединиться, такъ какъ Сигурдъ, совершенно неожиданно, оказывается христіаниномъ, и у Йордисъ отпята послѣдняя надежда. Этой черты въ легендѣ, конечно, нѣтъ.

Такимъ образомъ, часто изображая неудачныя супружескія пары, Ибсенъ при этомъ всячески избѣгаетъ того пункта, который особенно занимаетъ большинство художественныхъ лѣтописцевъ неудачныхъ супружествъ. И это не вслѣдствіе какой-нибудь лицемѣрной pruderie: многое въ драмахъ Ибсена свидѣлствуетъ, что онъ этимъ грѣхомъ отнюдь не грѣшитъ. Его просто не интересуетъ простая перемѣна мужа или жены, какъ выходъ изъ труднаго положенія. Я читалъ гдѣ-то, не помню, что на чей-то вопросъ: что стало съ Норой послѣ того, какъ она ушла отъ мужа?—Ибсенъ отвѣчалъ: а я почему знаю! Это очень характерный отвѣтъ. Доведя извѣстное запутанное и трудное положеніе до развязки, Ибсенъ уже не интересуется своими дѣйствующими лицами и часто просто отправляетъ ихъ на тотъ свѣтъ. Его грубая, нескладная, торопливая и лишенная граціи муза сурова. Его привлекаютъ почти исключительно скорбныя страницы жизни. Когда онъ шутить (а пошутилъ онъ, кажется, всего одинъ разъ — «Союзомъ молодежи»), выходитъ грубый шаржъ. Когда онъ пытается нарисовать безоблачное семейное счастье, какъ въ первомъ дѣйствіи «Норы», выходитъ нѣчто приторно слащавое. И онъ инстинктивно избѣгаетъ такихъ несвойственныхъ его таланту картинъ, а между тѣмъ, изображая новую любовь на развалинахъ неудачной старой, пришлось бы пустить въ ходъ именно тѣ жизнерадостныя краски, которыхъ нѣтъ или почти нѣтъ на его палитрѣ. Потому-то Сигурдъ и Йордисъ не вновь полюбили другъ друга на глазахъ читателя, а это оказывается старая и не заржавѣвшая любовь, лишь временно, вслѣдствіе роковой ошибки затуманенная. Это какъ бы рѣка, не прерывающая своего теченія, но нѣкоторое время текущая подъ землей и затѣмъ опять пробивающаяся на поверхность. Такова же и любовь Маргитъ къ Гудмунду въ «Праздникъ въ Сольгаугѣ». Правда, въ той же драмѣ мы присутствуемъ при зарождающейся и расцвѣтающей любви Гудмонда и Сигны, но надъ ней быстро опускается занавѣсъ. Правда, въ «Брандѣ» мы имѣемъ веселенькую картинку жизнерадостной прогулки жениха Эйнара и невѣсты Агнесы, но это лишь мимолетное хорошенкое, блестящее облачко, даже черезчуръ быстро уступающее мѣсто мрачной тучѣ въ образѣ суроваго и жестокаго фанатика Бранда: завѣдомо не на веселье идти за нимъ Агнеса. Не на веселье, но и въ ея скорбной и трудной жизни съ Брандомъ есть свои радости. Жизнь — не веселье для Ибсена вообще,

но онъ и не пессимистъ. Будь онъ имъ, онъ могъ бы гонять своихъ героевъ и героинь изъ огня въ поля и на развалинахъ одного несчастнаго сунурукства строить новое зданіе, чтобы опять развалить его и такимъ образомъ бросить тѣмъ тцеты и недостижимости на вѣчно дразнящее, вѣчно зовущее счастье. Но Пбсенъ и этого избѣгаетъ. Для него несчастное сунурукство есть не цѣль описанія, а только поводъ — и, какъ увидимъ, не единственный поводъ—для изображенія всегда однихъ и тѣхъ же движеній человеческой души въ различныхъ, но въ сущности немногихъ комбинаціяхъ. Эти движенія, повторяю, одни и тѣ же: чувства оскорбленіи (или удовлетвореніи) чести и угнетеніи (или успокоеніи) совѣсти.

Строитель Сольнесъ и Гильда почти съ завистью говорятъ о «коренастой совѣсти» древнихъ викинговъ, которые, послѣ цѣлаго ряда грабежей, убійствъ, похищеній женщинъ, съ младенческимъ спокойствіемъ веселились и пировали. Они, Сольнесъ и Гильда, такъ не могутъ жить. Въ особенности Сольнесъ. У него «хилая совѣсть». Онъ не грабитъ, не убиваетъ, не похищаетъ женщинъ, подобно своимъ далекимъ воинственнымъ предкамъ, но онъ другими приемами и способами «тончетъ» чужія жизни, иногда нечаянно, а иногда намѣренно. Но младенческая ясность души разбойниковъ викинговъ есть для него потерянный рай. Онъ поминутно съ тревогой оглядывается на тѣхъ, кого «тончетъ», не можетъ преодолѣть жгучее чувство своей ответственности передъ ними, и вся его съ виду счастливая жизнь отравлена угрызениями совѣсти и ожиданіемъ возмездія. Контрастъ дѣйствительно выходитъ очень рѣзкій между нимъ и викингами. Мы видѣли, однако, что не одиѣ розы были въ жизни «Сѣверныхъ богатырей» или, по крайней мѣрѣ, эти розы были не безъ острыхъ, колючихъ шиповъ. На первый взглядъ эти шипы рѣзко отличаются отъ тѣхъ, которые мы видимъ въ «Строителѣ Сольнесѣ». Это шипы оскорбленной чести, а совѣсть какъ будто и совѣмъ не даетъ себя знать въ «Сѣверныхъ богатыряхъ», тогда какъ въ атмосферѣ «Строителя Сольнеса», наоборотъ, не слышать голоса чести. Это было бы какъ бы художественнымъ комментариемъ къ исторической теоріи Ницше, въ силу которой «великолѣнное бѣлокурое животное» и «мораль господъ» уступаютъ въ исторіи мѣсто разслабленнымъ и лицемерно «добрымъ» людямъ и «морали рабовъ». Это не такъ, однако. Если Пбсенъ и придерживается подобныхъ взглядовъ, въ чемъ можно сомнѣваться, то въ творчествѣ своемъ онъ слишкомъ мало историкъ, чтобы держаться коленъ той или другой исторической схемы. Онъ главнымъ образомъ теоретикъ-психологъ, ищущій однихъ и тѣхъ же

душевныхъ движеній при самыхъ разнообразныхъ условіяхъ. Героическая фабула «Сѣверныхъ богатырей» не есть продуктъ его личнаго творчества, такъ какъ въ основныхъ своихъ чертахъ цѣликомъ заимствована изъ древняго мнѣческаго сказанія. Не ему, значитъ, принадлежитъ и преобладаніе мотива чести въ этой драмѣ. Однако, и въ ней, не смотря на это преобладаніе, мы видимъ нѣкоторую работу совѣсти, мучительнаго сознанія своей неправоты и недостойнства въ Гуннарѣ, неправу воспользовавшемся подвигомъ Сигурда, потомъ неправу, хотя и по недоразумѣнію убившемъ сына Орнульфа, Торольфа. Эти черты, подъ давленіемъ главнаго содержанія саги, не получаютъ развитія въ драмѣ, но онѣ есть. «Праздникъ въ Сольгаугѣ» происходитъ на тринадцать столѣтій позже той эпохи, къ которой Пбсенъ произвольно приурочилъ содержаніе древней саги, но убійства и похищенія, въ перемежку съ младенчески-безсовѣстнымъ весельемъ, въ «Праздникѣ» подчеркнуты авторомъ во многихъ отношеніяхъ рѣзче, чѣмъ въ «Сѣверныхъ богатыряхъ». И, однако, работа ущемленной совѣсти приводитъ Маргитъ до монастыря. Наоборотъ, въ драмахъ, дѣйствіе которыхъ происходитъ въ настоящее время, прежде всего бросается въ глаза рядъ женщинъ, повторяющихъ собою типы Дагни и Юрдисъ, въ особенности Юрдисъ.

Читатель помнитъ, что Гильда «отлично можетъ понять» тѣхъ женщинъ, которыхъ похищали викинги и которыя потомъ не хотѣли разставаться со своими похитителями. Немудрено: она вѣдь и сама надѣялась, что ее похититъ Сольнесъ, тотъ Сольнесъ, котораго она видѣла въ ореолѣ славы, совершающимъ подвигъ подъема на вершину башни, который ее этимъ подвигомъ «очаровалъ» въ буквальный смыслъ слова. Очарованная, проникнутая мыслью о величіи строителя, она десять лѣтъ ждетъ момента, когда можетъ потребовать отъ Сольнеса новаго подвига, уже прямо ради нея и подъ ея вдохновеніемъ. При этомъ сама она готова на все, готова перешагнуть черезъ всѣ препятствія и только на минуту призадумывается, имѣетъ-ли она право перешагнуть черезъ Алину. Неизвѣстно, чѣмъ кончились бы эти колебанія, если бы ея требовательное поклоненіе не довело Сольнеса до гибели. То же самое требовательное поклоненіе встрѣчаемъ за восемнадцать вѣковъ до печальной исторіи строителя Сольнеса съ необузданной Юрдисъ. Характеръ требуемаго подвига измѣнился. Въмѣсто убійства страшнаго медвѣдя или славнаго викинга нужно нѣчто не столь вопиющее, хотя для Сольнеса авторъ такъ и не придумать чего-нибудь опредѣленнаго и живыя картины кровавыхъ битвъ замѣнилъ символическимъ влѣзаніемъ на высокую башню. Но собственно психологическій типъ Юрдисъ и Гильды—одинъ и

тотъ же, равно какъ одинъ и тотъ же мотивъ лежитъ въ основѣ ихъ требовательнаго поклоненія. Любимаго человека или, по крайней мѣрѣ, того, съ коимъ ихъ связала судьба—онѣ хотятъ видѣть на высотѣ, стоять съ нимъ рядомъ на той высотѣ и знать, что онѣ способствовали подъему, что ради нихъ и при ихъ содѣйствіи совершены великіе подвиги. Въ этомъ видятъ онѣ свою «честь», право на уваженіе, на признаніе ихъ достоинства, для поддержанія котораго онѣ готовы на все. Къ тому же типу принадлежатъ Эдда Габлеръ въ драмѣ того же имени, Маргитъ въ «Праздникъ въ Сольгаугѣ», но здѣсь мы имѣемъ любовныя варьянты и осложненія.

Мужъ Маргитъ—ничтожное существо, глупое, грубое, трусливое, тщеславное, и Маргитъ его не любитъ. Йордисъ тоже не любитъ своего благороднаго, но для нея слишкомъ слабодушнаго и не воинственнаго мужа. Но ей не въ чемъ упрекать себя, она вышла, согласно обѣщанію, за храбраго витязя, убившаго страшнаго медвѣдя, и, когда потомъ открылась ошибка, въ ней заговорила лишь оскорбленная честь: ее обманули, передъ ней виноваты, если не люди, то «Норны», мифологическія дѣвы, плетущія нити судебъ человека, а она ни передъ кѣмъ не виновата. Это-то сознаніе своей невинности и опредѣляетъ собою ту «коренастую совѣсть», съ которою Йордисъ бѣшено проектируетъ разные способы возмездія за свою оскорбленную честь. Иное дѣло Маргитъ. Она человекъ виноватый по собственному ея сознанію: она вышла за своего ничтожнаго Бенгта, польстившись на его богатство и знатность, продалась. Она сама за свою судьбу ответственна, а судьба эта очень печальна. У Маргитъ есть все, чего она искала: богатые наряды, толпа слугъ, блескъ, власть, почетъ, но ея достоинство, ея честь ежеминутно оскорбляется глупостью и пошлостью мужа. Она сознаетъ, что достойна лучшей доли и видитъ эту достойную ея лучшую долю въ союзѣ съ Гудмундомъ. Почти буквально повторяя слова Йордисъ, она говоритъ: «Здѣсь, въ этой темницѣ сидѣть въ заточеніи!.. Нѣтъ, моя юность требуетъ свѣта! Уже три долгихъ года мукъ и раскаянія отдала я ему, моему господину. И прожить цѣлый вѣкъ этой жалкой и позорной жизнью!.. Нѣтъ, не могу, не хочу! Тамъ жизнь кипитъ и бьетъ ключомъ. Туда, туда зовутъ меня мысли и сердце... Я пойду за Гудмундомъ дѣлать съ нимъ радость и горе, и славу. И люди съ похвалою скажутъ о насъ: славный рыцарь и жена его, Маргитъ!» Маргитъ готова уже перешагнуть препятствіе—отравить мужа, но колеблется и жаждетъ на свою нерѣшительность; она завидуетъ тѣмъ женщинамъ, которыя «не такъ слабодушны» и «не задумаются привести мысль въ исполненіе», «на дѣлѣ исполняютъ то, что задумаютъ».

мали втайнѣ» (Читатель благоволилъ припомнить здѣсь желаніе Гильды Вангель въ «Строителѣ Сольнесѣ»: «имѣть настоящую, сочную, здоровую совѣсть, чтобы смѣло идти къ желанной цѣли»). Ниже, въ «Росмерсгольмѣ», мы услышимъ эту самую мысль въ болѣе вѣской и распространенной формѣ). Наконецъ, Маргитъ рѣшается на убійство, но запутанныя постороннія обстоятельства мѣшаютъ ей, а когда она узнаетъ, что Гудмундъ любить не ее, а Сигну, она, какъ уже сказано, уходитъ въ монастырь. Она, по ея словамъ, «испытала весь ужасъ, все раскаяніе и муки души, готовый продать себя для земныхъ благъ».

Эдда Габлеръ. У этой дамы тоже ничтожный мужъ—добродушный, трудолюбивый, самодовольный, глупый приватъ-доцентъ Тесманъ. Есть также человѣкъ, къ которому она могла бы относиться съ такимъ же требовательнымъ поклоненіемъ, съ какимъ Гильда Вангель относится къ Сольнесу. Иордисъ къ Сигурду, Маргитъ къ Гудмунду. Это—Эйлертъ Левборгъ, даровитый ученый, но кутила и человѣкъ безпорядочной жизни вообще. Но у него уже есть своя вдохновительница и сотрудница въ лицѣ кроткой, преданной, несчастной Теи Эльфштедъ. Подобно Маргитъ, Эдда, собственно говоря, продалась, но сдѣлала невѣрный расчетъ, а со стороны этотъ расчетъ даже до странности невѣроятенъ. Почему то она и Тесманъ полагали, что на профессорское жалованье можно имѣть ливрейныхъ лакеевъ, верховыхъ лошадей, блестящій салонъ. Оказывается, однако, что и профессорская то кафедра, пожалуй, улыбнется Тесману, потому что у него есть соперникъ—Эйлертъ Левборгъ, только что выпустившій замѣчательную книгу и готовящій къ печати другую, еще болѣе замѣчательную. Эта послѣдняя есть плодъ совокушнаго труда Левборга и Теи Эльфштедъ, при чемъ слава работы должна была достаться Левборгу. Какъ видите, это нѣчто въ родѣ того трона, который Иордисъ доставить Сигурду, а сама сидеть возлѣ него. Эдда съ злобною завистью смотритъ на эти отношенія. Когда то въ ней жило нѣжное чувство къ Левборгу, живетъ отчасти до сихъ поръ, но онъ оттолкнулъ ее отъ себя какимъ то грубымъ поступкомъ, за который она его чуть не убила, да и слишкомъ онъ былъ тогда богема, и она вышла за Тесмана. А этого глупаго приватъ-доцента, она отлично сознаетъ, ни на какую высоту не поднимешь. Она, правда, подумываетъ заставить его заниматься политикой и сдѣлать изъ него министра, но быстро соглашается, что это вздорные планы. За то Левборга ей удастся довести до «подвига»... самоубійства. Актъ этотъ она такъ и называетъ «подвигомъ». «Эйлертъ Левборгъ—говоритъ она—имѣлъ настолько мужества, чтобы жить, какъ ему хочется. И потомъ, этотъ подвигъ! этотъ красивый подвигъ! У него хватило силы воли

во время порвать связь съ жизнью». Произошло это такимъ образомъ. Надо замѣтить, что Эдда особенно злобно и презрительно относится къ разнымъ шуточнымъ или любезнымъ намекамъ на возможность для нея имѣть дѣтей отъ Тесмана: отъ этого пингвина у нея не будетъ дѣтей. Но, можетъ быть, она не прочь ихъ имѣть отъ Левборга; но крайней мѣрѣ, она приходитъ въ бѣшенство при мысли о томъ, что Левборгъ и Теа называютъ свое приготовленное къ печати произведеніе—своимъ «ребенкомъ». Манускриптъ книги попадетъ въ руки Эдды, и она его сжигаетъ, устраивая, однако, дѣло такъ, что Левборгъ самъ себя винитъ въ пропажѣ манускрипта и въ отчаяніи застрѣливается, почти, можно сказать, по требованію Эдды. Но вслѣдъ затѣмъ застрѣливается и она сама. Чѣмъ вызвано ея самоубійство? Угрызеніями совѣсти? Едва-ли. Способности и склонности признавать себя виновною, отвѣтственною за то, что бы то ни было—во всѣхъ ея поступкахъ, чувствахъ, мысляхъ нѣтъ и слѣда. Она боится только «сѣмьиного» и «скандала», которые могутъ нанести ущербъ ея чести, точнѣе, тому, что она считаетъ своею честью. Когда Тесманъ спрашиваетъ ее, зачѣмъ она сожгла рукопись Левборга, она объясняетъ, что сдѣлала это ради него, Тесмана, потому что не допускала мысли, чтобы кто-нибудь затмилъ его. И глушій приватъ-доцентъ вѣрить. Да до известной степени онъ и имѣетъ право вѣрить. Эдда его не только не любитъ, а прямо презираетъ, но въ сложномъ комплексѣ мотивовъ ея дѣйствій играетъ известную роль и то обстоятельство, что Тесманъ—*ея* мужъ. Если, однако, она и хотѣла устранить въ Левборгѣ опаснаго конкурента тому, съ кѣмъ связана ея судьба (а это во всякомъ случаѣ не единственный ея мотивъ), то и затѣмъ пингвинъ все-таки остается безнадежнымъ пингвиномъ. Что же ей дѣлать? чѣмъ жить? Она могла бы еще, можетъ быть, позабавиться съ судьей Бракомъ, съ которымъ охотно ведетъ игривые, двусмысленные разговоры; но когда Бракъ, знающій подробности самоубійства Левборга, намекаетъ, что она находится въ его рукахъ, она восклицаетъ: «Въ вашей власти! Въ зависимости отъ вашего желанія, отъ вашей прихоти! Лишенная свободы! Нѣтъ, я не перенесу этой мысли! Никогда!» И застрѣливается, передъ самымъ выстрѣломъ «весело и громко» крикнувъ Браку: «Такъ вы не теряете надежды, господинъ судья? вы единственный пѣтухъ въ курятникѣ?»

«Нора». Эта драма имѣетъ въ подлинникѣ другое заглавіе,—«Домашній очагъ куклки»,—которымъ, конечно, лучше, чѣмъ собственнымъ именемъ, характеризуется героиня. Но пьеса могла бы называться и какъ-нибудь въ родѣ «Пробужденія куклки». Я не

буду рассказывать содержаніе «Норы». Драмѣ этой у насъ особенно посчастливилось, ее знаютъ больше другихъ произведеній Ибсена, хотя она далеко не изъ лучшихъ по формѣ, а что касается идейнаго содержанія, то съ нашей русской точки зрѣнія, оно даже до наивности элементарно и незначительно, если брать его виѣ связи съ другими драмами. Я останавлиюсь лишь на нѣсколькихъ моментахъ пьесы. Мужъ Норы, Гельмеръ, не лучше мужей Маргитъ и Эдды Габлеръ,—такая же пошлость и плоскость, но сама то Нора не Маргитъ и не Эдда, и авторъ даже съ излишествомъ подчеркиваетъ ея наивный эгоизмъ, дѣтскую страсть къ сладкимъ лакомствамъ и т. п. Но быть можетъ изъ нея съ теченіемъ времени выработается нѣчто столь же яркое и сильное, какъ Юрдисъ и Эдда. Драма оставляетъ ее на порогѣ двери, ведущей въ новую жизнь, къ которой она подошла скорбнымъ путемъ омраченной чести. Она когда то тайно отъ мужа заняла деньги, при чемъ на векселѣ поддѣлала подпись своего отца, въ качествѣ поручителя. Сдѣлала она это изъ добрыхъ побужденій,—чтобы дать больному мужу возможность отдохнуть и чтобы не тревожить умирающаго отца. И когда обстоятельства раскрываютъ ея преступленіе, она тревожится, конечно, но только потому, что мужъ узнаетъ ея тайну. «Эта тайна, — говоритъ она, — *моя радость и моя гордость*, и вдругъ онъ узнаетъ ее такимъ грубымъ, такимъ пошлымъ образомъ!» Совѣсть ни въ чемъ ее не упрекаетъ, она ни передъ кѣмъ не виновата. Напротивъ, такъ какъ при этомъ вскорѣ раскрывается вся пошлость и весь мелкій эгоизмъ ея корректнаго мужа, она на него и на своего отца возлагаетъ отвѣтственность за всю свою испорченную жизнь. Она говоритъ мужу: «Когда я была еще дѣвушкой, отецъ дѣлился со мною своими взглядами, и я должна была соглашаться съ ними, потому что всякое самостоятельное мнѣніе мое было бы для него неспріятно. Онъ называлъ меня своей куклой и игралъ со мной точно также, какъ со своими куклами. Затѣмъ я перешла изъ рукъ отца въ твои... Когда я теперь думаю о своемъ прошедшемъ, мнѣ кажется, что я жила здѣсь, какъ бѣднякъ, обязанный увеселять пріютившаго его господина. Я жила тѣмъ, что показывала тебѣ забавныя штуки. Но ты желалъ этого. Да, у моего отца и тебя тяжкій грѣхъ на душѣ. Вы виноваты, что изъ меня не вышло ничего». Читатель видитъ, что это одна изъ варіацій все на ту же тему объ отвѣтственности. Мужъ Норы склоненъ рѣшать этотъ вопросъ въ томъ смыслѣ, что было бы «безсердечно» «безусловно осуждать кого-нибудь за какой-нибудь отдѣльный проступокъ», но «всякій можетъ снова нравственно возродиться, если онъ сознаетъ свой проступокъ и испугивъ все наказаніемъ». Но Нора не можетъ принять это рѣшеніе для своего личнаго руководства. Она не понимаетъ

своей вины, ея совѣсть спокойна, а передъ ней оказываются виноватыми тѣ, кто цѣнилъ ее ниже того, чего она, по ея мнѣнію, дѣйствительно стоитъ, ниже того, чѣмъ она могла бы быть при иномъ къ ней отношеніи близкихъ людей.

«Эллида» («Госпожа съ моря»). Я уже упоминалъ объ этой пьесѣ. Геронния, именемъ которой озаглавлена въ русскомъ переводѣ драма, не можетъ пожаловаться на своего мужа. Это не Бенгтъ «Праздника въ Сольгаугѣ», не Тесмантъ «Эдды Габлеръ», не Гельмеръ «Норы», даже не Гуннаръ «Сѣверныхъ богатырей». Это — умный, благородный, ничѣмъ не запятанный человѣкъ, и Эллида вполнѣ способна оцѣнить его высокія качества и дѣйствительно цѣнить ихъ. Тѣмъ не менѣе, ихъ бракъ несчастливъ. Эллиду гложутъ странныя, ей самой не вполнѣ ясныя мысли и чувства. И не мудрено: до замужества съ ней случилось нѣчто очень странное и ей самой мало понятное. Судьба столкнула ее съ какимъ то морякомъ, который таинственнымъ образомъ совершенно овладѣлъ ея волей. Она стала его невѣстой, но когда онъ долженъ былъ уѣхать, чары ослабѣли, и она вышла за своего теперешняго мужа, доктора Вангеля. Однако, по прошествіи нѣкотораго времени, обаяніе таинственнаго моряка стало вновь дѣйствовать издали, на разстояніи, а затѣмъ явился и самъ онъ съ требованіемъ, чтобы Эллида оставила мужа и шла за нимъ. Эллида колеблется. Она хотѣла бы бросить съ себя странное нравственное иго моряка и найти для этого опору въ своемъ чувствѣ къ мужу, но не можетъ. Ей тяжелы и тѣ узы, которыя ее съ мужемъ связываютъ. Ей кажется, что она вышла за него не по свободному влеченію и выбору, а подъ давленіемъ обстоятельствъ, что она «продалась». Она считаетъ свой бракъ простой «сдѣлкой» и проситъ мужа «расторгнуть» ее. Мужъ сначала не соглашается, опасаясь за ея судьбу въ рукахъ какого то страннаго незнакомца. Онъ говоритъ: «Мнѣ нельзя освободить и отпустить тебя сегодня. Совѣсть не позволяетъ мнѣ этого, не позволяетъ ради тебя самой, Эллида. Я не отступлюсь отъ своего права и своего долга защищать тебя». Но въ послѣднюю критическую минуту, когда морякъ является за Эллидой, Вангель уступаетъ. Онъ «расторгаетъ сдѣлку», предоставляет Эллидѣ полную свободу. «Теперь, — говоритъ онъ, — твоя собственная, истинная жизнь можетъ снова войти въ свою настоящую колею. Потому что теперь ты можешь выбирать свободно. И подъ собственною отвѣтственностью, Эллида». Это рѣшеніе развязываетъ Эллидѣ руки, и она, освобожденная мужемъ, освобождается вмѣстѣ съ тѣмъ и отъ таинственныхъ чаръ моряка. Она «свободно и подъ своей отвѣтственностью» остается съ мужемъ.

Нора и Эллида выводятъ насъ изъ круга женихитъ, живущихъ

требовательнымъ поклоненіемъ своему избраннику и растворяющихъ свою честь въ его славѣ и подвигахъ, въ его чести. Не то, чтобы это была завѣдомо чуждая имъ черта, но онѣ иначе поставлены авторомъ. Въ нихъ нѣтъ бурной энергіи и жестокой страстности Гюндисъ или Эдды Габлеръ, онѣ, если хотите, болѣе «женственны» въ этомъ отношеніи, но въ то же время онѣ и больше, чѣмъ просто женщины, онѣ—простите неуклюжее слово—«человѣки». Это, конечно, очень важное различіе, и если бы я писалъ спеціально о женскихъ типахъ Ибсена,—задача очень соблазнительная,—то остановился бы на немъ съ большою подробностью. Но я только мимоходомъ отмѣчаю этотъ пунктъ и въ дальнѣйшемъ изложеніи, говоря о героиняхъ Ибсена, уже не буду его касаться.

XIX *).

Объ Ибсенѣ, статья вторая.

Мы видѣли пристрастіе Ибсена къ таинственнымъ магическимъ силамъ, роковымъ образомъ опредѣляющимъ судьбу человѣка («Стропитель Сольнесъ», «Маленькій Эйольфъ», «Эллида»). Но тогда мы взглянули на это пристрастіе только какъ на одинъ изъ элементовъ, затѣмняющихъ смыслъ произведеній Ибсена. Таково оно и есть. Но при сопоставленіи съ нѣкоторыми другими чертами Ибсеновыхъ драмъ оно получаетъ еще и иное значеніе.

Въ самой «Эллидѣ», въ которой «необъяснимая», таинственная магическая сила чаръ моряка, дѣйствующая даже на огромномъ разстояніи, играетъ такую важную роль, есть намеки и на другія роковыя силы, столь же властно вліяющія на судьбу людей, но не столь таинственныя и необъяснимыя или, по крайней мѣрѣ, достаточно вѣсмъ знакомыя. Стараясь объяснить Арихольму, и самому себѣ, переменчивость настроенія Эллиды, ея мужъ приходитъ къ заключенію, что «если донекиваться коренной причины, то это у нея врожденное свойство, Эллида — дитя моря, вотъ въ чемъ дѣло». На вопросъ собесѣдника, что это собственно значить, Вангель отвѣчаетъ: «Развѣ же вы не замѣтили, что люди тамъ, у открытаго моря, составляютъ какъ бы особый народъ. Они словно живутъ жизнью самаго моря. Въ ихъ мысляхъ и ощущеніяхъ слышится прибой волнъ, въ нихъ есть и приливъ, и отливъ. И никогда не пересадите вы ихъ на другую почву. О, мнѣ слѣдовало раньше подумать объ этомъ! Я совершилъ истинный грѣхъ передъ Эллидой, оторвавъ ее отъ родины и заставивъ ее переселиться сюда». Такимъ образомъ природныя условія, въ которыхъ человѣкъ родился и выросъ, являются чѣмъ-то роковымъ, непреодолимымъ, чѣмъ-то такимъ, что кладетъ несмываемую печать на всю нравственную фізіономію человѣка и на всю его жизнь.

*) Декабрь, 1896.

Правда. Элида въ концѣ концовъ сбрасываетъ съ себя это роковое иго, но вѣдь она освобождается и отъ магическаго вліянія моряка.

Въ драмѣ «Ингеръ изъ Эстрота» видную роль играетъ датскій рыцарь Нильсъ Ликкъ, о которомъ одно изъ дѣйствующихъ лицъ рассказываетъ: «Какъ только какая-нибудь женщина встрѣчала его взглядъ, устремленный на нее, она никогда не могла позабыть его, мысли ея противъ воли слѣдовали за нимъ куда бы онъ ни шелъ, и она угасала отъ печали». Новая жертва датскаго обольстителя, Элина, начавшая заочно ненавистью къ нему, собственно за его репутацію сердцаѣда, кончаетъ, подобно другимъ, страстною любовью. Она говоритъ Нильсу Ликку: «Развѣ осталась у меня воля?.. Какая таинственная сила отуманила мой разумъ и увлекла меня какъ бы въ волшебную сѣть?» Элинѣ кажется, что даже ея заглазная ненависть къ Нильсу была «предчувствіемъ, таинственнымъ влеченіемъ» къ нему. Опять нѣчто непреодолимое, роковое и вмѣстѣ таинственное, но не такое, однако, таинственное, какъ пожаръ дома по желанію Сольнеса, гибель маленькаго Эйольфа или чары моряка въ «Эллидѣ». Въ устахъ Элины «таинственная сила» и «волшебная сѣть» — только риторика влюбленности, и если въ концѣ концовъ сила любви остается для насъ тайной, то мы все-таки можемъ разложить эпизодъ Нильсъ-Элина на его простѣйшіе элементы, каковы: красота Нильса, его импонирующая репутація Донъ-Жуана, его опытность и знаніе женскаго сердца, его смѣлость и «вкрадчивыя рѣчи». Все это до извѣстной степени снимаетъ покровъ таинственности съ удачи Нильса, и во всякомъ случаѣ мы имѣемъ здѣсь дѣло съ явленіемъ настолько привычнымъ, что ставить его въ специальный счетъ пристрастія къ магически-таинственному и необъяснимому — не приходится. Но сила чаръ Нильса Ликка есть все-таки для Элины вѣщная роковая, непреодолимая сила, которой она тиетно думаетъ противопоставить свою волю и свое сознаніе.

Есть и еще роковая сила, часто дѣйствующая въ произведеніяхъ Ибсена: сила наслѣдственности. Она поминается въ «Норѣ», въ «Эллидѣ», играетъ значительную роль въ «Дикой уткѣ», своеобразно мелькаетъ въ «Брандѣ» и получаетъ рѣшающее значеніе въ «Привидѣніяхъ» и «Росмерстольтѣ». Здѣсь отмѣтимъ только неосновательность или, по крайней мѣрѣ, близорукость нѣкоторыхъ упрековъ, дѣлаемыхъ Ибсену по поводу его пристрастія къ наслѣдственности, упрековъ и насмѣшекъ. Нордау (да, кажется, и нѣкоторые другіе критики) видятъ въ этомъ пристрастіи кокетство Ибсена «научностью» и «современностью». Это уравнивало бы Ибсена съ Эмилемъ Зола со стороны щегольства послѣдняго «научностью» же и «со-

временностью» на полѣ послѣдственности и детерминизма. Сравнить таланты французскаго романиста и норвежскаго драматурга не приходится, но что касается искренности и серьезности творчества и пониманія своихъ задачъ, то во всякомъ случаѣ Ибсенъ никогда не ломался такъ, какъ ломался въ своихъ теоретическихъ и критическихъ статьяхъ Зола, съ комическою важностью коверкая научные термины, сравнивая себя съ Клодомъ Бернаромъ и т. п. Правда, и Ибсенъ не совсѣмъ кетати поминаетъ «законъ эволюціи» въ «Маленькомъ Эйольфѣ», а вышеупомянутые магическіе эффекты навѣяны, можетъ быть, сравнительно недавними изслѣдованіями и одно время модными опытами гипнотизма. Но вѣдь Ибсенъ представляетъ свои магическіе эффекты совсѣмъ не въ научномъ освѣщеніи. Если влияние Сольнеса на Кайю Фосли и Гильду Вангель, чары моряка въ «Элидѣ», бабы-крысоловки въ «Маленькомъ Эйольфѣ» и подлежатъ объясненію гипнотизмомъ, то пожаръ дома жены Сольнеса, какъ онъ освѣщается самымъ Сольнесомъ, есть чудо, къ которому современная наука и подойти не можетъ, и подходить не захочетъ. Передъ ея чудомъ это—простое случайное совпаденіе или, самое большее, результатъ «предчувствія», основаннаго на бессознательномъ записываніи въ памяти признаковъ грозящей бѣды (или, съ точки зрѣнія Сольнеса, пріятности). Сольнесъ очень старается подчеркнуть то обстоятельство, что онъ замѣтилъ исходнымъ пунктомъ пожара трещину въ дымовой трубѣ, а пожаръ начался совсѣмъ въ другой сторонѣ. Но это еще не значитъ, что другіе признаки ветхости дома, неосторожное обращеніе домашнего цевъ съ огнемъ и т. п. не отмѣчались имъ бессознательно и не складывались въ «предчувствіе» пожара. Однако, это простое объясненіе не приходитъ въ голову Сольнесу. Какъ смотреть на это дѣло самъ Ибсенъ—мы не знаемъ, но во всякомъ случаѣ не видимъ съ его стороны кокетничанья наукою и современностью. Когда имъ щеголялъ Эмиль Зола, то онъ прежде всего объявлялъ войну всякой таинственности, а у Ибсена даже *врачъ* Вангель считаетъ эпизодъ Элиды и моряка «необъяснимымъ» и весь образъ моряка, какъ и образъ крысоловки въ «Маленькомъ Эйольфѣ»,—окруженъ ореоломъ таинственности.

Можетъ показаться, что Ибсенъ кокетничаетъ все-таки современностью, но въ ея не только не научныхъ, а даже прямо антинаучныхъ проявленіяхъ. Всѣ эти магн. декаденты, цимбаллисты, символисты, демонологаты, и какъ ихъ еще тамъ зовутъ, претендуютъ еще на титулы «новыхъ», «молодыхъ», современныхъ по преимуществу. А вмѣстѣ съ тѣмъ они стремятся, въ шку наукѣ, водрузить знамя тайны даже тамъ, гдѣ ему уже давнымъ давно нѣтъ мѣста. И такъ какъ Ибсенъ завѣдомо приноситъ чрезмѣрныя

жертвы на алтарь символизма, то, можетъ быть, онъ и другими своими сторонами примыкаетъ къ этой странной бандѣ. Можетъ быть, это одинъ изъ тѣхъ легкомысленныхъ и легковѣсныхъ людей, которые, какъ щепка, влекутся всякимъ новымъ теченіемъ, не соображая, кто, куда и зачѣмъ ихъ несетъ. лишь бы купаться въ новой, послѣдней волнѣ. Не принадлежитъ-ли Ибсенъ къ этой многочисленной, какъ всякая мелочь, породѣ? Но каковы бы ни были недостатки Ибсена, а онъ и «мелочь» вообще несомнѣстимы. Что же касается въ частности цимбалистской мелочи, то взять хоть бы только слѣдующее. Цимбаллисты разныхъ наименованій почти всѣ безъ исключенія тяготеютъ къ порнографіи. одни подъ предлогомъ «возрожденія», другіе подъ предлогомъ «декаданса», нѣкоторые же изъ нихъ переходятъ въ этомъ направленіи за предѣлы всякой благопристойности и даже здраваго смысла. А мы отчасти видѣли, какъ щепетилень, даже до анти-художественности, въ этомъ отношеніи Ибсенъ. Не только нѣтъ ни въ одной изъ его пьесъ тѣхъ словесныхъ nudités, которыя на разные, часто поразительно извращенные фасыны комбинируются цимбалистами, не только изобѣгаетъ онъ изображеній такъ называемаго *adultère'a*, каковыми изображениями живетъ, можно сказать, вся беллетристика, но и вообще до чрезмѣрности скупъ на картины любви. Набогѣе общее, что имъ сказано о любви, вложено въ уста отца маленькаго Эйольфа: любовь подлежитъ, какъ и все на свѣтѣ, «закону эволюціи», неотвратимому закону измѣненій. Она остываетъ, какъ у отца маленькаго Эйольфа, распускается въ менѣ острыхъ чувствахъ дружбы, привычки, или преобразуется, одухотворяясь, облагораживаясь, какъ у Ревекки Вестъ въ «Росмерсгольмѣ», и т. п.

Это—характерное, но, разумѣется, не единственное отличіе Ибсена отъ цимбалистовъ. Сами магическіе эффекты, повидимому, нужны ему не ради ихъ таинственности, а какъ одно изъ выраженій роковыхъ силъ, непреодолимо принудительно управляющихъ судьбою человѣка. Поэтому то мы и видимъ въ его драмахъ, рядомъ съ магическими силами, подавляющее вліяніе природы, всеохватывающую силу любви, тяготеющія наслѣдственности, непреклонный «законъ эволюціи», наконецъ, просто фатальное стеченіе обстоятельствъ, разные случайныя, повидимому, совпаденія, недоразумѣнія, ошибки, изъ которыхъ роковымъ образомъ развиваются сложныя и важныя событія. Въ этомъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ такъ называемымъ «естественнымъ ходомъ вещей», представляющимъ цѣпь причинно связанныхъ явленій. Но мнѣ кажется, что Ибсену довольно безразлично, какъ называется эта неразрывная желѣзная цѣпь, въ чемъ состоитъ ея первая и главная при-

чина и ея общій теоретическій смыслъ, какъ одинъ изъ основныхъ элементовъ міроуразумѣнія. Для него важенъ фактъ существованія этой желѣзной цѣпи, отдѣльные моменты которой суть вліяніе родины, наслѣдственность и т. п., а всю совокупность ея, напри- мѣръ, «Сѣверные богатыри» приписываютъ работѣ мнѳологическихъ Норитъ,—и пусть; отецъ маленькаго Эйольфа безличному «закону эволюціи»,—и пусть. Если это такъ (а я не утверждаю этого съ рѣшительностью и высказываю только предположеніе), то въ общемъ философомъ міровоззрѣніи норвежскаго драматурга есть очень, самъ по себѣ, важный пробѣлъ, который, однако, въ виду неотступно преслѣдующей Ибсена специальной задачи, значительной роли не играетъ.

Въ «Императоръ и Галилеянинъ» христіанка Макрина обращается къ Юліану съ такими словами: «Ты ничто иное, какъ бичъ въ рукахъ Божіихъ, посланный поражать насъ за наши грѣхи. Горе намъ, что такъ должно было случиться! Горе намъ, что разединенные и безъ любви другъ къ другу, мы уклонились отъ истиннаго пути! Не было болѣе царя во Израилѣ. И вотъ почему Господь поразилъ тебя безуміемъ и ты увѣровалъ, что долженъ преслѣдовать насъ. Какой разумъ былъ помраченъ, чтобы разнуздать его противъ насъ! Какое цвѣтущее дерево было оборвано, чтобы надѣлать изъ его вѣтвей хлыстовъ для нашихъ отягченныхъ грѣхами плечъ! Тебѣ были предостереженія, и ты не внялъ имъ. Тебя звали голоса, и ты не послушался ихъ. Для тебя были начертаны огненные письма, и ты не понялъ ихъ и стеръ... О! какъ могли наши братья и сестры надѣяться восторжествовать надъ этимъ посланнымъ?—прибавляетъ Макрина, обращаясь къ Василию: развѣ ты не видишь, Василій, что въ немъ Господь хочетъ казнить насъ смертью?» Размышляя передъ смертью о своей неудачной судьбѣ, Юліанъ говоритъ: «виѣ насъ есть таинственная сила, властно располагающая исходомъ человѣческихъ предприятий». Философъ Максимъ, оплакивая смерть Юліана, называетъ его «жертвою необходимости», говоритъ и подчеркиваетъ (курсивъ у Ибсена), что „*хотѣть* значить *быть принужденнымъ хотѣть*“. Этотъ многозначительный курсивъ не одинъ разъ встрѣчается въ драмѣ. Передъ самымъ объявленіемъ Юліана цезаремъ, Максимъ даетъ ему магическое представленіе, при чемъ таинственный голосъ такъ отвѣчаетъ на вопросы Юліана: «Зачѣмъ я былъ созданъ?—Чтобы служить духу.—Въ чемъ состоитъ мое назначеніе?—Ты долженъ основать царство.—Какимъ путемъ?—Путемъ свободы.—Въ чемъ состоитъ путь свободы?—Опъ есть путь необходимости.—Какъ я достигну цѣли?—Ты будешь *хотѣть*.—Чего я долженъ хотѣть?—Того, къ чему ты *вынужденъ*».

Отъ дальнѣйшихъ разъясненій таинственный голосъ отказывается, но за то Максимъ вызываетъ три тѣни или призрака, «три краеугольныхъ камня гнѣва необходимости, три великія опоры отрицанія». Это Каннъ, Иуда Искаріотъ и—самъ Юліанъ въ будущемъ. Послѣдній призракъ, впрочемъ, не появляется, а объ немъ только идетъ темная, загадочная рѣчь. Что же касается Канна и Иуды, то они объясняютъ, что ихъ назначеніе при жизни состояло именно въ томъ, чтобы совершить преступленія братоубійства и предательства: они *хотѣли* совершить эти преступленія, потому что были *принуждены хотѣть*, дабы на развалинахъ двухъ соотвѣтственныхъ царствъ воздвиглось высшее и объединяющее ихъ третье.

Ибсенъ, разумѣется, не отвѣтственъ за тотъ переплетъ язычества, юдаизма и христіанства, представителемъ котораго является философъ Максимъ. Эти мечты о «третьемъ царствѣ», эти наивно-ухищренныя оправданія Канна и Иуды и даже поклоненіе имъ—суть подлинныя историческія черты. Но если не личности эти, то понятія о нихъ Максима имѣютъ, очевидно, для Ибсена какое-то особенно важное значеніе. «Краеугольные камни гнѣва необходимости»: «первая жертва избранія», какъ называетъ Максимъ въ отдѣльности Канна; «добровольный рабъ, послужившій дальнѣйшему развитію міра», какъ онъ называетъ Иуду; «великій освобожденный подъ давленіемъ необходимости», какъ онъ величаетъ Юліана; падо «хотѣть», а «хотѣть значить быть вынужденнымъ хотѣть»,—все это на первый взглядъ очень темныя выраженія, но ясно, по крайней мѣрѣ, одно: мы и здѣсь имѣемъ дѣло все съ тою же желѣзною цѣпью, властно опредѣляющею судьбу человѣка, которую для «Сѣверныхъ богатырей» держатъ въ своихъ рукахъ дѣвы Норны, которую другіе называютъ «естественнымъ ходомъ вещей» или «закономъ эволюціи», которая, наконецъ, въ частности выражается законами наслѣдственности, вліяніемъ природы, гипнотическимъ вліяніемъ и проч.

Помѣщая своихъ героев въ различныя общественныя условія, въ различныя историческія эпохи и въ различныя страны, Ибсенъ предоставляетъ каждому изъ нихъ по своему формулировать роковую силу хода вещей, а самъ онъ лишь наблюдаетъ многочисленныя варіаціи столкновенія этой роковой силы съ чувствомъ отвѣтственности, возникающимъ въ душѣ его героевъ. Всѣ дѣйствующія лица «Сѣверныхъ богатырей» твердо знаютъ, что ткань ихъ жизни есть дѣло рукъ Норнъ и что всѣ они *должны* были дѣйствовать именно такъ, какъ дѣйствовали. Точно также въ видѣніи Юліана Каннъ, Иуда и самъ Юліанъ *принуждены* были хотѣть того, чего они хотѣли. Но это не мѣшаетъ ядо-

витымъ стрѣламъ оскорбленной чести и угнетенной совѣсти терзать сѣверныхъ богатырей, какъ не мѣшаетъ и Канину съ горечью восклицать въ видѣніи: «Зачѣмъ я не былъ монмъ братомъ!», и Іудѣ являться на вызовъ Максима съ веревкой на шеѣ, этимъ символомъ угрызений совѣсти. И въ этомъ драма, въ этомъ корень всѣхъ драмъ Ибсена. При этомъ, что касается причинъ, поводовъ или мотивовъ для возникновенія мучительной работы оскорбленной чести и угнетенной совѣсти, то Ибсенъ опять таки предоставляетъ ихъ въ вѣдѣніе самихъ дѣйствующихъ лицъ, довольствуясь съ своей стороны лишь констатированіемъ и изображеніемъ факта страданія. Орнульфъ съ фіордовъ, исландскій вождь, считаетъ свою честь помраченною тѣмъ обстоятельствомъ, что Сигурдъ и Гуннаръ похитили его дочерей, родную и приемную, и по отношенію къ Сигурду признаетъ свою честь возстановленною, когда тотъ соглашается уплатить выкупъ (300 серебряныхъ монетъ и шелковый плащъ съ золотымъ кружевомъ). Ибсенъ не мѣряетъ этого понятія о чести своимъ арининомъ. Для него важно одно: Орнульфъ въ теченіе пяти лѣтъ, протекшихъ съ похищенія его дочерей, страдалъ оскорбленной честью, страданія эти стали, наконецъ, невыносимы, и онъ разыскалъ похитителей, чтобы либо получить отъ нихъ выкупъ, либо помѣряться съ ними въ «честномъ бою», кровавомъ, съ смертельнымъ исходомъ. А что какія-то триста серебряныхъ монетъ съ придачей шелкового плаща уравниваются при этомъ въ цѣнѣ съ человеческой жизнью—это уже дѣло Орнульфа, а не Ибсена. Когда какой-нибудь московскій бояринъ билъ челомъ своему государю, что ему «не вмѣстно» быть у пріема пословъ или въ палатѣ, или за царскимъ столомъ ниже такого то другого боярина, и просилъ царя не отнимать у него, «холопа» своего, его «честинки», то можетъ казаться, что это и въ самомъ дѣлѣ была не честь, а «честинка», хлопотать изъ за которой смѣшно и глупо. Конечно, съ нашей теперешней точки зрѣнія это смѣшно и глупо, а пожалуй, и противорѣчиво: называть себя «холопомъ», а свою честь уничижительнымъ словомъ «честинка» и все-таки стоять за нее. Положимъ, что не всегда обиженный бояринъ прибѣгалъ къ этому специально московскому уничижительному обороту рѣчи, но дѣло не въ этой мелкой формальности. Обиженный бояринъ готовъ былъ принять и позорѣйшее наказаніе — битье батогами, лишь бы не сидѣть ниже менѣ «родословнаго» сослуживца. Но это только и значитъ, что для боярина XVII вѣка тѣлесное наказаніе было либо совѣмъ не позорно, либо менѣ позорно, менѣ безчестно его, чѣмъ сидѣніе ниже такого-то. При томъ же это былъ пунктъ, на которомъ онъ, такъ искренно именовавшій себя «холопомъ»,

иногда съ чрезвычайнымъ упорствомъ отказывался повиноваться. А такъ какъ физическую боль наказанія или матеріальный ущербъ отъ конфискаціи имущества упорствующій бояринъ во всякомъ случаѣ способенъ былъ чувствовать, то ясно, что онъ дѣйствительно глубоко страдалъ отъ помраченія своей чести, какъ онъ ее понималъ. И если бы Писень могъ написать драму изъ московской жизни XVII вѣка, то, конечно, отбѣнилъ бы эту общечеловѣческую черту страданія оскорбленной чести въ отжившей исторической обстановкѣ мѣста и времени. Въмѣстѣ съ тѣмъ онъ въ этой же обстановкѣ нашелъ бы соответственную формулу необходимости всего сущаго вообще, каждаго шага, каждой частности въ отдельности, а, слѣдовательно, и той обѣды, которая постигла оскорбленного боярина. Или, быть можетъ, не прибѣгая къ такой формулѣ, онъ просто такъ расположилъ бы ходъ событій, что ихъ причинная связь оказалась бы неразрывною цѣлью, изъ которой ни одного звена нельзя выкинуть, а въ концѣ ея оказалась бы непереносная обида. И тѣмъ не менѣе бояринъ не примирился бы съ этой необходимой, неизбежной обидой: она зіяла бы и сочилась, какъ зіяетъ и сочится душевная рана строителя Сольнеса, нанесенная не оскорбленною честью, а другимъ, не менѣе острымъ оружіемъ, — угнетенною совѣстью: какъ символъ угрызений совѣсти — веревка остается на шеѣ Іуды въ видѣніи Юліана, хотя предатель и говорить, что онъ «принужденъ» былъ совершить свое преступленіе, и Максимъ, и Юліанъ этому вѣрятъ.

Рудинъ писалъ статью «о трагическомъ въ жизни и искусствѣ», но такъ и не кончилъ. Онъ «не совсѣмъ еще сладилъ съ основною мыслью» и «не довольно уяснилъ себѣ трагическое значеніе любви». На робкое замѣчаніе Натальи, что, по ея мнѣнію, «трагическое въ любви, это — несчастная любовь», Рудинъ отвѣтилъ: «Вовсе нѣтъ! это скорѣе комическая сторона любви... Вопросъ этотъ надобно совсѣмъ иначе поставить... надо поглубже зачерпнуть». И затѣмъ заговорилъ на ту, повидимому, не идущую къ дѣлу тему, что въ любви «все тайна».

Рудинъ не окончилъ своей статьи, да и начала ея мы не знаемъ, а потому не можемъ судить объ той постановкѣ вопроса, въ силу которой «несчастная любовь» есть «скорѣе комическая сторона любви». А дѣло, очевидно, въ какой-то особой постановкѣ вопроса, потому что любовь, какъ и всякая другая страсть, можетъ получить и трагическое, и комическое освѣщеніе. И хотя замѣчаніе Натальи наивно, но она стоитъ все-таки ближе къ истинѣ, чѣмъ Рудинъ: «несчастная любовь» есть во всякомъ слу-

чаѣ «скорѣе» «трагическое въ любви», чѣмъ «комическая сторона любви». Несчастная любовь есть источникъ страданій, а страданіе есть необходимый элементъ трагедіи. Но дѣло въ томъ, что не всякое страданіе можетъ стать сюжетомъ трагедіи, и не всегда и не всякій художникъ можетъ найти для страданія трагическое освѣщеніе. Для этого страданіе должно получить прежде всего общечеловѣческій характеръ. Шестидесятилѣтняя старуха можетъ влюбиться въ двадцатилѣтняго юношу и глубоко страдать отъ нераздѣленной любви, но это явленіе слишкомъ исключительное и ненормальное, чтобы удержаться на высотѣ трагедіи. Такая героиня по необходимости будетъ все время ходить по краю пропасти, отдѣляющей трагическое отъ смѣшного, отвратительнаго и жалкаго. По этой же причинѣ темы историческія, въ родѣ вышеупомянутой бѣды московскаго боярина XVII вѣка, или съ сильной этнографической окраской, требуютъ для трагической обработки либо выдающагося художественнаго таланта, либо такого проникновенія какою-нибудь общечеловѣческою идеей, которое выдвигало бы ее изъ слишкомъ намъ чуждой, исторической и этнографической, обстановки на первый планъ. Иначе это будетъ, въ лучшемъ случаѣ, можетъ быть, очень вѣрная драматизированная историческая хроника или этнографическая картина, но не трагедія. А въ худшемъ случаѣ произойдетъ опять то же хожденіе по краю пропасти, отдѣляющей трагическое отъ жалкаго, отвратительнаго и комическаго. Дѣло не въ любви или какой бы то ни было другой страсти, какъ таковой. Всякая страсть можетъ получить «трагическое значеніе», если она становится источникомъ страданія, достаточно возвышеннаго, чтобы отражать въ себѣ нѣчто общечеловѣческое и вызывать въ насъ со-страданіе. И трагедія въ основныхъ своихъ чертахъ никогда не выбивалась и не можетъ выбиться изъ предѣловъ, указанныхъ ей еще греческими трагиками: это—столкновеніе личности, личной воли и личнаго разума съ роковыми стихійными силами необходимости, такъ или иначе понимаемыми. Мѣняются взгляды на относительное значеніе борющихся элементовъ, мѣняются моральные выводы изъ столкновенія, мѣняются требованія, предъявляемыя тою или другою литературною школою относительно исхода трагедіи, но сущность «трагическаго въ жизни и въ искусствѣ» остается неизмѣнною отъ греческихъ классиковъ до Ибсена. Это не мѣшаетъ, конечно, каждому художнику вносить нѣчто свое, оригинальное въ постановку и разработку трагическаго сюжета.

Въ недавно вышедшей біографіи Ибсена, написанной г. Минскимъ («Біографическая бібліотека Ф. Павленкова»), находимъ, между прочимъ, слѣдующія строки:

«Послѣдняя драма Ибсена: «Маленькій Эйольфъ», кажется намъ и неудачной, и что всего удивительнѣе, неоригинальной. У Ибсена иногда является желаніе въ самомъ концѣ своихъ отрицательныхъ пьесъ ставить неожиданный плюсъ. Такъ, «Брандъ» кончается словами: «онъ есть *deus caritatis*», противорѣчащими всей пьесѣ, «Перъ Гинтъ» — сценой съ Сольвейгъ, тоже идущей въ разрѣзъ съ идеей поэмы. Такимъ неожиданнымъ финаломъ всей дѣятельности Ибсена является «Маленькій Эйольфъ», — проповѣдь любви къ ближнимъ и благотворительности. Если мы не ошибаемся, эта пьеса, равно какъ и «Докторъ Паскаль» Эмиля Золя, написаны не безъ тайнаго намѣренія соперничать съ Толстымъ, замѣнить проповѣдь русскаго романиста домашними средствами. И та, и другая попытки намъ кажутся ровно неудачными».

Намъ теперь дѣла нѣтъ до «Доктора Паскаля» и Эмиля Золя, оставимъ ихъ въ покоѣ. Но г. Минскій, преклоняющійся передъ умомъ, талантомъ и характеромъ Ибсена, объявляющій его «первокласснымъ гениемъ», при томъ далеко еще не сказавшимъ своего послѣдняго слова; г. Минскій, мнѣ кажется, слишкомъ унижаетъ этого во всякомъ случаѣ крупнаго человѣка, приписывая ему такой маленький мотивъ, какъ соперничество съ Толстымъ на почвѣ подражанія. Какую, въ самомъ дѣлѣ, лягушечью, «видомъ малую и не безсмертную» душу надо имѣть, чтобы заняться «проповѣдью любви къ ближнему и благотворительности» въ отмычу какихъ-то прежнихъ своихъ убѣжденій, но не въ силу дѣйствительной ихъ перемѣны, а собственно потому, что Толстой этой проповѣдью занимался! Если это вѣрно, то не вѣрны весь портретъ Ибсена, нарисованный г. Минскимъ. Но хотя я и не могу признать портретъ работы г. Минскаго вѣрнымъ, по совершенно другимъ соображеніямъ, однако приведенное предположеніе, кажется мнѣ, могло родиться только въ головѣ современнаго русскаго человѣка изъ тѣхъ, что не имѣютъ за душой ни одного настоящаго, искренняго убѣжденія, а примыкаютъ къ тому или другому теченію по чисто внѣшнимъ мотивамъ, — потому что оно модное, потому что оно «послѣднее слово», потому что оно создаетъ почву для «соперничества» и т. п.

«Маленькій Эйольфъ» дѣйствительно далеко не изъ лучшихъ произведеній Ибсена, но во многихъ отношеніяхъ эта драма особенно для него характерна, и г. Минскій совершенно напрасно смущается ея примирительнымъ концомъ, этимъ, какъ онъ выражается, «плюсомъ» къ «отрицательной пьесѣ». Во-первыхъ, онъ и самъ указываетъ нѣкоторые другіе плюсы въ пьесахъ Ибсена; во-вторыхъ, онъ не доказалъ, а лишь сказалъ, что эти плюсы приписаны произвольно, не вытекаютъ изъ самого хода дѣйствія; въ-

третьихъ онъ указать далеко не всѣ плюсы. Съ точки зрѣнія г. Минскаго, недостаточно ясно выраженной, но легко все-таки различимой, неожиданнымъ плюсомъ должны оказаться и конецъ «Праздникъ въ Сольгаугъ» (любящая пара соединяется бракомъ, Маргитъ уходитъ въ монастырь), и конецъ «Столповъ общества» (опять таки любящая пара соединяется бракомъ, Беринкъ обращается къ честной жизни), и еще многое другое. А когда критикъ встрѣчаетъ въ изучаемомъ писателѣ столько неожиданностей, съ своей точки зрѣнія, то это значитъ, что онъ стоитъ на ложной, ошибочной точкѣ зрѣнія.

Я съ самаго начала оговорился, что не буду касаться біографіи Ібсена и хода его духовнаго развитія, а беру лишь его драмы даже независимо отъ ихъ хронологическаго порядка. Очень понимаю, что этимъ задача суживается, но только суживается, а не теряетъ своего *raison d'être*. Дѣло въ томъ, что Ібсенъ не великій художникъ, но настоящий художникъ, въ произведенія котораго многое прорывается помимо его воли и сознанія. Именно, прорывается. Его творчество представляетъ собою, какъ бы сравнительно узкую дверь, въ которую безпорядочно, другъ друга толкая и придавливая, даже калѣча, а иногда не успѣвая даже какъ слѣдуетъ, сложиться, ломится множество образовъ, и авторъ, при всемъ желаніи, не въ силахъ ихъ дисциплинировать, управиться съ ними, такъ что иной разъ и самая дверь трещать. Отсюда, при немногочисленности основныхъ мотивовъ, плодovitость Ібсена, крайняя сложность и запутанность его драмъ, грубая подчеркнутость или, напротивъ, блѣдная недодѣланность многихъ дѣйствующихъ лицъ. Отсюда же — возможность для критики говорить объ томъ, что въ его драмахъ *сказалось*, независимо отъ того, что онъ *хотѣлъ сказать*.

Какъ уже сказано въ прошлый разъ, центральный пунктъ вниманія Ібсена едва-ли не во всѣхъ его драмахъ есть сюжетъ книги, надъ которою работаетъ отецъ маленькаго Эйольфа: «ответственность человека». Вопросъ объ ответственности явственно не даетъ покою Ібсену на всемъ протяжении его литературной дѣятельности. Какъ онъ разрѣшаетъ этотъ вопросъ для себя; приходилъ-ли онъ въ различные періоды своей жизни къ различнымъ рѣшеніямъ; какъ отражались эти различные рѣшенія на другихъ сторонахъ его философскаго міросозерцанія и нравственно-политическаго образа мыслей, — все это, конечно, очень интересно. Но и помимо всего этого остаются самыя драмы, представляющія собою нѣчто въ родѣ картинной галлерей, гдѣ почти каждая картина имѣетъ сюжетомъ ответственность, какъ ее понимаютъ, принимаютъ или отвергаютъ разные люди. Размѣры кар-

тинъ мѣняются: то маленькій этюдъ изъ жизни захолустнаго норвежскаго городка, то огромное полотно, посвященное крупному историческому моменту. Большинство картинъ загромождено множествомъ ненужныхъ деталей, раздвигавшихъ вниманіе зрителя параллельныхъ завязокъ и развязокъ, смутныхъ, недофланныхъ, передѣланныхъ, искалѣченныхъ образовъ, произвольно проскакивающихъ въ двери творчества черезъ порогъ сознанія. Но имѣющими очи они въ концѣ концовъ не мѣшаютъ усмотрѣть основной сюжетъ: отвѣтственность въ двойной формѣ вины и заслуги, совѣсти и чести, трагически освѣщенныхъ; а это трагическое освѣщеніе достигается столкновеніемъ личной воли и сознанія съ роковой силой необходимости. Я совершилъ грѣхъ и не могъ не совершить его при данныхъ обстоятельствахъ, *вынужденъ* былъ совершить, но совѣсть все-таки неумолимо гложетъ меня; я претерпѣлъ обиду, и не могъ не получить ее, но примириться съ ней мнѣ воспрещаетъ моя честь:—таковъ главный пунктъ вниманія Ибсена, интересующій и читателя, хотя онъ, читатель, можетъ быть, едва чуетъ его сквозь толщу разныхъ ненужностей. Пусть этотъ бунтъ личности противъ роковыхъ стихійныхъ силъ безуменъ, но съ тѣхъ поръ, какъ зародились въ человѣчествѣ уязвленная совѣсть и оскорбленная честь, и вплоть до тѣхъ поръ, какъ онѣ перестанутъ его терзать, этотъ бунтъ былъ, есть и будетъ для мыслящаго и чувствующаго человѣка интереснѣйшимъ моментомъ жизни. Я говорю: для мыслящаго и чувствующаго человѣка,—потому что люди съ лягушечьей душой, или съ головой, нафаршированной непродуманными теоріями детерминизма, могутъ, конечно, только плечами пожимать, глядя на это праніе противъ рожа необходимости. Я говорю далѣе: съ тѣхъ поръ, какъ зародилась уязвленная совѣсть и оскорбленная честь, и до тѣхъ поръ, пока онѣ не погаснутъ,—потому что было время, когда человѣкъ ничего не стыдился и ничѣмъ не оскорблялся, а будущее неизвѣстно: быть можетъ, насъ ждетъ тамъ не только измѣненіе нынѣшнихъ поводовъ для страданій уязвленной совѣсти и оскорбленной чести, а полная атрофія способности страдать, потому-ли, что все станетъ «добро збло», или потому, что вновь наступитъ пора жестоковѣйности... Что касается исхода трагедіи уязвленной совѣсти и помраченной чести, то, надо отдать справедливость Ибсену, онъ смотритъ на дѣло несравненно шире, чѣмъ его біографъ, г. Минскій, требующій отъ него, во имя послѣдовательности и вѣрности своимъ убѣжденіямъ, непременно неблагополучнаго, отрицательнаго, мрачнаго исхода. Ибсенъ не скупится на этого рода исходы, но каковы бы ни были его собственные взгляды, онъ знаетъ, что въ жизни трагедія, настоящая, потрясающая трагедія не всегда оканчивается мрачно;

знать и изображать это. А въ предлагаемой статьѣ намъ дѣлать до того, чему Ибсенъ хочетъ поучать читателей и зрителей: мы обращаемся въ его картинную галлерей не за поученіями, а за изображеніями, оставляя за собою право сдѣлать изъ нихъ свои собственные выводы. Прошу замѣтить: я не говорю, что Ибсенъ не хочетъ поучать или что его поученіями не стоитъ заниматься, я просто не касаюсь этой стороны дѣла. Задача г. Минскаго совершенно другая, сама по себѣ столь же законная, конечно, какъ и моя, но, очевидно, благодаря ложной точкѣ зрѣнія, онъ фактически не правъ, объявляя конецъ «Маленькаго Эйольфа» «неожиданнымъ», какимъ-то чужимъ клиномъ, вбитымъ въ творчество Ибсена какими-то сторонними соображеніями.

Повторяю, драма «Маленькій Эйольфъ», со всеми ея достоинствами и недостатками, съ ея общей архитектурой и во всѣхъ ея подробностяхъ, есть одно изъ характернѣйшихъ произведеній Ибсена. Посмотримъ на нее нѣсколько ближе.

У супруговъ Альмерсовъ, Альфреда и Риты, есть маленький сынъ, Эйольфъ. Это слабый, болѣзненный мальчикъ, хромой, ходитъ съ костылемъ. Родился онъ не такимъ, но когда онъ былъ еще груднымъ ребенкомъ, мать оставила его однажды спящимъ, подъ присмотромъ своего мужа, но затѣмъ вернулась и «пожиряющимъ пламенемъ своей красоты» увлекла мужа, а мальчикъ, какъ разъ въ минуту ихъ упоенія страстью, упалъ и остался на всю жизнь калѣкой. Но не долга была эта жизнь: девяти лѣтъ Эйольфъ, благодаря своей слабости и неловкости, утонулъ, и только всплывшій на поверхность воды костыль отъ него остался.

Читатель, знакомый съ Ибсеномъ, хотя бы только по моимъ бѣглымъ замѣткамъ, уже догадывается, конечно, что смерть маленькаго Эйольфа становится источникомъ жесточайшихъ угрызеній совѣсти для его родителей. Но мученія эти, по крайней мѣрѣ для самого Альфреда Альмерса, если не для Риты, начались не со смертью Эйольфа. Видъ маленькаго калѣки всегда возбуждалъ въ немъ волненія совѣсти, и вѣроятно именно это заставляетъ его усиленно работать надъ сочиненіемъ объ «отвѣтственности человека», а затѣмъ бросить и эту работу, чтобы перейти отъ слова къ дѣлу, и всю жизнь свою отдать на воспитаніе маленькаго Эйольфа, за несчастіе котораго онъ чувствуетъ себя отвѣтственнымъ. Но какъ разъ въ то время, когда онъ принимаетъ это рѣшеніе, мальчикъ погибаетъ. Обратите вниманіе на тѣ смягчающія вину Альмерса обстоятельства, которыя скопляетъ Ибсенъ. Едва-ли многіе изъ романистовъ, драматурговъ, поэтовъ, вообще беллетристовъ, задумавъ положеніе Альмерса, избѣжали бы искушенія сдѣлать Эйольфа плодомъ такъ называемой незаконной любви и тѣмъ, съ

известной точки зрѣнія, усугубить и, во всякомъ случаѣ, расцвѣтить вину Альмерса. Ибсену это совсѣмъ не нужно. У него все дѣло разыгрывается въ предѣлахъ, повидимому, обыденной дѣйствительности: мальчикъ «спокойно спалъ на своемъ тюфячкѣ», а родители предавались обычнымъ и естественнымъ, вполнѣ «законнымъ» супружескимъ ласкамъ. Какой-то фатумъ устроилъ совпаденіе момента этихъ страстныхъ ласкъ съ паденіемъ ребенка, навсегда испортившимъ его жизнь. И опять какой-то фатумъ устраиваетъ совпаденіе гибели маленькаго Эйольфа съ рѣшеніемъ отца отдать ему всю свою жизнь, всего себя. На этотъ разъ фатумъ воплощается, съ одной стороны, въ «бабѣ-крысоловкѣ», которая своими непреодолимыми чарами (или гипнотическимъ внушеніемъ) заманила Эйольфа въ воду, а съ другой—въ Ритѣ, которая, въ порывѣ бѣшеней ревности, пожелала, чтобы мальчикъ умеръ,—и желаніе ея исполнилось, какъ исполнилось желаніе строителя Сольнеса, чтобы сторѣлъ домъ его жены. Не смотря, однако, на эти обстоятельства, смягчающія отвѣтственность Альмерса, растворяющія ее въ цѣломъ рядѣ обыденныхъ, естественно-необходимыхъ или непреодолимыхъ событій, щемящая работа совѣсти не даетъ Альмерсу покоя. А Ибсенъ, одной рукой скопляя эти смягчающія обстоятельства, другою — вводитъ въ жизнь своего героя новые источники угрызѣній совѣсти. Оказывается, что чувство, связывающее Альмерса съ женой, есть главнымъ образомъ или даже исключительно чувственность, къ которой прибавляется элементъ, еще болѣе низменный: женись на Ритѣ, онъ собственно продался (мотивъ, какъ уже знаетъ читатель, нерѣдкій у Ибсена); по крайней мѣрѣ, онъ такъ думаетъ, вспоминая свою бѣдность и рѣзкую перемену своего матеріальнаго положенія послѣ женитьбы на богатой Ритѣ. Онъ знаетъ во всякомъ случаѣ, что эта женитьба дастъ ему возможность спокойно «учиться и работать» и обезпечитъ его сводную сестру Асту, съ которою его связываютъ самыя нѣжныя чувства. Въ этихъ отношеніяхъ мы опять встрѣчаемъ нѣчто очень характерное для Ибсена. Въ теченіи драмы выясняется, что Аста не сестра Альмерса, — она есть плодъ «незаконнаго» увлеченія своей матери, да и чувства ея къ Альмерсу не сестринскія, но она не даетъ имъ разыграться и уѣзжаетъ, говоря Альмерсу на прощанье: «бѣгу отъ тебя и отъ себя самой». Вы опять узнаете Ибсена, на этотъ разъ со стороны его щепетильности въ дѣлахъ любви: объ одномъ «веселомъ грѣхѣ» мы только узнаемъ изъ пьесы, а въ дѣйствіи его нѣтъ, есть только плодъ его — Аста, а другому грѣху авторъ не даетъ совершиться, заставляя Асту бѣжать отъ искушенія. Но все это, разумѣется, способствуетъ чрезвычайной сложности и запутанности драмы, а мы еще совсѣмъ обонли

личность инженера Борхгейма, равно какъ и то осложняющее обстоятельство, что Альмерсъ задолго до катастрофы прозвалъ Асту, неизвѣстно почему, Эйольфомъ, и большой и маленький Эйольфы какъ бы сливаются иногда въ одно лицо. Итъ, наконецъ, въ драмѣ недостатка и въ символическихъ разговорахъ о «горахъ», «пронастяхъ», «небесахъ», «глубинѣ», «звѣздахъ».

Читатель видитъ, что если пьесу «Маленькій Эйольфъ» и можно назвать «не оригинальной», то развѣ только въ томъ смыслѣ, что Пюсенъ здѣсь во многомъ повторяетъ самого себя. Но мы уже видѣли и еще увидимъ, что онъ повторяетъ себя очень часто, лишь на разные лады комбинируя нѣсколько основныхъ своихъ мотивовъ и вводя ихъ въ разные рамки, но неизмѣнно при этомъ и, повидимому, непронизовно вызывая безнужную и затемняющую дѣло толкотню образовъ. Многихъ пѣняетъ происходящая отсюда смутность, неясность, въ которой они видятъ глубину. Глубина не въ этой смутности, и такіе цѣнители напоминаютъ человека, который любовался бы въ прекрасномъ, но изрытомъ осною лицѣ, именно, этими опасными язвинами...

Эйольфъ умеръ, Аста уѣхала, супруги Альмерсы остаются одни, въ настоящемъ нравственномъ аду, переполненномъ скорбными воспоминаніями, угрызеніями совѣсти и взаимными упреками. Совмѣстная жизнь становится невыносимою, и Альмерсъ рѣшается уѣзжать. Но тутъ происходитъ слѣдующій эпизодъ. Дѣйствіе происходитъ въ имѣніи Альмерса, въ которомъ на морскомъ берегу есть какая-то деревушка. До слуха угрызающихся и перекоряющихся супруговъ доносится оттуда «сильный шумъ и восклицанія сердитыхъ голосовъ». Узнавъ въ чемъ дѣло, Альмерсъ говоритъ женѣ: «По настоящему слѣдовало бы уничтожить эту деревушку. Вотъ мужнины пришли домой пьяные, по своей привычкѣ. Ребятишекъ своихъ колотятъ. Слышишь, какъ ревутъ? А матери зовутъ на помощь».—Рита предлагаетъ послать кого-нибудь помочь имъ, но Альмерсъ гнѣвно отвергаетъ это предложеніе: вѣдь и маленький Эйольфъ погибъ на глазахъ этихъ людей, и они не помогли ему, съ какой же стати онъ, Альмерсъ, будетъ теперь помогать имъ? Мало того, онъ рѣшается даже согнать жителей деревушки съ мѣста, и пусть эта толпа бѣдняковъ убирается, куда хочетъ, потому что маленький Эйольфъ долженъ быть отомщенъ. Онъ требуетъ, чтобы Рита непремѣнно исполнила это послѣ того, какъ онъ уѣдетъ. Рита возражаетъ, что она этого не сдѣлаетъ, а, напротивъ, возьметъ заброшенныхъ ребятишекъ къ себѣ и будетъ ихъ воспитывать. Альмерсъ пораженъ, и между супругами происходитъ такой діалогъ:

Альмерсь. Сущее безуміе! Я не знаю никого на свѣтѣ менѣе, чѣмъ ты, способнаго на подобное дѣло!

Рита. Ну, что-жъ! Мнѣ придется стать на его высоту, поучиться ему, поупражняться!

Альмерсь. Если все, что ты говоришь, серьезно, то, право, надо думать, что ты подверглась перерожденію.

Рита. Да, во мнѣ произошел переворотъ, Альфредъ. И это благодаря тебѣ. Въ душѣ моей образовалась пустота. Я и хочу попробовать заполнить ее чѣмъ-нибудь, похожимъ на любовь.

Альмерсь (*нѣкоторое время въ задумчивости смотритъ на Риту*). Это правда, мы немного сдѣлали для тѣхъ бѣдняковъ, что живутъ тамъ внизу.

Рита. Мы ровно ничего для нихъ не сдѣлали.

Альмерсь. Изрѣдка развѣ случалось вспоминать о нихъ!

Рита. И никогда съ состраданіемъ.

Альмерсь. Мы-то, у которыхъ денегъ куры не клюютъ!

Рита. Наши карманы были закрыты для нихъ. Сердца—тоже.

Альмерсь (*одобрительно кивая головой*). Поэтому-то не мудрено, что никто изъ нихъ не отважился рисковать жизнью для спасенія маленькаго Эйольфа.

Рита (*понижая голосъ*). Скажи, Альфредъ, ты твердо увѣренъ, что мы сами рѣшились бы подвергнуть себя такой опасности?

Альмерсь (*въ смущеніи*). Рита! Неужели ты сомнѣваешься, что...

Рита. Полно, вѣдь мы крѣпко привязаны къ землѣ.

Альмерсь. Наконецъ, что ты, въ сущности, намѣрена сдѣлать для этихъ брошенныхъ дѣтей?

Рита. Прежде всего, я хочу попытаться сдѣлать ихъ жизнь счастливѣе и благороднѣе.

Альмерсь. Если тебѣ это удастся, то Эйольфъ не даромъ пожилъ на свѣтѣ.

Рита. И есть смелость въ томъ, что онъ отнять у насъ!

Альмерсь (*присланило смотритъ на нее*). Только пойми, Рита, что не любовь побуждаетъ тебя на такой подвигъ.

Рита. Нѣтъ. Или, по крайней мѣрѣ, пока еще нѣтъ.

Альмерсь. Что-же въ такомъ случаѣ?

Рита (*не отвѣчая на вопросъ прямо*). Ты часто говаривалъ съ Астой объ «отвѣтственности челоѣка».

Альмерсь. Да объ этой книгѣ, которую ты ненавидишь.

Рита. Я все еще продолжаю ненавидѣть ее. Но я присутствовала, когда ты говорилъ, и слушала. Теперь я хочу пойти этимъ путемъ. Самостоятельно, на свой ладъ.

Альмерсь (*качая головой*). Тутъ, конечно, не при чемъ мое неоконченное сочиненіе.

Рита. Нѣтъ. У меня еще другое побужденіе.

Альмерсь. Какое?

Рита (*тихо съ печальной улыбкой*). Видишь-ли, мнѣ хотѣлось бы угодить этимъ большимъ, широко раскрытымъ дѣтскимъ глазкамъ.

Альмерсь (*пораженный смотритъ на нее*). Не могу-ли я... помочь тебѣ, Рита?

Рита. Ты желалъ бы?

Альмерсь. Да, если-бъ былъ увѣренъ, что могу быть полезнымъ.

Рита (*колеблясь*). Но вѣдь въ такомъ случаѣ тебѣ пришлось бы остаться здѣсь.

Альмерсъ (*понижая голосъ*). Развѣ попытаться...

Рита (*снова слышно*). Да, Альфредъ, попытаемся...

Далѣе діалогъ стѣзжаетъ на символическія темы о «высотахъ» и «звѣздахъ». Можно, конечно, сказать, что этотъ символизмъ не украшаетъ финала «Маленькаго Эйольфа» и что финалъ наступаетъ слишкомъ быстро, чѣмъ портится художественное впечатлѣніе. Но и символизмъ, и антихудожественная торопливость вообще свойственны Ибсену. Едва-ли найдется хоть одна его пьеса, которой нельзя было бы предъявить этотъ упрекъ, по крайней мѣрѣ, относительно той или другой частности. А затѣмъ и въ другихъ отношеніяхъ финалъ «Маленькаго Эйольфа» столь же подлинно Ибсеновскій, какъ и вся пьеса. И, можетъ быть, меньше всего тутъ слѣдуетъ искать подражанія Толстому въ его проповѣди любви къ ближнимъ. Что именно проповѣдуетъ или хочетъ проповѣдывать Ибсенъ, — мы этого не касаемся, но фактъ тотъ, что, по словамъ Альмерса, «не любовь побуждаетъ Риту на подвигъ», и сама Рита съ этимъ соглашается. Она хочетъ только заполнить образовавшуюся въ ея душѣ пустоту «чѣмъ-нибудь похожимъ на любовь». Настоящая любовь, можетъ быть, и придетъ съ теченіемъ времени, но пока, въ драматическомъ дѣйствіи, ея нѣтъ, а двигателемъ является совѣсть. Если-же на почвѣ этой работы совѣсти мы имѣемъ въ «Маленькомъ Эйольфѣ» примирительный финалъ, то и это, по малой мѣрѣ, не противорѣчитъ общей литературной физиономіи Ибсена. Мы уже видѣли такой же примирительный финалъ въ «Праздникѣ въ Сольгаугѣ»: Маргитъ, «испытавъ весь ужасъ, все раскаяніе и муки души, готовый продать себя для земныхъ благъ», рѣшается «искупить свой грѣхъ» въ стѣнахъ монастыря и благословляетъ союзъ Гудмунда и Сигны, для которыхъ «настаетъ утро, настаетъ день счастья, день блаженства». Сейчасъ мы увидимъ во многихъ отношеніяхъ еще болѣе характерный примирительный финалъ.

Въ «Сѣверныхъ богатыряхъ» Сигурдъ совершаетъ подвигъ, заслугу, честь котораго предоставляетъ по дружбѣ Гуинару. Богатый до излишества расцвѣтающими подробностями, но почти бѣдный въ комбинаціи *основныхъ* мотивовъ, Ибсенъ строитъ драму «Столпы общества» на весьма сходномъ, или, скажемъ, параллельномъ основаніи. Только въ «Сѣверныхъ богатыряхъ» дѣло идетъ почти исключительно о чести, а въ «Столпахъ общества» — главнымъ образомъ о совѣсти: изъ дружбы Юганнъ Теннезенъ беретъ на себя вину, грѣхъ Карстена Берника. Въ результатѣ этотъ Берникъ такая же ворона въ навалившихся перьяхъ, какъ и Гуинаръ. Только вполнѣ безсовѣстная. Онъ пользуется всеобщимъ уваженіемъ и, повиди-

тому, совершенно свыкся съ мыслью, что оказываемый ему почетъ имъ дѣйствительно заслуженъ; онъ готовъ даже, для сохраненія этого почета, на новый и еще болѣе тяжкій грѣхъ, а именно утопить (въ буквальномъ смыслѣ слова утопить въ морѣ) своего великодушнаго друга. Драма, по обыкновенію, осложнена и запутана множествомъ вводныхъ лицъ и подробностей, и рассказывать ея содержаніе я не буду. Для насъ важенъ теперь конецъ драмы. Роя другому яму, Берникъ самъ едва уцѣлѣлъ на ея краю; думая утопить Теннезена, онъ едва не утопилъ своего сына (Олафа, «маленькаго Олафа»), и лишь счастливая случайность, не только независимая отъ воли Берника, а прямо противъ его воли происшедшая, спасла мальчика. Потрясенный этимъ обстоятельствомъ, равно какъ и всѣмъ ходомъ драмы, Берникъ произноситъ публичную покаянную рѣчь. Объ этой рѣчи, какъ по ея содержанію и характеру, такъ и по эффектной обстановкѣ, при которой она произносится, пожалуй, можно сказать, что она напоминаетъ Толстого, но не со стороны проповѣди любви къ ближнему, а со стороны пробудившейся совѣсти. Разумѣю заключительную сцену «Власти тьмы». И у Ибсена, и у Толстого покаянныя рѣчи героевъ произносятся въ моментъ торжественныхъ празднествъ, въ которыхъ героямъ предстоитъ играть видную, и именно почетную роль: и у Ибсена, и у Толстого публичное покаяніе героевъ является совершенною, ошеломляющею неожиданностью для собравшагося на празднество народа. Можно указать и еще черты сходства, но для этого надо было рассказывать содержаніе «Столповъ общества» въ подробности. Мудрено, однако, вывести отсюда заключеніе, что Ибсенъ подражаетъ Толстому, такъ какъ «Столпы общества» появились почти за десять лѣтъ до «Власти тьмы» (1877—1886). Изъ этого не слѣдуетъ, конечно, и того, чтобы Толстой въ свою очередь подражалъ Ибсену, и я слѣшу подчеркнуть одну рѣзкую и очень для насъ здѣсь важную разницу между двумя драмами.

У Толстого Никита самымъ своимъ покаяніемъ осуждаетъ себя на изгнаніе изъ общества, чтобы гдѣ нибудь на каторгѣ искупить свою вину тяжкими трудами и страданіями. У Ибсена дѣло поставлено совсѣмъ иначе. Вотъ начало покаянной рѣчи Берника.

«Сограждане! Вашъ ораторъ сказалъ, что мы стоимъ сегодня на порогѣ новой эры,—и я надѣюсь, что его слова оправдаются. Но чтобы это было возможно, мы должны обратиться къ правдѣ,—которой до сихъ поръ у насъ нигдѣ и ни въ чемъ не было мѣста. (*Удивленіе среди присутствующихъ*). Я долженъ начать съ того, что отстраню отъ себя похвалы, которыми вы, г-нъ адъютантъ, засыпали меня, какъ это водится въ подобныхъ случаяхъ. Я не

заслужить ихъ. потому что до сего дня я не былъ безкорыстнымъ челоѣкомъ. Если я и не всегда стремился къ денежной выгодѣ, то все же мнѣ теперь ясно, что при большинствѣ моихъ дѣйствій побудительными мотивами являлась жажда власти, вліянія и почета... Передъ моими согражданами я не чувствую за это угрызений совѣсти; потому что я и теперь еще думаю, что могу стать въ ряду самыхъ достойныхъ людей нашего города». Разсказавъ потомъ объ одной затѣянной имъ, но еще не приведенной въ исполненіе нечистой спекуляціи, Берникъ говоритъ: «Я намѣренъ былъ оставить все за собою, да я и теперь думаю, что эти земли принесутъ наибольшую пользу, если останутся въ одиѣхъ рукахъ. Но вы можете сами выбирать. Если вы пожелаете, я готовъ управлять ими по моему лучшему разумѣнію». Затѣмъ Берникъ кается въ томъ грѣхѣ, который пятнадцать лѣтъ тому назадъ взялъ на себя его великодушный другъ, Іоаннъ Теннезентъ, и прибавляетъ: «Теперь уже невозможно опровергнуть тѣ злыя и живые слухи, которые распространились тогда. Но на это я не могу жаловаться: пятнадцать лѣтъ назадъ я поднялся, благодаря этимъ слухамъ; приведутъ ли они теперь къ моему паденію, это пусть каждый обсудитъ съ самимъ собою. Но не принимайте теперь никакого рѣшенія. Я прошу каждаго возвратиться домой, собраться съ мыслями и заглянуть въ собственную душу. Когда волненіе уляжется, тогда будетъ видно, потерялъ ли я отъ этого или выиграть. Прощайте, мнѣ еще во многомъ, очень многомъ надо раскаться; но это кается уже только моей совѣсти».

Такимъ образомъ, хотя Берникъ и кается, подобно Никитѣ во «Власти тьмѣ», но вовсе не намѣренъ удалиться изъ общества, а, напротивъ, съ гордостью, которая, благодаря торопливости автора, можетъ показаться даже наглостью, предлагаетъ свои услуги обществу, надѣется оправдать его довѣріе, если таковое послѣдуетъ. Никита, движимый лишь совѣстью, знаетъ себѣ только отрицательную цѣну,—вину свою или, вѣрнѣе, свои многочисленныя вины. За Берникомъ тоже много грѣховъ числится, и онъ тоже движется совѣстью. но она не давитъ его окончательно, какъ давитъ Никиту у Толстого, или Маргитъ у самаго Ибсена; ибо, кромѣ отрицательной своей цѣны, опредѣляемой совѣстью, Берникъ знаетъ и свою положительную цѣну, опредѣляемую честью: онъ знаетъ свою даровитость, свою энергію, свои достоинства вообще, которыя онъ въ теченіе пятнадцати лѣтъ успѣлъ проявить не грѣхами только, а и на дѣйствительной службѣ обществу. И, сознательно или безсознательно, но Ибсенъ такъ располагаетъ обстоятельства, что они болѣе или менѣе смягчаютъ жестокіе итоги, подводимые совѣстью Берника. Въ молодости онъ совершилъ грѣхъ

и имѣлъ подлость зломъ отплатить Іогану Теннезену, взявшему на себя этотъ грѣхъ, и вилоть до своего покаянія Берникъ стоитъ на почвѣ лжи и лицемерія. Но на этой дрянной почвѣ передъ глазами читателей не вырастаютъ уже новые цвѣты зла и преступленія: они только замышляются, взрости имъ Ібсенъ не позволяетъ. Общественные интересы, которые должны были пострадать отъ задуманной Берникомъ нечистой спекуляціи, остаются неприкосновенными: Іоганъ Теннезенъ очищается отъ возведенныхъ на него пятнадцать лѣтъ тому назадъ обвиненій и счастливо уѣзжаетъ въ Америку на счастливую жизнь съ любимой дѣвушкой; домашняя семейная жизнь Берника освѣщается послѣ его покаянія новымъ яркимъ и теплымъ свѣтомъ и т. д. И одно изъ дѣйствующихъ лицъ, Бона Гессель, когда-то кровно обиженная Берникомъ, но послѣ его покаянія все простившая, все забывшая, кончаетъ драму словами: «Свобода и правда,—вотъ столпы общества».

Послушаемъ же теперь г. Минскаго. На всякое чиханіе, конечно, не наздравствуешься, но то, что чихаетъ въ данномъ случаѣ г. Минскій, во-первыхъ, поможетъ мнѣ выяснитъ свою мысль, а во-вторыхъ, насколько я знакомъ съ литературой объ Ібсенѣ, не г. Минскимъ выдуманно, а повторяется очень часто. «Неизвѣстно—говорить г. Минскій,—какъ общество отнесется къ раскаявшемуся грѣшнику. Но какъ бы ни сложилась судьба Берника *), идея пьесы отъ этого не мѣняется. Ібсенъ показываетъ, что общее благо, признаваемое обыкновенно чѣмъ-то благороднымъ и даже священнымъ, въ дѣйствительности является ничѣмъ инымъ, какъ лишнимъ стимуломъ для лжи и преступленій. Общество таково, что только обманщики могутъ быть его опорами и защитниками. Люди таковы, что служеніе общему благу является въ ихъ рукахъ щитомъ для прикрытія собственного самолюбія и тщеславія».

Боюсь надоѣсть читателю, но еще больше боюсь быть непонятымъ и потому напоминаю: я не касаюсь міровоззрѣнія Ібсена, потому что недостаточно знакомъ съ нимъ, я извлекаю свои матеріалы исключительно изъ его драмъ, въ которыхъ, благодаря необузданности творческаго темперамента Ібсена, многое пробивается помимо его воли и сознанія. Поэтому, если бы даже самъ Ібсенъ подтвердилъ сужденіе г. Минскаго, я сказалъ бы, что въ драмахъ я не нахожу того, что видитъ въ нихъ г. Минскій и, ка-

*) Г. Минскій называетъ героя «Столповъ общества» Верникъ, въ изданіи г. Юровскаго онъ называется Берникъ. Кто правъ—не знаю. Думаю, что не г. Минскій, потому что и въ книгѣ Горна и Швейцера мы встречаемъ Берника.

жется. еще многіе другіе критики. И пусть судить читатель, дѣйствительно-ли такъ безприсвѣтно и безнадежно мраченъ финалъ «Столновъ общества», какъ утверждаетъ г. Минскій; дѣйствительно-ли въ этой драмѣ «Ибсенъ показываетъ», что «общее благо, признаваемое обыкновенно чѣмъ-то благороднымъ и даже священнымъ», на самомъ дѣлѣ есть «ничто иное, какъ лишній стимулъ для лжи и преступленій». Лона Гессель говоритъ, что «свобода и правда— вотъ столпы общества», и на этомъ кончается драма, спускается занавѣсъ, а г. Минскій умозаключаетъ, что «только обманщики могутъ быть опорами и защитниками общества»... Я думаю, напротивъ, что «Столпы общества» скорѣе уже построены по старинной формулѣ: добродѣтель торжествуетъ, а порокъ наказанъ (наказанъ въ лицѣ нераскаянныхъ соумышленниковъ Берника по затѣянной имъ двусмысленной спекуляціи, далѣе въ лицѣ претендента на руку невѣсты Юганна Теннзена, — лицемѣра Рерлунда, да, пожалуй, и самого Берника въ его прошломъ).

Ибсенъ не только въ «Столпахъ общества», а и во многихъ другихъ драмахъ не щадитъ красокъ для изображенія лживости, лицемѣрія, жестокости, всевозможныхъ пороковъ современнаго общества. Но это бы еще не выдѣляло его изъ длиннаго ряда другихъ писателей, не менѣе его карающихъ современность. У насъ, напримеръ, есть Салтыковъ, «Благонамѣренныя рѣчи» котораго несравненно даже ярче показываютъ, что кроется иногда за заботами объ «общемъ благомъ», ярче и, не смотря на всю тенденціозность, художественнѣе. Можетъ показаться, что недостатокъ яркости восполняется у Ибсена глубиной, такъ какъ онъ не пріурочиваетъ свои обвиненія съ такою страстностью къ вполне определенному моменту, а паритъ на большой высотѣ, съ которой видны и скандинавскіе викинги, и Юліанъ Отступникъ, и какой-то Берникъ, и рыцари XIV и XVI вѣка, и докторъ Штокманъ, и фантастическія путешествія Пера Гинта, и проч. Я не думаю, чтобы это было вѣрно, но не стану отвлекаться въ сторону. Возьмемъ одного Ибсена. Не современное только общество бичуетъ онъ; онъ, повидимому, враждебенъ самому принципу общества. Въ «Союзѣ молодежи» талантливый прощальга, адвокатъ Стенсгардъ ведетъ за собой общество, какъ стадо барановъ, и хотя онъ проваливается въ сѣть своихъ собственныхъ ухищреній (мимоходомъ сказать, чисто водеvilънаго характера, совершенно недостойныхъ серьезнаго писателя), но ему все-таки не безъ основанія предсказываютъ блестящую карьеру. Въ «Докторѣ Штокманѣ» («Врагъ народа») низость и подлость общества доводятъ героя до изреченій: «самый опасный врагъ истины и свободы, это — силовое, свободное большинство»: «глупцы составляютъ подавляющее большин-

ство на всемъ пространствѣ міра», однако «самый сильный человекъ въ этомъ мірѣ тотъ, кто остается одинокимъ». Все это какъ бы подтверждаетъ мнѣніе г. Минскаго и, конечно, онъ не упускаетъ случая сослаться на «Доктора Штокмана», но затѣмъ останавливается въ недоумѣніи: «Конфликтъ между личностью и обществомъ — говоритъ онъ — только указать Писеню, но не разрешить. Остается неяснымъ, что должна дѣлать одинокая и сильная личность, смотрящая на толпу, какъ на сборище идіотовъ и негодяевъ».

Того, кто ищетъ у Писена поученій, этотъ вопросъ, конечно, долженъ очень занимать. Но мы ищемъ не поученій, а изображеній, а потому и вопросъ ставится для насъ иначе: не какъ *должна*, по мнѣнію Писена, поступать личность въ случаѣ конфликта съ обществомъ? а — какъ она въ его драмахъ въ такихъ случаяхъ дѣйствительно поступаетъ?

Прежде всего надо замѣтить, что общество представляетъ собой въ драмахъ Писена такую же роковую, стихійную силу, какъ и наследственность или «законъ эволюціи», съ одной стороны. вѣрнѣе Норриъ, магическіе эффе́кты и т. п. — съ другой. Съ особенною силою выступаетъ это въ «Союзѣ молодежи», въ «Докторѣ Штокманѣ», въ «Брандѣ», вообще вездѣ, гдѣ общество хоть частію является въ видѣ «толпы», т. е. въ видѣ не столько организованной, сколько однопредметно увлеченной и испихически зараженной массы. За этой массой могутъ стоять вожаки, руководствующіея тѣми или другими, благородными или своекорыстными соображеніями, но сама масса движется съ стихійною непреклонностью пониженной воли и отуманеннаго сознанія, и если поперекъ ея дороги становится одинокая личность, для послѣдней наступаетъ трагическій моментъ, отражающійся въ душѣ личности все тою же работою либо совѣсти, либо чести. Но и въ организованномъ обществѣ, въ самомъ строѣ общественномъ, каковъ бы онъ ни былъ, есть нѣчто, для каждой данной личности, стихійное, роковое. Ея воля и сознаніе не участвовали въ выработкѣ тѣхъ законовъ, нравовъ, обычаевъ, предразсудковъ, общественныхъ отношеній, которыя она застаётъ, очутившись въ данномъ обществѣ въ качествѣ мыслящаго, чувствующаго и дѣйствующаго индивида. Отсюда почва для трагическаго столкновенія личности, побуждаемой опять-таки работою совѣсти или чести, съ обществомъ. Такимъ образомъ конфликтъ личности съ обществомъ является у Писена лишь частнымъ случаемъ конфликта личной воли и сознанія съ силами роковой необходимости вообще. Трагическая сторона этого столкновенія состоитъ въ мученіяхъ уязвленной совѣсти и оскорбленной чести, а не въ гибели героя, которая есть въ нѣкоторыхъ драмахъ и

отсутствуетъ въ другихъ. Но за то во всѣхъ мы встрѣчаемъ борьбу съ гнетущею необходимостью или съ тѣмъ, что таковою кажется, борьбу и разнообразнѣйшія комбинаціи условій, благоприятствующихъ и неблагоприятствующихъ этой борьбѣ.

Du glaubst zu schieben und wirst geschoben,—говорить умный Мефистофель и повторяютъ за нимъ многіе, иногда тоже умные, а иногда совсѣмъ не умные люди. Нѣкоторые герои Ибсена могли бы отвѣтить: ja, ich bin geschoben, aber zum Schieben. Они знаютъ, что есть независимыя отъ ихъ воли могучія стихійныя, «роковыя» силы, и, казалось бы, это знаніе упраздняетъ, какъ ихъ собственную отвѣтственность за свои поступки, такъ и отвѣтственность другихъ: все равно необходимо, все равно совершается потому, что wir sind geschoben,—остается «не плакать и не смѣяться, а понимать». Но герои Ибсена смѣются и плачутъ, да и во всемъ человѣчествѣ льются слезы раскаянія, истекаютъ кровью сердца отъ обиды, раздается смѣхъ торжества и пообѣды, смѣхъ горькой проины, гнѣвный смѣхъ сатиры. Должно быть, эти вопли уязвленной совѣсти и оскорбленной чести тоже необходимы (иначе бы вѣдь ихъ не было), должно быть, ихъ тоже понимать надо, а не отмечать. Но уязвленная совѣсть и оскорбленная честь не замыкаются въ себѣ, а рвутся наружу, стремятся заявить себя въ дѣйствіяхъ, и эти дѣйствія, какъ бы ни были они разумны или безумны, опять же необходимы, какъ и все на свѣтѣ, хотя бы они были направлены противъ необходимости же. Необходима, наконецъ, и гибель или, по крайней мѣрѣ, поврежденіе той или другой изъ столкнувшихся необходимостей. Какъ ориентировуются дѣйствующія лица Ибсеновыхъ драмъ въ этой безконечно сложной сѣти, въ которой все плюсы такъ же необходимы, какъ и все минусы, все благородное, какъ и все подлое, все разумное, какъ и все безумное?

Ориентироваться въ ней вполне и во всѣхъ подробностяхъ не дано человѣческому разуму и чувству. Слишкомъ этотъ разумъ ограниченъ даже у самыхъ разумныхъ, слишкомъ это чувство бѣдно и «крѣико землѣ» даже у самыхъ великодушныхъ. Мистикъ Максимъ въ драмѣ «Императоръ и Галилеянинъ», и по собственному мнѣнію, и по мнѣнію Юліана и другихъ, проникъ въ тайны бытія глубже, чѣмъ кто-нибудь изъ смертныхъ. Знаетъ онъ, между прочимъ, какъ мы уже видѣли, и то, что *хотѣть* значить быть *принужденнымъ* хотѣть (geschoben sein). Это подтверждаетъ и Іуда въ вышеупомянутомъ видѣніи: онъ былъ geschoben, принужденъ совершить свое подлое преступленіе, дабы

именно пмѣ послужить необходимому историческому ходу вещей. Но и въ видѣ загробной тѣни, вызванной изъ небытія чарами Максима, Іуда является съ знакомъ грызущей совѣсти, съ веревкой на шеѣ, и на вопросъ Юліана: было-ли съ необходимостью предопредѣлено именно ему предать Учителя? онъ отвѣчаетъ: «въ этомъ загадка», и исчезаетъ, отказываясь отъ всякихъ дальнѣйшихъ объясненій. Такимъ образомъ, и для проникшаго въ тайны бытія Максима, и для вызваннаго изъ небытія Іуды остаются неразгаданныя загадки въ сѣти «принужденныхъ хотѣній» и дѣйствій. А потому и всезнающій Максимъ можетъ ошибаться. Онъ вдохновлялъ Юліана, предсказывая ему побѣду и основаніе «третьяго царства», и вотъ его странная, прерывистая рѣчь надъ трупомъ Юліана: «Я любилъ его и предать... нѣтъ, не я!... Предать, какъ Каинъ, какъ Іуда... Вашъ Богъ расточителенъ, галилеяне! Много ему душъ надо... Такъ ты не былъ истиннымъ... о, жертва необходимости?.. Стоитъ-ли жить послѣ этого? все есть только игра и тщета. *Хотѣть*—значитъ *быть принужденнымъ хотѣть* (курсивъ въ подлинникѣ)... О, мой любимый... всѣ указанія обманули меня, всѣ знаменія говорили двойственнымъ языкомъ, и вотъ почему я видѣлъ въ тебѣ того, кто долженъ примирить два царства». Правда, разочаровавшись въ Юліанѣ и горько каюсь въ своей ошибкѣ, мудрецъ Максимъ не остается безъ надеждъ на будущее. Онъ кончаетъ свою рѣчь словами: «Наступитъ третье царство! Духъ человѣческій вернетъ себѣ свое наслѣдство, и тогда принесутся искупительныя жертвы за тебя и за твоихъ двухъ гостей». Подъ гостями Максимъ разумѣетъ Каина и Іуду. Но вотъ пятнадцать вѣковъ прошло, исторія судитъ объ Юліанѣ, какъ о всякомъ другомъ историческомъ дѣятелѣ, а отъ той мистической комбинаціи, въ которую Максимъ включалъ Юліана вмѣстѣ съ Каинъ и Іудой, человѣческая мысль уходитъ все дальше и дальше. Максимъ, мудрый Максимъ, обладавшій всѣми знаніями своего времени и въ частности такъ хорошо знавшій Мефистофельскую формулу: *du glaubst* и т. д. — мудрый Максимъ еще разъ ошибся. А и эта ошибка была столь же необходима, Максимъ столь же «принужденъ» былъ впасть въ нее, какъ принужденъ иной открыть несомнѣнную, великую истину. Все это—пестрые узоры, вышиваемые самою необходимостью на ея собственномъ одноцвѣтномъ фонѣ. Присмотримся ближе къ нѣкоторымъ изъ этихъ узоровъ.

Мы слышали отъ Гильды Вангель (въ «Строителѣ Сольнесѣ») о «хилой» и «коренастой» совѣсти и о томъ, что хорошо бы имѣть «настоящую, сочную, здоровую совѣсть, чтобы смѣло идти къ желанной цѣли», вотъ какъ древніе викинги. И Маргитъ («Праздникъ въ Сольгаугѣ»), если читатель помнить, въ минуту колебаній

совѣсти говорить: «въ чужихъ краяхъ женщины не такъ слабы-душны, какъ мы: онѣ не задумаются привести мысль въ исполненіе»: она завидуетъ той женщинѣ, которая «хотѣла на дѣлѣ исполнить то, что задумала втайнѣ». И Гильда, и Маргитъ замысливаютъ злое, по ихъ мнѣнію, дѣло, противъ котораго и возстаетъ ихъ совѣсть, но, повидимому, иногда обремененная совѣсть пренебрегаетъ осуществленію и такого дѣла, которое носитель этой обремененной совѣсти считаетъ добрымъ, полезнымъ, великимъ. Съ особенною ясностью видно это въ драмѣ «Росмерсгольмъ».

Я, къ сожалѣнію, не имѣю времени остановиться на «Росмерсгольмѣ» съ такою подробностью, съ какою мнѣ хотѣлось бы это сдѣлать и какой эта драма заслуживаетъ, и долженъ ограничиться лишь нѣсколькими эпизодами.

Владѣлецъ Росмерсгольма, Юганъ Росмеръ, вдовецъ, жена котораго утопилась, какъ онъ думаетъ, въ припадкѣ сумасшествия, — человѣкъ кабинетный и, не будучи поэтомъ человѣкомъ партіи, держится, однако, консервативнаго образа мыслей. Но подъ влияніемъ нѣжкоі Ревекки Вестъ, Росмеръ преобразается: рѣзко измѣняетъ свой образъ мыслей и желаетъ вступить на путь практической дѣятельности. Узнавъ объ этомъ, братъ его жены, Кроль, пытается переубѣдить его. Онъ говоритъ: «Фамиліи преданія налагаютъ на тебя извѣстныя обязанности, Росмеръ. Вспомни, — Росмерсгольмъ былъ съ незапамятныхъ временъ центромъ порядка и дисциплины, очагомъ всѣхъ признанныхъ, уважаемыхъ избраннымъ обществомъ мнѣній. Вся округа носитъ на себѣ печать Росмерсгольма. Если узнаютъ, что ты отрекся отъ того, что я хотѣлъ бы назвать идеей Росмеровъ, — произойдетъ непоправимая смута». Росмеръ отвѣчаетъ: «Любезный Кроль, я иначе смотрю на вещи. Мнѣ кажется, что я безусловно обязанъ распространить немного свѣта и радости въ мѣстности, которую Росмеры долгіе годы держали во мракѣ и нравственной подавленности».

Здѣсь Росмеръ стоитъ на той же почвѣ, на которой стоитъ въ «Маленькомъ Эйольфѣ» Альмерсъ, когда со стыдомъ вспоминаетъ, что вѣдь они, супруги Альмерсы, во всю свою жизнь ничего не сдѣлали для жителей деревушки. Но Росмеръ беретъ дѣло шире. Онъ совѣстится за цѣлый рядъ своихъ предковъ, державшихъ зависящее отъ нихъ окрестное населеніе во мракѣ и угнетеніи. Пробудившаяся, подъ влияніемъ Ревекки, совѣсть налагаетъ на Росмера отвѣтственность за грѣхи предковъ и вмѣстѣ съ тѣмъ побуждаетъ къ дѣятельности: въ противоположность узавленнымъ совѣстью же Гильдѣ и Маргитъ, онъ чувствуетъ въ себѣ силу исполнить задуманное. Но вотъ картина измѣняется. Передъ Росмеромъ раскрывается тайна смерти его жены: она не въ припадкѣ сума-

существовавшая бросилась въ воду, а сознательно, видя, какъ усиливается вліяніе Ревекки Вестъ, и чувствуя, что не дружескія отношенія и не единство только взглядовъ связываютъ Росмера и Ревекку, а — любовь, и бѣдная женщина поторопилась очистить мѣсто своей пресмнѣ. Эта страшная истина не вдругъ выясняется передъ Росмеромъ, а съ рѣдкою у Ибсена постепенностью, но уже при первыхъ намекахъ на нее Росмера начинаетъ грызть совѣсть, а вмѣстѣ съ тѣмъ у него опускаются руки передъ тѣмъ дѣломъ, на которое онъ еще недавно былъ вполне готовъ. Онъ навсегда потерялъ, по его словамъ, «самое спокойное, самое радостное изъ всѣхъ чувствъ: спокойствіе совѣсти». Напрасно Ревекка напоминаетъ ему о его планахъ практической дѣятельности (какъ почти всегда у Ибсена, очень неясно и расплывчато выраженныхъ), — онъ отрывается отъ нихъ: та дѣль, говоритъ онъ, «для меня недостижима послѣ того, что я узналъ», нельзя бороться съ чувствомъ грѣха на душѣ; «чтобы какое-нибудь дѣло восторжествовало, оно должно имѣть бодрого и незапятнаннаго вождя». Наконецъ, и Ревекка заражается этою болѣзнію совѣсти. Она окончательно раскрываетъ тайну смерти жены Росмера, въ которой (смерти) принимала сознательное и планомерное участіе; кается вообще во всемъ своемъ прошломъ и рассказываетъ, что близость съ Росмеромъ, «духъ Росмеровъ» облагородилъ ее, но вмѣстѣ съ тѣмъ навсегда лишилъ ее счастья: теперь совѣсть грызетъ ее постоянно, требуя искупленія, а искупить свои грѣхи она можетъ только смертью. Росмеръ давно уже находится въ томъ же положеніи, и вотъ оба они, рука объ руку, бросаются въ воду въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ утонула когда-то жена Росмера.

Мельхиоръ де-Вогюе, въ какой то своей статьѣ, восторгулся фразой Ревекки: «духъ Росмеровъ облагораживаетъ, но убиваетъ счастье», видя въ этой фразѣ одну изъ «аксіомъ», данныхъ Ибсеномъ. Макс Нордау (Enfartung, II, 239, примѣчаніе) издѣвается по этому поводу и надъ Вогюе, и надъ Ибсеномъ. Ему кажется, что приведенная фраза есть не только не «аксіома», а просто бессмысленный наборъ словъ. Я не знаю статьи Вогюе и, значитъ, не могу судить о томъ, какъ мотивировано его мнѣніе. Но что касается приведенной фразы Ревекки, то отношеніе къ ней Макса Нордау можетъ служить хорошимъ образчикомъ грубости его пониманія многихъ сторонъ Ибсеновскихъ драмъ. Въ своемъ обычномъ стремленіи усложнить свою фабулу и внести въ положеніе своихъ дѣйствующихъ лицъ нѣчто непреодолимо стихійное, Ибсенъ не въ одномъ только этомъ мѣстѣ говоритъ о «духѣ *Росмеровъ*», а не *Росмера* только (напримѣръ, всѣ Росмеры никогда не смѣются). Это — вліяніе непреклонной силы наслѣдственности.

Осложненіе это совершенно не нужно для хода драмы, да и вводить автора въ противорѣчіе: мы только что видѣли, что Росмеры въ теченіи многихъ поколѣній отнюдь не содрогались совѣстью, держа все окрестное населеніе въ темнотѣ и нравственномъ угнетеніи, а вотъ послѣдній Росмеръ содрогнулся, тѣмъ самымъ оборвавъ нить наслѣдственности. Но если мы оставимъ это ненужное осложненіе въ сторонѣ, то фраза Ревекки окажется дѣйствительно аксіомой. «Духъ *Росмера* облагораживаетъ, но убиваетъ счастье». Что это значитъ? «Духъ Росмера» есть въ данномъ случаѣ исключительно пробужденіе совѣсти и едва ли нужно доказывать, что пробужденіе это, съ одной стороны, дѣйствительно облагораживаетъ, а съ другой—дѣйствительно наноситъ несовмѣстимыя со счастьемъ раны, которыя съ теченіемъ времени могутъ, конечно, и зажить. Однако занимательна теперь для насъ не эта аксіома, художественныя иллюстраціи къ которой могутъ представлять высокій интересъ, но которая не нуждается въ логическомъ изслѣдованіи. Интересно то, что въ Росмерѣ и въ Ревеккѣ пробудившаяся совѣсть убиваетъ не только счастье, а и возможность и желаніе дѣйствовать, бороться, послѣ чего имъ только и остается, что умереть.

А вѣдь еще такъ недавно совѣсть, разбуженная вліяніемъ Ревекки, не только не обязывала Росмера складывать руки или умирать, а являлась, напротивъ, стимуломъ дѣятельности и жажды жизни, широкой, яркой жизни. Можетъ быть это оттого, что тогда Росмеръ чувствовалъ отвѣтственность не за свои собственные, личные грѣхи, а за грѣхи предковъ? Надо замѣтить, что и въ этомъ отношеніи Росмеръ стоитъ не одиноко въ Нібсеновой коллекціи разнаго рода людей, съ разныхъ сторонъ ущемленныхъ совѣстью. Нечеловѣчески суровый, не гнуційся, какъ палка, фанатикъ Брандъ задумывается: «Одного требую я: чтобы я могъ быть самымъ собой. Желаніе неприкосновенности моего я—законно... Гм! вполнѣ самымъ собой? А какъ же быть съ наслѣдствомъ? Какъ быть съ грѣхами предковъ?» И далѣе, въ разговорѣ съ матерью, онъ изумляетъ ее словами: «если послѣ твоей смерти твой домъ окажется и совѣсть пустымъ, я все же наслѣдую твою долговую книгу». Эту «долговую книгу» Нібсенъ обязываетъ своихъ дѣйствующихъ лицъ принимать и физически: въ «Привидѣніяхъ» молодой Освальдъ Альвингъ расплачивается болѣзнью и смертью за грѣхи отца.

Итакъ, можетъ быть разница эффектовъ пробужденной совѣсти въ разные моменты жизни Росмера объясняется тѣмъ, что въ одномъ случаѣ онъ считаетъ себя отвѣтственнымъ за грѣхи предковъ, а въ другомъ — за свои собственные. Это объясненіе несомнѣнно вѣрное, но не полное, потому что не захватываетъ мно-

гихъ другихъ, частію разсмотрѣнныхъ, частію не разсмотрѣнныхъ нами случаевъ. Супруги Альмерсы въ «Маленькомъ Эйольфѣ», Берникъ въ «Столпахъ общества», переживъ острые моменты парализующей жизни-и-дѣеспособности совѣсти, въ концѣ концовъ не опускаютъ, однако, рукъ и тою же совѣстью побуждаются къ новой жизненной работѣ, а между тѣмъ грѣхи ихъ чисто личные. Полное объясненіе мы получаемъ, вводя въ наши размышленія элементъ чести. Припомнимъ, что Берникъ, какъ ни потрясенъ онъ сознаніемъ своихъ винъ, сознаетъ и свои заслуги, совѣсть не убила въ немъ чести, а потому загладить свои вины, искупить ихъ онъ можетъ не удаленіемъ изъ жизни въ монастырь, какъ Маргитъ, не удаленіемъ изъ жизни въ могилу, какъ Росмеръ и Ревекка, а самою жизнью, которая отъ этого станетъ только богаче и краше. Также и Росмеръ въ первый періодъ драмы. Совѣсть побуждаетъ его принять «долговую книгу» предковъ, но Ревекка сумѣла разбудить въ немъ не только совѣсть, а и честь, внушивъ ему сознаніе силы на великое дѣло распространенія свѣта и свободы тамъ, гдѣ были мракъ и гнѣтъ. Вѣроятно, Ревекка, которая, вообще, гораздо сильнѣе Росмера, и потомъ сумѣла бы поддержать равновѣсіе въ его душѣ, но она сама заболѣла параличемъ совѣсти.

Любопытныя художественныя комбінаціи элементовъ чести и совѣсти читатель найдетъ въ «Претендентахъ на корону». Какъ и всегда, загроможденная побочными фигурами и ненужными осложнениями, драма эта, однако, рѣзко выдвигаетъ впередъ два образа — короля Гакона и герцога Скуле, они то и суть претенденты на корону, норвежскую. Одинъ изъ нихъ, Скуле, при всѣхъ своихъ достоинствахъ, признаваемыхъ и противникомъ, есть неудачникъ или, какъ выражается Гаконъ, «Божій пасынокъ». Судьба его представляется Гакону «загаочною». Но на самомъ дѣлѣ мы имѣемъ тутъ дѣло лишь съ тою же «загадкою», которую Іуда и Максимъ не умѣли разрѣшить относительно перваго изъ нихъ, и которую можно найти въ судьбѣ каждаго человѣка, какъ въ цвѣтномъ узорѣ, вышитомъ необходимою на ея собственномъ одноцвѣтномъ фонѣ. Если же мы будемъ искать того особеннаго дара природы или исторіи, или, вообще, какой-нибудь роковой силы, который опредѣлилъ собою особенную судьбу Скуле, то найдемъ его въ «хилой совѣсти», какъ сказала бы Гильда Вангель. Гильда сказала бы этими словами правду, но не полную, одностороннюю правду, какъ такую же одностороннюю правду сказала бы она, приписавъ противнику Скуле, Гакону, «коренастую совѣсть». Гаконъ идетъ къ своей цѣли прямо и неуклонно. Скуле же есть одинъ изъ тѣхъ людей, о которыхъ у Иисуса сына Сирахова сказано:

«горе грѣшнику, на двѣ стези ходящу». Онъ постоянно колеблется, принимаетъ одно рѣшеніе и тотчасъ же отмѣняетъ, хватаясь за другое. Но было бы очень поверхностно сводить разницу въ поведеніи Гакона и Скуле къ тому, что называется рѣшительнымъ и нерѣшительнымъ характеромъ. Гильда глубже смотритъ на дѣло, когда, даже не упоминая о характерѣ, говоритъ, что надо имѣть «здоровую совѣсть, чтобы смѣло идти къ желанной цѣли». Исторія Берника, Росмера и еще многое другое, объ чемъ намъ уже некогда распространяться, вносятъ нѣкоторую поправку или дополненіе къ этому положенію: и большая, ущемленная совѣсть можетъ не только не задерживать «смѣлаго движенія къ желанной цѣли», а даже быть могучимъ стимуломъ дѣятельности. И Гакону знакомы угрызенія совѣсти (напримѣръ, по поводу его жестокаго рѣшенія относительно матери), но онъ знаетъ и никогда не упускаетъ изъ вида и свою положительную цѣль. Не говоря уже о его формальномъ правѣ на корону, онъ твердо увѣренъ, что именно онъ можетъ устроить Норвегію къ ея славлѣ, величію и благополучію. У него есть, по сознанію его противника, «истинно королевская идея» (объединенія Норвегій), честь выработки и осуществленія которой принадлежитъ ему. У Скуле нѣтъ этой вѣры въ свое право, въ свою честь, и ничѣмъ не уравновѣшенный или слабо уравновѣшенный голосъ совѣсти постоянно парализуетъ его энергію.

Въ «Императорѣ и Галилейнинѣ» такимъ колеблющимся, то вѣрующимъ въ свое право и силу, то не вѣрующимъ является Юліанъ. Что же касается христіанъ, то они, конечно, оказываются представителями голоса совѣсти, удрученными не только собственными грѣхами, а грѣхами всего міра. Если мы, однако, приглядимся и ко всей массѣ христіанъ, дѣйствующихъ въ драмѣ, и къ отдѣльнымъ фигурамъ, составляющимъ эту массу, то увидимъ значительное разнообразіе: одни совершенно подавлены сознаніемъ своей грѣховности, въ другихъ голосъ совѣсти уравновѣшивается голосомъ чести,—великой чести носителей и провозвѣстниковъ новой истины. Количественная пропорція этихъ элементовъ и качественный характеръ ихъ сочетанія опредѣляютъ собою степень активнаго или пассивнаго отношенія дѣйствующихъ лицъ драмы къ жизни...

Пора кончить, хотя я далеко не исчерпалъ не только всего Ибсена,—на это я и не претендовалъ,—а даже и намѣченной доли его литературнаго багажа. Утѣшаю себя мыслью, что читатель, сколько-нибудь заинтересованный предлагаемою точкою зрѣнія, самъ приложитъ ее къ тѣмъ драмамъ, которыхъ я не успѣлъ коснуться. Особенно жалѣю объ томъ, что не пришлось остановиться на од-

номъ важномъ пунктѣ. Нѣкоторые изъ дѣйствующихъ лицъ Ибсена выражаютъ свою программу жизни словами: «быть самимъ собой», нѣкоторымъ другимъ эту программу усиленно рекомендуютъ третьи лица. И многіе, если не ошибаюсь, именно, здѣсь видятъ самую «суть» Ибсена. Не трудно будетъ доказать, однако, что и эта формула есть лишь одна изъ страницъ все той же книги «объ ответственности человѣка». Но это тема настолько все-таки обширная, что я не рѣшаюсь приступить къ ней теперь же, достаточно уже утомивъ вниманіе читателя.

Мнѣ вспоминается эпиграмма на «критика Остроухова», нѣсколько лѣтъ тому назадъ вложенная нѣкоторымъ романистомъ въ уста одного изъ своихъ дѣйствующихъ лицъ:

Когда мнѣ Остроухова случается прочесть,
Душа моя уязвлена бываетъ. Совѣсть, честь
Затягиваютъ ибсено. Радъ бы на оснупу влѣзть
И удавиться. Такія, право, терпишь муки,
Что хочется всему сказать прости, и руки
Наложить. А отчего?
Во-первыхъ, отъ стыда и, во-вторыхъ—отъ скуки.

Будь я на мѣстѣ критика Остроухова (а если вставить въ эпиграмму вмѣсто его фамиліи мою, размѣръ стиха не пострадаетъ), я былъ бы, съ одной стороны, очень польщенъ, а съ другой — очень огорченъ. Въ самомъ дѣлѣ, Вольтеръ былъ вѣдь очень близокъ къ истинѣ, когда говорилъ, что въ литературѣ всѣ роды хороши, кромѣ скучнаго. Нехорошо, когда, по выраженію Щедрина, читатель только почитываетъ то, что писатель подписываетъ, но, пожалуй, еще хуже, когда читатель даже не почитываетъ, ну, а кому нужда читать скучное? Въ частности, и мнѣ будетъ очень прискорбно, если я всѣмъ вышензложеннымъ о чести и совѣсти только навелъ скуку на читателя или даже отогналъ его отъ чтенія. Съ другой стороны, однако, критикъ Остроуховъ долженъ быть очень польщенъ: какого еще свидѣтельства силы его слова нужно, если оно побуждаетъ людей, чувствующихъ за собой нѣчто постыдное, лѣзть на оснупу? Я лично, впрочемъ, не только не видалъ такихъ результатовъ своей дѣятельности, но и не желалъ бы ихъ видѣть.

До сихъ поръ недостаточно оцѣненный и даже недостаточно изученный, Гл. Успенскій яркими красками изобразилъ первые шаги русской пробудившейся «больной совѣсти», съ ея тенденціей урѣзывать жизненный бюджетъ человѣка, наложить на него тѣ или другія эпитиміи, а, пожалуй, и «на оснупу» взвести. Съ тѣхъ поръ много воды утекло. Кое-гдѣ заснула совѣсть, «пропала совѣсть», какъ называется одна изъ сказокъ Щедрина, и многіе,

оглядываясь на свое недавнее прошлое, даже съ искреннимъ изумленіемъ спрашивали себя: да чего же я стыдился? зачѣмъ вель «долговую книгу»? развѣ не законъ природы, что штука ѣсть карася? А вмѣстѣ съ тѣмъ тутъ же, рядомъ, дошло до своихъ послѣднихъ фазисовъ ученіе Льва Толстого, въ которомъ нашла свое полное выраженіе сила односторонней, неуравновѣшенной работы совѣсти, парализующей дѣеспособность, Думаю, что пора, давно пора воздать должное совѣсти, но не въ ея парализующей формѣ, а въ ея сочетаніи съ честью; не для того, чтобы удалиться изъ жизни въ келью подъ елью или на осину, а чтобы принять въ этой жизни дѣятельное участіе. Можетъ быть, это и значитъ «быть самимъ собой».

PG
3011
M474
t.1

Mikhailovskii, Nikolai
Konstantinovich
Otkliki
t. 1

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

